

ВАСИЛИЙ МАКЕЕВ



“Я ДНИ МОИ, КАК ЛИСТЬЯ, ОБРЫВАЮ...”

* * *

У ненамоленных церквей,
Полукартонных с виду,
Всё чаще вижу я парней
И женщин молодых.
Они приходят ко Христу
С какою ли обидой,
Иль их приводит на поклон
Заветный страх и “стих”?

Я тоже к церкви прихожу
В туманный спозаранок,
Чтоб тихо-мирно ощутить
Всю призрачность надежд.
И вновь люблюсь, что не грех,
На грешных прихожанок
И понимаю невпопад
Туманность их одежд.

МАКЕЕВ Василий Степанович — известный русский поэт, родился в 1948 году в хуторе Клейменовском Волгоградской области. Окончил Литературный институт имени Горького. С 1972 года член Союза писателей России. Автор 15 книг поэзии и прозы. Лауреат многих литературных премий. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почётный гражданин Волгоградской области. Живёт в Волгограде.

Во церкви женщины сплошь ряд
Смиренно-авантажны,
Им так привычно увлажнять
Глаза немой тоской...
И только бабушки мои
Невнятно и протяжно
Бормочут вещие слова
Про вечный упокой.

О, не забудьте про меня!
Я тоже душу маю,
А всё “цыганочку” пляшу
На собственной судьбе,
Я лоб не вовремя крещу
И Бога поминую,
И всё ж по локоть не погряз
В лукавстве и злобе.

Но жизнь повадилась моя
Нырять в морок и сором,
И я, по правде, у неё
Прощенья не просил.
Я наблюдательно бродил
По святочным соборам,
А вот в церквушку заглянуть
Мне не хватает сил...

* * *

Не из борцов и шустрых лиходеев,
Лишь тем и грешен, что навеселе,
Мужчина под названием Макеев
Бредёт себе по горестной земле.

Презрев любовь и дела не содеяв,
Забыв родню и память на селе,
Упрямец непростительный Макеев
Один как перст остался на земле.

Он сызмальства на рёбрышках скамеек,
А пуще — на исчёрканной скале
Не вырубал, мол, “здесь бывал Макеев” —
Один поэт, ненужный на земле.

Но в череде дорог и юбилеев,
О, кто бы ведал в мороси и мгле,
Как, потаясь, мятущийся Макеев
От тихой боли стонет на земле!

* * *

Последний вздох зимы
Иль покаянный выдох —
Ни кума, ни кумы
В залепленном окне,
Но гложет гололёд
Во всех дорожных видах,

И оторопь бежит
Мурашкой по спине.

В сенцах ещё свежо,
И на крыльце пристойно,
Ан душу бередит
Капельный пересуд.
И глухо, как во сне,
На празднике престольном
В церквушке за рекой
Колокола поют.

Мой позабытый дом
Оглохнул без хозяев.
Я навестил его
В честь детства и родни
И не сыскал в углах
Сверчков или козявок —
Попробуй старину
Без плача помяни!

На брошенных базках
Синеет снег подталый,
Позорят воробьи
Недальнюю весну...
Последний вздох зимы —
И я уйду устало
Неведомо куда —
И толком не вздохну.

ТВОЁ ПИСЬМО

Весна припозднилась лениво,
В болезных лядунках порог,
И даже плакучая ива
Стыдится шуметь без серёг.

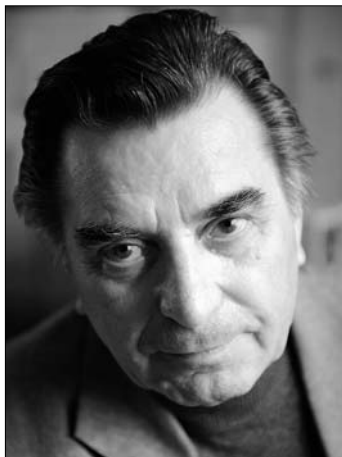
Бегут облака-маломерки,
В избе-родовине темно.
На старой пустой этажерке
Я вдруг обнаружил письмо.

Из наших событий начальных, —
Их нынче прикрыла зола, —
О, как ты писала печально
И как терпеливо звала!

Слова эти вроде приснились,
Но та же на них благодать.
Мы оба с тобой припозднились
Любовь до звезды прорыдать.

От зряшного слова зависим,
Роняем слезу в решето.
И больше тоскующих писем
На свете не пишет никто.

ВЯЧЕСЛАВ ЩЕПОТКИН



КРИК СОВЫ ПЕРЕД КОНЦОМ СЕЗОНА

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

— Лыжи в дом не носите, — остановил раскрасневшийся егерь двух охотников, уже поднявшихся было на ступеньки с лыжами в руках. — Отпотеют и плохо завтра пойдут.

— Ты што, Адольф! — вступился за товарищей Нестеренко, чернобровый, с крупными чертами лица молодой мужчина в белом полушубке. — В этой избе тараканы друг к другу примёрзли.

Сам он только что прислонил лыжи к тёмной бревенчатой стене дома и на всякий случай даже воткнул их в снег. Остальные тоже ставили лыжи снаружи, переговаривались о неудачном дне, о вымирающей деревне, где осталось, судя по дымам из труб, пять или шесть жилых изб вперемежку с десятком брошенных, по-старушечьи наохливших под белыми платками снега домов. Некоторые из покинутых изб светлели досками-заколотками. Но на большинстве домов и эти доски посерели, растрескались. Стены раздуло изнутри, как ствол ружья, забитый перед выстрелом грязью. Избы припали, какая на один, а какая сразу на два угла, и казалось, поднавали на них нынешняя обильная зима ещё снега — не выдержат дома, рухнут.

ЩЕПОТКИН Вячеслав Иванович — журналист, публицист, прозаик. Живёт и работает в Москве. В “Нашем современнике” печатается не впервые.

В тексте романа сохранена разговорная орфография автора.

Утром, уходя по сумеркам на лыжах к лесу, городские были возбуждены предстоящей охотой. Поэтому деревню прошли махом, хотя на лыжи становились всего несколько раз в году. Но на обратном пути то один, то другой вдруг приостанавливался, глядел на волны снега, под которыми угадывались основания когда-то существовавших построек, и цепочка людей с ружьями замирала.

Когда подошли к дому, в котором ночевали, тоже покинутому, Нестеренко спросил Адольфа:

— Молодые-то здесь живут?

— Откуда! — удивился егерь, смахивая с валенок широкие охотничьи лыжи. Они покатились, и одна за другой воткнулись в сугроб у стены дома. — Кому она такая жисть нужна? Видел, как мы вчера добирались?

Вчера их сюда от ближайшей деревни, где они оставили свои легковые машины, привезли на тракторной тележке. “Беларусь” качался, как баркас в штормовом море. Мужчины валялись друг на друга, холодели от лёгкого страха и ухали в темноте.

— Валерка! — вдруг закричал егерь одному из своих охотников-подручных, который вдалеке что-то рассказывал городскому — мужчине с пышными усами и потным разгорячённым лицом. — Человека остудишь!

Городской снял шапку. От влажных волос шёл пар. Алое солнце садилось сзади них, и казалось, голова городского розовато дымится. На крик егеря они не обратили внимания. Теперь усатый что-то показывал Валерке в поле, и тот, вытянув шею, всматривался вдаль.

— Володя! Волков! — крикнул Нестеренко. — Шапку надень!

— Кабанов, что ль, увидали? — заволновался Адольф. Он был мордаст, с маленькими умными глазками, которые то и дело как бы посмеивались над чем-то. Замусоленные до брони рукава фуфайки были коротки, из них далеко высовывались красные кулаки. Рукавиц егерь не носил и в самый лютой мороз. Знакомясь, приветливо хватал протянутую руку и, пока не заканчивал представление, не отпускал её. А представлялся он концертно. Назвав своё имя, с интересом смотрел в лицо человека. Реакция не заставляла себя ждать. Народ, хотя и давно переживший войну с немцами, хорошо помнил некоего Адольфа. Тем более что в последнее время о нём говорили часто, обсуждая, не Советский ли Союз виноват в начале войны с Германией? Поэтому кто возгласом, кто взглядом выдавали невольное удивление. И тогда егерь, делая вид, будто его не расслышали, громко повторял своё имя. “Адольф! Тёзка Гитлера — знаете такого?” Маленькие глазки посмеивались, но теперь уже с вызовом и настороженно. Люди с наигранной бодростью хлопали егеря по плечу, а через некоторое время замешательство первых минут, в самом деле, забывалось. Однако Нестеренко после знакомства с егерем вдруг подумал, как тяжело, наверное, приходилось Адольфу, когда он был ещё не матёрым мужиком, властным и знающим себе цену, а ранимым мальчишкой послевоенной поры. В народе умеют давать клички, обидные до слёз, а тут само имя звучало хуже клички.

С Адольфом трое городских охотились второй раз. Первый раз — три недели назад, когда кончался отстрел лосей. В прежнем месте, куда компания ездила последние несколько лет, что-то не складывалось. Заболел старший егерь — сипел по телефону, как будто его душили; двое из пятерых не смогли ехать, и тогда Нестеренко, Волков и Фетисов решили открыть новое место. Нестеренкин знакомый дал адрес Адольфа и даже попробовал через какой-то склад, рядом с которым жил егерь, дозвониться до него. Не дозволился, но Адольф, тем не менее, встретил троих с готовностью — похоже, он был чем-то обязан нестеренкиному знакомому.

Лосей отстреляли легко — их тут было много, а заодно уговорились, что приедут в этот же район за кабаном. “Возьмём, — сказал Адольф. — Только в другом месте”.

Прошагав на лыжах километров восемь, сделав два загона, охотники без выстрела вернулись в деревушку, где ночевали. У них оставался ещё один день — последний день охотничьего сезона на кабанов.

Но несмотря на пустые хлопоты, пятеро городских не переживали. Адольф и два местных охотника — не то приятели егеря, не то его помощники — были уверены, что завтра кабана возьмут.

— Мы нынче как на разведку ходили, — сказал егерь Волкову, тому высокому усатому мужчине, оглядываясь на него в дверях избы. Волков повесил ружьё в коридоре, и теперь извивался, чтобы снять патронташ. Нестеренко помог ему. Через распахнутую дверь было видно, как в избе уже выкладывают на стол еду маленький Игорь Николаевич Фетисов и товарищ Волкова, толстый врач Карабанов. Собственно говоря, все пятеро были близкими приятелями, хотя встречались, в основном, на охоте. Жили в одном крупном подмосковном городе, оказавшемся в конгломерате ещё нескольких таких же городов военно-космической ориентации, Фетисов — даже по соседству с инженером-электриком Нестеренко, имели, естественно, каждый своих знакомых и товарищей, но когда приходила трудная минута, вспоминали, прежде всего, о тех, с кем охотились. На них попавший в беду мог рассчитывать, как хромой на посох. При этом помогать старались буднично, избегая пафосных слов. Если появлялась возможность смягчить ситуацию иронией или шуткой, не упускали случая. А в обычной обстановке придумать какой-нибудь “прикол” вообще считалось в порядке вещей. Особенно неистощим был Нестеренко. Сняв с Волкова патронташ, он тут же сунул его вошедшему в коридор пятому охотнику — худощавому мужчине с глубоко запавшими глазами.

— Подержи, Паша, — с тревожным лицом сказал товарищу. — Надо Волкова внести.

Тот молча, с удивлением уставился на чернобрового. Мол, что случилось? Нестеренко озабоченно покачал головой:

— Видишь? Патронташ не может снять. Совсем ослабел парень. А ты, Адольф, валенки с негоними.

Егерь засмеялся и прошёл в избу. Там уже почти был готов стол. Фетисов быстрыми, как у всех маленьких, движениями дорезал хлеб. Один из товарищей Адольфа — Валерка — выкладывал из своего рюкзака варёную лосятину, луковицы, полиэтиленовый пакет с насыпанными туда кубиками сахара. Другой — мрачноватый мужик с красными белками глаз — растапливал печку. Не дожидаясь, когда она даст тепло, сели за шаткий стол и налили, как полагаются. Когда все притолкались, Карабанов поднял стакан.

— Выпьем, мужики, за подаренный кабанам лишний день жизни.

Он работал хирургом в городской больнице. Короткие толстые пальцы были цепки, глаза из-под набрякших век смотрели остро.

— Наши от нас не уйдут, — захрустел твёрдым солёным огурцом Адольф. — Не то стреляйте меня завтра замест кабана.

— Ну, если на Володю Волкова или на Пашу Слешцова выйдут, то не уйдут, — согласился, морщась от водки, Карабанов. — Это такие убивцы.

Голос у него был сишный — доктор простыл на митинге “Демократической России” недели три назад. Когда трое товарищей ездили на охоту, он лежал с температурой в постели, и хотя недавно вышел на работу, горло не мог вылечить до сих пор. Откусив холодного огурца, закашлялся, отвислые щёки его покраснели, и на большом лбу выступила испарина. Из всей компании одному Фетисову — товароведу универсальной базы — катило под пятьдесят. Остальные были почти ровесники: по 37–38 лет. Но если на большинство людей жизнь ставит свои отметины с мало-мальски подходящей точностью, то в этой компании она кое-что перепутала. Тучный, губастый, с поредевшими темными волосами Карабанов выглядел старше своих лет, а ровеснику доктора — стройному и холёному учителю Волкову — никто не давал даже его возраста.

— Смех смехом, — оживился Волков, вытирая усы, — а в прошлый раз охота накрылась для всей честной компании.

— Испортил он нам всю “малину”, Сергей, — сказал Нестеренко Карабанову, показывая пальцем на Волкова. — За двадцать минут уложил двух коров и оставил нас без выстрела...

— Вот видишь, Адольф! Не связывайся с ними. Отдай кабана.

— Отдам. Хоть три. У нас у самих две лицензии не закрыто. Но ведь ты скажи, какая хитрая животная пошла. Сейчас таятся, на кормёжку идут ночью... А вот, скажем, послезавтра уже — иди по лесу, и кабан тебя не боится. Как будто знает, что на них сезон кончился. Пережили опасные дни, и бывший враг — нынешний друг.

— Газеты, наверно, читают, — заявил Нестеренко, ища глазами, обо что бы сорвать металлическую пробку на бутылке с минеральной водой.

— Дёрни об стол, — подсказал Паша Слепцов.

— Нащёт газет — не знаю, — поморщился егерь. — Их если сегодня читать — сумашедшим станешь. Я думаю, природа приспособливается. Выжить-то надо! И среди зверей есть люди. Сображают.

— Не ко всему нужно приспособливаться, — вдруг раздался невнятный и быстрый говорок Фетисова. — Говорю директору: посадят, дурак. А он уже врагом смотрит.

Все поглядели в сторону Фетисова. Даже Адольф успел заметить, что товаровед — самый незаметный в городской компании. Говорил он мало, едва слышно и торопливо, как человек, давно понявший, что его в любой момент могут перебить, что слушатели тут же повернутся на сильный уверенный голос, мгновенно забыв и о самом Фетисове, и о том, что он говорил. Поэтому Игорь Николаевич особо не встречал в разговоры, никого не перебивал; если между товарищами разгорались страсти, он только стеснительно шурился и время от времени быстрым движением протирал острую лысинку. Уловив сейчас редкую минуту внимания, он заговорил слышнее, однако по-прежнему торопясь.

— Срок годности — он не вечный. Портится товар... Две машины отвезли в лес... Люди видят... но молчат. А на меня смотрит, как на врага народа. Хотя недавно были друзьями.

— Потерпи, Игорь. Скоро будем наводить порядок, — сурово успокоил Нестеренко. — А раньше времени высунешься — голову оторвут.

И добавил остальным, тронув крупные губы улыбкой:

— Шибанёт, как ток. Будем мы грудку пепла на охоту носить.

— Ты его слушай, Игорь Николаич, — с иронией подтолкнул Фетисова сухолицый Павел Слепцов, и во впадинах-глазницах колыхнулась нетёплая усмешка. — Где электричество, там Андрей спец.

— А может, как раз не надо слушать, — посерьёзнев, сказал Волков. — Давно пора во весь голос говорить... Называть вещи своими именами. Совсем вразное дело идёт! Страны ведь, мужики, не останутся!

Нестеренко недовольно мотнул головой.

— Хочешь своего человека в пасть кинуть? Сожрут. У демократов острые клыки. Это мы уже видим. Поэтому надо подождать! В дамках тот, кто умеет ждать.

Он замолчал, думая о чём-то явно нездешнем. Потом пристально поглядел на Волкова.

— Плохо, если и ребят не учишь солдатской выдержке. Тебе сам Бог велел делать из них бойцов. Недолго осталось... Скинут “пятнистого”. Нельзя больше эту тварь ... А пока говорю вам: на-до по-до-ждать!

— Нада, нада, — усмехнулся егерь. — Свет надо включить. Как сычи в темноте сидим.

Тут только заметили, что в избе посумрачнело и в то же время потеплело от печки, распахнутый зев которой багровел тлеющими углями. Адольф поднялся и включил свет. Из-за стола вылез красноглазый мужик. Посмотрел в корзину для дров — она была пустой, пошёл в коридор за поленьями. Волков присел на корточки к печке, подвинул уголёк и осторожно, чтоб не опалить усы, прикурил.

— Я ребят учу языку, — сказал он, вставая. — Французскому языку.

— Хороший язык, — откликнулся Карабанов. — Хотя будущее за английским. Перемены к нам придут с английским языком.

И твёрдым тоном добавил:

— Мы все будем говорить по-английски. Очень скоро.

Слепцов открыл новую бутылку водки и, по-вороньи скосив голову, стал разливать.

— Ф-фу! Мне нравится немецкий.

Наклонился к Нестеренке и неожиданно гаркнул ему в ухо:

— Хэндэ хох!

Тот отшатнулся, едва не упав с табуретки.

— Обалдел, что ль? — замахнулся электрик на товарища. — Хóхнуть бы тебе по ушам, да своих нельзя трогать.

— А ты, Валерка, какой язык любишь? — спросил Адольф, и на широком красном лице его огоньками засветились глазки.

— Я уважаю говаяжий!

В избе грохнули так, что красноглазый мужик, открывший в этот момент дверь, чуть не выронил корзину с дровами.

— Ну, чего вы? — обиделся Валерка. У него было узкое, как будто пропущенное через валки прокатного стана лицо, над которым дыбились прово- лочно-жёсткие волосы. — Говаяжий с хреном....

— Сам ты хрен, — сквозь смех выговорил егерь. — Ты когда его последний раз ел?

— Давно. Поэтому уважаю.

— Да не об том языке говорят.

— А-а, — смял понятливой улыбкой узкое лицо Валерка. — Эт как у нас на фабрике был поммастера — Альберт. Но мы его звали Федя.

Тут все вообще зашлись от смеха, а Фетисов даже упал на плечо Карабанова.

— Да честно я вам говорю! — сердито крикнул Валерка. — Спросите у Николая.

Но второй подручный егеря только вытирал слёзы и ничего не мог сказать.

— Вот так у нас всё и получается, — успокаиваясь, заговорил Карабанов. — Обещают Альберта — приходит Федя. Не страна, а полное дерьмо.

Нестеренко резко оборвал смех.

— Ты что имеешь в виду? — процедил он, и глаза его, только что блестящие от веселья, как мокрый чернослив, сухо уставились на доктора. Волков понял: сейчас снова вспыхнет тот обжигающий и неприятный спор, без которого в последнее время редко проходила каждая их встреча, когда они оказывались впятером. Ещё недавно близкие друг другу люди, терпеливые к мнениям и шуткам товарищей, часто соглашавшиеся по поводу больших и малых недостатков советской действительности, они стали быстро раздражаться от самых безобидных по вчерашним меркам оценок и суждений. Когда-то инженер-электрик Нестеренко сравнил их всех с электродами для дуговой сварки. К каждому тянется свой питающий кабель, у каждого гудит свой аппарат, подающий ток. Но если раньше все аппараты были настроены на создание некоей дуги объединения, то теперь словно кто-то специально их разрегулировал, и электрические вспышки чаще не соединяли разное в общем, а с болью прожигали соединительную ткань.

А как неплохо всё начиналось несколько лет назад!

Глава вторая

Появление нового Генерального секретаря Горбачёва каждый из них встретил с интересом. Насторожился только Слепцов. Раза два заговаривал про какой-то знак свыше, но товарищи посмеялись, и он больше этой темы не касался. Согласен был, что новый “вождь” выгодно отличается от прежних: молодой, энергичный, не сидит в Москве, говорит без бумажки — это нравилось. И хотя он говорил те же слова, которые люди давно привыкли пропускать мимо ушей — о развитии социализме, о борьбе с бюрократией и волокитой, об улучшении жизни народа — однако теперь от них повеяло свежестью. У многих даже появилась надежда на скорые перемены, потому что застой последних лет, казалось, проник во все поры жизни.

Тот динамизм советской экономики, науки, общественных отношений, которым было отмечено взлётное время конца 50-х — первой половины 70-х годов, постепенно остывал. Это не означало, что Советский Союз оставался в своём развитии. По многим показателям советская индустрия, опираясь на достаточно развитую науку, шла нога в ногу с лидерами мирового промышленного развития, а кое в чём даже обгоняла их.

Однако развивались разные отрасли неодинаково. Военно-промышленный комплекс и другие наукоёмкие сферы могли состязаться с зарубежьем не только по интеллектуальной насыщенности производства, но и по производительности труда. В других сегментах экономики производительность всё сильнее отставала от мировых показателей. Станочный парк устаревал морально и физически, обновление его шло медленно. Ручной, малоэффективный труд преобладал там, где в развитых странах работала современная техника.

В позднебрежневское время были предприняты попытки поднять производительность труда и его эффективность благодаря достижениям научно-технической революции. Но в целом темпы экономического развития всё явнее замедлялись. Причины были разные. И негибкий командно-плановый каркас, где каждой отрасли, заводу, цеху отводились жёсткие рамки, за пределы которых выйти было нельзя. И тотальное распределение ресурсов “от Москвы до самых до окраин”, не оставляющее места экономической инициативе. И отсутствие конкуренции как способа предъявить обществу лучший по качеству и эффективный по себестоимости товар.

Причины переплетались одна с другой, усиливали друг друга, порождали новые, те — следующие, и этот ком становился всё тяжелее. Так бывает, когда дети скатывают из влажного снега шар для туловища снеговика и не замечают момента, когда шар уже с большим трудом удаётся сдвинуть с места.

На внутренние причины накладывались внешние. Одной из них стал ввод советских войск в Афганистан в 1979 году.

Афганская война не только сильно испортила имидж СССР в глазах и западных европейцев, и, особенно, мусульманского мира. Она требовала значительных материальных затрат: три-четыре миллиарда долларов сгорали ежегодно в пламени неоднозначно воспринимаемой в народе войны.

Параллельно в это же время Советский Союз стал тратить на спасение коммунистического режима в Польше. Наделав долгов ради красивой жизни “как на Западе”, Польская народная республика в 1981 году должна была заплатить 7 миллиардов долларов в счёт погашения кредитов и 3 с половиной миллиарда — по процентам. Отказ от платежей означал прекращение новых кредитов, а это вело к быстрому и полному разрушению экономики страны. СССР выделил Польше 4 с половиной миллиарда долларов, да ещё дал в долг большое количество нефти, газа, хлопка.

Между тем, самому Советскому Союзу как раз в это время эти миллиарды были очень нужны! Разыграв исламскую карту, Соединённые Штаты добились от богатейшей Саудовской Аравии не только активной помощи моджахедам в Афганистане, но и её согласия как ведущего члена ОПЕК на резкое снижение стоимости нефти: с 30 долларов за баррель в начале 80-х до 12-ти в 1986 году. Это уменьшало доходы СССР ещё на 10 миллиардов долларов в год.

Но если тяжёлая индустрия, пусть с нарастающим замедлением, всё же справлялась со своими обязанностями, этого нельзя было сказать о сельском хозяйстве, о лёгкой и перерабатывающей промышленности. О тех отраслях, которые должны были в достатке обеспечить страну продовольствием и всевозможными товарами народного потребления. А именно от этих отраслей и, прежде всего, от агропрома зависит каждый день настроение людей, их оценка действий власти.

Сказать, что причиной была нехватка денег или сама колхозно-совхозная форма хозяйствования, нельзя. Для села выделялись большие средства — на строительство производственных и социальных объектов, на закупку техники: тракторов, комбайнов, автомашин. Да и форма хозяйствования показывала далеко не единичные примеры удачной работы. В стране было

немало богатейших колхозов и совхозов, где люди жили в достатке, имели хорошее жильё, покупали машины, дорогую бытовую технику, работая при этом весьма эффективно.

Однако общая картина была удручающей. Отчасти сказывались климатические условия — с 1969 года по 1984-й в Советском Союзе было восемь неурожайных лет. Причём три из них шли подряд — 79-й, 80-й и 81-й. Если в 1978 году было собрано 237 миллионов тонн зерна, то в 1984-м — лишь 173 миллиона. Поскольку нормой считается иметь на человека одну тонну зерна в год, а СССР тогда насчитывал 274 миллиона жителей, то видно, какой возник дефицит.

Но природно-климатические факторы были не единственной причиной низкой отдачи сельского хозяйства. Важным тормозом стало отсутствие мобилизующих стимулов работать лучше других. Поэтому, несмотря на вливание огромных денег, сельское хозяйство оставалось малоэффективной отраслью.

Ситуацию усугубляли расхлябанность и массовая безответственность. Лозунг: “Всё вокруг колхозное — всё вокруг моё”, если когда-то и заставлял людей беречь общее добро, то никак не во времена “развитого социализма”. В эти годы он, наоборот, стал оправданием растащивки, наплевательского отношения к общим ценностям и результатам коллективного труда. Отсюда брали начало невероятные для других стран потери выращенной продукции. Охотничья компания видела это в разных местах. В Астраханской и Волгоградской областях, куда мужчины ездили на охоту и рыбалку в конце лета, часть помидорных плантаций не успевали убирать до начала озимой пахоты. Чтобы очистить место, бульдозеры гребли красное месиво из помидоров куда придётся. На Ярославщине, в Смоленской и Костромской областях в полях оставался необранным картофель, а тот, который выкапывали, зачастую лежал в буртах под дождями и снегом.

Собранное и доставленное на базы тоже не всё доходило до потребителя. Здесь также многое гнивало и выбрасывалось. В итоге в целом по стране пропадала примерно треть овощей, до 40 процентов картофеля. Немало терялось мясной и молочной продукции. А ведь на производство всего этого тратились большие материальные и людские ресурсы.

Положение в сельскохозяйственной отрасли, в производстве товаров народного потребления, в обеспечении людей продуктами и предметами первой необходимости наглядней всего показывало, что река советской экономики кое-где уже не течёт, а превращается в застойное водохранилище. Заработная плата и доходы населения росли, что было несомненным достижением социалистической системы, однако отоварить их, как говорили экономисты, было всё труднее.

И действовали здесь факторы не только экономического характера. Хозяйственное переплеталось с идеологическим, моральное — с безразличным, целеустремлённое — с наплевательским. Выделить какой-то фактор как главный, отбросив остальные в число второстепенных, было бы не очень правильно. Одно и то же явление в разных обстоятельствах действует по-разному. Для пешехода заноза в пятке — это остановка движения, а для всадника — только боль, когда заденешь. Тем не менее, многие в обществе склонялись к мысли, что переход страны с быстрого бега на шаркающий шаг — это, не в последнюю очередь, результат так называемой кадрово-политической стабильности.

Провозглашённый Леонидом Брежневым вскоре после прихода к власти в 1964 году принцип “бережного отношения к кадрам” встретил одобрение не только у партийно-государственной элиты, но и в народе. Стране надоело вздрагивать от сумасбродных авантюр жирного хитрованца Хрущёва. То он режет существующие хозяйственно-экономические связи и соединяет несоединимое в рамках совнархозов. То в одной области вводит должность двух первых секретарей обкомов: по промышленности и по селу, создавая ситуацию двух медведей в одной берлоге. То привозит из Америки “кукурузную панацею” и заставляет широко её применять. Стараясь угодить импульсивному, раздражительному и всё более раздувающемуся от самовеличия “доро-

тому Никите Сергеевичу”, партийно-хозяйственные клеветы пытались сеять “царицу южных широт” даже за Полярным кругом.

То он бросается на новую борьбу с церковью, дорубившая оставшиеся после погрома большевиками-предшественниками. То рубит частные сады, душил свирепыми налогами личные подсобные хозяйства, объявляя всему миру, что в 1980 году в Советском Союзе будет построен коммунизм и частная собственность станет не нужна.

После сумасбродств “колобка в соломенной шляпе” (одна из кличек Хрущёва в народе) весёлое добродушие чернобрового красавца Брежнева наполняло людей оптимизмом, желанием работать с засученными рукавами, но без нервотрёпки. Именно на брежневское время приходится наивысший подъём экономики Советского Союза. Но и тогда же — к концу брежневских лет — начинается его стагнация.

Бережное отношение к кадрам означало долгую их несменяемость. А это, в свою очередь, вело к уверенности, что всё сойдёт с рук. Только какие-то сверхординарные причины могли заставить отступить от этого принципа. Если не раздражаешь вышестоящее руководство критикой и опасными предложениями, не попался с шумным скандалом на “аморалке”, берёшь подношения по чину и докладываешь наверх о благополучии на вверенной тебе территории или в отрасли, можешь быть спокойным за своё будущее. Даже если “благополучие” достигнуто путём приписок и статистического обмана, а “опасные предложения” могли бы стать альтернативой каменеющему консерватизму.

Эти правила быстро усвоили на всех этажах государственного здания, дополняя и расцветывая их местным орнаментом. В республиках Средней Азии партгосноменклатура стала возрождать байство. В Казахстане вспомнили о родоплеменном делении на жузы. В Закавказье и Предкавказье расцвело куначество. Даже в славянской элите, обычно разрозненной, появилось кумовство.

Всё это обильно удобряло почву для коррупции, двойной морали, пережорждения. Общество охватили апатия, цинизм и равнодушие, что только усиливало прогрессирующую болезнь экономического и социального организма страны.

В ноябре 1982 года тяжело больной Брежнев умер. Его пост Генерального секретаря ЦК Компартии занял Юрий Андропов. Это с удовлетворением встретили не только здоровые силы в партии, но и большинство народа. Люди ждали перемен и наведения порядка, а кто, как не Андропов, по мнению широких масс, мог лучше других справиться с этим. Пятнадцать лет он возглавлял КГБ СССР, оставив должность Председателя лишь за полгода до смерти Брежнева, а в стране многие с уважением относились к этой структуре.

Уже первые выступления нового руководителя выгодно отличали его от предшественника: ясная, грамотная речь вместо брежневского косноязычия, единственная звезда Героя Соцтруда на костюме вместо иконостаса наград у “дорогого Леонида Ильича”, равнодушие к лести и роскоши, нетерпимость к казнокрадству и взяточничеству, честное признание трудностей, в которых оказалась страна, — всё это вскоре увидели и услышали жаждущие перемен люди.

Андропов начал с наведения элементарного порядка и законности. Чтобы поднять трудовую дисциплину, остановить прогулы и опоздания на работу, в городах начались рейды милиции. На дневных сеансах в кинотеатрах, в универмагах, в различных ателье и мастерских у людей проверяли документы, выясняли, где человек должен быть в это время. Прогульщиков охватила паника. Самые злостные из них боялись выйти из дома, но большинство — от греха подальше — перестали прогуливать и опаздывать на работу. Страна подтянулась, побрилась, завязала шнурки и надела галстук.

Кампания по наведению порядка и дисциплины сразу принесла ошеломляющие результаты. Уже за первый квартал 1983 года, то есть через какие-то три-четыре месяца, объём производства в Советском Союзе вырос на 6 процентов. Одно это показало, какие резервы перед тем расплылись.

Одновременно Андропов вернулся к расследованию многих коррупционных дел, связанных с высшей номенклатурой, которые до того вынужден был свернуть по требованию брежневского окружения.

Но он понимал, что эти меры — лишь подступы к более серьёзному лечению государства. Требовались кардинальные перемены в экономике, в организации производства. Сами понятия “перестройка” и “ускорение”, сказанные тогда в узком кругу, появились именно в короткий период андроповского руководства страной.

Выход из стагнации Андропов видел в многоукладности экономики. Зная жизнь теневого бизнеса в СССР, изучив открытую экономику восточноевропейских социалистических стран, он видел, что частный сектор может эффективно работать в сфере обслуживания, в лёгкой промышленности, частично — в сельском хозяйстве. И тут ближе всего ему была модель реформ, которая уже осуществлялась Дэн Сяопином в Китае. Смысл китайской модели состоял в том, чтобы, сохраняя политический строй, вести постепенное внедрение рыночных отношений именно в тех отраслях, которые должны обеспечить людей продуктами питания, бытовыми услугами, всей гаммой товаров народного потребления. Причём развиваться рыночная сфера должна под надёжной защитой и при поддержке государства, сурово пресекающего рэкет, казнокрадство и коррупцию.

Некоторые учёные-консультанты предлагали Андропову начать с демократизации политической системы. Но он резко ответил: “Сначала надо накормить и одеть людей”.

Понимая, что излечение хронических болезней государства требует времени, он торопился быстрее запустить механизмы экономических перемен. Спешил ещё и потому, что сам был тяжело болен. Вдобавок к давно мучающему его почечному диабету, он в 1981 году в Афганистане заболел азиатским гриппом, который дал осложнения.

Врачи обещали ему 5–6 лет жизни, и Андропов, исходя из этих сроков, составил план реформирования экономики и социальной жизни страны путём широкого внедрения хозрасчётных методов, расширения самостоятельности предприятий при одновременном повышении персональной ответственности и дисциплины.

Но прожить ему удалось недолго. В феврале 1984-го “советский Дэн Сяопин” умер, успев только наметить ориентиры вывода Советского Союза из застоя и кризиса.

Не все жалели об этой потере. За 15 месяцев своего правления Андропов сменил 37 первых секретарей обкомов, 18 союзных министров, провёл чистку партийного и государственного аппарата, органов внутренних дел и госбезопасности. Отказался приближать к себе бывшего посла в Канаде и будущего идеолога демократов Александра Яковлева. Однажды заявил (без подробных объяснений), что тот слишком долго — 10 лет — прожил в капиталистической стране. В другой раз высказался определённое, назвав Яковлева антисоветчиком. Уже к осени 1983 года разочаровался в Горбачёве, которого поначалу выделял за молодость и энергию. Теперь он увидел в нём верхоглядство, амбициозность, любовь к славословию в свой адрес.

Однако в широких массах к смерти Андропова отнеслись по-другому. В России издавна повелось: если внезапно умирает правитель, которого народ отметил уважением, значит, его убили. Именно так многие и расценили смерть Андропова.

Ни предыдущий, ни следующий генсек такой оценки не заслужили. Сменивший Андропова и правивший ещё меньше (11 месяцев) Константин Черненко сразу получил прозвище “живой труп”. Он не мог дойти от президиума до трибуны, чтобы не остановиться отдышаться. К избирательной урне для голосования на глазах миллионов телезрителей его вели под руки. Тусклая, бесцветная личность, единственной заслугой которой была близость к Брежневу, словно специально был он вытасчен историей для эффектного появления после него Михаила Горбачёва.

Но те надежды, с которыми люди встретили приход к власти Горбачёва, вскоре сменились у кого — тревогой, у кого — раздражением. Шаг за ша-

гом он расплывал кредит доверия, и спустя короткое время от первоначального обожания осталась лишь труха. Те, кто требовал демократии, отвергли его за медлительность и нерешительные, на их взгляд, действия по демократизации общества. Разочарованные, они толпами переходили к Ельцину, которому подсказали, на чём можно сыграть, и он обещал демократии сколько угодно.

Коммунисты возненавидели Горбачёва за предательство интересов партии, сдачу позиций и отступление перед экстремистами, назвавшими себя демократами. А основная масса народа, кому, по распространённому тогдашнему выражению, были “до лампочки” и те, и другие, ругала Горбачёва за разрушающуюся на глазах жизнь: дефицит большинства товаров, очереди за всем, что требовалось каждый день.

Больней всего люди реагировали на продуктовый паралич. Еду не покупали, а “доставали”, её не продавали, а “выбрасывали”. Слова: “Бегите в магазин, там “выбросили” колбасу (котлеты, сыр, масло, конфеты)” вызывали не радость, а раздражение. Поэтому, прежде чем ответить на вопрос Нестеренко: “Что ты имеешь в виду?”, — Карабанов показал рукой на стол:

— Ты посмотри, как мы живём! Достойно это человека? Если б не Пашина “кормушка”, не подарки мне от больных и не база Фетисова, мы бы ели сейчас только лосятину с кислой капустой. Вот это я имею в виду. Нашу жизнь... и государство наше... поганое.

В этот момент Фетисов, ещё не остывший от внимания к себе, снова быстро заговорил:

— Машину увезти, сами понимаете, не две палки колбасы списать. А он, дурак, ничё не боится.

— Подожди ты со своей колбасой, — перебил его Нестеренко. — Тут нам доктор опять заведёт про Америку. Он признаёт только одно государство.

Год назад, также зимой, Карабанов улетел с женой в Соединённые Штаты. Перед тем в Союзе побывал двоюродный брат Сергея Марк. За несколько лет до того он с матерью и отцом эмигрировал в Израиль. Но семья Марка, как многие из рвавшихся якобы в “землю обетованную” евреев, даже не тронулась в ту сторону, а повернула в США. Компания, за исключением Волкова, Марка не видела. Однако столько о нём слышала от доктора, что каждый мысленно нарисовал себе его портрет. Для Нестеренки он почему-то был похож на Карабанова — толстый, губастый, только волосы не редкие, а густые, курчавые.

Вернулся из Штатов Сергей другим человеком.

— Старик! Карабаса нам подменили, — с растерянной усмешкой сказал Нестеренко Волкову после первой же встречи с доктором на весенней охоте. И в его словах было не столько шутки, сколько недоумённой тревоги: как будто доктора действительно в Америке клонировали и прислали лишь внешне похожего на Карабанова человека. Сергей, и до того глядевший на советскую жизнь критически, теперь использовал каждую раздражающую мелочь окружающего бытия, чтобы подчеркнуть уродливое несовершенство страны. Он всё сравнивал с тем, что увидел в Соединённых Штатах сам и что слышал теперь от новых знакомых на собраниях неизвестного ему раньше Института демократизации. Туда его пригласили телефонным звонком сразу после возвращения, и он регулярно ходил в затрапезный “красный уголок” картонажной фабрики, где проводил свои собрания Институт.

На каждом таком собрании выступал какой-нибудь человек, который, как его представляли, только что приехал “оттуда” — из США, Канады, Западной Европы. Однако до Карабанова очередь почему-то всё не доходила, и он понял, что это выступают инструкторы. Они говорили каждый о своём: об использовании забастовок для борьбы против власти всех уровней, о методах агитации в трудовых коллективах и на митингах — оказывалось, приёмы должны быть разными. При этом инструкторы поначалу советовали не призывать открыто к насильственному разрушению советского режима, а давать на болевые точки стремительно ухудшающейся жизни. В первую очередь — на нехватку продуктов и отсутствие товаров первой необходимости. “Все революции, — сказал один из “недавно приехавших”, — начина-

ются из-за голода. Вспомните, как удалось начать Февральскую революцию 1917 года в России! Царская Россия была одной из немногих воюющих стран, где не вводились карточки: продовольствия было достаточно. Но умные люди перекрыли пути доставки продуктов в Петроград, и голодные женщины в очередях раскачали царизм”.

Карабанов быстро понял, к чему ведут инструкторы. Некоторое время он колебался — всё же это была его страна, где он родился и вырос, за которую воевал и был ранен его отец, откуда не хотела никуда уезжать его мать — опытный врач-невропатолог. Но слишком многое здесь его уже раздражало, и он принял предлагаемые правила действий.

— Ты оглянись по сторонам, — сказал он электрику, стараясь придать голосу как можно больше товарищеской озабоченности. — Неужель не видишь, Андрей, что всё догнивает? Всё разваливается у этих коммунистов. Ты задел Америку, а я ведь там не видел ни одной очереди. Можешь себе такое представить у нас? Магазины полны товаров и продуктов... На каждом шагу кафе, рестораны. Ты был в Москве в “Макдональдсе”*?

— Не попал. Ну, и что? — огрызнулся электрик.

— А-а... Не попал, потому что там тысячи стоят, хотят попробовать американской еды. А в Нью-Йорке этих “Макдональдсов” — на каждом углу. Поэтому нигде нет очередей. Там слова такого не знают. А какой выбор в магазинах! Мы были зимой. Марк живёт под Нью-Йорком. Там не поймёшь, где кончается город, где начинаются пригороды. Везде одинаково яркая реклама, на дорогах светло от фонарей. Не как у нас: с главной улицы свернул — и конец света. Зашли с Верой в небольшой магазин. Сказал ей, чтоб отвернулась от витрины и стала называть продукты, какие может вспомнить. А я смотрел: есть ли они? Ребята! Мы выдохлись на третьем десятке. Увидели всё, что приходило в голову. Даже вишню и клубнику. В январе! А сколько мы с вами всего забыли! Названий не помним, не то что вкуса!

Волков это слышал ещё год назад, когда был у Сергея дома после его приезда из Штатов. Потом — летом на рыбалке, куда они ездили вдвоём. Поэтому с видом причастного к тайне подтолкнул доктора:

— А расскажи, Сергей, про кефиры.

— Э-э, это отдельная песня. Сколько у нас кисломолочных продуктов?

— Ряженка, — с готовностью начал перечислять учитель. — Кефир. Простокваша. Творог.

Подумав, добавил:

— Сметана.

— Всё? А в Америке раз в десять больше. Если не в двадцать. Ты назвал, Володя, сметану. У нас она в единственном виде.

— Если достанешь, — сказал Волков.

— А в американских магазинах и разной жирности, и разного веса...

— Зачем разного-то? — с сомнением в голосе спросил Валерка.

— Кому-то надо триста грамм, другому — двести. А бабке... старушке одинокой, может, хватит маленькой баночки.

Помощники егеря недоверчиво переглянулись. Волков заметил это.

— Ты про кефиры расскажи, — нетерпеливо напомнил он Карабанову.

— А от этого дела мы вообще растерялись. Представьте метров десять — пятнадцать... даже не знаю, как назвать... витрина што ль? Открытая полка, но сзади холод. На полке разные кефиры... йогурт...

— Эт кто такой? — с подозрением спросил Адольф. — Ёгурт?

* “Макдональдс” — сеть ресторанов быстрого питания. В Москве первый такой ресторан был открыт в 1990 году на Пушкинской площади. Его открытие вызвало небывалое столпотворение. Чтобы попробовать легендарный “Биг-Мак”, москвичи и гости столицы выстраивались в огромные очереди. Однажды за день работники ресторана обслужили больше 30 тысяч человек. Очередь попала в Книгу рекордов Гиннеса. Людей потрясла необычная еда, невиданные ранее контейнеры для бутербродов, бесконечные улыбки персонала, что особенно контрастировало с манерой поведения в советской торговле и общепите тех лет. Цены: “Биг-Мак” — 3 руб. 75 коп.; двойной чизбургер — 3 руб.; одиночный чизбургер — 1 руб. 75 коп. Средняя зарплата в СССР в 1990 году: у рабочих (по всем отраслям промышленности) — 285 руб.; у шахтёров — 611 руб. (прим. авт.).

— Можно сказать: кефир. Одно и то же. Как у Валерки Федя и Альберт. Но этих йогуртов... каких только нет. С вишней. С клубникой. С черникой. С кусочками персика. С шоколадом. Всё открыто. Бери в корзину — и в кассу.

— И не воруют? — хрипло спросил красноглазый мужик.

— Там не украдёшь — весь зал осматривают кинокамеры. Да и зачем, когда всего в избытке.

— Вот чёрт! — воскликнул Валерка. — Почему у нас так нельзя?

Он запустил пальцы в жёсткий вулкан волос над узким лицом, поскрёб в недоумении голову.

— Ёгурды. Мы в сельповский магазин не ходим. Скажи, Николай! Там нечего делать. Мыло дают по карточкам. И то — кусок на месяц. Мыло-то куда исчезло? Эт разве дело? Поедет баба в город — там очереди и пустые магазины.

— Это всё Горбачёв! — грохнул кулаком по столу Нестеренко так, что подпрыгнула тарелка с капустой и огурцами. — Он, тварь, развалил экономику, порядок — всё в стране. При Брежневте жили сытно... Мирно.

— Не считая афганской войны, — холодно бросил доктор.

— А сейчас война по всему Союзу! — рявкнул Нестеренко. — Армяне убивают азербайджанцев. Те — армян. Узбеки — каких-то месхетинцев. В Молдавии — русских. Эт чё такое, ребята-демократы? Сталина нет на вас! Он бы устроил вам карабах-барабах.

— Во! Поглядите на него! А мы хотим перемен.

— Я недавно был в Рыбинске, — сказал Слепцов. — Там наш завод. Прошёл по магазинам — всё пусто. Хлеб и консервы “Завтрак туриста”. Раньше такого не было. Давно туда езжу. Привозил сыры — “ярославский”, “пошехонский”, “угличский”, “костромской”. Всё исчезло. За плавленным сырком очередь.

Он замолчал. Затихли и остальные, думая каждый о своём. Волков вдруг вспомнил, как пылал недавно от стыда в кабинете директорши гастронома. Она была матерью его ученика — ленивого и нагловатого подростка. Можно было вызвать её в школу. Но приближался день рождения жены. Попирая гордыню, учитель позвонил в магазин. В жар бросало не только от взглядов всё понимающей, самодовольной женщины, которая, с трудом вынув из кресла глыбу расплывшегося тела, повела его в подсобку. Стыдно было от того, что он действительно забыл названия продуктов. “Што бы вы хотели?” “Колбасу”. “Какую?” Он пожал плечами. “А ещё?” “Э-э... колбасу”. Женщина снисходительно улыбнулась. “Ну, хорошо, какие у нас есть колбасы, мы подберём. Ещё чево?” Однако Волков ничего не мог вспомнить даже из того небольшого количества названий колбасно-мясных изделий, которые знал по “заказам” Фетисова.

Вспомнив о визите в магазин, он с благодарностью подумал о товаре-де — от скольких неудобств избавлял его Игорь Николаевич своей неброской и как бы даже стеснительной поддержкой. Иной сделает на копейку, а будет представлять дело так, словно сотворил грандиозное благо, будто ради этого одолел невероятные трудности и потому благодетельствованный им должен помнить это если не всю жизнь, то уж обязательно многие годы.

Игорь Николаевич был для компании вроде камертона миролюбия. Его старались не задевать даже лёгкой иронией, не говоря о грубоватых, порой беспардонных мужских шутках, как это норовили сделать при каждом удобном случае с остальными. Если трогали, то скорее с заботливым добродушием, не переходя грань. На одной из прошлозимних охот лося взяли совсем уж поздно, в сумерках. Стреляли сразу двое: Нестеренко и товаровед. Пока егеря разделявали тушу, Фетисов с беспокойством ходил вокруг. Время от времени взрывал носком валенка снег, словно пытаясь что-то найти.

— Чего потерял? — спросил Нестеренко, закусывая выпитую “на крови” водку.

— Галюша куда-то... Она у меня слабо сидит.

Когда перевернули тушу лося, чтобы снимать шкуру с другой стороны, кто-то из егерей крикнул:

— Э-э! Тут чья-то галоша!

Ядовитый электрик отреагировал мгновенно:

— Это Фетисова! Его смертельное оружие! Он у нас лосей галошами бьёт.

Но товарищи не подхватили шутку Андрея, хотя каждый понимал: случись такое с ним, компания долго бы издевалась над “стрельбой галошами”. Хмыкнул только Слепцов, да и тот сразу загнулся. Маленькая фигурка Фетисова в давно приношенном офицерском бушлате, в выцветшей до рыжины ондатровой шапке, с болтающейся на груди муфтой — в ней Игорь Николаевич грел руки, стоя на “номере”, — вызывала больше сочувствия, чем смеха.

Выпивая, Фетисов быстро пьянел; глаза начинали слезиться; он, стараясь не привлекать внимания, вытирал их, и чаще рассеянно, нежели с интересом, слушал кипящие споры товарищей.

Однако на этот раз он даже немного подсердился оттого, что ему не давали сказать до конца. Улучив момент в напряжённо-злой тишине, Фетисов быстрым говорком зачастил:

— Говорю ему: плохо кончится. Очень будет плохо. По складам нельзя пройти. Забиты. Одежда всякая... Дублёнки... Костюмы. Обuvi под потолок. А продукты! Некуда ставить. На путях держим... В вагонах.

Все разом повернулись к Фетисову.

— Консервы... банки... Эти можно долго хранить. А скоропортящийся продукт? Масло... сыры. Пока в холодильниках. Колбасы — сервелат, сырокопчёная — могут полежать. Хотя у них тоже срок хранения не вечный. А варёные колбасы? Сосиски... Сардельки... Окорочка... грудинка-корейка... карбонат... буженина...

— И это всё у вас есть? — ошарашенно выдавил Нестеренко.

— Девать некуда. Какой-то команды ждёт. А когда она будет? Уже две машины варёных колбас отвезли в лес. Выбросили. Говорю ему: Григорий Евсеич, будешь крайним. С тебя спросят. А он: “Не время пока. Скажут, когда надо. Не одни мы держим. Вокруг Москвы много составов”.

В избе стало тихо, как будто из неё все мгновенно исчезли. Только потрескивали горящие дрова в печи. Наконец, учитель, запинаясь, проговорил: — Игорь, ты... ты понимаешь, что вы делаете?

Он стал доставать сигарету, но пальцы никак не могли её захватить.

— Вы натравливаете голодный народ на власть. Губите страну.

— Правильно делают! — резко, с незнакомым металлом в голосе произнёс Карабанов. — Эта власть уже погубила страну. Осталось подтолкнуть.

Доктор понял, что это и есть реализация того плана, о котором он слышал летом минувшего года.

Глава третья

Тогда его после очередной встречи в Институте демократизации позвал с собой на “интересное собрание” один из новых знакомых — младший научный сотрудник какого-то НИИ Анатолий Горелик. Горелик был моложе доктора. Лысоватый, с остатками редких светлых волос на темени, с выпуклым лбом и размыто-голубыми глазами, он, казалось, только что был отстиран с моющим средством “Белизна”. Своей нездоровой бледностью и слабым телом сутулый Горелик напоминал скорее подростка-домоседа, не знающего улицы, чем активного мужчину митингов и площадей. Но это впечатление было обманчиво. Перед толпой Горелика распрямляло, в слабом голоске появлялась твердь, и какая-то тревожная, фанатичная сила захватывала стоящих рядом людей. Организаторы собраний в Институте называли Горелика “активистом демократического движения со стажем” и новичкам советовали к нему прислушиваться. Но Карабанов, привыкший сам быть не среди последних, с иронией глядел на этого неказистого *комиссара нового времени*.

— Куда поедет? — спросил он, раздумывая, садиться ли ему в “Жигу-

ли” Горелика или пойти на автобус — из школы должна была прийти младшая дочь-пятиклассница, в которой Карабанов не чаял души.

— Давайте, давайте, Сергей Борисыч! К нам приехали из Московской ассоциации избирателей. Собрание... (он глянул на часы) уже идёт.

Их не сразу пропустили в зал, хотя он был заполнен людьми наполовину. Один из двух крепких парней, стоящих возле дверей, куда-то сходил с паспортом Горелика. Вышел человек. “Активист со стажем” показал на доктора: “Это — наш...”

Разговор шёл примерно о том же, о чём говорили в Институте демократизации. Как агитировать? Что обещать? Как преподнести имеющиеся у партократов привилегии: спецполиклиники, казённые загородные дачи, жильё повышенной комфортности.

— Если у директора завода или секретаря горкома партии трёхкомнатная квартира на троих, — говорил тонким женским голосом стоящий рядом с трибуной упитанный мужчина, — найдите конкретную семью простого рабочего, где трое живут в двухкомнатной... А лучше — в однокомнатной. Поднимайте шум о несправедливости... Пусть люди задумаются: нужна ли им такая несправедливая власть?

Однако на том собрании доктор услышал и нечто новое. Из президиума, где сидели три человека, несколько раз прозвучали неожиданные для него слова: “Мы должны захватить власть...”

Собрание вёл невысокий плотный человек с плечами штангиста и круглым лицом простачка.

— У нас есть шансы для победы, — сказал он после выступления очередного активиста из зала. — Нужно ставить на учёт каждого депутата РСФСР. Он должен понять, что если он будет голосовать не так, как скажет Межрегиональная группа, то жить ему в этой стране будет невозможно.

“Ого! — удивился Карабанов. — Вот это демократия! Расстреливать, што ль, будут?”

Горелик провёл доктора поближе к президиуму — свободных мест в зале было много, и тут Карабанов как следует разглядел главного. Это только издали лицо председателя показалось ему лицом добродушного простачка. Теперь он его увидел другим. Большую круглую голову охватывала шапка коротко стриженных, густых и, видимо, очень жёстких волос — косо падающий на середине низкого лба тёмный клин не сдвигался, даже когда председатель энергично тряс головой. Казалось, какая-то хищная птица распласталась на его голове, сбросила жёсткое крыло на лоб и, вцепившись в голову, не собирается выпускать свою добычу.

— Во время уличных митингов, — заговорил поднявшийся в соседнем ряду парень, — не обойдётся без драк, нарушения общественного порядка. Будет проливаться кровь. Кто защитит наших? Кто будет платить штрафы и защищать в судах?

— Пусть это вас не беспокоит, — заявил сидящий слева от председателя мужчина с длинным, как лошадиная морда, лицом. — У нас есть деньги, чтобы платить штрафы. Есть список 30 адвокатов, которые будут защищать наших людей, попавших к властям.

“Это кто?” — тихо спросил Карабанов Горелика. Тот пожал плечами. “Наверно, какой-то адвокат”. “А этот?” — показал доктор на вставшего за столом президиума председателя. “О-о! Это известный экономист... Гаврила...э-э... Маратоныч, кажется. Один из лидеров Межрегиональной депутатской группы. Она сейчас главная сила демократии. На ней держится Ельцин. Подождите. Надо слушать”.

В это время председатель подошёл к трибуне и снова заговорил о власти.

— Власть должна перейти к нам. Демократия... Церемониться больше нельзя.

“Да-а... Тебе власть только дай, Макароныч, — опять мысленно усмехнулся доктор. — Служил Гаврила демократом...”

А тот, пренебрежительно вздёргивая верхнюю губу, напористо диктовал:

— Для достижения всеобщего народного возмущения надо довести систему торговли до такого состояния, когда ничего нельзя будет приобрести.

Ничего! Таким образом можно добиться всеобщих забастовок рабочих в Москве и в других городах. Затем ввести карточную систему. Но карточки обеспечивать не полностью. Товаров здесь должно не хватать. Сильно не хватать. Какую-то часть... может, значительную часть товаров направить в кооперативы и продавать по произвольным ценам. Это тоже вызовет возмущение.

“Значит, дела пошли”, — подумал доктор, меньше других пораженный сбивчивым рассказом Фетисова. Хотя дефицит уже давно тряс страну, Карabanов относил это на счёт неумелых действий горбачёвской команды. Однако теперь он понял, что, оказывается, активно работали и другие силы. Гордый своим участием в этой большой, невидимой деятельности, он ещё жёстче повторил, глядя на Андрея Нестеренко:

— Пусть быстрее всё развалится. Эта власть уже погубила страну.

— Как говорил лысый вождь большевиков Ленин: чем хуже, тем лучше, — весело добавил Слепцов.

— Да вы что! — закричал Нестеренко. — Вы ж диверсанты, эти вашу мать! Враги народа! Вас расстрелять мало!

— Не преувеличивай, Вольт, нашу роль, — бросил Слепцов, наливая себе в стакан водки. — Мы видим то, что давно разглядели другие: Горбачёв нам послан судьбой. Может, он действительно недоумок, как считают у нас. Но наша публика...

Он перемял тонкие губы не то в улыбке, не то в безразличии:

— ...это особая публика.

Глава четвертая

Слепцов был заместителем главного экономиста на крупном заводе с ничего не говорящим непосвящённому человеку названием. Таких предприятий в Советском Союзе было много. И ни по их “именам” — “Сплав”, “Баррикады”, “Южное”, “Титан”, “Рубин” и тому подобные, — ни даже по названиям министерств, к которым они относились, нельзя было определить, какую продукцию они выпускают. Например, ядерную начинку для ракет с атомными боеголовками делало Министерство среднего машиностроения. А было ещё Министерство тяжёлого машиностроения, Министерство общего машиностроения, просто Министерство машиностроения и ещё с десятком подобных ведомств, которые, наряду с гражданской продукцией, выпускали военную.

Завод, где работал Павел Слепцов, создавал системы управления ракетными комплексами и был связан по кооперации почти с тридцатью предприятиями в разных республиках Советского Союза.

Кадры военно-промышленного комплекса, на самом деле, были “особой публикой”. Благодаря улучшенному социальному обеспечению — жильём, продуктами, товарами, здравоохранением, отдыхом — сюда отбирались наиболее подготовленные специалисты. На закрытых заводах и в моногородах продолжалось постоянное их обучение. Поэтому даже рабочие были хорошо знакомы со всеми технологическими новшествами советского и зарубежного производства. Это поднимало их в собственных глазах, развивало чувство достоинства, делало людей раскованными и достаточно свободно мыслящими.

Особенно сильно это чувствовалось в инженерно-конструкторской среде, где непрерывно шло соревнование идей, где постоянно сравнивалось “сделанное у нас” с “выпущенным у них”.

Приход к власти Горбачёва многие в конструкторских бюро и на предприятиях военно-промышленного комплекса встретили с удовлетворением. Всем надоела шамкающая старцы на трибунах, созданный ими застой последних лет, и потому молодому, улыбчивому генсеку хотелось пожать руку.

Но первоначальная эйфория быстро сменилась настороженностью. Открыв без учета психологии и сформированного за десятилетия менталитета советского человека люки гласности, через которые, вместе с тонкими струй-

ками свежего воздуха, попёрла зловонная жижа яростной критики ВПК, Горбачёв столкнул одну часть народа — миллионы работающих на предприятиях военно-промышленного комплекса, а также тех, кто в той или иной степени имел отношение к обороне страны, с остальным населением.

Одновременно сумбурные и противоречивые, под стать, как стало выясняться, сути самого Горбачёва, планы конверсии и сокращения вооружений ударили по обороноспособности Советского Союза. Слепцов, как многие люди его уровня осведомлённости, наблюдал сначала с изумлением, а потом с опустошённым безразличием за драматической судьбой советского ракетного комплекса “Ока”. Созданный в Коломенском КБ машиностроения под руководством академика Сергея Павловича Непобедимого ракетный комплекс был принят на вооружение в 1983 году. В НАТО ему дали имя “Паук”. Фрагменты “Оки” делали в разных местах страны. Самоходную пусковую установку и шасси — в Волгограде и Брянске, ракеты — на Воткинском машиностроительном заводе в Удмуртии.

К моменту постановки на боевое дежурство комплекс не имел аналогов в мире. А после оснащения его системой преодоления противоракетной обороны (ПРО) стоящий на вооружении стран НАТО американский противоракетный комплекс “Patriot” стал, по признанию военных Запада, “абсолютно неэффективным”.

В 1987 году на испытания была направлена усовершенствованная пусковая установка “Ока-У”. Она отличалась ещё более высокой точностью, стремительной подготовкой к залпу из походного положения и практически полной неуязвимостью ракеты, которая могла нести, кроме обычного, ядерный заряд. Ракета управлялась в течение всего полёта и способна была на ходу перенацеливаться на любой другой объект поражения.

Но испытания из-за вмешательства Горбачёва прекратили. В апреле 1987 года в Москву для переговоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности приехал госсекретарь США Шульц. В эту категорию попадали ракеты с полётом от 1000 до 5500 километров (средняя дальность) и от 500 до 1000 километров (меньшая дальность). Советская “Ока” не подпадала под эти ограничения: её дальность полёта составляла 400 километров. Но американцы хотели во чтобы то ни стало включить в число уничтожаемых и опасную для них “Оку”.

Зная, что их в этом поддерживает министр иностранных дел СССР Шеварднадзе, который настойчиво подталкивал к такому же решению генсека, советские военные написали для Горбачёва памятную записку. В ней советовали ни в коем случае не соглашаться на предложения американцев, поскольку это нанесёт урон советской обороноспособности.

О том, что произошло на встрече Горбачёва с Шульцем, через некоторое время стало известно оборонщикам. Шульц сказал, что если генсек согласится включить в Договор ракеты “Ока”, он может смело ехать в Вашингтон для подписания документа эпохи. Горбачёв засиял. Ему всё больше нравилось, что каждый его новый шаг руководители западных стран, а от них — пресса преподносят как действия исторического значения. Он немного поколебался, потом заявил: “Договорились”.

В осведомлённых кругах передавали последующий разговор Горбачёва с начальником Генштаба маршалом Ахромеевым. Тот спросил генсека, почему он согласился на уничтожение целого класса новейших ракет, ничего не получив взамен? Горбачёв сначала сказал, что забыл о предупреждении военных. Потом признал, что, наверно, совершил ошибку. Однако когда Ахромеев попросил немедленно сообщить Шульцу, пока тот не вылетел из Москвы, о прежней советской позиции, Горбачёв напыжился. По своей хамоватой привычке всех нижестоящих называть на “ты” — чтоб знали дистанцию! — пробормотал маршалу: “Ты предлагаешь мне сказать госсекретарю будто я, Генеральный секретарь, некомпетентен в военных вопросах? Такого не будет”.

Возвращаясь из Москвы в Вашингтон, Шульц сказал в самолёте американским журналистам, что включение ракет “Ока” в Договор “было настолько односторонне выгодным для Запада, что он не уверен, смогли бы со-

ветские руководители проверить это, будь в Москве демократический законодательный орган”.

Слепцов узнал об этом через несколько месяцев. Всем, кто не соглашался поддерживать, по сути, предательское решение Горбачёва, грозили партийными наказаниями, а значит, лишением должности, и потому обсуждение вышло за рамки секретности.

В декабре 1987 года Горбачёв и Рейган подписали Договор. Спустя два года, в 1989-м, было уничтожено более 200 самых неуязвимых советских ракет ближнего радиуса действия.

Американцы не замедлили воспользоваться “подарком недоумка”, как стали называть эту историю и её автора ракетостроители. Вскоре после подписания Договора они начали готовить к размещению в Европе свои ракеты “Лэнс-2” с дальностью, превышающей полёт “Оки”. Поэтому слова Андрея Нестеренко о диверсантах обидели Слепцова. “Не там, Вольт, ищешь врагов”, — с раздражением подумал он. А вслух с вызовом произнёс:

— Власть надо менять! На другую.

— Ну, тебе бы, Паша, на власть обижаться не надо, — заметил Волков. — При другой, не советской, стал бы твой отец генералом? Ходил бы в крестьянах. Быкам хвосты крутил.

— Наполеоновский маршал Мюрат был сыном конюха, — отрезал Слепцов. — В Америке сплошь и рядом президенты из простых. Авраам Линкольн, например, — лесоруб. А мой дед, к твоему сведению, был лесничим. Так что не надо повторять сказку про большие возможности в нашем мире и полное отсутствие их там.

— Когда воздух есть, его не замечаешь. А как полиэтиленовый пакет на голову наденут, сразу вспомнишь. Ты в садик ходил бесплатно? В школе учили бесплатно? Институт закончил — тоже ни рубля?

— Не забудь про музыкальную школу, — со злостью добавил всё ещё потрясённый Нестеренко. — Считай — дали ещё одну специальность. Случься чего, скрипку в руки — и опять сытый.

— За мою специальность не переживай, Вольт. Она всегда будет востребована. Ракеты нужны и коммунистам, и капиталистам. А скрипка... Это прошлая жизнь...

Глава пятая

Отец Павла страстно любил музыку. Самому не удалось выучиться играть — завидовал тем, кто умел. Когда на вечере в пединституте, куда пригласили слушателей военной академии, он услышал игру на фортепиано белокурой девушки, сразу решил, что именно это его судьба.

Учиться играть на инструменте матери Павла сначала уговаривали. Потом стали заставлять. Он не поддавался. Отец готов был уже согнуть упряма “через колено”, но мама поняла: насильно мил инструмент не будет.

На скрипку младший Слепцов согласился только потому, что не тяжело носить и при нужде легко прятать. Но увлёкся, и когда семья вернулась из Германии в Советский Союз, уже с охотой пошёл в музыкальную школу.

Став взрослым, инструмент почти забросил. Брал в руки, чтобы привлечь очередную девушку или сделать приятное родителям. Несколько раз привозил скрипку на охоту. Это был период, который Нестеренко назвал “охотой на лис”. Первым “открыл сезон” Сергей Карабанов. Пряча смущение в серых глазах под набрякшими веками, он неуверенно сказал товарищам, что приедет с женщиной. Бурно возражал только Нестеренко:

— Баба на охоте и на корабле — к беде, — запротестовал электрик, в прошлом матрос Северного флота.

Остальные отнеслись к сообщению доктора кто с интересом, кто безразлично.

После доктора с женщиной появился Волков. Потом Слепцов. Андрей Нестеренко долго был против того, чтобы соединять настоящую охоту с “охотой на лис”. Но, в конце концов, сдался и он, высадив однажды из ма-

шины высокую, налитую здоровьем шатенку с большой грудью и крутыми бёдрами.

Если Карабанов приезжал на некоторые охоты с одной и той же медсестрой из своей больницы, то другие были не так постоянны. Нестеренко и Волков раза по два привозили новых женщин. Однако со временем снова перенесли “охоту на лис” в городские условия, с удовольствием отдав кухонную работу на базах подругам своих товарищей.

Менял женщин и Павел Слепцов. Но происходило это какими-то “залпами”.

На охоте мужчины, как правило, становятся несколько иными, чем в обычной обстановке. За столом, а особенно в бане, мягчают, выплёскивают то, о чём в другое время промолчали бы. К тому же дают о себе знать характеры. Импульсивный и часто открытый Нестеренко мог бесшабашно рассказать о каких-нибудь перипетиях семейной жизни, не видя в этом ничего плохого. Жёну он не то чтоб переживательно любил — с годами пылания переходят в ровное горение, — но, как понимали товарищи, был к ней неотделимо привязан. Любовницы только завихряли его чувства, однако доводить отношения до выбора: я или жена — он не позволял.

Доктор в присутствии медсестры Нонны — невысокой, слегка полнеющей, но всё ещё аккуратной сложенной женщины, с чуть выпуклыми зеленоватыми глазами и массивной переносицей, что говорило о буйной страсти, вёл себя то как хозяин и взрослый мужчина, то словно ребёнок. О семье он говорил мало. Но Волков, бывавший у него дома, видел за внешне вежливыми отношениями с женой скрытую холодность и с одной, и с другой стороны.

Учитель так же, как и Нестеренко, ценил свою жену. Она была у него второй — с первой, студенческой, они разошлись быстро, без драм и скандалов, как-то по-товарищески. Может, потому, что не успели родить ребёнка, может, благодаря волковской натуре. Он и до того развода, и позднее сходилась с женщинами легко, был с ними дружелюбен, от чего даже после расставаний они сохраняли с ним тёплые, доверительные отношения, нередко рассказывая о своих новых любовниках, советуясь по поводу пикантных ситуаций, которые возникали у них с его “сменщиками”.

О делах в семье Слепцова товарищи больше догадывались, чем знали. Скрытный и сдержанный по натуре, он тем более сразу замыкался, едва кто-нибудь, забывшись, спрашивал о семье. Про сына мог скупо вато сказать, жене и этого не доставалось.

О том, что Слепцов развёлся, компания долго не подозревала. Лишь появление с Павлом сначала одной женщины, потом — через охоту — другой, за ней — через пару охот — третьей толкнуло бесцеремонного Андрея Нестеренко на расспросы. В бильярдной комнате была только своя компания. Женщины в столовой собирали посуду после ужина. Егеря ушли спать. Слепцов сухо и коротко сказал вроде электрику, а на самом деле всем, потому как остальные тоже заинтересованно смотрели на Павла, что теперь он свободен и звонить ему надо на квартиру родителей.

Потом случился новый “залп”. Компания только успевала знакомиться с кратковременными подругами Слепцова — в основном, очень молодыми женщинами. Каждой из них он играл на скрипке свою любимую мелодию из американского фильма “Серенада солнечной долины”.

Женщины, не задерживаясь, меняли одна другую, словно Павел хотел кому-то и что-то доказать. Пока однажды с ним не появилась примерно его лет дама — стройная, высокая, с аристократическим лицом и жгуче-чёрными крашеными волосами. Она оказалась однокурсницей Слепцова, которую тот когда-то до потери самообладания любил, да и она была к нему неравнодушна. На последнем курсе стали жить открыто. Его и её родители перезнакомились в ожидании свадьбы. Но вдруг словно смерч подхватил Анну — так звали слепцовскую невесту: и она в считанные дни вышла замуж. Уехала в Саратов с человеком старше неё, родила двоих детей, после чего муж-профессор увлёкся своей аспиранткой.

Анна вернулась с детьми — уже школьниками — к родителям. Случайно на улице встретила Павла. Они просидели на скамейке в осеннем парке

до темноты, поскольку идти ни к нему, ни к ней было нельзя. Через некоторое время открывался охотничий сезон, и Слепцов взял Анну с собой.

После этого он приезжал с нею часто, но ни разу не привозил скрипку. Тем более не брал “стонущий инструмент”, как его назвал однажды Нестеренко, когда ехал на охоту один.

Со временем товарищи даже подзабыли про “музыкальный довесок” Слепцова, и вот теперь электрик с издёвкой напомнил об этом.

— Жалко, у нас с тобой, Андрей, нет такого же запасного аэродрома, — примиряющее сказал Волков, видя, как ходят скулы у Слепцова. — Пашин талант не одному ему может пригодиться.

Слепцов удовлетворённо покивал, все стали расслабляться, как вдруг Валерка, словно чёрт из-за угла, снова вбросил колочую тревожину.

— Нет, я всё-таки не пойму: почему за границей еда есть, а у нас её нету?

— Потому что диверсанты прячут! — немедленно отреагировал Нестеренко. Оглушённый сообщением Фетисова, он даже табуретку отодвинул от товароведа. Однако и это его не успокоило.

— Теперь вы видите, кто такой “пятнистый” и его твари? Явных врагов не могут арестовать и повесить!

Своё гневное “твари” инженер произнёс с такой яростью, что Волков вдруг подумал: дай Андрею сейчас возможность, он, не колеблясь, уничтожил бы Горбачёва из своего пятизарядного МЦ 21-20.

— Тебе везде мерещатся враги, — отчуждённо бросил Карабанов и, повернувшись к Валерке, пояснил:

— Там — рынок. Поэтому всё есть.

Валерка выдернул пятерню из дыба волос.

— Ну, и что? У нас тоже есть рынок... В Петровске. Скажи, Николай! Раньше хороший был рынок. Сейчас, конечно, не то...

Доктор засмеялся.

— Это разные вещи, Валера. Там экономика по-другому построена. У нас из Москвы планируют, сколько кастрюль выпустить в Ташкенте... на авиационном заводе. Вон спроси Пашу! Планируют, сколько ботинок сделать на ленинградской фабрике... и сколько где-нибудь в Харькове. А там каждый хозяин решает сам. Видит, его ботинки разбирают — тут же покупает больше кожи, подошв, шнурков — всё это в свободной продаже. Производители этого добра также реагируют на спрос. Есть потребность — увеличивают производство. Нет — сворачивают. И никаких Госпланов! Никаких планов вообще!

— Ну, это вряд ли, — усомнился Волков. — Планировать всё равно нужно. Сколько подошв делать? Сто или тысячу? Как же без плана?

— Умная рука рынка, Володя, регулирует всё сама. Есть спрос — производитель увеличивает выпуск и поднимает цену. Много предложений — цена сразу падает. А у нас? Ты посмотри хотя бы на бензин. Страна заливается нефтью, гонит за границу — в соцстраны задарма. Настроили перерогонных заводов, а бензина нет. Люди ночуют в очередях.

— Да, это сволочизм, — со злостью согласился учитель, вспомнив, как перед охотой метался с канистрами от заправки к заправке. — Совсем разучилось государство управлять.

— Оно и не должно управлять, — заявил доктор. — Доуправлялись!.. Был бы рынок — заправки стояли б на каждом углу.

— И цена бензину — копейки, — добавил Слепцов.

— А кому за ценами следить? Если государство, по-вашему, не должно руководить экономикой, кто будет регулировать всю эту кухню? Количество бензина? Цены на него?

Слепцов снисходительно усмехнулся. Как надоевшему ребёнку, пояснил:

— Рынок, Франк. Только он. Его умная рука.

— Заладил, как попугай: рынок, рынок, — сердито оборвал Слепцова учитель. Он разозлился даже не на кличку, хотя сейчас она, как показалось ему, прозвучала довольно пренебрежительно, и Волков с досадой подумал о

* МЦ 21-20 — одноствольное ружьё-автомат с магазином на 5 патронов для любительской и промысловой охоты. Изготовитель — Тульский оружейный завод (прим. авт.).

том, что Слепцову тоже надо было давно дать какое-нибудь прозвище. Карабанов у них был Карабас. К Нестеренке — за его бурную, словно наэлектризованную энергию, которая иногда, казалось, исходила не только от резких жестов и движений, но даже от черт грубоватого лица, как карта в масть, легла кличка Вольт. Фетисова товарищи, не мудрствуя лукаво, назвали Базой. Учителю ничего лучше не придумали: коль преподаёт французский, значит, Франк. И только с кличкой для Паши Слепцова у компании не получалось — какой-то он был неуловимый. “А надо бы”, — подумал Волков, злясь от неприятной ему, враждебной наступательности Карабанова и недобрых реплик Слепцова.

— А если владельцы заправок сговорятся? Установят, какую захотят, цену. Кому тогда жаловаться?

— Паша прав, Володя. Во всём другом... не нашем мире... государство абсолютно не вмешивается в экономические процессы. Их регулирует сам рынок. И никаких планов-Госпланов. Ни маленьких, ни больших.

Сухое лицо Слепцова слегка скривилось, и в глубине провалов-глазниц скользнула заметная усмешка. Он пожал плечами, но ничего не сказал. В отличие от доктора, Павел неплохо знал зарубежную экономику и перемены в ней за последние десятилетия. Свободно владея немецким языком — его он начал учить ещё в детстве, в Германии, где отец долго служил представителем одного из советских министерств, — Павел в институте занялся английским. Работая на заводе, языки не забросил. Теперь мог читать на двух языках даже специальную литературу, не говоря уже о периодических изданиях. Перспективное планирование имелось везде: в работе корпораций, крупных фирм, на уровне государственной власти. Иначе нельзя было двигаться вперёд. Недостаточно поставить цель — надо просчитать и запланировать достижение всего необходимого для её достижения.

Больше того. Как раз под влиянием советской плановой системы в развитых капиталистических странах становилось нормой разрабатывать долгосрочные планы, а государственная власть всё активней участвовала в регулировании экономических процессов. Это Павел знал из разных источников, и тут доктор почему-то явно искажал действительность.

Но Слепцов не стал опровергать Карабанова. “Зачем? — подумал он. — Одним обманом меньше, одним — больше. А разъяснять, куда нас несёт, как этого хочет Волков... Кому? Этим мужикам? От них всё равно ничего не зависит. Народ?.. Это стадо овец: куда поведут вожжаки-бараны, туда побежит и стадо... Карабас пробивается в вожжаки. Мы с ним разные, но рядом. Остальные — там... Сзади... Не надо мешать Сергею...”

А Карабанов повёл взглядом по лицам сидящих за шатким столом и вдохновенно заговорил:

— Сегодня у нас с вами январь девяносто первого. Вот если, как задумано... если всё удастся... — он постучал согнутым пальцем по столу, сплюнул — “чтоб не слезить”, — лет через восемь-десять встретимся и не поверим, что была такая жизнь. Игорь ещё не уйдёт на пенсию... да она и не нужна ему будет! Наш Фетисов станет хозяином этой базы... ну, тогда её назовут как-нибудь по-другому... Он будет богатым человеком. Продуктов на базе — завались, а мы его ни о чём не просим: не нужны нам к празднику заказы... в магазинах всего полно.

Володя Волков станет директором школы. Дети все сытые, ухоженные... В семьях у них — полный достаток. Бедных в этой стране тогда вообще не будет. Матери не работают — отцовской зарплаты на всё хватает... Даже на будущее откладывают. Сам Володя тоже богатый... как во всём мире. Учитель везде — высокооплачиваемая профессия...

Так будет или по-другому, Карабанов в действительности не знал. Он выполнял рекомендацию, которую слушателям повторяли на каждом собрании в Институте демократизации: “Рисуйте самые яркие картины возможной жизни. Не душите свою фантазию. Абсолютное большинство людей ничего не знают о другом мире. Чем сильнее будет отличаться окружающая их жизнь от нарисованной вами, тем больше людей встанут под знамёна кардинальных перемен”.

— Ну, про Андрея ничево сказать не могу. Инженеры-электрики нужны будут — это понятно. Хотя Андрей со своими политическими взглядами... Найдёт ли он себе место в новой жизни?

— Найду, найду, не бойсь! — отрезал Нестеренко. — Только Горбачёва надо убрать. От него вся зараза идёт. Не понимает, где должна быть демократия, а где — кулаком стукнуть. Ты, когда делаешь операцию... тобой кто-нибудь командует? Медсестра... Нонна, например. Иль кто другой из рядовых?

— Когда я провожу операцию, я там главный. Меня обязаны слушать все. В человека... в его организм нельзя лезть, кому попало.

— А-а-а, — насмешливо протянул электрик. — А в производство... в тот организм, значит, любой может залезть? Помнишь, мы говорили о выборе директоров?

— И што?

— А то. Их вот не коснулась эта чума (показал на Слепцова и Волкова).

— Нас тоже задела, — усмехнулся учитель. Нестеренко повернулся к нему.

— Задела... Вас задела, а по нашему заводу прокопытила. Карабас тогда уверял, помнишь? “Демократия! Люди перестанут работать из-под палки! Выберут лучших руководителей!” Мне сразу было видно: из той демократии выйдет один бардак. Хорошее дело — контроль народа. Но всякому овощу — свой срок. А главное — умный огородник. Кого можно под шум и гам избрать? Кто больше орёт и обещает все деньги пустить на зарплату. А станки обновлять? А новые технологии? Выбрали. Сидел в профкоме, собирал взносы. До горбачёвской смуты его никто не знал. Потом, оказывается, поехал в Таллин — родня, што ль, у него там? И как подменили мужичишку: стал обещать золотые горы, обвинил Хайрулина — это наш бывший... Не умеет, говорит, работать в условиях перестройки.

Нестеренко нахмурился.

— Рассказывал сказки, как Серёга сейчас. Оказался арап. Всё развалил. Теперь — в российских депутатах. Вертится возле Ельцина.

— Нельзя судить по одному примеру! — резко возразил Карабанов. Его рассердило сравнение с директором-арапом. — Свободный рынок и демократия в управлении — это близнецы-братья. Спросите Пашу!

Электрик махнул рукой и пошёл за бутылкой минеральной воды к старому, дребезжащему холодильнику.

А Слепцов негромко хмыкнул, но вмешиваться опять не стал. Он помнил тот разговор. Его тоже тогда удивила идея Горбачёва “восстановить начала советского самоуправления” через выборность руководителей предприятий. Это отдавало давно забытой анархией первых послереволюционных месяцев, когда управлять ставили не по знаниям и умению, а по классовой принадлежности и выбору толпы. Время показало небольшой эффект от народного признания. Командирами, чаще всего, становились зажиточные масс с лужёной глоткой и подвешенным языком, хотя требовались специалисты.

Ничего подобного не было и за рубежом. Политическая демократия — это одно, а управление экономикой, бизнесом — совсем другое. Здесь царил жёсткое единоначалие. Поэтому Слепцов ещё тогда понял, что Андрей Нестеренко, скорее всего, окажется прав.

Так и случилось. Многие люди, придя на волне демократизации к руководству коллективами, оказались просто демагогами. К тому же нередко — с корыстными целями. Как экономист, Павел знал, что нужно строго соблюдать финансовые пропорции между разными тратами. Непродуманный перекос в одну сторону вызовет болезненное состояние других направлений. В первый год горбачёвского руководства страной предприятиям промышленности из полученной прибыли оставлялось 23 процента средств на развитие производства, а 15 процентов — на экономическое стимулирование, то есть на различные добавки к зарплатам.

Массовое избрание руководителей перевернуло пирамиду наоборот. Идя на поводу “коллективного эгоизма”, новые директора переставали думать о завтрашнем дне. Основная масса денег пошла на увеличение зарплат, пре-

мий, надбавок. В 1990 году из 43 процентов оставленной на предприятиях прибыли 40 процентов было пущено на экономическое стимулирование. Обновлению и развитию не досталось почти ничего.

Так что доктор снова говорил о том, чего не знал, и Павел впервые почувствовал своё превосходство.

Но остальные с интересом ждали, кому какое будущее предскажет Карabanов.

— А ты кем будешь? — спросил Волков доктора.

— Он тут не останется. Рванёт к Марку, — с сарказмом заявил Нестеренко, садясь на своё место, — за хорошей жизнью.

— Не угадал. Сейчас только дурак поедет отсюда. Наоборот, Марку надо сюда. Когда мать осядет, откроется много любопытного. Самая рыбалка — в мутной воде.

“Значит, действительно Мария сглупила, — подумал Волков. — Говорил ей: остановись... Кто вас трогает? Кому вы нужны? Пятый пункт... Будут еврейские погромы... Какая-то сволочь специально пугала. Ефим — профессор... Сама — в министерстве. Лёвка поступил бы в университет. Упёрлась — поедет в Штаты. Израиль — это повод... Надо, чтобы выпустили. А жить будем в Америке”.

Волков вспомнил, как резко, за какие-то месяцы, изменилось поведение Марии. Каждая их очередная тайная встреча всё больше напоминала диспут о положении евреев в Советском Союзе. Мария называла факты притеснения евреев, но почему-то примеры были не из их города, а из других, далёких мест. Где-то какого-то Аркадия Абрамовича уволили с работы. Где-то талантливую Софью Моисеевну не допускали заведовать кафедрой. Волков насмешливо спрашивал: “Почему?” — “Евреи”, — отвечала Мария.

Ещё недавно здравомыслящая и весёлая подруга на глазах превращалась в агрессивную, зашоренную и не воспринимающую никаких доводов женщину.

— Кто тебе это внушает? — требовал ответа Волков. — Ты же умная баба, Муся. Сама принимала и увольняла людей. Может, Аркадий Абрамыч — лодырь и ни к чёрту не годится. Если, конечно, он существует вообще. А Софья Моисеевна не доросла... Как твой инспектор Гольдин... Ты сама рассказывала о его амбициях, хотя он ноль.

Мария резко возражала, уверяла, что факты — подлинные, и называл их ей какой-то Александр Викторович.

Взвинченные, они с трудом успокаивались, и заторможенность не сразу уходила даже в постели.

Осенью 1989 года Мария с мужем и сыном уехали из Союза. Но почему-то оказались не в Соединённых Штатах, куда рассчитывали попасть, а в Израиле. Однажды она позвонила ему на работу. Говорить в учительской было неудобно — уроки ещё не начались, и люди не разошлись по классам. Но даже из разговора эзоповым языком Волков понял: Марии очень плохо. “Муся, я могу чем-то помочь?” — спросил он взволнованно. “Нет. Выбор сделан”, — сказала женщина. И торопливо добавила: “Целую тебя, Волчок. Будь осторожен. Не наделайте там глупостей. Помните о данайцах...”*

Он понял: Мария не рискует что-то сказать по международному телефону из Израиля и предупреждает о чём-то в расчёте на его догадливость. “Что она имела в виду? — думал учитель, слушая новую перебранку Карабанова с электром. — Ельцинские отряды демократов?”

Андрей напористо спрашивал доктора, то хмуро сдвигая широкие чёрные брови, то ломая в усмешке крупные губы:

* “Бойтесь данайцев, дары приносящих” — выражение из “Энеиды” Вергилия. По преданию греки (данайцы), чтобы захватить Трои, которую безуспешно осаждали 10 лет, прибегли к хитроумному плану. Его предложил Одиссей. Была изготовлена огромная деревянная скульптура коня и поставлена у ворот Трои. Ночью в неё забрался отряд лучших воинов, а основную часть войск греки отвели от города. Родственник Одиссея Синон сдался в плен троянцам и сказал, что это дар греков-данайцев защитникам Трои в знак уважения к их мужеству. Коня вкатили в город, а ночью данайцы вышли из коня, перебили стражу и открыли ворота. Так была уничтожена непобедимая Троя (прим. авт.).

— Ты зачем в партию вступал, Карабас? Сделать карьеру? А теперь невыгодно быть в ней? Напринимали таких вот...

— Моя карьера — это мои руки. Больному наплевать — партийные они или беспартийные. Ты спроси в больнице: к кому хотят попасть на операцию? Ко мне, Сергею Борисычу Карабанову. А к Захарову не хотят. И к Радевичу не хотят. Но платят мне, как им! На хрена мне такая система нужна? Я против неё. Система — это советская власть. Поэтому Паша прав: её надо менять.

В действительности Нестеренко правильно понял доктора, и потому Карабанов разозлился. В партию он вступал непросто. Стараясь сделать КПСС партийей, прежде всего, рабочих и крестьян, её “кадровики” тормозили расширение рядов за счёт интеллигенции и служащих.

Но как раз эти категории, в отличие от рабочего люда, активней всего рвались получать партбилеты. Если толкового рабочего надо было усиленно уговаривать вступить в ряды, а он под всякими предложениями уваливал от “лестного” предложения, ибо ничего, кроме потери денег на партвзносы, не приобретал, то интеллигент и служащий знали: благодаря членству в партии гораздо легче сделать карьеру. Поэтому последние, втихаря ехидничая насчёт “разнарядки”, тем не менее терпеливо ждали своей очереди, старательно показывая всё это время свою преданность “идеалам коммунизма”.

Карабанов вскоре понял, что зря вступил в партию. Он любил реальную работу — операции. В этом он постоянно совершенствовался: много читал, не упускал случая съездить на очередной семинар по хирургии.

Как хорошего молодого специалиста и активного общественника, его стали выделять среди других, исподволь готовя к административному росту. Однако после того как Сергей несколько раз заменил уходящего в отпуск заведующего отделением, он почувствовал: это не его дело. Тем более не возбуждала радости гипотетически возможная должность главврача. Там было много хозяйственных проблем, кадровых коллизий, а в деньгах выигрыш небольшой. Как оперирующий хирург, Карабанов уже имел хорошие связи и достаток.

А вскоре членство в партии стало мешать. Больше того, становилось опасным. Особенно в последнее время, когда КПСС затрещала по швам, как старый мешок. В ней начали появляться какие-то платформы, движения, течения. Чем они отличаются друг от друга, какая группа лучше, Карабанова уже не интересовало. Он догадывался: от многомиллионной партии наверняка останется немного. Останутся такие, как Андрей — полуфанатики и полуслепые. Дальновидные уже начали выходить из КПСС. Шумно вышел из партии Ельцин, за ним последовали другие, норовя обставить свой выход как можно скандальней.

Карабанов тоже собрался было сдать партбилет секретарю парторганизации терапевту Макаркину, но потом решил подождать.

Теперь, после слов электрика, понял, что зря протянул с выходом, — этим он мог бы подтолкнуть колеблющихся в своём отделении.

— Ты прав, Андрей. Мы с партией давно живём разными домами. Пора подавать на развод.

— А-а... развод. Все вы такие... Как вас сейчас называют? Яковлева — хромого беса... Этих — из Межрегиональной группы... которые не вылазят из-за границы. Вы — агенты влияния! Пятая колонна!

— Ну, да, — насмешливо бросил доктор. — Шпионы мы. По-твоему, кто видит безнадегу строя, значит — враги. А кто без мозгов верит в большие возможности социализма — самые настоящие друзья. Ну, что он сделал такого, чего нет у капитализма? В чём обогнал, уж если так говорить...

— Да хоть в космосе! Американцы обалдели, когда наш спутник полетел. Про Гагарина не говорю... Ты не забывай — двенадцать лет после войны прошло, когда запустили спутник. Полстраны надо было вернуть к жизни. На Америку ни одной бомбы не упало, а у нас до Волги всё было разрушено. Восстановили и поёрли вперёд. Ты — доктор, можешь что-то не знать про ту же энергетику. А у меня батя строил. И сам я, как понимаешь, с этим делом дружу. Мы с шестьдесят второго года по восьмидесятый пост-

роили, по-моему, штук пятнадцать только крупных ГЭС. Каждая — мощностью больше тысячи мегаватт. В том числе Братскую — на Ангаре, Красноярскую и Саяно-Шушенскую — на Енисее. Кстати, последняя — самая мощная в мире. Это я тебе говорю о больших, какими может гордиться любая страна. А есть ещё и просто уникальные. У нас, а не где-то, построили Виллюйсскую ГЭС — на вечной мерзлоте. Единственную в мире! Представляешь? Рядом с “полосом холода”. А Нурекская ГЭС в Таджикистане! Мы жили там, когда отец её строил. Самая высокая на Земле насынная плотина — триста метров! И станция мощная: даёт одиннадцать миллиардов киловатт-часов! Почти всю республику обеспечивает. А там, кстати говоря, крупный алюминиевый завод, ему электричества надо много.

— Для меня эти цифры ничего не значат. Аты-баты киловатты...

— Не думал, что ты такой тёмный.

— В самом деле, Андрей. Ты в этом специалист и хочешь, чтоб остальные так же разбирались в твоих делах, — с примирительной улыбкой проговорил Волков. — Я ж тебя не спрашиваю, как будет по-французски... скажем, плотина?

— Ладно. Объясню с другого боку. В сороковом году, перед войной, Советский Союз потреблял пятьдесят миллиардов киловатт-часов электричества. А сейчас — тысячу восемьсот миллиардов. В 33 раза больше! Это тебе не социализм? Все каскады электростанций — на Волге, Днепре, Каме, Ангаре, Енисее — объединили в Единую энергетическую систему. На западе кончают работу, ложатся спать, электричества надо меньше, а на востоке — проснулись и всё включают. Энергия перебрасывается туда. У нас ведь одиннадцать часовых поясов! Можно это сделать, где каждый сам за себя? Без планирования на годы вперёд? Могу тебе другие примеры привести, но ты их знаешь не хуже меня. Только прикидываешься. Смотри, сколько построили алюминиевых заводов. За короткий срок. Да какие заводы! А это — авиация, космонавтика. Теперь мы в лидерах ракетостроения. Наши самолёты — гражданские и военные — покупают десятки стран. Это тебе не социализм?

— Вот на это мы способны, — ухватился доктор. — Самолёты... Танки... А приличную одежду покупаем у загнивающего капиталиста. Хороший магнитофон, телевизор — тоже у него. Еду! — показал на стол, — еду, чёрт возьми, — и ту везём из-за границы! До чего довёл твой социализм — хлеб стали покупать в Штатах, в Канаде! Царская Россия обеспечивала зерном пол-Европы, а мы себя не можем прокормить. Ты только вникни: у нас урожай... мне недавно говорил один человек — тринадцать центнеров с гектара, а в Швеции — сорок девять, в Дании — под шестьдесят. Посмотри на карту: где мы и где они?

Нестеренко неожиданно засмеялся.

— Ты чёй-то? — с подозрением спросил Карабанов. — Забыл географию?

— Не в том дело. Неделю назад меня дядька просвещал. Агроном. Их у нас в родне два агронома. Младший, дядя Вася, ещё и кандидат наук. Живёт на Алтае, к нам приехал после санатория. Отпуска им дают поздно осенью или зимой. Он подлечился и заехал проведать сестру. Мать мою... Я его тоже, когда посидели, повспоминали всю родню, спросил: почему мы хлеб покупаем? И про царскую Россию спросил, сейчас ею со всех сторон тычут в социализм... жизнь была, мол, райская... Он мне рассказал. Я потом своим демократам на заводе — есть у нас прослойка, всё повторил. Сначала насчёт царской России. Да, она продавала много, но это было главное, чем мы могли торговать. Вывозили, а самим не хватало. Урожай небольшие — семь центнеров на гектар. В одиннадцатом году, как он мне объяснил, тридцать миллионов едва сводили концы с концами, а это пятая часть тогдашнего населения страны. Ну, с той Россией ладно. Спрашиваю про сейчас. Почему покупаем? Почему у нас урожайность маленькая, а у других большая? Повторил почти твои слова. И цифры такие же — их у меня в цехе называл один наш демократ: вы, видать, из одного ручья воду пьёте? Дядя Вася, вижу, расстроился... я не пойму, в чём дело, а он объясняет: полуправда, Андрей, чаще всего, опасней, чем явная ложь.

— И где ж ты в моих словах увидел полуправду? — спросил Карабанов, насмешливо глядя на электрика.

— Во-первых, средняя урожайность у нас другая. Почти двадцать центнеров. А это на треть больше. У тех, действительно, как ты назвал. Но дело совсем не в политическом строе. Несколько лет назад Западная Европа попала в страшную засуху. Дело доходило до голода. И никто не обвинил в этом капитализм. А у нас, как засуха, так виноват строй. Мне дядька столько рассказал, могу всем твоим демократам вправить мозги. Ты ведь, наверно, знаешь, что мы находимся в зоне рискованного земледелия? То засуха, то дожди, то позднее тепло, то ранние холода...

—... то понос, то золотуха, — вставил Слепцов. Это было так неожиданно, что все рассмеялись. Кроме Нестеренко. Он сердито посмотрел на Павла, но не стал отвлекаться. Наоборот, подался к доктору.

— Но известно ли тебе, что вся Западная Европа, а также твои любимые Штаты имеют намного лучшие условия для роста хлебов, чем мы? Больше влаги в нужное время. Дольше тепло... Дания и Швеция, которые ты приводишь в пример, недалеко от Гольфстрима. На юге Швеции, где у них растут хлеба, зимой около нуля. Лето тёплое, но не жаркое. Там виноград выращивают! А теперь сравни это с нашими условиями. На той же широте у нас Сыктывкар, Якутск, Магадан.

Он помолчал, тяжело вздохнул:

— Ну, и порядка больше... Тут я с тобой не спорю. У нас бардака, особенно на селе, всегда хватало. Про сейчас я даже не говорю. Сейчас идёт полная развалюха. Ты вот... Пашка тебе подпевает... Другие, как ты... Может, ещё поактивнее тебя... Сбиваете с панталыку людей... Таким, как они (Нестеренко показал на Валерку с Николаем) вместе с правдой говнеца подкидываете. Люди нохают дерьмо и от хорошего отворачиваются. А надо в корень, Серёга, глядеть. Корни у нас мощные. Ты видел, как в парках обрезают деревья? Первый год стоят обрубки. Противно глядеть. Потом раз... раз... через год-другой пошло куститься дерево. Пошли новые красивые ветки. Проходит какое-то время — и дерево ещё красивее. А почему? Корни хорошие. На долгую жизнь дерева рассчитаны. Так же и социализм. За ним уход нужен. А вы корни подрубаете, чтобы дерево пустить на дрова. Могу я с тобой согласиться?

Нестеренко налил минеральной воды в свой стакан, вопросительно глянул на Волкова — тот пододвинул свой стакан и кружку Адольфа.

— Пашка говорит: в Америке некоторые президенты — из простых, — отпив воды, сказал электрик. — Не знаю, когда это было. Может, на заре их существования. Сейчас — ты даже сам нам рассказывал — все они крупные богачи. Миллионеры. Ну, это хрен с ними. Я про другое хочу сказать. Каждый ли там может, как у нас, выбиться из грязи в князи? Мы вот приехали к Адольфу пять человек. У кого-нибудь родители богачи? Если не считать Игоря... Извини, Игорёк, — хмуро сказал Нестеренко Фетисову, всё ещё не успокоившись от недавнего рассказа товароведа. Тот стеснительно улыбнулся, понимая товарища. — У него можно допустить в предках богача. А мы-то! Дети и внуки гольфьбы, но получили образование, имели возможность сделать карьеру. И таких — десятки миллионов. В моей родне по матери... а семья у деда с бабкой была большая — шесть сыновей и три дочери — все выучились. Бабка только к старости научилась расписываться печатными буквами. Зато два сына — инженеры, два — агрономы. Дядя Вася даже учёный, хотя агроном. Ещё один сын — зоотехник. Шестой — дядя Федя... мама про него много рассказывала — тоже погиб, как старшие два... стал полковником. Перед концом войны погиб. Сгорел в танке. Тётки — одна врач, как ты. Другая — архитектор. Третья — моя мать — инженер-технолог. Про нас — детей, речи нет. Все с образованием. Это разве не социализм? Скажешь, везде в мире такие возможности? В капиталистическом...

— Я не беру дикий мир, — с раздражением заявил Карабанов. Ему не хотелось соглашаться с электриком. Тем более, на глазах всей компании. — Я говорю о цивилизованных странах. Англии... Штатах... Что толку от на-

шей доступности образования? Там простой работяга получает больше, чем у нас инженер.

Сам доктор ни с кем из иностранных рабочих или специалистов об этом никогда не разговаривал. Он их просто не встречал. Но зато рассказывал Марк, и особенно подробно говорили на встречах в Институте демократизации приехавшие “оттуда” люди.

— Ты б, если там жил...

— Не надо мне там, — отрезал Нестеренко.

— Да тебя и не возьмут. Американский инженер, с такой специальностью, как у тебя... Вас сравнить — принц и нищий. Паша Слепцов. Перед ним там на цырлах ходили бы, а здесь он “кормушке” радуется...

В это время Фетисов, видимо, давно хотевший что-то спросить, наконец, поймал момент:

— Ты про Пащу ничего не сказал, Серёжа. Нагадай ему...

— С Пашей всё будет в порядке.

Карабанов демонстративно отвернулся от электрика.

— Экономист оборонного профиля. Весь западный мир держится на экономистах. Это самые богатые и очень востребованные люди. Правда, не знаю, будут ли тогда нужны твои ракеты, Паша? Хоть ты говоришь — ракеты нужны и коммунистам, и капиталистам, но Советскому Союзу надо разоружаться. Срочно и подчистую. Если у нас победит демократия... А она должна победить... Надо сделать всё, чтоб победила... Тогда оружие станет ненужным. Демократические государства не воюют друг с другом. И к другим не лезут. Надо срочно ликвидировать этого монстра — ВПК! Он грабит народ. Из-за него мы в нищете живём, как в гитлеровской Германии: пушки вместо масла! Штаты тратят на вооружение в пять раз меньше нас. А мы — половину всех доходов страны, и всё равно отстаём в военном отношении.

Бесстрастное лицо Слепцова дёрнулось от удивления, брови взлетели вверх — такого даже он не ожидал. Волков заметил это и тут же вспомнил, что недавно слышал от Павла совсем другие цифры.

Тогда он разозлённый позвонил Слепцову на работу. Они встретились у проходной Пашкиного завода, и едва сели в машину экономиста, Волков сразу задал вопрос, из-за которого в школе разразился скандал.

Глава шестая

Завучем школы Нину Захаровну Овцову назначили полтора года назад. Однако близким она говорила, что назначила себя сама: “Власть в школе валялась. Я её подобрала”.

В школах было, как во всей стране. Рушились идеологические и кадровые стереотипы. Традиционно директорами школ ставили членов Компартии — воспитание нового поколения нельзя было отдавать кому попало. Чаще всего это были учителя-историки. Но как раз именно по ним и по их науке пришлось самые жестокие удары перестройки. Объявленная Горбачёвым гласность открыла не только рты, но и тёмные глубины изувеченных душ. Героями толпы, улицы, митингов чаще всего становились те, кто надрывал голоса исключительно в беспощадной критике советского режима. В прошлой жизни государства запрещено было находить хоть одно светлое мгновение. Учебники по истории СССР, и прежде всего — советского периода — устаревали на глазах, не успевая за разоблачениями страны-ГУЛАГа. Учителя вклеивали в них газетные и журнальные вырезки, записи с митинговой информацией, которую бросали в толпу глашатаи, нисколько не заботясь о её достоверности. Те из учителей истории, кто “отставал от времени”, уходили сами или их выталкивало “общественное мнение”.

Суховатая лицом, плоскогрудая Овцова преподавала химию. Мрачные страницы этой науки были похоронены ещё во тьме Средневековья. Даже печальные судьбы шарлатанов-алхимиков, обещавших королям горы золота из подручных материалов, вроде свинца, и повешенных за обман, закрывала гу-

стая пелена времени. Поэтому наука химия к политике давно не имела никакого отношения — вода при всех экономических формациях и политических режимах состояла из водорода и кислорода.

Но саму Нину Захаровну политика захватывала всё сильнее. Она возбуждала её, словно предчувствие близкой постельной страсти, которую не первой молодости женщина в последние годы испытывала с большими перерывами. Когда Овцова начинала говорить о партократах, об их сопротивлении перестройке и демократическим переменам, на её бледно-серых щеках, на лбу и даже на подбородке появлялись алые пятна. Темно-карие глаза за стёклами очков расширялись, и Нина Захаровна чувствовала, что пальцы начинают покалывать какие-то импульсы. После этого ей хотелось схватить противника руками и, не имея другого оружия, хотя бы поцарапать ему лицо.

Завучем школы, где Овцова преподавала химию, а Волков — французский язык, была учительница истории. Она пришла в классы в 1961 году. Новые учебники ещё клеймили культ личности Сталина, а полиграфисты уже готовили книжки о “великом десятилетии дорогого Никиты Сергеевича”. После развенчания хрущёвского волонтаризма, советская история долго обрела брежневский “верный курс”. Его разгром, начатый перестройкой, и определение предыдущего пути как *дороги в никуда*, сбили с толку миллионы людей. Историки, наравне с партократами, стали “кастой неприкасаемых”. Заведующая учебной частью, на которую кто смотрел с сожалением, кто, мстя за прежние строгости, с лёгким злорадством, тяжело заболела. Нина Захаровна, попробовав себя оратором на небольших митингах, пришла к директору. Она назвала усталого от нарастающих хозяйственно-экономических проблем школы пожилого мужчину с печальными глазами партокротом, повторила ему слова Горбачёва: “Мы их будем давить сверху, а вы давите снизу”, — и потребовала себе должность завуча.

Через некоторое время учительскую было не узнать. Если раньше об уродливых моментах советского режима разговор заводила Овцова, пытаясь втянуть в него других и раскатать консервативно-настороженное сообщество, то теперь ей не надо было выходить вперёд. Три-четыре молодых учительницы, которые ездили с нею на митинги, вместе бывали на каких-то собраниях, первыми начинали обличительный приговор. Оставаться в стороне оказывалось всё труднее. Овцовские демократки прямо обращались к кому-нибудь из коллег: “А вы как думаете?” Не все думали в унисон с ними, и в учительской тут же разгорался идеологический пожар.

Волков обычно садился на своё место в углу — он с армейских лет не любил неприкрытой спины, и чаще полуслушал, чем вникал в истеризм демократии. Овцова старалась его не задевать, а это было своеобразной командой её активисткам.

— Ты не понимаешь, почему к тебе не пристают? — спросил как-то учитель физкультуры Мамедов, с которым у Волкова давно сложились доверительные товарищеские отношения. — Нина Захаровна хочет тебя.

— Случайно не заболел, Камал Османых? — с удивлением уставился на него Волков. — Да я лучше хрен на пятаки изрублю, чем лягу с ней. Это при моей-то жене! А вот ты чего теряешься?

— Старая она, Владимир Николаич. Сорок пять будет, — сказал Мамедов, который был лет на десять старше Волкова. — А потом, Нина Захаровна меня не любит. Мусульманин. Тебя любит.

— Брось ерунду. Мусульманин... христианин...

Волков улыбнулся, вспомнив Андрея Нестеренко.

— Как говорит один мой друг: это не имеет никакого полового значения. Скажи, боишься: потом не отпустит.

Овцовой действительно нравился Волков. Высокий — на голову выше не маленькой Нины Захаровны, с волнистыми тёмными волосами, всегда в отглаженном костюме и свежей рубашке (“Жена старается”, — ревниво отмечала завуч), учитель французского языка выделялся редким для своей среды аристократизмом. Он умел пошутить, но безобидно. Мог твёрдо с кем-то не согласиться, однако собеседник чувствовал, что его мнение уважают. Единственное, что не нравилось Нине Захаровне в Волкове, — его сталин-

ские усы: выпуклые, почти все тёмные и лишь снизу рыжеватые — от сигарет. Заботливость, с которой он ухаживал за ними, настораживала Нину Захаровну, и ей казалось, что Владимир Николаевич не совсем тот, за кого его принимают учителя, подпадая под обаяние тёплого взгляда светло-карих волковских глаз. Один раз она увидела этот взгляд другим — холодным и острым, как осколок тёмного стекла. Тогда, начав очередной разговор о сталинских репрессиях, она рассказала в учительской о родном брате матери, которого Октябрьский переворот 1917 года “сделал человеком”. Сначала малограмотный местечковый парень из большой еврейской семьи стал бойцом в охране Троцкого, приводя в исполнение приказы “кровавого Лейбы” “о расстреле каждого десятого в частях, отказывающихся идти на фронт. В конце гражданской войны его назначили комиссаром интернационального отряда, который в составе армии Тухачевского подавлял восстание тамбовских крестьян. “Дядя Фима действовал решительно”, — сказала Овцова и не без гордости добавила: “Это — наша семейная черта”. В начале 30-х годов строил Беломорканал, получил орден. Его отряд был всё время впереди. “Какой отряд?” — спросил Мамедов. “Ну, не пионерский же”, — язвительно заметила учительница географии, которая первой начинала спорить с Ниной Захаровной. Овцова поджала накрашенные губы: “Да, не пионерский. Из врагов народа. А вам, Камал Османых, пора научиться говорить по-русски. Отряд...” После дядя работал в центральном аппарате ОГПУ. “А в 37-м его, как и миллионы других, расстреляли”.

Вот тогда Нина Захаровна увидела тот незнакомый стеклянный взгляд Волкова.

— В чём дело, Владимир Николаевич? Вы не верите в масштаб репрессий? Даже Хрущёв об этом говорил.

— Ну, Хрущёв ещё тот свидетель, — усмехнулся Волков. — Весь облит кровью невинных... Лично сам подписывал документы о расстреле. И не раз в этом деле лез, как говорят у него на Украине, “попэрэд батьки у пэкло”. Так што чья бы корова мычала...

Для Волкова с недавних пор Хрущёв стал зловецей фигурой. Раньше он о нём не думал и даже не очень помнил, как тот выглядел. Владимиру было 11 лет, когда “волонтариста” и “кукурузника” убрали из руководства страной, после чего Хрущёв исчез из всех официальных и пропагандистских упоминаний, словно его никогда не существовало. Поэтому поколение Волкова входило в сознательную жизнь с другими фамилиями руководителей, с другими портретами и славословиями. Если бы не отец, Владимир, может, долго не знал бы, кто был предшественником Брежнева. Отец ненавидел Хрущёва. День, когда того сняли, смутно запомнился Владимиру двумя эпизодами: отец сильно напился, чего с ним не бывало никогда, и несколько раз повторял соседу дяде Васе: “Жалко, оставили живым, скотину. Надо было расстрелять, как он делал”.

Потом долгое время никто, с кем Владимир рос, о Хрущёве не говорил и никого он не интересовал.

Пока не началось *утро перестройки*. Жена Волкова — журналистка — стала приносить разные документы прошлого времени. Её заинтересовало, что было в обвинениях Сталину справедливым, а что, со страху быть разоблачёнными, приписывали ему соратники. Однажды принесла большую папку. Волков, которого до той поры политика занимала от случая к случаю, прочитал выдержки из выступлений, копии писем и телеграмм. И был потрясён. Телеграммами и записками Ленина, который то и дело требовал расстрелять, повесить, предать суду трибунала. Выступлениями крупных деятелей, которые в 30-е годы требовали у Сталина дополнительных рычагов террора.

Особенно поразили его некоторые материалы о Хрущёве. Тот снова становился “героем времени”, теперь уже нового времени. Его доклад на XX съезде партии о культуре личности Сталина и сталинских репрессиях 1937–1938 годов опять стали поднимать на щит как поступок честного и смелого общественного деятеля. Но из принесённых женой документов, как из сумерек прошлого, вырастал совсем другой его облик. В январе 1936 года, ещё до начала массовых репрессий, он заявляет на пленуме Московско-

го горкома партии: “Арестовано только 308 человек: для нашей московской организации — это мало”. Май 1937 года. Пленум МГК партии. Хрущёв требует: “Нужно уничтожать этих негодяев. Уничтожая одного, двух, десяток, мы делаем дело миллионов. Поэтому нужно, чтобы не дрогнула рука, нужно переступить через трупы врагов на благо народа”. Июнь 1938 года. Хрущёв всего шесть месяцев работает первым секретарём Компартии Украины. Записка: “Дорогой Иосиф Виссарионович! Украина ежемесячно посылает 17–18 тысяч репрессированных, а Москва утверждает не более 2–3 тысяч. Прошу Вас принять срочные меры. Любящий Вас Н. Хрущёв”. Из Москвы телеграмма: “Уймись, дурак! И. Сталин”.

Поэтому ссылка Овцовой на Хрущёва и слова о миллионах расстрелянных вывели Волкова из равновесия.

— Откуда вы взяли миллионы расстрелянных? — с раздражением спросил он. — Сейчас открываются новые документы. Количество расстрелянных в 37-м в десятки раз меньше. Вы понимаете: в десятки!

И с грустью добавил:

— Хотя и за одного невинно убитого нельзя простить. Ни в 37-м убитого, ни раньше.

Волков замолчал, пытаясь успокоиться. Так получилось, что буквально несколько дней назад он прочитал о том, как душили крестьянское восстание на Тамбовщине. Отрядами интернационалистов окружали село. Собирали сход. Брали заложников из числа видных людей: священников, учителей, фельдшеров. Отводили два часа на выдачу оружия, скрывающихся повстанцев, их семей. Если выдачи не было, снова собирали сход. На глазах у всех расстреливали заложников. Опять брали новых заложников — и всё повторялось. А летом 1921 года по приказу Тухачевского против крестьян стали применять химическое оружие. Химическими снарядами обстреливали деревни без разбора. От газов больше всего гибли дети, женщины и старики, потому что повстанцы скрывались в лесах.

— Ваш дядя не рассказывал, сколько безвинных было погублено?

В учительской наступила тишина.

— Что вы говорите? — воскликнула, наконец, одна из молодых соратниц Овцовой. — Его же репрессировали до рождения Нины Захаровны!

— Значит, что делал он — это героизм. Не назвал крестьянин своё имя — расстрел прямо на месте... Без суда и следствия. А как с ним поступили — это репрессии? Вы знаете, Нина Захаровна, как душили Тамбовское восстание? Газами душили. Европа осудила применение газов даже на войне. Против иностранных врагов. А тут — против своего народа... Хотя, какого своего... Будущий маршал с интернациональными отрядами... там и ваш дядя был... приказал стрелять химическими снарядами по женщинам и детям. А вы нам преподнесите Тухачевского жертвой Сталина...

— Да. Этот зверь Сталин уничтожил цвет народа.

— Должен вам сообщить, что российский цветник начали вырубать намного раньше. Вы слышали, наверно, о рассказывании? В январе девятнадцатого года Свердлов подписал секретную директиву... Она требовала поголовного истребления... Не тараканов... Не мышей... Людей! Казаков!..

— Ужас какой-то! — негромко воскликнула немолодая учительница математики. — Не может быть!

— Может, Анна Петровна... может. Троцкий, выступая на собрании политкомиссаров Южного фронта, заявил: “Уничтожить казачество как таковое, рассказать казачество — вот наш лозунг”. Якир, которого сейчас представляют невинной жертвой сталинских репрессий, лично подписал приказ о процентном уничтожении мужского казачьего населения. А вы говорите: не может.

— У вас как в “Памяти” — одни евреи виноваты! — ядовито бросила Овцова.

— Не надо тень на плетень, — строго одёрнул её Волков. — Не надо! Оставьте эти свои штучки. Если критикуют татарина, армянина, азербайджанца — это нормально. Особенно — когда русского... А если еврея, то это антисемитизм. Всякие были. Русский Подтёлков... Русский Сырцов... Этот

требовал за каждого убитого красноармейца расстреливать сотню казаков. И других хватало. Латыши... Магьяры... Даже китайцы... Интернационал... Специально присылали. Мы называем массовое убийство евреев немцами и их пособниками Холокостом. Сочувствуем армянам, которых убивали в Турции в начале XX века. Для армян — это геноцид. Приводятся разные цифры. Кажется, от трёхсот тысяч до полутора миллионов. А как назвать расказачивание, в ходе которого уничтожено около четырёх миллионов человек? Это не Холокост? Не геноцид?

Волков достал пачку сигарет. В учительской, кроме них с Мамедовым, мужчины не бывали. Камал Османович не курил. Поэтому женщины, в большинстве своём незамужние, не только разрешали, а иногда даже просили, чтобы Владимир Николаевич закурил: “Пусть мужским духом запахнет”.

Он закурил. Сел в свой угол.

— Я Сталина полностью не оправдываю, Нина Захаровна. Всё, что происходит на корабле — хорошее и плохое, — за всё отвечает капитан. Как сегодня наш Горбачёв. Были невинные жертвы. Я недавно увидел один список. Конюх... Счетовод... Секретарь сельсовета... Самый большой начальник — какой-то деятель из райкомхоза. Но нельзя всё валить только на Сталина! Не он решал судьбу конюха и счетовода, а те, кто были на местах. Вы сослались на свидетельство Хрущёва... Доклад он сделал на съезде... О сталинских репрессиях. А люди ещё тогда знали... не все, конечно, но некоторые знали: там, где был руководителем Хрущёв, там надо было говорить о хрущёвских репрессиях.

Сейчас идут дополнительные проверки того времени. Многие документы Хрущёв приказал уничтожить, когда стал первым секретарём ЦК. Есть живые свидетели этого. Но немало осталось. Не знаю, известно ли вам, что Сталин при подготовке Конституции тридцать шестого года лично вписал в неё статью о выборах депутатов на альтернативной основе. Всех депутатов. От маленьких — до самых больших. Конечно, партийные бонзы испугались. Кто ж их выберет? Такого натворили! Но в открытую выступить против — опасно. Тогда с разных сторон загудели: из центра, мол, не видно, сколько на местах появилось врагов советской власти. Первый секретарь Западно-Сибирского крайкома партии Роберт Эйхе — латыш с двухклассным образованием — предложил для быстрого решения “вражеской” проблемы создать так называемые “тройки”. Три человека: партийный секретарь, начальник местного НКВД и прокурор (главный здесь — партийный секретарь) — должны без всяких судов, оперативно принимать решения относительно “врагов народа”.

Конечно, “добро” на создание “троек” принимало Политбюро. Каждый расписался персонально. Но откажись Сталин это сделать, ближайший пленум, состоящий из этих “бонз”, мог обвинить его в отходе от классовой борьбы и предательстве интересов партии. Какие уж тут выборы на альтернативной основе!

Для Эйхе “враги народа” исчислялись не единицами, а массами. Он ещё в тридцать третьем году в телеграмме Сталину предложил “принять и устроить” в самых гибельных местах Севера “пятьсот тысяч спецпереселенцев”.

— Кто эта? — мрачно спросил Мамедов.

— Кулаки в основном... Наверно, и другие “враги народа”. А после отправки нескольких эшелонов троцкистов на Колыму он в декабре тридцать шестого года заявил на пленуме ЦК: “Для какого чёрта, товарищи, отправлять таких людей в ссылку? Их нужно расстреливать. Товарищ Сталин, мы поступаем слишком мягко”. Это что? Указание Сталина? Или наоборот? Указание Сталину? За один тридцать седьмой год “тройка” под руководством Эйхе репрессировала почти тридцать пять тысяч человек! Вы представьте себе это количество людей! Целый город! Таких же, как мы с вами, людей... Мужчин... Женщин... И три негодяя... три убийцы... этого Эйхе называли “мясником” — решали в течение нескольких минут судьбу любого из нас. Расстрелять... Отправить на годы в лагеря...

И ваш Хрущёв, Нина Захаровна, когда руководил Москвой и Московской областью, лично участвовал в массовых репрессиях. Его “тройка” в

день выносила расстрельные приговоры сотням людей. В день! Сотни жизней! За два года — тридцать шестой и тридцать седьмой — они репрессировали больше пятидесяти пяти тысяч человек.

На закрытом пленуме ЦК в январе тридцать восьмого года Маленков назвал его “перегибщиком”. Сказал, что проведённая в Москве проверка исключений из партии и арестов обнаружила: большинство осуждённых вообще не виноваты.

Волков помолчал, раздумывая: надо ли говорить об украинской записке Хрущёва и ответе на неё Сталина — вроде как растерянной показалась ему Овцова. Однако приглядевшись, разобрал: не растерянность это, а кипящая злость. “Ну, чёрт с тобой!” — решил Владимир и, рассказав про украинские “подвиги” Хрущёва, спросил:

— Как вы считаете, такие люди должны понести наказание?

— Конечно! — заявил вместо завуча Мамедов.

— Настороженный таким невероятным количеством “врагов”, Сталин приказал провести массовые проверки. Многих людей освободили. Тех, кто истязал, пытал, кто фабриковал незаконные обвинения, самих привлекли к суду. Жалко, не всегда за их подлинные преступления перед народом... Но возмездие пришло. Эйхе — этого кровавого палача — расстреляли. Других — тоже.

Однако Хрущёв сумел вывернуться. Теперь он — герой. А наказанные убийцы сотен тысяч людей, те, кто сами топтали человеческую суть и плоть, сегодня, благодаря их потомкам, — конечно, никому не хочется иметь предка-палача, — вдруг попали в число жертв сталинских репрессий. Не цирк ли? Спасибо, разумеется, Никите Сергеечу за начало реабилитации безвинно пострадавших. Всем, кого эти эйхи и берии незаконно определили преступниками, надо вернуть честное имя. Но надевать нимб святого на мученика и на мучителя — всё равно, что ставить памятник маньяку Чикатилю. В Библии, кажется, сказано: по делам их воздастся им.

Волков затушил сигарету в пепельнице и завернул окурочек в тетрадный листок. Его он потом выбрасывал в урну, чтобы не было в учительской запаха старой пепельницы. Кто был в учительской, стали расходиться. Только молодые фурии Нины Захаровны настороженно взглядывали то на Волкова, то на свою предводительницу. Было заметно: она не в себе. Её репутацию изрядно потрепал этот элегантный, успокоившийся уже мужчина.

После того случая Овцова какое-то время не могла смотреть на учителя французского языка. Боялась — сорвётся и вцепится ему в усы. Но постепенно острая злость отошла, пока новые стычки не сделали Волкова главным врагом Нины Захаровны.

В последний раз началось, как это часто стало случаться, с бытовой проблемы. Бухгалтерия снова задержала зарплату, но теперь дольше прежнего. Многим учителям уже едва хватало от полочки до аванса, и когда Овцова вошла в учительскую, её сразу спросили о деньгах.

— У меня их нет, — отрезала завуч. — Наши зарплаты съедает это чудовище — советский военно-промышленный комплекс. На один танк дармоеды тратят годовую зарплату школы. Сделали миллион танков, а куда девать — не знают. Говорят, если поставить их друг за другом, можно обогнуть земной шар.

— Да нет! Достанут до Луны, — бросил из своего угла Волков.

— Всё иронизируете, Владимир Николаич? Мы тратим на вооружение в пять раз больше американцев. А зачем? Лишь бы только торговать оружием. Вооружать преступные режимы. Позор! Деньги выше морали! Не зря нас называют “империей зла”. С грязным делом — впереди планеты всей. Да что говорить! Безнравственная страна!

На следующей перемене Волков позвонил Слепцову и сразу после уроков поехал к заводу.

— Скажи, Паша, если не секрет, мы действительно тратим на вооружение в пять раз больше американцев? — спросил он, как только сел в машину экономиста.

— С чего ты взял?

— У нас в школе завуч... Ну, совсем затоптала Советский Союз. Бардак, конечно, — трудно спорить. Полный бардак. Добрались уже до зарплат. Стали задерживать. Но неужели мы, в самом деле, настроили миллион танков и не знаем, куда их девать? Оружия продаём больше всех? Эта сушёная вобла говорит: мы — лидеры грязного дела.

— Скажи вобле: это неправда. Просто ложь. На первом месте по торговле оружием — Соединённые Штаты. Мы отстаём от них. Значительно отстаём. Продаём на шестнадцать—восемнадцать миллиардов долларов в год. Они — на тридцать—тридцать два миллиарда. К тому же в реальности до нас доходит намного меньше. Отдаём в долг. За идею... За бананы-апельсины... Американцы — те умеют считать. Берут деньгами.

Но имей в виду: другие страны тоже торгуют оружием. Англия. Франция. ФРГ. Никто не стесняется этого. А Израиль, по моим сведениям, чуть ли не на втором месте.

— Вот это малыш! — воскликнул удивлённый учитель. — Слушай, поехали ко мне. Я купил новое ружьё.

Пока ехали по разбитым осенним улицам, Павел больше молчал — выбирал дорогу. Когда “Волга” попадала в яму, вздрагивал, морщился, словно от боли. На волковской кухне, рассмотрев хорошую ижевскую “вертикалку” — бокфлинт — отошёл. Снова вернулся к тревожным вопросам товарища.

— Вторая сторона дела, Володя: кому продаётся оружие? Мы тут не ангелы. Папуас скажет: мне нравится социализм — мы ему автомат. Наш автомат Калашникова есть в гербе у нескольких государств. Помог им завоевать независимость.

— Не может быть!

— Да, да. Сам видел. Приезжали покупатели... Но на той стороне... там, где американцы с остальными... Там черти намного почертей наших. Продают оружие и запрещённым странам, и даже против своих законов. Читал про “Иран-контрас”?

Волков неуверенно пожал плечами.

— Громкая была история. Закончилась три года назад. Твоей вобле полезно узнать.

Однако история оказалась занимательной и для Волкова. Слушая Слепцова, он вспомнил, что встречал публикации о ней в разных газетах. Но приученный, как многие в стране (не без воздействия зарубежных радиостанций, умело использующих полуправду советской “беспроblemной” пропаганды), воспринимать критику западного общества скептически, он сейчас с интересом слушал товарища.

Начало той скандальной истории положили события в Иране. В феврале 1979 года проамериканский режим шаха Реза Пехлеви был сброшен, к власти пришёл духовный лидер шиитов аятолла Хомейни. Этот факт заставил задуматься наиболее дальновидных политиков мира. Впервые в новейшей истории всего за несколько месяцев ислам организовал десятки миллионов людей на смену государственного строя.

Но американцы обеспокоились по другой причине. В результате исламской революции США лишились ценного союзника, чья территория примыкала к СССР и откуда они вели активную разведку против Советского Союза.

Одновременно ещё более серьёзные неприятности возникли у США в Центральной Америке. В том же году к власти в Никарагуа после долгой партизанской войны пришёл Сандинистский фронт национального спасения, свергнув американского ставленника, диктатора Сомосу. Сандинисты не скрывали, что придерживаются социалистической ориентации. В Штатах с тревогой увидели призрака “второй Кубы”.

В 1980 году на президентских выборах в США победил Рональд Рейган. Он объявил Советский Союз “империей зла”, которая только и делает, что вмешивается в дела других государств. Однако сам в сентябре 1983 года подписал секретную директиву, разрешив ЦРУ вести тайные операции по ликвидации сандинистской власти в Никарагуа. Тем самым Рейган и Центральное разведывательное управление нарушали закон США, который прямо запре-

шал финансировать операции ЦРУ для свержения никарагуанского правительства. То есть вмешиваться в дела другого государства.

Чтобы найти деньги, была придумана многоходовая комбинация с использованием Ирана. В течение предыдущих 25 лет он покупал американское оружие. Часть его устарела, но гораздо больше терялось в боях — Иран вёл долгую, изнурительную войну с Ираком. Новый режим, как и прежний, сильно нуждался в оружии и боеприпасах.

Купить их у американцев было невозможно: исламские власти объявили Соединённые Штаты своим врагом, и США специальным законом наложили эмбарго на поставку вооружений Ирану.

К тому же в 1984 году шиитская группировка “Хизбалла”, находящаяся под идеологическим контролем иранских фундаменталистов, захватила в Ливане группу американских заложников. В том числе — резидента ЦРУ в Бейруте Уильяма Бакли. Отношения между двумя странами зашли в тупик.

Выход подсказал Израиль. До исламской революции он активно продавал Ирану оружие, готовил специалистов шахской спецслужбы “Савак”. Несмотря на то, что после прихода к власти Хомейни официальные контакты были разорваны, Израиль старался мосты до конца не сжигать. Это пригодилось, когда американцы собрались, благодаря тайной продаже оружия, решить сразу две задачи: получить деньги для поддержки “контрас” (противников сандинистского правительства) и освободить заложников.

Все понимали, что планируемые операции дважды незаконны — нарушался как запрет на финансирование “контрас”, так и эмбарго на продажу оружия Ирану. Но цель оправдывала средства. 30 августа 1985 года первая партия из 100 противотанковых ракет “ТОУ” прибыла в Иран. 14 сентября в иранском Тебризе разгрузили ещё 408 американских ракет, доставленных из Израиля. На следующий день на свободу вышел первый заложник. Конвейер заработал.

Операция “Иран-контрас” могла продолжаться долго. Но 5 октября 1986 года над Никарагуа был сбит самолёт. Захваченный лётчик сообщил, что он из отрядов “контрас” и работает на ЦРУ. А вскоре в одной из ливанских газет появились сообщения о продаже оружия Ирану. Скандал стал набирать обороты.

Генеральный прокурор США начал расследование. Рейган открестился: “Я ничего не знал”.

— Три года назад в Штатах прошёл суд, — рассказывал Слепцов, поглаживая новое волковское ружьё. — Нескольким участникам операции... там были крупные чины, вплоть до помощников Рейгана... предъявили серьёзные обвинения. Заговор с целью обмана государства. Хищения государственного имущества. Мошенничество, лжесвидетельство... Короче, целый букет. По этим статьям в Штатах могут упрятать надолго. Вплоть до пожизненного... Но все получили только условные сроки.

— Ничего себе! Нравственные ребята. Надо Овцовой рассказать. Пусть порадует за своих кумиров. А то как перемена, так начинается: “Мы впереди всех... с грязным делом”. Наверное, и с расходами так же...

— С какими?

— Она ведь чем добивает наших тёток? Плохо, говорит, мы живём из-за больших расходов на оборону. Милитаристы мы... Тратим в пять раз больше американцев на военные дела. Представляешь? А возразить никто не может. Не знают: так иль не так?

— Не так, Володя. Но власть всё время даёт основания не верить ей. Ну, вот, например, ты согласишься, что в течение последних двадцати лет расходы Советского Союза на оборону остаются почти неизменными? Да за двадцать лет стоимость одних материалов для оружия должна была вырасти в разы! А ведь военная техника всё время усложняется, значит, становится дороже. Зачем людей за дураков держать? Мои ракеты... да, ладно, не буду о них... Наши правители не скрывают... даже гордятся военным паритетом с американцами. Но если паритет, значит, и расходы похожие. А они другие. Намного меньше. Наши идиоты во власти не называют настоящий военный бюджет, и люди думают: ага, выходит, “оборонка” действительно

разоряет страну. На самом деле не так. Многие наши разработки дешевле американских аналогов. Мы научились, старик, по важным направлениям обороняться очень экономно. Поэтому даже академик Сахаров признал: нет никаких шансов надеяться, што гонка вооружений истощит материальные и интеллектуальные ресурсы страны, и Советский Союз политически и экономически развалится.

Он помолчал, улыбнулся.

— Правда, мы к тому же умеем прятать военные концы в мирную воду. Но што американская разведка намного преувеличивает наши затраты — это факт. С одной стороны, можно больше денег затребовать у ихнего правительства на оборону. С другой — нашему обывателю есть возможность всучить любые цифры — истины-то никто не знает. Твоя вобла вон какую икру мечет! С чых-то слов, конечно. А молчание власти только помогает этому.

Волков с нескрываемым удивлением и уважением глядел на Слепцова. Он не представлял Павла таким разговорчивым да ещё и столько знающим.

— Вижу, вижу твой вопрос, — сказал тот с редкой для него веселинкой на худом лице. — Я вам не рассказываю про отца. Генерал, да и всё... А генералы, Володя, разные бывают. Ну, и сам кой чем занимаюсь. Аналитика, старик, интересная вещь. Один в фельетоне видит пример плохой жизни, другой — информацию.

* * *

Утром к учительской Волков подходил с азартным настроением. Он представлял, как ещё до уроков кто-нибудь спросит, будет ли сегодня зарплата, как Нина Захаровна опять скажет о бесстыдстве партократов, живущих за счёт простых учителей, назовёт врагом народа советский военно-промышленный комплекс, и с каким интересом будет потом слушать она и другие преподаватели умные разъяснения учителя французского языка. “Тоже ведь не сладкая жизнь, — думал он об Овцовой. — Мужа давно нет... да и был ли?” Впрочем, допустить, что Нина Захаровна родила дочку без мужа, вне брака, Волков не мог. До горбачёвской поры эта не выделявшаяся в коллективе женщина с удлинённым лицом и столбообразной фигурой, если и выступала на партсобраниях или заседаниях педсовета, то чаще всего с рассуждениями о чистоте взаимоотношений между людьми, о нравственном облике современной молодежи, который её всё больше беспокоил. Так что понятия “Овцова” и “свободная любовь” для многих были несовместимы. “А что муж? — продолжал думать Волков, кивая направо и налево на приветствия учеников. — Может, был какой-нибудь алкоголик. Поэтому и бросила... Теперь надо учить дочь-студентку. Да ещё мать на пенсии. Нет, не сладкая жизнь. А тут ещё я дёргаю...”

Ему стало неловко за свой недавний выпад. Поэтому когда Владимир Николаевич вошёл в учительскую, он был миролюбив, как сотрудник гуманитарной миссии до прибытия в очаг межнационального конфликта. Но его тут же огрели вопросом:

— Вы когда будете извиняться перед Ниной Захаровной?

Две молодые соратницы Овцовой смотрели на него в упор, как на стоящего у расстрельной стенки преступника.

— За што?

— За своё поведение. Вы ещё такой молодой человек, а уже ретроград. Весь народ за демократические перемены, а вы хуже партократа.

— Та-а-к...

Волков начал скручивать правый кончик уса, что было первым признаком раздражения.

— И в чём это проявляется?

От костерка миролюбия уже шло не тепло, а едкий дым.

— А вы не знаете, Владимир Николаевич? — сказала, поднимаясь Овцова. — В стране повсюду отказываются от назначенных руководителей трудовых коллективов. Демократическим путём выбирают из своей среды...

Тех, кто способен быстрее повести людей на слом тоталитарной машины. Меня хотели выдвинуть наши товарищи — Надежда Аркадьевна и Марина Викторовна...

Завуч показала на двух фурий демократии, расстреливающих взглядами учителя французского языка.

— ...директор наш — Виктор Петрович — уже устарел. Ему нужна замена. А вы сказали в учительской... Ну, это просто безобразие с вашей стороны!

— А што я сказал?

— Сказали: “Нине Захаровне нельзя давать власть. Она приведёт нас к беде. Она не знает, куда вести”.

— А-а, вон вы о чём. Да, я так говорил. Теперь ещё больше в этом убеждён. Для вас нет ничего хорошего в стране, где вы живёте. Мы тоже с ними (Волков показал на задержавшихся у двери двух математичек, физкультурника Мамедова и учительницу географии) далеко не всем довольны. С каждым днём становится хуже. Перестройка превращается в Разломайку. Но мы хотим сохранить страну. А вы — уничтожить.

— Зачем её сохранять — такую уродину? Ни еды, ни свободы, ни красивой одежды. Одни ракеты с танками. Это здание надо сломать. А на его месте построить новый, цивилизованный дом.

Волков нахмурился.

— Один раз уже сломали. До основанья. Ваш дядя постарался. Слава Богу, через дядь прошли. Поднялись... Стали второй державой мира... Теперь племянница бегаёт с топором. Вы тут говорили нам про танки. Про военно-промышленный комплекс. Призывали равняться на другие страны, которые, вроде бы, в отличие от нас, не торгуют оружием. А на деле-то всё оказывается совершенно не так!

Волков начал увлечённо пересказывать услышанное от Слепцова. Собравшиеся было уходить учителя остановились. Кто-то сел, но другие так и стояли, прижав к груди классные журналы или держа в руках стопку тетрадей. Для большинства это был первый рассказ, который приоткрывал истинное положение в оборонном комплексе Союза и показывал влияние ВПК на экономику страны.

Когда пошло про “Иран-контрас”, завуч встала.

— Вы подождите, Нина Захаровна, — остановил её Волков. — Сейчас будет самое интересное.

Он в деталях пересказал эту историю, усиливая, где голосом, где мимикой, отдельные моменты. Не забыл ни про суд, ни про увёртки американского президента Рейгана. А в конце назвал цифры, на сколько продают оружия США и на сколько — Советский Союз.

— Ваши любимые американцы продают в два раза больше. Значит, они в два раза безнравственней нас? А вы заставляете равняться на них. Куда ж вы поведёте с такими знаниями? Израиль — крошечная страна, а по торговле оружием среди первых в мире. Это тоже высокая нравственность?

Все уже не смотрели на Волкова. Глядели на Нину Захаровну. Её лицо было в красных пятнах. Ярко накрашенные губы тряслись, словно их изнутри что-то толкало, пытаясь вырваться наружу. Наконец, завуч не выдержала.

— В-вы... Вы — наха-а-л! — крикнула она, широко открыв рот. И в этот момент, когда ещё звучало яростное “а-а-а”, бюгельный зубной протез внезапно выскочил у неё изо рта. Сверкнул возле верхней губы и, если бы не молниеносный взмах завучевой руки, упал бы на пол. Нина Захаровна на лету остановила его ладонью, рывком двинула голову вперёд и почти в воздухе схватила ртом бюгель. “Как шука блесну”, — с изумлением подумал Волков. Он не знал об искусственных вставках во рту Нины Захаровны и потому растерянно замолчал, догадываясь, что теперь он для Овцовой ещё больший неприятель. Женщина может многое простить, но только не разоблачение — пусть невольное — её физического недостатка.

— Откуда ваши сведения? — срываясь на визг, крикнула она. — Из КГБ?

— Мои — от советского экономиста. А ваши — из ЦРУ? — с издевательской вежливостью спросил Волков, застёгивая портфель, чтобы идти на урок. В коридоре его догнал Мамедов.

— Ну, тэпер, Владимир Николаич, тэбя достанут. Нына Захаровна будэт твой личный враг. Скушаит.

— Подавится, — спокойно ответил учитель французского и пошёл в класс.

Глава седьмая

С того времени Волков больше не слышал в учительской про безнравственность торговли оружием, про отнимающий у народа деньги военно-промышленный комплекс СССР, про советские траты на вооружение, в пять раз превышающие американские расходы. И вот теперь всё это, почти слово в слово, повторил Карабанов.

— Откуда у тебя такие сведения, Сергей? — насторожился он. — Ты ничего не путаешь?

Ему вдруг показалось, что такие совпадения не случайны. “Как же я не замечал, — хмуро думал он, — организованности всех этих разных акций. Мария сорвалась, как по чьей-то команде. Говорила, их много едет. Сотни тысяч. С “оборонкой” так же. Будто сигнал дали...”

Действительно, масштабная и агрессивная критика советского ВПК началась словно по чьему-то приказу. Вот когда реальное достижение советской системы — невероятная дешевизна и доступность прессы, благодаря чему она проникала в самые отдалённые уголки страны, — это достижение стало разрушительным инструментом ещё на одном направлении. Многомиллионными тиражами газет и журналов, передачами радио и телевидения на людские массы обрушилась лавина негативной информации о военно-промышленном комплексе Советского Союза. Его ругали за вроде бы недопустимую прозорливость, за неэффективность огромных трат, за низкое качество вооружения. При этом иностранное оружие, и прежде всего — американское, преподносилось как эталон экономичности и более высоких боевых свойств.

Говорить и писать что-либо против этого было равносильно попытке перейти бурную реку по поясу глубины. Люди легче верили непривычной, *отвязной* критике, нежели осторожным вразумлениям, принимая их за осточертевшую пропагандистскую полуправду. К тому же в большинство самых тиражных газет и журналов, быстро разбухших как раз благодаря именно такой критике, пробиться с другим мнением стало невозможно. Гласность оказалась односторонней. Люди, называющие себя демократами, в мгновение ока стали беспощадными цензорами, определив, что свободы слова достойны только те, кто думает так же, как они.

Поскольку никого из представителей ВПК и других государственных структур было не видно и не слышно, то для миллионов людей оборонный комплекс вскоре превратился в личного врага, который только отнимает возможность жить лучше.

Но Волков-то слышал от Слепцова совершенно иное.

— Ты где взял такие данные? — повторил он доктору свой вопрос. — Паша мне недавно рисовал совсем другую картину. А он, как понимаешь, знает дело. Подтверди, Пашка.

Карабанов заёрзал, как мальчишка, которого застали за постыдным делом. Однако быстро взял себя в руки.

— Сейчас об этом на каждом углу говорят. Кончилось время заткнутых ртов. Почему у американцев покупают оружие? Оно лучше нашего. Мы полезли со своим оружием... С армией своей... Советской... в Афганистане получили по зубам, потеряли людей и ушли с позором. Не могли дикий народ придавить! Вот американцы бы с ним разделались за две недели.

— Ай-я-яй, — с издёвкой запричитал Нестеренко. — И тут твои американцы лучше нас. Только почему-то сначала по зубам дали им. Во Вьетнаме. А тоже хотели быстро разделаться с *диким народом*.

— Наши помогали. Давали ракеты. Самолёты. Сами косили под вьетнамцев.

— А кто помогал душманам в Афганистане? Может, марсиане? Иль всё ж американцы своим оружием и советниками?

— Нашей армии какое ни давай оружие — всё равно толку не будет. Привыкли мясом побеждать, трупами устилать дорогу. Была бы хоть потом польза, а то победители живут хуже побеждённых...

— Ты о чём это? — мгновенно помрачнел Волков. Медленно приподнялся с табуретки и, наклонившись к Сергею через стол, тихо спросил: — Ник как всё ещё жалеешь?

Тот отвёл взгляд, и учитель понял, что Карабанов несколько не обрадовался после того тяжёлого для них обоих разговора.

* * *

Тогда они возвращались вдвоём на карабановской машине с летней рыбалки. Поездка получилась не за рыбой, а за каким-то радостным отдохновением. Давно оперированный Сергеем пациент вдруг вспомнил про доктора, написал ему на больницу письмо, где рассказал про себя, про свою деревню и пригласил “дня два пожить в лугах”. В конце, для большей убедительности, приписал: “Если пожелаете, то не пожалейте”.

Они не пожалели. За годы поездок видели много интересных мест, но такой душевной и трогательной красоты, кажется, не встречали. Деревушка из двух десятков старых, однако ещё крепких изб пристроилась на краю обширной неглубокой котловины. В самом низу её блестело озеро. К нему, судя по извилистой ленте берегового кустарника, петляла речушка. Куда из озера вода уходила, и вытекала ли она вообще, издали понять было трудно. Не считая кустарниковой ленты, весь остальной простор низины занимали луга. Леса, удивительно могучие, малохоженные для обжитой предсеверной России, остановились у краёв котловины, подойдя близко и к деревушке.

Карабановский пациент Николай Петрович встретил их с мягкой простотой, спокойно и без удивления, словно не сомневался в том, что доктор Сергей Борисович обязательно придет “в луга”.

С дороги учитель и доктор жадно накинулись на деревенскую еду — молодую картошку с укропом, на свежее, только что сорванные и ещё колющиеся огурцы, солёные рыжики и жареные подосиновики, а Николай Петрович — на городскую колбасу, мягкий сыр и баловство из фетисовского “заказа” — оливки с лимоном.

Гости поставили на стол три бутылки водки — антиалкогольная горбачёвская кампания провалилась, и теперь спиртное можно было покупать официально, если, конечно, удавалось “достать” — очереди за водкой стали ещё многочисленней и злее. Николай Петрович принёс из погреба самогон — его он гнал до горбачёвской “борьбы”, в ходе её и не собирался останавливаться в обозримом будущем.

Напробовавшись того и другого, городские и хозяин вяло побрели к озеру. Недалеко от впадения речушки поставили сеть. После чего учитель и доктор, взяв спиннинги, пошли облавливать берега, а Николай Петрович вернулся в деревню топить баню.

Вечером они млели на тёплых деревянных полках уже немолодой бани, пили самодельный брусничный морс и размякали в горячих запахах распаренной берёзы, можжевельника и зверобоя.

Доктор лениво спрашивал хозяина про самочувствие после операции, тот так же разморенно отвечал, а Волков вполуха слушал их и думал, как хорошо, что у него есть такой товарищ. Он обожал Сергея едва ль не с того раза, когда Карабанов впервые появился в их компании. И хотя в последнее время взгляды их всё чаще расходились, что заставляло Волкова переживать, тепло того большого уважения продолжало быть ощутимым.

Загонные зимние охоты на крупного зверя — лося, оленя, кабана, — как правило, требуют много людей. Нужны несколько загонщиков, но ещё больше — стрелков, чтобы охватить вогнутой дугой значительный массив леса. Обычно приезжают уже заранее сколоченные команды — чужих в устоявшийся коллектив берут неохотно. Неизвестно, как люди себя поведут, какой у них опыт, как стреляют.

Но бывает, что приезжают две-три небольших группы. Тогда руководитель охоты — для успеха — соединяет их в одну команду: выход зверя на кого-то из десяти-двенадцати стрелков более гарантирован.

Волковская компания уже начала складываться: вчетвером съездили на несколько охот. Приглядывались друг к другу, пока не знали характеров, манер, житейских привычек каждого, старались быть осмотрительней. Через некоторое время поняли, что вместе им комфортно.

Однажды приехали за лосём. Их четвёрку объединили с пятью незнакомыми охотниками. Как оказалось, там некоторые увиделись впервые.

Охота задалась нелепая. Стрелки из другой команды сначала по зверю промазали. Лось ушёл через “номера”. Во втором загоне, организовать который потребовалось много времени, они зверя только ранили. Егеря, ругаясь, пошли по следу, а всем городским велели выходить к оставленным на шоссе машинам.

Короткий зимний день быстро гас. Волковская группа вышла к дороге в сумерках. Остальных не было. Начали сигналить, стрелять. По темноте пришли трое, двое оставались где-то в лесу. Уже егеря вернулись, стали беспокоиться. Наконец, после очередной пущенной ракеты, далеко в лесу раздался выстрел. С фонарями и криками пошли навстречу. Через некоторое время встретились. Карабанов вёз лежащего на лыжах человека. Тащить ему пришлось далеко. Охотник, стоявший на последнем “номере”, услышал карабановское “отбой”, но вместо того, чтобы пойти по лыжне вслед за доктором, решил срезать путь. Карабанов думал, что мужчина идёт за ним. Но неожиданно услышал где-то сбоку, в глубине леса, пронзительный крик. Со страхом повернул на него — крик хоть и стал слабее, но не прекращался. Минут через двадцать увидел человека, который не стоял, не лежал, а словно повис наискосок в воздухе — ноги в снегу, а голова над буреломом.

Оказалось, мужчина попал лыжей в невидимое под снегом нагромождение ломаных стволов. Падая набок, вывернул стопу. Но самое драматичное — острым, как копьё, суком проперол штанину и проткнул бедро.

Счастье мужика, что услышал его хирург. Он быстро освободил охотника, снял с себя рубаху, разорвал её и сделал перевязку. Понимая, что самому будет жарко, а раненого надо одеть потеплее — неизвестно, сколько тому придётся лежать на лыжах, — Карабанов натянул на него свой свитер.

Когда их встретила группа мужчин — с егерями отправились Волков и Нестеренко, раненого трясло, а Карабанов дышал, словно загнанный лось. Уже тогда, лет в тридцать, он был заметно толстоват. Нижняя нательная рубашка насквозь промокла, и даже на куртке под мышками выступили влажные пятна.

Возле машин Карабанов умело перебинтовал пострадавшего — только тут все узнали, что он хирург, а затем поехал вместе с раненым в районный городок.

Перед отъездом Волков пригласил доктора на следующую охоту с их компанией — лицензия оставалась неиспользованной. Новые товарищи не возражали.

Постепенно Карабанов стал своим в небольшом охотничьем коллективе. Он много знал в разных областях: от истории и литературы до плотницких дел и собаководства, не говоря, конечно, о медицине. Особенно интересовался политикой — читал не только издаваемое в Советском Союзе, но и привозимое из-за границы. Постоянно слушал “Голос Америки”, “Свободную Европу”, Би-би-си, “Немецкую волну”. Первым приносил кассеты с популярными на Западе исполнителями. Не отказывал товарищам в разных медицинских справках. Несмотря на растущую тучность, был вынослив, когда приходилось далеко идти на лыжах. Стрелял почти, как “снайперы” Волков и Слепцов, а в иронии порой не уступал Андрею Нестеренко.

Правда, ирония эта, особенно по поводу власти, была чем дальше, тем более уничижительной. Остальные тоже поругивали власть, пародировали, кто как умел, речь Брежнева, недобро говорили о дефиците, ёрничали по поводу выборов без выбора — из одного кандидата.

Но у Сергея оценки получались злее, и он не раз говорил, что гримасы *системы* — это и есть подлинное лицо народа. Каждый народ, повторял доктор, имеет ту власть, которой заслуживает.

С ним в чём-то соглашались, что-то оспаривали. Сначала Андрей Нестеренко. Потом Волков. И если инженер-электрик, двигая бровищами, не очень выбирал слова, то учитель старался обходительно переубедить Сергея. У каждого народа, говорил он, есть подъёмные и провальные периоды. Ни один народ не избежал этого. Но только история покажет, каким в действительности был тот период, который современниками оценивался со знаком плюс или минус.

Когда возвращались с рыбалки, снова зацепили власть и народ. Бензин в карабановских “Жигулях” был на исходе. Пришлось сворачивать к окраине маленького городка. Заправки почему-то ставили в населённых пунктах, а не на трассах, где они были нужнее всего. Причём одна от другой находились так далеко, что люди не рисковали ехать без запаса.

— И как тебе нравится это стадо? — бросил Карабанов, подъезжая к АЗС. К двум колонкам выстроилась большая очередь. Она продвигалась медленно — водители заливали бензин в машины и в канистры. Некоторые пытались словчить — протиснуться вперёд. Их осаживали: с матерщиной, злобными криками.

— Нормальный, не скотский народ давно бы сбросил такую власть, — сказал Карабанов, останавливаясь в конце очереди. — А эти, как рабы, терпят. Нет! У народа с рабьей душой не может быть хорошего будущего.

— Между прочим, этот народ... с рабьей, как ты говоришь душой, спас от рабства и себя, и многие народы Европы, — заметил Волков.

— Да лучше бы он не спасал! — воскликнул доктор, и серые глаза его под набрякшими веками аж потемнели от ярости. — Победители хреновы! — резко показал через стекло на очередь. — С орденами в хлебах. По двадцать-тридцать лет ждут бесплатной квартиры, не могут свободно купить машину. А купят — вот так: в паскудстве. Лучше бы немцы нас победили. Жили б мы сейчас, как они.

Волков на мгновение окаменел. Потом растерянно спросил:

— Ты... шутишь, Сергей?

Поглядел на товарища. Тот сидел, уставившись на очередь. Учитель с облегчением улыбнулся: конечно, это не всерьёз.

— Ну, и шутки у тебя, Карабас.

— А я не шучу, Володя, — строго сказал Карабанов. — Ты погляди: все побеждённые нами страны живут лучше нас. Япония... Германия... Значит, власть наша ни к чёрту, если почти через полвека разгромленные оказались богаче победителей. Я уж не говорю о Штатах, Англии, Франции... Пусть бы уж нас победили, а не мы.

— Ты вообще-то соображаешь, что говоришь?

Волков стал быстро скручивать кончик уса в острое жало. Недавно ему уже пришлось услышать в одной компании явный намёк на то, что побеждённые живут лучше победителей. Тогда по какому-то поводу собрались выпить коллеги волковской жены Натальи — журналисты. Она уговорила Владимира прийти — ей всегда было уютней, когда рядом сидел красивый, видный, компанейский муж. Журналисты оказались разные. Всех заводил и, похоже, был организатором кареглазый, стройно сложенный мужчина лет за сорок — весельчак и балагур, успевающий увидеть за столом буквально всё. Одному он показывал, что пора налить. Другого поднимал: скажи тост. Третьему напоминал не забыть про женщин — их в компании оказалось две: Наталья и журналистка с Центрального телевидения, которую пригласил заводила-организатор. “Мы у неё выступаем в “Прожекторе перестройки”, — сказала Волкову жена. — С Виктор Сергеевичем”, — показала она на командира застолья, и Владимир вспомнил, где он видел этого балагура. Виктор Савельев — обозреватель известной газеты, в жизни выглядел несколько иначе, чем на экране, но Волков знал по прежней работе жены на телевидении, что там с каждым выступающим перед эфиром работают гримёры.

В компании был и журналист из Литвы. Как он туда попал, Владимир не понял. Только обратил внимание, что прибалтийский гость несколько раз довольно резко высказался по поводу оккупации. Все решили: имеет в виду немецкую. Однако парень внятно объяснил: он говорит о советской оккупации.

— Если бы остались немцы, мы бы сейчас жили, как в ФРГ.

Кто-то в компании неодобрительно фыркнул, остальные смутились — спорить с почти что иностранцем показалось неудобным. Но тут раздался жёсткий голос Савельева.

— Вы бы лаптями щи хлебали. Если бы остались вообще, как народ. Скажи спасибо, что Союз создал вам промышленность, построил города. Поднял... из грязи в князи.

Литовский журналист встал и, возмущённый, ушёл. А Волков перегнулся через стол и пожал руку Савельеву.

Теперь он снова услышал сожаление о неудавшейся победе немцев. И от кого?

— Может, тебе напомнить, кто я и кто ты? Ну, ладно: я — русский. Глядишь, остался бы жив. Какое-то количество им надо было оставить... Работать на господ... Чистить сапоги. Я бы, может, чистил сапоги их солдатам... офицерам. Но ты же еврей! Или думаешь, что показывали в Освенциме — советская пропаганда? По-твоему, выходит, и Холокост пропаганда? Я бы, может, чистил сапоги. Но той ваксой, которую сделали из тебя!

Потрясённый, Волков замолчал. Он не знал, что говорить. Почему-то вспомнил об отце, который жил с матерью и старшей сестрой в Воронеже. Вот если б ему сказали сейчас такое, как бы он себя повёл?

Отца забрали на войну в 42-м, когда ему исполнилось 18 лет. Попал на Волховский фронт. Во время неудачной попытки советских войск прорвать блокаду Ленинграда в районе Синявинских болот был ранен. Вторую рану получил при освобождении Новгорода зимой 44-го года. Третью — самую тяжёлую — под Берлином. Но пришёл — руки-ноги целы, по мирному времени парень ещё — 21 год. Только серые от проседи виски показывали, как дались старшине Волкову орден Красной Звезды, два — Отечественной войны обеих степеней, медаль “За отвагу” и несколько других наград. Сын его в 37 лет не имел ни одного седого волоса, и выходило, что ранняя седина — не родовая наследственность.

Война долго не отпускала Волкова-старшего. Уже Владимир в школу пошёл — семь лет со смерти Сталина минуло, уже в пионеры приняли, а отец, как выпьет в компании, особенно, если приходил сосед Василий Андреич — тоже бывший фронтовик, так где-то через полчаса—минут через сорок запевает первую из любимых. Позднее Владимир узнал: песня называлась “Марш артиллеристов”:

*Артиллеристы, Сталин дал приказ.
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас.
И сотни тысяч батарей,
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину — “Огонь! Огонь!”*

Отец начинал, а Василий Андреич подхватывал, и тут же плечи мужчин распрямлялись, сами мужики гордо глядели друг на друга, отбивали маршевый ритм, кто кулаком по столу, кто вилкой, и через некоторое время маленькому Вовке хотелось пропечатать перед отцом и дядей Васей настоящий солдатский шаг.

Выпив ещё, и не одну-две стопки, отец вдруг замолчал, выключался из разговора; взгляд останавливался, словно его приковывало к чему-то мощному и тяжёлому, видимому только отцу и только до него доносящему волны излучения. За столом продолжался разнотонный разговор, кто-то кому-то передавал тарелки, кто-то смеялся, и в этой рассыпчатой всеобщей расслабухе вдруг раздавался рыкающий прокашель. Гости поворачивались к хозяину — Николаю Васильевичу Волкову. А он, нахмурившись, опустив голову, будто

от большого горя, начинал даже не петь, а вроде как декламировать трудно выговариваемые слова:

*Выпьём за тех, кто командывал ротами,
Кто замерзал на снегу.*

Голос его вдруг начинал хрипеть, словно человек действительно промёрз насквозь, и только беспощадная необходимость заставляет действовать.

*Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу.*

В речитатив вступал Василий Андреич и, в отличие от Волкова-старшего, уже выводил слова на мелодию:

*Выпьём за тех, кто неделями долгими
В мёрзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладого, дрался на Волхове,
Не отступал ни на шаг.*

Компания напрягалась, люди прекращали разговоры, и последние слова подхватывало большинство:

*Выпьём за Родину, выпьём за Сталина!
Выпьём и снова нальём.*

Из всей той суровой песни Владимир помнил лишь часть. Взрослым пытался найти, кто автор и композитор. Спрашивал отца. Тот не знал. А ещё позднее сын понял, что имя Сталина отцовы товарищи-фронтовики и сам он специально возвращали в тексты переделанных песен в знак протеста против хрущёвского развенчания культа личности. Не могли они смириться с тотальным *растоптанием* имени человека, который был для них знаменем и образцом сурового аскетизма.

Горбачёвская перестройка добавила ветеранам страданий и горечи. Сначала крадучись, потом всё открытее пошли разговоры о том, что война Советского Союза против фашистской Германии была, ну, не то, чтоб уж совсем несправедливой, но вовсе не такой благородной, как её преподносили все десятилетия после Победы. Она, мол, принесла народам Европы не свободу, а порабощение социализмом. Да и победа Советскому Союзу досталась из-за бесчеловечности Сталина и жестокости Жукова слишком дорогой ценой. Надо ли было отдавать жизни, чтоб заменить одну несвободу — фашистскую, на другую — советскую? Ветеранам стали внушать, что никакие они не герои. “Бы на штыках разнесли по миру заразу казарменного социализма, — жалили их горбачёвские “прорабы перестройки”. — За это многие в Европе вас ненавидят, и правильно делают”.

Отец не любил писать письма. Не потому, что грамоты у наладчика станков с числовым программным управлением было маловато. Считал, что если рассказывать всё в письмах, реже ездить будет сын. Да и не опишешь всего, что можно сказать. В последний приезд, как раз накануне их летней рыбалки с Карабановым, отец рассказал об инциденте возле проходной его авиационного завода. В некоторых цехах появились новые работники. Сначала пробовали устраивать собрания в цехах в поддержку Горбачёва, перестройки, демократизации. Люди не откликнулись. Потом стали сбивать митинги за проходной. Там уже задерживался кое-какой народ, но большинство проходили мимо.

Перед Днём Победы снова зазывали выходящих со смены рабочих. Николай Васильевич Волков остановился. Думал, начнут, как всегда, поздравлять ветеранов. Привычно разгордился, старым соколом поглядывал на окружающую молодёжь.

Но к его удивлению, первый же оратор стал говорить о том, что хотя воевали советские люди отчаянно и многие сложили головы, только надо ли

было делать это? Берлинская стена разрушена, Германия объединяется — ФРГ поглощает социалистическую часть. Богатые немцы дают деньги, чтоб наши войска скорее убралась оттуда. Всё, что сделал Советский Союз, оказалось ненужным. Тогда зачем, спрашивал молодой белообрый оратор с надутыми, как у хомяка, щеками, надо было отдавать самое ценное — жизнь?

Николай Васильевич пробрался к оратору. “Ты спрашиваешь, зачем мы клали жизни?” Тот весело закивал, радуясь, что его так хорошо понял высокий, седой ветеран. “Во-первых, чтоб получили жизнь наши дети... надеюсь, хорошие люди. А во-вторых, чтоб такое говно, как ты, было кому смывать!”

Последние слова Волков-старший уже выкрикивал в момент удара. Голова белообрыйого дёрнулась назад и, если б не стоящие плотно люди, он упал бы на асфальт. Откуда-то появился милиционер. Под негодующие и одобрителные крики ветерана забрали в милицейскую машину.

Никакого административно-уголовного наказания не последовало. Но отцу от этого было не легче. Все дни короткого сыновьяго отпуска — после Воронежа Владимир собирался основное время провести у тестя с тётцей в Волгограде — Николай Васильевич переживал случившееся. И не срыв возле проходной волновал отца. Он не мог успокоиться оттого, что “хомячка” подерживали криками люди.

— Чё такое происходит, Вовка? Куда этот меченый чёрт тащит стра-ну? — говорил он о Горбачёве.

“Действительно, куда?” — тяжело думал Владимир, не глядя на Карабанова, который тоже молча вёл машину. Не мог сам Карабас прийти к этим мыслям. Слишком кощунственны они были для людей даже их поколения. Тем более — для еврея. Кто-то хотел, чтоб они запали в другие головы. Русским... Украинцам... Кавказцам... А зацепили совсем не того.

Он покосился на доктора.

— У тебя отец воевал?

Тот ответил не сразу.

— Воевал.

— А на каком фронте?

— Мне это надо? Достаточно, что остался жив после мясорубки.

— Скажи, Сергей, а как твой отец отнесётся к твоим сожалениям? Мой — я знаю, как. А вот твой?

— Мне это сейчас абсолютно не интересно. Мы по-разному смотрим на некоторые вещи. Он не умеет отбрасывать ненужное.

Доктор помолчал и негромко добавил:

— Совсем не понимает меня... А я — его.

Глава восьмая

Борис Моисеевич Карабанов, действительно, всё меньше понимал сына. Началось это давно, но полный разлад наступил после поездки Сергея в Штаты. Родная сестра карабановской жены Розы Ионовны уехала туда с мужем и сыном до того, как американцы неожиданно и резко притворили свои иммиграционные ворота, оставив в них узкую щель. Сёстры изредка переписывались. Младшая — Рахиль — с вдохновением рассказывала о Нью-Йорке, вблизи которого они поселились в маленьком городке, о людях из еврейской организации, помогающей приезжим, но собственную жизнь почему-то описывала скупо.

Роза Ионовна активно не одобряла отъезд сестры. Борис Моисеевич её поддерживал, но был менее категоричен. “Если людям хочется попробовать новой жизни, пусть пробуют”. И только Сергей был полностью на стороне решительной тётки, вырвавшей семью из советской убогости.

После института младший Карабанов мог остаться в родителями в Ленинграде — отец и мать были известными людьми в медицинском мире. Но он выбрал подмосковный город военно-космической ориентации. Сначала — чтобы попробовать самостоятельности. Потом привык. Город был рядом со столицей, почти Москва. Многие ездили туда каждый день на работу; чаще,

чем живущие в центре москвичи, бывали в театрах и на концертах, однако при этом возвращались не в московскую толчею и многолюдье, а в тишину и уют умно построенного города среди леса. На некоторые балконы прискальзывали кормиться белки с соседних сосен.

При каждой встрече с родителями разговор обязательно заходил об “американцах”. Сергей всё настойчивей отстаивал “тётю Раю” — так в карабановской семье называли Рахиль Ионовну, просил мать в очередном письме обязательно передать привет ей и её мужчинам. Мужчин он добавлял для приличия. Супруг тётки — Семён Ильич — и в Союзе был “при ней”, работая юрисконсультom на какой-то мелкой фабрике, и в США, похоже, не смог оторваться от юбки активной жены. Их сына Марка Сергей не особенно помнил: разница между ними была 12 лет. Когда тётка увозила семью, Марк недавно получил паспорт.

После начала перестройки стал писать письма в США и Сергей. Иногда давал понять, что не против бы посмотреть великую страну. Приезд в Союз Марка и его рассказы об американской жизни выбили доктора из колеи. А поездка с женой в Штаты окончательно потрясла Сергея.

Тётка сразу сказала, что в Америке не принято жить у родственников. Она отвела племянника в какой-то невзрачный дом, объяснив, что это хороший отель. Но и тесный номер третьесортной гостиницы с крохотной туалетной комнатой показался ему необычайно роскошным.

Дома у тётки они были с женой только сразу после приезда и в последний день. Даже если бы их захотели здесь оставить, спать пришлось бы в “студии” — так по-американски называлась объединённая кухня-столовая. Две других небольших комнатки занимали Рахиль Ионовна с мужем и Марк со своей женщиной — незарегистрированной женой. Молодые работали на одной автозаправочной станции, но в разных сменах. Марк обслуживал машины, его подруга — водителей, продавая им кофе, “Пепси”, сигареты. Поэтому каждый день кто-то один водил родственников по интересующим их местам: магазинам, рестораничкам “Макдональдс”, нью-йоркским улицам.

Хождение по Нью-Йорку ошеломяло Сергея. Всё было не таким, как дома. Множество магазинов с обилием товаров. Заливающая улицы и здания светопад рекламы. Дома-гиганты и дома-карлики, но каждый — со своим лицом. В одном районе он увидел выстроенные в длинную шеренгу двухэтажные, узкие домики, абсолютно одинаковые, с одного строительного конвейера, к тому же поставленные вплотную друг к другу. Однако и эта вытянутая цепь дешёвого жилищного однообразия показалась Карабанову необычно привлекательной.

Однажды у молодых совпала свободная смена. Поехали в Нью-Йорк вчетвером. На какой-то улице встретилась лавочка с надписью: *Sex-shop*. Марк предложил зайти. Подруга с азартом поддержала его. Сергей догадался, что это такое. Вопросительно посмотрел на жену. Та слегка покраснела, отрицательно покачала головой. “Ну, пусть они погуляют”, — сказал Марк про подругу и невестку.

Из лавки Карабанов вышел красный, потный, с блуждающим взглядом и в первую минуту ничего не мог произнести внятного. Пройдя немного, потрясённо выговорил: “Вот это свобода... Каждому по потребности... Никого ни в чём не стесняют”.

А когда Марк свозил их с Верой на Брайтон-бич — эту нью-йоркскую колонию советских евреев-эмигрантов на берегу Атлантического океана, Сергей не мог заснуть всю ночь. Перед глазами вставали смешные, завлекательные, раскованные надписи на магазинах и товарах, звучала в ушах смесь русско-одесского говора с английскими вкраплениями. “Ви берёте эту колбасу или мне её отправить туда, откуда она вышла?” “Айм сорри, уважаемый! Спросите у своей бабушки, какую она ела селедочку в своей молодости. Вот наша такая же. Скушаете вместе с ценником!”

Нью-йоркская неделя так поразила Сергея, что он, вернувшись в Союз, долго не мог освободиться от взволновавших его впечатлений.

Тем неприятнее было увидеть прохладную реакцию родителей на его восторг. “Была уважаемый специалист... Педиатр... А там посуду моет”, —

с осуждением заметила мать о младшей сестре, когда Сергей рассказал, чем занята тётя Рая. “Что ты хочешь? — откликнулся отец. — Семён без работы. Живут, скорее всего, только на пособие”.

Через четыре месяца Борис Моисеевич тоже оказался в Нью-Йорке. Приехав на медицинский симпозиум, он решил, что неприлично быть рядом и не заглянуть к родственникам.

Сергей не сразу увидел его после возвращения. Лишь когда у младшей дочери наступили каникулы, он повёз её в Ленинград.

Дед с бабушкой обрадовались внучке. Каждый раз при виде милой девчушки их как будто подменяли. От сдержанности строгих медицинских мэтров ничего не оставалось, когда они поодиночке или вдвоём разговаривали с любимицей семьи. Однако стоило сыну начать по какому-нибудь поводу превозносить американскую жизнь, у родителей сразу менялось настроение.

Перед отъездом из Ленинграда Сергей надумал купить подарки жене и старшей дочери. Через несколько часов ходьбы по городу злой вернулся домой.

— У вас ещё хуже, чем в Москве. Довела страну власть.

— В данном случае ты прав, — мрачно согласился отец. — Довёл Горбачёв. Если бы кто с умом...

— Да как ты не поймёшь! — воскликнул Сергей, перебив отца. — Не в Горбачёве дело! В системе! В строе нашем! Социалистическом... Везде, где капитализм, там человеческая жизнь. Нам нечего предъявить миру. Как в песне известной: балет да ракеты. Правильно сказала Тэтчер: “Верхняя Вольта с ракетами”. Чего ни коснись, всё хуже, чем в цивилизованных странах. По сравнению с Европой, я уж не говорю про Америку, зарплаты — нищенские. Квартиры — сплошная убогость. Вы, два известных медика, а живёте в старой трёхкомнатной. Гордитесь: петербургская... Пушкин рядом ходил. Ну, и чёрт с ним, что ходил! Надо сейчас жить! Образование такое, что нигде в других странах с ним не устроиться. Осуждаете тётю Раю — посуду моет. А её, думаю, из-за советского диплома не берут. Не доверяют советскому образованию и нашей медицине. Да и какая у нас медицина!

Сергей с досадой махнул рукой, показывая, что дальше говорить не хочется. Искоса глянул на отца, который, нахмурившись, сидел в кресле рядом с журнальным столиком, заваленным газетами. Именно из-за отца, выписывавшего каждый год пять-шесть газет и несколько журналов, втянулся в политическое чтение. Здесь, в своей комнате, куда редко заходили родители, начинал он слушать зарубежные радиостанции, постепенно отторгая реалии советской жизни.

— Ну, вот, мама Роза, видишь, какие мы с тобой ущербные, — произнёс отец, поднимаясь из кресла и нависая всем своим крупным телом над сидящим за столом сыном. — Впору проситься к Райке... Мыть с ней посуду на кухне.

Видимо, не зря порой говорят про талантливых людей и их потомков: природа отдыхает на детях. Борис Моисеевич Карабанов был одним из видных кардиологов. После второго ранения в 44-м году (первое получил под Сталинградом) его демобилизовали. На костылях лейтенант Карабанов пришёл в медицинский институт. Практикующим врачом защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Стал профессором, начал преподавать. При этом всё активней стал заниматься исследованиями.

Но сына наука не заинтересовала совсем. Он ездил на семинары и конференции только за знаниями для практики. Считал занятия научными исследованиями никчёмным делом, от которого больших денег не получишь.

Мало похожими они были и внешне: высокий, под метр девяносто, Борис Моисеевич и заметно уступающий ему в росте Сергей. Открытые, немного навывкате карие глаза у отца и серые — в мать, — к тому же под нависающими веками у сына. Рано начавший полнеть, с дрябловатым лицом Сергей и сто килограммов тренированного тела постаревшего отца.

— Рассказали нам с тобой, мама Роза, где хорошая жизнь, а мы-то и не знали, в каком навозе живём. Ни образования. Ни медицины...

У Бориса Моисеевича это была давняя привычка: в присутствии сына называть жену “мама Роза”. Когда кто-то, услышав впервые, удивлялся,

отец объяснял: “Цветы люблю... Розы... А наша мама — настоящий цветок. Правда, Серёжа?”

— Только я поражён, что это заявляет мой сын. Образованный. К тому же медик. Неужели тебе неизвестно, что советское здравоохранение считается одним из лучших в мире? Если не самым лучшим! Это признала даже Всемирная организация здравоохранения. Не вся медицина — тут у нас и прорывы есть... значительные прорывы, и есть в чём-то отставание. Но я тебе говорю про здравоохранение как систему охраны здоровья нации. Где ты ещё найдёшь такие масштабы? Мы не так давно начинали почти с нуля. Массовые эпидемии... Ни больниц. Ни врачей в достатке. А сейчас по числу врачей на тысячу жителей — первые в мире. Поголовная вакцинация. Регулярные обследования населения. Не какой-то группы людей — богатых, избранных, а всех подряд. Рабочих. Студентов. Сельских жителей. Ты не налюбуешься на Соединённые Штаты. А известно ли тебе, уважаемый доктор, что там тридцать миллионов человек до сих пор не имеют возможности получить хоть какое-нибудь бесплатное лечение. До сих пор! И это в конце двадцатого века! Нет денег — иди помирай. А у нас кто-нибудь платит? Каждый, я подчёркиваю, абсолютно каждый, где бы он ни жил — в огромной Москве или маленьком посёлке... в деревушке какой-нибудь — имеет право на бесплатное медицинское обслуживание. И получает его — вот что важно! Везде есть женские консультации. Женщинам — отпуска по беременности и родам. Помнишь, как они называются? Декретные. Потому что советская власть их декретом ввела. Первой в мире. До сих пор это есть далеко не везде. А наши санитарные нормы? Суровые... Но зато берегут здоровье народа. Ты недоволен нашим образованием. А для миллионов людей в других странах оно — эталон. Мечта, к которой хотят стремиться. Думаешь, случайно со всего мира едут учиться в наши институты и университеты? Из Африки едут. Из Южной Америки. Из Азии едут и даже из Европы. В наши, а не в западные.

— Просто у нас дёшево, — заявил Сергей. — Этим и покупаем.

— Нет. Качественно. Я это знаю не только по своему институту... По многим другим вузам... То, что Рахиль Ионовну не берут врачом-педиатром... здесь разные причины. Берегут рабочие места для своих граждан. Не знают уровня квалификации. Но не в последнюю очередь — причины политические. Надо ведь представить Советский Союз слаборазвитым государством, где нет, как ты говоришь, ни хорошего здравоохранения, ни приличного образования. Стараются дискредитировать по любому поводу. Социализм для них — это лютая опасность. Я не беру сегодняшний Советский Союз... Горбачёвский. Хотя и он ещё с большим запасом прочности. Я говорю о политической системе как таковой. С евангельских времён, а может и раньше, люди мечтали об обществе социальной справедливости. Где нет голодных и тех, кто захлёбывается от неисчислимого богатства, где все имеют примерно равные... пусть не чрезмерные, но вполне достойные для плодотворной жизни материальные возможности. Если у одного миллион в кармане, а у другого — вошь на аркане, какое тут равенство? Ты ведь должен знать — мы с тобой не раз говорили, — что только пример Советского Союза, его физическое присутствие в мире заставляло власти капиталистических стран проводить социально-экономические реформы в интересах простого народа. Люди-то смотрят на нас — тамошние люди — и говорят между собой: а почему мы не имеем таких возможностей, как в Советском Союзе? Вот ты называешь зарплаты нищенскими, хотя это не так, но забываешь, что они — только часть оплачиваемых государством благ. Тогда давай всё сложим и посчитаем. Здравоохранение — бесплатно? Да. Для человека бесплатно. Но не для государства. Врачам платить надо. Лекарства выпускать надо. Медицинскую технику делать нужно. Больницы, поликлиники — их ведь строят за государственные деньги. Сложи эти средства и раздели на каждого. Получится ба-а-льшая прибавка к зарплате. Очень хорошая. Образование — тоже бесплатно. Для того, кто учится. А тем, кто учит, платят? Школы, институты строят? Общежития для студентов строят? Да, стипендии маленькие. Надо бы больше. Но сколько платит за благоустроенную жизнь студент? Копейки!

Погляди вокруг! Спокойно погляди... Объективно. За ясли и детский сад сколько вы платили с Верой? Сущую ерунду. Путёвки в санатории и дома отдыха — большинству людей почти бесплатно. Пионерские лагеря для детей — то же самое. Коммунальные услуги. За них мы платим несравнимо меньше, чем за границу. А ведь это тоже добавки к зарплате. Вернее сказать, к доходу человека. Ты не спросил тётю Раю, сколько там платят за квартиру, воду, уборку мусора, свет?

— Ну, да! Приехал племянник узнавать, сколько тётка платит за мусор.

— Зря иронизируешь. Спросил бы — тогда бы, может, что-то понял. Там жильё и коммунальные платежи забирают половину всей зарплаты. А за остальное-то человеку тоже надо платить: за учёбу, за лечение, за транспорт. У нас в аэропортах очереди, толкотня. Безобразия, могу с тобой согласиться. Всё время возмущаюсь. В европейских странах... социалистических... порядка больше. Сам не раз видел. Значит, можно организовать?.. И политическая система не мешает. Просто наша власть в этом деле безответственна. Желаящих летать всё больше, а вокзалы отстают от потребностей. Но посмотрел бы я, как полетали бы люди, если бы государство специально не держало такую маленькую цену на билеты. Мы ведь не Англия или Швейцария, которые можно за день на машине проехать. У нас шестая часть планеты! От Владивостока до Ленинграда лететь дольше, чем какую-нибудь Данию на велосипеде переехать. Представляешь, сколько должен стоить билет в той рыночной экономике, про которую вы говорите? Один мой пациент... тоже, кстати, по его словам, демократ... Экономист большой... Просвещает меня каждый раз, когда я заставляю его крутить педали велоэргометра. Называет, какие зарплаты в других странах. Но когда спрашиваю, сколько там платят за социальные блага, хватается за сердце. Вижу: не хочет говорить... Или не знает.

— А мне не нужна забота государства обо мне! Пусть отдадут все заработанные мной деньги, а я уж сам решу, куда и сколько мне платить. Почему за меня кто-то думает? Не надо за меня думать. Не надо за меня решать. На Западе каждый за себя. Вот это и есть свобода. Мы такую тоже будем устанавливать.

— Однако пока получается хаос, — сказала молчавшая до того мать.

— Вы боитесь перемен... Это естественно. Каждый немолодой человек боится перемен, даже если они в итоге приведут к лучшему.

— Я опасуюсь перемен к худшему, — проговорил отец. Подошёл к сидящей жене, приобнял её за плечо. С грустной улыбкой посмотрел на сына.

— Ты помнишь, как мы ездили на юг? Почти каждое лето. Сначала на “Москвиче”, потом — на “Волге”. Мама Роза — рядом со мной. Ты — сзади. Захочешь спать — оглянемся, а ты спишь... Останавливались ночевать, где глазу приятно. Палатку разберём... Пока мама Роза готовит еду, мы с тобой удочки размотаем и к речке.

Потом — с девочками твоими... Нашими девочками... Заберём их у вас по пути на юг и также без всякой боязни едем по стране. А теперь что вы устроили-перестроили? Не только на ночь страшно остановиться в лесу... или возле реки. Днём убивают и грабят. Ты хочешь, чтобы это разрасталось дальше? Врачи стали мыть посуду в забегаловках... Конструкторы пошли торговать барахлом в подземных переходах... Твоя младшая дочь — наша радость — встала на углу... клиента ждать. Ты этого хочешь?

— Ты рисуешь какие-то нереальные картины. Такого не будет никогда. Мы не позволим.

— Кто это “мы”?

— Мы — демократы.

— Серёжа! Вас ведут на поводке идеи. Вы всего лишь отряды политических смертников. Вспомни, чем заканчиваются все революции: Французская... наша Октябрьская. На плечах ослеплённых масс... идея-то хорошая: свобода, равенство, братство... к власти приходят циники и головорезы. Это потом наступает человеческий порядок. Да и то не всегда. Вас используют... Бросят в топку разрушения, как вязанки дров. Мы ведь с мамой Розой не

слепые и не зашоренные идеологией люди. Видели... Знали, что нужны перемены в стране. Но посмотри, к чему идёт дело! К разгрому не только плохого, но и хорошего.

— Неизбежные издержки любой революции.

— Хватит нам революций! — резко сказал отец. — Эволюция нужна... Умная. Продуманная. Простой мужик, если собирается в незнакомую дорогу... он про неё постарается всё узнать. А этот... пошёл в воду, не зная броду. Теперь захлёбывается. Сам-то ладно, чёрт с ним. Страну топит!

— Утонет всякая дрянь. Хорошее всплывёт. Умным людям много достанется.

Сергей вспомнил слова Марка. “Когда советский режим рухнет, всё окажется бесхозным. Тут, главное, не растеряться”.

— Марк на этот случай копил деньги. По-моему, даже матери не даёт. Кстати, работает на заправке, а имеет больше, чем я — врач.

Отец пристально посмотрел на Сергея. Помолчал, словно раздумывая, говорить или нет.

— Марк ворует.

— Ты што говоришь? — с недоумением вскричал Сергей. — Ты понимаешь, што ты говоришь?

Он бросил взгляд на мать, надеясь увидеть осуждение отца. Но та согласно кивнула головой.

— С чево ты взял?

— С его слов. Он в группе наших эмигрантов, которые химичат с бензином. Дегалей не понял. Да они мне и не нужны — я ж не следователь... Главное — они нарушают закон.

— Не хотела бы я своего сына видеть за таким делом, — сухо сказала мать. — Раю жалко. Когда-нибудь придёт беда.

— Ну, вы меня напугали, — облегчённо расслабился Сергей. — Думал, чёрт-те что. Надо отвыкать от старого понимания, што хорошо и што плохо. В рыночной жизни вчерашние советские принципы не пригодятся. Отказываться от них надо. Решительно отказываться.

После того разговора он сразу уехал из Ленинграда домой. А вскоре с Волковым отправился по приглашению пациента “в дуга”. Теперь жалел о своих неосторожных высказываниях. Думал, самый близкий товарищ поймёт и согласится, а он оцетинился, как дикобраз, — даже концы усов заострились. Поэтому, немного помолчав, Карабанов с натужным миролюбием объявил:

— Хотя, может, ты и прав, старик. Рассуждать об этом не время. Мой дед, наверно, не одобрил бы. Меня занесло... забудем об этом...

Однако судя по вырвавшимся за столом словам, Сергей ничего не забыл и, похоже, в другом малоподье не скрывал прежних сожалений. “Ну, и чёрт с ним! — подумал Волков, опускаясь на табуретку. — Где-нибудь ляпнет — получит по физиономии. Не все будут миндальничать, как я. Непонятно только, почему молчит Слепцов”.

— Паша, я штой-то не помню: это ты мне рассказывал про достижения нашей оборонной промышленности, или кто другой? — с иронией спросил учитель. — Если ты, просвети сейчас и всех остальных. А то мужики подумают: у нас, в самом деле, ничего хорошего нет.

— Всё хорошее только у американцев, — вставил Нестеренко, выразительно глянув на Карабанова.

Но Слепцов, словно не слыша Владимира, сосредоточенно резал колбасу из фетисовского “заказа”.

— Ты чего молчишь, Пашка? — повысил голос учитель. — Объясни людям, что Карабас с чых-то слов вешает им лапшу на уши. Или ты с ним согласен?

— Конечно, согласен, — опять вступил электрик. — Если они хотят советскую власть на какую-то другую менять, значит, оба заодно.

— Я тебя не узнаю, Слепцов. Ты когда был честным? Когда мне рассказывал про наши оборонные дела или сейчас?

И видя, что экономист демонстративно не хочет отвечать, Волков, как чужому, протянул:

— Да-а, парень. С тобой на операцию идти рискованно.

— Кончайте галдеть! — пристукнул ладонью по столу Адольф. — В телевизоре сплошная ругань, и вы тут мне митинг развели. На охоту приехали — не на собрание!

— Правильно, Адольф, — быстро согласился Карабанов. — Надо про завтрашний день думать. Сегодня как-то у нас всухую.

Он говорил поспешней, чем всегда, одновременно разливая водку по стаканам.

— Какие завтра будут действия, Адольф?

— Война план покажет, — холодно ответил егерь. Он первый раз охотился с доктором, но уже невзлюбил его. Понял, что этот губастый толстый мужик из тех опасных, которые хотят не ремонтировать жизнь в стране, пока это ещё можно, — аккуратно, с умом, как привык делать это он сам, — а ведут дело к полному разрушению. Егерь за многое винил Горбачёва, плевался, вместе с другими мужиками, когда видел его жену Раису Максимовну, будучи уверенным, как большинство вокруг, что это она командует “пятнистой балаболкой”, а рядом настоящего подручного у него нет. Недавно Валерка принёс частушку, и Адольф за вечер — они сидели тогда в этой избе только свои, деревенские — три раза просил Валерку “показать” её:

*По России мчится тройка —
Мишка, Райка, Перестройка.
Водка — десять, мясо — семь,
Охерел мужик совсем.*

Сначала Адольф решил, что хорошим пристяжным Горбачёву будет Ельцин, но вскоре понял, что этот мужик просто хочет отнять у Горбачёва власть, а такие планы всегда приводят к войне и, если за власть дерутся двое в одной стране, — к войне гражданской.

— Давайте выпьем за Адольфа, — сказал Карабанов, почувствовав отношение егеря к себе.

— И за его ребят — Валеру... Николая, — добавил Фетисов.

“Столичная” водка “от Фетисова” шла хорошо. Зная непредсказуемость событий на охоте, Игорь Николаевич, по договорённости с компанией, брал сразу пол-ящика. Водка — это валюта для расплаты. Она же — смазка любого застольного механизма. Вчера, радуясь встрече, взволнованные предстоящей неизвестностью (каждая охота — это неповторимость ситуаций и ощущений), за долгий вечер “усидели” несколько бутылок. И не сказать, чтобы были заметно выпивши — все мужики крепкие, здоровые. Только Фетисов, как всегда, быстро глазками заблестел, да спорили, может, горячей обычного. Но тут уж не поймёшь: в спиртном ли дело или *перекосная* жизнь, которую каждый с собой привёз, ярила головы и языки.

Да и как было не злиться всем вместе, без разделения на “демократов” и “ретроградов”, когда из традиционного, всегда доступного напитка сделали сначала запретный плод, а затем — трудно достигаемую ценность.

Глава девятая

Через месяц после прихода к власти, в мае 1985 года, Горбачёв объявил о начале борьбы против пьянства и алкоголизма... Это был его первый радикальный шаг, причём в области непростой и весьма чувствительной.

Никто не отрицал очевидной истины: пьянство — зло. Для этого не надо было обращаться к какой-либо статистике. Достаточно оглянуться вокруг. Пили старики, мужики, парни. Пили бабки, тётки, девушки. Водкой обмывали радость и заливали горе. Ею расплачивались за работу и сплывались после трудового дня. Пил простой люд, интеллигенция, начальники. Пьянство разбивало семьи и преждевременно уносило жизни. От пьянства близких

страдали женщины и дети. Алкоголь был причиной многих преступлений. На пьяных парах рос бытовой, производственный и транспортный травматизм.

Другие страны тоже населяли не одни трезвенники. Когда в СССР подняли знамя борьбы с пьянством, каждый чех выпивал по 14 с лишним литров алкоголя в год, венгр — по 13, датчанин — по 12, бельгиец — по 11. В Ирландии на каждого человека старше 15 лет приходилось почти по 12 литров абсолютного алкоголя, столько же — в Германии и Швейцарии, ещё больше — в Португалии (13,4 литра) и Франции (14 литров). Не намного отставали лидеры “цивилизованного мира” — Англия и США — примерно по 9 литров на человека.

Даже там, где в борьбе с пьянством активно участвовало государство, ситуация была далека от сносной. В Финляндии приняли “сухой закон” в 1919 году. Он запрещал производство, ввоз, продажу и даже хранение любого алкоголя. Закон продержался 13 лет. И все эти годы шла ожесточённая борьба между пьющими и стерегущими. Контрабандисты на быстроходных катерах по ночам везли спирт из близкой Эстонии. Дальше шло тайное его распределение. В Финляндии у мужчин появилась мода на сапоги с высокими голенищами — в них удобно было прятать фляжки со спиртом.

В 1943 году ввели “алкогольные карточки”. Они строго ограничивали покупку спиртного на одного человека. Тех, кто попал на заметку властям как пьющий, не допускали в магазины. Карточки отменили только через тридцать лет — в 1973 году.

Впрочем, период относительной свободы продержался недолго. В 1977 году полностью запретили рекламу спиртного. Со следующего года магазины, торгующие алкоголем, перестали работать по субботам.

Властям было чего опасаться. По статистике, на каждого жителя страны приходилось в год по 7 с лишним литров алкоголя. Стремление финских мужиков найти где угодно выпивку вошло в пословицы и анекдоты. Когда Советский Союз открыл для финнов кратковременные — на день-два — туристические поездки в Ленинград и Прибалтику, мало какой мужчина возвращался к автобусу, поезду или парому трезвой походкой. “Туристы” уже в первых приграничных городах или в буфетах паррома начинали знакомиться со Страной Советов через бутылку водки. Назад многие вели друг друга под руки, а некоторых несли на руках.

Но в СССР, по разным исследованиям, пили больше. Одни называли 11 литров алкоголя в год, другие поднимали до 12–13.

Причины “пьяного половодья” не всегда укладывались в простые и ясные схемы. Немалая часть общества, расшатанная идейно, то и дело испытывающая бытовые трудности, не обременённая жёсткой трудовой дисциплиной, с помощью алкоголя пыталась амортизировать стрессы. Другая часть пила потому, что водка всегда была доступна и недорога. Поднять настроение, повеселиться без больших затрат — это устраивало многих, особенно молодёжь. Третьи пили, не зная, куда девать свободное время. Четвёртые — расслабляясь после тяжёлой физической работы. А кто-то, наоборот, от психологической и моральной усталости.

Торговля алкоголем приносила большие средства в бюджет. Однако потери от пьянства, и это признавалось многими, значительно превышали этот финансовый вклад. Поэтому пьяное половодье надо было осушать. Но как? И тут встаёт извечный вопрос: чем дальновидный политик-стратег отличается от близорукого руководителя-тактика? Тем, что умеет просчитывать не столько близкие, сколько дальние последствия своих решений. Лечить “алкогольную эпидемию” было нужно, только мерами комплексными, а не экстремистскими.

Этого не понял Горбачёв. Купаясь в эйфории от доставшейся ему высшей власти во второй державе мира, он решил, что сложную, неоднозначную проблему можно одолеть нахрапом. А будучи к тому же легко внушаемым человеком, подхватил топор, брошенный ему Егором Лигачёвым. Тот принадлежал к упёртой поросли партийных ортодоксов, полагающих, что только кнутом можно гнать людей в светлое будущее. Остановив производство сомнительных по качеству “плодово-выгодных” (плодово-ягодных) вин

и прочей “бормотухи”, рыцари трезвости обвалью сократили выпуск водки и уж совсем непонятно для чего стали вырубать виноградники. Повсеместно закрывались магазины, торговавшие алкогольными напитками. Уже через три-четыре месяца их число сократилось на 55 процентов. А кое-где на местах пошли ещё дальше: в Белгородской области из 160 магазинов осталось 15, в Астраханской из 118 — 5. Сохранившиеся работали по 3—4 часа в день.

Страна заколыхалась в тысячных очередях. На свадьбах перестали кричать “горько”. Поминки, и без того грустные, стали ещё тоскливей от компота в стаканах. Народ массово вспомнил едва теплошиеся в памяти рецепты самогонки. В домах, в квартирах простого люда и даже интеллигенции в почётном тёмном углу встали большие стеклянные бутылки с брагой. Сигналом о её готовности остроумный народ сделал медицинские резиновые перчатки. Натянутые на горловину, они сначала безжизненно висели. По мере созревания браги постепенно наполнялись газами брожения и, наконец, вставали во весь рост, напоминая помахивающую руку. Это называлось: “Привет Горбачёву!”

Резкое сокращение продажи водки в государственной торговле и массовый поворот к самогонварению породили сразу несколько экономических и социальных проблем. Бюджет страны стал недополучать десятки миллиардов рублей. А они потребовались! Произошла авария на Чернобыльской АЭС, через некоторое время землетрясение в Армении разрушило город Спитак.

Но миллиарды, пройдя мимо бюджета, активно заработали в другом направлении — в создании невиданной до того по масштабам организованной преступности. Водкой торговали таксисты у вокзалов, её выносили с чёрного хода баз и магазинов, подпольно продавали ящиками “нужным” людям. Разумеется, втридорога.

А взрыв самогонварения быстро создал в стране дефицит сахара и дрожжей. Это, в свою очередь, привело к дефициту кондитерских изделий. К очередям за горьким добавились очереди за сладким. В огромных скоплениях издёрганных людей на все лады кляли “Минерального секретаря”, рассказывали злые анекдоты, складывали ядовито-брезгливые частушки:

*По талонам горькая, по талонам сладкая.
Што же ты наделала, голова с заплаткою?*

Идеологи антиалкогольной борьбы перечисляли положительные результаты кампании: сократился травматизм, меньше стало смертей от водки, вроде бы начало здороветь общество.

Но отрицательных факторов оказалось гораздо больше. Не имея возможности купить нормальный алкоголь, люди обратили внимание на технические жидкости, содержащие спирт: у строителей добывали моришку и политуру; из парфюмерных магазинов исчезли дешёвые одеколоны, туалетная вода, лосьоны; в аптеках сметали настойки лекарственных трав и боярышника. В итоге заметно подскочило число отравлений.

Однако самым трагичным оказался бурный рост токсикомании. Эта беда коснулась многих, но прежде всего захватила молодёжь. Достаточно было нескольких “сеансов”, чтобы наступили необратимые последствия. Волковская компания видела это собственными глазами, и теперь, когда кто-нибудь задевал тему токсикомании, в памяти вставал их общий знакомый — Жора Куприянов.

Вчера, уже собираясь спать, Карабанов увидел на окне баллончик из-под “Дихлофоса”. Повертел его, понюхал сопло. “Как они этой дрянью дышат?” — спросил вроде сам себя. Но его услышали. “Не боятся ведь стать идиотами”, — откликнулся Волков. “Надо бы Горбачёву показать Жору, — сказал, накрываясь полупшубком, Нестеренко. — Каким был и каким стал”.

Об этом парне они не могли вспоминать без жгучей горечи. Впервые увидели его на базе одного завода в Ярославской области. Их компанию объединили с группой из пяти заводских охотников. День был удачный — взяли двух лосей. Вечером все собрались за одним столом — “на печёнку”. Лидером заводских охотников оказался 25-летний парень. Волковская компания

сразу обратила на него внимание. Да и нельзя было его не заметить: ростом выше немаленького Волкова, а у того — 183 сантиметра, с русыми вьющимися волосами, голубоглазый, с прямым носом и припухлыми юношескими губами, которые то и дело трогала добрая улыбка. Он, казалось, пришёл из каких-то былинных историй.

Жора Куприянов, так назвался парень ещё утром, сразу и бесповоротно понравился всем. Видно было, что так же приятен он и своим товарищам: он смешил компанию и сам заразительно смеялся, с уважительным вниманием слушал гостей, с надеждой говорил о Горбачёве. Пил он мало и при каждом удобном моменте с явным теплом рассказывал о жене и маленькой дочери. Три года назад Жора окончил институт и, видимо, был человеком способным, если его уже назначили главным технологом цеха.

В следующий раз волковская компания оказалась на той же базе в разгар горбачёвской борьбы против пьянства. Люди душились в очередях за бутылкой водки, и фетисовские пол-ящика должны были обрадовать егерей и заводских охотников. Жора приехал с другими людьми. Но теперь это был заметно изменившийся человек: русые, недавно густые волосы поредели, под глазами появились полукружья, глаза потускнели, кожа на лице стала пористой.

Когда налили первые стопки, Жора, не дожидаясь остальных, схватил свою и быстро выпил.

— Ты чево какой-то странный? — спросил Нестеренко. — Заболел, што ль?

— А мы нюхаем, — ответил за Жору его сосед, такой же, с нездоровым лицом, парень.

— Водки нет... Вместо неё “Дихлофос”.

— Как это нюхаете? — удивился Слепцов. — Это же яд! Мух им травят.

— Изнеженные вы мужики, — грубовато сказал Жора, наливая себе ещё водки. — Вы знаете, как сейчас ребята “ловят кайф”? Раньше пару рюмок выпил — идёшь на дискотеку. Настроение хорошее, всё соображаешь.

Он замолчал, глядя на бутылку и, видимо, прикидывая, удобно ли наливать себе снова.

— Теперь “кайф ловим” с мешком на голове.

— С каким мешком? — не понял Волков.

— С обыкновенным. Полиэтиленовым. Берёшь мешок... ну, обычный пакет... В него брызгаешь “Дихлофос” и — сразу на голову. На шее надо перехватить, чтоб “дурь” сразу не ушла.

— Жора! Вы же себя губите! — воскликнул поражённый Нестеренко. — Нет водки — гоните самогон, как другие. Ты посмотри, на кого ты похож!

— Для самогона нужен сахар. Хотя бы конфеты. Некоторые, кто при снабжении, берут карамельки. Говорят, хорошая брага... Но это кто при снабжении...

В третий и последний раз они видели Жору Куприянова вскоре после провала борьбы за трезвость. Почти ничего общего не было между тем жизнерадостным, красивым богатырём, которого они не так давно увидели впервые, и теперешним разрушенным, опустошённым человеком. За столом сидел сильно полысевший, сутулый мужик с ничего не выражающим взглядом пепельно-серых тусклых глаз, с дряблой кожей лица и сомкнутыми полосками губ. Он мало говорил, не сразу реагировал на вопросы. Увидев входящую компанию, вроде обрадовался, но через какое-то время снова потерял интерес ко всему.

Тот, последний Жора всякий раз, когда вспоминали о нём, вызывал в компании не только горечь, но и споры о виновниках этой человеческой трагедии. И снова товарищи расходились во мнениях. Нестеренко винил Горбачёва, доктор со Слепцовым — советскую систему, а Волков и Фетисов — самого Жору.

— Даже в скотских условиях, — сказал как-то учитель, — если у человека есть воля, он останется человеком.

— Откуда ей взяться, этой воле, — усмехнулся Карабанов, — когда народ веками не знал свободы. Пьянство — национальная черта русских. Пили, пьют и будут пить. А советская власть, вдобавок, затянула и других в эту воронку.

— Ты поосторожней, Карабас, с национальными особенностями, — осадил доктора Нестеренко. — Если мы начнём копать в твоём еврейском народе, то найдём, будь здоров, сколько “пятен на солнце”. Лучше не надо брать лопаты. Тем более, неизвестно, с чего ты делаешь такие выводы. К твоему сведению, по потреблению алкоголя на душу населения мы в течение трёх последних столетий были в лидерах трезвости. К началу двадцатого века в Европе меньше России пила только Норвегия. Остальные — больше. Перед первой мировой войной у нас вышивали меньше пяти литров на человека. И всё-таки царь объявил “сухой закон”. Между прочим, он действовал и после революции, отменили его только в 1925 году. В этот момент в Советском Союзе потребляли примерно четыре стакана алкогольных напитков на человека в год. А в Германии — около трёх литров. На стаканы — это, сам считай, примерно штук пятнадцать. В Англии — больше шести литров. В Италии — под четырнадцать. Во Франции — восемнадцать литров.

— Где-й-то ты таких цифр накопал? — удивился Волков. — Прямо лектор из общества трезвости.

— Ты угадал. Загнали меня в это общество. Сперва было интересно, но быстро понял, что Горбачёв не учил как следует историю. Иначе подумал бы о результатах. Введённый царём “сухой закон” поначалу отрезвил страну. Представляете, потребление алкоголя сократилось до одного стакана в год! Но потом — две революции, гражданская война. Мужики — и красные, и белые — бросились на самогон, на всякую техническую мутату, где есть спирт. И те же последствия, што сейчас. Только в меньших масштабах. А вот советская власть, Сергей, умело подхватила начатое царём. После отмены “сухого закона” раскрутили бешеную разъяснительную работу, насоздавали чёрт-те сколько “обществ трезвости”. Каждый пьющий стал считаться вредителем производства и врагом социализма. Знаю, знаю тебя. Сейчас свернёшь к своим любимым “врагам народа”. Не было этого. Зато пьянство круто пошло на убыль. В течение тридцати лет пили меньше, чем до царского “сухого закона”. Только к семидесятому году потребление алкоголя выросло примерно до шести с половиной литров на человека. Вот что значит работать головой, а не пятном на голове.

Глава десятая

Эту покинутую избу Адольф, по договорённости с охотником из сельсовета, определил под свою базу. Привёз три железных кровати, с десятком старых матрацев, отжившие в хозяйстве табуретки и стулья. Кто-то из приезжающих сюда начальников переслал егерю газовую плиту и несколько баллонов. Сейчас матрацы горой лежали в дальнем правом углу запустелой горницы. Фетисов разложил штук пять один к одному, снял валенки и лёг, как маленький островок на рябом озере. Спать он не хотел и лёг, чтобы, по давней своей привычке, быть вроде как с товарищами и в то же время не привлекать к себе внимания. В такие минуты ему свободно и *ненапряжно* думалось, он мысленно с кем-то из них соглашался, а кому-то — опять же мысленно — возражал. И в мыслях у него всё получалось складно. Его никто не перебивал. Ему не надо было торопиться, а поэтому удавалось не спеша убедить товарищей.

Игорь Николаевич как человек мягкий и стеснительный особенно переживал из-за нарастающего разлада в их компании. Он понимал, что каждый из них выражал какое-то одно, важное именно для него представление о нынешней обстановке в стране, о том, как надо поступать, чтобы в итоге было хорошо.

Но индивидуальные позиции его товарищей были в то же время и отражениями самых распространённых в стране взглядов, политических устремлений. По сути дела, каждый представлял определённую часть бурлящего, спорящего, растерянного общества. В Андрее Нестеренко сконцентрировались интересы тех, кто ни при каких обстоятельствах не допускал даже мысли о разрушении советского строя, ликвидации социалистической системы.

Он говорил товарищам, и Фетисов был согласен с ним, что социализм как новое историческое явление далеко не исчерпал себя — он ещё очень молод, способен к различным трансформациям. Да, пришли к застою, затормозили развитие, но это всего лишь болезнь огромного, достаточно мощного организма, и нужен хороший доктор для его лечения. Таким доктором Нестеренко считал Андропова, но тут товаровед мысленно с ним не соглашался. Какой доктор, если лечение начинается с ремня? Короткий период андроповского наведения порядка запомнился Фетисову опасным визитом, когда на базу внезапно приехала большая бригада проверяющих. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если б на третий день начала проверки не умер Андропов и бригаду сразу не отозвали.

Но с тем, что Горбачёв, по словам Андрея, оказался не опытным врачом, а хуторским коновалом, Игорь Николаевич был согласен. Это особенно стало видно сейчас — к январю 91-го года.

Позиция Карабанова тоже была ясна и отражала взгляды немалого числа людей: социализм и советская власть себя изжили, нужно возвращаться, как говорил доктор, “в лоно мировой цивилизации”. Если отбросить словесные обёртки — к капитализму.

В своих раздумьях Игорь Николаевич не соглашался с этим. Капитализм был для него чем-то таким далёким и давно оставшимся позади, что он не мог даже представить его в обыкновенной жизни. Кроме того, Фетисов иногда приходил к мысли, что именно таких, как доктор, твёрдо убеждённых, агрессивно настроенных против социалистической системы, а значит, против государства в целом, не так уж и много. Большинство — просто попутчики, каждый из которых отрицает не СССР и существующий в нём политический строй, а отдельные его раздражающие элементы. Но недовольные каждый своей частью, они сливались в растущую массу недовольства и, сами того не понимая, усиливали отряд ненавидящих целое.

Таким вот “попутчиком” казался Фетисову Павел Слепцов. Уж ему-то, думал Игорь Николаевич, надо быть ближе к инженеру-электрику, чем к доктору, поскольку всё, что он имел — в самом широком смысле: судьбы отца и матери, собственную материально благополучную жизнь — всё это сотворило социалистическое мироустройство, и вряд ли Павел ясно себе представлял, что будет вместо этого. Да и такой радикал, как Сергей Карабанов, тоже, по наблюдениям Фетисова, смутно понимал, к чему в реальности приведёт демонтаж несущих конструкций государства. Может, и лучше будет та, новая жизнь, думал товаровед, но где гарантии? Сломать-то сломают, а кто будет строить? Ельцин? Когда Фетисов думал о нём, его мучили тяжёлые сомнения. Человек, запросто сменивший одну веру на другую, так же легко переменит её на третью и четвёртую. Остальные, кого слушал Игорь Николаевич, тоже не вызывали доверия. Ему почему-то казалось, что они только умеют говорить лучше партократов, но для серьёзного дела не приспособлены.

Волков был наиболее понятен Фетисову. Прежде всего потому, что сам товаровед, как ему казалось, был таким же. Оба хотели обновления и перемен. Однако не таких, которые сейчас разрывали страну. То, что творилось, уже нельзя было назвать нормальной жизнью. Но ведь всё это сделал Горбачёв, и тут Фетисов снова соглашался с Нестеренко. Из той прежней, догорбачёвской жизни надо было убрать уродливые наросты, капитально отремонтировать экономику, установить ответственный порядок. Как повторял его сын Юрий: “Очистить авгиевы конюшни”. Очистить, но не ломать!

Сын Фетисова первым ушёл от семейной традиции — стал юристом. Мужчины в четырёх поколениях занимались торговлей. Прадед, получивший вместе с отцом вольную при Александре Втором, к старости стал небогатым купцом. Дед тоже был купцом, но уже с большим капиталом. Выполнял императорские заказы — снабжал армию перед первой мировой и во время неё.

После Октябрьского переворота был арестован, через некоторое время его отпустили. Но после того как Фаина Каплан ранила Ленина, а начальника Петроградской ЧК Моисея Урицкого застрелил член партии эсеров Леонид Каннегисер, в числе многих заложников, ни за что, просто в знак отмщения, расстреляли и фетисовского деда. Отцу Игоря Николаевича было десять лет.

Он многое помнил из прежней жизни, но только перед смертью, как раз в год “воцарения” Горбачёва, рассказал сыну и дочери историю их деда.

Сам отец закончил кооперативное училище. В Отечественный был на фронте, часто на передовой, доставляя еду в окопы. После войны долго работал в потребкооперации. К торговле вызвал интерес и у сына.

Долгое время свою родословную Игорь Николаевич особо не афишировал. Теперь можно было говорить в открытую. Даже гордиться репрессированным дедом. На этом стали зарабатывать капитал наиболее ушлые и скандальные родственники жертв. Правда, жертв только “сталинского террора”. Дальше вглубь времени разоблачители не шли и, как понимал Фетисов, вполне сознательно. Иначе им пришлось бы говорить, что многие жертвы Сталина сами были кровавыми палачами, уничтожившими в период “красного террора” и позднее миллионы людей, и не Божье ли возмездие настигло их спустя двадцать лет? Теперь их родственники мстили советской власти и Сталину, хотя он, по мысли Фетисова, был всего лишь орудием Всевышнего. Мстили с той же кипящей ненавистью, с какой их предки мстили невинным людям только за то, что те были из “другого класса”. Наверно, всеми революциями, думал Игорь Николаевич, движет, прежде всего, месть — месть за повешенного брата, за публичное унижение властителем, за отобранную власть, за то, что у одних есть то, чего нет у других. Неужели люди никогда не остановятся? И почему даже близкие становятся врагами? А ведь могут понимать друг друга... могут.

Последняя мысль появилась, когда Фетисов с удивлением прислушался к разговору Нестеренко с Карабанным. Спокойно, словно не они весь вечер нападали друг на друга, электрик и доктор в этот момент обсуждали лаек Адольфа и Валерки. У егеря был крупный, нелюдимый Пират, у Валерки — весёлая, игривая Тайга.

— А ты не смотри, што она ластицца, — говорил Валерка доктору. — Пират, он, конечно, зверь. Но моя по кабану притравлена. Чуть чё — хватъ за морду. Вцепицца подвинку в “пятак” и с куском отлетает. Кажный раз боюсь, не кинулась ба на секача. Тот из неё вмиг двух сделает. Клыками — раз, и на матрас.

Городские, одёрнутые егерем, которому не понравился их “митинг”, несколько присмирели и как бы распались на кучки. Доктор с электриком заинтересованно слушали Валерку, а тот, видя их внимание, нёс про Тайгу всякую всячину. Павел Слепцов показывал красноглазому Николаю патроны с пулями “турбинка”. Уверял: такие не дают в лесу рикошета. Волков, углублённый в свои мысли, рассеянно пытался попасть кончиком охотничьего ножа в хлебную крошку на столе.

Ему нравились зимние охоты. Темнеет рано, светает поздно. Можно выспаться, если даже засидишься за полночь. Не то что в конце лета — на утиных охотах или весной — на пролёте гуся. И они подолгу сидели зимой за столом. Уже не пили водку. Пили чай. Говорили о женщинах, о работе, о политике. Слушали байки егерей, сами вспоминали бывальщины. Им было так хорошо друг с другом, как только бывает между мужчинами, чувствующими себя братьями. Каждый любил остальных порой сильнее, чем себя, и зачастую удивлялся, как это он когда-то не знал этих дорогих ему людей, а уж тем более не представлял, как он может оказаться без них в будущем. Однажды, в очередной прилив такой нежности, Волков поднялся за столом. Они были одни, без женщин. Сидели расслабленные, просветлённые. Учитель задержался взглядом на каждом. Положив доктору руку на плечо, улыбался Нестеренко, ожидая, что скажет за чем-то поднявшийся их предводитель. Благодушно шурился Карабанов. С другой стороны от электрика к нему клонился маленький Фетисов. Паша Слепцов морщил в довольстве сухое лицо и заранее поднимал стакан, готовый выпить за всё, что произнесёт Волков.

— Ребята, — проговорил взволнованный учитель. — Вы видите, как нам хорошо вместе. Говорят: жизнь иногда разводит даже самых близких людей. Но я не знаю, што должно произойти, штобы развести нас. Мы разные, как цветы на клумбе, и мы едины, как та самая клумба. Я думаю, так будет всегда. И мы всегда будем друг с другом.

Слепцов согласно закивал. Что-то невнятное, но, судя по заблестевшим глазам, доброе пробормотал Фетисов. А Нестеренко, подтянув к себе доктора, громыхнул:

— Мы будем не только стоять рядом друг с другом. Мы будем стариться плечом к плечу.

Но в последнее время прежняя благодать радовала всё реже. От того, что споры то и дело подходили к обрыву конфликта, хотелось быстрее встать и уйти спать. Даже если время было самое развечернее.

После летних сожалений Карабанова о несбывшейся немецкой победе у Волкова как будто что-то треснуло в его отношении к доктору. Он ещё пытался не дать трещине сильно разрастись. Натужно преувеличивал то, в чём был с доктором согласен, и также с усилием преуменьшал их расхождения. Но это давалось всё труднее. Волков понимал: прошлое уходит и, скорее всего, безвозвратно. Они с Сергеем напоминали пассажиров двух поездов, трогających со станции в противоположных направлениях. Поезда ещё не набрали скорость, колёса только-только сделали первые обороты, и люди почти напротив друг друга. Но разъезд убыстряется, и уже надо поворачивать головы, чтобы видеть уплывающее лицо.

Владимир был благодарен Карабанову не только за его прошлое бескорыстное товарищество, но и за спасение дочери. Сейчас ей исполнилось тринадцать лет. Красивая, высокая — в отца — девочка-подросток забыла те часы, когда её жизнь висела на волоске. Но Волков помнил всё отчетливо, хотя прошло три года. Никто из врачей, куда дочь ни привозили, не мог определить, почему у неё высокая температура и боли не в том месте живота, где обычно бывает аппендицит. В отчаянии Волков позвонил Сергею домой. Доктора не было — он уехал к родственникам в Ярославль. Жена Карабанова дала их телефон. С какой скоростью мчался Сергей, учитель мог только догадываться. Уже через три часа дочь готовили к операции. У неё оказался атипичный аппендицит. Это Карабанов понял каким-то чутьём, поскольку никакие анализы и экспресс-обследования причины высокой температуры и повышенного содержания лейкоцитов в крови не объясняли. Девочку сразу отвезли в операционную и, как стало ясно, вовремя. Ещё немного — и началось бы бурное заражение организма.

Волков был очень признателен доктору за дочь. Однако прогрессирующая ненависть Карабанова ко всему, что он называл “совковой действительностью”, а учитель, морщась, поправлял: “Наша жизнь”, в которой для него оставалось немало дорогого, размывала чувство благодарности, вызывала тревогу и отторжение недавно близкого человека.

Учитель тоже хотел перемен и начал созревать к ним едва ли не раньше других. Помогали тому не только собственные наблюдения, но и работа жены-журналистки. Они жили весьма ладно, ещё не утратили желания рассказывать друг другу о своих работах, а главное — с интересом слушать про давно ставших заочно знакомыми учителей, журналистов, хозяйственников и партийных работников.

К делу жены Владимир относился с некоторой внутренней настороженностью, хотя внешне этого старался не показывать. Только подвыпив, иногда с усмешкой говорил: “Как я на тебе, Ташка, женился — ума не приложу! Вы ведь какой, журналисты, народ? На работе врётё, приукрашивая жизнь. Привыкаете к этому... Становится нормой хоть чуть-чуть, но сокрушать... Выходит, дома за вами надо во все глаза смотреть. Того и гляди обманете”.

Заметив, что она вот-вот вспылит, миролюбиво отступал: “Ладно, ладно... Ты у меня не такая”. Однако заканчивая критический укол, непременно добавлял: “Но согласись: легче всего изменяют женщины-корреспондентки”.

Жена, конечно, не соглашалась: “А ещё учитель! Психолог! Женщины вообще трудней идут на это. Мужчине — что? Встал, отряхнулся, улыбнулся и пошёл. Мужчина изменяет телом. Женщина — душой”.

Волков не спорил с этим. За примерами, считал, далеко ходить не надо. Мария каждый раз старалась дольше удерживать его, словно боялась потерять что-то такое, без чего ей будет плохо. Он же только чувствовал благодар-

ность, неловкость и желание скорее уехать. Она по-своему ценила мужа, фанатично любила и восторгалась сыном, но если бы Владимир позвал её прийти к нему насовсем, создать их общий дом, каждодневную, неразлучаемую семью, Мария взяла бы только сына и обрубила всё остальное, своё и волковское, что соединяло их с прежними жизнями.

Однако Владимир даже в мыслях такого не представлял. Он возвращался от Марии домой — встречались они обычно у её подруги днём, для этого Мария планировала так называемую “местную командировку” по Москве, а у Волкова оказывалось свободное от уроков время, и первое, что он делал, вернувшись из Москвы, звонил в редакцию жене. Она не всегда была на месте. Но выполнив этот ритуал, Владимир как бы снимал с себя что-то давящее, вызывающее в душе стеснение и неуют.

Вечером же, как кот, ластился к озабоченной, усталой Наталье, не смущаясь дочери, чувственно гладил жену то выше колен, то по округлому, без всяких надетостей под халатом, заду и, двигая усами, нетерпеливо подмаргивал в сторону спальни. Дочь в таких случаях спешно отсылали спать. Телевизор — этот информационный наркотик — досрочно выключали, и вскоре обоим становилось абсолютно безразлично, что там могут говорить, что обещать и чем пугать страну “демократы” с “партократами”.

Ещё до конца брежневского правления Волков, благодаря жене, стал глубже узнавать тусклую оборотную сторону однопартийной системы и не самые лучшие качества выращенных ею кадров. Наталья тогда работала редактором на телевидении. Готовила и вела общественно-политические передачи. Их записывали заранее. Когда передача была готова, рабочая группа вместе с участниками садилась её просматривать.

Иногда к этому моменту на студию приезжал Владимир, чтобы отвезти жену домой. И его нередко удивляли партийные функционеры своей оторванностью от жизни. Уже бушевал в Польше независимый профсоюз “Солидарность”. Через “голоса” зарубежных радиостанций и даже через “прижатую” советскую печать до людей доходил накал тамошней борьбы, ожесточённая полемика на митингах и в телевизионных выступлениях, а здесь секретари райкомов и горкома читали по бумаге какие-то тусклые тексты, в которых не было ни живой мысли, ни отклика на волнующие общество проблемы. Даже когда Наталья вопросами подводила “собеседника” к какой-нибудь тревожной теме — в стране нарастал дефицит, всё острее чувствовались расхлябанность и моральный разлад — партийные функционеры отделялись банальными штампами и ничего не объясняющими призывами.

Однажды после просмотра записанной передачи Владимир негромко сказал жене:

— Пойдём скорей отсюда. Тут молодые вожди засохли, как старые листья. Ты с ними разучишься говорить.

Он имел в виду молодого секретаря райкома партии, который, с удовольствием дослушав свою тягомотину в передаче, игриво прощался в сторонке с женщинами. Однако слова Волкова он услышал и понял, о ком речь.

— Вот такие, как вы, всем недовольные, только мешают единству советского общества. Брюзжите... Сете, где удастся, семена сомнений. Партия знает, што надо делать и как разговаривать с народом.

Волков слегка смутился — он говорил не для всех. Но увёртываться не стал:

— Тогда с ним и надо разговаривать! А вы по бумажке читаете! Учитесь говорить своими словами. Умейте убеждать. Глядишь, пригодится...

— Вы, наверно, из диссидентов, молодой человек? Народ нас всегда понимает. А на таких, как вы, мы оглядываться не намерены.

От слов “молодой человек” Волков вспыхнул. Секретарь, судя по виду, был его ровесником, а может, и моложе.

— Ваше счастье, что пока вам не надо спорить, — сдерживая желание наругать, сказал он. — Не надо учиться нормально разговаривать. Но придёт другое время... не дай Бог, как в Польше... и тогда, молодой человек (Волков с издёвкой улыбнулся, выделив интонацией слова “молодой человек”), вы увидите, захотят ли вас слушать люди.

Он пошёл к выходу, зная, что жена идёт за ним. Уже возле дверей услышал: “Кто этот усатый наглец?” — “Муж нашей редакторши Натальи Волковой. Учитель...” — “А-а... Тогда понятно, от кого в школах бездельность. Ему жену нельзя доверять, не только детей!”

“Это тебе ничего нельзя доверять, — сердито думал Владимир, заводя машину. — Конфетку в дерьмо превратите!..”

Жена поняла его настроение, молча погладила по руке.

“Нет, какие козлы! — продолжал мысленно возмущаться Волков. — Придумали лозунг: “Спасибо партии и правительству за заботу о советском народе”. Да это вы должны народ благодарить! Ему спасибо, что он вас держит! “Партия знает, что делать...” Один дурак ляпнет — остальные кивают. Хрущёв обещал коммунизм! Говорил: “В восьмидесятом году советский народ будет жить при коммунизме!” Глупость городил, а никто ему этого сказать не мог...”

Когда набирающая обороты горбачёвская демократизация толкнула к трибунам сотни новых людей, многие из которых, ещё вчера неизвестные, учились говорить на ходу, Волков слушал их корявые выражения и злорадно вспоминал того секретаря райкома, других таких же надменных партфункционеров. Теперь, неумело огрызающиеся, засвистываемые, они не сходили, а сползали с трибун. Их можно было пожалеть: растерянных, потрясённых такой реакцией народа, который совсем недавно слушал эти же самые речи с каменным молчанием, а сейчас непочтительно кричал и гнал их прочь. Но Волкову, человеку по натуре не злопамятному, этих людей было не жалко. “Ну что, козлы, отсиделись в заповедниках? Ладно, если свою власть потеряете... Как бы не понесла лавина всех подряд...”

Владимир ещё продолжал радоваться нарастающим переменам в общественной жизни, удивлялся новым открытиям в недавней истории государства, но чем дальше, тем сильнее тревожили его развивающиеся события. Первый Съезд народных депутатов СССР, открывшийся в мае 89-го года, благодаря прямым трансляциям по телевидению поразил многих необычным “эффектом присутствия”. Миллионы людей как бы сами вошли в зал заседаний, сами соглашались и негодовали, слушая пугающе резкие, до холодка по спине, выступления депутатов, привыкали к новым фамилиям и лицам, понемногу расстёгивая с рождения надетые мундиры опаски и осторожности.

Но при этом учитель пока ещё смутно, однако чем дальше, тем явственнее начинал догадываться, что появление всё новых и новых экономических и бытовых проблем, которые с каждым днём отвязней критиковали демократы, вовсе не случайно и, тем более, вряд ли закономерно. Если отсутствие в магазинах мяса, колбасы, масла, сахара можно было объяснять неурожаем или неповоротливостью торговли, то чем было оправдать пропажу мыла, сигарет, алюминиевой посуды, телевизоров и многих других, ещё недавно доступных товаров? Теперь приобрести самое необходимое, в том числе простое мыло и водку, можно было из-под прилавка или по талонам, которые народ, вспомнив давнее слово, называл “карточками”. Но такого, как говорила Владимиру мать, не было даже во время Великой Отечественной войны. Издёрганная и всё более злеющая страна не знала, что случилось с советской экономикой, куда всё проваливается, где причины нарастающего хаоса.

И только немногие, складывая одно к другому, начинали понимать, что причинами всего этого стали скороспелые, непродуманные, авантюрные решения Горбачёва по перестройке народного хозяйства Советского Союза. Причём решения, следующие одно за другим, порой с разницей в несколько месяцев.

Сначала горбачёвская команда несколькими решениями (первое — в августе 1986 года) отменила государственную монополию на внешнюю торговлю. Право самостоятельно продавать продукцию за рубеж получили десятки министерств и сотни крупных предприятий. А вскоре такое право досталось почему-то и отдельным лицам.

Внешне это выглядело эффектно: Горбачёв снимает “железный занавес” на таком важном, десятилетиями забронированном направлении, тем самым

показывая свою приверженность демократии. В действительности же началось не освобождение экономики от “плановых оков”, а разрушение давно выстроенного баланса.

Регулируемые государством внутренние цены, рассчитанные на невысокие зарплаты населения, были намного, а порой — в несколько раз ниже стоимости этих же товаров за границей. Поэтому, как только появилась возможность продавать за рубеж продукцию, по сути, без контроля государства, товарный поток с внутреннего рынка повернул на внешний. За границу пошло продовольствие, золото, пушнина, лесоматериалы, удобрения, химтовары и много другой продукции, предназначенной для внутреннего рынка.

В 1987 году был принят Закон о совместных предприятиях. Он создавал льготные условия для экспорта советского сырья, что в сочетании с отменой госмонополии на торговлю усилило отток товаров.

Следом появился Закон о государственном предприятии. Поскольку он предусматривал приоритетное производство продукции, идущей на экспорт, оголение внутреннего рынка получило дополнительный импульс.

Через несколько месяцев приняли Закон о кооперации. Разрушение внутреннего рынка и государственной ответственности пошло шагами Гулливера по стране лилипутов. Хороший, в идеале, замысел, но авантюрно вброшенный в неподготовленную и всё менее управляемую среду породил дополнительные условия не для наполнения рынка товарами, а для роста преступности и теневого бизнеса. Руководители предприятий создавали кооперативы при своих заводах и фабриках, во главе их ставили родственников или других близких людей. Теперь уже не основному производству, а, в первую очередь, кооперативам шло получаемое по фондам дешёвое сырьё, на кооператив работали государственные станки и оборудование, использовались дешёвые, благодаря низким государственным ценам, энергоресурсы, а готовая продукция через кооператив или через совместное предприятие, где во главе тоже стояли свои люди, уходила за рубеж. Выгода была фантастической. Многие товары давали на один рубль затрат 50 долларов выручки. Некоторые изделия превращали в лом, чтоб удобней было вывозить (например, алюминиевую посуду), и продавали как дефицитный за рубежом материал.

Советская продукция, зачастую плохо и неброско упакованная, имела, между тем, значительные преимущества на рынке благодаря низкой цене, жёстким государственным стандартам (особенно в пищевой промышленности и аналогичных отраслях) и при этом неплохому качеству. Страна искала импортное, а за граница высасывала советское. В одном только 1990 году за рубеж была вывезена третья часть произведённых в стране потребительских товаров!

Неуправляемые процессы привели к тому, что государственные органы даже не всегда знали, что и куда вывозится. Зимой 1991 года правительство Турции обратилось к премьер-министру СССР Павлову с просьбой организовать на всей территории Турции сеть сервисных станций по обслуживанию советских цветных телевизоров. Их здесь оказалось более миллиона штук. Однако по официальным данным в Турцию из Советского Союза не было продано ни одного (!) телевизора.

Так разрастался дефицит на внутреннем рынке. В начале горбачёвской перестройки в свободной продаже было 1200 наименований товаров. К августу 1988 года их осталось 200. А через четыре месяца — в декабре 1988-го — уже только 100. Куда всё девалось, миллионы советских граждан не понимали. Заводы и фабрики вроде работали, на селе пахали и сеяли, а товарные возможности усыхали, как лужа под жарким солнцем.

И лишь те, кто имел возможность анализировать монбланы статистики, видели, что дефицит создаётся не только благодаря неразумным законам и решениям, но и откровенно противозаконными действиями. Те две трети советской продукции, которые оставались на территории страны после вывоза одной трети за рубеж, далеко не полностью шли в розничную торговлю. Значительное количество товаров сознательно припрятывалось на базах и складах. В 90-м году, как выявила одна из депутатских проверок, их было укрыто на 50 миллиардов рублей.

Припрятанная продукция портилась. Её списывали. Вместе с ней (под видом испорченной) на свалки выбрасывалась уйма добра: колбаса, шоколад, масляная краска, дешёвая обувь, коробка с чаем, печенье, тонны других продуктов. В том самом 90-м году вроде бы “сгнило” свыше 1 миллиона тонн мяса, “порвано” 40 миллионов штук шкур скота (а это — обувь, одежда, галантерея), “пропало” 50 процентов (!) собранных овощей и фруктов.

Разумеется, такие изъятия ощутимо усиливали дефицит товаров и особенно продуктов питания. Но раздражение народа, хотя и нарастающее с каждым днём, пока ещё не достигло крайней точки. Требовался детонатор взрыва. И он был найден.

Глава одиннадцатая

Табак и алкоголь — своего рода наркотики. Более слабые по сравнению с настоящими героинами-марихуанами, но всё-таки способные крепко держать человека “на привязи”. Шальная кампания по борьбе с пьянством, даже после её негласной фактической отмены, разрушила привычное — по потребности — обеспечение населения спиртным. Водка ушла в разряд дефицита, что вызвало небывалый рост теневого бизнеса и усилило масштабы организованной преступности.

Однако курева это не коснулось. Да и трудно было представить, что кому-то когда-нибудь удастся сбить с ритма такую могучую отрасль, как табачная промышленность. Советский Союз выпускал в год 360 миллиардов штук сигарет и папирос, занимая третье место в мире. Впереди были только США и Китай. Но Штаты “закрывали” потребности половины земного шара, продавая табачные изделия в десятки стран мира, Китай с миллиардом народа сам был крупнейшим “курильщиком” планеты, а советская табачная индустрия обеспечивала, в основном, страну с населением в 290 миллионов человек.

Табачных фабрик в СССР было много. Давая значительные средства в бюджеты, они работали в большинстве союзных республик. В некоторых — не по одной. Но основная масса — в России. Сигарет и папирос (кстати, последние — чисто российское изобретение) выпускалось несколько десятков наименований. По ним можно было узнать историю и географию страны (“Октябрь”, “Памир”, “Казбек”, “Север”), крупные города (“Москва”, “Ленинград”, “Ростов”, “Минск”, “Київ”, “Львів”), народные праздники (“Новогодние”, “1 Мая”), получить массу другой информации — от достижений и побед до профессиональных привязанностей.

Различные категории курильщиков могли выбрать сигареты или папиросы, соответствующие своим увлечениям. Одним — “Турист”, другим — “Охота”, третьим — “Полёт”. Для творческих личностей — “Мелодия” и “Лири”, для водников — “Речфлот” и “Ракета” с изображением корабля на воздушной подушке, для строителей магистралей и путешественников — “Дорожные”.

А кроме того, было немало других названий, имеющих “общенациональную” ориентацию: “Беломорканал”, “Союзные”, “Астра”, “Прима”, “Космос”, “Друг”, “Лайка”, “Орбита”...

Курево было разнообразным по сортам табака. От самых лучших табаков — сухумского, тбилисского, кишинёвского — до грубоватого моршанского. Имелся разброс и в ценах. Одни из наиболее дорогих папирос — “Герцеговина Флор” — стоили 80 копеек, что оправдывалось не только их качеством. Имела значение и легенда: из папирос этой марки Иосиф Сталин собственноручно доставал табак и набивал им трубку.

Но если “Прима” в Калининграде и Таллине стоила 16 копеек, то не много дороже, несмотря на дальность доставки, она была и во Владивостоке.

В охотничьей компании курили трое: Волков, доктор и электрик. Владимир с детства не только видел отца курящим, но и время от времени слышал запомнившийся тому из дальних послевоенных лет текст какого-то плаката: “На сигареты я не сетую, сам курю и вам советую”. Однако, несмо-

тря на призыв и достаточный выбор, отец курил папирсы “Беломорканал”.

Когда сын втянулся, табачное предложение стало ещё обильнее. Начались придрочивые сравнения. Чей “Космос” лучше: московский, ленинградский, ростовский? Или какую “Яву” стоит брать, а какая даром не нужна. Эти популярные сигареты ценой 40 копеек выпускались в Москве. Одна — на фабрике “Ява”, другая — на фабрике “Дукат”. Каждая “Ява” имела своих приверженцев. Споры переходили в немедленный обмен сигаретами, после чего следовала брезгливая или восторженная мимика, пренебрежительное сплёвывание или сладостная затяжка. В итоге каждый оставался при своём мнении.

Потом к советскому куреву добавилось заграничное. Эшелоны шли из разных соцстран, но в основном — из Болгарии. Избалованный курящий народ стал ещё больше привередничать. Сравнивая свои и чужие сигареты, давал им ироничные, а иногда уничижительные названия. Вьетнамские сигареты за отвратительный вкус стали именоваться “Портянки Хо Ши Мина”. Дешёвый советский “Памир” с изображением одинокого человека с палкой и котомкой — “Нищий в горах”. Болгарскую стюардессу обозвали “Стервой”, сигареты “Шипка” с обелиском на пачке — “Братской могилой”. Произнося “Опал”, остряки добавляли: “Покурил и хрен опал”.

И никому в голову не могло прийти, что табачное изобилие можно обрушить в один момент.

Однако в августе 1990 года это случилось. В течение нескольких дней во многих городах Советского Союза из продажи полностью исчезло какое-либо курево. Поначалу люди растерялись, решив, что это только у них напортачила торговля. Но когда табачные изделия не появились ни на второй, ни на третий день, люди кинулись скупать всё, что могло напоминать курево. В один миг исчезла с прилавков махорка, которой до этого пересыпали одежду от моли. Скверные корейские сигареты, уценённые перед тем из-за отсутствия спроса, у спекулянтов взлетели в цене и моментально были распроданы. На улицах невозможно было увидеть окурков — “бычок”. Ловкие люди собирали окурки и продавали их пол-литровыми банками.

Потом грянули табачные бунты. Разъярённые толпы в Ленинграде перекрыли Невский проспект. В Москве начали переворачивать и жечь киоски.

Погромные настроения усиливало телевидение. Операторы с камерами шли среди толпы. Крупным планом показывали злые лица. На всю страну разносили гневные слова возбуждённых людей. В одном репортаже Карабанов вдруг увидел Горелика. Он шёл впереди толпы. “Мы не позволим так издеваться над нами! — кричал в камеру “комиссар демократии”. — Надо бороться, товарищи! Сегодня партюкраты лишили нас курева, завтра отнимут всё остальное”.

“Он же не курит!” — вспомнил изумлённый Карабанов. Однажды, выходя с очередного собрания в Институте демократизации, доктор предложил “активисту со стажем” сигарету. Тот укоризненно поглядел на соратника. “Не признаю этого варварства. Дым из ноздрей... Ещё пламя изо рта — и Змей Горыныч. Вам тоже советую бросить эту дурную привычку”. “Тогда зачем он там? — подумал Карабанов. — А-а... Работа в массах. К ней призывал на том собрании экономист из Межрегиональной группы. Поднимать народ... Некурящий Горелик там, а я опух без курева, но здесь”.

Карабанову в самом деле стало казаться, что за последние дни он изменился в лице. Умом доктор понимал, что это не так, но сосущее желание вдохнуть хоть маленькую струйку дыма постоянно вытягивало толстые губы трубочкой.

Как только к табачным отделам магазинов и уличным киоскам выстроились огромные очереди, Сергей позвонил Фетисову. На базе ответили: Игорь Николаевич уехал в отпуск. Про Волкова доктор ещё до кризиса знал: тот в отпуске. У родителей жены на Нижней Волге.

Карабанов позвонил Андрею Нестеренко: нет ли у него какого-нибудь запаса — некоторые курильщики брали сигареты блоками. Электрик обрадовал: приезжай!

— Ну, теперь ты видишь, чего стоит твоя советская власть? — сказал доктор, жадно затягиваясь сигаретным дымом.

— Тут что-то не так, Сергей, — обескуражено ответил Нестеренко. — Похоже, у “пятнистого” совсем выпадают вожжи из рук. Не может быть, чтоб курево враз пропало само по себе ...Без чьего-то участия и разгильдяйства. Его везде было — море! И вдруг исчезло.

— Вожжи... А там и кнут. Не можешь ты без них.

— Я без порядка не могу, — сердито сдвинул мохнатые брови электрик. — Без нормального порядка. За бардак можно и вожжой по спине... Иль кнутом... если заслужил. У меня такое подозрение, что с табаком — дело нечистое, как будто кто специально организовал.

— Зачем? — с наигранным непониманием спросил доктор.

— Затем... Людей поднять на дыбы.

Нестеренко не подозревал, насколько он близко подошёл к истине: табачный кризис действительно был спланирован и организован.

По давно существующим правилам каждая табачная фабрика в определённое время останавливалась на профилактику. Остановку мелких фабрик рынок обычно не замечал — отсутствие их продукции легко перекрывали другие предприятия. Но одновременное закрытие табачных гигантов не допускалось. Их останавливали на профилактику раз в два года и обязательно в разное время.

Перед этим на складах создавали большой запас болгарских сигарет, который не трогали до периода простоя отечественных фабрик.

Летом 1990 года было сделано иначе. С 8 июля до 5 августа отправили в отпуск весь коллектив ленинградской фабрики имени Клары Цеткин — одной из крупнейших в стране. Через неделю то же сделали и на фабрике имени Урицкого. Её работников отпустили до 19 августа. Два ленинградских табачных гиганта остановились.

Одновременно встали на “профилактику” самые мощные фабрики в Москве: “Ява” и “Дукат”. Здесь тоже людей выпроводили в отпуска.

Перестали работать крупные и даже некоторые мелкие предприятия в других городах. За один день из 28 табачных фабрик Российской Федерации были остановлены 26. Табачная промышленность страны замерла.

Положение, хотя бы частично, мог спасти складской запас болгарских сигарет. Но его почти не оказалось — запас начали расходовать ещё в мае.

А на границе Советского Союза, на станции Чоп, остановили несколько эшелонов с болгарскими сигаретами. Они стояли там полторы недели.

Вдобавок ко всему в ту же Болгарию, где сигареты делали с использованием советской папиросной бумаги, её поставки прекратили.

Всего этого оказалось достаточно, чтобы курящая страна взорвалась. Когда у Нестеренко кончился запас, он сам бил кулаком в закрытые окна киосков, ругал вместе со всеми власть. Но если для него власть концентрировалась в лице велеречивого, пустословного Горбачёва, то для многих других она теперь сливалась в некую многопортретную, как на демонстрации, мозаику, при этом вызывающую резкое отторжение и всё более крепнущее чувство, которое можно было выразить одним словом: “Надоело!” Теперь о политике не говорили вслух только глухонемые. Митинги “Демократической России” собирали людские моря, которые отзывчиво колыхались на призывы ораторов отказывать в доверии существующей власти. Даже Волков, который всё бурное бестабильное время пробыл в Волгограде, где, благодаря запасливому тестю, особых перебоев с куревом не почувствовал и все московско-ленинградские страсти видел только по телевизору, вернувшись домой, ощутил заметную перемену в настроениях людей. Теперь и он, как и Андрей Нестеренко, считал Горбачёва главным виновником набирающего темпы разрушения. Поначалу генсек казался ему умным, смелым и могучим капитаном гигантского корабля, который, в отличие от команды-народа, просматривает курс судна далеко вперёд, видя и коварные извилистые проливы, и прикрытые тонким слоем воды смертельные рифы. Теперь же он всё чаще представлялся учителем растерянным мужичишкой, который, приняв большой корабль за привычную для него лодку, то отлетает от штурвала вздыбленного волной судна, то вцепляется в него, не зная, куда лучше кру-

тить штурвал — влево или вправо. Мелкий, тщеславный человечек, самонадеянно поверивший в свои возможности, оказался слабым и недальновидным функционером. Политический капитан стремительно превращался в политическую щепку, захлёстываемую водой, и это понимали уже многие в стране, поворачиваясь к тем, кто всего через 500 дней обещал сытую жизнь, демократию, “как на Западе”, и небывалое в истории процветание России.

* * *

После драматичных недель “табачного кризиса” курево стало кое-где появляться. Но прежнего достатка уже не было. Этот специфический дефицит особенно раздражал миллионы курильщиков. За сигаретами и папиросами теперь выстраивались очереди по полкилометра. Зато у спекулянтов — по цене в десять-двенадцать раз дороже — было всё.

Люди не понимали, почему так происходит. Ведь табачные изделия производили не спекулянты, а государственные фабрики, и поступать они должны были, как всегда до этого, в государственную торговлю. Однако до магазинов сигареты с папиросами не доходили, и народ однозначно связывал это с бессилием власти, справедливо считая, что кто-то специально перенаправляет потоки в другие руки и делает это почти в открытую, без всякой боязни наказания.

Намаявшись в очередях, Нестеренко решил бросить курить. Однажды утром смял пустую пачку, выкинул её в мусорное ведро и с того дня не дотронулся до сигарет, хотя первое время, особенно после еды, сильно страдал. Рука сама, автоматически лезла в карман. Спыхватившись, Андрей сжимал крупные губы, и пока воля не подавляла мучительный позыв, не давал себе возможности расслабиться.

Осенью, на охоте по зайцу с гончими, и доктор заявил товарищам, что бросает курить, но получалось это у него тяжело. Выпив водки, брал волковскую пачку — тот всегда выкладывал сигареты на стол: вдруг захотят егеря, страстно нюхал её, жмурился от удовольствия, однако под взглядами товарищей — у Волкова жалеющим, у Нестеренко ироничным — возвращал пачку на место. Смущённо оправдывался:

— Во сне вижу, как курю.

Сейчас, взволнованный недавней перепалкой с электриком и особенно неожиданным рассказом Фетисова, который был явно нехстати, доктор опять потянулся к волковским сигаретам.

— Бери, бери, — снисходительно сказал Нестеренко. — Пока твои друзья-демократы последнее не спрятали. Сгноят... Потом выбросят на свалку.

После сообщения товароведа Андрей уже не сомневался, что дефицит в стране создают и усиливают специально, чтобы поднять народ против всей государственной системы. Знает ли об этом Горбачёв или его, как глупого котёнка, обводят вокруг пальца, для Нестеренко значения не имело. Теперь он ещё сильнее захотел встретиться с людьми, про которых ему недавно говорил парторг завода Климов. Люди эти, по намёкам Климова, имели связи с окружением Горбачёва. Их целью было убрать “пятнистую балаболку”. Сторонников такого замысла, как понимал Андрей, с каждым днём становилось всё больше. Это подтвердил и недавний его разговор с журналистом Савельевым.

Они познакомились во время антиалкогольной кампании. Корреспондент “второй центральной газеты” Виктор Савельев приехал тогда на машиностроительный завод, где работал Нестеренко. В редакции ему поручили написать о заводском обществе трезвости. Председатель общества был в отпуске, и в парткоме рекомендовали поговорить с его заместителем на общественных началах — инженером-энергетиком из сборочного цеха Андреем Нестеренко. Виктор с пониманием встретил начало антиалкогольной борьбы. Однако вскоре увидел, что дело явно идёт не туда. Ожидая прихода Нестеренко, надеялся хоть здесь услышать о хороших результатах.

В тот раз они договорились до того, что серьёзную кампанию Горбачёв начал, не обдумав как следует последствий. Впервые оба засомневались в дальновидности генсека. Расстались, с интересом открыв друг друга.

После той встречи Савельев несколько раз звонил Андрею и трижды приехал на завод. Нестеренко был для него вроде лакмусовой бумаги. То, в чём Виктор был почти уверен, он дополнительно проверял на Андрее. Постепенно оба стали воспринимать Горбачёва как одного из главных закопёрщиков нарастающих проблем.

— Его надо как можно быстрее лишить власти, — сказал недавно Савельев. — Ребята из “Правды” рассказывают, что их редакцию завалили резолюциями партсобраний. Все требуют сменить Горбачёва.

Андрей был согласен с этим. Уж если индифферентный Фетисов, подумал Нестеренко о товароведке, начинает возмущаться, то другие, более активные, уже знают, что надо делать. “Потерпи, Игорь, — мысленно повторил электрик свой недавний призыв, глядя на свернувшегося клубочком товарища. — Гирия до полу дошла. Часы скоро должны остановиться”.

Он встал, чтобы взять с газовой плиты кипящий чайник. Но, возбуждённый, резко задел табуретку, она с грохотом упала на пол. Адольф, который что-то негромко втолковывал красноглазому Николаю, быстро обернулся. И увидел, как Волков вытаскивает из столешницы торчащий нож.

— Ты мне весь стол истыкаешь, Владимир. Будет как решето.

— Не бойся, — ответил за Волкова Нестеренко. — Он больше одной дырки не сделает. Ни на столе, ни... хотя бы вон на стене. В копейку отсюда попадёт.

Егерь недоверчиво посмотрел на Волкова. До стены было далеко.

— Попаду, — спокойно подтвердил учитель. Адольф заколебался, потом глазки его азартно вспыхнули. Он резво подошёл к стене и вилкой вспорол на обоях круг величиной с небольшое яблоко.

— Ну-ка.

— Отойди.

Нож искрой блеснул над столом и через мгновение вонзился в центр округности. Егерь раскрыл рот.

— Случайность, — сказал Валерка, с усилием вытаскивая нож, прочно засевший в дереве под несколькими слоями обоев. Волков взял нож, и не успел Валерка опуститься на скамью, как молнией сверкнула снова и пронзила обои рядом с прежним местом.

— Случайность, — передразнил егерь. — Поди-ка дай собакам воды... Федя-Альберт.

— Да, о собачках надо позаботиться, — угодливо вставил Карабанов. — Завтра у них последний день. Придётся им поработать. Пошуметь как следует.

— А ктой-то сегодня утром кричал в лесу? — вспомнил Слепцов. — Вроде душили кого. Ты слышал, Адольф?

— Сова.

— Сова? — изменившись в лице, тихо переспросил Павел. — Не может быть... Зимой совы не кричат.

— Говорю тебе: сова! — с упрямым недовольством повторил егерь. Он точно знал, что это была сова, но почему она вдруг подала голос среди зимы, сам не мог понять. Разве что из-за погоды — январь в тот год резко “шатало” из слабых морозов в сильные.

— Может, она есть захотела, — предположил Адольф, мало веря, однако, в собственное объяснение.

— Какое там “есть”? Ты што! При чём тут еда?! — непохоже на себя закричал Слепцов. — Мышь у неё в когтях — та верещит. А сова — тихая птица. Вещая она! Если подала голос — не к добру. Быть беде!

— Брось, Паша, мистику, — остановил товарища Нестеренко. — Всё в приметы веришь. Ты видел, Адольф, как работают советские десантники? Володя был в десантных войсках.

— Хорошо работают.

— Он был в спецназе. В команде особого назначения. Сейчас такие ребята нужны, чтоб наводить порядок. А он взрослым парням рассказывает про мадам и мусью... Эх, Вовик, Вовик! Из них бойцов надо готовить. Страну спасать.

— От кого? — насмешливо спросил Карабанов.

— Да от твоих друзей — демократов. Вы ведь какие демократы? Пока власти нет — зубки в улыбке... обещаете всем свободу и равенство. Но я догадываюсь, что будет, когда захватите власть. Этими зубками всех несогласных изгрызёте в кашу.

— Это не мистика, Андрей, — глухо проговорил Слепцов. Глаза его будто совсем провалились и в глубине сверкали тревожным огнём.

— Ты о чём? — не понял Нестеренко.

— Про сову я... Про сову. Непростая это птица. С глубокой старины люди считают её вестницей несчастий. В древнем Риме сову люто ненавидели. Поймают — и тут же сожгут, а пепел — в реку. А в средневековой Европе совы боялись, считали, что она беду приносит. Мне дед много рассказывал про всякие приметы. Если сова ночью ударится в окно, то дом скоро сгорит или хозяин умрёт.

— Ну, ты даёшь! — поёжился Волков.

— Да-да, Володя, — быстро говорил Слепцов. — Животные и птицы обладают даром предчувствия. Обычные птицы. А сова — необычная. Она лицом на человека похожа. У кого из птиц глаза, как у человека, прямо смотрят? Только у неё. Ты слышал сову в полёте? Никогда! Даже филин, а это большая сова — крылья чуть не полтора метра! — летит бесшумно. Нет, нет, вы зря не верите. Дед рассказывал — он был лесничим... говорил: перед войной некоторые звери и птицы вели себя необычно. Видимо, раньше человека они чувствуют катастрофу.

— Сказки всё это! — не выдержал Нестеренко. — Уж кто бы говорил, а на тебя, Пашка, не похоже. Ты ещё ракеты начни крестить. Приметы какие-то дремучие...

— Такое вполне возможно, — значительно подтвердил Карабанов. — Некоторые учёные пишут — я сам читал, — что если где-то скапливается много страданий, много людского горя, и волны физической боли вырастают в цунами, то первыми улавливают импульсы этой коллективной беды животные и птицы. Не забывайте — перед войной был тридцать седьмой год. Один он чего стоит!

— Тогда сегодня весь лес должен орать, — мгновенно отреагировал Нестеренко. — Погляди, сколько пятнистый принёс горя! Везде конфликты, войны, кровь. При Брежневке мильчанеры в кобурах носили пирожки. Сейчас — не успевают отстреливаться. А тут одна сова ухнула. Правильно Адольф говорит: есть хочется — потому и кричит.

Он на мгновение задумался:

— А вот насчёт морды... Это интересно! Ты прав, Паша, — весело сказал электрик. — Горбачёв на сову похож... Когда в очках...

— При чём здесь Горбачёв? — недовольно поморщился доктор. — Свихнулся ты на нём.

— На меченого он похож, — волнуясь, проговорил Слепцов. — Моя бабушка, когда увидела, сразу сказала: этот меченый. Родимое пятно на голове — отметка дьявола. Антихриста... От удара копытом сатаны.

— Преступник он, — хмуро бросил Нестеренко — По делам видно. Из самых опасных. Тем пришивают на одежду знак бубнового туза. Спереди — напротив сердца. И сзади тоже — чтобы удобнее было целиться. А у этого — прямо на башке. Издала можно попасть.

— Я вам говорил... Сразу сказал. Вы тогда обсмеяли меня. Особенно ты, Андрей. Не всё надо сразу обсмеивать. Сам Бог предупреждает: не доверяйте ему. В старину говорили: нельзя верить меченым и рыжим. В приметах иногда запрятана истина.

Глава двенадцатая

В последние годы скрытный Слепцов становился всё более суеверным. Он и раньше не без внимания относился к разного рода предсказаниям, приметам, оккультным явлениям. Пошло это с детства. Каждое лето мальчиш-

кой он приезжал с матерью из Германии, где работал отец, в глухой район Владимирской области — к деду с бабкой. Там учился рыбачить и охотиться, понимать природу — в этом наставником был дед, а от бабушки воспринимал необычные толкования различных явлений. Перед сном она садилась с краешку на его кровать и рассказывала интересные, иногда жутковатые истории про леших, оборотней, русалок, перемешивая реальное со сказочным.

Подрастая, Павел слушал бабушкины рассказы уже с некоторым скепсисом, однако во многие приметы и предсказания постепенно стал верить и сам.

С годами интерес ко всякой ирреальности то угасал, то, благодаря какому-нибудь толчку, вспыхивал. Так было, когда начались разлады с женой. Павел вдруг вспомнил прочитанные перед свадьбой гороскопы. Кто-то привёз из-за границы тоненькую книжечку — в Советском Союзе такое не издавалось, — и компания с любопытством стала примерять на себя незнакомые одежды. Дошла очередь до Слепцова и его девушки. Гороскопы предупреждали, что знаки Зодиака самого Павла и его будущей жены абсолютно несовместимы. Павел тогда самонадеянно усмехнулся. Жгучая обида от внезапного и необъяснимого ухода Анны остывала трудно. На всех молодых женщин он смотрел теперь с недоверием, чуть-чуть брезгливо и высокомерно, не снисходя до различия их индивидуальных особенностей. Это придавало уверенности в своих силах, и Слепцов не сомневался, что их у него хватит, чтобы сотворить из ветреной, пустоватой девушки надёжную, достойную жену.

Однако через несколько лет начал понимать, что это не удалось.

После развода он стал по-другому воспринимать гороскопы, снова обратил внимание на приметы и предсказания, постепенно погрузился в астрологию, которая к тому времени начала выходить из резервации лженаук в хотя и спорную, но все-таки имеющую право на существование дисциплину.

— Это ещё боль-мень серьёзное дело, — сказал как-то Нестеренко, когда Павел в очередной раз заговорил об астрологии и приметах. — А кошки твои — чужь собачья.

Тем не менее, Слепцов оставался верен себе. Он мог долго искать тряпку, чтобы вытереть стол, и никогда не вытирал его бумагой, даже если она была под рукой: “Деньги водиться не будут”. Не разрешал свистеть в комнате — опять же деньги провистишь. Если кто-нибудь рассыпал соль, Павел не находил себе места: будет обязательно ссора. Когда приходилось за чем-то вернуться, он должен был непременно посмотретья в зеркало. Не было зеркала — искал свое отражение в стекле. Однажды Волков едва не врезался в идущую впереди “Волгу” Слепцова — так резко тот затормозил. “В чём дело?” — закричал Владимир, высунув голову в окно. Оказалось, дорогу перебежала чёрная кошка.

После того как Горбачёв стал Генеральным секретарём, Павел некоторое время понервничал. Потом перестал о нём думать — отвлекли другие заботы. С женой отношения портились обвально. Редкий вечер обходился без её истеричных выпадов. В муже её раздражало всё: бесстрастное, сухое лицо, запавшие глаза, не выражающие никаких эмоций даже после упреков в мужской несостоятельности, какая-то необъяснимая выдержка в разговоре, несмотря на открытое заявление о том, что у неё есть “настоящий друг”.

— Другой на твоём месте убил бы меня! — крикнула жена Павлу, когда в запальчивости проговорила ему о любовнике.

— Я не другой. Живи. И радуйся, если можешь.

Больней всего Слепцову было оттого, что скандалы в соседней комнате слышал десятилетний сын. Павлу, выросшему в любящей, спокойной семье, это разрывало душу. Понимая, что разлом уже не склеить, и желая спасти психику ребёнка, Слепцов не стал удерживать жену, которая собралась переезжать к другому. Но на новом месте у сына не было бы даже отдельной комнаты, и Павел ушёл жить к родителям, оставив квартиру новой семье.

А через некоторое время возник дискомфорт на работе. Главного экономиста завода перевели в министерство. У Павла с ним были хорошие отношения, и Слепцов тайне надеялся, что должность главного предложат ему. “Ну, что ж, что молодой, — думал он. — Сталин назначил Устинова нар-

комом вооружения СССР в тридцать три года. А мне уже тридцать четыре”.

Главного экономиста прислали из Днепропетровска, где делали межконтинентальные баллистические ракеты “Воевода”, получившие на Западе название “Сатана”. Ему было 59 лет.

Отодвинутая было в сторону личными переживаниями Горбачёв-тревога вскоре стала снова царапать сознание Слепцова. Теперь даже сильнее, чем поначалу. Какие бы действия нового генсека он ни брался анализировать, всё выходило с отрицательным результатом: и неудачная антиалкогольная кампания, и наспех сколоченная, скорее с политическими, чем с экономическими целями, программа конверсии, и объявленный курс на сокращение вооружений.

Завод, где работал Слепцов, не попал под конверсию. Но по другим предприятиям она прошла, как смерч через благоустроенный посёлок. Высокотехнологичные производства аврально переделывали под выпуск кастрюль и сковородок, лопат и гвоздей. Павел понимал: нужны товары народного потребления. Но не такой же ценой!

Особую настороженность к Горбачёву вызывали его решения в оборонной сфере. Одним из таких решений стала ничем не объяснимая сдача американцам ракетного комплекса “Ока”. Финал другого проходил на глазах самого Слепцова.

* * *

Об оружии, способном уничтожать противника лучом света на далёком расстоянии, издавна мечтали не только фантасты. После романа Алексея Толстого “Гиперболоид инженера Гарина” казалось, что мечты вот-вот превратятся в реальность. Но до тех пор, пока учёные не создали лазер, “стреляющий луч” воевал лишь на страницах книг.

Зато потом работы по созданию лазерного оружия рванули вскачь. Соединённые Штаты и Советский Союз стремились не только изобрести новые виды боевых лазеров: наземных, корабельных, воздушных, — но и опередить друг друга.

Особенно важным было космическое направление. Тот, кто сумеет раньше другого создать лазерное оружие, действующее в космосе, тот спасёт себя от военных спутников и ракет противника. Не возле земной поверхности, не над городами и оборонными объектами, а далеко за пределами атмосферы могла быть уничтожена несущаяся из космоса опасность.

Пробная пахота на “лазерном поле” началась в СССР в 70-х годах. Работы курировал секретарь ЦК Компартии, ставший затем министром обороны, Дмитрий Федорович Устинов.

Первый наземный лазер Советский Союз построил в Казахстане, вблизи озера Балхаш. В октябре 1983 года его опробовали с максимально шадящими возможностями. Над полигоном Сары-Шаган на высоте нескольких сотен километров пролетал американский космический корабль “Челенджер”. Лазер запустили всего лишь в режиме поиска цели, после чего у американцев неожиданно отключилась связь, резко забарахлила аппаратура, а космонавтам на короткое время стало не по себе.

Через год в Министерстве общего машиностроения началось создание космического аппарата “Скиф”, оснащённого лазерной пушкой.

Работы шли три года. Товарищи рассказывали Слепцову, что из цехов порой не уходили по полсутки. Но никто не жаловался. Наоборот, чем дальше, тем больше поднималось настроение. По разным признакам: случайным обмолвкам, многозначительным умолчаниям на собраниях специалистов — люди догадывались, что они делают то, чего у американцев пока нет и неизвестно, когда появится. Создавался новый тип космического истребителя. У него было одно очень важное преимущество перед другими видами лазерного оружия — экономичность. Для поражения цели лазерным лучом на расстоянии даже 500–600 километров требовалось огромное количество энергии, а значит, топлива. “Скифу” этого было не нужно. Способный долго ле-

тать на низких орбитах, он мог поражать военные спутники противника, догоняя их. Лазерную пушку не надо было делать дальнобойной — хватало двадцати-тридцати километров. “Скиф” обходился и без уникальных суперкомпьютеров — скорости вражеского спутника и догоняющего охотника напоминали бег зайца в голой степи и бросок пикирующего сокола.

Выведение в космическое пространство группировки “Скифов” означало неоспоримую победу Советского Союза в борьбе за ближний космос. В случае начала боевых действий советские “лазерные стрелки” могли быстро ликвидировать все военные спутники противника. И первый шаг к этой потенциальной победе был уже сделан. На космодроме Байконур стояла готовая к старту ракета “Энергия” с пристыкованным к ней 80-тонным истребителем. Ждали торжественного дня: на пуск должен был прибыть Горбачёв.

И он прилетел, но за три дня до старта. Ни основных исполнителей, ни смежников, ни командование Байконура это не насторожило. Решили: у генсека на день пуска могли быть запланированы другие важные дела. Поэтому в просторный конференц-зал космодрома народу набилось битком. Всем было интересно увидеть руководителя страны “вживую”, послушать оценку своей работы.

Однако с первых же минут людей охватило недоумение.

— Мы выступаем против гонки вооружений, — заявил Горбачёв. — В том числе в космосе.

У Слепцова похолодело внутри. Эти слова не предвещали ничего хорошего. Он как представитель ведущего ведомства был приглашён на день рождения, а выступление человека с пятном на лысине явно готовило похороны.

— Наши интересы тут совпадают с интересами американского народа... Мы категорически против переноса гонки вооружений в космос...

Павел поглядел на сидящего в президиуме министра общего машиностроения Олега Бакланова. Лицо его было мёртво-бледным, кулаки сжаты так, что побелели костяшки пальцев. Министр сам работал по шестнадцать часов в сутки, требовал чёткости от смежников, лично контролировал наиболее важные поставки. Всё для того, чтобы надёжней закрыть страну от угрозы из космоса. Теперь, после слов Горбачёва, стало ясно, что “Скифы” приговорены к уничтожению.

В назначенный день лазерный истребитель подняли в космос. И тут же повернули его в плотные слои атмосферы, где он сгорел.

* * *

После этого от каждого документа, за которым стоял Горбачёв, от каждого выступления человека с клеймом на лысине Слепцов суеверно ждал неприятностей. И они приходили. Как экономист, Павел понял, какую опасность таит горбачёвское предложение резко уменьшить объём госзаказа на предприятиях. Правительство Рыжкова на 88-й год наметило его сокращение в размере 5–10 процентов. Именно такое количество продукции предполагалось продавать по свободным ценам. Основная же масса считалась заказом государства и обеспечивалась всеми материальными и финансовыми ресурсами. Разумеется, цены на выпускаемую продукцию должны были регулироваться государством. Изучив полученный опыт, правительство намеревалось продолжить снижение объёмов госзаказа, чтобы через несколько лет довести его уровень до оптимального.

Однако на заседании Политбюро Горбачёв настоял на том, чтобы сократить объём госзаказа сразу на одну треть, а для некоторых министерств — на 50–60 процентов. К чему это приведёт в монополизированной экономике, Слепцов представлял. Первым делом монопольные производители поднимут цены на ту продукцию, которая окажется за пределами госзаказа. Благодаря этому получат большую сверхприбыль. Деньги пустят на зарплаты и премии, в результате чего неоправданно быстро, с экономической точки зрения, вырастут доходы работающих в промышленности. Чтобы сократить разрыв между этой частью населения и бюджетниками, потребуются дополни-

тельные траты бюджета, что ещё больше увеличит общую денежную массу в стране, в то время как товарная масса сократится. Немалая часть её уйдёт с внутреннего рынка на внешний. Другую часть снимут с производства как продукцию, хотя и нужную потребителям, но не дающую сверхприбыли. В итоге денег у населения окажется больше, чем товаров.

И всё произошло так, как предполагал Слепцов. В течение десятилетий закрытая экономическая система соблюдала синхронность роста доходов и товарной массы. После вмешательства Горбачёва движение пошло на разных скоростях. Уже в 88-м году вместо намеченного прироста доходов в 10 миллиардов рублей увеличение составило 40 миллиардов, в следующем — 60, а в 1990-м — сто миллиардов рублей.

Внутренний потребительский рынок взорвался. То, что оставалось после вывезенного за границу, припрятанного на базах, испорченного и выброшенного на свалки, всё это моментально сметалось с прилавков. Магазины опустели. С одной стороны, дефицит, с другой — резко выросший объём денег у населения подняли цены, породили невиданного размаха спекуляцию, когда товары из государственной торговли в открытую уходили на рынки и там продавались в несколько раз дороже. Экономическая преступность становилась привычным, ненаказуемым явлением.

Одновременно рушилась одна из главных опор государства — бюджетное равновесие. Последний раз бюджет без дефицита с большим трудом удалось выдержать в 1988 году. Однако уже на следующий год дефицит составил 100 миллиардов рублей. Страна под руководством Горбачёва и подобранной им команды стала быстро скатываться в долговую яму. В начале его правления внешний долг составлял 20 миллиардов долларов, а в конце перевалил за 100 миллиардов. Приняв государство с золотым запасом в 2200 тонн, он за короткий срок уменьшил его до 200 тонн.

Теперь Павел Слепцов больше, чем кто-либо, был уверен в персональной причастности Горбачёва к надлому государства. Здание трещало по всем этажам. Терялось управление экономикой, финансами, денежным обращением, политическими процессами. Люди переставали понимать не только происходящие события, но и друг друга. После разрушения Берлинской стены и начала объединения Германии отец Павла сказал однажды за ужином, что служить больше не хочет и уходит в отставку.

— Ты хорошо подумал? — спросил Павел. — Впереди большие перемены. Такие, как ты, будут на вес золота.

— Жить, наверно, станет трудней, — сказала мать. — Но если ты решил, Вася, я не буду тебя отговаривать. В конце концов, вернусь к репетиторству.

В молодые годы из-за переводов мужа с места на место она подолгу не работала и тогда занималась музыкой с чужими детьми.

— За это не беспокойся, мама. У отца будет хорошая пенсия... Я тоже не два рубля получаю.

Когда мать вышла, Павел снова вернулся к неожиданному намерению отца.

— Мне кажется, ты спешешь. Да, Горбачёв, судя по его делам, ничтожество. Но он разрушает систему, а это главное. Лучшее из всего, что он сделал.

— Ты хоть соображаешь, что говоришь? Система — это социализм.

— Ещё скажи, как Андрей Нестеренко, что он — новое историческое явление, совсем молодое, что способен к различным трансформациям.

— Абсолютно правильно говорит твой Нестеренко. Это тот — с такими бровями?

Отец раздвинутыми пальцами показал над глазами бровищи. Он видел Андрея один раз, мельком, но профессиональная память на лица и особые приметы сработала точно.

— Если для тебя не авторитет твой Нестеренко, то Сахарову-то можешь поверить? Правозащитник... Ваш кумир... Он тоже считает, что социализм можно реформировать. Правда, я бы добавил: осторожно. И с другой головой. Не как у Горбачёва... Социализм, Паша, может быть разным. Я тебе

рассказывал про Швецию... Данию. Там тоже социализм. С частной собственностью... С многопартийностью. Не такой, как у нас. На Балканах, в Восточной Европе он был неодинаковым. Возьми Югославию с её моделью “социалистического самоуправления”, с разными формами собственности, с широкими рыночными отношениями. Или Венгрия... Там был свой тип социализма. А китайцы! Вот за кого я радуюсь и кого боюсь. Благодаря социализму они через несколько десятилетий станут главным народом земного шара. Первые, на кого положат глаз, будем мы. Наша страна. Если она к тому времени ещё останется.

— От твоих прогнозов, Василий Палыч, мурашки по телу, — сдержанно улыбнулся Павел. Они были похожи. У обоих — глубоко утопленные глаза. Оба худощавы лицом, со впалыми щеками. Когда младшему Слепцову кто-нибудь после долгого невиденья заботливо советовал: “Вам бы отдохнуть, Пал Василич. Похудели как!” — он отвечал: “Это у нас конституция такая. Семейная”.

И волосы у обоих были одинаково жидкие. Только у сына тёмные, плохо прикрывающие раннюю плешинку на темени, а у отца — серые от седины, по цвету почти совпадающие с большой лысиной.

— В Европе социализму кранты, — заявил Павел. — “Бархатные революции” сметают его. А китайцы... Эти не скоро выйдут из нищеты. Если вообще когда-нибудь выберутся. Социализм — это равенство в нищете.

— Нет. Это равенство в достижении богатства. Зачем, скажи мне, одному человеку миллиард рублей или, допустим, долларов? Он что — есть их будет? Они ему нужны, чтоб развить талант физика, конструктора, музыканта? Нет, для этого достаточно средств богатого государства, которое будет тратить их на развитие всех своих граждан. Большие деньги нужны, чтоб человеку завидовали. Не его таланту и мастерству, которыми его природа одарила... которые он развил, благодаря заботе государства. А завидовали наворованным деньгам. Предки наворовали или он сам — не имеет значения. Социализм, Паша, это общество социальной справедливости.

— Оно и видно. Особенно сейчас. “Пятнистый”, как называет его Андрей, по своему скудоумью открыл все ящики зла.

— Он, конечно, заслуживает участи Чаушеску*... Которого, кстати, предал. Да он их всех предал! Как сказал Маркус Вольф... я тебе рассказывал о нём — легендарный руководитель разведки ГДР: “Советский президент продал ГДР за бутерброд с колбасой”. А лучше всего разобрались со своим генсеком в Китае: сняли со всех постов... Очень либеральничал, когда надо было власть употребить. Как наш Горбачёв.

Отец помолчал, размешивая сахар в чашке кофе.

— Но, понимаешь, не он один виноват. Посмотри на его окружение. Одни без стержня... без хребта. Другие давно в агентах влияния. Третьи — мелкая пыль, увеличенная микроскопом времени. Мы, конечно, затормозили развитие... Застоялись. Правильно говорят: “застой”. Ржавчина пошла по корпусу судна. Но ты знаешь — ты человек заводской, — что есть много способов убрать ржавчину — металл-то у судна толстый. А можно наоборот — усилить процесс коррозии. Вот Горбачёв этим и занялся.

— По неумению?

— Трудно сказать. Я анализировал, как он пришёл к власти. На Западе давно создали отдельную науку для изучения нашей политической элиты — кремниологию. Только в Соединённых Штатах почти 200 университетов и специальных центров занимаются этим. Изучают характеры, привычки, способы воздействия. Начинают вести перспективных людей издалека, с областного уровня. Пробуют влиять на них. Аккуратно, через дипломатов, прессу, помощников. К наследникам Леонида Ильича стали приглядываться

* Николае Чаушеску — Генеральный секретарь ЦК Румынской компартии, Президент Социалистической Республики Румыния. Активный противник советской перестройки. “Скорее Дунай потечёт вспять, чем состоится “перестройка” в Румынии”, — говорил он. Застрелен 25 декабря 1989 года вместе с женой Еленой без открытого суда на задворках военной базы. По некоторым сведениям, свержение Н. Чаушеску было одобрено на переговорах между Дж. Бушем и М. Горбачёвым (прим. авт.).

заранее. Выяснили то, что и мы без них знали: Андропов и Черненко долго не протянут, Алиев и Кунаев не подходят. После грузина Сталина, украинцев Хрущёва и Брежнева представители нетитульной нации вряд ли получат высший пост. Надо было искать среди молодых русских. Заслуживающих внимание оставалось двое: Горбачёв и Романов. Я тебе пока не могу сказать о причинах... да и не всё понятно, но поставили они на Горбачёва. Хотя Романов был намного весомее. Он заметно разрешил жилищную проблему в Ленинграде. Благодаря агропромышленным объединениям область хорошо обеспечивала себя продуктами. Андропов забрал его в Москву, сделал куратором ВПК. Это насторожило конкурентов и, прежде всего, Горбачёва. Значит, Романова надо было убрать, а для этого дискредитировать в глазах партии и страны. Помнишь скандальную историю в зарубежной прессе, как секретарь Ленинградского обкома партии Романов якобы устроил свадьбу дочери в Таврическом дворце, взял из Эрмитажа царский сервиз на 144 персоны и что-то из него разбили?

— Да, помню какую-то шумиху. Даже у нас на заводе возмущались.

— Так вот — не было этого! Клевета от первого до последнего слова. Свадьба справлялась на даче, присутствовали всего пятнадцать человек. Никакого сервиза. Сам Романов сильно опоздал. А появилась статья в немецком журнале “Шпигель”, после чего на Советский Союз её содержание повторили радиостанции “Свобода” и “Голос Америки”. Романов жаловался Андропову, хотел дать публичные объяснения, но тот отмахнулся: “Не обращай внимания. Мы знаем: ничего подобного не было”. Кстати, потом Верховный Совет России проверил. Подтвердилось: клевета. Напечатали маленькое опровержение. Но кто у нас читает опровержения? Да и опоздали с ним.

— Хорошо сработали. Только в чью пользу?

— Конечно, не в романовскую. Когда выбирали Генерального секретаря, было два заседания Политбюро. Одно — через два часа после смерти Черненко, как говорится, ещё тело не остыло. На нём троих членов Политбюро не было: Романов отдыхал в Прибалтике, в Соединённых Штатах находился Щербицкий. Когда он узнал о смерти генсека, потребовал от посла немедленной отправки в Союз. В ответ услышал: “Ваше возвращение нежелательно”. Представляешь, чьё это должно было быть указание, чтобы так дерзко ответить члену Политбюро! На мой взгляд, только министра иностранных дел Громыко. Он продавливал Горбачёва из личного интереса. Приказ задержать вылет Щербицкого на три дня получил и командир правительственного авиаотряда.

На том экстренном заседании Горбачёва выбрали с перевесом в один голос! Если бы эти двое присутствовали, а все знали, что они голосовали бы против, не бывать бы нашему краснобаю генсеком!

Теперь сам видишь, что творится. Человек тщеславный, он даже не замечает, как его убаюкивают лестью... Щекочут подмышками, чтоб ручонки расслабить... А тем временем эти ручонки аккуратно берут цепкими руками и передвигают их к рычагам разрушения.

— Что ж тогда за система у нас, если его остановить не может?! — воскликнул Павел. — Где партия — *руководящая и направляющая сила*? Где ваше ведомство? В Америке президентов хоть отстреливают, если нет другой возможности избавиться.

— Я тебе сказал, кто с ним рядом. Он года за три сменил почти 90 процентов областных и республиканских партийных секретарей. А наше ведомство... Крючков, может, был на своём месте, когда руководил внешней разведкой. Сегодня и место другое, и обстановка другая. Тут сплунявым нельзя быть. Думаем, как бы он в опасную минуту не наложил в штаны.

— Тогда тем более эта система не имеет права на существование! Если она неспособна остановить явного своего разрушителя, то зачем ей жить? Пусть придут новые силы. Здоровые. Свежие.

— Это Ельцин здоровая сила? Паша, мы очень хорошо знаем его. Он — алкоголик, а у таких людей психика нарушена. Живёт импульсами... инстинктами... и самый главный из них — быть во власти. Ты думаешь, человек, который приказал снести дом Ипатьева, где расстреляли царскую се-

мью, когда-нибудь искренне пожалеет о сделанном? Привыкший надевать нужную маску, он и сейчас примеряет новую — маску демократа. А под ней всё та же личина — жажда власти. Силы, которые ты называешь здоровыми, погубят Союз. А уж про свежесть их, Павел, лучше не говори. От некоторых такая вонь — не спасает иностранный одеколон. Писали нам на своих... стучали... Осуждали тайно и просили, чтоб никому-никому. Теперь грызут нас... Впрочем, давно известно: сильнее всего предатели ненавидят то, чему недавно служили.

Глава тринадцатая

Павел вспоминал потом, с каким сожалением смотрел на него отец — до такого остро выраженного противостояния они раньше не доходили, умели останавливаться перед невидимыми границами потому, что понимали: переступив их, могут психологически ранить друг друга.

Однако в тот раз Павел уже не мог остановиться. Будь он по натуре другим, хотя бы как Андрей Нестеренко, ему, наверное, было б легче справиться со своими эмоциями и размышлениями, что-то выплеснуть в гневном выкрике, чем-то в разговорах “нагрузить” товарищей.

Но его “застёгнутая” натура всё вбирала в себя и мало что выбрасывала. Поэтому вырвавшиеся протуберанцы страсти, наряду с некоторой горечью от обожжённых отношений с отцом, одновременно влили в душу и какое-то облегчение.

Слепцов хотел нового, как волнующей возможности сбросить старое. Там, в прошлом, останутся мучительные переживания из-за бывшей, и он понимал, что теперь уже навсегда бывшей жены. Он доказал ей, что им могут сильно увлекаться, что женщин — и даже очень молодых — он способен заставить плакать от счастливого удовольствия. В отбрасываемой жизни останется прошлая Анна, а в новую они войдут вместе и обновлёнными. Он станет *выездным*, они поедут с Анной в Германию. Она объединилась, но поедут они в ФРГ. В ГДР он был... мало что помнил, но думал, что там жизнь, как в СССР. А вот ФРГ! А может, поедут во Францию... Или ещё лучше — в Англию...

В том пока что неизвестном, но наверняка хорошем мире он будет гораздо больше, чем сейчас, востребован со своими способностями экономиста. Да мало ли сколько хорошего откроется в новом мироустройстве!

Каким оно будет в реальности, Павел представлял смутно, видел отдельные размытые клочки. Главные атрибуты социалистической системы, конечно, ликвидируют. Единоначалие Коммунистической партии уже выбросили из Конституции — и правильно сделали. Должна быть многопартийность, как везде. Законы будут принимать демократическим путём, под контролем народа — вон как орут депутаты на своих съездах. Частную собственность разрешат, но только не в тех отраслях, которые отвечают за безопасность страны. Эти трогать нельзя. В торговле — пожалуйста. В бытовом обслуживании — сколько угодно. Пусть частники соревнуются друг с другом. Особенно — в сельском хозяйстве. Не оправдали себя колхозы — об этом то и дело кричит в телевизоре какой-то Черниченко. Уверяет, что всех накормит фермер — тоже частник. Наверное, правильно — в развитых странах колхозов нет.

Остальная жизнь в представлениях Слепцова чаще всего была похожа на привычную, догорбачёвскую. Он, конечно, предполагал, что её обновят, делают красивей и ярче, наподобие той, которую он видел в иностранных фильмах, в журналах из ФРГ, Англии и США — их по служебной линии получал отец. Чтобы не забывать языки, Павел с удовольствием читал их — даже брать в руки эти красочные вещи было приятно, но всё время чувствовал, что до каких-то глубин той повседневной жизни никак не получается проникнуть. Наверное, потому, что зарубежные издания не считали нужным писать о приземлённых вещах. Всем известные социально-бытовые параметры там уже никого не интересовали. Ведь и те, кого знал Павел здесь, тоже не

обращали внимания на устоявшуюся повседневность советской жизни — бесплатное образование и здравоохранение, дешёвый отдых в санаториях и копейные платы за коммунальные услуги, недорогие поездки на поездах и в самолётах, а видели и критиковали только их недостатки. Вот их-то — эти недостатки, думал Слепцов, и уберёт новая жизнь. Ко всему положительному, что останется от демонтированной советской системы, добавится неизвестное, но обязательно хорошее из нового.

Беспокоило только, что будет с матерью и отцом. Смогут ли они безболезненно вступить в будущей переустроенный мир и не окажутся ли отторгнутыми имплантатами?

А ещё в последнее время Слепцова стала тревожить судьба самого Горбачёва. Павел презирал его. Каждый раз, увидев по телевизору, брезгливо кривился. Но он боялся, что такие люди, как отец и Андрей Нестеренко, а их, догадывался Павел, в стране миллионы, не дадут Горбачёву уничтожить систему, выбросят из власти, как китайцы своего генсека, или пристрелят раньше, чем тот закончит неосознаваемое им дело. Ведь стрелял же недавно в Горбачёва какой-то военный. На этот раз неудачно — сатана сберёт своего “меченого”. А если удастся? Андрей, видимо, не зря сказал о мишени на лысине и бубновых тузах на одежде. Тогда новая жизнь, о которой Павел думал постоянно, какой с нарастающим нетерпением ждал, пряча спрессованное желание в бесстрастную оболочку, никогда не появится?

Он враждебно уставился на электрика:

— А почему ты, Вольг, заговорил о мишенях? Сам, что ль, собираешься целиться в горбачёвскую лысину?

Спросил вроде как усмешливо, даже шевельнул губы в улыбке, но из провалов глазниц, словно дула пулемётов из бойниц ДОТа, прицельно глядели чёрные зрачки.

— Возможности нет. Его уберут другие.

— Вообще-то Горбачёв свою роль отыграл, — небрежно бросил Карабанов. — Сегодня он — тормоз демократического обновления. Мечется, как дерьмо в проруби. Ельцин — вот кто истинный лидер: вышел из партии, борется с привилегиями... Настоящий демократ!

Слепцов поджал тонкие губы.

— Он такой же демократ, как Адольф — папа римский.

Ему опять стало тревожно. Почему доктор всё хуже говорит о “меченом” и всё больше хвалит Ельцина? Это не случайно, думал Павел. Значит, демократы сделали ставку на Ельцина и могут сомкнуться с опасными для Слепцова людьми, чтобы убрать Горбачёва.

— Ельцин твой — дуролом. Пусть скажет спасибо Горбачёву — тот ему расчистил дорогу.

— Не надо, не надо, Паша! Спроси народ, кто из них настоящий вождь. Адольфа вон спроси, Валерку с Николаем. Посмотри на Ельцина. Какая у него харизма! Это же глыба. Ты согласен, Адольф? — подался к егерю Карабанов. Тот с прежним отчуждением взглянул на доктора, раздумывая: отвечать этому мужику или обойдётся? Но вопрос, похоже, задел что-то неуютное в мыслях егеря.

— Харизма-то у него, дай Бог, — раздумчиво проговорил он. — Во какая!

Он подвигал лапами вокруг раскрасневшегося лица.

— Только я што-т большого ума на этой харизме не вижу. Он какой-то... вроде сам не поймёт, куда попал.

Павел мелко засмеялся:

— Да пьёт он, Адольф! По-чёрному. Горбачёв рассказывал по телевизору: зашёл к нему в кабинет Ельцин... с кем-то таким же... Пока хозяина не было, выпили целую бутылку коньяка. Хозяйского. Тот её, видать, припас для большого случая...

— Ну, и вожди у демократов, — усмехнулся Нестеренко. — Не могут выпивку поделить. А взяли за страну.

— Ельцина не равняй! — оборвал Карабанов электрика. — Это тебе не Горбачёв. Тот, конечно, подготовил почву для демократических перемен.

Резво начал пахать... Но в народе говорят правильно: слаб мужик, за юбку держится. Борис Николаич будет порешительней. Он быстро сделает советской империи необходимую хирургическую операцию. Мы поддерживаем суверенитет прибалтийских государств... Отпускаем Грузию... Объявили о нашем суверенитете. Россия стала свободной.

— От кого? — спросил Волков, засовывая нож в висящий на поясе чехол.

— А то ты не знаешь! Нас обирали все республики.

— Надо было всего лишь поправить экономические взаимоотношения, — сказал Нестеренко. — А вы, чтобы вывести клопов из дивана, хотите сжечь дом.

— Быстро... быстро, — проворчал Адольф. — Мой тесть Иван Данилыч — умный был костромской мужик... он в таких случаях предупреждал: “Во всяком деле нужен ум и береж. А то сядешь срать и хрен обсерешь”.

— Ф-фу! — брезгливо отшатнулся Слепцов. — Грубо-то как!

— Зато верно! — засмеялся электрик. — Прямо про нашего пятнистого попрыгунчика.

— А ты сам откуда, Адольф? — спросил Волков.

— Из этих вот... независимых мест. В Латвии родился. Когда наши туда в сороковом вошли, мать была беременная. Жила у родителей возле Костромы. Отец — командир. В Риге снял квартиру... это чтоб мать приехала. Чё её понесло — не знаю. Но вскоре я там увидел белый свет.

— Теперь понятно, откуда имя, — догадался учитель. — Сороковой год... Пакт с Германией о ненападении... Гитлер — лучший друг советского народа. Тогда многие называли ребятишек Адольфами. Но ты не переживай! Это не редкое имя. В Скандинавии короли были Адольфами.

— Я своё отпереживал. А вот как там сейчас будут жить русские — вопрос интересный. Порядочных латышей фашисты задавят — эт я вам гарантирую. Первые, об кого начнут вытирать сапоги, будут русские.

— Борис Николаич не даст, — самоуверенно заявил Карабанов. — Эти государства получают свободу благодаря его поддержке. Да и как он, русский, предаст своих?

— Какие государства! — рявкнул Адольф. От гневного вскрика поднял голову задремавший было Фетисов. Посмотрел на сидящих за столом, ничего не понял и снова откинулся на матрас.

— Там, кроме литовцев, ни у кого государств никогда не было! Двадцать лет после нашей революции побыли самостоятельными... нищие, босые были, а до того хоть латыши, хоть эстонцы жили в других государствах. Под немцами... Под шведами... В нашей империи.

Такое неожиданное знание егерем истории удивило городских. Появилась мысль, что Адольф говорит об этом не первый раз. А он продолжал удивлять. Вынув из внутреннего кармана куртки несвежий листок бумаги, бережно разгладил его на столе и вперил маленькие глазки в Карабанова.

— Говоришь, получают свободу? Становятся независимыми? Как это им удаётся?

— Обыкновенно, — пожал плечами доктор. — Демократическим путём.

— Ага. Значит, там демократы, а не шпана. Но демократы живут по закону — так вы нам говорите? Ты ведь тоже демократ? А по закону... я тебе сейчас прочитаю закон...

Адольф поднёс листок бумаги к глазам — засиженная мухами лампочка под потолком светила скуповато.

— Закон СССР... Вступил в силу 3 апреля 1990 года. Называется: “О порядке выхода союзной республики из состава СССР”. Читаю тебе: “Решение о выходе должно быть принято на республиканском референдуме, и за это должны проголосовать две трети всех избирателей”. Понял? Две трети! “По каждой автономии и территории компактного проживания национальностей итоги подводятся отдельно”. Если две трети согласны разделить, Съезд народных депутатов СССР объявляет пятилетний переходный период.

Но это не всё. В последний год переходного периода по требованию одной десятой части избирателей может быть проведён повторный референдум.

На нём надо снова получить две трети голосов за выход. Вот тогда — жалте брицца. Только приготовьте деньги. В законе написано: “Желающие переехать в Советский Союз из отделивающейся республики могут сделать это за счёт республиканского бюджета”.

— Да зачем мне это знать, если народ решил?

— погоди, парень. Ты вроде демократ, а рассуждаешь, как шпана. Эт какой народ решил? Две трети населения? Нет. Маленькая часть националов. А остальные не народ? Там половина — русские... украинцы... другие люди. И националы не все хотят отделяться. У меня сестра живёт под Ригой. Муж у неё латыш. Их спросили?

— Какой смысл сейчас говорить об этом, Адольф? — вступился за доктора Слепцов. — Они объявили о независимости. Договариваются с правительствами других стран о прямых поставках товаров, топлива — зима ведь.

— Вы кто такие — я не пойму. Грамотные или пеньки? Договариваются... Да пусть говорят хоть... с этими... как они... с марсианами! Горбачёв — он кто? Главный в нашей стране или говно? Останови на границе Советского Союза поезд, посади самолёт с этим грузом не у прибалтов, а в Мордовии. Он чего натворил — этот гондон штопаный? Сейчас националы везде захватят власть...

— Уже захватили, — сумрачно бросил Нестеренко.

— ...русских начнут резать, выгонять из домов, а он про демократию трещит. Ты сначала порядок наведи! Придави шпану! Принял закон — заставь его выполнять.

— Как заставить, если народ встаёт стеной? — снова подал голос Карабанов.

— Это не народ...

— А кто ж, по-твоему?

— Шпана. В каждой нации она есть. Немного, но вонючая. Очень хочет власти... и ещё больше — денег. А народ — там... позади шпаны. Живёт себе и не замечает, какой у соседа нос. Вот кого надо спрашивать.

Помощники егеря, судя по всему, были солидарны с Адольфом. Красноглазый Николай то и дело кивал, хмурился, а Валерка попробовал даже вставить какое-то слово, но егерь коротко махнул на него рукой, и тот отстал, положив узкую голову на кулак.

— Теперь что ж, войска посылать? — спросил Слепцов.

— Не хотят добром... по закону... то надо брать палку. А как ещё народ защитит от шпаны?

— В Тбилиси попробовали палкой, — сурово произнёс Карабанов. — В апреле 89-го. После этого Грузия ушла.

И, не скрывая ненависти, продолжал:

— На мирную, тихую демонстрацию налетели убийцы в погонах. С сапёрными лопатками... рубили женщин и детей.

Покосился на Волкова.

— Десантники, между прочим. Кто после этого захочет жить в такой тюрьме народов?

— Ты сам-то хоть пробовал разобраться, что там было? — спросил учитель, трогая кончик уса и тем самым пытаясь справиться с раздражением.

— Зачем? Все газеты рассказали в подробностях. Депутатская комиссия ездила туда. До какого зверства надо было дойти? Десантник гнался за старушкой два километра... Догнал и зарубил лопаткой.

— Неужели ты серьёзно говоришь об этом? — с изумлением спросил Волков. — Веришь в сказку про бабку?

— А почему нет, если приказали убивать?

— Видать, старушка была мастер спорта по бегу, а десантник гнался за ней ползком, — засмеялся Нестеренко.

— Какие ж вы брехливые, демократы! — поморщился Адольф, и большую красную физиономию его искривила гримаса брезгливости.

— И вот так обо всех тбилисских событиях, Адольф, — кивнул Волков егерю. — Я им рассказывал. Моя Ташка туда ездила. Сначала я ей не поверил.

Он повернулся к доктору.

— Я верил больше тебе. И газетам, на которые ты ссылался... “Самые честные! Неподкупные!” Потом понял: там была махровая ложь... Ну, теперь-то ясно — им давали такую установку... Обелять негодяев и мазать дерьмом невиновных. Наталья привезла километры магнитофонных записей... Письменные свидетельства очевидцев... участников событий. Написала большую статью — как было на самом деле. Главный редактор сказал: ещё раз так напишешь — выгоню.

Волков встал, шагнул туда-сюда по избе, чтобы успокоиться.

— Потом я прочитал подробное заключение Генеральной прокуратуры — жена принесла. А вскоре ко мне заехал мой армейский друг — Саша Головацкий. Я после армии пошёл в университет, он — в военное училище. Сейчас, может, подполковник. Тогда, в апреле 89-го, он был майором, в Тбилиси попал как раз перед событиями. Выходил с последними частями из Афгана. Две недели дали отдохнуть — и командировка в Грузию. Он мне много чего рассказал... Майор ГРУ*, сами понимаете. Заваруху организовали несколько человек. Всех не помню — Чантурия, Церетели, а главный — Гамсахурдия**. — Он сейчас командует там в Верховном Совете. Эти люди создали каждый свою партию... Ну, какие они партии? Во всех вместе взятых было меньше трёх тысяч человек. Как говорит Адольф: шпана. Но вонючая. Стали разжигать народ. “Долой Советскую власть!”, “Выход из состава СССР!” А главное — “Грузия — для грузин!” Нисколько не прячась, орали, что нужно выгнать из Грузии абхазов, осетин, азербайджанцев, армян, греков, русских. Уничтожить автономные образования в Аджарии, Абхазии, Южной Осетии. Люди заволновались. Известно ведь — экономические трудности не так легко возбуждают народ, как это происходит, если задеть национальную струну. Там — как из контрабаса извлечь звук — пальцы разорвёшь. А национальные дела даже не Пашина скрипка. Достаточно дыхнуть на струну, и она зазвенит тревожно.

После открытых шовинистических речей Гамсахурдии — и заметьте: никто его не арестовал, не посадил, — 18 марта в абхазском селе Лыхны собрался 30-тысячный митинг. Люди потребовали придать своей автономной республике статус союзной и войти в состав СССР. Грузию-то националисты обещали из Союза вывести, а что будет потом, абхазы уже услышали. В ответ на решение взбудораженных абхазов Гамсахурдия собрался их громить. Расправу назначили на 9 апреля. Но сначала со своими архаровцами раскопчегарили митинг в Тбилиси. До этого они уже пробовали насильно останавливать работу заводов, срывали занятия в школах и вузах, блокировали движение городского транспорта, перекрывали шоссе и железную дорогу. Перед самым 9 апреля толпой из нескольких тысяч человек они пошли к металлургическому заводу в Рустави — задумали остановить его.

— Ты понимаешь, что такое остановить металлургический завод? — воскликнул Нестеренко. — Это ж катастрофа! Там непрерывное производство.

— Догадываюсь... Но рабочие их не пустили. А митинг в Тбилиси возле Дома правительства уже выходил из берегов, становился ожесточённым. Националисты выступали по двадцать-тридцать раз в день. В Генпрокуратуре есть магнитофонные записи этих выступлений, их расшифровка. Наталья получила копии. Я сам читал. Один кричит: “В Грузию должны войти армейские подразделения ООН... Грузия должна войти в НАТО...” Другой призывает: “Не пожалеем пролитой крови...” Как вы понимаете, конечно, не своей... Саша мне показывал фотографии лозунгов: “Долой, советская власть!”, “Русские! Вон из Грузии!”, “Долой фашистскую армию!”, “Давить русских!”

— Ну, что я вам сказал! — заволновался Адольф. Волков согласно покакивал, снова взялся закручивать ус.

* ГРУ — Главное разведывательное управление Генерального Штаба.

** Звиад Гамсахурдия — грузинский националист и шовинист. Один из организаторов выхода Грузии из СССР. Готовил ликвидацию автономных образований в Грузии — Абхазии, Аджарии, Юго-Осетинской области. 26 мая 1991 года избран президентом страны. В январе 1992-го отстранён от власти вооружённой оппозицией — своими бывшими соратниками. Убит 31 декабря 1993 года (прим. авт.).

— Местные власти были в разброде. То и дело связывались с Москвой. Оттуда тоже невнятное. Вы же знаете горбачёвские призывы: “Не надо драматизировать ситуацию”. Наконец, решили вытеснить демонстрантов от Дома правительства ОМОНОм и солдатами. Вытеснить! Живой цепью! Но гамсахурдиям нужна была кровь. Они подготовили десятки боевиков. Те вооружились цепями, железными прутьями, досками. Достали противогазы, бутылки с зажигательной смесью.

Перед началом операции к митингующим обратился католикос Грузии. Он попросил всех разойтись, чтобы не допустить трагедии. Но один из лидеров-националистов вырвал у него микрофон и призвал митингующих сесть на асфальт. “Сидячих бить не будут”. Вы представляете, что происходит, когда на толпу надвигается цепь омоновцев со щитами? Толпа выдавливается, как сметана из дырявого пакета. В разные стороны, куда можно отойти. На площадь выходит несколько улиц. Но большинство из них националисты специально перегородили. Поставили самосвалы с песком и спустили шины. Подогнали автобусы, грузовики с бетонными блоками. Остался выход на проспект. Я тебе, Сергей, могу показать видеоплёнку — Ташка сделала копию. На плёнке видно, как сзади толпы выстраиваются молодые, спортивной выправки мужики с палками и закрывают людям возможность уйти. А впереди, перед цепью — давка. А в середине, возле ступенек к Дому правительства сидят люди. Женщины. Их усадили негодяи — сидячих, мол, не бьют. Толпу сзади держала одна часть боевиков. Другая начала драку с солдатами и омоновцами. Их били железными прутьями, камнями, резали ножами, кололи заточками. Как бы ты реагировал, когда в твоего товарища всаживают нож?

— Он бы помог... Другому товарищу, — съязвил Нестеренко.

— Перестань! — одёрнул его Волков. — Неумно.

И, немного помолчав, с волнением заговорил:

— Те, кто закрывали выходы с площади, понимали, что произойдёт. Вот они и есть преступники... настоящие виновники тбилисской трагедии! Наталья сфотографировала показания участников. Люди, отступающие перед цепью солдат, пошли по сидящим и упавшим. Все погибшие, а там их было, кажется, восемнадцать, оказались задавленными. Только один мужик ударился головой об асфальт. Ну, этот хотел показать десантнику приёмё самбо... Я читал хвастливые показания тех, кто бил солдат и омоновцев. Один заявил следствию — его я запомнил особенно: попался бы он мне! — “Я лично разломал скамейку и с этим колом пошёл крушить солдатские головы. Ребята расправились с солдатами. Шла драка насмерть”. Военных тоже можно понять. У омоновцев щиты разбиты. Морды в крови. Во всех летят булыжники, куски плитки от ступенек. Десантники отбивались лопатками, как теннисными ракетками... А на ступеньках, выше толпы, среди организаторов, стояли московские фотокорреспонденты и люди с видеокамерами. Их пригласили заранее...

Потом писали, что солдаты многих убили сапёрными лопатками. Да ты же сам сейчас сказал об этом, Карабас! Вот люди тебя слушают и думают: значит, правда. Если тако-о-й человек говорит! Однако следствие установило: погибших от лопаток не оказалось вообще. Ни од-но-го! — по слогам произнёс Волков. — Четыре человека получили раны... Лёгкие...

— Я не верю твоей версии! — враждебно заявил доктор. — Это версия одной стороны. Убийц...

— Вот так же говорили те, кто не хотел услышать правды. Кто специально выворачивал шубу наизнанку. Лгали, не боясь наказания. Саша рассказывал, как они отлавливали телеведущего Политовского. Тот встречался только с националистами... с теми, кого надо было судить. Сумели перехватить его в аэропорту. Просили, требовали: выслушайте нас тоже. Мы были здесь... Всё видели... Пообещал... и увильнул, гадёныш. Потом целый час рассказывал по телевизору всей стране о сапёрных лопатках и тысячных жертвах. А когда следователи стали изучать документы — вот где открылось кино! Многих, вроде бы пострадавших, в поликлиниках регистрировали по четыре, по пять и даже по шесть раз. Каждого! Для количества. Сотни две записали на выдуманные адреса.

А насмерть отравленные газом? Я уж не помню, сколько их называли. И в газетах, и в депутатской комиссии... Генпрокуратура собрала всё, что можно. Даже свидетельства иностранных специалистов. И что оказалось? Тоже — ни одного! Как с лопатками. Для того чтоб человек помер от миллицейского газа, его надо посадить в глухую комнату в половину нашей избы, заполнить её газом до густоты, — как туман на озере, — и держать там бедолагу четверо суток. Ты где-нибудь об этом читал? Хоть один человек сказал про это по телевизору? Я всё ждал, когда Горбачёв назовёт вещи своими именами. Расскажет правду. А он — снова в кусты. Решил сам хорошо выглядеть, а козлом отпущения сделать армию... генерала Родионова... Ты вот тоже с теми... Получается, на другой стороне баррикад...

Учитель расстроено замолчал. Ему нелегко было вслух признать очевидную вещь: они с Карабанным становятся противниками. В избе наступила гнетущая тишина. Даже храп Фетисова смолк. Видимо, товаровед повернулся на удобный бок и теперь только посапывал. Обычно он храпел надрывно, с ругательствами и переживаниями, и если на какой-нибудь охотничьей базе была возможность, товарищи отправляли его спать в отдельную комнату. “Чёрт-те што, — ворчал Нестеренко. — Как в таком маленьком теле помещается целый оркестр?”

— Ты не веришь моим словам, — сказал Волков, — а я не верю депутатской комиссии. Сначала поверил. Переживал. Но когда Наталья стала показывать документы, был поражён. Она после Тбилиси повернулась к национальным делам. Полезла в карабахскую свару. Я её удерживал. В редакции косятся. Говорят: не туда копаешь. Но ты знаешь мою Ташку... Брестская крепость... Будет стоять до последнего. Пока концы не найдёт. Говорит мне: хочу понять, как народы, столетиями жившие бок о бок, толкнули на убийство друг друга? Кто виноват?

— Ну, и кто? — возрился на учителя Павел.

— Горбачёв.

— Здравс-сьте! — с сарказмом бросил Карабанов. — И ты туда же!

— Да. Горбачёв. Где лично он, где свита, которую собрал. Уж ты-то, как доктор, знаешь: если болезнь не придушить в самом зародыше, погибнет весь организм. С чего там началось? С писем армян из Нагорно-Карабахской области — она входит в Азербайджан, — чтобы её передали Армении. Говорят, после революции такая идея тоже бродила, но её вместе с носителями утихомирили, и она надолго заглохла. А тут — перестройка, всё можно, почему не попробовать?

Сначала писали одиночки... Как их назвала Наталья: национал-активисты. А в августе 87-го в Москву ушла петиция с десятками тысяч подписей. Ясно же — не сами по себе люди собрались. Выстроились в очередь... требовали бумагу... ручку... С ними очень активно поработали. Организовали сбор, давили на колеблющихся, пугали нежелающих. В области всего 145 тысяч армян! Включая грудных детей. А тут десятки тысяч подписались. Азербайджанцы сперва на это не обращали большого внимания. Если народы территориально вкраплены друг в друга, трения всегда бывают. Даже после начала синхронных митингов и шествий — в Ереване и Карабахе — развитие событий можно было остановить. Но когда уже областной Совет принял решение выйти из Азербайджана и войти в состав Армении, загудели и на той стороне. Стали требовать от властей навести порядок. Активизировались националисты. Шпана, как говорит Адольф.

Надо сказать, армяне действовали напористей. Подключали кого только можно. Своих — за границей, а их диаспора, наверно, не меньше еврейской. Своих — здесь. Советник Горбачёва — какая-то у него фамилия, натошак не выговоришь, — стал везде писать и говорить, что Карабах надо вернуть матери-родине. Значит, Армении. В доказательство — вроде как исторические примеры: что было тыщу лет назад, что — пятьсот. Ну, если такой дорогой все пойдут, не останется ни одного целого государства. Американцев первых надо выселить — заняли чужие земли. Не получая от властей, как местных, так и союзных, разъяснений и наказаний, — да-да, ты не кривись, Карабас! наказания тоже могли остудить — те и другие провокаторы с каж-

дым днём всё опасней раскачивали народ. На первый митинг в азербайджанском Сумгаите пришло человек сорок. Им красочно рассказали, как в Армении и Карабахе убивают мужчин и насиluent азербайджанских женщин. На следующий день собралось уже несколько тысяч возбуждённых людей. Накаляя толпу, организаторы через мегафон выкрикивали проклятья армянам. Баба, второй секретарь горкома партии, вместо того чтоб гасить разгорающийся пожар, плеснула керосина в огонь. Мы требуем, орала она, чтобы армяне покинули Азербайджан.

Ещё через день — опять митинг. На нём народу ещё больше. Когда он кончился, другой секретарь этого же Сумгаитского горкома партии — мужик — поднял азербайджанский флаг и повёл толпу на поиски армян. Это как вам? Да их надо было немедленно арестовать и тут же судить.

— А бабу посадить к мужикам — армянам, — ляпнул Нестеренко. Волков строго, по-учительски, глянул на него.

— Ты не Вольт, Андрей. Ты чёрт.

И продолжал:

— Армяне накаляли обстановку не меньше. Если не больше. Один из лидеров комитета “Карабах” на митинге в Ереване призвал создать отряды, задача которых — изгонять азербайджанцев. “Впервые за эти десятилетия, — кричал он, — нам предоставлена уникальная возможность очистить Армению”. Кем предоставлена?

— Ясно кем! — снова вклинился Нестеренко. — Горбачёвым.

Но Волков на этот раз даже не посмотрел в его сторону.

— Я вам назвал несколько фактов. А их сотни. Националисты-провокаторы действовали в открытую и безнаказанно. Безнаказанно! Раскачивали два народа, апеллируя к самым низменным человеческим инстинктам. Взыбирались на гребни растущих волн гнева, делали всё, чтобы столкнуть их. Про себя-то знали: перед тем как волны схлестнутся, они успеют нырнуть вниз. На безопасное дно. Они готовы проливать кровь. Но, как и в Тбилиси, не свою.

Им удалось... В азербайджанском Сумгаите, где по общежитиям и митингам ходили, как я прочитал у Натальи в показаниях рабочих алюминиевого завода, “странного вида нездешние люди”, начался погром.

И опять же... Если не сумели жёстко предотвратить его, можно было уменьшить число жертв. Некоторые азербайджанцы помогали армянам... Спасали целые семьи. Вот суть народа! А в Москве чесались. С большим опозданием перебросили дивизию внутренних войск. Увидев на месте, что творится, комдив запросил разрешения на адекватные обстановке меры. Специально обученные солдаты могли утихомирить погромщиков в считанные часы. Но ему приказали не применять силу и не забывать, что участники погромов — тоже советские люди. Слова — один в один — из горбачёвского чемодана.

Волков подошёл к столу, взял свою кружку с чаем.

— В этом же духе действовали и дальше. Из нескольких тысяч погромщиков к суду привлекли 94 человека. Представляете? Из тысяч! И то рядовых участников — юнцов. Вместо общего судебного процесса дело разбили на 80 эпизодов. Рассматривали в разных городах. Ни одного подстрекателя из выступавших на митингах, ни одного националиста-идеолога не арестовали. К чему привела горбачёвская трусость, вы теперь видите. Двести тысяч азербайджанцев выгнали из Армении. Люди бросили дома, годами нажитое добро. Что удалось взять, с тем и бежали. А навстречу — армянский поток горя. Этим ещё больше — поскольку в Азербайджане их больше жило. По всей границе между республиками идёт стрельба. Что будет завтра, мы с вами не знаем.

— А ты говоришь, — уставил палец в доктора егерь, — не надо палку. Свободу всем и каждому. Тогда зачем нужна такая власть, если она не может защитить народ от шпаны?

И, прищурив маленькие глазки, ядовито передразнил:

— Демокра-а-тия...

— Ты прав, Адольф. Власть должна иметь твёрдую руку, — согласился с егерем Нестеренко. — Путь к демократии в такой многонациональной стране, как наша, иногда должен проходить через площадь Тяньаньмэнь.

— Это ещё где?

— В Китае. Главная площадь Пекина. Там хотели устроить такой же бардак, как у нас. Вышли студенты... демократы. Кричали: “Долой социализм!” Власти их предупреджали. Требовали разойтись. Те — ноль внимания. Тогда пустили войска... танки.

— Против безоружной молодёжи, — с осуждением сказал доктор.

— Студенты, — усмехнулся Слепцов. — Эти “безоружные” студенты ещё на подходе к площади подбили несколько танков. Погибли военные. Молодые ребята...

Отец рассказывал ему некоторые подробности тех событий. Из разных источников было известно, что уже первыми демонстрациями, которые начались в апреле 1989 года, руководили подготовленные люди. Успех “бархатных революций” в Восточной Европе, порождённых советской перестройкой, пробудил диссидентские импульсы в Китае. Небольшие поначалу группы, видя растерянность властей, стали быстро разрастаться в многотысячные митинги и демонстрации. Поскольку представители власти пробовали разрядить обстановку путём переговоров, организаторы манифестаций решили, что власть совсем слабеет, и начали усиливать давление. Требования выдвигались такие же, как в Советском Союзе и социалистических странах Восточной Европы: демократические преобразования, глубокие перемены в политической системе.

Не получая противодействия, демонстрации ширились, призывы становились всё радикальнее. 15 мая это увидел сам Горбачёв, который прибыл в Китай с визитом.

30 мая власти попробовали мирно вытеснить многотысячную толпу демонстрантов с площади Тяньаньмэнь, но люди стояли стеной, и экипажи бронетехники, не имея приказа действовать решительно, остановились.

3 июня 1989 года на площади собралось полмиллиона демонстрантов. К интеллигенции и студентам добавились крестьяне из ближайших районов, безработная молодёжь, которой к тому времени в Пекине скопилось около миллиона человек. В толпе работали агенты ЦРУ, тайваньских спецслужб. Как отмечали иностранные обозреватели, они раздавали деньги. Специалисты по организации массовых волнений накаляли толпу. Руководители страны приняли решение: в данной ситуации выход один — применить силу. Против выступил Генеральный секретарь Компартии Китая Чжао Цзыян, который лично выходил к митингующим с уговорами.

В ночь с 3 на 4 июня на площадь двинулись войска и танки. Были жертвы. “Бархатная революция” в Китае не удалась. Генерального секретаря ЦК Компартии сняли со всех постов и отправили под домашний арест.

Вспомнив сейчас рассказ отца об этом, Павел пожалел, что невольно стал союзником Андрея. “Твердолобые” могут так же поступить с Горбачёвым. Тогда, может, действительно есть смысл поддерживать Ельцина, как это делает Карабанов, поскольку тот в борьбе с Горбачёвым за власть ещё резвее разрушает систему.

— Значит, если б я крикнул: “Долой социализм!” — меня тоже под танки? — спросил он Нестеренко.

— Для него идея дороже человеческой жизни, — опередив растерявшегося от неожиданного вопроса электрика, заявил Карабанов. — Социализм... коммунизм... Какие-то идейные бредни. Тупиковый путь в сторону от магистральной дороги человечества... Аппендикс, который наконец-то воспалился... Ампутировать его надо... А вы вцепились... сами не уходите и другим не даёте уйти. Социализм... Он никогда и нигде больше не возродится. Эксперименту конец. Идея ваша мертва... хотя ещё огрызается. Но, как говорил Достоевский, ни одна самая лучшая идея не стоит слезы ребёнка.

— А человеческой крови? — раздался от печки голос Волкова, который снова достал из топки уголёк, чтобы прикурить, да так и застыл с ним, дымящимся на поддоне совка. Эти слова, услышанные им впервые года два назад, показались тогда какими-то возвышенными и пронзительно чистыми. Сам он их у Достоевского не встречал, да и читал-то Волков странного писателя — таким он ему показался после нескольких произведений — весьма неохотно.

Однако слова эти, как серебристые колокольчики на рыбалке, вызванивали какие-то надежды, в которые хотелось верить и к которым надо было стремиться.

Правда, когда с митингов и экранов ими стали беспощадно хлестать всю историю страны, представляя её жестокой и бесчеловечной, учитель настроился: “Как же вас понимать? — думал он о тех, кто произносил постулат нервного писателя и называл себя демократом. — Считаете трагедией единственную слезу обиженного ребёнка и одновременно восторгаетесь людьми, устраивающими кровавые погромы, в которых даже не плачут, а гибнут тысячи детей”.

— Ты про какую кровь, Володя? Что имеешь в виду? — спросил доктор.

— Двойную мораль. Идея социализма, как я понял, не стоит слезы ребёнка. А идея национализма? За неё, по-твоему, можно платить слезами и кровью? Когда азербайджанцы бежали через горы из Армении, ты видел по телевизору замёрзших людей? А детей убитых видел? Армянских? Азербайджанских? Или на этих детей ваша мораль не распространяется? Вы поддерживаете националиста Гамсахурдия? А что он целым народам отказывает в праве на существование — абхазам, осетинам — нету, заявляет таких народов, есть только грузины, других в Грузии не должно быть — это-то как?

— Это — фашизм! — убеждённо сказал Нестеренко. — Всякий, кто говорит, что его народ лучше других... что он самый умный... только ему компот, а остальным помой — это фашист. Ничем не лучше немецких. Да и слова-то вон какие похожие: нацист — националист.

Учитель, наконец, прикурил, бросил уголёк обратно в топку.

— Северная Осетия и Абхазия не хотят выходить из СССР. Они готовы отделиться от Грузии и остаться в Союзе. А Гамсахурдия хочет силой оставить их. Вроде как отстаивает территориальную целостность Грузии. Тогда почему власть Союза не имеет права тоже силой сохранять эту самую целостность?

— Не та власть сейчас в Союзе, — сказал Валерка, глядя на Адольфа и как бы ища его согласия.

— Эт точно, — покивал тот. — Не повезло нам с правителем.

В этот момент из сеней послышалось грозное рычанье Пирата. Тут же залиvisto откликнулась Тайга.

— Што такое? — вскочил Нестеренко. Николай с Валеркой тоже встали. Проснулся Фетисов. Сел на матрасе.

— Уже утро? Иль вы не ложились?

Адольф быстро снял со стены ружьё и вышел в сени. Слышно было, как хлопнула входная дверь на улицу. Через некоторое время егерь вернулся.

— Волк, наверно, близко прошёл. Разоряются деревни... исчезают. Волкам некого бояться. В брошенном селении всегда чё-нибудь найдётся. Среди зверей тоже есть люди. Сображают...

— Зато среди людей появились звери, — с грустью заметил Волков. От того радостного душевного настроения, с которым приехали вчера и с которым начинался сегодняшний день, ничего не осталось. Раздражение и дух какой-то враждебности, казалось, затронули всех. Кроме уснувшего Фетисова, чей громкий храп напомнил людям о времени.

— Давайте-ка спать, — пошёл к кроватям Адольф. Одну со вчерашнего вечера занял он. Две других достались Карабанову и Слепцову. Инженер-электрик и учитель без каких-либо претензий легли спать на матрасах.

Сейчас посередине рябого озера снова храпел Фетисов. Нестеренко, проходя мимо, толкнул его ногой. Товаровед всхлипнул в храпе, повернулся на бок и затих.

— Быстрее укладывайся, — сказал Андрей Волкову, накрываясь полубубком. — Пока у оркестра перерыв.

Глава четырнадцатая

В остывшей темноте проснулись чуть ли не все разом. Валерка встал первым, зажёл свет и крикнул, щурясь:

— Спать приехали?

На голове его, похоже, ночью кто-то сидел. Лицо сплюснулось сильнее вчерашнего. Жёсткие волосы дыбились вулканом. Глянув на него, Волков вспомнил, как в прошлый приезд Адольф уверял их, что из волос Валерки они делают кивочки для зимних удочек. “Вроде проволоки”, — говорил тот, и никто поначалу не заметил хитрой смешинки в маленьких глазках егеря.

Больше по надобности, чем по желанию, пожевали кто что и, не мешкая, стали выходить во двор.

Рассвело ещё не совсем. Близкий снег синел, дальше был серый, но звёзды поблескивали всё слабее, как будто быстро уносились от земли в глубины неба.

— Значит, обстановка такая... рисую обстановку, — придавленным голосом говорил егерь.

Согнувшись в три погибели, он искал карабин на ошейнике крупного Пирата и никак не мог найти. Валерка уже держал на поводке свою лайку Тайгу.

— Пойдём в такое место, где кабаны обязательно есть, — продолжал Адольф снизу. Фуфайка задралась, в сумерках под ней забелела рубашка. Наконец, егерь прицепил поводок и разогнулся.

— С болота будем заходить? — спросил красноглазый Николай.

— Там глянем. Война план покажет, — повторил Адольф, похоже, нравящееся ему выражение.

Цепочка охотников быстро заскользила к чернеющему метрах в трехстах от избы старому амбару. За ним начинался уклон к полю, которое вдалеке мрачной дугой обжимал лес. Вчера охотники за весь день не встретили ни одной свежей кабаньей тропы. Сначала зима была так себе, не поймешь, куда повернёт. Первый снег выпал без холодов, на сырую землю. После этого надолго установились ясные, солнечные морозные дни. Но наконец, снега повалили, и насыпало их к концу сезона столько, что, оступившись с лыж, человек кое-где в лесу проваливался по пояс. В таком пуху даже лоси не бежали — плыли. А кабаны, уйдя в самую гущу непролазного ельника, растапывали там мягкий снег, подрывали корни и только ночами, да и то не всегда, пробивались в новое, такое же глухое место или на картофельные поля. И хотя с первых дней января установились сверкающе-голубые, звонкие от мороза дни, глубокий снег — эта кабанья погибель — держал зверей в плену.

Ломая путь между поваленными деревьями, охотники углубились в лес. Вдруг Адольф, шедший впереди, замер.

— Вход есть, — изменившимся голосом тихо сообщил он. — Будем делать загон. Кто у вас командир-то?

Карабанов кивком головы показал на Волкова.

— Мы втроем побежим в обхват, а вы — по нашей лыжне. Не гонитесь. Замерзните стоять. Нам круг делать большой. И вон оттуда (красной пятерней он показал в глубины леса) пойдём на вас с собаками. А вы расставьте, где я лыжей кресты сделаю. Одного назад надо вернуть — к полю ближе.

Лес быстро наливался светом. Тронутый солнцем снег на вершинах елей порозовел.

— Кроме как на вас, им некуда выйти. За вашей спиной лес долгий. Густая сеча. Такая, как впереди. Тут вроде перешейки. Они туда-суда через эту перешейку ходят — в сечу здесь самый короткий путь. А там болото — мы сейчас краем пройдем. С другой стороны — поле.

Неожиданно глазки егеря язвительно блеснули:

— Ну, смотрите у меня. Промажьте кто... скворцы-говорцы.

К полю Владимир вернул Фетисова. На следу поставил Слещова. Себе взял следующий номер, а на два последующих отправил Карабанова и Нестеренко.

Егерь вытоптал крест возле тесного гурточка усыпанных ёлочек. Но Волкову место не понравилось. Мелькнуло смутное опасенье, что здесь, в случае чего, только запутаешься, а не спрячешься, и он передвинулся на несколько метров назад, к огромной ели. На весь волковский рост ствол её был гладок.

И только сразу над головой охотника начинались мощные нижние ветки. Волков поудобней утоптал снег, огляделся из-под густого навеса. Справа от него заряжал ружьё Карабанов. Дальше, под небольшой ёлкой, замер Нестеренко.

Но самое лучшее место было у Слепцова. По такому снегу зверь обязательно должен пойти своим следом, а на нём стоял жилисто-сухощавый, с острым взглядом запавших глаз экономист, который не знал промашки. Волков передёрнул плечами от зависти, но тут вспомнил, что прошлый раз сам никому не дал поднять ружья. Странная тогда получилась охота. Не успели отойти от деревни, как пущенные вперёд собаки залаяли в ближайшем осиннике. Адольф сорвался с шага, бешено замахал руками: “Отрезать надо! Уйдут в большой лес!” — и понесся параллельно ходу лосей. Все бросились за ним, однако вскоре Адольф оторвался, и лишь один Волков — сказывалась давняя армейская тренированность (“десантник сначала бежит, сколько может, а потом — сколько нужно!”) — старался догнать егеря, хотя и от него тот уходил всё дальше. Трое лосей бежали редким осинником. Волков видел их. Вдруг они повернули к охотнику, и он окаменел на полушаге, где его застал момент. Даже большого дерева не было рядом. Только две тонких осинки оказались за спиной. По глубокому снегу лоси двигались не быстро. За ними словно плыли собаки, одной лишь яростью выталкивая себя из пуха. Волков медленно поднял ружьё, подпуская переднего зверя, и готовый в любую секунду, если лось увидит его и свернёт, нажать курки. Но крупная корова не замечала стоящего уже в сорока метрах от неё охотника. Пуля вошла в грудь. Корова боком метнулась к осиннику. Волков выстрелил ей вслед. Мгновенно перезарядил ружьё и послал дуплет в третьего зверя, потому что второй лось после выстрела сразу же свернул за коровой. А та была уже в осиннике, но не бежала, а стояла, ворочая головой. Волков снова вогнал патроны и помчал к ней. Он вдруг засомневался в первом выстреле и теперь решил хоть издалека дать дуплет, если корова тронется с места. Но она не двинулась. Волков не пробежал и половины пути — лосиха упала. Собаки налетели на неё сзади, вцепились зубами в шерсть. Корова силится подняться, однако последние силы быстро покидали её. Волков замахнулся на собак. Тайга отскочила с клоком шерсти в зубах, а Пират, рыча, двинулся на охотника. Тот вдруг остервенился, визгливо вскрикнул, словно терзали его, а не умирающего зверя, и, не помня себя, вскинул ружьё на собаку. Но в этот момент краем глаза увидел, что, огибая его, из осинника по чистому полю бежит один из оставшихся лосей. Он повернулся, двинул стволы ружья на самую оконечность головы и выстрелил. Лося как будто дернули за передние ноги назад и одновременно ткнули головой к низу.

Это был прекрасный выстрел, но, вспомнив о нём сейчас, Волков вдруг опять, как в прошлый раз, почувствовал впервые появившуюся тогда пронзительную жалость к загубленной жизни. Зависти к Слепцову уже не было, она истаяла, как горсть снега в воде. Владимир ещё раз, теперь не с поворотом головы, а только движением глаз, обозрел цепь. Люди замерли на местах. Стояла стеклянная морозная тишь. Учитель слегка наклонился вперёд, перенёс центр тяжести на левую ногу и приоткрыл рот. Мысленно усмехнулся: навыки разведчика-спецназовца не забывались. Когда надо прослушать обстановку, а подручных средств нет: сухого бревна, палки, вкопанной в землю, можно было сделать, как он сейчас. Зубы, если полуоткрыт рот, становятся дополнительным проводником звука.

Волков с грустной нежностью вспомнил армейское время, старшину Губанова из донских казаков, которого все они поначалу возненавидели. Глухим баском тот постоянно им внушал: “Оставьте свои заповеди десантника на КПИ али сбережите их для девушек. “Десантник должен стрелять, как ковбой, и бегать, как его лошадь”. Красиво, но не для нас. Разведчик-диверсант — это вам пять десантников в одном. Надо схомутать ковбоя, взгромоздить на горб его лошадь и пройти незамеченным через всю ихнюю степу... Прерия называется”.

Владимир до сих пор помнил, как надо бесшумно ходить в лесу или по мелкой воде, как читать следы (примятая трава направлена в сторону дви-

жения), как маскироваться, листья каких деревьев сколько времени сохраняют летом свой цвет (дуб, берёза, липа — до двух дней; осина, орешник чернеют и свёртываются через несколько часов). Дольше всего — до пятнадцати дней, сохраняют естественный цвет камыш, осока, мох. Из деревьев — сосна и ель. “Хорошо учила Советская Армия, — подумал он. — А теперь её топчут на каждом карабановском митинге”.

От этой мысли ему стало беспокойно, захотелось, как в разведке, стать незаметнее. Волков согнул еловую лапу, намереваясь без шума оторвать несколько веток, чтобы прикрыть ими светло-рыжую шапку. Но внезапно раздался треск. Слещов быстро глянул вправо, а Карабанов, поймав волковский взгляд, показал ему кулак. Владимир смущённо улыбнулся и успокаивающе качнул рукой. В этот момент со стороны загонщиков донёсся яростный собачий лай. Волков мгновенно напрягся. Теперь это был сильный настроженный охотник. Всем существом устремлённый в глубину леса, где его сообщники — собаки — обнаружили дикого зверя.

* * *

Но кабан был не один. В ельнике стояло стадо. Матёрый секач, кабан-двухлеток, такая же по возрасту свинья и трое поросят перешли ночью со старого места на новое. Впрочем, и это место было для стада не новым. Здесь кабаны кормились несколько дней назад и ушли, когда почувствовали, что голод уже не утолить. Теперь тот же голод, от которого взрослые всё более свирепели и раздражались, а малыши — слабели, пригнал стадо назад.

Такая пугающе трудная зима была неизвестна даже секачу. Он опускал морду, чуть поворачивал её набок и поддевал клыками перемешанную со снегом землю. Ничего не попадалось. Следом ходили поросята, тыкались носами в следы секача и время от времени тихо взвизгивали.

В густом ельнике становилось всё светлее, и всё яростней рыл чёрно-белое месиво голодный кабан. Зло всхрюкивали двухлеток и свинья. Когда совсем рассвело, секач остановился, последний раз рыкнул, и все замолкли, продолжая, тем не менее, искать пищу. Теперь до сумерек было опасно подавать голос.

Так прошло некоторое время. Вдруг взрослые кабаны услышали вдалеке треск. Вспугнутые, они разом тревожно всхрюкнули, и этого было достаточно, чтобы их услышала собака. С накаляющимися от ярости лаем она бросилась в сторону стада. За ней понеслась другая.

Взрослые звери повернули морды на лай, и секач клацнул клыками. Однако через мгновение в ельнике началось замешательство. Двухлеток и свинья уже один раз уходили от собак, и уводил их секач. Тогда вожак также встал против лая и страшно взревел. Но вдруг грозный рык его надломился, кабан попятился, и молодёжь почувствовала в лае маленьких яростных зверей опасность. А кто, как не секач, десятки раз показывал, что от опасности надо спасаться бегом. Теперешний лай был ещё неистовей прежнего. Двухлеток и свинья повернулись. Перед ними была тропа, по которой они пришли ночью. Но там, куда она вела, звери недавно слышали треск. Взбив копытами землю, двое взрослых прыгнули в снежную нетронутость и побежали к болоту. За ними, утопая в снегу, бросились поросята.

Секач тоже почувствовал опасность в приближающемся лае. Но не собаки пугали его. Вздывивший закрик, разъярённый, он был страшен. Броситься на них, и враги отбегут. Однако за ними кабан слышал одинокий голос, а эту опасность он уже встречал, когда однажды вслед за криком что-то громко лопнуло, и большая свинья из их стада задёргалась на снегу. Зверь повернулся, и когда за деревьями мелькнули собаки, прыгнул между ночным следом и тропой ушедшего стада. Враги были сзади. Враждебный треск перед этим раздался впереди. Кабан громадными прыжками понёсся на него, быстро уводя собак от опасного голоса.

Чем ближе накатывалась волна лая, тем беспокойней глядел в лес Волков. Он не мог понять, куда бежит зверь. То ему казалось, что ярость кипит на тропе, и тогда внутри у него всё обмякало, губы трогала беспокойная усмешка, и охотник зло косил глазом влево. То прозвонная лаята вроде бы шла на него, и Волков поднимал на неё ружьё, мышцы плеч туго набухали, а сужившиеся глаза шарили меж освещённых солнцем стволов по заснеженному перелеску.

Вдруг впереди треснуло, хрустнуло, потом зашуршало, как будто сквозь густые заросли тащили брезент, и Волков шагах в двадцати увидел кабана. Зверь тоже заметил охотника. Он на мгновение замер. Позади него клубились собаки. Остервеневшие от близкого запаха секача, они злобно схватывали красными пастями морозный воздух и, казалось, вырывали куски из пространства, отделяющего их от кабана. Но едва тот повернул обрубленный клин морды, собаки раскатились в стороны. У секача задвигались клыки, и кастаньетный перестук рассыпался по лесу. В этот же миг под елью польхнуло пламя, грохнул низкий гром, и грудь кабана прожгло. Секач храпко рывкнул. Опасный треск, вспугнувший стадо, был у ели. Зверь прыгнул к дереву.

Волков шатнулся назад. От закрасненного кровью снега кабан пролетел несколько метров; чёрной бомбой пал на ноги и коротко рыкнул. Это будто подстегнуло собак. В два прыжка Пират оказался рядом. К запаху секача примешивался горячий запах крови. Приподняв оскаленную пасть, Пират потянулся к задку зверя, и в эту секунду Волков в упор ещё раз выстрелил в кабана. Тот визгнул, дёрнул головой на охотника, но вдруг мгновенно повернулся и поддел собаку клыками. Пират взлетел в воздух, резко скрутился в клубок, как будто хотел отдохнуть на лету, и, уже падая, выгнулся в обратную сторону. Снег рядом с ним сразу покраснел. Тайга, дёргавшаяся в лае с другой стороны, захрипела, опала на задние лапы. Потом вернулась, чтоб убежать. Кабан легко метнул тяжёлое тело к ней, лайка пронзительно завизжала, и Волков тут же увидел, как за кособоко ныряющей собакой потянулся кровавый след.

Всё это произошло в какие-то секунды. Волков едва успел переломить ружьё, вытащить гильзу из одного ствола, как секач снова повернулся к нему. Тёмно-бурая морда его была в крови, клыки, каждый длиннее патрона, бешено дробились друг о друга. Всё больше краснел истоптанный снег и вокруг кабана, но Волков вдруг понял, что ружьё зарядить не успеет. Их разделяло несколько шагов — и секунды прыжка. Этого не хватит даже для того, чтобы повернуть лыжи. Кабан захолил спину, нагнул морду. Не отводя глаз от зверя, Волков инстинктивно покосился влево и увидел, как Слепцов вскидывает ружьё. Учитель понял: это спасенье. Сдвинувшись с намеченного Адольфом места к большой ёлке, он сошёл со стрелковой линии, и теперь Павел, а также Карабанов, могли стрелять в кабана, не опасаясь попасть ни во Владимира, ни друг в друга. Однако, кинув взгляд вправо, он увидел, что доктор даже не поднимает своего ружья. “Что же ты! — мысленно вскричал Волков. — Помоги! Ты ведь можешь!”

После второго выстрела учителя Карабанов решил, что зверь остановлен. Но как только кабан расправился с собаками и приготовился к прыжку на Волкова, доктор сжался от страха. Владимир был обречён. Карабанов видел переломленное ружьё учителя и понял: тому не успеть перезарядить его. Сергей сделал рывок, чтобы вскинуть своё оружие — кабан смотрелся крупной, отчётливой мишенью, но в этот миг вспомнил вчерашний взгляд Волкова, когда тот сказал о баррикадах. Это был взгляд не того человека, который все последние годы обожал Сергея, чаще других признавая его правоту, и которого сам Карабанов любил, как брата. Вчера вместо доброго, порою нежного и покладистого товарища доктор увидел вдруг жёсткого и непримиримого противника, способного, как подумалось Сергею, стать опасным врагом его — карабановского — дела.

Доктор остановил начатое было движение рук и опустил ружьё ещё ниже. Но и со стороны Слепцова выстрела всё не было. Волков, не отводя глаз от кабана, снова скосил взгляд влево. К его потрясению, Павел тоже опустил стволы книзу. “Что ж они делают? — мелькнуло в мыслях. — Им ведь можно стрелять!”

Прежде чем Владимир увидел, он почувствовал движение кабана. Из бурой шерsti, как угли костра из опаленной травы, на него свирепо глядели красные глазки. У Волкова похолодела кожа под волосами и волосы стали какими-то чужими, словно замороженными в голову. Он быстро прижал руку к животу, закрываясь от удара, и задел нож, висящий на поясе. Выхватил его и коротко взмахнул рукой. Всё остальное произошло одновременно. Нож почти на всё лезвие вошёл в левый глаз кабана. Секач душераздирающе заверещал и бросился на охотника. Но дикая боль в момент броска заломила ему голову влево, и он, визжа, промчал возле ног человека. Тот успел ткнуть патрон в освободившийся ствол, вскинул ружьё, готовый нажать курок, едва кабан повернётся. Однако зверь пробежал немного. Он вдруг встал, качнулся и рухнул на правый бок. Не спуская глаз с кабана, Волков вдруг зачем-то тронул пальцами лицо, торопко обежал подбородок, усы. Пальцы дрожали, и во рту была пресная сухота. Оторвав, наконец, взгляд от тёмного бугра, Волков глянул в сторону Карабанова с электриком и тут же увидел, как через болото, правее Нестеренко, уходит стадо. Тот, наверное, услышал какой-то звук, повернулся и поднял ружьё. Но кабаны были далеко.

— Собаки! — крикнул Нестеренко. — Где собаки?

Учитель дрожливо усмехнулся: “Собаки... Отохотились наши собаки... Свободны теперь кабаны...”

— Гото-ов! — крикнул Слепцов Фетисову. Близко в лесу отозвался Адольф, где-то в стороне — Валерка. Они ещё не знали, что произошло с их собаками, и в гулких голосах слышалась явная радость от удачного завершения охоты.

“Готов”, — подумал Волков, трусясь теперь всем телом и от слабости в ногах оседая спиной по стволу. Но вдруг заметил это и зло ощерил крепкие зубы. “Мужик должен стоять до последнего, — вспомнил он слова старшины Губанова. — А настояшший мужик — дольше последнего”.

Владимир пружинисто повернулся к поверженному врагу. Возле секача, потирая ладошки, уже шлёпал лыжами Фетисов.

— Ну, чего тут у вас произошло? — спросил немного запыхавшийся Нестеренко. Со своего места он видел какую-то часть картины. Когда бежал к собравшимся возле туши охотникам, задержался на “номере” Карабанова. Опытным глазом “прострелил” всю ситуацию.

— Ого-го, — покачал головой, глядя на торчащий из зверя нож. — Сурово...

— Кто-то из нас двоих должен был... Получилось, что он, — проговорил Волков.

— За жизнь, старик, надо драться насмерть. А ты почему не стрелял, Сергей?

— Засомневался.

— В чём?

— Ну, мало ли... Там Володя близко стоял.

А сам отвёл глаза, стараясь не встречаться взглядом с Волковым.

— Врёшь, Карабас. У тебя была прекрасная возможность.

— Такая же, как у Слепцова, — опустошённо заметил учитель. — Ты-то почему, Паша, не стрелял? Тебе-то зачем, чтоб меня кабан разделал?

Даже если бы Павла начали пытаться, он вряд ли смог бы сейчас внятно объяснить, почему опустил поднятое для выстрела ружьё. В те мгновенья в сознании пронеслись какие-то разрозненные, вроде случайные, но почему-то определённого окраса видения. Улыбающийся, счастливый Владимир и прильнувшая к нему на кухне Наталья, когда Слепцов рассказывал товарищу про оборонный комплекс. Она не всё время была с ними — то и дело уходила к дочери в другую комнату, но каждый раз, возвращаясь на кухню, чтобы налить мужчинам кофе, подложить Павлу печенья, с какими-то словами обяза-

тельно старалась или дотронуться до красивых волнистых волос мужа, или погладить его сильное плечо. И тут же в мыслях вставало лицо бывшей жены — брезгливо перекошенное, с ненавидящими зелёными глазами. Потом сын... Мать уводит его за руку к стоящему такси... Сын оборачивается, смотрит непонимающим взглядом на отца, и в глазах его — детская мука.

— Ему сова на ружьё села, — с насмешкой сказал Нестеренко, который не поверил, что Слепцов имел возможность защитить товарища и не сделал этого. “Наверно, Франк стоял на линии выстрела”, — подумал он. А влух строго произнёс:

— Накаркал ты со своей совой. Чуть было не вышло по твоим приметам.

В этот момент раздался вопль Адольфа. Выйдя из леса, он увидел растерзанного Пирата. А следом заорал Валерка. Тайга была жива. Она лежала вблизи корней вывороченного дерева и зализывала рану на ноге.

После шумных возмущений Адольфа — гибель собаки оказалась для него вроде смерти близкого человека, и причитаний Валерки — его Тайгу Карбанов хорошо перевязал бинтом, который всегда носил с собой, добыча никого не радовала. Пока Николай и Фетисов снимали с кабана шкуру, разделяли тушу на крупные куски, Валерка сходил на лыжах в деревню за трактором, на котором позавчера привёз охотников.

На этом же тракторе, в тележке, он повёз городских к их машинам. Говорить никому ни о чём не хотелось. Перед тем они под руководством Адольфа выкопали в мёрзлой земле могилку для Пирата. Кто был не за рулём — Фетисов и Нестеренко — выпили с егерем и его помощниками.

— Какой работяга был! — не замечая горечи водки, пробормотал Адольф. — По человеческим годам — лет тридцать пять. Самый возраст мужика... Никого не боялся.

— Прости, Адольф. Моя вина. Не взял двумя пулями.

— Его из пушки надо было. Не вини себя, Володя. У-уй, какой надёжник был!

Волков снял с ремня ножны с ножом.

— Возьми. На память.

— Не надо. Я и так не забуду. Сделаю из башки кабана чучелу. А ты оставь. Сезон кончился, но не жисть.

Он хмуро глянул на Слепцова.

— Будем считать, эт самое плохое из предсказаний его совы.

— Да ну его на хрен, с его совой, — положил руку на плечо егерю Нестеренко. Он почему-то вдруг подумал, что обвинение Волковым Слепцова, скорее всего, справедливо. Только непонятно, что случилось с Пашкой? Почему он не стрелял?

— Я тебе достану щенка. От сибирской лайки. Мы ж ещё увидимся?

— Там глянём. Война план покажет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Наталья Волкова — тридцатичетырёхлетняя, уверенная в себе женщина, с классической фигурой (рост чуть выше среднего, бёдра шире плеч, груди заметного размера, что вызывало зависть у некоторых тощих её коллег), с лицом, слегка тронутым макияжем, и светло-каштановой причёской, заколотой сзади, отчего открывалась изящная шея, вышла из кабинета главного редактора озадаченная. Она не сразу поняла, что он от неё хочет. Главный сам выбрал избирательный участок, откуда Волкова должна была написать репортаж о голосовании в ходе референдума. Немногими словами Наталья показала атмосферу происходящего на участке, сумела разговорить с десяток человек после их выхода из кабинок — её цепкость не раз выручала редакцию, выбрала из нескольких почти одинаковых мнений самые интересные и при этом уложила в строгие рамки заданного размера, что особенно тре-

бывал соблюдать главный редактор. И вот теперь он сказал, отбросив в сторону прочитанный материал, что это не то, чего от неё ждали.

— Нет реальных людей. Борис Николаич призвал голосовать против сохранения Союза. А у тебя все “за”. Мы же знаем: многие обещали поддержать призыв Ельцина. Где они? Мы должны показать их.

— Может, где-то они голосовали “против”, Грегор Викторович. Вполне возможно, и на этом участке. Но мне надо было тогда опросить всех. Полторы тысячи.

— Зачем? Ты што — маленькая девочка? Не знаешь, как это делается, и не понимаешь, чево от нас ждут? Активная часть общества не хотела референдума. Консерваторы настояли на нём. Пусть они узнают мнение людей. Не из их “Правды” и “Советской России”, а из демократических изданий. Ты не смогла встретиться с противниками Союза. Не спорь, не смогла. Но они там должны быть, и их надо показать. Просто имена. Можно без фамилий... Даже лучше без фамилий. Это будет обобщённый народ.

Наталья вошла в комнату, на дверях которой была прикреплена табличка: “специальные корреспонденты”. Таких кабинетов в редакции было два, и нигде рядом с табличкой не значились фамилии спецкоров. В отличие от других комнат, двери которых украшали и должности сотрудников, и их фамилии. Специальные корреспонденты возводились в это звание и выбрасывались из него порой после одной-двух публикаций. Решение принимал быстрый на оценки главный редактор, и приговор обжалованию не подлежал. Низвергнутый сотрудник переселялся вместе со своими блокнотами, магнитофоном и прочим скудным скарбом в большую общую комнату, где сидели, в зависимости от настроений главного редактора и его оценок работы, пять—семь человек.

Волкова, по сравнению с другими, надолго задержалась в кабинете с безымянной табличкой. Дольше неё в этом звании пребывала только Вероника Альбан — соседка Натальи по комнате. В редакции пугливо шептались о причине благосклонности главного редактора к этой тридцатилетней незамужней женщине. Любовная связь отбрасывалась абсолютно. Высокий, подтянутый, хотя и стареющий, но всё ещё молодящийся Грегор Викторович Янкин был избалован женскими увлечённостями. А пожив до начала перестройки несколько лет в Праге, где работал в международном (но финансируемом Советским Союзом) журнале социалистической тематики, он узнал, к тому же, утончённость европейской любовности.

Причина благосклонности была в ином. Вероника Альбан — фигурой мужеподобная женщина, с широкими, костистыми плечами, с большими и в любое время года красными кистями длинных рук, имела не только приятное, можно даже сказать — красивое лицо и буйные, от природы выющиеся волосы, но и хватку пантеры. Она решила женить на себе давнего друга Грегора Викторовича, трижды разведённого, талантливого, пятидесятилетнего обозревателя одной из центральных газет. Дело тянулось долго, кандидат в мужья время от времени выскальзывал из цепких объятий Вероники, однако при этом не переставал писать за неё статьи и просить друга о благосклонности.

Сейчас у Альбан с жертвой был период “мира в саванне”, когда охотница сыта, а обречённое парнокопытное полагает, что дремлющая на солнце пантера это всего лишь добрая киска.

— Ну, чего Грегор от тебя хочет? — спросила она, увидев сосредоточенное лицо вошедшей соседки. — Не проникла в его великие замыслы?

— Не нашла противников сохранения Союза.

Наталья неохотно полезла в сумку за диктофоном.

— А может, их там действительно нет? — с сомнением проговорила она.

— Значит, надо придумать. Помнишь известное выражение: цель оправдывает средства?

— Да, конечно. Девиз иезуитов.

— Нам с тобой наплевать, чей это девиз. Главное — он сегодня актуален. Если нет противников Союза, мы должны их придумать. Показать другим — вот: смотрите! Вы колеблетесь, боитесь сказать своё решительное сло-

во... А такие люди уже есть. Подтягивайтесь к ним. Как там изрекал любимый автор нашего Грегора?... Ульянов — Ленин... Газета — коллективный организатор? Вот мы и должны организовать. У “совка” особая психология. Верить тому, что написано в газете. Тем более, если критикуется власть.

— Я тебе говорила, Вероника. Не переносу этого слова: “совок”. Мерзкое оно. Грязное. Меня лично оскорбляет.

— Забыла, забыла, — усмехнулась Альбан. — Но о цели помню. Сейчас информация становится самым сильным оружием. Мы можем одним сообщением взорвать дремотную обстановку... заставить власть трястись от злости... Пока от злости... Потом — от страха. Но для этого надо белое представить чёрным... И не комплексовать. Я сдала Грегору свой репортаж. В нём только один человек проголосовал за сохранение Союза. Остальные — я придумала пять человек...они у меня — “против”. Один — мне самой понравилось — так хорошо говорит: “Пусть разваливается империя. Мы на её обломках выстроим процветающую Россию”.

— Это твои мысли?

— Не только. Это идеи Грегора... А у него, думаю, от других...

— Зачем это нужно? Газета всё равно выйдет после референдума. Результаты будут известны без нашего влияния.

Вероника Альбан иногда представлялась, как Ника. Некоторые думали — сокращает имя для удобства. Но Волкова догадалась: соседка любит его больше, чем паспортное. Это было имя древнегреческой богини Победы, и по-мужски сложенная женщина видела в нём перст судьбы. Стараясь следовать предначертанию, Альбан приучила себя говорить громко, с командными интонациями даже там, где требовалось что-то нежно прошептать. При этом последнее слово старалась всегда оставить за собой.

— Во-первых, ты знаешь, мы боремся против референдума с момента решения о нём Съезда народных депутатов СССР. Призыв Ельцина читала? Читала. Союз не нужен. Это — концлагерь народов. Бесконечный Гулаг. И больше всего Советский Союз не нужен России. Русским! Они пострадали от этой политической системы сильнее всех. О чём мы не перестаём говорить и писать. А, во-вторых, чем больше мы покажем противников сохранения Союза, тем больше оснований поставить под сомнение результаты референдума. Партократам надо будет оправдываться. А это ещё один... и о-чень хороший повод не верить власти.

— Чем же тебе так нагадила страна, где ты выросла? — не сдержав раздражения, спросила Наталья. — Я, наоборот, проголосовала за Союз. Империей можно назвать что угодно. Даже Соединённые Штаты. Одного только не понимаю: как нам государство даёт деньги... Даёт, чтобы мы это государство разрушали.

— Поглядела бы я, как ты пожила б на их деньги, — тряхнула чёрной красивой гривой Альбан. — Как бы купила новую машину. Одевала себя... Дочку... Мужа. К счастью, мир не без добрых людей. Нас выписывают не только в Союзе. За границей тоже хотят знать, что здесь происходит. Оттуда идёт информация и... очень большие деньги.

— Значит, мы на чужие деньги роём могилу нашей стране?

— Мы утверждаем гласность! Создаём демократию. Хотим ликвидировать тоталитарный режим. Для этого можно использовать все средства. Думаешь, целые поезда с шахтёрами едут в Москву на деньги этих чумазых шахтёров? А живут они здесь в гостиницах... стучат касками по асфальту — на свои сберкнижки? Они бы с места не тронулись! Им говорят, что надо делать. Дают деньги. Нам помогают построить новое государство. И не важно, чьи это деньги.

Она внимательно поглядела на коллегу.

— Или ты считаешь по-другому?

— Представь себе, по-другому.

Наталья, как все остальные, знала об особых отношениях Альбан с главным редактором. Подозревала, что Вероника информирует друга своей жертвы о разговорах в редакции. Однако её благосклонности, подобно некоторым, не искала. По мелочам умела промолчать, могла ловко, когда считала

нужным, уйти от провокационной темы, но, если речь заходила о чём-то принципиальном, не слишком оглядывалась по сторонам. Так происходило уже не раз. Особенно во время тбилисских событий и карабахского конфликта. Дважды Грегор Викторович хотел не только перевести Волкову из специальных корреспондентов, но и выгнать из редакции — его демократические принципы руководства отвергали “излишне гуманные” советские законы о труде. Но что-то всякий раз удерживало Главного. Лишь позднее, как человек проникательный, он понял: останавливало ощущение полной безобязанности с той стороны. За годы руководства разными коллективами он привык к несопротивляемости человеческого материала, к слегка прикрытой, а чаще открытой прогнутости. С имеющими власть и сам был таким же. Поэтому, властью располагая, с людьми не церемонился. Причём даже больше, чем это проявлялось по отношению к нему.

А тут была какая-то нетронутая, прямо-таки наивная безобязанность. Словно у туземца, впервые увидевшего направленную на него винтовку и не подозревающего, что из этой красивой палки может грянуть опасность.

Потом Грегор Викторович с удивлением ощутил и другие импульсы в своём отношении к Волковой. Не понимая почему, он вдруг стал обращать внимание на её фигуру, когда Наталья выходила из кабинета или случайно попадалась на глаза в коридоре редакции. Невольно отводил взгляд, встретившись с её взглядом. Прожжённый циник, ловкий умница и пресытившийся донжуан он даже разозлился на себя однажды, заметив в себе такие перемены. Поразмыслив над происходящим, Грегор Викторович успокоил свои смятения. “Разок возьму, а там сама будет проситься”.

Тем не менее, со взятием не получалось. После одного наиболее фривольного словесного приступа — с расспросами о муже, с намёками на свободную любовь, с откровенным приглашением в примыкающую к кабинету “комнату отдыха” и вроде случайную попытку обнять, он вдруг увидел в её вежливо улыбающихся глазах такую брезгливость, что не смог даже достойно выйти из этой ситуации. Только пробормотал: “Иди, иди”, и обмякше пал в своё кресло. Его чуть не задушила злость на эту паскудную бабу. “Выгною!” — решил в тот же вечер.

До самого позднего сна, а засыпал он в последнее время долго и трудно, Грегор Викторович видел в мыслях картины, как он расправится с Волковой. Объявит на заседании редколлегии, что уволил её. Нет, надо не при всех. Надо ей одной это объявить. В своём же кабинете. Увидеть, наконец, испуг на красивом лице, а в тех самых жёлто-карих глазах, где плеснулась брезгливость, готовность сделать всё, чтобы загладить нанесённую обиду.

Однако утром Главный понял: если Наталью уволит, та не пропадёт. Зато он лишится возможности отомстить ей после приручения.

* * *

Но Волкова сама уже не раз подходила к мысли — уйти из этой редакции. Когда-то она очень хотела попасть сюда. Писала в газету, работая на телевидении. Ещё активней стала сотрудничать, оказавшись на короткое время в профсоюзном журнале.

Это было начало крутых перемен. Назначение главным редактором Грегора Викторовича Янкина, в прошлом немного скандального, потом основательно подзабытого журналиста, специализирующегося в последние годы на толковании ленинских работ, быстро изменило тусклую, заурядную газету. Одни считали это заслугой только Грегора Викторовича. Другие, отдавая должное бульдожьей хватке “верного ленинца”, его способности выжать из человека всё необходимое для редакции, а главным образом, для себя лично, со снисходительной улыбкой называли иную причину — стечение обстоятельств. Просто Грегор Викторович оказался со своими способностями на нужном месте в нужное время. Для верности этого тезиса советовали оглянуться хотя бы на его недавнюю биографию. Вытащенный перестройкой из забвения, он продолжал с воспалённым энтузиазмом перетолковывать на

страницах большой центральной газеты известные строки ленинских работ, доказывая историческую несокрушимость социализма и гениальную проницательность своего кумира. Особой признательности читателей не получил. Если не считать награды Института марксизма-ленинизма в виде отлитого из силумина настольного бюстика вождя мирового пролетариата.

Некоторое время этот бюстик стоял на столе Грегора Викторовича рядом с телефоном АТС-2, так называемой “второй вертушкой”. Была ещё одна АТС правительственной связи — “первая вертушка”, но к ней имел доступ совсем ограниченный круг лиц. Впрочем, и “вторая” ставилась избранным. Среди аккуратных условий, сдержанно оглашённых кандидатом в главные редакторы, была просьба поставить телефон АТС-2.

На почётном месте бюст Ленина простоял недолго. Сначала Грегор Викторович передвинул его в дальний угол стола — за баррикады из бумаг. Затем спрятал в верхний ящик. А однажды Наталья Волкова, отставивая свой материал о виновниках карабахского конфликта, вдруг увидела, как Главный вынул бюст из стола и начал разбивать им грецкие орехи. При этом, между рассуждениями о гласности и демократии, пояснил ей, что нижней частью бить нельзя — отколется. Надо головой. “Самая крепкая часть у вождя — голова”.

К тому времени Грегор Викторович Янкин окончательно избавился от своих “заблуждений”. Перестройка трясла и качала страну, как состав, несущийся неизвестно куда по разбираемым впереди путям. Решив, что в огромном государстве с сильным инерционным сопротивлением крутые реформы можно провести одним махом, Горбачёв отказался от той этапности преобразований, к которой подходил Андропов и какую уже не первый год осуществлял в Китае Дэн Сяопин. Результатом стало быстрое разрушение финансовой системы, экономики, стремительно растущий дефицит самых необходимых товаров, социальное напряжение в обществе.

Видя, что за три с лишним года перестройки жизнь в стране не улучшается, а, наоборот, становится хуже, Горбачёв стал искать виновников и причины. Виноватыми объявил “ретроградов”, тормозящих перестройку, а причинами назвал недостаток демократии, гласности и задержку политических реформ.

Это заявление с радостью поддержал Александр Яковлев. Ближайший соратник генсека, он для одних был главный идеолог перестройки, для других — её “серый кардинал”.

Спустя некоторое время его назовут иначе: советский Иуда. Но до той поры Александр Николаевич, по сути, второе лицо эпохи перемен. План кардинальных реформ в стране он предложил Горбачёву ещё в 1985 году — сразу после “коронации” нового Генерального секретаря. Тогда Горбачёв сообразил: “Рано пока”. Однако поставил Яковлева на очень важную должность: заведовать отделом пропаганды ЦК Компартии. Через несколько месяцев повысил до секретаря Центрального Комитета. Вместе с другим секретарём ЦК — Егором Лигачёвым — поручил отвечать за идеологию, информацию и культуру. “Две руки” генсека недолго трудились согласованно. “Правая” — Лигачёв — сначала втянул Горбачёва в антиалкогольную кампанию. Потом стал раздражать всё более критическим отношением к ходу перестройки, её информационным обеспечением. В то время как другая “рука” набирала силу и влияние, манипулируя выходящей на передний план гласностью.

Первое время гласность воспринималась обществом, как очередная кампания критики отдельных недостатков в отдельных звеньях Системы. Это было привычно и понятно. Даже когда началось сдержанное осуждение предыдущего времени застоя, народ не особенно взволновался. Такое тоже было. Хрущёв критиковал Сталина. Брежнев — Хрущёва. Теперь настала пора пожуричь “Бровеносца в потёмках”, как в последние годы жизни острословы называли Брежнева.

Однако вскоре картина стала круто меняться. Известно, что народ без истории — стадо. А народ, чья история — жизнь убийц, ублюдков и рабов — стадо злобное и опасное. Средства массовой информации, ещё недавно отстаивающие толерантность, интернационализм, уважение к прошлому страны

и отдельным её этапам, вдруг резко поменяли полярность. Даже далёкие от пропаганды люди не могли не заметить, что произошло нечто необычное. В прежней, досоветской истории государства, все известные личности — цари, полководцы, деятели духовности и прогресса — внезапно обрели такие черты нравственного и человеческого разложения, что народу, главным образом, русскому, надо было не гордиться своим прошлым, а стыдиться его. Это и стало откровенно предлагаться со страниц печатных СМИ и телеэкранов.

Но ещё более зловещим начали представлять средства массовой информации весь советский период. Сначала главным врагом был объявлен Сталин. Дескать, он искажал идеи Ленина о настоящем социализме. Его поочерёдно громил сперва хрущёвской “оттепелью”, потом нэпом, затем Бухариным, которого показывали фигурой, равной Ленину, и, разумеется, борцом со Сталиным.

Когда экономический, идейный и управленческий демонтаж распатал страну до треска её несущих конструкций, прикрытия были отброшены. Теперь главным врагом всех народов Советского Союза “демократическая общественность” объявила существующий государственный строй. И уже не скрывая целей, в открытую заговорила о необходимости “разрушить советскую империю”.

Наталья Волковой с каждым месяцем работать становилось трудней. Приезжая домой, она рассказывала Владимиру про свои споры на “летучках”, всё более частые разногласия с ответственным секретарём и главным редактором. Муж стал заметно политизированным, ругал, почти словами Нестеренко, демократов, предлагал бросить эту газету. Чтобы успокоить его, Наталья соглашалась. Но сама понимала, что выбор у неё небольшой. Средства массовой информации, имевшие всего несколько лет назад одинаковый политический окрас, теперь чётко разделились по своим идейным и целевым пристрастиям. Это определяло людской интерес к ним, уровень их популярности. В большинстве газет и журналов коммунистической ориентации, несмотря на резко изменившуюся обстановку, царила прежняя мундирная застёгнутость на все пуговицы, преснота языка и манеры изложения, какая-то, по едкой оценке Владимира, “стреноженность хромой лошади”.

Под стать своей прессе было и большинство партийных функционеров. Слушая их, Наталья чувствовала тревогу. Эти люди, похоже, не знали, как бороться и за что именно. Они не наступали, а оборонялись. Всё, что могли предложить — был горбачёвский “социализм с человеческим лицом”. Однако ставший к этому времени сомнительным лозунг дискредитированного политика, с огромным напором, умело и беспощадно рвали в клочья средства массовой информации другой политической стороны. Той, где оказалась сама Волкова, и агрессивная отвязность которой становилась явно угрожающей.

Как могло произойти, думала Наталья, что за короткий срок в стране появилась совершенно иная, чем прежде, журналистика? Откуда взялись все эти люди, которых вчера никто не знал, а сегодня их фамилии известны миллионам? Не завезли ведь из других стран? И не вырастили ускоренно в специальных школах?

Не завезли, мысленно отвечала она себе, зная многих журналистов лично. Так же, как сама Наталья, они и раньше работали в тех же газетах и журналах, на том самом телевидении и радио, откуда разносятся их слова сегодня. Тогда чем объяснить такую метаморфозу? Размышляя над этим, Волкова приходила к однозначному ответу. Провозгласив гласность, как оружие перестройки, Горбачёв снова не просчитал возможных последствий.

Глава вторая

Сам термин “гласность” был придуман совсем не Горбачёвым и даже не Яковлевым. Он появился в России ещё при Александре Втором и относился больше к государственному управлению. К прессе получил отношение перед Октябрьским переворотом 1917 года. После чего кричавшие громче всех о свободе слова большевики немедленно уничтожили многоголосие, и на про-

тяжении десятилетий тысячи “рупоров” говорили одним голосом. Поэтому появившаяся возможность критиковать недостатки на работе, проблемы повседневной жизни и даже действия властей была встречена огромным большинством людей как освежающий дождь в душный день.

Особенно послабление диктата обрадовало журналистов. Абсолютное большинство их не были ни диссидентами, ни тем более яркими антисоветчиками. Понимая своё призвание, как борьбу за улучшение жизни в стране, защиту несправедливо обиженных, критику бюрократии и партийной косности, они постоянно наталкивались на противодействие и запреты говорить даже не в полный, а хотя бы вполовину голоса. Причём запреты эти, порой абсурдные, исходили не только от каких-то далёких, неведомых цензоров. Незадолго до смерти Брежнева на телевидение, где работала Наталья Волкова, прислали нового главного редактора. Приятный лицом, со вкусом одетый сорокалетний мужчина пришёл из отдела пропаганды горкома партии. Первое, что запретил употреблять в передачах, было слово: “по-прежнему”. Особенно — в сочетании с какими-либо недостатками. Стали допытываться: почему? Объяснил: можем бросить тень на Леонида Ильича. Скажет участник передачи: “по-прежнему плохо работает баня номер два”, а у народа — ассоциация с фамилией Генерального секретаря.

Страдая и раздражаясь от всевозможных запретов, которые создавали “зоны вне критики”, а по сути усиливали недоверие к официальной пропаганде даже, когда она говорила правду, журналисты, как никто другой, встретили новое явление с энтузиазмом. И настолько поверили в это лекарство оздоровления, что иногда слово “гласность” стали писать с большой буквы.

— Мы с вами, Наталья, вроде Диогенов, — сказал как-то Волковой журналист из большой центральной газеты Виктор Савельев, с которым она постоянно встречалась на разных мероприятиях. — Только тот днём ходил с фонарём... Искал хорошего человека... А мы в сумерках... перед рассветом... Несём каждый по баночке с керосином. Потом туда вставят фитилёк... Зажгут... Я даже вижу эти тысячи людей с огоньками в руках... Идут цепочкой... друг за другом. Разные. Но больше всего нас — журналисты. Каждый несёт свою баночку, чтобы осветить дорожку к новой жизни.

Если б об этом сказал кто другой, Наталья сочла слова слишком выпендренными. Но Виктора она знала, по нынешним спрессованным временам, очень давно. Сначала только читала его статьи в популярной газете, где Савельев работал. Потом познакомились на заседании какого-то “общества трезвости” — тогда только начинала разворачиваться антиалкогольная кампания. Позднее встречались на других мероприятиях. Несколько раз оба участвовали в передаче Центрального телевидения “Прожектор перестройки”, куда их приглашали, как известных журналистов.

Савельев был из тех, кто искренне хотел обновления страны и кто страстно поверил в это с приходом Горбачёва. Его, как многих журналистов, не устраивала политическая фальшь общественного устройства, цензурный пресс, заставляющий замалчивать широко известные в народе негативные процессы, одним из которых стало перерождение партийной номенклатуры, особенно в кавказских и среднеазиатских республиках. Разве это выборы? — думал он, когда писал репортажи о выдвижении единственного кандидата и о голосовании за него одного. Почему люди сами не могут назвать тех, кому доверяют, и не выбрать из нескольких лучшего?

А то, что стало открываться во властной среде некоторых национальных республик, было не менее жутко, чем преступления мафии в многосерийном итальянском фильме “Спрут”, показанном на советском телевидении в 1986 году. Это Савельев сам узнал, начав, как журналист, расследование теневой, преступной жизни национал-партократов в Южном Казахстане. При обыске у одного из первых секретарей райкома партии нашли в трёхлитровых банках полтора миллиона рублей, сто килограммов конфет и несколько ящиков чая, который к тому времени уже сгнил от долгого хранения.

В другой области на юге Казахстана, первый секретарь обкома партии — Герой Социалистического Труда, кавалер пяти орденов Ленина, прославленный в фильмах и брошюрах, по оперативным данным, получил взятку почти на два миллиона рублей.

Этот секретарь обкома был вершиной местной пирамиды. Своего рода преступным “авторитетом”, под крылом которого криминал захватил все важные отрасли.

Особенно бурно разрослось беззаконие в сфере высшего образования. Ректор местного института, почти не скрываясь, брал взятки за поступление в вуз людей определённой категории. Это была молодёжь из одного с ним жуза — так называются у казахов крупные объединения родов. Всего их три — Старший жуз, охватывающий территорию как раз Южного Казахстана, Средний и Младший. Ректор принимал в студенты молодых людей, не способных, как потом выяснилось, подтвердить свои знания даже за восьмой-девятый классы.

Тем не менее, они становились студентами, с помощью взяток “переходили” с курса на курс, а “закончив” таким способом институт, занимали руководящие должности и выгодные места, оттесняя людей, не принадлежащих к клану.

Статья Савельева об опасном для многонационального государства явлении, которому он дал имя “национал-протекционизм”, вызвала множество писем и звонков. Люди подтверждали, что и в других республиках происходит нечто подобное. Поэтому для Виктора было естественным, что в начале перестройки он оказался энергичным сторонником горбачёвских реформ.

Но он же потом, первым в редакции, публично заявил о необходимости критического взгляда на действия Горбачёва после трёх лет его преобразований. Съездив незадолго перед тем с одним из руководителей редакции в командировку в Китай, Виктор был поражён темпами нарастающих там перемен. О том, какой нищей и разорённой была страна при маоистах, до прихода к руководству Дэн Сяопина, он много читал не только в открытой советской прессе, но и в изданиях ТАСС для “ограниченного круга”. Теперь увидел гигантскую стройку и немало такого, чему мог позавидовать Советский Союз. Новые широкие автострады — пока ещё полупустые, но готовые к росту автомобилизации. Высотные здания, как в западных городах. Японские телевизоры китайского производства. Строящиеся автомобильные заводы. Магазины, полные китайских продуктов и с большинством промышленных товаров своего производства. “Социализм с китайской спецификой” быстро поднимал огромную отстающую страну, если ещё не на экономические вершины, то уже на явно различимые холмы благополучия.

А горбачёвская перестройка делала наоборот. И потому, выступая на еженедельной редакционной “летучке”, Савельев сказал:

— Сегодня мы видим: пока наш лидер вроде бы не плох. Но это не значит, што всё, што он делает сейчас, а тем более станет делать в будущем, абсолютно хорошо. И если мы не будем бороться за то, штобы говорить критические слова лидеру партии, может оказаться, што кто-нибудь из сидящих здесь доживёт до того дня, когда снова надо будет критиковать ушедшего в мир иной, но допустившего очередную порцию ошибок. Штобы человек не сбивался с пути (а любой лидер — тоже человек), надо постоянно зажигать “фонари критической остратки”. А уж про критику правительства и говорить не стоит! Она нужна и обществу, и правительству.

Савельев знал: в редакции не он один думает так же. Но тон в большом коллективе задавали осторожные. Раньше они были осторожны относительно Брежнева. Хвалили написанные за него книги, старались не отстать от “первой” центральной газеты в публикации снимков с очередным награждением престарелого генсека, не вставали, а вскакивали на редакционных партсобраниях, когда предлагалось “избрать почётный президиум в составе Политбюро во главе с товарищем Леонидом Ильичом Брежневым”. Савельева особенно удивляла нелепая конструкция фразы: “с товарищем Леонидом Ильичом”.

Теперь они держали нос по новому ветру, не позволяя усомниться в правильности действий Горбачёва. И самым изощрённым обладателем “политического обоняния” был один из четырёх заместителей главного редактора сорокадвухлетний Никита Бандарух.

— Мне кажется, это легкомысленный призыв: давайте критиковать Горбачёва и прочих руководителей, — сказал он осуждающим тоном. — Давайте сражаться за дело — тем самым мы будем противостоять людям, которые делу мешают.

— Интересно, как можно противостоять кому-то, не называя его? — спросил, не вставая с места Савельев. — Опять безликие виноваты?

Заместитель главного даже не посмотрел в его сторону. Продолжал для всех:

— И потом — будем реалистами: во-первых, мы ещё не достигли такой степени гласности, когда такое можно, а, во-вторых, в нынешней ситуации наскоками на лидеров мы не поможем, а помешаем перестройке.

Никита Семёнович Бандарух был родом из маленького городка на самом западе Западной Украины. О его прежних работах знали немного. Называли разные газеты. Известно, что какое-то время был корреспондентом в небольшой, но важной европейской стране. Говорил он негромко, вкрадчиво. Улыбался, не раскрывая рта — только растягивал сжатые губы. При этом глаза — чёрные, с маленькими ресницами на веках, оставались настороженными, словно человек боялся что-то выдать. Товарищ Савельева по бане и биллиарду, сам недавно возглавлявший ту газету, откуда пришёл Бандарух, однажды в большом подпитии рассказал Виктору, что лично подписывал своё согласие Комитету госбезопасности СССР об открытии корпункта в маленькой, но важной стране, для возможного прибытия туда их человека в качестве корреспондента газеты.

Стал ли этим человеком Бандарух или кто другой, Савельеву было безразлично. Разведки всех стран мира использовали “крышу” журналистики для своих сотрудников. Виктор сам был знаком с некоторыми зарубежными корреспондентами их газеты, про которых знал, что эти обаятельные, коммуникабельные парни, способные встретить и угостить, интересно показать спецкору из Москвы страну пребывания, чаще пишут в “контору глубокого бурения”, чем в редакцию.

В Бандарухе Савельева раздражали два качества — открытая неприязнь к каждой статье, где говорилось о проблемах русских, и флюгерное мастерство в точности показывать направление властного ветра. На той “летучке”, где выступил Савельев, обозреватель вышедших номеров газеты критиковал материал, автор которого назвал тревожный факт, но не стал его анализировать.

— В корреспонденции приведена интересная статистика. В Советском Союзе увеличивается выпуск стиральных машин. Мы производим их больше, чем США. А в продаже их нет. Я, как потребитель, прочитав этот материал, вправе спросить: кто врёт? Статистика или газета? А если не врут, то где стиральные машины? Их оставляют на заводе? Вывозят за границу?

Обозреватель взял со стола, где были разложены газеты, какой-то лист бумаги.

— Вот пишет в редакцию сталевар с “Уралмаша”. Удивляется, што происходит в торговле. “Три года назад телевизорами были заставлены полки магазинов. Сейчас их нет. Тогда, может, надо ввести талоны на них”, — предлагает читатель.

— Мало ли што могут предложить нам читатели, — аккуратно заявил Бандарух. Он вёл “летучку”, как заместитель главного редактора, и комментировал каждое выступление.

— Давайте дождёмся 19-й партконференции. Там Михаил Сергеевич скажет, што нам делать. Это будет, я уверен, новая серьёзная программа нашей партии. Выверенная. Обдуманная. Её тогда и надо будет поддержать письмами читателей.

* * *

В Советском Союзе все государственные решения стратегического характера начинали исполняться только после обсуждения и одобрения их единственной правящей партией, руководящая роль которой была отражена даже

в Конституции страны. Самые главные документы принимались на съездах КПСС. Между съездами тоже могли быть приняты масштабные решения. Их “узаконивал” на своих пленумах Центральный комитет. Он считался расширенным рабочим органом партии и собирался по необходимости, в отличие от постоянно действующих Секретариата и Политбюро.

В Уставе была также предусмотрена возможность созывать Всесоюзные партийные конференции — нечто вроде уменьшенного съезда, но этим с 1941 года ни разу не пользовались.

Через три года после начала перестройки многие почувствовали: ситуация в стране даже по сравнению с предыдущим временем стала хуже. Видел это и Горбачёв. Сопротивление нарастало. И хотя он сменил уже три четверти первых секретарей областных и республиканских комитетов партии, вновь приходящие, в большинстве своём, уже не так восторженно слушали генсека и глядели на него. Горбачёв понял: то, о чём ему сначала осторожно, потом всё настойчивей говорил Яковлев, пора начинать делать.

— Демократизация политической системы, — в очередной раз негромко внушал Яковлев, заглядывая сбоку в лицо генсека, — придаст новый импульс перестройке.

Они шли по коридору в кабинет Горбачёва, и Яковлев, стараясь не отставать от быстро идущего руководителя, хромал сильнее обычного. Он презирал этого импульсивного, много говорящего, но нерешительного человека. Иногда Александру Николаевичу казалось, что Горбачёв вот-вот “сорвётся с катушек”, как говорили у него на родине — в Ярославской области, где он начинал свою партийную карьеру, и повернёт к “правым”. К этому мастодонту Лигачёву, мрачным военным, к вежливому, но коварному председателю КГБ Крючкову. О последнем — Яковлев не мог думать без внутренней дрожи. Так и виделся ему в сухой улыбке Крючкова какой-то вопрос, который тот не может пока задать из-за субординации.

— Вы уже много сделали, Михаил Сергееч, — продолжал “серый кардинал” и, увидев, что на лице Горбачёва появилась довольная улыбка, тоже улыбнулся своим мыслям. — Место в истории вам заготовлено... Его никто никогда не займёт. Реформа этой... нашей политической системы давно созрела — вы сами не раз говорили об этом.

— Съезд надо ждать. Без съезда такие решения невозможны. А он не скоро.

— Зачем съезд, Михаил Сергееч? Устав разрешает быстро собрать конференцию. Со времени Сталина их не проводили. Брежнев однажды хотел, но почему-то передумал. А вы и здесь будете новатором.

19-я партконференция начала работать в последних числах июня 1988 года. Грегор Викторович Янкин тоже был делегатом. Но не от Москвы. Он знал: если ото всех живущих здесь партийных функционеров и правительственных чиновников, народных артистов и писателей, главных редакторов центральных СМИ и академиков избирать нужное количество делегатов, получится сильный столичный “перекос”. Поэтому многих москвичей вкрапляли в делегации из других мест.

Грегор Викторович стал делегатом от одной из областей Узбекистана. Он не очень хотел, чтобы его фамилия связывалась с этой среднеазиатской республикой. Там следователи Генпрокуратуры раскручивали “хлопковое дело” с масштабными приписками и взятками. Нити вели к руководителям республики.

Янкин был уверен, что его не только тут могли бы назвать своим делегатом на конференцию. Займешь короткие отношения с главным редактором самой скандальной и популярной газеты, тем самым в какой-то мере обезопасив себя, захотели бы руководители многих областей. Однако в Аппарате ЦК решили, что полезней “повязать” его именно с Узбекистаном.

О чём будет доклад Горбачёва, Грегор Викторович знал. Накануне конференции ему подробно рассказывал Яковлев, какую трансформацию политической системы они наметили с Генеральным секретарём. При этом Александр Николаевич всячески давал понять, что все идеи принадлежат Горбачёву, а он только с ними согласен. Однако Янкин поверил бы в это три

года назад, когда впервые увидел Яковлева не по телевизору, а прямо перед собой — в его кабинете. Тогда новый куратор советской пропаганды предложил ему стать главным редактором тусклой газеты, на страницах которой, как он сказал, “дохли мухи от скуки”. Теперь Грегор Викторович был вхож во многие кабинеты, в том числе самые высокие, имел везде информаторов, и как одарённый от природы аналитическим умом, редкой наблюдательностью, а также приобретённым умением лавировать, видел, что Александр Николаевич лукавит. Он не раз встречался с Яковлевым на людях и один на один, внимательно вслушивался в его бубнящий голос, стараясь проникнуть сначала в то, что говорил Идеолог перестройки, а позднее в то, что недоговаривал “серый кардинал”. В паре с Горбачёвым Яковлев был ведущим, но никоим образом этого не показывал. Наоборот, всячески подчёркивал, что он только исполнитель горбачёвских замыслов. Намеченная реформа политической системы, как её представил Янкину Александр Николаевич, вызвала у главного редактора смятение. Даже ему, сделавшему при поддержке Яковлева, газету форпостом резкой критики советского строя, показалось, что реформа будет иметь разрушительные последствия, приведёт к потере управления всем государственным организмом. Неужели этого не поймут делегаты?

Он слушал Горбачёва, исподволь оглядывая людей. Лица были сосредоточенные, восторженные, настороженные. Не было только сонно-равнодушных, какие он видел раньше на подобных партийных съездах.

Да и могло ли быть иначе? Генеральный секретарь партии резко критиковал свою партию за, что она захватила все рычаги управления — от высших до самых малых, подмяла под себя Советы, принимает решения, но при этом ни за что не отвечает, и такая окостенелая конструкция тормозит перестройку. Нужно новое мышление, сказал Горбачёв, и Грегор Викторович снова вздрогнул, как это у него непроизвольно получалось, когда он слышал неграмотные выражения генсека. “Мыши у тебя в голове бегают, — подумал Янкин. — А коты хорошего нет”.

Горбачёв предложил отделить партийные органы от советских и первым секретарям избираться в председатели Советов. Одновременно реформировать государственную власть. Для этого по-новому — на альтернативной основе — провести выборы всех Советов — от районных до Верховных в республиках и Верховного в Союзе.

Поскольку Грегор Викторович об этих намерениях знал заранее, он, не отвлекаясь, наблюдал за реакцией той части зала, которую мог охватить взглядом. Восторженных лиц стало меньше. Они ещё попадались, но это, скорее, были те, кто ради интереса готов был на любые перемены, чем бы они ни кончились. Зато настороженных прибавилось. И, похоже, не только среди партфункционеров. Янкин глядел на них, и ему казалось, что он читает их мысли. Обновиться, конечно, надо. Может, это действительно выведет перестройку из штопора. Правда, пока все перемены вели к худшему. Альтернативные выборы... Кто на них победит? Безответственные крикуны? А спросят с руководителя, как бы он ни назывался — председатель Совета... первый секретарь.

Вместе с тем Янкин заметил, что с некоторых лиц настороженность уходит и вместо неё появляется привычное спокойствие. “Думают, очередная болтовня. Пока примут законы о выборах, пока всё утрясут и согласуют, немало утечёт воды. А в ней многое утонет. Может, и самый главный...”

Неожиданно он обратил внимание на странное поведение Горбачёва. Работа конференции заканчивалась. Делегаты устали от непривычного напряжения. Впервые с партийного съезда такого уровня шла прямая трансляция по телевидению. В течение нескольких дней страна и делегаты были свидетелями и участниками резких публичных споров. Теперь надо было подводить итоги, и делегаты дружно голосовали за все резолюции подряд. За реформу политической системы. За борьбу с бюрократией. За усиление гласности, хотя и нынешний её уровень уже вызывал у многих тревогу.

Горбачёв должен быть доволен. Он произнёс заключительную речь. Отметил историческое значение конференции. Упомянул Ельцина, который просил политической реабилитации после снятия его с поста первого секретаря

Московского горкома партии, но большинство, чувствуя настрой генсека, снова обрушились на опального функционера. И в те минуты, когда все ожидали объявления о закрытии конференции, Горбачёв вдруг поднялся за столом президиума, быстро достал из левого внутреннего кармана пиджака какую-то бумажку и, переминаясь с ноги на ногу, с явным волнением произнёс:

— Давайте не будем откладывать реформу политической системы надолго и примем ещё одну, краткую резолюцию.

Уже расслабившиеся делегаты не сразу поняли, о чем речь. Никакой дополнительной резолюции у них на руках не было. А Горбачёв скороговоркой прочитал по бумажке текст, где главными были два пункта. Первое. До конца года провести реорганизацию партийного аппарата. И второе. На ближайшей, осенней сессии Верховного Совета СССР принять законы по перестройке советского аппарата, внести изменения в Конституцию страны, а также организовать выборы по-новому и уже в апреле 1989 года провести Съезд народных депутатов, на котором создать новые органы государственной власти.

Не давая никому опомниться, начал голосование:

— Кто за? Кто против? Воздержался? Принимается единогласно.

Зал оцепенел. Ни аплодисментов, ни весёлых возгласов по поводу конца работы. Только шум откидываемых сидений и негромкий ропот расходящихся людей.

Вспоминая потом этот момент, Янкин всякий раз удивлялся лёгкости, с которой Горбачёву удалось получить право на кардинальные перемены. Привыкшие подчиняться партийным руководителям и верить им на слово, делегаты своими мандатами узаконили путь в неизвестное будущее, которое никто даже толком не обсудил, не говоря о том, что никто не просчитал и последствий.

Глава третья

— Привет демократам! — услышала Наталья знакомый мужской голос и повернулась на него. К ней, обогнув группу депутатов, шёл Савельев. Худощавый, стремительный в движении, Виктор издали махал ей рукой и безозвучно улыбался.

— Здравсьте! — кивнула она, обрадовавшись возможности избавиться от своего собеседника. Стоящий рядом член “Демократической России” Сергей Юзенков насунился. Он ещё не всё сказал на диктофон Волковой о своей поездке в Эстонию, где вместе с тамошними депутатами выступал на митингах в поддержку их решения выйти из состава СССР.

Фактически республика уже считала себя свободной. В ночь с 12 на 13 января 1991 года Председатель Верховного Совета РСФСР Ельцин подписал в Таллине договоры с руководителями Эстонии, Латвии и Литвы о признании их независимости. Подписал от имени России, хотя огромная, бурлящая, растерянная Федерация такого поручения ему не давала. Не поручал этого и президент Советского Союза — мечущийся словоблуд Горбачёв. Ему только рассказали, что событие происходило глубокой ночью в старинном дворце на Тоомпеа, где когда-то сидели наместники российского императора, а потом — парламент советской республики.

— Вы тоже на съезд, Виктор Сергеевич?

При посторонних Наталья иногда называла Савельева по имени-отчеству. Из уважения. Он был старше её лет на десять.

— Тоже, тоже. Как он пройдёт без меня? Особенно внеочередной.

— Без вас, конечно, российские депутаты ничего не решат, — заметил Юзенков. Произнёс это с некоторой иронией, но не слишком вызывающе. Он знал, что Савельев известный и влиятельный в депутатской среде журналист. При его поддержке через газету, а особенно через “Телестемы с избирателями”, которые Савельев вёл на главном телеканале страны, десятка два кандидатов стали народными депутатами СССР. Сразу после выборов он собрал в редакции несколько заметных новичков, чтобы за “круглым столом” обсудить их возможные действия на предстоящем Первом съезде.

Юзенкову рассказывали, что именно с той встречи, где были Гавриил Попов, Тельман Гдяян, Святослав Фёдоров и ещё три человека, ведёт свою историю Межрегиональная группа союзных депутатов. Она быстро стала заметной силой и через год активно поддержала демократических кандидатов теперь уже в российский парламент. В том числе его — Сергея Юзенкова — бывшего майора, бывшего политработника воинской пожарной части, а теперь не последнего человека среди демократов. Поэтому в приветствии Савельева он услышал только уважение к себе и ничего больше.

Но Виктор в последнее время слово “демократ” всё чаще произносил с издевательским оттенком. Он даже знал, когда впервые пошатнулось очарование этого слова. Как ни абсурдно было для него, коррозия началась с Первого съезда народных депутатов СССР. А ведь именно этого съезда Савельев не только с нетерпением ждал, но и, в силу своих возможностей, приближал. Раскраивая время между газетой, телевидением, митингами, собраниями избирателей и встречами с кандидатами, Виктор энергично поддерживал тех, кто называл себя демократами и кого он сам таковыми считал.

Особенно среди них выделял Ельцина. Даже внешний вид этого высокого, издаലെка красивого мужчины с седой прядью на голове и трубным голосом говорил людям о сильной натуре.

На Ельцина Савельев обратил внимание, когда тот стал первым секретарём Московского горкома партии. В газетах заговорили о необычном руководителе. Ездит вместе с простым народом в городском транспорте. Внезапно заявляется в магазины и лично проверяет, какой товар припрятан. Трясёт московскую партийную и хозяйственную мафию. Снимает одного за другим секретарей райкомов. Рубит сплеча правду-матку заевшимся чиновникам.

Это очень нравилось народной массе. И для Савельева он тоже стал надеждой обновления.

Потом — невнятные пересуды о выступлении Ельцина на пленуме ЦК и снятие его со всех постов. За что? Чем не угодил Горбачёву? Наверняка критиковал власть и получил за это по голове. А раз так, значит, наш человек. Бунтарь и народный заступник.

Настоящая же всесоюзная известность Ельцина впервые окатила в дни 19-й партконференции. Благодаря прямой трансляции по телевидению его выступление слушали миллионы. Он обвинил власть в массовой коррупции и в отрыве от нужд народа. Если у нас чего-то не хватает, заявлял он, то нехватку должны чувствовать все без исключения. “За 70 лет мы не решили главных вопросов — накормить и одеть народ, обеспечить сферу услуг, решить социальные вопросы”.

По сути, он выражал мысли огромного количества людей. И они ответили ему признанием. В Госстрой СССР, куда был “сослан” Ельцин после московского горкома, мешками шли письма. “Опальному бунтарю” звонили со всех концов страны.

Неудивительно, что начавшаяся вскоре избирательная кампания сделала Ельцина символом демократии и главным кандидатом в народные депутаты СССР. За него самозабвенно агитировали тысячи людей. Написанными от руки листовками была оклеена вся Москва, где баллотировался Ельцин. Незамысловатые тексты выдавали искреннюю веру народа в своего заступника. Однажды, выходя поздно вечером из редакции, Савельев увидел, как худая, не по холоду одетая женщина клеит на стене лист бумаги. Виктор остановился. Чёрным фломастером было написано:

*Чешет коррупция лысое темя.
Пьют валидол с коньяком бюрократы.
Это ж какое, товарищи, время!
Ельцин с триумфом идёт в депутаты.*

— Нельзя валидол запивать коньяком, — сказал он активистке.

— Это нам нельзя. А им всё можно.

На выборах Ельцин легко, как волкодав котёнка, раздавил выдвинутого горбачёвцами директора московского завода. Люди вложили в него все свои надежды на перемены в жизни.

Ещё выше поднялась волна экзальтации, когда Ельцин необычным способом оказался в Верховном Совете СССР, куда стремились попасть многие из 2250 депутатов. Своё место, после активной обработки ельцинскими сторонниками, ему отдал омский юрист Алексей Казанник. С этого времени Савельев стал ещё пристальней наблюдать за Ельциным.

Правда, сначала внимание от партийного бунтаря отвлекли другие демократы. Прямые трансляции со съезда, не отрываясь, смотрела вся страна. Виктора поражало происходящее на глазах пробуждение народа. Фамилии новых людей, ещё позавчера неизвестные, вчера с непривычки трудно выговариваемые, поскольку многие были нерусскими, сегодня “отскакивали от зубов” спорщикам, словно много лет знакомые. Откуда-то из недр многомиллионной человеческой массы, до недавней поры сливающейся в одно большое лицо по имени “советский народ”, вдруг вышли, выпрыгнули, вытолкнулись индивидуальные лица, с разными голосами и со своими словами. Резкие, критичные выступления депутатов обсуждали в цехах и школах, на кухнях и в конструкторских бюро. Завернув однажды к знакомой пивнушке, Савельев с изумлением замер на подходе. Было тепло. Люди выходили из душного помещения и устраивались за уличными столиками. Но обычного гомона не было слышно. Всё перекрывали голоса из радиоприёмника, стоящего на одном столе. Отпивая пиво и стараясь не шуметь, мужики слушали трансляцию со съезда народных депутатов.

— Рабы встают с колен! — заявил на “планёрке” очередного номера Савельев, возмущившись намерением Бандаруха убрать из его отчёта все острые выражения депутатов.

— Да, да, — тихо, с гнусавинкой произнёс заместитель главного редактора. — Только кто им это позволяет? Михаил Сергеевич. А они его — без всякого уважения. Давайте не будем дискредитировать власть.

Но власть трудно было дискредитировать больше, чем это делала она сама. По Узбекистану прокатились погромы турок-месхетинцев, и никто за них не ответил. Когда депутаты спросили горбачёвского ставленника — Председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР Рафика Нишанова — узбека и недавнего руководителя республики, что там в действительности произошло, он с фальшивой восточной улыбкой, но при холодном взгляде объявил: “Ничего особенного. Из-за клубнички подрался на базаре”.

А в это время тысячи беженцев — впервые после Отечественной войны, искали спасения в соседних республиках и требовали помощи от Центра.

Никто не ответил по-настоящему и за карабахскую трагедию. Нацисты обеих сторон переводили стрелки друг на друга, а потом сообща — на Центр.

Центр, то есть Горбачёв, был действительно виноват. Самонадеянный болтун и недалёкий управитель, делая очередной шаг, совершенно не представлял, куда вляпывается, и чем после этого запахнет в стране. Во время пока ещё мирного карабахского напряжения он приехал в редакцию центральной газеты, где работал Савельев. В кабинет главного редактора пригласили всего несколько человек. В том числе — Виктора, как парламентского обозревателя. Горбачёв с отработанным пафосом, словно рядом и напротив сидело не с десяток слушателей, а была многолюдная аудитория, заговорил об успехах перестройки. Дождавшись подходящего момента, первый заместитель главного редактора спросил о Карабахе. Он был родом из Тбилиси, и происходящее на Кавказе сильно тревожило этого человека, в венах которого текла польская, грузинская, еврейская, русская и ещё какая-то кровь.

— Интеллигенция мутит воду, — сказал Горбачёв. — Знаю их всех. Зорий Балаян... Сильва Капутикян... К ним пристраиваются другие...

Савельев сидел напротив генсека. Их разделял неширокий стол. Виктор впервые увидел Горбачёва так близко. Взгляд невольно задержался на родимом пятне. “Действительно, меченый”, — подумал он и почему-то без всякого волнения сказал:

— Михаил Сергеевич, если вы знаете, кто раздувает карабахский пожар, назовите их публично. Пусть народы узнают, кто толкает их в беду. Вот где нужна гласность!

Горбачёв снисходительно окинул Савельева взглядом.

— Ты ничего не понимаешь. Нельзя усугублять ситуацию.

Через некоторое время ситуация взорвалась. Десятки тысяч простых людей оказались жертвами национал-амбиций ненаказанных экстремистов и политической близорукости человека, олицетворявшего власть в стране.

Впоследствии Виктор не раз встречал генсека лицом к лицу в перерывах на съездах народных депутатов. Однажды, споря с кем-то о Ельцине, не заметил подошедшего сзади Горбачёва. “Всё митингуешь?” После чего главный редактор велел Виктору вести себя аккуратней и не настраивать депутатов в пользу Ельцина.

Но Савельев не мог с этим согласиться. Наблюдая за действиями Горбачёва, он видел, как власть всё сильнее перекашивается в сторону Яковлева. Даже если бы “серый кардинал” не имел второй по влиянию должности в партии, его могуществу вполне могло хватить одного оружия — гласности. Хотя гласность продолжала ассоциироваться с Горбачёвым, многие начали понимать, что это оружие давно перехватил Яковлев и с каждым днём расширял его убийную силу. Особенно после 19-й партконференции, для которой он подготовил специальную резолюцию. И тем самым оградил себя от любых попыток усомниться в правильности использования этого оружия массового поражения. Яковлев лично подбирал руководителей газет и журналов. С ним согласовывались самые разгромные публикации и видеоматериалы. Под лозунгами борьбы за демократию, за ликвидацию “белых пятен” в советской истории и за свободу слова, “хромой бес”, как его однажды в разговоре с Савельевым назвал Андрей Нестеренко, повернул всю разгромную мощь подконтрольных ему средств массовой информации против той самой социалистической Системы, которой, за хорошие деньги и блага, служил несколько десятилетий своей жизни и за любое покушение на которую жёстко карал сомневающийся.

Размышляя над ситуацией, Виктор пришёл к мысли, что выправить образовавшийся перекос в сторону Яковлева можно лишь одним способом. Дать Горбачёву второе “крыло”. И стать им мог Ельцин. Бесшабашный “саблеруб”, смелый и вроде бы нормально понимающий демократию борец за необходимые обновления, Ельцин уравновесил бы разрушительное влияние “хромого беса” на теряющего ориентиры Горбачёва. А для этого надо было сделать так, чтобы Ельцин занял единственное, остающееся пока что вакантным, важное место в иерархии высшей власти страны — пост председателя Комитета конституционного надзора СССР. Именно должность сурового надзирателя за соблюдением Конституции лучше всего подходила, на взгляд Виктора, для Ельцина, а главное — очень нужна была для государства.

Но чтобы “взгромоздить” бунтаря на такую труднодоступную высоту, требовалось подготовить депутатов, которые должны на Съезде утвердить предложенную кем-то кандидатуру.

Первым делом Савельев взялся за “своих”. Человек десять согласились с его доводами. Однако другие повели разговор уклончиво. Кто он такой — этот Ельцин? Мы его мало знаем. Не использует ли очень влиятельную должность для иных целей? А с депутатом из Удмуртии Виталием Соловьёвым Виктор почти рассорился. До того момента ему казалось, что успел неплохо узнать этого рослого, немногословного мужчину с привлекательным волевым лицом и светло-русыми волнистыми волосами. Соловьёв больше слушал журналиста, чем говорил сам. В тот раз он тоже долго не перебивал Виктора, энергично внушавшего депутату, какой надёжный человек Ельцин, как он будет противостоять влиянию Яковлева и при этом полезно воздействовать на Горбачёва. Когда журналист приостановился, Соловьёв коротко сказал:

— Я не буду его поддерживать ни в чём.

— Ты што, Виталий, в своём уме? Ельцин из тех, на кого только и можно опереться.

— Приглядись повнимательней, Виктор. Он фальшивый человек. Ему нельзя давать власть.

“Что за люди приходят в депутаты! — с огорчением подумал Савельев. — Не способны разглядеть перспективного политика”.

Без энтузиазма отнёсся к предложению Виктора митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей. Журналист некоторое время колебался: как обратиться к духовному лицу? Как все: “Ваше Высокопреосвященство”? Или, но напрягая себя, по имени-отчеству. Знакомый с биографиями всех депутатов, он знал, что митрополит в миру — Алексей Михайлович Ридигер. Поэтому с некоторым волнением начал:

— Вы меня извините, пожалуйста, Алексей Михайлович. Я человек светский, журналист... Можно мне так к вам обратиться?

— Можно, можно, — улыбнулся митрополит.

— Вам, наверно, известно, что в Верховном Совете готовится закон о Комитете конституционного надзора СССР. Его примут, и встанет вопрос о председателе. Есть разные предложения. Одна из кандидатур — Ельцин. Как вы к нему относитесь?

Благообразное лицо Алексея почти не изменилось. Только немного сдержанней стал взгляд, и в глазах появилась озабоченность.

— Церковь долго испытывала трудности. Она много пережила. Сейчас положение несколько меняется... Меняется к лучшему. Нам не хотелось бы снова потерять приобретённое. А политика... Политика всегда занимает чью-то сторону. Нам, наверно, не пристало втягиваться в политику. Это не дело Церкви...

Савельев не знал, что в эти дни в высшем руководстве Церкви идёт никому не видимая в светском обществе борьба за то, кто станет новым Патриархом. Прежний Патриарх Пимен умер 3 мая 1990 года, и на главный церковный пост претендовали несколько человек. В том числе — митрополит Алексей.

Тем не менее, Виктор понял: этот седобородый, крупнолицый человек в белом клобуке на голове и со значком народного депутата СССР на рясе не хочет ввязываться в опасную для Церкви борьбу между разными жерновами власти.

Настороженно отнёсся к предложению Савельева и главный редактор журнала “Огонёк” Виталий Коротич. Послушав рассказ Виктора о Ельцине, задал единственный вопрос:

— А он не антисемит?

Савельев с удивлением пожал плечами. Интересовать могло, что угодно. Но почему это для Коротича оказалось самым важным?

— Вроде нет, — в раздумье сказал Виктор. И мысленно перебрав в памяти окружение Ельцина, уже уверенней заявил:

— Нет, разумеется. Какой он антисемит, если рядом столько евреев!

Агитируя депутатов, Савельев в то же время не забывал о Ельцине. Как он сам-то отнесётся к идее журналиста? Наконец, Виктор решил, что пора переговорить с кандидатом. После одного из заседаний Съезда народных депутатов СССР догнав идущего к Боровицким воротам Кремля Ельцина. Тот шёл со своим идеологом — бывшим журналистом из “Правды” Полтораниным. Савельев знал его. Сначала заочно — оба работали какое-то время в Казахстане от разных газет. Потом вместе оказались в Москве. Когда Ельцин поставили первым секретарём Московского горкома партии, он уговорил Полторанина возглавить городскую газету. После снятия Ельцина не у дел оказался и его пресс-идеолог. Это развязало ему руки. Полторанин стал лепить из Ельцина народного героя. Поскольку никто не знал, что в действительности говорил московский секретарь на том пленуме ЦК, где его отстранили от должности, Полторанин сочинил фальшивое выступление своего патрона и начал распространять несуществующую речь. “Подмётная грамота” оказалась как нельзя кстати. Те, кто читал текст, видели, что Ельцин критикует Горбачёва, коррупцию в высших эшелонах власти, выступает против привилегий партийного аппарата. Пересказывая прочитанное, люди добавляли своё. Особенно популярными становились критические слова, якобы, сказанные Ельциным о жене Горбачёва — Раисе Максимовне. Живёт, мол, она, как королева. Тратит народные деньги на дорогие украшения и наряды, а Михаил Сергеевич только потакает ей во всём и руководит страной по указаниям жены.

Придуманная Полтораниным речь сделала Ельцина популярным борцом за справедливость. А выступление на 19-й партконференции к тому же добавило трагических красок в ореол жертвенности. После чего народ на руках внёс Ельцина в депутатскую власть.

Однако не согласись романтик-демократ Казанник уступить ему своё место, о чём его усиленно просили сторонники Бориса Николаевича, Ельцин просто затерялся бы среди двух с лишним тысяч депутатов. Став членом Верховного Совета и возглавив комитет по строительству, он приблизился на несколько ступенек к солнцу власти. Теперь, как рассчитывал Савельев, Ельцин мог сменить малозначительный комитет в парламенте на куда более серьёзный. И не только для него. Факты посягательства на Конституцию страны становились угрожающими, а Горбачёв, словно парализуемый, не предпринимал решительных противодействий.

— Борис Николаич, минутку!

Вместо Ельцина обернулся Полторанин. Виктор ещё не знал, что правое ухо у Ельцина не слышит совсем и говорить надо громче.

— А-а, Витя! — широко улыбнулся Полторанин, плотный пятидесятилетний сибиряк, не на много уступающий Ельцину в росте. — Хочешь сделать с Борис Николаичем материал? Но в вашей газете его всё равно не дадут.

— Нет, я по другому поводу. Помнишь, я говорил тебе о противовесе Яковлеву? Ты не спрашивал шефа, как он отнесётся к этой идее?

— Закрутился, старик... А спроси его прямо сейчас!

Ельцин обратил внимание на Савельева, сунул на ходу руку.

— Борис Николаич, есть одна идея, — сказал Виктор, пожав твёрдую ладонь. — Можно сильно повлиять на Горбачёва.

— Как? — остановился Ельцин.

— Стать председателем Комитета конституционного надзора СССР. Сейчас ваш строительный комитет... Конечно, он важный в Верховном Совете... Но по сравнению с надзорным, извините... А там вы всех расставите по своим местам. Конституция — это священная корова. Основной закон! Кто нарушил его... высунул голову за рамки — бац! Гильотина закона отрубает голову.

Ельцин хрипло рассмеялся.

— Интересно! Хорошо. Но перекроют... Своих заставят лечь... эта... на амбразуру.

— А мы других поднимем!

Полторанин тоже загорелся.

— А што, Борис Николаич! Демократия получит ха-ароший инструмент. Неплохая мысль у Савельева.

Ельцин заинтересованно посмотрел на Виктора, мощно вдохнул воздух. Было начало июня. В Александровском саду цвела сирень, и её тонкий волнующий запах доходил до Боровицких ворот. Савельев расслабил галстук — ко второй половине дня становилось жарко, приветливо улыбался, однако при этом внимательно следил за Ельциным. А тот вдруг нахмурился и, словно преодолевая какую-то преграду, разочарованно сказал:

— Это ж значок надо будет сдавать.

— Какой значок? — не понял Савельев.

— Вот этот, — бережно тронул Ельцин красный эмалированный значок на лацкане пиджака. — А что получу взамен? В любой момент переизберут.

— Ну, зачем же так? — протянул Виктор. Он ещё не знал, должен ли будет депутат, избираемый председателем этого комитета, слагать с себя полномочия народного избранника. Закон пока готовился, и рассматривались разные предложения. В том числе — недопустимость членства в других организациях. Но даже в этом случае Председатель Комитета конституционного надзора СССР оказывался по влиянию выше всех вместе взятых депутатов в Верховном Совете, не говоря про какой-то Комитет по строительству и архитектуре.

Однако Ельцин уже потерял интерес к предложению Савельева. Во-первых, как догадался Виктор, тот сообразил, что это не его стихия. Ему нужно было поле для более простых решений. А, во-вторых, синица власти в ру-

ках была важнее журавля неопределённости в небе. И хотя неприязнь к Горбачёву он даже не скрывал, выходить на опасную конфронтацию “бунтарь” побоялся.

Расстроенный Савельев первый раз поглядел на Ельцина с разочарованием. Однако этот незначительный эпизод оказался тем камнем, который впоследствии толкнул лавину. Отмечаемые им прежде критические факты и нехорошая молва о “былинном герое” стали через некоторое время восприниматься по-другому. Имея множество знакомых в разных учреждениях и структурах — от редакций до правоохранительных органов — Виктор в новом свете увидел и состоявшееся вскоре американское путешествие Ельцина, и его последующее падение с моста в подмосковном дачном посёлке, и слова о приверженности демократии. Когда по телевидению показали сюжет с пьяным Ельциным в США, Савельев сразу поверил, что это был никакой не монтаж, как кричали всюду ельцинисты и уверял сам Борис Николаевич, а всего лишь деталь большой зарубежной пьянки “подающего надежды” противника Горбачёва. И толкнули его в речушку вовсе не политические противники, а ревнивый соперник ельцинской “дамы сердца”, о чём Виктору говорили люди, проводившие расследование

Встретившись с несколькими уральцами, Савельев узнал немало поразительного из свердловской жизни Ельцина. О его наследственном алкоголизме. О демонстративной способности пить водку сразу из горлышек двух бутылок. О жестокости и мстительном характере первого секретаря обкома партии.

“И это у нас такие демократы?” — удивлялся через некоторое время Савельев, думая уже не только о Ельцине, но и о других людях, присвоивших себе ко многому обязывающее звание. Требуют свободы для себя, однако не признают свободы других. Критикуют слова Горького: “Если враг не сдаётся, его уничтожают”, а сами готовы разорвать любого, кто выступает против их убеждений. “Да какие там убеждения! — мысленно возмущался Савельев. — Набор несвязных фраз и обкусанных мыслей”. Ему не раз говорили с неудовольствием близкие ельцинские сподвижники о том, что “у Бориса Николаевича нет никакой экономической и политической программы”. Только призывы ограничить власть Центра.

Разговаривая с людьми, объявившими себя демократами, наблюдая за их реакцией на происходящее, Виктор, чем дальше, тем больше убеждался в том, что люди эти имели самое смутное представление о настоящей, подлинной демократии. А главное — они и не собирались быть такими, на кого вроде бы должны ориентироваться в своём поведении, в отношении к носителям других взглядов и мнений. Отечественные демократы признавали только свои методы борьбы с несогласными. Методы убеждения через уничтожение. Поэтому между ними и теми, чьё наименование они брали, было столько же сходства, сколько между мухой и орлом. У той и другого есть крылья, у обоих есть глаза, оба летают, но на этом общее и заканчивается. Объединительное слово “демократы”, которое приняла на себя разношёрстная публика, было всего-навсего самоназванием. Таким же, какое брали себе предки нынешних народов, чтобы отличаться от соседей, и которое сегодня не имеет никакого отношения к первоначальному смыслу. Албанцы сами себя называют “шкиптар”. Дословно переводится, как “горные орлы”. И даже если предки человека последние лет двести прожили в городе, если он в горах никогда не бывал, он всё равно “шкиптар”. Одна из ветвей американских индейцев апачей называет себя “пятнистый сверху народ”. У сегодняшнего потомка этого народа, ставшего врачом или адвокатом, если и появляется пятно сверху на одежде, то разве что от сока или вина. Самоназвание другого племени переводится, как “народ дикообраза, сидящего сверху”. Где сейчас найдёшь дикообраза, да ещё посадишь его сверху, трудно сказать. Однако люди по традиции продолжают называть себя так.

Но они хоть имеют кровное, родовое отношение к давнему самоназванию, думал Савельев. А наши “демократы” взяли только имя, отбросив суть. И под этот широкозахватный щит втягиваются новые и новые люди.

После Первого съезда народных депутатов СССР, который начался со скандалов в прямом эфире о разгоне митинга в Тбилиси, об оккупации При-

балтики, о пакте Молотова–Риббентропа, “демократическое тесто” стало расти, как на дрожжах. Многие сообразили: чем громче крик, тем больше шансов выбраться из тьмы вчерашней неизвестности. А иногда — единственная защита от заслуженной тюрьмы. Надо только объявить себя демократом, расклеить листовки с извещением об этом событии и всеми действиями, всем видом своим изображать “демократическую народность”. В те дни, недели и месяцы “опрошение” стало важным условием получить поддержку масс. Следователи Генпрокуратуры Иванов и Гдлян за свои “разоблачения узбекско-кремлёвской мафии” триумфально вошли в народные депутаты СССР. Но вскоре эта площадка политической надёжности заколыхалась под героями, как зыбкое болото. По жалобам десятков незаконно обоглаженных, истязаемых, как в гестапо, людей начались серьёзные проверки. Перед следователями-демократами вместо парламентской скамьи замаячили тюремные нары. И тогда “гонимые” обратились к народу. Опубликовали в газетах манифест, который заканчивался требованием “сбросить ненавистную, антизаконную политическую клику, ведущую страну к социальной катастрофе”. А чтобы прямой призыв к свержению государственной власти, караемый по закону тюрьмой, выглядел спасением не самих себя, а страдающего народа, был использован известный с древнейших времён способ. Предстать перед массами в образе “простых людей из толпы”, обоглаженных властью до нитки. Однажды Савельев сам увидел этот спектакль. Собрав в редакции несколько народных депутатов СССР, он с интересом наблюдал за Тельманом Гдляном. Невысокий, худощавый армянин во время своего нервного, экспрессивного выступления то и дело приподнимался на носки, как будто хотел взлететь. “Чево он прыгает? — подумал Виктор и, опустив взгляд, замер: тёмные полуботинки Гдляна были перевязаны светлыми бечёвками. “У него нет денег купить новую обувь? — удивился Савельев. — Нет возможности отремонтировать эту?” И только приглядевшись к демонстративно бросающимся в глаза завязкам, понял: идёт игра на публику.

Такой же приём использовали и другие лидеры демократических сил. В тесных пиджачках, которые давно были приготовлены на выброс, в стоптанных ботинках и кое-как повязанных галстуках — некогда красоваться, брат — они старались выделиться на митингах и собраниях среди нормальной опрятности оппонентов. Некоторые, больших лет граждане, рассчитывая привлечь внимание молодёжи, одевались под юнцов. Напяливали куртки и джинсы “варёнки”, объёмные свитера с откидными воротниками. Народным массам должно было быть видно, что за их нужды борются люди из их же среды. Не имеющие денег на богатую, как у власти, одежду. Не располагающие современными техническими возможностями агитировать за себя и за своих демократических кандидатов.

В ходе избирательных кампаний Савельев обратил внимание на большое количество рукописных листовок с броскими, иногда остроумными, чаще — сердитыми в адрес власти призывами. Они были написаны фломастерами, маркерами, порой даже авторучками. Словно простые люди — на кухнях, в комнатах коммунальных квартир, в учительских, на кульманах в каких-нибудь НИИ — писали с утра до ночи призывы. Это создавало впечатление “народной агитации” с участием многотысячных масс, ибо всем было ясно: возможности одного-двух-трёх человек, какими бы они ни были активными, ограничены.

Но однажды, случайно приглядевшись к листовкам, Виктор с удивлением заметил, что вся агитационная “народность”, оказывается, отпечатана на ротаторах и ротапринтах. А эта техника, как ему было известно, может выдавать от 5 до 9 тысяч экземпляров в час.

Впрочем, на это уже не обращали внимания. Разношёрстное демократическое сообщество быстро росло и пополнялось людьми, зачастую совершенно чуждыми друг другу. Сторонники более эволюционного перехода к демократии оказывались в одной колонне с озлобленными неудачниками, уязвлёнными себялюбцами, мстительными завистниками, которых прибавлялось в геометрической прогрессии. Демократы-романтики с ужасом смотрели на стремительный разлив моря нетерпимости, шарахались от своих вро-

де бы идейных собратьев, которые в беспощадности к инакомыслию не уступали большевикам Октябрьского переворота. Эти масс-демократы были как термиты, готовые броситься с острыми клешнями — резцами на всё, что окажется на пути. На военно-промышленный комплекс, на советскую систему, на Горбачёва, друг на друга. Причём друг друга грызли насмерть, словно верующие одной религиозной конфессии, но разных течений.

Пока термитная масса грызла разнонаправленно, толку от неё было немного. Требовалось объединить челюсти-резцы под одним лидером и направить колонны на главные столпы. В коллективном руководстве Межрегиональной группы это понимали, но договориться между собой не получалось. Экономист Попов презирал партократа Ельцина. Академик Сахаров недолюбливал обоих. Ректор историко-архивного института Афанасьев критически смотрел на всех.

После внезапной смерти Сахарова организаторы термитных колонн решили, что надо делать ставку на Ельцина. Он был популярнее всех. Ему создавали образ самого большого демократа, борца с привилегиями и выразителя народных чаяний. При этом, что не укладывалось в пастораль, тщательно скрывали. Тому самому народу показывали скромного лидера, который идёт не через привилегированный депутатский зал в аэропорту, а как все, через обычный выход; возится с обыкновенным “Москвичом” в окружении простой советской семьи; ходит в рядовую поликлинику и ест, как плоть от плоти народа, колбасу за два двадцать. На самом деле это была пропагандистская ложь. Не только “Москвича” — никакой другой машины Ельцин водить не умел и в них не разбирался. Его всегда возили, на столы ставили продукты, недоступные миллионам людей, особенно в дни искусственно создаваемого голода, а где находится обычная поликлиника, он не представлял.

Но об этом знали немногие и даже, если бы они стали рассказывать обо всех “несоответствиях” реальной жизни Ельцина его сказочному образу, большинство народа не поверило бы. Настолько разительным становился контраст между слабовольным болтуном Горбачёвым и решительным демократом Ельциным.

Особенно после выборов народных депутатов РСФСР весной 1990 года. Во многих округах победили демократы. Сам Ельцин легко и убедительно выиграл борьбу в Свердловске — набрал 84 процента голосов. Открывалась дорога к власти. Пока над Россией. Но всё чуть было не сорвалось. Прояви Горбачёв немного больше дальновидности и меньше беспечности, не быть бы Ельцину Председателем Верховного Совета РСФСР.

Съезд народных депутатов России открылся в Кремле 16 мая. Савельев каждый день приходил туда, чтобы дать репортаж в номер. И возвращался в редакцию растерянный — писать было не о чем. В зале творилось что-то невообразимое. Самые отвязные, взяв на вооружение опыт первого дня работы Съезда союзных депутатов, когда трибуна захватывалась явочным порядком, пытались повторить то же самое в новых условиях, чтобы сделать своё заявление. Их оттащивали, не пускали. В проходах поставили микрофоны. Кому-то удавалось пробиться к ним, однако никто никого не слушал. Находящиеся в зале вскакивали с мест, орали что есть мочи какие-то лозунги, призывы, осуждения. Каждый считал только свою идею правильной и только свою кандидатуру достойной. Тысяча с лишним депутатов представляли собой хаотичную, абсолютно неуправляемую массу совершенно различных людей.

Не подобрав достойных соперников Ельцину, Горбачёв улетел в Канаду. За границей он уже давно чувствовал себя уютней, чем в мятущейся, управляемой другими людьми родной стране. Но и в этих условиях Ельцин победил с большим трудом. Через две недели митинговых страстей, тайной обработки депутатов, обнадеживающих посулов оппонентам, не с первого, а с третьего раза, он набрал всего на четыре голоса больше необходимого минимума и был избран Председателем Верховного Совета РСФСР.

С момента избрания главой российского парламента Ельцин стал как бы официальным знаменем демократических отрядов. Их вожаком и тараном, которым они пробивали стены советской крепости. Он был им нужен.

Без него масс-демократы рассыпались бы на множество грызущих друг друга термитов.

Но и они ему были нужны. Без них вождь остался бы никчемным одиночкой, а таран — бесполезным бревном. Именно в этот период началась активная работа всех тех, кто понял, что в борьбе с Горбачёвым за власть Ельцин пойдёт на что угодно, а потому его нужно поддерживать любыми способами.

12 июня 1990 года митингующий Первый съезд народных депутатов РСФСР под председательством Ельцина принял Декларацию о суверенитете России. Это стало сигналом для других. Не только союзных, но и автономных республик. И даже автономных округов. Все торопились объявить о независимости и проглотить суверенитета как можно больше.

Съезд союзных депутатов принимает решение провести в марте 91-го года Референдум о сохранении СССР — Ельцин призывает бойкотировать его. Союзные депутаты избирают Горбачёва Президентом страны — демократы в российском парламенте, с подачи Ельцина, поднимают волну о необходимости поста Президента в РСФСР.

И вот для этого, сразу после Референдума, они созывают свой внеочередной съезд, на котором Савельев встретился с Натальей Волковой и демократом Юзенковым.

Глава четвёртая

— Ну, што наша демократия вещает вам, Наташа? — показал Виктор на диктофон, который Волкова держала в руках. — Рассказывает, как устроить профсоюз советских президентов?

— Какой профсоюз? Ерунду вы говорите, — обиделся Юзенков. Он был худощав, темноволос, со следами плохо вылеченного фурункулёза на щеках и прямом лбу, отчего лицо походило на иссечённую крупной дробью мишень.

— А как же! Сейчас вы придумаете президента России. За вами побегут остальные. Представляете, Наташа: президент Тувы! Триста тысяч населения — пол-московского района. Или Чукотки президент. Всю страну можно уместить в трёх домах на Ленинском проспекте. Зато каждому — министр иностранных дел, охрану, армию... Одних персональных самолётов — пол-“Аэрофлота”.

Савельев вперил злой взгляд в юзенковскую “мишень”.

— Вы чево творите, орлы с каржиными* перьями? Страну хотите совсем разорвать? Вам референдум не указ? Вы же любите ссылаться на народ. Вот он сказал вам своё слово. Подавляющее большинство за Союз, а вы ему — Декларацию о суверенитете России. Остальные, дескать, пошли все вон!

— Хватит грабить Россию! — вскричал Юзенков. — Мы производим 61 процент национального дохода СССР, а по уровню потребления занимаем последнее место. Лучше нас живут все республики.

— Это правильно, — сказал Савельев. — Я вам даже могу добавить фактов. Подоходный налог из России весь уходит в союзный бюджет, а Грузия, Литва, Эстония, Латвия всё оставляют себе. Большинство республик производят меньше, потребляют больше. У той же Грузии потребление в четыре раза больше, чем она производит. У прибалтов этот показатель не намного ниже. Потому они и живут лучше. В том числе за счёт России. В наших сёлах на каждые 10 тысяч гектаров пашни — не просто территории, а пашни, отметьте себе! — дорог с твёрдым покрытием около 12 километров, а в Прибалтике 70 с лишним.

— Ну, вот! Вы сами подтверждаете нашу правоту. Только так и надо было поступить.

— Да нет, не так. Горбачёву нужно было, когда он имел почти стопроцентную поддержку всей страны, поправить законами эту политику.

* Карга — ворона (южно-русск.) (прим. авт.).

— Сейчас, наверно, поздно об этом говорить, — с сожалением заметила Наталья. — Сергей Николаич рассказывал мне, как он ездил в Эстонию. Там после признания Ельциным их независимости прыгают от радости.

— А при чём здесь Ельцин? Есть союзный закон о порядке выхода.

— Да не будут они на него оглядываться! — сказал Юзенков, помахав рукой кому-то из депутатов. Народу прибывало, вестибюль опять гудел, как во время Первого съезда. — В Таллине только об этом и говорили. Они считают нас оккупантами и хотят быстрее отвалить из империи.

— А вот хрена им! Простите, Наташа... Кто-й-то сейчас говорил, что Россию обирают? Уж будьте тогда последовательны. Вы пустили зятя в дом, накупили ему мебели... телевизор японский достали — вам привезли за большие деньги из-за границы. От себя отрывали... Считали: одна ведь семья. А он вдруг решил уйти и всё на него потраченное забрать с собой.

— Будьте благороднее, — засмеялся Юзенков. — Это компенсация за нашу оккупацию.

— Ну-ка, ну-ка, — включила диктофон Наталья. — Расскажите нам про оккупацию, после которой захватчик беднеет, а жертва богатеет.

— Лучше я вам расскажу, Наташа. А заодно нашему демократическому деятелю. Может, пригодится, когда снова поедет туда. В последнее время пришлось стать экономистом — полмесяца работал с тремя профессорами. Очень дотошные люди. Так вот... Сергей... Николаич? (Виктор вопросительно поглядел на Юзенкова. Тот снисходительно кивнул) За сорок пять лет нашей “оккупации” — я это слово, как вы догадываетесь, беру в кавычки, объём выпуска продукции в Эстонии вырос в 55 раз. Вы себе как-нибудь представляете эту разницу, Сергей Николаич? 55 раз! Ваши прибалтийские... ну, уж не знаю, как сказать: друзья? коллеги? соратники? с холодной чопорностью вам говорят — это чтоб вы прониклись к ним доверием — будто в двадцатых-тридцатых годах в этих независимых странах существовала высокоразвитая рыночная экономика. Стопроцентная брехня! Промышленность Эстонии и Латвии, а они были более развиты, чем Литва, не достигла даже уровня 1913 года! В сороковом году, когда они вошли в состав СССР, объём машиностроительной продукции Латвии составлял всего 40 процентов от тринадцатого года! А что у нас уже было к этому времени, помните? Хотя бы по книжкам. Из общей казны, а в основном, как вы правильно говорите, за счёт России, в сельское хозяйство одной только Эстонии было вложено 6 миллиардов рублей. Подчёркиваю вам: только в сельское хозяйство 6 миллиардов!

“Оккупанты” за четыре с половиной десятилетия — срок-то, в общем, небольшой — построили в Эстонии электростанции, различные заводы, дороги, аэродромы, корабли. Да что там мелочиться — глубоководный Новоталлинский порт обошёлся советскому бюджету — вы сейчас предпочитаете считать в американских рублях — в 6 миллиардов долларов!

Савельев снова, как неделю назад, разволновался. Тогда он потребовал обсудить на редколлегии подготовленную им статью трёх авторов. Это были неизвестные ему профессора из Института экономики, что, впрочем, для Виктора не имело никакого значения — за последние годы все ныне известные вышли из вчерашних неизвестных.

Сначала был телефонный звонок. Мужчина представился, назвал все свои звания. Ровным голосом сказал, что сегодня пресса обсуждает только решения прибалтийских республик о выходе из состава СССР, но никто не говорит о правовой стороне этого дела и, тем более, об экономической ответственности. А в действительности всё не так просто, сказал профессор. Мы с коллегами проанализировали экономические и социальные аспекты пребывания Литвы, Латвии, Эстонии в составе Советского Союза и полагаем, что общество должно знать об этом.

Савельев с удовлетворением ухватился за предложение, поехал в институт. Авторами оказались приятные люди. Это был микроинтернационал. Лидировал в троице пятидесятилетний выходец из Эстонии — невысокий лысоватый мужчина с живыми карими глазами Илья Рувимович Гольдман. “Пристяжными”, но со своими чётко выраженными позициями, были его моло-

дые коллеги — украинец из Чернигова Василий Игнатьевич Петренко и чистейший “русак” из Костромской области Сергей Иванович Смирнов.

Виктор прочитал написанное ими и попросил переделать. Авторы очень резко критиковали национальную политику Горбачёва, а это, знал Савельев, было абсолютно непроходимо в газете. “Главное — экономика, — сказал он, — на неё надо напирать”.

После этого они ещё встречались в институте и дважды в редакции. Профессора курили сигарету за сигаретой, в кабинете было дымно, чего Савельев не выносил, хотя сам курил тоже. “Вы, как три паровоза Черепанова”, — морщился он, открывая форточку и дверь. “Паровозы” не обращали внимания и шумно отставали свои цифры, доставая из портфелей статистические справочники, какие-то монографии и книги на разных языках. Наконец, статья была готова. Савельев назвал её “Сколько будет стоить нам развод устроить?”

Насколько знал Виктор, и это подтверждали авторы, никто ещё в советской прессе такого анализа не делал. Профессора подробно рассказывали о том, как, благодаря включению в общероссийский рынок, стала развиваться в конце XIX — начале XX веков промышленность будущих Эстонии и Латвии, как потом резко деградировала их экономика в период независимости — в 20–30-е годы, и какие вливания получили три прибалтийские республики за советское время.

Делая поправки на особенности советского ценообразования, закрытость внутреннего рынка, специфику финансовой системы СССР, авторы убедительно показывали, за счёт чего создавалось отличающееся от других благополучие прибалтийских республик. Согласно перспективному планированию, большинство созданных здесь отраслей подпадали под особую государственную протекцию, а значит, имели определённые преференции. У произведённой тут продукции была более высокая стоимость по сравнению с заниженными ценами на сырьё, которое поставлялось для её выпуска. Благодаря этому национальный доход прибалтийских республик создавался за счёт присвоения части национального дохода других республик страны. И составляло это, например, для Латвии полтора миллиарда рублей в год, или больше пятой части всего произведённого ею национального дохода.

Поэтому в Прибалтике жили богаче, что видно было даже по такому показателю, как размеры банковских вкладов. Авторы приводили цифры, и они сильно отличались от общесоюзных.

Отдельная главка рассказывала о построенном здесь за короткий советский период. Сначала этот раздел занимал много места, но профессора согласились с Виктором, что всё не назовешь — газета не брошюра, и оставили только крупное.

Особенно любопытными были сведения по Литве. Если на латвийских и эстонских территориях ещё при царской России существовала некоторая промышленность, то Литва до 1940 года была почти полностью аграрной. На 3-миллионное население приходилось 40 тысяч рабочих. Крупными предприятиями считались три фабрики: чулочная, табачная и спичечная. На остальных кустарных производствах работало самое большее по пять человек.

Один абзац Виктор хотел вычеркнуть, но по настоянию авторов оставил. Они приводили свидетельство бывшего президента Литвы Казиса Гринюса, который в 1939 году обследовал 150 крестьянских хозяйств. По его словам, 76 процентов крестьян носили деревянные башмаки и только два процента — кожаные ботинки. Всего один процент женщин имели ночные рубашки, почти пятая часть обследованных женщин не пользовались мылом, в 95 семьях из 150 обнаружены паразиты.

Тот же бывший президент писал, что в Литве у 150 тысяч человек — туберкулёз, почти 80 процентов детей больны рахитом, смертность превышает рождаемость.

Эти свидетельства, настаивали профессора, лучше покажут, какой скачок сделала Литва за короткий советский период.

Действительно, сравнить было с чем. “Оккупанты” построили десятки крупнейших предприятий, создали надёжную транспортную инфраструктуру,

преобразовали сельское хозяйство, выстроили материальную базу для социальной и культурной сферы, вкладывая во всё это громадные деньги. Республика постоянно получала из союзного бюджета примерно в 3 раза больше капитальных вложений, чем ведущие области Российской Федерации. Только за 15 лет — с 70-го по 85-й годы — Литве было выделено на мелiorацию почти столько же средств (свыше 1 миллиарда рублей), сколько соседней Белоруссии, хотя та в три с лишним раза больше. В советские годы была построена паромная переправа из Клайпеды в Германию стоимостью примерно в 3 миллиарда долларов. Открыт аэропорт под Шауляем (один миллиард долларов). Это не говоря о Мажейкском нефтеперерабатывающем заводе, мощной Литовской ГРЭС с городом поблизости и, наконец, Игналинской атомной электростанции. Её сначала намечалось построить в Белоруссии. Выбрали Литву. Станция оказала огромное влияние на экономическую и социальную жизнь республики. Производство электроэнергии по сравнению с 1940 годом выросло в 258 раз. Это позволило полностью электрифицировать все города и населённые пункты, вплоть до хуторов. Механизация сельского хозяйства приблизилась к уровню развитых европейских стран.

На фоне свидетельства президента досоветской Литвы впечатляюще смотрелись данные о современном состоянии науки, культуры, социальной сферы. По количеству студентов на 10 тысяч жителей Литва шла впереди Японии, Англии, ФРГ. Появились новые театры, которые получили красивые современные здания. Архитектурная раскованность в застройке городов и посёлков привлекала внимание специалистов из других республик.

Такие же перемены во всех областях жизни произошли за 45 лет и в двух других республиках. Перед вступлением в Советский Союз главным экспортном Прибалтики были масло, яйца и лесоматериалы, поскольку иных видов продукции не существовало. То немногое, что выпускалось из промышленного до революции, в годы независимости, за неимением сырья и спроса, зачахло.

Образованием могли воспользоваться немногие. В сороковом году в Латвии на 10 тысяч человек населения насчитывался 51 студент. Через сорок пять лет, в середине восьмидесятых — 180. В течение двух десятилетий независимости в той же Латвии работало всего 8 тысяч специалистов с высшим образованием. В начале восьмидесятых вузы республики каждый год выпускали по 7 тысяч специалистов.

Поскольку прибалтийские республики, писали авторы, решили выйти из состава СССР, надо сесть, всё посчитать, определить, кто, кому, сколько должен, и цивилизованно развестись.

При этом не забыть и другие вложения. В 1939 году Советский Союз передал Литве Виленский край, входивший до революции в состав России, а потом оккупированный Польшей. В том же году Германия захватила Клайпеду, переименовала в Мемель и включила этот порт, с прилегающими территориями, в состав Кенигсбергского округа. Весной 45-го после тяжёлых боёв и больших потерь советские войска выбили немцев отсюда. По логике даже не оккупантов, а нормальных победителей Мемель-Клайпеду требовалось присоединить к Калининградской области России. Но правительство СССР отдало политую кровью советских солдат землю Литве. Благодаря таким добавкам площадь республики значительно увеличилась.

В статье трёх профессоров был ещё один пассаж, который, по мнению Савельева, мог вызвать сопротивление Бандаруха. Авторы резко оценивали сравнения прибалтийскими национал-экстремистами “советской оккупации” с фашистской и намерение устроить для СССР “второй Нюрнбергский процесс” за расправы над якобы мирными жителями, к которым они относили вооружённое подполье. Отвергая эти обвинения, профессора, в свою очередь, приводили факты другого рода, которые старательно замалчивали национал-демократы. А именно — уничтожение здесь евреев во время войны.

— Зачем нам с вами это в данной статье? — обвёл Савельев авторской весь кусок в гранках, где говорилось о Холокосте в Прибалтике. — Утяжеляем статью... Лишний повод для зацепки. И опять уходим от экономики. Лучше вернуться к этому отдельно.

— Без этого нельзя, Виктор Сергеич, — покачал головой Гольдман. — Люди должны знать прошлое сегодняшней демократии, которая выдвигает обвинения Советскому Союзу. Страны Балтии показали мрачный рекорд. Эстония стала единственной европейской страной, которая отпартовала Гиммлеру, что в короткий срок полностью “очистилась от евреев”. “Очистку” проводила пронацистская эстонская организация “Омакайтсе”, что переводится, как “Самозащита”. Сначала уничтожили местных евреев, потом — в концлагерях — привезённых из разных стран.

Но особенно постарались Литва и Латвия. Тут от коренного еврейского населения осталась одна десятая часть. В то время как в Бельгии и Нидерландах, где тоже был “новый порядок”, евреев уцелело больше. В Нидерландах — около четверти, в Бельгии — свыше половины.

— Почему такая разница? — удивился Савельев.

— Другое отношение местного населения, — ответил за коллегу Сергей Иванович Смирнов.

— Да, это стало важным фактором, — подтвердил Гольдман. — Здесь расправы с евреями начали не команды немцев, а Фронт литовских активистов. Самый кровавый погром произошёл в Каунасе. Он начался 24 июня — ещё до вступления немцев в город. Убийства продолжались несколько дней и в разных местах. Во двор одного гаража литовцы в гражданской одежде, с белыми повязками на руках и с винтовками, согнали несколько десятков евреев. Поставили группой. По одному стали подводить к молодому парню с ломом в руках. Тот с размаху бил ломом по затылку. Человек замертво падал. Стоящие поблизости литовцы, среди которых были женщины и дети, после каждого удара аплодировали.

— Невероятно, — проговорил потрясённый Савельев.

— Это свидетельства немцев, Виктор Сергеич. Другую часть обречённых убивали иным способом. Вставляли в глотку водяные шланги, и напор воды разрывал человека. Когда всё было кончено, молодой парень положил лом и пошёл за аккордеоном. Встав на гору тел, он заиграл литовский национальный гимн. Толпа дружно запела его.

Профессор Гольдман разволновался. Некоторое время он молча смотрел на обведённый Савельевым кусок текста в гранках. Потом заговорил снова:

— Только за первые пять месяцев фашистской оккупации в Литве убили около 220 тысяч еврейских мужчин, женщин, детей. А всего было уничтожено 95 процентов живших здесь до войны евреев.

Поэтому люди должны знать, что было. И про полицейские батальоны, активно сотрудничающие с гитлеровцами, и про сформированную в Эстонии дивизию СС. Всё надо знать, Виктор Сергеич. В Литве угрожают людям, которые были связаны с НКВД и КГБ. А в руководстве “Саюдиса” их немало. Кто такой глава “Саюдиса” Ландсбергис? Невероятно тёмная лошадка! Отец работал в пронацистском правительстве Литвы. Подписал благодарственное письмо Гитлеру. Бежал с немцами в Германию. В конце пятидесятых вернулся в Литву. Вроде бы должен быть судим. Но ему вернули дом, дали персональную пенсию. За что такие блага вместо виселицы? Говорят, работал на НКВД. И сын — это широко обсуждается в Литве — был давно завербован Комитетом госбезопасности. Люди обвиняют его... считают: “закладывал” товарищей и соратников. “Саюдисты” об этом наглухо молчат, а Советскому Союзу, посмотрите, будут выставать счета. Горбачёв, если так дальше дело пойдёт, чего доброго согласится. Доигрался, дрянь, в бескрайнюю демократию.

— Ладно. Попробуем оставить.

Савельев, как полагалось по технологии, отдал статью ответственному секретарю Захарченко. Через час тот позвонил по внутреннему телефону.

— Витя, спустись.

В кабинете Захарченко был Бандарух. Он курировал отделы внутренней политики.

— Где вы раскопали, Виктор Сергеич, этих мракобесов? — тускло спросил Бандарух. — Их рассуждения подходят для реакционных изданий. Посоветуйте им отнести свои мрачные причитания куда-нибудь, вроде “Советской России”, или в прохановский “День”.

— Против чего протестуют твои авторы, старик? — по-свойски улыбнулся Захарченко. — Против демократии. Против естественного права на национальное самоопределение. Ты же сам говорил — я хорошо помню твою потрясную фразу: рабы встают с колен! Вот они и встали. А теперь тебе это не нравится.

— Не нравится пожар, который разжигают в сухом лесу. Там што начинает твориться — в этих национальных самоопределениях? Всех, кто другой нации, под корень? Русских... Украинцев... Евреев... Боюсь, скоро надо будет говорить иначе: когда с колен встают рабы, живут, кто делают гробы.

— Оставьте ваши сомнительные афоризмы, — повысил голос Бандарух. — Статья у нас не пойдёт.

— Тогда я требую обсудить её на редколлегии.

Савельев хорошо знал свою редакцию. Когда-то слышная прогрессивной и даже либеральной, она к концу перестроечных лет стала напоминать корову на льду. Одной ногой опиралась на горбачёвское словоблудие, и хотя многие журналисты понимали, что это зыбкая опора, сдвинуться, из-за вьешейся привычки подчиняться, не имели решительности. Другой ногой пыталась нащупать твердь в нарастающем ельцинском максимализме, опасаясь при этом провалиться сквозь разрушаемую структуру льда. Третьим копытом традиционно, только теперь с большим сладострастием, была по антисемитизму, усматривая его даже в доказательной критике жулика с еврейской фамилией. И только четвёртая нога устраивалась, кажется, надёжнее всех. Её агенты, получая тайно в конвертах деньги, а на ухо конфиденциальную информацию, стали активно внедрять в сознание массового читателя положительные сведения о близком приходе финансового мессии — Международного валютного фонда, и о спасении им страдающих советских граждан.

Обсуждение статьи на редколлегии оказалось похожим на игру в одни ворота. Савельев защищал их, а выступающие старались забить мяч. На этот раз две коровьи ноги — “горбачёвская” и “ельцинская” — действовали согласованно. Бандарух, как куратор направления, сказал, что процессы, идущие сейчас в прибалтийских и других союзных республиках, соответствуют положительным оценкам Михаила Сергеевича “о росте национального самосознания у всех наций и народностей страны”. Говоря это, он, прежде всего, имел в виду свою Украину. Перехват власти “Рухом” волновал и радовал его, но Никита Семёнович строго контролировал себя.

Куратор экономических отделов Даниэль Родригес — главный демократ редакции, высказался против публикации с другой стороны.

— Борис Николаевич поддержал стремление граждан прибалтийских республик к самостоятельной жизни. Чего мы боимся? Дайте людям самим определить свою судьбу.

На замечание Савельева, что авторы выступают не против этого — они за цивилизованный развод, “дита республиканской Испании”, как называли Родригеса в редакции, поскольку его привезли в Союз с тысячами других испанских ребятишек после тамошней гражданской войны, со вздохом ответил:

— Пусть уйдут с любовью. Деньги будем считать потом.

Но откровенней всех проявила позицию радикальной группы обозревательница отдела школ и вузов Окунева. Она не была членом редколлегии, однако потребовала у главного редактора, “в соответствии с демократическими нормами”, права высказаться. Главный был человеком мягким, интеллигентным. Его большая эрудиция, разносторонняя образованность, английский лоск в одежде — в молодости работал корреспондентом ТАСС в Великобритании — вызывали уважение. Но этих прекрасных качеств вполне хватало для другого времени. Времени необсуждаемых решений. Когда наступила пора горластых циников, агрессивных большевиков-демократов и слизняковости привычной власти, ценным стало другое качество. Твёрдость. Причём, не ломовая, а гибкая твёрдость клинка.

У главного редактора, как стал замечать Савельев, этой твёрдости не оказалось. Он полагал, что уступки отвязным наступателям — есть необходимая толерантность, а мягкость пластилина то же, что и доброта. Поэтому требование Окуневой он принял, как меньшее из возможных зол.

— Сначала я думала: зря мы тратим время на обсуждение статьи, — сказала она. — Реакционеры, русские шовинисты хотят снова вернуть страну в Гулаг — это видно невооружённым глазом. Поэтому разговор с ними должен быть короткий.

— К стенке авторов, — подсказал Виктор.

— Это ваши методы, Савельев! Ведь статью-то принесли вы! Значит, вы согласны с авторами. А что они предлагают? Обобрать и без того пострадавшие народы Прибалтики. После недавней нашей публикации из Эстонии, где мы критиковали лидеров “народного фронта”, я получила оттуда несколько писем. Все они касаются русского населения. “Разве мы вас звали? — спрашивают люди. — Почему вы навязываете нам свои проблемы?”. И действительно. Мы почему-то хотим, чтобы чехи, венгры и поляки озаботились участью войск, которые мы наконец-то выводим, чтобы они ещё платили. И от прибалтов требуем сочувствия прямым потомкам оккупантов. Тем, чьи дети в военной форме недавно расстреляли мирных граждан в Вильнюсе при штурме телебашни.

Вера Григорьевна Окунева — невысокая, давно потерявшая стройность фигуры женщина, была в том возрасте, который можно определить, только заглянув тайком в паспорт. Одни давали ей “сорок с копейками”, другие — “пятьдесят с хвостом”. Когда она следила за собой: красила волосы, работала личным гримёром, надевала туфли на высоких каблуках — вполне сходила за подругу молодости. Если наступал период депрессии и разочарования, эта кое-как причёсанная тётка, в разношенных башмаках, с отвислой нижней челюстью становилась явной роднёй старости. Однако и в том, и в другом её состоянии одно не менялось на лице Окуновой — мерцающий злой требовательностью взгляд.

— Теперь я поняла, для чего мы обсуждаем эту статью, — сказала она и повернулась к главному редактору. — Её публиковать нельзя — ежу понятно. Но нам несут такие предложения, и мы, к сожалению, можем не уследить, как под прикрытием плюрализма мнений, свободы слова некоторые наши коллеги протащат свои антидемократические, шовинистические взгляды.

Это было как бы указание главному, на что ориентироваться. Но Савельев решил, что хотя главный хорошо знает его позицию, поскольку с критикой межнациональных отношений и разрушительного курса Горбачёва Виктор выступал теперь едва ли не на каждой “летучке”, он должен попытаться отстоять предложения профессор-государственников.

— По поводу вывода наших войск. Хотя об этом в статье не говорится — это из другой оперы, но музыка одна. Я категорически против поспешного вывода войск из тех мест, где они квартируют. Да что я! Сотни тысяч людей не могут понять такого холуйства наших вождей перед... не знаю даже перед кем — ведь не американцы же требуют этого? К слову, об американцах. Они даже с Франко заключали соглашения о военных базах, а уж его-то режим сами испанцы признали диктаторским. Штаты свой персонал и свои базы выводят десятилетиями. Одну дивизию выводят несколько лет! А тут бросили всё и в считанные месяцы бежать. А куда бежать? А где жить? А где материалы брать? Вот какие вопросы надо задавать Шеварднадзе и его патрону Горбачёву. И, думаю, эти вопросы люди вправе задать. Теперь о статье и Прибалтике. Каждый из нас был там, и не по разу. Европа — да и только! А какой она была совсем недавно? Это што — им с неба упало? Они готовятся выставить нам счета. Учитывают, как мне сказали, всё. От экологии до репрессированных людей. А мы-то што? Их экономисты называют какие-то бешеные цифры. Вроде как десятки миллиардов долларов. Наши тоже посчитали.

— И прослезилась, — ехидно вставил Захарченко.

— Это они прослезятся. Двести с лишним миллиардов долларов составляют наши затраты! По самым скромным подсчётам. А нас призывают некоторые сердобольные (Савельев показал пальцем на Окуневу) забыть это, и к тому же быстрее выгнать оттуда ... нет, не только русских! Всех русскоязычных. По-вашему, это правильно, госпожа Окунева — мне трудно вас называть “товарищ”: Латвия — для латышей? Тогда почему в других республи-

ках не могут потребовать такого же? Нас вот здесь сколько? Одиннадцать человек. Насколько мне известно, четверо русских. Украинцы. Армянин. Поляк. Евреи. Вот вы, еврейка, согласны с лозунгом молдавских националистов: “Русских — за Днестр, евреев — в Днестр”? Или с другим там же: “Утопим русских в крови евреев!” А как бы восприняли лозунг: “Россия — для русских!”? Ведь “Грузия — для грузин!” вас устраивает, “Латвия — для латышей!” — даже в радость. А “Россия — для русских!” как?

— Вам надо в общество “Память”!

— А вам в общество нацистов! Гитлеровских!

— Перестаньте, Виктор Сергеич, — муркнул со своего места главный.

— Да вы просто “памятник”, Савельев! — закричала Окунева.

— Да, я — памятник, — насмешливо бросил ей Виктор. — Памятник интернационализму и объективности.

И сурово добавил:

— А вы будете памятником разрушения страны!

После такого скандального обсуждения статья, конечно, не была напечатана, и теперь Савельев пересказывал факты из неё при каждом удобном случае. Наталья Волкова не заметила, что диктофон у неё включен:

— Ой, я ж у вас не спросила разрешения! — смутилась она.

— Ничего страшного, — отмахнулся Виктор. — Дадите рядом с восторгами Сергея Николаича. Читателям будет интересно узнать, как на чужом горбу в рай едут. И как Ельцин помнит об интересах обираемой России.

— Он помнит! — с вызовом сказал Юзенков. — Только власти у него не хватает. Вот изберём президентом... Тогда посмотрите.

(Окончание следует)

ТАТЬЯНА БРЫКСИНА



РАЗМАЛЫВАЯ ЗЁРНА БЫТИЯ...

* * *

Ветер только и свистнет — зайди!
Так сверни же к просёлку, дорога,
Я увидеть хочу, как дожди
Намывают гостей у порога.

Не чужая под кровом родным,
Я оглажу сударыню-печку...
За семь вёрст мне почудился дым,
И тоска подкатила к сердечку.

Вязнет в хляби осенней сельцо,
Что ни ставенка — взгляд исподлобья...
Как смиренно осело крыльцо!
Как затоптана горенка вдовья!

Смирный дом, дорогая изба,
Неужели средь горницы этой
Поселилась чужая судьба,
Чтобы стыть у печи несогретой?

БРЫКСИНА Татьяна Ивановна родилась на Тамбовщине, работала на Урале мастером по производству твёрдого ракетного топлива. Окончила Высшие литературные курсы. Автор десяти книг поэзии, книги прозы "Трава под снегом", стихотворной книги для детей, двух книг переводов с грузинского. Член Союза писателей. Лауреат Всероссийской литературной премии "Сталинград" и премии "Хрустальная роза Виктора Розова". Живёт и работает в Волгограде.

Табуретку придвину к столу,
Облуплю на клеёнке картошку...
Кто я нынче родному селу?
С чем пришла к дорогому порожку?

Кроме слёз, чем ещё пособлю
Безысходности этой горючей?
Не посмею сказать, что люблю,
Коли встреча — нечаянный случай.

На прощанье — платок с головы,
Вот и всё, чем могу отдариться...
— Как вы трудно живёте!
— А вы?!
— Все под Господом... — как говорится.

* * *

Вот я приеду, и воздух осенний
Скатится яблоком в тёмные сени
Из-под соломенной крыши... И вот!..
Зеркало в доме повешено криво —
Бедность, она лишь терпением красива,
Словом любви, что до сердца пройдёт.

На тюфяке из пахучего сена
Зябко усну, поджимая колено,
Слыша сквозь сон причитанья в трубе.
Самые честные люди в Отчизне,
Вечные дети беспаспортной жизни
Рядом уснут, не переча судьбе.

Не докричаться и не добудиться!
Солью мои набухают ресницы...
Милые, милые, если б туда,
Верные Богу, дороги сходились,
Я бы спросила, о чём вы молились
Ночью, прощаясь со мной навсегда.

Если бы слёзы туда доходили,
Милые, как вы меня бы любили!
Впрочем, меня вы любили и так —
Без покаяний моих и рыданий,
В домике тихих своих ожиданий
Зимней “славянской” засыпав чердак.

С КАЖДЫМ МАЕМ

В этот звёздный лоскут с полумесяцем сонным
Пеленала меня деревенская ночь,
И стихала душа перед небом бездонным,
Не умея круженье его превозмочь.

Но повадились бить колокольные грозы,
Опрокидывать наземь корчаги огня:
Там, где падали звёзды, вставали берёзы,
От житейских невзгод исцеляя меня.

Я навек полюбила сквозное свечение
Изумрудной листвы и берёсты льняной,
С каждым маем высокое их попеченье
Всё тревожней и строже плывёт надо мной.

* * *

И я, мой друг, не думала о смерти,
О крае том, где упокоюсь я,
А жизнь вращала жернов круговерти,
Размалывая зёрна бытия,
Не различая праведного с грешным,
Счастливого с несчастным, не беря
В расчёт моих раскаяний поспешных,
И слов, и слёз, растроченных зазря.
Жила ли я, сияло ли цветенье
Иной весны — не вспомнить никому!
Всё проскользнуло облачною тенью,
Растаяло в заоблачном дыму.
И лишь душа, испитая печалью,
Соседством с неизбежностью земной,
Стремится вспять...
И даль плывёт за далью,
И Космос-Бог вздыхает надо мной.

К 10-й годовщине гибели Дениса Коротаева

Я знал его хорошо, хотя и недолго. Близкие годы нашего общения пришлись на смутное время в новейшей истории России – вторую половину 90-х. Мы все тогда – тесный кружок русских поэтов, или людей, мнящих себя поэтами, как я, – собирались под гостеприимным кровом журнала “Наш современник”. Неудивительно, что именно здесь, под рачительным взглядом Станислава Юрьевича Куняева, собиралось “племя младое, незнакомое”. Смотрю на старую фотографию: да, все молоды, талантливы, полны сил, и лишь в центре нашей честной компании выделяется солидная, грузная фигура Геннадия Григорьевича Касмынина – честнейшего, до конца жизни своей преданного русской идее поэта, заведовавшего в то время в журнале отделом поэзии. Он и собирал нас всех. Много самого пёстро-го люда приходило к нему на студию, но среди них выделялся, конечно, он – юный, красивый, талантливый Денис Коротаев.

Учёный, поэт, музыкант, да просто – живой, душевный человек, он столько мог бы сделать для блага своей страны, которую любил всей душой, всем сердцем, от которой не отрёкся в самые трудные годы, когда вся наша либеральная знать плевала на Россию, на “эту страну”. В эти годы Денис заявлял о себе совершенно конкретно: “Я – русофил”, – смеялся над эстетствующими “знатоками”, которые смотрят на картины великого русского художника Константина Васильева и не видят “. . .младой Руси прекрасный лик!”

В 1999 году в Москве было плохо. Взлетали на воздух дома, подрываемые, почти открыто, чеченскими террористами, власть бездействовала, “президент” Ельцин пребывал в маразме, исламисты захватывали Кавказ, государство рушилось, Россия, казалось, кончалась. А Денису – перспективному учёному, кандидату наук, не так давно защитившему диссертацию по теории вихрей, доценту Московской государственной академии приборостроения и информатики, предложившему работу во Франции, в одном из ведущих научных центров. . . Денис не поехал.

14 июня 2003 года ему исполнилось 36 лет. Он вступил в опасный пушкинский возраст, роковой для русского поэта. К своим летам он добился многого. Об успехах его в науке я уже сказал, но и на ниве писательства успехи его были очевидны. У него вышло четыре сборника стихотворений, он стал лауреатом Есенинской премии Союза писателей России (1996). В Московской писательской организации он заведовал сектором работы с молодыми поэтами и многим из них дал дорогу в литературу. К их числу отношусь и я. Именно благодаря помощи Дениса, давшего мне рекомендацию, я попал на совещание молодых писателей в Малеевке (1997), по результатам которого был принят в Союз писателей. Денис был исключительно внимателен к начинающим литераторам, и многие видели в нём “мэтра”, забывая, что сам “мэтр” ещё очень молод.

Если бы Денис мог отдаться полностью литературе, наверно, он сделал бы гораздо больше, чем сделал к своим годам. . . Но уж в такое подлое время мы живём – время выживания, вечной погони за деньгами, за хлебом насущным. . . Сполна пришлось отдать этому дань и Денису. Помимо своей научной и преподавательской деятельности в Академии приборостроения, он взялся руководить крупным интернет-центром в Москве, хозяевами которого были американцы. Эта бизнес-деятельность отнимала у него много сил, тех сил, что в ином случае были бы направлены на творчество, как научное, так и литературное. Но ему было уже не до того. Мир делячества высасывал все его душевные соки. Как-то весной 2003 года я увидел его в Малом зале ЦДЛ на одном поэтическом вечере. Он сидел поникший, уставший, словно подстреленная птица. Увидел меня и вдруг улыбнулся своей прежней, “детской”, но уже какой-то вымученной беззащитной улыбкой.

– Как ты, Денис, что с тобой?.. – Он только махнул рукой. . .

Вечером 8 августа 2003 года Денис вёл машину, направляясь со своей дачи, что возле города Раменского, в Москву. По неведомым причинам он ехал окольными дорогами, объезжая Москву по окружной. В районе Клина он выехал на Ленинградское шоссе и направился к Москве. Была пятница, полоса движения к Москве была свободна, московский автотранспорт в это время заполняет до отказа полосу движения от Москвы – в сторону подмосковных дач. Неожиданно прямо в лоб ему навстречу вылетел неизвестный лимузин. Страшный удар, машина всмятку... Не стало прекрасного русского поэта. Он умер мгновенно...

В десятую годовщину его гибели журнал “Наш современник” публикует подборку не публиковавшихся прежде или малоизвестных стихов Дениса Коротаева “Вехи и пути”, подготовленную его отцом – Геннадием Коротаевым.

Станислав Зотов

ДЕНИС КОРОТАЕВ



ВЕХИ И ПУТИ

Я СКАЖУ ВАМ СО ВСЕЙ ОТКРОВЕННОСТЬЮ

Я скажу вам со всей откровенностью:
Разговоры о будущем — вздор.
Даже звёзды своей неизменностью
Раздражают наш сумрачный взор.

Что нам вехи, пути, траектории?
Не стесняясь решительных мер,
Повороты библейской истории
Мы на свой перепишем манер.

Здесь не быть Исааку с Иаковом.
Здесь Иуду объявят Христом,
Здесь проклятие ляжет на всякого,
Кто не стал ни рабом, ни хлыстом.

Здесь уже не нужны провожатые
В лабиринтах наследственных пут:
Наши дети, по пьянке зачатые,
Наших внуков по пьянке зачнут.

Здесь подняли престиж подаяния,
Здесь за маской не видно лица,
Здесь грешат под зонтом покаяния
Без конца, без конца, без конца...

29–31 августа 1991

НАСЕЛЕНЬЕ

По мановению руки,
По августейшему велению
Мы — россияне — обрели
Собачью кличку: население.

Для нас товары создают
И изучают наше мнение...
И для приплода берегут
Людское стадо — население.

Но ни в газетной трепотне,
Ни в сиплых телеизъяснениях
Встречать не доводилось мне
Слова “культура населения”.

И жаждой истины томим,
Я вижу правду в утверждении:
Духовный мир несовместим
С животным словом “население”.

Ужель блеск гоголевских фраз
Или Чайковского творенья
И лиры тютчевской алмаз
Создало тоже население?

Для тех, в ком дух народный жив,
Не будет больше оскорбленья,
Чем унижительный ранжир
По “госстандарту населения”.

Но тот, кто о корнях забыл,
В былом узрел лишь прегрешенья,
Своё лицо легко сменил,
Закрывшись маской “населения”.

И в мраке набежавшей тьмы
В последний раз мелькнёт сомненье:
Неужто заслужили мы
Такое имя — “население”?!

В безликих этих именах
Так много хладного презренья,
Что душу сковывает страх:
Возможно ль наше избавленье?

Нас ждёт безрадостный итог,
Коль мы от спячки не очнёмся
И, как беспомощный щенок,
На нашу кличку отзовёмся...

1994 (или ранее)

СЛАБЕЕТ ТВЕРДЬ...

Слабеет твердь. Река меняет русло.
Безумие растёт, что каланча.
И полчища не новых и не русских
По Родине ползут, как саранча.

Куда мне, простаку, до их гешефта:
Я в нём такой профан, какой и был.
Любой мерзавец — шеф, и что ни шеф, то —
Активно практикующий дебил.

С земли они, как прежде, недоступны:
У каждого — кормушка и загон.
Любой мазурик — шеф, и каждый туп, но —
Не более, чем требует закон.

Они пришли навеки поселиться,
Купив себе навеки же уют,
И морды, непохожие на лица,
Размеренно жуют, жуют, жуют,

Топорчатся, деля остатки куша,
Похрипывают, струнами бренча,
Но саранче потребно что-то кушать,
А корм не производит саранча.

И всё-таки из замкнутого круга
Есть выход, идеальный, словно шар:
Пускай они пока едят друг друга,
А после их пускай пожрёт пожар!

28 августа 1999

ПОМАНИТЕ МЕНЯ, ПОМАНИТЕ

Поманите меня, поманите
В те края, где кромешен рассвет,
Золотые тончайшие нити
Протяните туда, где нас нет,

Где понуры, покорны, печальны,
Под капель каучуковых слёз
Не по-нашему шепчутся пальмы,
Ритуально роняя кокос.

Поманите, и charterным в среду,
Без сомнения и без стыда,
Я уеду, уеду, уеду,
Полагая, что не навсегда;

Схороню в одиночестве мир мой
На некрополе сотен кровей,
Осчастливлю безликую фирму
Бестолковой работой своей;

Пожелаю тепла и уюта,
Словно барменом ставший лакей,
И женюсь на девице из Юты,
Говорящей свободно “O’key...”;

Стану розовым, крупным, рогатым,
Заучившим своё “ни гу-гу”,
И, конечно же, стану богатым,
А счастливым, увы, не смогу;

Стану нервным, сопьюсь тихой сапой
Вдалеке от берёзовых вьюг...
Оттого я не еду на запад,
Оттого я не еду на юг...

Поманите меня, поманите
И, услышав нелепый ответ,
Помяните меня, помяните:
Мол, рехнулся бедняга-поэт.

В этот мир мы явились за разным
И сполна получили своё...
Вы не бойтесь, оно не заразно —
Это тихое счастье моё!..

1999

ПОНИМАЕТЕ, Я НЕ МОГУ ОБЪЯСНИТЬ...

Понимаете, я не могу объяснить,
Почему я люблю эту чудо-страну...
Ну, совру что-нибудь про незримую нить,
Ну, припомню две строчки Есенина, ну,

Намешая салат из плакучих берёз,
Тесной комнаты с видом на нефтезавод,
Типового двора, где не то, чтобы рос,
А скорее — пытался увидеть восход,

Поднатужусь — и вспомню грибные леса,
Где полно комарья и других грибников,
Купола и кресты Золотого Кольца
И кровавые тайны минувших веков,

Опишу, как сумею, покойницу-мать,
Что — одну на весь свет — бескорыстно любил,
И скажу, как ведётся, что нас не понять,
Не измерить и что там ещё... Позабыл...

Это будет не то, это будет не так,
Но нездешнему не передать никогда
То, как сердце стучит стыкам рельсовым в такт
На пути из “оттуда” в родное “сюда”,

Где у пыльных берёз и заиленных рек,
Провожая закат и встречая восход,
Каменя, стоит и стоит человек
И глядит, не дыша, на невидимый свод...

23–25 августа 2002

ОН ЕХАЛ, СИДЯ НА БРОНЕ...

Он ехал, сидя на броне...
Деревни плыли в стороне.
Туман, спустившийся с горы,
Уже готов был до поры
Укрыть низины.

А он курил за часом час,
Буравил ночь огнями глаз
И различал почти без зла
То вопли горного козла,
То муэдзина.

Он знал — так надо, но кому?..
Он сомневался, что ему
И что кому-нибудь из нас,
Но есть присяга и приказ,
И совесть, что ли...

И кто-то требовал мочить,
А он хотел детей учить,
И, если будет быстр курок,
Он доживёт и даст урок
В начальной школе.

В его далёком городке
Дома стекаются к реке,
Поля теряются во мгле,
Подсолнух клонится к земле.
Наверно, вызрел...

А здесь — совсем иной уклад,
И вечно прав лишь автомат,
И на других ему плевать:
Он научился убивать
В ответ на выстрел...

Он ехал, сидя на броне,
В своей расколотой стране,
Курил, всё думая о том,
Что хорошо бы хоть потом
Пожить достойно.

И сигарета горяча
Была, как тихая свеча,
Что через три далёких дня
Затеplit вся его родня
Заупокойно...

19 ноября 2002

ПИСЬМА, ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ ЖИЗНЬЮ

Из переписки М. Вишнякова — Ст. Куняева

В сентябре 1979 года я получил письмо из Читы от Михаила Евсеевича Вишнякова. С этого дня и началась наша переписка, длившаяся более четверти века. А когда я стал главным редактором журнала “Наш современник”, то он, один из лучших поэтов своего поколения, начал постоянно печататься на его страницах.

В 80-е годы мы стали время от времени встречаться сначала как единомышленники, а потом и как друзья на наших съездах и пленумах, которые были как воздух необходимы нам всем в лихорадочное время так называемой перестройки. Но главная суть наших отношений всё-таки теплилась в письмах.

Мой архив богат папками, в которых сложены письма многих литераторов и Советской, и нынешней России. Кое-что из этих архивов — переписку с Николаем Рубцовым, Анатолием Передреевым, Вячеславом Шугаевым, Виктором Астафьевым, Татьяной Глушковой, Игорем Шкляревским, Георгием Свиридовым, Яном Вассерманом, Александром Межировым — я опубликовал в своих воспоминаниях. В 2012 году в журнале “Наш современник” была напечатана наша обильная переписка с Василием Беловым. В ближайшем будущем, если найдутся для этого время и силы, я подготовлю к печати переписку с Александром Солженицыным, Юрием Ключниковым, Владимиром Бушиным, Виктором Лапшиным. Но готов поклясться, что самые интересные, самые глубокие, самые переполненные жизнью письма приходили ко мне из далёкой Читы от Михаила Евсеевича Вишнякова. Я предоставляю нашим читателям возможность познакомиться с характером и духовным миром этого необыкновенного человека сегодня, пока ещё существуют люди, способные прочитать и понять эти письма, пока мутная волна-цунами всеобщего одичания, подобная фукусимовой волне, не прокатилась по России, смывая всё, чем жили русские люди в нашем великом XX веке.

Но я должен предостеречь читателей: не обращайтесь большого внимания на то, что Михаил Вишняков превозносит в своих письмах меня как своего старшего друга и наставника. Дело не в этом, а в том, что он задавал в своих письмах мне и миру такие страстные вопросы и находил на них такие страстные ответы, и тем самым выражал свою сущность столь ярко, что не я, а именно он сам, может быть, того не сознавая, становился героем нашей эпистолярной стихии. Его письма ко мне на равных разговаривали с моими книгами, которые я посылал ему, и это тем более становится сейчас, по истечении нескольких лет после его смерти, столь очевидным для меня. Тем более что мои письма к нему, как мне помнится, всегда были деловыми, поучительными, и он отвечал не на них, а на всю полноту бытия, которую с избыточной щедростью находил в моих книгах, и отвечал мне с не меньшей, а может быть, и с большей полнотой чувств, изложенных в письмах-исповедях.

Он уважал и любил многих своих старших собратьев по перу и своих ровесников, и потому с радостью посвящал свои лучшие стихи Валентину Рас-

путину, Анатолию Гребневу, Владимиру Цыбину, Николаю Коняеву, Владимиру Берязеву, Станиславу Золотцеву.

У него есть стихи, посвящённые памяти иркутского поэта Сергея Иоффе, Анатолия Передреева и памяти нашего общего друга – великого бурятского поэта, стихи которого я переводил с наслаждением, – Дондока Улзытуева. Он был поэтом, создававшим культ дружбы.

За три года до смерти он прислал мне трёхтомник своих избранных произведений. Представляю, как он был счастлив, издав эти три заветных тома! На титульной странице первого тома его рукой была сделана надпись: **“Учителю и сотаиннику духа с поклоном из нерчинских рудников и даурских морозных вершин. Храни тебя Бог!**

Автор М. Вишняков. 2 октября 2005 г<ода>. Чита”

А титульный лист третьего тома был исписан сверху донизу:

“С. Ю. Куняеву: самый и самый авторитетный для меня Учитель России, – СК! – вот и я дожил до трёхтомника! Не обрекаю тебя на чтение всех 470 стр.; прошу хотя бы прочитать стр. 295–386 – что сие: русский лубок или блудословие пера поэтического, а...? Не ругайся!

Р. С. Живой, пишу, не сплю. Часто по ночам вспоминаю некоего поэта, что в “НС” напечатал:

*Север ты наш и восток!
Реченьки наши неузкие,
Только бы силушки русские
Не уходили в песок.*

*Р. С. Мои пока не уходят.
М. В.”*

Чтобы современному читателю, одичавшему от блужданий по дебрям интернета, было ясно, какое значение Михаил Вишняков придавал письмам, без которых не могла бы существовать наша страна, раскинувшаяся с востока на запад чуть ли не на десять тысяч вёрст, напомним, что его последним произведением, присланным летом 2005 года в “Наш современник”, было блистательное исследование “Перо краевое” с подзаголовком “Судьбы писем в Сибири...” Напечатано оно было в октябрьском номере журнала за тот же год.

А чтобы окончательно почувствовать, что означали для него письма, которые он писал сам и которые получал от друзей, я закончу это краткое предисловие стихотворением, которое получил из Читы, не помню, в каком из 90-х годов прошлого века и которое частично напечатано в очерке “Перо краевое” с таким послесловием:

“Эти стихи, посвящённые Станиславу Куняеву, – мой низкий поклон всем сотаинникам мысли и духа, поклон от русского мира, пульсирующего на “окраинах дальних и диких”. И нет, не властная вертикаль государственности, а наши письма, наше дружество и поддержка, желание не потеряться в рассяенье, как единый исторический народ, и есть та великая скрепа, которой нам до смертного креста соединять Отечество, сращивать, как сруб в колодце, глубину почвы и высоту неба – весь наш род, родство и Родину.

Письма по-русски – это не столько информационный посыл, сколько духовное вопрошение и наставничество, поучение и пророчество, бездна “ума холодных наблюдений и сердца горестных замет...” <...>

Когда лютует буран в Чите или Магадане, трещит морозобойный январь в Иркутске или Оймяконе, когда жить страшно и стыдно, вдруг откроешь почтовый ящик, увидишь письмо – в сердце разрывается гремучая граната счастья, восторга, праздника восстановленной связи с прошлым и будущим, с мощной ЕЭС – единой энергетической системой духовного освещения”.

Вот на какую высоту возносил переписку с друзьями Михаил Вишняков, один из лучших поэтов поколения, рождённого после Великой Отечественной, стягивавший своими мыслями и чувствами громадные просторы России в единое целое, именуемое Родиной.

Ст. Куняев

Здравствуй, Станислав!

Пишет тебе Михаил Вишняков из Читы – как-то нас познакомили в “Октябре”, м<ожет> б<ыть>, и не помнишь, – дело не в этом.

Завтра утром в 8.00 я уезжаю в командировку в “глубинку” Забайкалья, надо собираться, уже вечер, но твоя книга (купил сегодня)¹, как проклятье, – давит и давит, не даёт собираться, сосредоточиться – вот чертыхнулся – сел писать.

“Глубокий день” подтвердил мою мысль, рождённую года 3 назад: кончились времена, когда поэта объявляли и праздновали всей Россией по 1–2 стихотворениям. “Вот, – говорил я, – будут нас печатать, где-то хвалить, где-то ругать, но по **Большому** счёту так и не будет видно. Зато годам к 50-ти, когда выйдут одно-двухтомники, – ахнут: “Это же гиганты! – как мы их не заметили, где они выросли и т. д.” (Речь не о славе – об итоге нашей работы в поэзии, о конечном восприятии мыслящей Россией нашего поколения.)

Теперь вижу, что эта мысль относится и к тебе, хотя ты – иное поколение.

Буду честен: я знал твои стихи давно. Но сказать, что Куняев влиял глобально на поэзию в 60–70-е годы, не могу. Влияли – пусть это и будет досадно – Евг. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, тот же Роба Рождественский...

Но вот вышел том – какая даль открылась! Ты хоть сам не сознаёшь, что свершил, что содеял? Наша импотентная критика ничего не заметила, а книга – явление, достойное Гос<ударственной> премии.

В последние годы я мало потрясаюсь поэзией. “Старики” уже далеко и не устраивают, а современники – что ж? – открою, прочту 2–3 стиха... А-а-а, не лучше меня – чего же читать то, что я перерос уже в себе... Твою книгу прочёл с чувством – лучше меня, есть чему поучиться, есть кого догонять.

Ещё одна мысль: впервые в России выросло поколение, за спиной которого нет **героического** – войны, гражданки и т. д. Нельзя же считать, что жизнь прошла “недаром”, что способствовал выполнению плана какой-то овчинной фабрикой или заводом. У нас впервые нет **внешнего** идеала. Ты посмотри: “старики” вновь и вновь “прячутся” в военную тему. Почему? А потому, что остальное в их жизни, по сравнению с войной, – тускло, серо, “нехудожественно”. Просто пасуют перед сложностью нового мира. Ты – один, который ищешь идеал прошедшей молодости не во внешнем – войне, стройках, – а внутри. Вот и отчего над твоей книгой мне хочется плакать – столько в ней красоты и страха (красота и жизнь пройдёт). Я этого же боюсь в своих стихах, щемящей боли и вины перед миром, жути перед природой и Вселенной. (После наших странно-обнажённо-непостижимых вещей так хочется взять в руки Грибачёва – всё ясно, солнечно, уверенно. Тупо, но уверенно).

Влачим мы босые души по Земле, потрясённые Великим и Малым бытием, – как найти гармонию? Как примириться? Ведь даже в наших “примиряющихся” стихах столько боли и жути перед мигмом, который “канет во мгле”². Что случилось, а? Мир вроде бы идёт к стабильности, войны и катастроф не видно, но откуда такая боль от красоты и полноты мира (я – вот вспомнил – я переживал, что жизнь не вечна, уже лет в 6–7, и содрогнулось детское сердце и до сих пор колотится).

Твой “Глубокий день” вносит в мою душу – душу читателя – дисгармонию, какой-то проклятый наркотик, плачу – бросаю, опять тянусь, как садист, на праздник муки и боли.

Вот и сомкнулось: начал я писать уверенные стихи, всё в них было прочно. Повзрослел – стал думать: куда иду? Сейчас увидел – туда, куда ты пришёл уже. А там – страшно и беспощадно, там не уснёшь благостно, там всё беззащитно от кипучей и **жестоко-правдивой мысли**. Голгофа души.

А по-детски, по-житейски мне хотелось бы гармонии, покоя, отдохновения в поэзии от грубой жизни.

Знаю, что пойду, как и ты, что иного пути нет, пока не искромсаем себя, пока не умрём – всё будем мучаться.

Прости.

Спасибо, что ты живой!

Михаил Вишняков, 30/IX-1979.

Р. С. Нашёл это письмо в столе сегодня, 18 декабря 1980 г<ода>, прочёл — так думаю и сейчас. М. В.

II

Дорогой Станислав!

Был несказанно рад твоему письму³ и книге, ибо ничто в моей Чите так не радует, как живое слово, как незабывчивая память современников. Книгу прочёл за один присест — обрадован и во многом согласен. И — задумался над тем, с каким упорством ты отстаиваешь красоту как категорию и поэтическую, и философскую, и жизненную. Что значит формула: “Красота всё смирит, всё оправдает”? Вектор мысли понятен, но, видимо, **это** нельзя понять, не прожив изнутри как СИСТЕМУ. Об этом буду думать долго, неторопливо...

Как вообще живу? Работаю уже 10 лет на TV по сельхозвещанию — сам создаю, сам веду один раз в неделю передачу “Нива” — наподобие “Сельского часа”. А это — бесконечные поездки по отарам и фермам, полям и полевым станам. Морозы, поломки машины в пустой степи, костры и водка, бригады и чабаны, поиски ночлега, ужина, бензина, блуждания в метели и зное, всякие ухарские дела на грубых путях, переправах и перевалах. Короче говоря, жизнь кочевая, изматывающая, живого поэта по полгоду не вижу.

Писал. Пишу. Буду писать. Почувствовал, что тему **Азия = Даурия** исчерпал. Мучительно писал поэму о смерти “Неведомый гонец”. Но... получил такой разнос из “Нашего современника”, что не понял: какое же личное преступление совершил. Думаю выслать эту небольшую поэму тебе. Как-то прекрасно говорил об одной вещи Ю. Кузнецова... вот я сейчас подумал, что, м<ожет> б<ыть>, Куняев где-то как-то поймёт “Неведомого гонца”? Почему читавшие её лично раздражаются — обижаются, что ли? О смерти, как и о жизни, надо думать и писать надо. У искусства нет запретных областей человеческого духа.

В нравственном развитии всё больше стал склоняться к славянофильству. М<ожет> б<ыть>, грустно, но поездка по некоторым республикам обидела меня — очень терпимого ко всем на земле — за Россию, за наше святое и национальное, которое бы хотели вытравить из меня. Правда ли, что в канун 600-летия Куликовской битвы было около 1 млн писем в ЦК, чтобы не праздновать этот величайший юбилей? Не зря лет 100 назад Иван Киреевский писал, что, если мы снова раздробимся на уделы, сразу же найдутся новые монголы, как в Азии, так и в Европе.

Буду издавать книги в Иркутске (1982) и в Москве — предположительно в “Мол<одой> гвардии”, а м<ожет> б<ыть>, в “Современнике” (м<ожет> б<ыть>, в “Сов<етском> писателе”, если там не потеряли рукопись — молчат 2 года, ни на какие письма не отвечают).

Положение моё в Чите твёрдое — член бюро, член редколлегии “Сибири”. Если есть одна обида — отсоединённость от литературного процесса: статей не пишу, в лит<ературных> мероприятиях общесоюзных не участвую, одиноко затерян, — то м<ожет> б<ыть>, к лучшему. Хотя планирую в 1981 году уйти с TV. Замыслов столько, что голова пухнет. (Проза, эссе, публицистика, архивы и т. д. и т. д.) Но пока буду пытаться оставаться **ЧИСТЫМ ПОЭТОМ**. Слишком уж велик отток из поэзии, а классики уходят “в мир иной”. Есть чувство ответственности за поколение, за изящную словесность.

Посмотри, Станислав, поэму “Неведомый гонец”⁴. Не в смысле публикации (верю, что рано или поздно эту вещь напечатают) — вообще, что я сотворил? Это — первый опыт в неведомой мне теме, в неведомой манере, мышлении, поиске — т. е. полный *неведомый гонец*...

Ещё раз говорю с благодарностью, с большой любовью, что твоё письмо — честь, которой заслужил, м<ожет> б<ыть>, не полностью! Обнимаю!

г. Чита. 1981

Михаил Вишняков.

III

Дорогой Станислав Юрьевич!

Однажды мне передали, что очень тепло отозвался о моей поэме “Даурское лето” Леонид Мартынов, и я... отправил ему новую книжку стихов. Прошло дней 15, и “ЛГ” пришла с некрологом о смерти поэта. Жена моя, особа с острым языком, заметила, что “Леонид Мартынов умер с горя, прочтя твои стихи”.

А раз я пишу это письмо, значит, книга “Солнечные ночи” не довела меня до смертного одра. Ну, это присказка...

С большим волнением вскрывал конверт, чуя, что в нём – книга. Ибо только и осталась надежда на общение с братьями по времени через книгу.

*Я последний поэт, не издавший в Париже ни книжки,
не сумевший понять Кьеркегора и Ян-Чжэна-ву,
зная гимны Ассура и песни Ошанина лишь понаслышке, —
одиноко и дико в Восточной Сибири живу.*

Всё время рылся в библиотеке, искал журналы с твоими стихами, сравнивал. Ощущение такое, что ты безжалостно переделываешь написанное. В этом – две стороны. Первое: поэт в движении, в бесконечном обновлении. Второе... м<ожет> б<ыть>, некоторая зыбкость, текучесть критериев, идеалов. Нравственных и социальных ориентиров?

Действительно, что происходит в обществе? Стабильность превращается в инерцию и застой, сложность – в запутанность, простота – в упрощение и нормативность, Красота и Эстетическое – в “башню из слоновой кости”. Спасибо, что не у всех это доминирует. Наибольший интерес у меня вызвала “Восточная дуга”. Особенно потрясло “Два сына соседних народов”. Всё мне чудилось, что это спорят Кайсын и Расул, а не... арабы⁵.

А какая радость увидеть вновь в книге “Реставрировать церкви не надо”!

Самым любимым в твоём творчестве для меня, – я не знаю, как это назвать – строфика, что ли? – где “ин”-“он” выражает бездну и красоту, страх и величие.

“Исполинских лавин Гиндукуша”

“Всё равно на просторах раздольных” (вся строфа)

От этого хочется оседлать коня, лететь и насмерть разбиться.

“Льдине – чужбине” (“Что-то взгляды его холодны”)

“Нью-Орлеана – океана”

“Чужбина – сына”.

“И на мокром бетоне следы / замечает российская выюга”.

Предчувствую, что “ЭТО” идёт откуда-то из Есенина. М<ожет> б<ыть>, вот из “Сорокоуста”?

“Неужель он не знает, что в полях бессиянных...”

Я не о звуках, не о ритмике – о чувстве “лететь и насмерть **разбиться**”. А... “Головой **размозжась** о плетень, облилась кровью ягод рябина”... Неужели и в конце XX века нашему поколению “Трубит, трубит погибельный рог”? А Куняев, как поэт, острее всех это чувствует? М<ожет> б<ыть>, поэзия – это врождённое бедствие? Сама по себе?

Недавно я написал “Весна на Ангаре”, где из тебя или из “Матёры” концовка:

*И, дробясь, разлетается лёд,
прёт вода через глыбы бетона.
И над ГЭС в проводах многотонных
русский плачущий ветер поёт...*

Может быть, моя судьба улыбнётся, и я с 1 сентября уйду в бюро пропаганды, освобожусь от TV, от проклятья этой конторы. Тогда впереди всё – свобода, время, поездки и стихи, волюшка – вольная воля!

В августе переводил Рильке и не понял... где он, большой поэт? Всё это – по разуму российскому, а не выше. Так примерно и я могу. Но я – я, а его почитают за вершину европейской поэзии XX века. Гм...?

Мне почему-то не хватило в стихах, посвящённых Э. Портнягину, тех, что напечатаны ранее, в том числе в “Свободной стихии”. Как это верно и гордо: а завтра на смертной постели, в наполненной звёздами мгле.

О многом бы хотелось говорить долго-долго, особенно – как жить, как не согнуться от страха перед небытием поэзии. Чем сменится эпоха побегов и возвращений? Наполнятся ли вновь Людями “обезлюдённые” города? Поэзия – способ жизни или выживания?

Завершая это довольно сумбурное письмо, говорю вам, Станислав Юрьевич, самое горячее и пылкое спасибо за книгу и память. Хочется быть лучше, сделать больше.

Остаюсь в надежде, что

*Я же буду счастлив от сознания,
что, уйдя в пределы немоты,
не оставил там, где был, зиянья,
промежутка или пустоты.*

Ваш Михаил Вишняков.
г. Чита. Август 1981.

IV

Дорогой Станислав!

Гляди-ка – дожили до Нового года, имеем полное право поздравить друг друга с не самым худшим годом в нашей судьбе-судьбине. Я только теперь начинаю понимать, что поэт – путь неизбежный; проходят они свои вершины духа и низины быта именно так, а не иначе.

Я искренне рад поздравить тебя, пожелать верховий российской словесности, парения в небе и шагов по любимой тобой земле – подзолу, глине, чернозёму, вулканической пемзе и т. д. Восьмидесятые годы будут штормовыми, и спасёт нас не дрейф, а волевой ход – чтоб от винта только буруны вставали⁶.

Рад тебе сообщить, что поэму “Неведомый гонец” взял Сергей Цырендоржиев в “Байкал” на 1982 год. Я над ней ещё немало работал, будет счастье – напечатают, пришлю почитать, узнать твоё восприятие.

Спасибо тебе за открытку, как-то согрело меня твоё слово, ободрило, подвинуло на труды.

* * *

*Думать спокойную думу,
слушать холмы, облака,
небо Даурии, шумы
утреннего ветерка.
Видеть дороги и нивы,
завязь в росе и пыльце
и не терять перспективы —
некой загадки в конце...*

Обнимаю по-братски, по-сибирски! Знай – в Забайкалье у тебя есть куда приклонить голову, если станешь повторять путь “многих славных”⁷, – я выйду пожать твою руку!

С Новым годом!

Со штормами сего десятилетия!

Твой Михаил Вишняков.
1981.

V

Дорогой Станислав!

Спасибо тебе самое искреннее за книгу с умным предисловием, за возможность “из первых рук” прочесть ранее неизвестные строки. Дай бы Бог мне в судьбе дня два-три – напишу о “Пути”⁸. Я сам мечтал своё первое избранное в Иркутске назвать “Путь неизбежный”, но... в “Сибири” с таким заголовком появилась статья Анатолия Кобенкова обо мне, а в 1983 году он выпускает книгу критики, и тоже обозвал её “Путь неизбежный”... Вообще “Путь” и все “пути-беспутные” идут от Блока – т<о> е<сть> в русле того движения сознания (души, прозрения), которое свойственно русской культуре именно XX века. Путь был, естественно, и у Пушкина. Но... как-то он уж быстро “пришёл” в Поэзию, так что и пути как бы незаметно. А м<ожет> б<ыть>, путь только с Пушкина начинался – т<о> е<сть> от Пушкина – в даль. (Я понимаю, что было “Слово”, было много чего до Пушкина.) Но как точка отсчёта – путь, странным образом обойдя Лермонтова, Некрасова, Тютчева, вдруг стал сознанием нации в Блоке. Тут я не “хваляю” Блока, поэта мне чуждого и мной не любимого. Но путь как тенденция наиболее сильно и впервые возник у Блока.

Ты – очень головастый мужик, мог бы написать об этом интересное исследование. Я сам едва ли потяну – не та филологическая культура, да и умишка маловато. Здесь нужен европейский кругозор и блеск, и историко-поэтическое образование.

Я сейчас живу крайне плохо. Расхищаю себя вот каким образом. Идут публикации, книги – но нового, принципиального, взлётного не пишется. Живу написанным в 1979–1980 годы. Причин вижу две: старое отработал, новое зреет. И – жизнь: ушёл с TV, <теперь> – зав. бюро пропаганды, т<о> е<сть> бесконечные гости, административно-финансовая суэта, пьянки (чёрт бы их побрал!), отрыв от пера бесконечный. Да и трое детей с больной женой – не шутка. Пишу это не в оправдание. Сам знаю, что поэта ничто не оправдывает...

Плюс житие в городе, где поэт я – один, где тянешь лямку общекультурной работы, которую кроме меня никто не сделает. Просветительство – тоже Путь поэта на “окраинах дальних и диких”. Я знаю твёрдо, что моя смерть будет большой потерей для Забайкалья⁹. Это трудно объяснить, но многим и многому легче дышится, когда горит, пусть даже одинокий, огонёк поэзии. Слишком много прозы в нашем краю, в нашей жизни.

В 1983 году в № 4 “Байкала” и в моей новой книге “Кедровый посох” выйдет поэма “Неведомый гонец” – что-то очень нужное и мне, и нашей поэзии.

Не смог бы ты, Станислав, приехать в Читу где-то, допустим, в мае-июне. Сели бы на “Волгу” и закатили в степь, в несомкнутые горизонты Азии, на Барун-Торей, на “кубок Чингиза”. Я бы заранее дал к твоему приезду твои стихи в прессе, записал бы тебя на радио, на TV. По бюро пропаганды выступили бы и т. д. – т<о> е<сть> были бы деньги, воля, впечатления, поэзия. Да, в Забайкалье всем поэтам, приезжающим из других краёв, хорошо пишется. Вот были у меня Ст. Золотцев и Вл. Топоров – увезли отсюда десятки стихов, сотни замыслов и странное ощущение: пишется отчего-то легко и хорошо, и новаторски.

На прощанье – мои последние стихи.

*Эти звёзды сгорели бесследно,
только свет, приближаясь, живёт —
на лице, от волнения бледном,*

*всё играет да в небо зовёт,
в доракетную тайну пространства,
где над облаком, как образок,
цвета северного христианства
синь суровая и холодок,
где всю ночь над моей головою,
замыкая зари полукруг,
горизонт, как перо краевое¹⁰,
обронил острокрылый канюк,
где пылали весенние своды
охрой, зеленью, голубизной.
...Я остался, но нету природы,
начинавшейся вместе со мной.*

Что бы ты, Станислав, сказал об этом стихотворении? Не зафилософствовал ли? Не ушёл ли от себя — крепко-земного, терпко-материального, а?

Поклон московскому небу, твоим чадам и домочадцам, здоровья тебе в юбилейные застолья, в поэтическом марафоне, где конца Пути не видно в тайнах живой души!

Обнимаю.
М. Вишняков.
г. Чита, 1982.

VI

Дорогой Станислав!

Вот и вышла моя — аж страшно! — пятая книга. Давно ли мечталось хотя бы об одном стихотворении в московской прессе. Доволен ли я — Бог знает... Хотя есть подозрение, что мой “Кедровый посох” — в чём-то этапная книга для моего поколения, принимающего, а сие — историческая реальность, — эстафету из ваших рук. Что бы ни говорилось, мы — т<о> е<сть> те, кто выпустил 2–4 книги, стал членом СП, кому под 40 лет, пусть долго формировались как поколение, искали свою эстетику, лад и склад языка, символы, строй и настрой строки, лирико-философскую линию и т. д., всё же сформировались в довольно своеобразное явление в российской поэзии конца XX века. Вы уже писали о книге “Молодые голоса”, где пунктирно наметилось сказанное мной выше. После “Молодых голосов” у целого ряда из его авторов вышли, выйдут, вот-вот выйдут новые книги. Интересно, заметит ли критика этот “послеголосовский” рывок к зрелости. Состоялся ли он? Я думаю, да. Конечно, со всем своеобразием самого понятия “зрелость” в 80-е годы, где не принимается зрелость как завершённость, как титулы, премии, членство в редколлегиях, в правлениях и т. д. Да, прав был М. А. Дудин в предисловии к “голосам”, что шумный лес поредеет, но и укрупнится, выстоят реальные работники русского слова.

Живу. Пишу. Возглавляю Бюро пропаганды. Заседаю. Олицетворяю. Иногда немного пью. Грущу, что приобщение к традиции в Чите — сложно. Термины “забайкальская поэзия” и “поэт из Читы” звучат так же экзотично, как “эскимосская радиоэлектроника”.

Если Вам, Станислав Юрьевич, однажды предложат сформировать группу для поездки на какие-то общественно значимые мероприятия — типа Пушкинского и Лермонтовского праздника или ещё чего-то, — не смогли бы вы вспомнить Михаила Вишнякова из Читы, который Москвы не видел и живых поэтов — уже два с лишним года. Устал я от одиночества, а ведь так хочется **“и в просвещении быть с веком наравне”**¹¹.

Нет ли у вас планов на 1984–1985 годы побывать в Забайкалье, на китайской границе, в ачинской даурской степи, на берегу Онона или Чикоя, Чары или Витима, на БАМе. Моё Бюро могло бы кое-что гарантировать — интересное и умное.

Буду рад прочесть ваше мнение о книге “Кедровый посох” в письме ко

мне, на худой конец — рецензию в японской как их там... “Майнити” или китайской “Жэньмин-жибао” (последнее предложение — шутка!).

Обнимаю как старшего брата, как любимого мной Поэта.

М. Вишняков.
г. Чита, 16 августа 1983.

VII

Дорогой Станислав!

Прочёл я твоё предисловие к книге “Сибирские строки” — “Великий путь”. Как прекрасно и точно написано! Не знаю, было ли у тебя перед глазами (читал ли?) “Сибирь без романтики” В. Распутина (альманах “Сибирь”, № 5, 1983), но как интересно вы дополнили друг друга! Более сильных гимнов-эссе о Сибири, чем твоё и Распутина, я пока не читал. Даже завидно, что у меня самого пока **такого** нет. Во, черти, всю жизнь бегу за вами вдогонку, а вы снова и снова впереди. Самое высокое, что оба блеснули не только как художники (мало ли у нас блистательных перьев!), но как историки, философы, мыслители века самой редкой по насыщенности мысли, интеллектуалы российского края и масштаба, граждане. Я сейчас очень это ценю, ибо **“просто художников в себе”** развелась тьма-тьмушкая, а личностей нет.

Спасибо, низкий поклон от сибиряков за это.

Хотелось мне и поздравить тебя с наградой¹², могли бы фамилию Куняева поместить и ближе к началу списка наград... но не будем в обиде на родной СП и Президиум — Россия ещё отметит то, что содеяно тобой в поэзии.

Я вот жив-здоров, пишу, жду книгу из “Мол<одой> гв<ардии>” — II кв<артал> 1985 года, не теряюсь в снегах Читы, а как-то дышу, освещаю, согреваю мою Даурию!

С поклоном от Читы

Михаил Вишняков.
24 ноября 1984.

VIII

Дорогой Станислав!

Был рад твоему искреннему слову ко мне¹³, твоей вечно-думной натуре, направляющей соратников и друзей на мысль о глубоком и серьёзном. В этом году будет 300 лет жизни Вишняковых в Сибири и моих 40 лет — даты призывающие и предостерегающие. Вот родилось стихотворение:

Письмо Станиславу Куняеву

*Передайте: в начале весны
я ушёл, и теперь уж надолго,
словно эхо, в глубины страны.
Моё шумное вече замолкло.
Я ушёл, как вода сквозь пески,
незаметно и, в общем, негрустно.
Только ласточки да ивняки
знают тайну подземного русла.
Я теперь на дороге степной,
осознав свою цель в полной мере,
волен думать о правде земной,
как седой страстотерпец о вере.
Среди острых и пыльных дождей
на стоянках, тебе не известных,
волен я находить у людей*

*ту же даль, что и в звёздах небесных.
И моё золотое зерно
из польни и чертополоха
прорастает сквозь толщу эпохи,
коль иного уже не дано.
Что посеяно, то и взойдёт.
А земля — она всюду жилая.
Всюду трудятся мысль и народ
(м<ожет> б<ыть>:
всюду трудится русский народ),
свищет космос и бездна пылает.*

Если это стихотворение придётся по душе, так и озаглавлю, а — “Кто долго жил в Сибири” — обязательно при следующей публикации поставлю с посвящением к тебе, ибо оно рождалось в письмах и раздумьях над твоими книгами. Стихотворение “Письмо...” — лейтмотив нынешнего настроения и подъёма. Замыслов — море, да опутан делами, текучкой, провинциальным сгоранием по мелочам, заседаниями, Бюро, работой с молодыми и т. д.

С поклоном М. Вишняков.
12 июня 1985.

IX

Дорогой Станислав!

Сердечное спасибо за письмо и доверие: мы далеко, многое в нас губят расстояния и даль великая. Очень мало осталось серьёзных людей: тот — болтун, тот — благодуществующий, тот — лентяй и т. д. Особенно мало людей памятливых и отдающих себе отчёт — что, зачем, откуда, почему? Ещё по отчёту в “ЛГ” и другим твоим материалам я понимал: обладаешь информацией, и мы с тобой имеем либо имели одни и те же материалы; в частности, “Дезориентацию” Емельянова, “Это должен знать каждый”, переписку Астафьева и Эйдельмана, “Сионизм в архитектуре” и др. И твои цитаты из Алтаузуна¹⁴, впервые обнародованные для новых поколений, — политический шаг.

Спасибо за полный текст¹⁵, с ним будут ознакомлены серьёзные люди, а они есть в Сибири.

Был много дней на уничтоженной реке Жергей — притоке Чикоя-Селенги, продолжаю войну за изголовья байкальских рек. Пока знал мало — писал скандальные, резкие статьи, теперь вижу: беден русский язык, чтобы описать, ЧТО происходит в верховьях байкальских рек. Тайга изуродована, уничтожена, изнахвачена, растерзана, загублена, садистски изрезана, замучена, растоптана... Даже не тайга — сама земля и жизнь. Снял 2 фотоплёнки, м<ожет> б<ыть>, сделаю альбом фотографий и буду отсылать на имя Генерального прокурора СССР.

А как публицист — буду готовить, м<ожет> б<ыть>, для Викулова, ибо в газетах Сибири я уже навоевался по горло. Надо ещё съездить к Валентину в Иркутск, посоветоваться.

Забайкалье сгорело процентов на 60 — чёрная пустыня, где в лесах роются в белом пепле седые от пепла белки — как они уцелели? Откуда пришли назад? Всем на всё наплевать, тайга горела, а армия не дала солдат и технику. Новый I секретарь ОК КПСС уволил уже до 70% бывшего партгоссоваппарата. Груб, как диктатор сталинской эпохи, все трясутся, такой нестабильности у нас ещё не было. Надо всех разгонять, но всех-то и не разгонишь, кто-то должен работать — двоякое впечатление от действий I секретаря. Писательской организации почти не стало, наш отв<етственный> секретарь Куренной всё бросил и ничего не делает, шевелится пока моё Бюро. Я героическими усилиями пытаюсь сохранить хотя бы форму приличия — распад неминуем, крах будет к осени. Либо, если мне отдадут штурвал, я начну осенью на развалинах строить новую организацию, поднимать молодых, консолидировать, укреплять, вдохновлять идейно, нравственно, художнически.

По твоей просьбе: директор облкниготорга выписала 100 экз<емпляров>. Обычно поэзию на позицию – заказ 40–50, обещали поработать с заказом, сейчас идёт до осени оформление, если пойдёт – увеличат до 150–180 экз<емпляров>. Причина малости – чужой автор, не проживает в Чите.

На моём персональном вечере на вопрос: “Кто лучше вас пишет стихи, у кого бы хотели поучиться из современников?” – я ответил: “Куняев”. После этого (мне говорили в Доме книги) читатель искал твои стихи.

Твою книгу критики читали долго-долго¹⁶, на мой взгляд, очень серьёзная работа, особенно II часть – идёт формулировка идей, ещё не открытых общественным сознанием. А это под силу немногим, особенно в сфере искусства и эстетики. Причём сие – не “мнение поэта Куняева”, а близкое к истине открытие учёного Куняева – по тону, аппарату, доказательности, логике изложения и обоснования, аналитичности ума. Жаль, что книга не очень-то замечена популярными изданиями и критикой. Зато читатели вряд ли прошли мимо – о с в а и в а ю т.

Будущее таково: июль – в Монголии, в сентябре буду на кедровом промысле в кедровой тайге. А тут тянут (числа с 20–25 сентября) сплавиться по горной реке, по диким местам пробраться. М<ожет> б<ыть>, выберу время на самое-самое дикое – верховья Сохондо, где бывало 10–15 человек за всю историю. Это окончательное моё переключение на краеведение, на экологию, на пушную охоту (с конца октября на 31 день отпуска). Познать Забайкалье – жизни только-только хватит.

М<ожет> б<ыть>, в 1987 году закончу переложение стихами “Слова о полку Игореве” – начинал-то ещё в 1972 г<оду>. Вот как всё растянулось – к Забайкалью прихожу через **славян-Азию-декабристов – “Слово”**. Ибо – родина. Поиск родины. Путь к Родине.

Где-то в “Нашем современнике” будет 1 стихотворение да “Мы не одиноки на земле” – очерк в книге о Байкале да трёхстишия в “Байкале”.

Есть стихов на книгу, да не тороплюсь, ибо публицистика сейчас – интереснее.

Поклон Золотцеву и Викулову.

“Октябрь” отлупил – т<о> е<сть> дал отлуп моим стихам и рецензии на мою книгу. Теперь я пока “безжурнальный” – т<о> е<сть> бесхозный поэт.

Ничего – переживу.

С поклоном от Сибири.

М. Вишняков.
22 июня 1987, г. Чита

Х

“Кто долго жил в глуши печальной...”

А. Пушкин

Станиславу Куняеву

*Кто долго жил в Сибири, друг мой строгий,
чей след терялся на десятки лет,
до слёз взволнован, удивлён, растроган,
когда письмо иль дружеский привет
его отыщут в Нерчинских Заводах
(пылил-пылил почтовый грузовик).
Как много дум высоких, благородных
к нему приходит в этот редкий миг!
Круг братства, дружбы, идеалов юных...
Гранит науки, вешняя Москва...
Взгляд Пушкина, висок его чугунный
И первой клятвы строгие слова...
Отечество. Народ. Служенье долгу.
Потребность правды. Жажда красоты...*

*И он уйдёт в себя и долго-долго
глядит в окно на снежные хребты.
Всё испытавший, столько переживший
в той жизни, что достанет на троих,
российский юноша, не утоливший
страстей своих и помыслов своих.
Безвестные лежат в снегу дороги,
И он, чей след завьюжила зима,
вам будет благодарен, друг мой строгий,
за двадцать строк негрустного письма...*

С поклоном, М. Вишняков¹⁷.

XI

Дорогой Станислав!

Спасибо за приглашение в “День поэзии” – как я понял – “88”. Понимаю, какую кучу стихов тебе приходится перелопачивать, сколько писем читать: посему буду краток. Жив-здоров, провёл Дни Вампилова в Иркутске, где написал стихи:

*Был Курбатов у бурятов.
А подпивший Передреев
Принимал их за евреев*

(Курбатов – критик, Псков).

Закончил полное переложение рифмованным стихом “Слова о полку Игореве”. Будет издано в подарочном издании в Иркутске в 1991–1992 г<одах>.

Может ли “День поэзии” опубликовать мой перевод-переложение? Не каждый день в Чите и России завершается такая большая – 1972–1987 г<оды> – работа, а? Ведь 15 лет труда...

Черкни мне – стоит ли выслать тебе срочно текст “Слова”¹⁸?

А вообще-то шлю стихи. Обрати внимание на “Твардовский в Забайкалье”¹⁹ – это стихотворение обошло “Октябрь”, “Лит<ературную> Россию” и никому не приглянулось. Почему? Боятся имени А. Т.?

Немного жаль, что стихи, ряд стихов, вот-вот появятся в “Лит<ературной> России”, есть там кое-что, надо бы отдать в “День поэзии”, да поздно – не снимать же их из набора. М<ожет> б<ыть>, уже напечатали?

Работаю. Много. Иногда хорошо. Очень хочу, чтоб поэтом, который “прошёлся рукой мастера” по моему “Слову”, был ты. Но это, видимо, для тебя лучше на более поздний срок, а?

Увидимся, когда будет заседание Совета по поэзии, оно, видимо, будет когда-то в конце 1987– начале 1989. Так я думаю...

Поклон от Даурии!

Твой Михаил Вишняков.
28 октября 1987.

XII

Дорогой Станислав Юрьевич!

Больно было читать злобную и обывательскую писанину в “ЛГ” против тебя²⁰. Явление сие, конечно же, не случайное – опрокинуть широкую массу поклонников Высоцкого (и-эх, российский народ!) на тебя, растоптать количеством “народного” гнева твою деятельность по собиранию лучших сил литературы и нации вообще.

Я, конечно, не наивный человек – думать, что “ЛГ” как-то посчитается с моей телеграммой, но и молчать не мог: в тот же день, как вышла газета, отправил на имя Чаковского такую телеграмму:

“Горько читать обывательскую писанину Евтушенко против Куняева зпт Литгазета 13 января тчк Материал мелочный зпт оскорбительный зпт рассчитанный дешёвую спекуляцию тчк Ещё раз убеждаемся зпт когда Евтушенко нечего сказать как поэту зпт он пускается любую общественную авантюру зпт политическую спекуляцию тчк Книга Куняева заслуженно получила высокую премию зпт написана тонко зпт глубоко зпт ответственно перед судьбой отечественной культуры тчк Сам Евтушенко тире апологет масскультуры зпт ничего подобного не создал зпт его гложет чувство неполноценности зпт личной профессиональной нищеты зпт сирости духа тчк Лисёнок зависти зпт претензии на духовное наставничество нации давно увели Евтушенко от коренных проблем народности зпт нравственности творчества тчк Отсюда нападки на творцов культуры зпт втаптывание грязь товарищей зпт политика раздора зпт шумихи зпт сплетен зпт личных амбиций тчк

Надо Литгазете дать возможность Куняеву ответить зпт защитить честь и доброе имя тчк Михаил Вишняков, член Совета по поэзии СП СССР”²¹

Я, Станислав, сочувствую тебе, предполагаю, как непросто жить, думать, бороться в окружении такой мафии. Пусть это письмо будет знаком, что ты не одинок в России, что есть ребята на твоей стороне. Даже не только ребята – правда на твоей стороне. А с ней ничего не страшно. Поклон тебе от Сибири!

Михаил Вишняков.

(Видимо, письмо написано в январе 1988 г<ода>.)

XIII

Дорогой Станислав!²²

Есть на свете такие места и события – духоподъёмные! – где одному даже как-то безнравственно бывать, эгоистично видеть всё и чувствовать в одиночку. Такое испытал я ныне в Бальджикане: 170 км от районного центра в узкой “щели” между границей МНР и заповедником Сохондо. Монголы на мясо не охотятся, а заповедник, сам понимаешь, заповедником. Так вот в эту щель набивается столько зверья, что уму непостижимо. Мой сосед по участку только в прошлом году добыл 12 медведей. Эти места в какой-то степени воспел автор “Записок ружейного охотника Восточной Сибири” А. А. Черкасов, незабвенный в среде охотников и через 100 лет. Он назвал эту щель “самым убиенным местом во всей Сибири”, а уж Черкасов-то знал Сибирь. Сейчас сей край задичал, задебрился совсем, золотые рудники закрылись, сёла разбежались – хребты, дарьялы, дебряки (моё слово), ямы и чашины с буреломом, тёплые прогретые увалы (весь ноябрь +2 – +15 градусов), золотой корень, маралий корень, карагана золотистая, ковыль-волосатик. Тайга – чернева, гольная лиственница, только у гольцов – кедрачи соболиные. Много было медведей-шатунов, ягоды и ореха не было, не нажировали, долго не жились. Слава Богу, ни мне не попался, ни я им, ибо ружьё (скряга-охотовед не дал карабина!) у меня – новая мелкашка, идиотское оружие, белку не пробивает насквозь, рябчик улетает. Да был ещё 32-й дробовик да пара лаек. Белки нынче не было, так что денег не заработали со своим братом. Я поразился идеальным условиям быта: широкое зимовье с двумя нарами, кирпичная печка (топили только вечером), лампа с цистерной солярки – жги свет хоть до утра (солярку бросили приискатели), баня, хрустальный родник с дебетом 1 ведро за 20 сек. Дрова нам напилит проезжий штатный промысловик “Дружбой”. Выйдешь утром из зимовья – перед глазами косули: там – две, там – три, там – четыре бродят по увалам. Там по хребтинке – стадо изюбрей, там – волк гонит лису к зимовью, там – лайки схватились с рысью... Штатные – волчары лютые: у них карабины СКС, трёхлинейки с оптикой, по 2 лошади, “Буран”, старенький “уазик”, либо “Победа”, 8–10–12 собак. Зверей не стреляют абы где, а подгоняют собаками туда, куда подойдёт вездеход за мясом. Капканят так: убивают косулю либо изюбря, нарубят топорами до кровищи, волокут по пади км 5, потом закидывают буреломом и ставят 10 капканов вокруг. Всё идёт по этой кроваво-шерстяно-брюшинной дороге: лиса, волк, рысь, росомаха, колонок, соболь. Таких “точек” штук 10–15 – вот

и вся капканная охота. Во всех, даже самых убойных местах — тропы для лошадей прорублены ещё лет 200 назад. Ездят промышленники на лошадях, не торопясь, там пальнут, там снимут пушнину — не охота, а заготовка. Зато уж мы, любители, — я конкретно — вёл настоящую охоту, 5–6 выстрелов, рёв, крик, шапка — на кусту, очки — на коряге, рюкзак, патронташ — под косоугором, с погоней, добиванием, дорезанием ножом, все руки и морда в ссадинах, одежда порвана, патроны растеряны — уфф! Азартный я, чёрт побери! Такой праздник был на 7 ноября: ухлопал изюбря, кое-как принесли стегно, нарубили котёл свежего мяса, неожиданно нашлась чекушка водки, трещит печь, булькает мясо в котле, а вдобавок к кайфу — ещё и ты читаешь стихи в транзисторе да дед Миша Дудин, остальных я слушать не стал. Всё зимовье исписал частушками типа:

*Запрещает госпромхоз
добывать по многу коз.
Вот и хлещем почём зря
кабана да изюбря.*

*Хорошо в тайге живётся:
мясо есть и стол готов.
Хорошо с устатку пьётся —
нет ни тёщи, ни ментов.*

*В тайге особые законы
и масса всяческих примет.
Гонять по северу загоны
умней собака, чем поэт.*

*Как поспешишь — так насмешишь.
Учись терпенью, молодёжь:
в капкан, поставленный на мышь,
своей ногою попадёшь.*

*Из Москвы или Читы —
каждый здесь поправится.
Мясо ешь и пей панты —
это бабам нравится.*

*Если нету табака —
нюхай зад у колонка!*

*Зверь уходит на отстой,
а косуля — в чащу.
От тебя же дух густой —
умывайся чаще!*

*Когда спешишь на переход,
не забывай про сошки.
Иначе пуля попадёт
по ножке ***давошке.*

*Такое разум не осилит,
такое может лишь присниться:
стоишь бахилами в России,
а можешь писать за границу.*

*В тайге киринской без дороги
не уставали вы шагать.
Ах, ноги, ноги, мои ноги,
позвольте руку вам пожать.*

Забыл про стенокардию и вообще про сердце. Загорел, окреп, взвеселился духом, голубели хребты, сахарно сверкали гольцы. Почему-то здешние козлы и косули от испуга бьявкают, раз насчитал 84 крика гурана подряд. Много атласно-чёрных воронов, ибо отходов от охоты много. Есть соколы, видимо, зимуют на границе МНР и СССР. Стояла летом конеферма, так лошадей не смогли собрать в табун, чтоб угнать на мясокомбинат: одичали, и их гоняли по тайге, стреляли, как зверей, из СКС – чудно! Особые и наледи: фышкают, урчат, фукают, трещат, воют, стучатся под зимовье – страх. Пережили сильный ветряной смерч – чуть не раскатало наше зимовье, порвало полтайги с корнем. Волки ночью выманили кобелька – порвали на рукавичные лоскутки. Я истрелял 250 патрончиков, 42 пули, 12 картечных зарядов. Брат – ещё больше, ему нынче юморно не везло, чуть косули не растоптали, зайцы над ним издевались (что-то с порохом в его зарядах, м<ожет> б<ыть>, не качественный, стреляет – а всё от него улепётывает). Буду писать очерк “Тропой Черкасова” для иркутской книги экологической. Вообще охотники называют Тургенева и Толстого “свистунами” – много вранья, в авторитете Черкасов и Дрянский с его “Записками мелкотравчатого”. Моё зимовье так и прозвали – “писательское”, заезжают, как в избу-читальню, – так вот вошёл в историю. Это похлеще там “Нового мира” либо парижских изданий. Бодр, силен, работоспособен, не могу видеть эти дни “эту vonючую цивилизацию”, твоей речи в Рязани ещё не читал, мне говорили. О твоих стихах: брат, читая, часто повторял попа-батюшку из “Угрюм-реки”: “Зело борзо” – это его высшая похвала. Читал медленно, переспрашивал: а что это значит, а на что намёк, а как это на вашем языке? Говорил: что-то умно шибко, а это – для вашего брата, ну-у, и нравы у вас, сильный мужик, а чё он клянётся-то землёй – она ж не клятва, говорил: далеко зазорил (от зреть), про мать как-то необычно, а про женщин – мало. В общем и целом ему всё это “Зело борзо”, с чем я тебя и поздравляю, ибо – глас рядового читателя.

Особенно нас умилил и привёл в восторг вопрос одного старого охотника, лет ему 65: “А чё, правда, что Брежнев-то помер?” Вот тебе и перестройка, и всё прочее. Как велика Россия! А ещё упорный слух, что Гагарин и не разбился совсем, а уехал (так и говорят: уехал) куда-то на Луну. А ведь как от природы сметлив, умён, жизнестоек, даже хитрощ местный промысловик! О чём-то знает лучше нас, быстрее, прозорливее, а о чём-то – дремучая неинформированность и нежелание даже знать вообще это. Дома у меня нищевато по части денег, посему, м<ожет> б<ыть>, в Москве буду нескоро. В Чите тягостно, даже напечатал я стихи в газете:

*Бетонный плац на месте площадей.
Исполнилось коварное желанье:
Чита — не место жительства людей,
а тайный полигон для выживания.*

Пишу, думаю, веду молодых, идей много поэтических, художественных, идеологических, и, конечно же, думаю уже об охоте в 1989 году!

Твой Михаил Вишняков.
1 декабря 1988.

Р. С.:Класс охотников:

с 1-го выстрела – разила;
со 2-го – мазила;
с 3-го – бомбила;
с 4-го – муд...а.

Я чаще проходил по 4-му классу.

XIV

Дорогой Станислав Юрьевич!

Спасибо за доверие – читал твоё выступление на пленуме²³ с чувством непреходящего интереса, внутренним согласием, полной поддержкой твоей позиции, которая “наша позиция”! На мой взгляд, мы сейчас переживаем

совсем небывалое время, ему нет аналогов в истории. Можно говорить почти всё, но лучшие писатели России как бы задумались и не спешат бежать вслед за газетами. Пока не появятся новые серьёзные труды Распутина, Белова, Астафьева, Куняева, Исаева, Кузнецова, серьёзный читатель и аз грешный вряд ли похлопают в ладоши всему, что видим. Мой сын после просмотра серии теледетективов “Спрут” сказал: “Да какая там мафия в Италии с их 200 миллионами! Мафия-то у нас – с 4-мя миллиардами. Эти итальяшки просто пацаны перед нашими узбекскими ворами!”

У меня большая радость. Газета “Забайкальский рабочий” в шести номерах опубликовала мой 15-летний труд – наше русское “Слово о полку Игореве”. Где-то в 1992–1993 году в Иркутске в подарочном издании (на московской полиграфической базе), с гравюрами сибирских художников, может быть, со статьёй кого-то из учёных, с поколенной росписью русских князей и т. д. мой вариант “Слова” будет опубликован отдельным изданием. Издательство дало согласие, оно очень заинтересовано дать “сибирскую” книгу “Слова”.

Дорогой товарищ и брат мой, есть у меня просьба: прочти с замечаниями по самой поэзии, по качеству стиха, ибо хотелось бы ещё поработать с учётом замечаний. Я, честно скажу, в поэтическом мастерстве доверяю превосходству над собой очень и очень немногих, может быть, одного-двух поэтов, из которых первый – ты. Это никакая не лесть, я могу порой не соглашаться с твоими идеями, но по качеству стиха ты достиг просто невероятных результатов. Тебе я поверю, ибо в “Слове” надо бы быть на уровне автора “Слова”, хотя бы как-то приблизиться к не позорному для себя пониманию: сделал всё, что уж мог, на сколько было сил и дара. Я понимаю, что и загружен ты, и т. д., и всё же прошу: черкни мне письмо о моей работе. Обнимаю.

Михаил Вишняков.
31 марта 1988.

XV

Дорогой Станислав!

Рад послать тебе живую весточку: сегодня прочёл № 7 “Нашего современника” с твоими стихами²⁴ – рад чрезвычайно публикации “Размышлений...” Бескомпромиссно, жёстко, убедительно с художественной стороны. Конечно, сии мысли уже высказывались в публицистике “НС”, они носились, как говорится, в воздухе. Но... одно дело – мысль, другое – её воплощение в художественной структуре, в лично-исповедальном творении “свободной стихии”. Поздравляю с этим в чём-то “манифестальном” произведением! Я, конечно, частично тёмный человек, меня лишь смутила некоторая, может быть, уязвимость привязки “детей Николая” к трагедии русского народа. Вероятно, сказывается некий консерватизм мой, разделение надвое: душа-то страдает о событиях в Ипатьевском доме, но ум то ли в плену революционных представлений, то ли в историческом разумении, размыслили: надо ли, не надо ли?²⁵

В Новгороде познакомился с Татьяной Глушковой, она подарила мне книгу критики “Традиция – совесть поэзии”. Почти полтора месяца читал и помаленьку – по ходу! – писал ответ. Особенно резко не согласился с её последней статьёй в части разговора о твоей поэзии. Не в том дело, что тебя считаю другом, не в том, что люблю твоё творчество (любовь может быть и слепой!), не в том, что бьёт она по своим, – в непонимании вектора твоего творчества. Такой, в общем-то, дьявольски умной и изощрённой женщине непростительны такого характера пенки... В частности, сыр-бор у меня даже из-за такой строки, как “Сладкий дым ангарской целлюлозы // величавым облаком плывёт”. Она утверждает, что здесь у тебя гимн из-за эпитетов “сладкий” и “величавый” – хотя бы ты воспевашь железную поступь промышленно-сти. Но, как я понимаю, – это же у тебя критика, художественное неприятие. И вот почему: “сладкий” – просто точное, информационное, а не образное слово. А “величавый” мне видится в такой позе: вот до чего докопали, что этот дым уже стал величавым, великим, претендующим на попираание естест-

венного, природного... Это, вообще, твой “фамильный” приём образа-анти-образа. И твоя знаменитая мысль: “никто не поймёт, // что за песню в пустых колокольнях // русский ветер протяжно поёт”, — мне как раз говорит, что ПОЙМЁТ автор, а через него — народ. Это, м<ожет> б<ыть>, у тебя от Есенина, писавшего: “Не жалею, не зову, не плачу”, — а мы-то чувствуем, что и жалеет, и зовёт, и плачет. Что даёт ключ к такому прочтению? Музыка, интонация, эмоциональный вектор. Только глухой человек может поверить логическому “не”, поэтическое тут — “да”. Это же есть в твоём “Воспоминании”, которое логично можно бы прочесть как *воспевание* коней, поездки по ночной России, жуткой радости и т. д. Но по боли, по эмоциональной стихии — не *воспевание*, а *драма*, м<ожет> б<ыть>, даже трагедия бытия в форме оды. Вообще читателю надо быть чрезвычайно внимательным: где Куняев выдаёт просто информацию, а где — образ. Если ты напишешь строку “Тёмная деревня” — надо слушать, ЧТО ты хотел сказать: либо без огней в темноте, либо тёмная духовно, интеллектуально, просветительски и т. д. Эти, пожалуй, прописные истины надо бы знать Татьяне Михайловне...

Сегодня звонил Распутину, он вышлет тебе “Литературный Иркутск”, поделись с Глушковой (если она верно выразилась — вы с ней в хороших отношениях). Я сильно рад, что ты знаком с Валентином, у нас с ним о тебе разговоров не было, я думал, вы отдалённые знакомцы.

Вообще борьба разгорается не на шутку. Что ж, мы её не искали, нас к этому вынудили. А посеявший ветер — пожнёт бурю. Если в наших поколениях нас где-то 30–35%, то в поколении моего сына будет свыше 50% русских интеллигентов. Пелена спадает с глаз. Вообще-то надо бы где-то привести цифры в процентном отношении погибших и репрессированных, боюсь, что именно нас и вырубали. Кстати, в гражданскую войну погибло не больше сотни, допустим, бурят и десятка два-три якут. Это не к тому, чтобы обвинить бурят или якутов в “малой крови” за большое счастье. К размышлению КТО есть КТО в Отечестве, истории, прошлом и будущем. Да-а, а ведь вроде “НС” рекламировал (кажется, и Глушкова писала), что в № 7 будет не твои стихи, а статья. Что с ней? Взял на доработку? Новые аргументы явились? С. В. сдал назад? Заставили сдать назад? Рад бы снять все эти вопросы.

Я на имя Михалкова от имени бюро заслал бумагу о 20-летнем стаже Викулова на посту гл<авного> ред<актора> “НС”, надо как-то поощрить бы деда, многое он содеял во имя литературы...

Не хотел писать о себе, да... уж куда деваться. В “Советском писателе” с конца не то 1978, но то 1979 года лежит моя рукопись “Сибирский свиток”. Сколь ни бываю в Москве, поймать Храмова не могу. Говорят, он должен уйти в “Новый мир”? Планировали, вроде, на 1990, но ни писем, ни-че-го. Об этой рукописи было 10¹⁹ разговоров, и Числов знает, но молчит, и зав. редакцией знает, но молчит. А у меня в ближайшее время (5–7 лет) никаких иных расчётов на издание не было, всё надеялся на “Сов. писатель”, на порядочность и т. д. Как говорил Есенин: “Куда пойдёшь, кому расскажешь на чьё-то хны...” М<ожет> б<ыть>, будучи в “Сов<етском> писателе” (если удобно), спросишь, подскажешь: пусть хотя бы ответят...

Вообще-то живу грустно, поэзию в провинции мечтают “скостить” до 2–3 сборников в год, издавать поэтов раз в 8–10 лет.

Меня сейчас в Чите уже нет (образно выражаясь), я сейчас уже в тайге, не то на кедровом промысле, не то на пушном. Пока сила не ушла, ещё поеду ныне с 1 сентября в Чикой (долина реки староверов), недели на 2, а уж в отпуск — с 25 октября, на охоту. Как сладко пахнут слова: капканить, патроны, лайка, ловушка, белка выходная, соболь выкунился, зимовье, лёд нарубил, сдуплетил, увал, грива хребта, ключ в падушке (падь малая). Эх-ма, радость наша невеликая...

*Страсти Арбата — всегда о прокорме,
страсти России — всегда о душе.*

М<ожет> б<ыть>, из этих двух строк выйдет стихотворение.
Будем жить, думать, писать, строить Отечество.

С поклоном —
Михаил Вишняков.
30 июля 1988.

XVI

Дорогой Станислав!

Да благословится наша почта: в последний вечер перед отъездом в тайгу собираю рюкзаки, входит жена (с работы шла) и получила твою книгу²⁶. Сел, залпом кое-что прочёл, положил в рюкзак, буду смаковать в зимовье в верховьях Онона, на самой монгольской границе, в хребтах. Что успел ухватить про “детей Арбата” – в журнале лучше, энергичнее, м<ожет> б<ыть>, в последующем вернёшься к журнальному варианту. Меня всегда смущала твоя неточная рифма: узде – Улан-Удэ, т. е. “де-дэ” – внутри не по-куняевски. Оказалось, что истинная-то рифма “Улан-Удэ – НКВД”, и всё встало на место. Очень понравилось “За войну одичавшее племя”, “Иная” жизнь, про солдата ракетных войск в церкви, памяти матери – это то, что успел проглотить. Об остальном напишу после возвращения, дней через 20–25, будем читать со старшим братом: интересно, как ему вообще поэзия? А тебе за книгу – самый низкий поклон, братнее спасибо.

Отплатить тебе книгой пока не могу – где и кто издаст меня? Посылаю самое свежее, м<ожет> б<ыть>, ещё неустоявшееся, никому не читанное, не обдуманное внутри себя. К тебе вопросы: 1) “Шумно в журналах” – нужен ли эпиграф из тебя? Нет ли чувства малой художественности? Стоит ли вообще дотягивать – т<о> е<сть>, есть ли тут тема или всплеск – и только? Мог бы ты, допустим, кому-то показать стихи “Земное сердце” и “Тайное небо Отечества” – мне кажется, там что-то есть, из поэзии это.

... Всё мечтаю отстать и от суеты (даже читинской), уехать в деревню и написать что-то глубоко природное, тютчевски-глубокое, саднящее и примиряющее. Всё ж город закручивает меня в социальность и т. д. В слишком не лирические ритмы. А потом – очерки, а потом – всякие предисловия для местного издательства, полемика местная, экономическая, социальная, радио и ТВ. Только теперь где-то понимаю, что я – поэт настоящего лирического дара. М<ожет> б<ыть>, долго шёл не теми дорогами – так буйно судьба закрутилась.

Всё – заканчиваю, надо успеть дособраться, завтра в 8 утра подойдёт “уазик” и... аж сердцу сладко поет – где завтра буду!!!

Поклон от синих хребтов и ещё хрустальных ручьёв!

Твой Михаил Вишняков.
24 октября 1988.
г. Чита.

XVII

Дорогой Станислав!

Ты и не можешь представить себе ситуацию: время – 11.15, до Нового года осталось 45 минут, а я сижу и печатаю тебе письмо. Высоко же поднялся твой авторитет в моём доме... Это, конечно, шутка, но факт: встречаю праздник тихо, домашним кругом, в перерывах между небольшими глотками шампанского (запасов – всего одна бутылка), супруга отлучается на кухню, а я курил-курил да и решил поговорить с тобой. Ну, за столом я восседаю гордо: удалось в 88 году перепрыгнуть себя – т<о> е<сть> совершить где-то 14 книжно-журнальных публикаций: “Байкал”, “Наш современник”, “Сибирь”, “День поэзии-88”, “Час России”, антология о любви “Гори, письмо любви”, где второй раз напечатался с Пушкиным совместно под одной обложкой, “Полярная звезда”, “Литературная Россия”, книга о границе “Забайкальские заставы”, книга публицистики о Байкале “Байкальская сторона”, два-три предисловия к молодым, два-три послесловия к старикам и т. д. Плюс “Слово о полку Игореве”... Здесь ты хмыкнешь: мол, матушка-провинция, всё жалуется, а ведь прёт буром!

Сегодня в 4 часа дня закончил большущий очерк “Тропой Черкасова”, выправил опечатки, завтра отошлю в книгу в Иркутск, потом буду посылать в районную газету (надо помогать ребятам-районщикам), потом, м<ожет> б<ыть>, в “Охоту и охотничье хозяйство” либо в какой-то сибирский журнал. Получился не очерк, а документальная повесть на 45 страниц. Тебе пришлю экземпляр обязательно, чтоб надыхался синь-студённостью и золотом

забайкальской земли. Сегодня звонил воспетый мной брат Иван, я сказал, что Куняев вроде бы всерьёз решил повидать Забайкалье, он там чуть не подпрыгнул у телефона! Надо, дед, надо, пока ноги носят, плюнуть и, как было у тебя: **“Где встретимся? В устье Каниза”**²⁷, – и ещё раз перед смертной периной почуять себе мужиком. Значит, такая судьба была у нашего поколения: не только быть умным, глубоким историком, исследователем, но и **практическим** деятелем жизни. Вишь, как я на пророческий тембр настроился...

Идёт бешено-рекламная травля Вишнякова, 4 раза жгнул меня “Забайкальский рабочий” да военная “На боевом посту” за стихотворение “Награды – дым!”, напечатанное в читинской молодёжке (перерыв до завтра).

Нам-то с тобой что надо – зацепиться какой-то зазубринкой за народную жизнь, за интеллектуальную мы зацепились, все ж – мыслители!

О стихах, звучат так:

*Люди бредят звонкими наградами,
ждут указа, ходят в поклон.
Ах, как этих папуасов радует
блеск стекляшек, побрякушек звон.
От обиды челюстями клацают,
изменяют взгляды и лицо.
Провертеть бы дырочку на лацкане,
вставить в нос почётное кольцо.
Стать лауреаткой по замужеству,
медалисткой быть не по труду,
иль, жируя на солдатском мужестве,
выбить генеральскую звезду.
Гражданин своей усталой родины,
я скажу, работая весь век:
человек, не выпросивший ордена, –
самый честный в мире человек!*

Что тут началось! Совет ветеранов на пленуме призвал: “Все на борьбу с Вишняковым, как на борьбу с Деникиным!” Партийная конференция области (а это серьёзное событие в провинции!) чуть не приняла резолюцию. А директор филармонии звонит: “После Аллы Пугачёвой с этим стихотворением ты вышел по популярности на второе место”. Бедная городская Русь – как здесь всё перекошено! А я странно-весел, безответственно-бодр и работоспособен. Душа переполнена каким-то неизъяснимым счастьем полноты понимания: что со мной и Отечеством, я знаю. Внутренний жар обещает книги, стихи, думы, дела. Практические беды перевариваются в художественное сознание (садисты мы всё же, поэты!). Помнишь Сашу Чёрного? У поэта умерла жена, он пришёл и написал стихи: “У поэта умерла жена”.

Равновесие и духоподъёмность я связываю с месяцем скитаний по Бальджикану, этой жемчужине приключений, борьбы, слёз и юмора.

Спасибо за присылку полного текста²⁸, кое о чём я догадывался из того куцега отчёта, ЧТО пропущено. Впрочем, мысль о легализации малого народа – не чисто ловкий и удачный ход, а действительно серьёзная вещь. Что-то же надо делать, итог-то какой-то русская позитивная философия и социология должны выработать. Не тратить же силы ещё лет 200 на еврейство? Выселить – нельзя, вырезать – преступление, на которое Россия не пойдёт. Ассимилировать – не получилось. Я не наивный человек, но вечно подвешенным этот вопрос быть не может. М^{ожет} б^{ыть}, ты первым попытался дать гипотезу будущего в этом деле...

3 января. Сегодня в СП получили бандероль со стенографическим отчётом со съезда СП СССР. Заново успел прочесть Распутина и тебя. Надо почаще обращаться к этому документу (отчёту) – видно, кто и куда гребёт. Об охоте. Надо будет в течение года постепенно списываться, ибо очень уж я ответствен. Раз подбиваю человека, надо обмыслить, куда, чтоб экзотичней? А вдруг привалит белка? Это же заработок! На Север или южно-монгольские, или южнокитайские хребты?

Какое у тебя ружжо? Какая есть возможность взять из Москвы что-то? У нас идёт перевооружение, карабинов не хватает. Конечно, можно и достать, но... есть ли какая возможность что-то иметь с собой? У вас там есть, гово-

рят, охотмагазин в какой-то “сторожке” – то ли “Соломенная”, то ли ещё какая-то – так, видимо, зовут микрорайон Москвы? Нас сильно оголили последние пожары – спрятанные в дуплах, погорели сотни и тысячи штуцеров, карабинов, винтовок, кремневых ещё фузеек! Были ружья, били на 1–2 км – вот тебе и ствол кремнёвки!

Потом – наш принцип: ну, не нахлестал кучу мяса и пушнины, ну, и что? Главное – приключения, поэзия, погоня, выслеживание и т. д. Вот нынче пушнины было мало, а уж приключений – ого-го! Я, думаю, вряд ли ты будешь сердиться на меня за то, что – ну, вдруг! – добудем мало. Гарантировать что-то в тайге трудно. А то вот друг из Чернигова пишет: “Гарантируешь 10 соболей?” Ну, как я могу гарантировать? Почему об этом пишу, ибо знаю, что ты в тайге не впервые: м<ожет> б<ыть>, ты с каждой охоты привозил вагон мяса и пушнины, а про Вишнякова потом скажешь: “Свистун несчастный! Мотались много, а добыли мало...”

Завтра лечу в Иркутск, м<ожет> б<ыть>, увижу Валентина Григорьевича – то-то радости говорить с ним, даже помолчать вместе – душа светлеет!

Не болей! Главное, что растут ребята, у меня такие орлы в литобъединении, учатся в Литинституте, знают жизнь, силищи у них много, русаки природные, коренные сибиряки! Повоюем, Станислав Юрьевич!

С поклоном от себя и лайки – белого Байкала!

Михаил Вишняков.
31 декабря 1988.
г. Чита.

XVIII

Добрый вечер, Станислав Юрьевич!

“Вечер” – потому что в Чите действительно догорает сизый меж хребтами и алый поверху закат 12 декабря, последний день 3-дневной отдыхаловки, завтра на работу. Завтра я с утра должен ответить губернатору “да” – т<о> е<сть> смещение с поста пресс-секретаря и переход на должность референта по вопросам культуры – или “нет” – значит, на улицу. Я отвечу “на улицу”, потому что... не знаю, почему... Вы ж написали или кто (сегодня только пришёл “НС”) – в нём? А-а, это у Воронцова в “Площади революции”: “смерть на миру красна”.

Пишу по поводу вашей эссе-мемуаристики “Поэзия. Судьба. Россия”. Наслаждаюсь ароматом времени, именами, и – как ни странно! – своей юностью, ибо всё, о чём вы пишете, опоздав из Москвы, Калуги, Иркутска на сколько-то лет нашей разницы, пришло в Забайкалье в мои годы. Мы с моим товарищем инженером-конструктором (позже, уже в Чебоксарах он изобретёт на тракторном заводе “ёлочку” для микрохирурга Фёдорова) в шестьдесят, кажется, четвёртом, как и вы, писали заявление в военкомат с просьбой отправить нас во Вьетнам добровольцами (эти сволочи-янки стали бомбить Ханой!). Нас так же благодарили и сказали: “Пока не нужно, но будет нужно – пригласим!”

Нечто вроде ожога вызвал абзац на с. 119 “По истечении десятилетий” – о “полужурналистах, полуактёрах” и т. д. Сижу и чешу макушку – как точно, удивительно правдиво и... не знаю, как тоньше аргументировать – нет! точнее – развернуть вашу характеристику: да, мне обидно, что многие знания я почерпнул не из “хрустального первоисточника” истинного знания, а от них, этих полу... Так и знания оказались полу..., а с другой стороны – от кого бы я мог узнать о том же Мандельштаме, Рублёве, Бунине, Васильеве, Ахматовой, Булгакове, Клюеве (Орешина я знал), о большой белоэмигрантской литературе? Что это было за явление? Почему среди них большинство – “недоучившиеся студенты”? Система выгнала? Сами сломались? Пошли по миру “народничать”? Сейчас таких оригиналов не встретишь. Они несли и вирус брожения, и вирус просвещения, были в большинстве людьми морально не качественными: пьянство, тунеядство ради оного, цинизм, безверие и... какое-то дьявольское знание иной правды, чем знали мы. И что сие знание? Тут такой клубок раздумий, противоречий, многовариантности и толерантности, и чёрт знает что ещё!!! М<ожет> б<ыть>, вы для издания отдельной книгой

как-то развернёте характеристику этого явления, уж больно исторический и экзотический матерьял.

Восхищённо завидую вам – в упрёк себе: много видели мои глаза, но мало воспринимали разум и душа. Есть, т<о> е<сть> были потрясающие судьбы у меня “под рукой”, ума не дошло разговорить, записать, запомнить и т. д. Всё-таки Иркутская область хоть как-то была открытой, Читинская – совсем закрытой. Разуженный вашими деталями, хочу вернуться к 4-5 страничкам моего рассказа “Виноват в смерти Сталина”, заброшенного по причине моей обречённости на жанр “забрасывания” повестей, рассказов, поэм, стихотворений. Одно частично спасает – не выбрасываю черновики.

Вот недавно Володя Топоров сообщил, что где-то издаётся что-то про Рубцова, дал адрес. Я раскопал черновик, дописал четыре строки, отправил. На мой взгляд, терпимо по качеству:

*Не придавайте значенья
разным печатным словам,
верьте лишь послесвеченью
дара, сиявшего нам.
Светлой и ласково-грустной
тянется памяти нить,
всё не умея по-русски
выразить и объяснить.
В это народное лето
знаком эпохи былой
столб незакатного света
долго стоял над землёй.
За горизонтом вечерним
был он серебряно-ал.
Кто это послесвеченьем
нам в темноте просиял?
Чья это там золотая
точка на звёздной оси?
Самая жгучая тайна
неосвещённой Руси.*

Исходя из сего примера, видимо, в декабре допишу “Виноват в смерти Сталина” и вышлю вам – вдруг пригодится, а?

Теперь ещё одно соображение: что бы ни говорили обо мне, о десяти годах во власти, изреку следующее: да, поэт имеет право творить, не побывав во власти, у поэта всё решает метафора, эмоция, синтез и т. д. Но если прозаик не работал во власти, его проза – чушь, наивная тургеневщина. Прозе нужен матерьял, детали, психология, типажи, диалоги – т. е. профессиональная речь и т. д. Зачем? Это, как ни странно, одно из ключевых понятий – власть – в современном обществе. Все творцы, вся интеллигенция насочиняла о власти много мифов. Она не хуже и не лучше, власть-то! Она просто реально страшнее и милосерднее, подлее и добродушнее, всепроникающая и никуда не проникающая, плюющая на писателей и страшно боящаяся писателей, насочинявшая со страха таких мифов о писателях, что, зная это, писатели бы ухототались на всё XXI столетие – поверь мне. Начал я что-то такое (“Приватизация ада”), которое, вероятно, не закончу никогда. Такой материал, что шарик за ролики заходят: Достоевский плюс Булгаков плюс бравый солдат Швейк плюс Бабель плюс “стулья” и “телёнок” плюс Библия и т. д. и т. д. Пишу так, как будто мне ещё предстоит прожить лет 40–50, хотя это неверно. Как ответил на мой вопрос: “Жить-то с этими болячками можно?” – один доктор-юморист: “Жить-то можно, но желательнее недолго”. Всё ж я и так долгожитель по сибирским меркам (уже 55!). Сибирь свою дань собирает водкой, махрой, стужей, бесшабашностью, одиночеством и т. д. Впрочем, как и <вся> Россия.

*Завтра я постарею,
только ты не старей —
около Зун-Торея,
там, где Барун-Торей;*

*там, где промчались ливни,
эхом громов трубя,
где я любил, счастливый,
Родину и тебя.
Отзолотело тело
Азии золотой.
Рыж, булан, изабелов,
стал табун на постой.
Завтра нас всех побреет
вечности брадобрей —
около Зун-Торея,
там, где Барун-Торей.*

Итак, десять лет во власти и неизданные рукописи: том прозы — стр<аниц> 520, детская книжка, сказки, болтомохи, книжка песен, одну даже поёт Кобзон, но “без божества, без вдохновенья” — как старательный ученик по нотам. Всяких рецензий, предисловий, мемуаров, откликов и т. д. наберётся на том критики, нет литературоведения либо истории — чёрт знает какой всяко-яко литработы. Одно время всё это, неизданное, давило и глухо обидало. Сейчас остыло, махнул на всё рукой: у власти я денег не возьму (долго потом руки отмывать), а где, в каком другом месте лежат деньги, всё как-то не удосужился разузнать. Может, оставшись без работы, и “когда жареный петух клонет” — гляди, что-нибудь и издам.

Что ещё? Не пью. После смерти брата-охотника не был в тайге 3 года. Выучился сам работать на компьютере. Съел зубы на политике, есть даже два доклада на научно-практ<ической> конфер<енции> “Власть и общество”. М<ожет> б<ыть>, подамся в какие-нибудь собкорры столичн<ой> газеты, не знаю — семью-то надо кормить, как и любому. М<ожет> б<ыть>, Лужков чем-то поможет, мы тут на БАМе познакомились. Планов на “вольную жизнь” — громадьё! Тебе и всему “НС” — низайший поклон за великое дело держания знамени русской литературы и русской общественной мысли. Знайте: вы не одиноки на Земле!

Ваш Михаил Вишняков.
12 декабря 2000.
Чита.

XIX

Станислав Юрьевич!

Вероятно, очень замученный народ придумал пословицу, в которой “молчание — золото...” Т<о> е<сть> самое преступное — лишение человека языка и гласа — объявлено народной мудростью золотом. Вот и я неделю смотрел на твоё письмо со слезой на глазах и надсадным чувством изгари в душе. Что ответить, когда в письме слышен отчаянный вопль о помощи журналу, вижу, что бьётеся вы, как в глухую стену, а ответ — молчание²⁹. И, собирая всю волю в кулак, не нахожу сил и аргументов в оправдание — т<о> е<сть> аргументов, которые будут поняты. Действительно, Читинская область живёт на Луне. Мы да Тува по всем таблицам в РФ занимаем уже более 10 лет самое последнее место. Устали от безысходности. Сам факт подписки на “НС” вызывает подозрение. Дам почитать журнал — горячо жмут руку, но подписать, да ещё на все библиотеки — отводят глаза. Во-первых, нет русских людей во всех правящих структурах (упр<авление> культуры, директора библиотек, аппарат власти в районах, в школах, ведомственных клубах и т. д. и т. д.). Резко упало доверие ко всякому печатному слову, областная газета еле-еле наскребает 12 тыс<яч> экз<емпляров>. Находится на дотации администрации. Я выпускал “Читу литературную” — 1 тыс<яча> экз<емпляров>. Почти 95% тиража раздавали бесплатно — даже по 1 рублю не покупали. С треском провалились все попытки выпуска книг — только бесплатная раздача тиража, чтоб не пылился в типографии. Вот почему я сам не издаюсь с 1988 года — 14 лет скоро будет. ТВ заместило всё, угрюмо уткнувшись, смотрят “счастливую жизнь” перед страхом собственной нищеты. Никакого Первого партизанского

отряда в Забайкалье не соберёшь. Народ плюнул на всё – день прошёл, и ладно. Поголовное, беспробудное пьянство. В моём подъезде – 5 мужчин. Вокруг вдовы и вдовы да старые девы, да девчонки малые на игровых площадках. Мужчина почти вымер: 50% – в армии, 50% – в тюрьмах. Даже евреи и мусульмане Читы стали спиваться. Кадров нет, вся инфраструктура проржавела и догнивает. Владивосток – цветочки, ягодки будут в Чите да в Туве. “Наворовал – уехал” – поголовная психология всех, кто ещё что-то соображает. Вот сейчас моя младшая дочь Лена находится в Москве, на каких-то медкурсах перед защитой кандидатской диссертации. Боюсь, наглядится там нормальной жизни – не вернётся в Читу – врачи нужны и в Москве...

Всё, написанное выше, не значит, что я лично помирать собрался, хотя, честно говоря, какой смысл в такой жизни?

Зачем присылали гонорар? Этого не надо делать, ибо “НС” – не благотворительная организация, лучше бумаги закупить впрок.

Хорошо, что вернулись к “читабельному” шрифту в стихах. Хорошо, что напечатали о Приднестровье. Никто мне не запретит перепечатать кое-что из Ганиной³⁰ в газете, которую дал согласие редактировать – “Народный депутат Забайкалья”, пока 6 тыс<яч> экз<емпляров>. Наш СП – клуб графоманов, где руководитель – мент-очеркист на пенсии, пойду узнаю, куда он деваёт “НС” – не выбрасывает ли на мусор? Какой-то реальной помощи от Читы не жди – нет людей, просто нет. Что-то я сделаю и – всё. Когда 99% прессы и вообще людей с высшим образованием – не русские, о чём речь? Это всё равно, что биться за читателя в Мудене или Хух-Хото...

Прости за то, что высказал. Был бы я романтический придурок – написал бы чего-нибудь оптимистического. Моё письмо, как “Репортаж с петлёй на шее” – врать поздно, иллюзии питать – преступно.

Стихи есть и будут, страшно перепечатывать: такой чёрный гул в голове:

*Сейчас в России время не для русских,
мы — эмигранты в собственной стране.*

Спасибо за всё, что делаешь для России. У меня бы не хватило сил. Дай тебе Бог здоровья и воли!

Михаил Вишняков.
25 ноября 2001.
г. Чита.

XX

Такого я не ожидал даже от тебя – прислать в какую-то читинскую пошешонию свой 2-томник³¹, в наши дни это почти фантастика! Говорить какие-то слова не в силах от благодарности. Почти двое суток с коротким перерывом на сон сидел, чтобы успеть прочитать, как будто боюсь, что отберут или война начнётся... Журнальный вариант – одно, книга – другое. Первое полное впечатление: это – “Путешествие из Петербурга в Москву”, только духовное, по силе фактов, анализа, точности, памяти, пророчеств, стыда и ужаса перед “открывшейся действительностью” или бездной. Тяжёлая и страшная книга про “чудище обло, озорно, стозевно и лайй” – современное еврейство и жидовство. Действительно, “линия обороны”.

Это письмо буду писать несколько дней по причинам: 1) Старею, стал болтлив, твоё время надо беречь, формулировать сжато, веско. 2) Зная твоё “беспощадное отношение к современникам”, боюсь наговорить пошлостей и глупостей, если это так – пусть будет их меньше и короче. 3) О многом я и ты знаем одно и то же. Я на 100 процентов разделяю позицию, хотя в чём-то и покруче приходилось за 10 лет на посту пресс-секретаря губернаторов... боюсь, как сказал гениально твой читатель, “перейти на **крепкие** слова и **размышления**”. Столько жёсткой, отточенно-выверенной, исторической правды о лит<ературном> мире, обществе, обо мне и... о себе, ибо, “пишá”, человек, в первую очередь, беспощадно раскрывает себя, свой образ дум и “души прекрасные порывы”. Тут дело не в полит<ической> или гражданской позиции, её может высказать и врач, и геолог, – за нашими плечами стоит великий цензор – русская класс<ическая> литература, и художнику слова ой как надо точить перо, шли-

фовать линзу зрения и разума! Врачу простят и забудут, писателю — никогда. Вот это-то и “сковывает” мои грозные думы и пламенные мысли: а прав ли я в них как художник? И не эстетство, не “олимпийство Бондарева”, ну, не могу объяснить — что? Тугодум. Таня Глушкова в своё время очень “внедрялась” в моё сознание перепиской, но... Я что-то, как вспоминал её чемодан с меня ростом на колёсиках, когда уезжали из Новгорода, с 1000-летия, так “замыкался” в скорлупу, м<ожет> б<ыть>, боялся провокаторства: кто она такая, Глушкова? Зачем “внедряется”, особенно в тему В. Распутина? Я в те годы был очень близок к Вал<ентину> Григ<орьевичу> (после ухода во власть — струсил, не писал, сейчас переписка восстанавливается). Я 10 лет обязан был сочинять некрологи, всякому ворью писать “честнейший” и т. д. Десятилетнее насилие над совестью и мозгом привело к добровольной отставке, буду год получать, как госслужащий категории “Б”, полный оклад. Уже 3 месяца прошло, а в голове — сумбур. Что это было — 10 лет? Каяться не за что: пахал по 15 часов в сутки. А чем гордиться? Ну, узнал людей с сучьими паспортами и что — ужас! — м<ожет> б<ыть>, в одно время с тобой, м<ожет> б<ыть>, чуть раньше, сочиняя здравницы и некрологи, ужаснулся, читая личные дела — вся элита из отцов-кэ-гэбэшников, ментов, партбоссов, совбоссов, профбоссов, красного директора. Во всей власти — 5–6 из крестьян, как я, на всю тысячную машину. Своя субкультура: в одни садики ходили, одни школы, один Чит<инский> пединститут за плечами, сейчас ходят в одни сауны, спортзалы, рестораны, женаты на таких же. Брр! Сейчас в Чите строится “Гениатулинское ханство”. Куда русскому податься? Там — татары, тут — евреи, и ни-ка-ких противоречий меж ними, не на чем сыграть даже... Евреи уехали, остались самые лютые полукровки. Понимаешь, нет в Чите ни 1 друга, с которым бы поговорить: спились, уехали, померли, убили. Живу письмами с 2–3 земляками. Не хандрю — пишу много, но плохо, что-то всё “местно-читинское”, на уровне провинциала, по форме — общероссийски, по материалу — “местно-пошехонски”. А ты вона куда — на Олимп, то бишь в “НС”, просишь прислать чего-нибудь интересного...

А тут — хе-хе-с! — приглашение “участвовать в Международном фестивале “Поэты на Байкале”, проводит Евтух, хочет открыть дом-музей своего имени в Зиме. ??? Специально поехать и посмотреть? Отказаться “болезнью”? Демонстративно? Буду думать, до середины лета далеко. В Иркутске побывать — тянет, там хоть с сыном Валентина — Сергеем — увижусь, всё же часто общались, когда он служил в Чите.

Согласен с твоей критикой “белой идеи”³², но надо было “переболеть корью”, а м<ожет> б<ыть>, и “раком”, чтоб идти дальше. Да и меня это — в Чите-то! — спасало, ибо видел перекошенные лица, ибо сознательно противопоставлял “белый миф” “красному мифу”, “комиссарскому мифу” и т. д. Это — особинка Забайкалья, мой фронт. Видимо, в этом был и какой-то “солонхинский личный фронт”, о котором мы не знали... Много чего накручено позади, ведь мои староверы были в белых, романтическая вуаль тут не от ума — от зова крови... Старику Балябину даже 100-летие никак не отметили, ибо часто приезжающий в Читу Кобзон так зачаровал всё упр<авление> культуры при содействии губернатора, что... (перехожу на крепкие размышления). Все буряты, от которых баллотируется Кобзон, знают мою хохму: уважая нац<иональные> особенности, надо именовать главу округа — найоном, пред<едателя> Думы — тайшой, депутатов — кобзонами! Про подписку с губернатором говорить бесполезно, попытаюсь через генералов рудников, ГЭС, заводов сделать что-то для библиотек в виде спонсорской помощи, что ли. Время есть — я ж не работаю! — займусь плотно.

Об Астафьеве — согласен, я где-то описал, как он топтался на могиле бабушки перед камерой оператора — я аж заплакал (а-а, напечатано в “Русской провинции”, это Вал. Курбатов тиснул моё письмо к нему?... — го́да 3 назад).

На этом пора заканчивать, ибо, как говорит жена: “Когда Вишнякова много, это уже перебор”.

Передавая стихи в отдел, лично посмотри “политизированные”, мне важно твоё мнение.

Остаюсь чрезвычайно бодр, работоспособен, сжат, как пружина. Буду эти годы в “крутой” оппозиции, хотя художник должен творить не “благодаря власти”, не “вопреки власти”, а “помимо власти”.

Как-то надо бы “разобраться с моей прозой”, так называемыми “забайкальскими болтомохами”, это — русский лубок, не смех, а ржачка, парадокс,

случай и т. д. Штук 50, наверное, написано, печатались по стране обширно, даже В. И. Белов написал мне: “Не считай себя провинциалом, мне бы так научиться писать – был бы счастлив...” Ну, тут деда понесло на бочку мёда, а мне нужна ложка дёгтя: что это за проза, как составить книгу ли, цикл ли: всё – пестро, разноматериально, разноязыко, разностилистично. Одна – глупость, две – глупость, а цикл... эге, что-то напряжинивается, начинает витать “некий образ”. Не посоветуешь ли переслать какому-нибудь ядовитому другу в той же Москве, чтоб всё это “продрать с песочком” да начать искать деньги на издание типа “Вологодских бухтин”, а?

Поклон твоим синеглазкам; они оставили во мне своим Бытием рядом с дедом на фоне куполов Лавры – потрясающее впечатление, теперь – уже большие, поди!³³

*Да, старость — сушёная вобла.
Но всё-таки я не тужу:
не только вполглаза, но в оба
на стройные ножки гляжу.
Легки, грациозны, прекрасны,
они примагнитят мой взгляд.
...А те, кто со мной не согласны,
пусть лучше под ноги глядят.*

Обнимаю! Вот и в Чите заиграла теплынь!

Твой Михаил Вишняков.
г. Чита.
17 марта 2001.

* * *

К сожалению, в моём архиве сохранились копии лишь двух писем к Вишнякову. Видимо, оба этих письма показали мне весьма важными, коль я отпечатал их под копирку, но, к сожалению, без даты.

Здравствуй, Михаил!

Рад был получить от тебя живую и страстную весточку, рад, что есть во глубине России люди, которые думают, страдают, мучаются, не щадя души своей. Я знаю нескольких таких страстотерпцев, за Уралом живущих, молодых поэтов: Владимира Урусова из Хабаровска, Николая Колмогорова из Кемерово, о тебе тоже всё время помнил, хотя давно стихов твоих не читал. Если выходили в последнее время книги – присылай. Нет, жизнь не кончается и русская поэтическая совесть не умирает. Очень я этому рад, и если чем-либо поспособствовал тому, что после нашего поколения появляются новые имена, то значит, недаром прошли эти годы.

Понимаю, как тяжко порою бывает тебе в Чите, душу отвести, поговорить, наверное, мало с кем удаётся.

А у нас в столице другая беда: столько сил жизненных уходит в разговоры! Поэтому, когда невтерпёж станвится, я сбегаю то на родину в Калугу, то на Беломорье, то на Тянь-Шань. А иначе пропадёшь, иссохнешь без живой воды и почернеешь до времени.

Мысли твои о поэзии мне близки. Ничего не бойся. Бесстрашие – главное наше спасение. Но и укорачивать себя надо, большой воли не давать соблазнам всяческим, будто бы всё знаешь и мир насквозь видишь. Поэт – он одновременно и сам себе народ, и сам себе государство.

Вот и пляши на ниточке, и распоясаться ты сам себе должен позволить и железной дланью свой собственный мятеж в форму уложить, чтобы стенки светились от внутреннего жара, но не плавилась.

Насколько мне помнится, в прежних твоих стихах (тех, которые я помню) форма у тебя была непрочной, красоты (совершенства?) не хватало, а ведь красота всё смирить может “слабым манием руки”: и страх перед жизнью, и сумятицу чувств, и, как ты пишешь, “Голгофу души”... Не попадалась ли те-

бе книга моих размышлений о поэзии – “Свободная стихия”, изданная в “Современнике”?

Если нет – пришлю. Может быть, нужно чем-то помочь в московских издательствах?

Не падай духом, и если пьёшь – то завязывай немедленно.

Твой Станислав Куняев.

Письмо, видимо, было написано в начале нашего “эпистолярного романа”, в то время как вторая эпистола относится, видимо, к 2002-му или 2003 году, когда мы уже хорошо знали друг друга.

Дорогой мой Миша!

Я печатаю в журнале уже год с лишним книгу своих воспоминаний “Поэзия. Судьба. Россия”. Её герои и действующие лица – люди, с которыми мы жили бок о бок почти 50 лет: Смеляков, Слуцкий, Рубцов, Передреев, Межиров, Фёдор Сухов, Георгий Свиридов и другие. Скоро дойду до более молодых и в очередной главе, с твоего разрешения, хочу напечатать несколько твоих замечательных писем, которые ты мне писал в 70–80-е годы. Я просто хочу этой публикацией показать, насколько нравственно, эстетически и граждански был высок уровень мышления и понимания жизни поэтами русскими в то время...

Думаю, ты не будешь возражать против этого замысла, тем более что письма действительно замечательные, и потому ещё, что мы в жизни, наверное, больше уже никогда не увидимся.

Теперь о делах насущных. Мишенька! “НС” – плоть и кровь, чадо моё, любимое дитя, и как же мне было обидно узнать, что подписка на него в Читинской области – самая худшая из всяких российских областей. Приморский край – ещё дальше вас! – и то 101 подписка, а у вас всего 14... Мы бесплатно для читинских писателей каждый месяц высылаем 5 экземпляров журнала, дабы наши коллеги по цеху не забывали, что они состоят в армии русских писателей. А все библиотеки города, области, районов выписывают всего 14! Миша! Нет предела моей печали, Чита, где живёт Вишняков, – и вдруг такое безразличие к великому русскому журналу! Найди спонсоров, походи к губернатору, встряхни общественность – не спи, а то умрёт во сне! Судьба “НС” неотделима от судьбы России! Чтобы ко второму полугодю было в Читинской земле не менее 100 подписок. Тогда приедем к тебе, как недавно были в Иркутске у Распутина. Не умирайте раньше времени!

Твой Ст<анислав> Куняев.

КОММЕНТАРИИ К ПИСЬМАМ

¹ Книга “Глубокий день” вышла в издательстве “Советская Россия” в 1978 г<оду>. Это было небольшое собрание избранных стихотворений, написанных с 1959 по 1978 год.

² “Канет во мгле” – строчка из стихотворения Владимира Соколова “Нет слов никаких – только совесть”... С этого серьезнейшего мировоззренческого, полного жизни письма и началась наша переписка, длившаяся почти четверть века.

³ Хорошо бы найти в архивах Вишнякова мой ответ, о котором он вспоминает в начале письма. К сожалению, я не снимал копий со своих писем, посылаемых ему, и он, видимо, поступил так же легкомысленно.

⁴ Поэму “Неведомый гонец” я прочитал, она, как мне помнится, была написана талантливо, но некоторый оттенок мистицизма для меня, человека реальных чувств, был странен, о чём я то ли написал Михаилу, то ли сказал ему при встрече.

⁵ В моём стихотворении спорили не арабы, а наши писатели (о чём Вишняков почти догадался!): профессор из Бакинского университета – некто Джафарова, а её противником в споре был известный армянский писатель Серо Ханзадян. Спорили они о том, кому должен принадлежать Арарат – армянам или азербайджанцам, забыв о том, что он принадлежит туркам. Спор этот происходил то ли на территории Ирана, то ли на земле Иордании...

- ⁶ То, что в 80-е годы будут “штормовыми” в истории России, он, конечно, угадал.
- ⁷ “Если станешь повторять путь “многих славных” — слова из стихотворения Некрасова.
- ⁸ Книга “Путь” с предисловием Вадима Кожинова вышла к моему 50-летию в 1982 году в издательстве “Молодая гвардия”.
- ⁹ Удивительно пророчество Михаила Вишнякова из этого письма: “Я знаю твёрдо, что моя смерть будет большой потерей для Забайкалья”.
- ¹⁰ “Горизонт, как перо краевое” — это строка дала название публикации “Перо краевое (судьбы писем в “Сибири”, “НС”, № 10, 2005).
- ¹¹ “И в просвещении быть с веком наравне” — пушкинская строчка из стихотворения “Чаадаеву”.
- ¹² “Хотелось мне и поздравить тебя с наградой”. В 1984 году к 50-летию создания Союза писателей СССР я был награждён орденом “Знак почёта”.
- ¹³ В первой строке вишняковского письма, видимо, идёт речь о моём письме, посланном ему летом 1985 года.
- ¹⁴ Цитаты из Алтаузена: “Я предлагаю Минина расплавить, Пожарского — зачем им пьедестал, довольно нам двух лавочников славить, их за прилавками Октября застал”, — я привёл в одном из своих выступлений тех лет.
- ¹⁵ Возможно, речь идёт о работе И. Шафаревича “Русофобия”, которую С. Викулов по моей просьбе напечатал в “Нашем современнике”.
- ¹⁶ “Твою книгу критики читали долго”. Имеется в виду книга: “Огонь, мерцающий в сосуде”. М., “Современник”, 1986.
- ¹⁷ Письмо состояло лишь из одного стихотворения.
- ¹⁸ Перевод “Слова о полку” Вишняков вскоре прислал мне, но ввиду того, что к юбилею (800-летие) великой поэмы многие поэты сделали новые переводы “Слова” на современный русский язык (И. Шкляревский, А. Артемьев, Г. Карпунина и др.), и у каждого перевода были свои достоинства и недостатки, С. В. Викулов принял решение не публиковать ни один из них.
- ¹⁹ “Твардовский в Забайкалье” был опубликован в журнале “Наш современник”, когда я стал его главным редактором.
- ²⁰ М. Вишняков вспоминает статью Е. Евтушенко “Премированное недоброежелательство” (“ЛГ”, 13.01.1988), в которой автор негодовал по поводу присвоения мне литературной премии им. А. М. Горького.
- ²¹ Телеграмма М. Вишнякова, естественно, не была напечатана в “Литературной газете”.
- ²² Это одно из самых замечательных по изображению восточно-сибирской природы и быта писем М. Вишнякова.
- ²³ Речь идёт о пленуме СП СССР, который состоялся в марте 1988 года.
- ²⁴ “Наш современник”, № 7, 1988.
- ²⁵ М. Вишняков совершенно прав в своём толковании моих строчек из стихотворения “Размышления на старом Арбате”.
- ²⁶ Речь идёт о книге “Мать сыра земля”, М., 1988.
- ²⁷ Строка из моего “Тянь-шаньского” цикла.
- ²⁸ Речь идёт о полном тексте работы Шафаревича “Русофобия”.
- ²⁹ В одном из своих писем (публикуется ниже) я попросил Михаила найти у областных властей деньги для библиотечной подписки на “Наш современник”.
- ³⁰ Возможно, что речь идёт о публикации в “Нашем современнике” “Манифеста” друга Есенина Алексея Ганина, расстрелянного ЧК в 1925 году.
- ³¹ Речь идёт о книге воспоминаний “Поэзия. Судьба. Россия”.
- ³² Серьёзные разногласия между нами возникли в период увлечения Вишняковым судьбами Колчака, атамана Семёнова, Каппеля, белого казачества. Я, как мог, пытался объяснить ему, что белые времён гражданской войны и военные люди эпохи войны 1812 года, Севастопольской обороны, русско-японской и германской войн — это люди совершенно разной духовной породы. “Воины” Февральской революции по определению не могли быть кристально честными патриотами Великой и Неделимой России, возглавляемой помазанником Божьим. Недаром я напоминал Михаилу слова Колчака о том, что он является “кондотьером”, то есть наёмником, исполняющим во время гражданской войны волю западного масонства.
- ³³ Вишняков вспоминает о моих трёх внуках, которых он увидел в деревне Абрамово под Сергиевым Посадом, когда приезжал ко мне из Москвы в середине 1990-х годов прошлого века помочь выложить сруб под деревенскую баню. Когда я парюсь в бане, сложеной из этих брёвен, то всегда вспоминаю его — худого, жилистого, с плотничьим топором в руке, с космой волос над смуглым загорелым лицом охотника, землепроходца, поэта...

Сегодня мы вспоминаем Алексея Ганина, которому исполняется 120 лет. Талантливейшего поэта и оригинального прозаика, земной жизни которому отпущено было лишь 32 года.

Наш читатель уже знаком как с его именем, так и с трагическими страницами его биографии. В 1992 году на страницах “Нашего современника” публиковался его манифест “Мир и свободный труд народам”, а также материалы “дела” так называемого “Ордена русских фашистов”, в частности, протокол допроса самого поэта. Это был, скорее, развернутый мемуарный очерк, посвященный последним полутора годам его жизни в Москве. Алексей Ганин был реабилитирован по этому “делу” в 1966 году — тихо и незаметно, — и его реабилитация, в отличие от реабилитации многих писателей 8–10-летней давности, не привлекла никакого внимания писательской общественности.

Поводом вспомнить Ганина стала и недавно обнаруженная нами прижизненная публикация главы из ганинского романа “Завтра”, печатавшегося в 1924 году в журнале “Кооперация Севера”. Глава эта — “К мёду и сладким пирогам” — была напечатана в журнале “Новая деревня” (№ 5, 1924) и не вошла в основной текст романа в окончательной редакции, а мотивы этой главы были использованы в других эпизодах романа.

На страницах “Новой деревни” тогда живо обсуждалось настоящее и будущее крестьянского мира в нэповскую эпоху, когда социальное расслоение в деревне всё увеличивалось и однажды достигло своего пика. И писатели, рождённые и вскормленные крестьянским миром, прекрасно это видели, о чём свидетельствуют и печатавшиеся в журнале рассказы Петра Орешина, и стихи (в частности, антикулацкие эпиграммы) Александра Ширяева. Роман Ганина — это и живая картина с натуры, и звучащие голоса сельских жителей тех драматических лет, и укор, и надежда... Увы, не суждено ему было развернуться по-настоящему в художественной прозе, но и то, что дошло до наших дней, говорит о незаурядном даровании писателя.

Вместе с публикуемой главой из романа мы печатаем в этом номере статью молодой одарённой исследовательницы Дарьи Кротовой, на которую мы обратили внимание, прочитав её предисловие к сборнику стихотворений Варлама Шаламова “Колымские тетради” (М., Эксмо, 2011), о котором у нас будет отдельный разговор на страницах “Нашего современника”.

АЛЕКСЕЙ ГАНИН

К МЁДУ И СЛАДКИМ ПИРОГАМ

— Кажись, проспали, — высовываясь из шалаша, говорит взлохмаченный дядя Прохор. Он тяжело ворочается. Встаёт. Протирает глаза. И как бы сам себя спрашивает:

— Вёдро-то будет?..

— Будет... как не быть, — отвечает из шалаша дядя Иван. — Комары вчера толкли высоко. И солнышко садилось в чистотку. Роса-то как?

— Крепкая, — отвечает Прохор.

— Значит, быть вёдру...

Выползает из шалаша и дядя Иван. Улыбается.

— Благодать. А птица поёт весело — тоже к вёдру. И когда ни проснёшься, а птица поёт...

— Да.

И оба на минуту смолкают.

Солнце разбудило к дневным заботам и птицу, и зверя, и человека, и каждую малую мошку. Все за работой. Особенно достаётся загнетинцам. Из года в год приходят сюда загнетинцы на сенокосы. Каждый, из года в год, косит одно и то же место — чищеньё. Хотя, по правде, никто там отроду ничего не чистил, а есть там по зарослям лесные поляны, прогалины, от полян рукава, и значит, где хорошему дереву встать неохота, растёт травёнка.

Травёнка растёт худая: по приболоткам ревун-осога да заяшник. А больше всего — суходол, где множество белопёрых, с жёлтыми сердечками попиков. Но загнетинцы и этому рады.

— Где оно, хорошее? С худой овцы шерсть — всё равно што находка.

— Правильно. А ноне трава добрая.

— Худа ли трава? Ноне и солому с крыш сымать не придётся. На коровёнку мало — нешто поднакосить, и ладно...

— На коровёнку всякий накосит. Пожалуй, сиди.

— Да и кто же сидит без дела в рабочую пору? Ноги не купленные, времени хватит, а зима — она всё подберёт...

Так рассуждают загнетинские, приступая к работе. А зимой, когда выматает от голода коров и всякую домашнюю живность, они кормят эту живность соломой. Окормят свежую солому — раскрывают крыши хлевов и сараев, кормят гнильём.

От холода и от скверного корма нередко получается мор на скот и на человека, отсюда начинается всякая беда. Загнетинские начинают скорбеть. Дают боженьке обеты на справедливую жизнь. Ставят свечи. Несут последние пятаки на водосвятные молебны, а приходят домой — матерщина. За всякую мелочь попутно подкидывают бабам и ребятишкам оплеухи и подзатыльники. Бьют изнурённых лошадёнок. А схватит за горло нужда, — заливают горе своё водкой и злым самогоном. И никому невдомёк спросить самого себя: откуда беда?

Так было, может, уже тысячу лет. Изывали загнетинские в духоте и в глупой работе. И каждое лето, забывая зимние мученья, прихваливали свои покосы.

— Надо бы, братцы-товарищи, заводить травосеянье, — говорят они чуть не в каждом собрании. — Довольно мучиться...

— Ничего, трава понече и так хороша, вон трава — барину бы и кушать.

— Да бар-то, вишь, скушали. А хвалить худое — значит, над собой подсмеиваться, нищету темнить...

Но старожилы загнетинские туги. Одно знают: ломи работу, и всё. Руки тоже не купленные. И вот сегодня уж третий день льётся на этих *чищеньях*, как и всегда, не купленный загнетинский пот.

Будто цветно говорливый поток, проходят загнетинские по просеке мимо *чищенья* Прохорова. Торопятся. Бабам надо засветло домой к коровам и ребятишкам, девкам и молодухам — в болото за красной морошкой. Мужикам тоже надо: пять верст — дорога и лошади, а до дому — пять вёрст да болото.

Только мальчонкам некуда торопиться. Они шмыгают перед ногами у мужиков, ягоды у баб из-под рук обивают. Им что? Они мастерили себе из дремучего дубья забаву. Им бы пересвистеть друг друга — и ладно.

Ушёл и дядя Прохор. Он с просеки ещё раз посмотрел на пузатый притихнувший стог. И гуще упала в брови ему хмурая тень.

Вплёлся в цветистый поток и дядя Иван. Щёбет будто птичью судьбу перенял:

— Благодать... — и весело разбегаются по лицу у него морщины, как весёлые лучики.

— Мне вот, други, на шестой десяток ровно бы пять, да и тебе, Прохор,

поди-тко, не меньше, а такого году не помню. Ноне птице лесной — и той ягоды всякой хоть отбавляй... Великое украшение...

— Нет, братцы-товарищи, — громко заговорил Клюка, — всему обновленью надо, да через труд человеческий, да через разумный. Вот мы говорим: накосили. Да разве это сено? Мученье наше одно, а не сено. И всё-то накосили шестьсот пудов, значит, по тридцать пудов на рыло.

— Не больше, — соглашаются мужики.

— А работали в сотню рук трое суток, — продолжает Мишка Клюка. — И не стыдно.

Голос у Мишки крепкий. Он идёт впереди. Телом он такой же силач, как и дядя Прохор. Он так же радостно любит мир, как и дядя Иван, только он другое знает о мире. Он разумом любит мир.

— Разве, говорю, это сено? Да откуда ему и быть? На сыром у нас вымокло, на сухом — лишаем подёрнуло. А где бы траве быть — пни да кустарник. Вот трава то — мышь за версту видно. И ходить не пошто бы.

— Ну, это ты зря, Миша... — заступается дядя Иван за лесную пустыню.

— А ты не щебечи, — обрывает его дядя Прохор. Он начинает понимать теперь, отчего пришла ему такая досада. Это Мишка Клюка, ещё вчера приходил к нему на *чищенье*, да посидел, да порассказывал, как живут и работают люди, так разве это жизнь да работа — наша-то?.. Бурчит:

— Мы изо дня в день то и дело, што горе в петлю закручиваем да нужду перетряхиваем. А силы у нас на всё бы хватило. — Он говорит — и в голосе у него глухая обида. — Нам бы горы двигать да со Змей-Горьней сражаться, а нас мошкара да солома замучили. Нет, наше время не ладно прошло, Иван хороший... Потому и молчи...

— Всему свой черёд...

— Ну, вот и слушай, что говорят, которые поумней... да нас помоложе.

— Да худа ли нонече трава, — настаивает дядя Иван. — Трава — мёд...

— Значит, ты мёду не видел, — говорит загоревшийся Мишка Клюка и широко размахивает рукой. — А вон где приложен настоящий труд да разумные руки, там — да. Там действительно — мёд. Там зайдёшь в траву-то — не выйдешь до шеи. А трава — клевер да тимофеевка, и всякие прочие.

— Ну, экая нам ни к чему, штоб до шеи-то, — ехидничает в рыжую бороду Чепя. — Наши косы не выйдут.

— И грабли, пожалуй, сдрефят, — резонно добавляет кто-то другой.

— Ничего, там не сдрефят. Там не наше горе — коса зазубренная. Там рабочий человек на покосе — вроде на тарантасе: только сиди да правь, а машина и скосит тебе и выгребет. Там всё — машина.

— Правильно. Сами в плену бывали... Видели... Да и у нас в Расее немало.

— А машина, она — хорошо. Иное дело нам всему Загнетину ковырять на неделю, а там двое да трое в сутки.

— Да меньше нашего и устанут, — поддерживают Клюку мужики, которые помоложе.

— Зато и живут. Луга у них — картина, поля — того лучше.

— И коровы — как наливные, — продолжает разгораться Клюка, — там не в угаре живёт человек. У каждого и садик около дому в порядке, и пчельничек. И овощь всякая в огороде. Да и в домах не грязь тараканья да тучи мух. Тут у него — столовая. Там — кухня, а там — спальная... Там светло человеку...

— Што говорить, — улыбается добродушный Иван, — в светлое окно, да в большое, и на свет Божий смотреть приятней. Больше тянет к работе...

— Из чистоты и на работу идти веселей.

— А светло человеку, — продолжает Клюка, — и отдых у человека светел... Там и книги полезные в каждом доме найдутся.

— Сено в хрестьянстве — всему голова, это верно, — соглашаются мужики...

— Будет много сена, будет и много живности во дворе. Сыт будешь — и о книге подумаешь.

— Всё будет, коли сыт человек...

— Завозились бы, мужики, и вы. Вон как Михайло-то Фёдорыч рассказывает... — вмешивается в разговор сноха Иванова, Палагия... — Может, и нам бы полегче было... а то вот бегай... Там ребятишки ревут, там коровёнка недоена... Провались ты...

— Верно, Палагия, — начинают говорить и другие. — Там испеки, да свари, да скоро ей на работу... Пожрать, прости господи, некогда, не то што в дому блюсти чистоту...

— Да и варить-то неча... одно-то мурло на дворе, так не ожиреешь... Тьфу ж на жисть!

— Вот вам и земля... — пыжится Чепан... — Нахватали земли, думали: рожки умывать молоком-то... а тут и пожрать неча. — При слове “земля” острые Чепины глаза загораются злыми искрами.

— Земля — она тоже хозяйина чуёт. А машины не про нас делают... вот што.

— Как так не про нас?... Разве мы не люди?

— Люди-то мы люди, только руками размахивать... Вон хоша бы Ключка. И чего ты — клевер-машина — размахиваешь, будто и впрямь на машине приехал. А?..

— И приедем... дай срок — и приедем...

— Ну, и ври, коли ветру марго... хозяйина, говорю, земля требует...

— Уж не тебя ли, Чепан?... Так об этом забудь. Тут споры оконченные. Шабаш.

— Ну вот, жрать-то и неча... мы-то проживём... у нас хватит, — бахвалится Чепан. Он нарочито важно гладит широкую бороду. Надувает щёки. И багровеет у него от злости тугая шея:

— Вот бегай день-то от зари до зари, а приди домой — и пожрать неча...

— Чего уж, житюга — што кляча: куда вывезет — неизвестно.

— И сами все трун на труне... Жуём воду — водой и захлёбываем, — сокрушаются мужики...

— Вот тут-то и надо за ум браться, да по-настоящему. По-Чепину быть — все сдохнем от голоду да от глупой работы. А где хозяйство заведено по-настоящему, да заведено травосеянье, да хорошее скотоводство, ад-машины, там и земли нашего меньше, а толку во сто раз больше. Там идёт рабочий человек на работу — сейчас ему и кофей, и бутерброды, и масло, и яйца, и ветчина. А всё отчего? А работают с толком. Вот к разумной работе, братцы-товарищи, и нам гнуть надо.

— Надо, братцы... всенепременно надо.

— И по-настоящему надо...

— Как не надо... — громко соглашаются мужики. И быстрее идут по лесной дороге.

Теснятся позади кудрявые кусты и берёзы зелёной стеной, точно они вот сейчас сбежались к просеке и силятся заглядывать друг через друга, чтоб подсмотреть, куда уходят загнетинские. А впереди притаилось болото. Широкое и глухонемое. Оно слушает голоса мужиков. Притаилось, будто о чем гадает.

Сосны в болоте шершавые, низкорослые. Издали видно, как пьются из-за кочек бурые пни да коряги — наследие дремучего времени, как стелются заплывшие белыми мхами мёртвые зыбуны.

Покамест идут загнетинские по просеке, всё у них ладно. Слово к слову — и клеится узорная былль, близкая и возможная. А заходят в болото, — цветной поток рассыпается. Ломается о пни да колоды.

Густо охватывает загнетинских болотная сырость. Засасывает болотная грязь.

— Оказия... — удивляются загнетинцы. — Ишь, лешево кладбище наворочено. Беда.

— И откуда взялось экое болотище...

— Вот тебе и травосеянье... Тут одному идти — грязи до пупа. А ты говоришь — машина... — зацарапывает Чепан. Ему обидно, что все загнетинские слушают Ключку — бывшего пастуха, а его — бывшего старшины — как будто и нету. Резонничает:

— Нет, Клюка. Машины да травосеянье нам по климату не подходят.
— А ты думаешь, всё в раю зародились? Нет. Люди целые болота высушивают, реки отводят, моря отпехивают, ежели надо... Там чуть што — лужа, застой — сейчас дренаж, значит, канава по-нашему. Вот там и дороги. И к делу скоро, и глазу приятно.

— Где это в людях? Што-то ве видно...

— Да вон хоша бы в Германии.

— Ермания... Так Ермания тебе не Загнетино... — начинают сердиться мужики. Они густо осыпают теперь матерщинами каждый пень, каждую кочку, где довелось им споткнуться. Они перебираются с кочки на пень, с пня на колоду и шире расплазуются по болоту. Ворчат:

— Ермания... вон мы приехали в Ерманию-то в пятнадцатом году. И вши этой с нами в плен прибыло — хошь лопатой откидывай. А привели нас да в баню, а кунды-мунды — в бочку.

— Ну?

— Вот тебе и “ну”. Вшу-то потом за деньги не купишь... У нас этих вшей ещё на сто царей хватило бы, а там — одиночно... Мы из бани — и кунды-мунды готовы. Ермания... дренаж...

— Да у нас и топора хорошего али лопаты во всем Загнетине не отыщешь.

— Всё это пустяки, — горячится Клюка, — а говори: все мы, от мала до велика, свистулезники. Где бы обсудить, да за дело — мы от дела да свистульки. А чья свистулька не вышла — в зубы... Вот и получается: дорога — верста, а мы пять вёрст в окошины загибаем. А што бы дорогу настоящую бросить!.. Канавы — руками на сажень выкидаешь. Лес рядом, руби да откидывай.

— Да песку воза по три-по четыре с хозяйского рыла — вот и дорога, — кто-то поддерживает Клюку...

— И песок рядом. Вон он, — показывает Клюка на зелёный пригорок.

— Да из-за чего ломаться-то?.. Сам же говоришь, по тридцать пудов на нос...

— Так по тридцать пудов, я говорю это, с Чепиной плешью. А ежели по разумному — тысячи, только заведи травосеяние.

— Ну, и врать же ты, Клюка, обучился. Одно слово — пленный. Тышшы... Эх, ты...

— Чего врать? Вот, скажем, квадрату у нас на этих *чищеньях* 100 десятин, вот и считай: при травосеянии с каждой десятины люди накашивают 300 пудов. Значит, 300 умножить на сто. Што тут? Эй, вы там, свистулезники. Ну-ко? — обращается Клюка к ребятишкам.

— Где им, разве их учат — на дело...

— Ишь окоёмы. Им бы собачиться да обутку портить... — ворчат старики на мальчишек. Но мальчишки засновали, как воробьи в конопле. Они ищут, где толще сосны, царапают на шершавой коре умноженья. Кричат.

И по-новому насторожилось болото.

Тысячи лет дремало оно под лягущечий квак. Стонами куликов да плачем пугливой пичуги пугало оно запоздалых прохожих. Под глуши сосен дремало оно. Веяло тоской и морокой от зыбунов, где от века маячил белесый туман. И было оно властелином могучим, как смерть, на тысячи людских поколений. А тут? Такого от века не было! Не новые ли колдуны безбородые появились? Вот они царапают знаки на шершавой коре. И по-новому заклинают болото...

— Кто скорей? — торопит их Мишка Клюка... И мальчишки кричат:

— Триста...

— Три тысячи...

— Тридцать тысяч.

— Правильно, — соглашается Клюка, — тридцать тысяч. Вот тебе, Чепан, и пустышина.

— Не знаю... — оправдывается Чепан, — бирывал я и клеверу, а выросла какая-то стерва колочая...

— Это верно. У Бога силой не вырвешь, — поддакивает Чепе Иван.

— Нет, вырвешь. Да с дураками, я думаю, и Богу скушно. Дуракам вот на всё Загнетино — 600 пудов, а умным — тысячи, небось, разница. Тут 30 пудов на хозяйство, а при травосеянии — полторы тысячи, в пятьдесят раз больше. А это што значит? А вот: есть у тебя одна коровёнка, и ту не знаешь, как продержат, а накосил бы полторы тысячи — держал бы вместо одной двадцать. Да и коровы были бы не такие валежины.

— Правильно, — соглашаются мужики.

— Да, небось, и другое што прибыло бы.

— Вот вам и кофей, и масло, и молоко... Хорошее житьё рядом — в окна стучит... А мы на глупой работе сдыхаем. И знать ничего не хотим.

— Всё от себя... Братцы... Сначала бы один луг засеять. Потом — другой. Так и пошло бы, што ни год — выше да краше. Жизнь — она сразу конём заиграет.

Идут мужики. Бластится им зелёный пригорок; бластятся за пригорком светлые сытые избы. А бабы всё шире расплозуются по болоту, будто их манит куда рогатая, сухорукая нежить. Любо девкам и молодухам собирать морошку — весёлую ягоду. Глянут нечаянно в сторону — и будто красный говор стоит по болоту. А мужики лезут, где гуще сосны, и будто суше. Но соснам от века приказано блости болотную глушь. Хватают сосны цепкими сучьями за полы, больно стегают упругими лапами загорелые лица и шеи и сыплют пригоршнями колючую хвою в лохматые бороды. Но загнетинских не остановишь.

Дохлопывают загнетинские последнюю грязь и один за другим выходят на зелёный пригорок.

— А мёд — это и для здоровья пользительно.

— Ещё бы...

— А здоровый человек, да неизмаянный, он везде лучше и к нам ласковей... — разговаривают размечтавшиеся о сладком житье звонкоголосые молодухи...

— Здоровый мужик али хворый — рази сравнишь...

— Да...

— Вон бабы-то мёду хотят... — кто-то подшучивает над бабами.

— Что ж... — снова начинает Клюка, — клевер не надо выдумывать. Пчелу тоже. Всё дадено человеку — только бери, приложь разумные руки и пользуйся.

— Ну, други, пошагивай... вон солнышко-то скоро закатит...

— Оно подождёт, — весело смеётся Агафипка. Она лукаво и ласково улыбнулась Мишке Клюке и заторопилась вперёд.

— Вот она — белый огонь и сочная, как весеннее поле, — думает Мишка Клюка, и хочется ему сдвинуть с загнетинских душ слепую покорность судьбе и мёртвую неподвижность.

— Да, братцы-товарищи, только стоит разумно взяться за дело — и земля наша, поля и луга загнетинские станут скатертью-самобранкой. Было время — нам рассказывали сказки о сладких пирогах и о мёде, а мы слушали и облизывались. Но теперь мы все должны понять, что с настоящих столов вот этими настоящими руками, если мы захотим, будем брать и мёд, и сладкие пироги.

Он говорит, и бодрей шагают загнетинские.

И кажется, не к дому они идут, а льются цветным потоком по зелёным пригоркам туда, в зарю, в весёлое и говорливое завтра.

НАРОДНАЯ ВЕРА И ХРИСТИАНСКАЯ СИМВОЛИКА В ПОЭЗИИ АЛЕКСЕЯ ГАНИНА

Алексей Ганин – один из интереснейших поэтов начала XX века. Расстрелянный в 1925 году, он был впоследствии как будто вычеркнут из литературного процесса той эпохи, а его творчество – практически отторгнуто от читателя и исследователя. Лишь в конце истекшего столетия интерес к этому яркому и самобытному поэту возродился, и сегодня, в начале XXI века, для ценителей и исследователей русской литературы совершенно очевиден масштаб фигуры А. Ганина. Знакомство с его творчеством значительно обогащает представления о художественном наследии Серебряного века и первого послереволюционного десятилетия.

Алексей Алексеевич Ганин родился в 1893 году в деревне Коншино Вологодской губернии в крестьянской семье. В 1911 году поступил в фельдшерско-акушерскую школу в Вологде, закончил обучение через три года и сразу же был призван в армию (служил фельдшером в госпиталях Петрограда). В период армейской службы Ганин познакомился с Есениным, который работал в госпитале Царского Села, и в 1917 году Ганин вместе с Есениным и будущей известной актрисой Зинаидой Райх предпринял поездку по Северу России: сначала – к себе на родину, в Коншино, а оттуда – на Соловки. Известно, что во время путешествия Есенин и Райх обвенчались. Ганин присутствовал при этом событии, он был поручителем со стороны невесты, в которую и сам был влюблён. Зинаиде Райх посвящено его стихотворение “Русалка, зелёные косы...”, написанное вскоре после её венчания с Есениным.

После революции Ганин вступил в ряды Красной Армии, служил военным фельдшером. Доктор А. В. Фалин, сослуживец Ганина, писал о нём: “Военный фельдшер А. А. Ганин проявил себя хорошим помощником врачей, инициативным и энергичным работником. Ганин безукоризненно выполнял свои обязанности во время операций. Нередко самостоятельно решал много разных задач... Был требователен к себе и подчинённым. За нерадивость строго взыскивал. Сам работал, не считаясь со временем”¹.

В 1919 году Ганин женился и на протяжении четырёх последующих лет жил с семьёй в Вологде. В этот период, в 1920–22 годах, поэт издал в Вологде несколько своих книг, отпечатанных литографским способом². Печать такой книги – необычайно трудоёмкий процесс: необходимо на каменной форме написать текст специальным литографским карандашом, потом обработать эту форму, и только после этого печатать с неё книгу. Ганин не только писал на камне тексты стихотворений, но и рисовал иллюстрации. Помогал в выпуске книг Ганину С. Клыпин, владелец частной типографии в Вологде, на своих же книгах поэт указывал название придуманного им самим издательства – “Гли-

¹ Цит. по: Кондакова М. А. Воспоминания о брате А. А. Ганине (1979). Опубликовано как приложение к ст.: Тихомиров С. А. Возвращение к читателю // “К тебе пришёл я, край родимый...”. Книга о судьбе и творческом наследии вологодского поэта Алексея Ганина. Вологда, 2005. С. 32.

² Подробно о способе печати Ганиным своих произведений в Вологде см.: Демидова Е. Л. Литографированные издания Алексея Ганина // Там же. С. 101–108.

на". Всего Ганин выпустил таким способом 11 книг. Естественно, тираж их был крайне мал, и сейчас эти сборники, хранящиеся в Вологодской областной универсальной научной библиотеке, являются библиографической редкостью.

Конечно, Ганин хотел бы видеть свои книги напечатанными не только "самодельным" способом, но и изданными значительным тиражом в центральных издательствах. Может быть, в надежде реализовать это стремление поэт в 1923 году отправляется в Москву. Поездка в столицу была вызвана и необходимостью заработка, так как семье Ганина катастрофически не хватало средств к существованию. В Москве поэт "оказался в крайне отчаянном положении: без работы, без комнаты, без денег"¹. Он тщетно пытается устроиться на службу, найти хоть какой-нибудь источник дохода, ведь "дома осталась ни с чем жена и двухлетняя дочь, перенесшая летом тяжелую дизентерию. А жена всё ещё тосковала о маленьком сыне, умершем в то же время и тоже от дизентерии"².

Ганин вступает в столичный литературный мир, активно общается с Есениным и другими новокрестьянскими поэтами, а также со многими представителями тогдашней художественной интеллигенции. Ежевечерние собрания в общепите писателей, потом, по словам Ганина³, "галдёж до двух часов ночи" в кафе "Стоило Пегаса", потом – "если в состоянии мы были двигаться" – "кручение до шести часов утра" в ночных чайных. Ганину всё это было тяжело, его вовсе не привлекала такая жизнь с бесконечными кутежами и ночными весёлыми сборищами. Ему хотелось спокойно работать, он вынашивал планы нескольких крупных драматических произведений из римской истории и, кроме того, начал писать "большой роман, который бы охватывал жизнь России в целом за последние двадцать лет и действие в котором разыгрывается, в отличие от всех существующих романов, не на любовной интриге, а на социально-экономических условиях"⁴. Одним словом, "хотелось работать, но не было стола, чтобы присесть и записать пережитое", поэтому длился "пьяный угар и смертельная тоска".

Участники шумных богемных собраний порой вели себя крайне неосмотрительно, а иногда и нарочито независимо, даже вызывая. Известно множество скандалов с участием представителей творческой среды того времени. Например, широкий резонанс в соответствующих кругах Москвы получил арест в ноябре 1923 года четырёх поэтов: С. Есенина, С. Клычкова, П. Орешина и А. Ганина. Якобы поэты, сидевшие в кафе за кружкой пива, позволили себе какие-то рискованные высказывания, а гражданин за соседним столиком подслушал их разговор и вызвал милицию, требуя ареста "преступников". Над поэтами состоялся товарищеский суд, им тогда лишь пригрозили, но оставили на свободе. Ганину свободу и жизнь оставили ненадолго: уже в следующем, 1924 году поэт вновь был арестован, а 30 марта 1925 года расстрелян.

Алексей Ганин был осуждён как глава "Ордена русских фашистов" – вымышленной организации, которая, естественно, не существовала и не могла существовать в 1924 году. Поводом для ареста послужил якобы найденный у Ганина программный документ "Ордена" – тезисы, озаглавленные "Мир и свободный труд – народам". Согласно "Протоколу допроса гражданина Ганина Алексея Алексеевича" (опубликованному в 1992 году журналом "Наш современник"), поэт утверждал, что тезисы представляют собой набросок к будущему роману и отражают взгляды отрицательного героя – противника советской власти. "Объединяя случайный материал, повторяя собранные мной из официальных изданий, из случайных фраз и белогвардейских листовок для моей работы "тезисы", я полагал, что не делаю особых преступлений. В этих тезисах я не выразил никакой государственной тайны, потому что никакой тайны я не знаю"⁵. Как отмечает проф. М. М. Голубков, рассуждая о причинах ареста Алексея Ганина, "сейчас уже кажется очевидным, что истинной причиной были не сфабрикованные политические дела и ярлык фашиста, навешанный на поэта, но нетерпимость большевиков к тому мироощущению,

¹ Протокол допроса гражданина Ганина Алексея Алексеевича (Предисловие Ст. Куныева) // Наш современник. 1992. № 4. С. 160.

² Там же. С. 161.

³ Там же. С. 161.

⁴ Там же. С. 160.

⁵ Там же. С. 166.

которое смогли воплотить в своем творчестве писатели, выдвинутые русской деревней в ряды великой русской литературы”¹.

Алексей Ганин реабилитирован посмертно в 1966 году.

В литературоведении Алексея Ганина относят к числу поэтов новокрестьянского направления. Действительно, его художественный мир во многом близок поэтике Н. Клюева и С. Клычкова, С. Есенина и П. Орешина, А. Ширяевца и П. Карпова. Эти люди родились и выросли в деревне, прекрасно знали крестьянскую жизнь, которая и была плодотворной почвой, взрастившей их талант. Естественно, мир деревни органично вошёл в лирику этих поэтов. Так, у Ганина есть целый ряд стихотворений, связанных с темой земледельческого труда или поэтически отражающих крестьянский быт.

Жизнь русского села для Ганина – не просто предмет восхищения, ностальгических размышлений или лирической рефлексии. За поэтическими описаниями покоса или пахоты, примет сельского обихода, всего размеренного и мудрого уклада деревенской жизни стоит глубокий нравственный смысл: поэт убеждён в том, что именно крестьянство является хранителем русской духовности, подлинным нравственным оплотом нации. Эта идея становится определяющей для всего творчества Ганина, и практически любое его стихотворение становится подтверждением тому. Наиболее ярко эта система представлений выражена в поэме “Памяти деда” (1918). Поэма описывает жизнь человека как непрерывный труд, но этот труд – светлый, радостный и здоровый. Жизнь Деда – крестьянина, землепашца, – казалось бы, проста и незатейлива: “не завидней онучи”. Каждое утро, рано-рано, когда на небе ещё звёзды “ныряют в глубокое Сине”, Дед уже встаёт, “выедет, было, на пашню и пашет”. Не забавляясь пустыми рассуждениями, не задумываясь “о концах и началах”, человек возделывает землю и живёт плодами своих трудов. Дни Деда идут своим чередом, в заботе о хлебе, в согласии с миром и с собою, и так же, как естественно и гармонично шла его жизнь, приходит и смерть. Собственно, в поэме кончина Деда ни разу не названа смертью – он лишь “уснул”, “задремал” под божницей, и это будто даже не смерть обычного человека, а “успение” святого. Сквозь дремоту Дед “видит: из груди, что ветер, летит лебединое стадо – // Земные заботы, печали”², – и в избе усопшего Деда становится тихо и празднично, как в церкви. Дед в поэме Ганина – это ещё один образ в галерее праведников русской литературы, стоящий в одном ряду с соответствующими героями Н. Лескова и А. Чехова, А. Платонова и А. Солженицына.

Поэма написана свободным стихом, в метрическом складе которого, однако, явно ощущается ориентация на гекзаметр. Отдельные фрагменты поэмы написаны именно гекзаметром, со строгим соблюдением его метрической схемы:

*Хочется Деду внуочка позвать — и не родится слово.
А день широко разгулялся под небом глубоким и синим,
и Сивку впрягли уж другие распахивать вёшние нови.
Всё на селе, как и прежде, лишь по-новому гвозди,
чуется, кто-то вбивает, и пилят сосновые доски...³*

Обращение поэта к гекзаметру, естественно, вызывает в сознании читателя ассоциации с античным эпосом, но не с гомеровским, а, скорее, с гесиодовским – с поэмой “Труды и дни”. Значительная часть этой поэмы посвящена описанию труда земледельца – труда, который должен восприниматься человеком не как тягостная обязанность, а как исполнение божественных установлений. “Вечным законом бессмертных положено людям работать”, – утверждает Гесиод. “Всюду начертано: зверю таиться в лесах и следить за добычей... // А человеку в трудах украшаться под небом”, – рассуждает герой

¹ Голубков М. М. Мешок алмазов. Алексей Ганин и книга о нём // Историк и художник. 2008. № 3. С. 54.

² “К тебе пришёл я, край родимый...”. С. 331–335.

³ В ряде изданий поэмы графически строки выглядят несколько иначе: большая часть из них разбита на два-три кратких отрезка. Подобное дробление могло быть вызвано исключительно техническими причинами. Характера метрики это несколько не меняет.

поэмы Ганина. Гесиод рассказывает, как должен жить разумный земледелец: быть прилежным в работе, больше успевать сделать в тёплое время года, когда земля щедро дарит человеку свои плоды, загодя готовиться к зиме. Хороший хлебопашец знает и многочисленные приметы, понимает, как связаны между собой те или иные природные явления. Таков и Дед:

*Глянет на поле. И где-то далече-далече в поле кричат журавли...
И Дед уже знает по крику: будет ли ведро, будет ли непогода ныне [...]
Всюду приметы, кто в тысячный раз просыпается в красной заботе о хлебе.
Старому Деду раскрыта зелёная книга земли.*

Вместе с тем, несмотря на явно ощущаемый идейный и “стилистический” параллелизм, у Ганина смысловой доминантой всё же является христианское сознание необходимости исполнять свой долг на земле, ощущение жизни как крестношения, а не просто готовность трудиться, чтобы быть более богатым и счастливым.

Такое понимание цели и смысла труда и любой человеческой деятельности характерно для Ганина и вполне согласуется с идейным миром новокрестьянской поэзии в целом. Ганин никогда и не отрицал своего внутреннего родства с поэтами “крестьянской купницы”¹, но всё же ни с каким из современных ему художественных течений своё творчество не соотносил, называя себя “романтиком начала XX века”. Его мироощущение и вправду было романтическим: ожидание и жажда чуда, вера в поэта и всеисилие его слова, восприятие природы как средоточия красоты и мудрости бытия. В значительно меньшей степени отразилась в лирике Ганина темная сторона романтического мироощущения — демонизм, богоборческие порывы, надломленность и ирония. Безусловно, Ганин — поэт широчайшего спектра настроений: от ликования и восторга до высокого трагического пафоса, но доминирует в его творчестве всё же светлая нота. Лирика Ганина, при всём её разнообразии и богатстве настроений, по большей части яркая, праздничная, цветистая, она наполнена свежестью и душевным здоровьем. Жизнь Ганина не была лёгкой — он пережил революцию и гражданскую войну, на протяжении 20-х годов жил под постоянной угрозой ареста, — но, несмотря на это, поэту удалось сохранить в себе любовь и доверие к жизни. Это был ни в коем случае не тот примитивный оптимизм, который А. Блок назвал мирозерцанием “несложным и небогатым”. Это было мудрое приятие жизни, основанное на глубокой религиозности.

А. Ганин является одним из самых ярких и мощных православных художников своего времени. Религиозное чувство и религиозный идейный строй пронизывают его поэзию — от ранних стихотворений до произведений 1920-х годов. Ганин — поэт христианского сознания, воспринимающий мир как средоточие любви Божьей и чудес Божьих, и именно это определяет художественную и мировоззренческую систему его лирики.

Один из ведущих образов (и одновременно — одна из ведущих идей) его творчества — это Любовь. С идеей Божественной Любви, которая наполняет весь мир, в лирике Ганина неизменно соединено представление о безграничной Божьей милости и доброте. В личной, индивидуальной вере поэта, если судить по его стихотворениям, превалирует именно этот аспект, идея же предстоящего Суда, неминуемого воздаяния за грехи становится для него чем-то абстрактным, неким символом, но никак не тем грядущим, что действительно ожидает любого человека после смерти.

Яркое подтверждение сказанному — поэма “Воскресение” из сборника “В огне и славе”. Это поэма о Втором пришествии Христовом и конце Мира, своего рода поэтическое толкование Апокалипсиса. Поэма состоит из двух частей: первая описывает поэта, спящего “могильным сном”, заточенного “в холодный гроб”. Во второй части лирический герой слышит призыв: “От-

¹ Данный аспект поэтики Ганина рассмотрен в ряде исследований: Голубков М. Мешок алмазов. Алексей Ганин и книга о нём // Историк и художник. 2008. № 3; Дюжнев Ю. “Нас выслали вечность, вскормила изба” // Север. Петрозаводск, 1998. № 10; Куняев Ст. Жизнь и смерть поэта // Ганин А. Стихотворения. Поэмы. Роман. Архангельск, 1991; Михайлов А. Пути развития новокрестьянской поэзии. Л., 1990; Парфёнов Н. Алексей Ганин и его литературная судьба // Север. Петрозаводск, 1973. № 9.

крой глаза и выйди вон из гроба”, – и, покорный зову, восстаёт и видит апокалиптическую картину:

*Бежала ночь на небесах червлёных,
Два солнца спрятались за красный лес,
Язык огня от жертвенников чёрных,
Шумя, как вихрь, летел в глуби небес.*

*Из всех гробов, проглоченных ночами,
Горя тоской, по огненной реке
Воскреснувшие тихо шли рядами,
И каждый нёс дела свои в руке¹.*

“Дела” людей, которые они несут на суд Божий, – это скорбь, “чёрное зло”, “томительный недуг”. Люди в страхе ожидают своей участи, но “час суда никто не вострубил”: Господь решил не судить “ослепнувшее стадо”, а простить весь Мир и даровать всем благо вечной жизни. Своим крестным страданием Христос уже искупил грехи всех людей, и теперь “язвой рук” Он благословляет человечество, дарует всем прощение.

Трактовка евангельского Слова именно в таком ключе чрезвычайно характерна для Ганина. Она, может быть, не обладает догматической точностью, но глубоко отражает одну из важных граней народных православных представлений о Христе: неисчерпаемость Божьего милосердия, всепрощение, Он – Господь, взирающий на мир “с ласковой отрадой”. Именно такой круг религиозных представлений отражён и в другом стихотворении Ганина – “Гору скорби День взвалил на плечи. . .” из цикла “Вечер”. По смыслу это стихотворение явно разбивается на два раздела, сходных по образному наполнению с разделами “Воскресения”. В первых строфах стихотворения описывается День. Ганин во многих стихотворениях пишет это слово с заглавной буквы, вкладывая, по всей видимости, в него целый ряд значений: это и любой день любого человека на земле, это и ежедневно занимающие ум человека суета и заботы, печали и радости. В стихотворении, о котором идёт речь, День – это скорбь, тщета и пустой шум:

*Гору скорби День взвалил на плечи,
В суете душа весь день купалась,
И людские речи, будто мухи,
О тщете с полуденья жужжали².*

Но вот День уходит, суета и скорбь “ниспадают” с души. Теперь лирический герой новым, чистым взором смотрит на мир, “погружаясь в тайны мирозданья”. Он слышит, как Прамать-земля обращает к Саваофу молитву о своих “чадах неразумных” – погрязших в заботах людях. И Господь повелевает “силам ясныкрылым” ниспослать всем обитателям Земли утешение:

*Чтоб в земном во чреве-океане
Всяка тварь отныне веселилась
И вовек, как злак, произрастали
В человеках мир, благоволенье.*

“Любовь Пропятая” искупает все грехи Мира, поэтому люди прощены и утешены, а Земля – “ласкова” к своим обитателям. Не только в идейно-образном строе этого стихотворения, но и в его формальном устройстве выражается глубокая укоренённость автора в народной традиции: по внутренней организации и стилистике оно явно ориентировано на духовный стих – фольклорный жанр, представляющий собой лирическую песню-сказ, толкующую евангельские или библейские сюжеты. Стихотворение Ганина, как и духовные стихи, не имеет рифм (это верлибр) и лишено жёсткой метрики. С жанром духовного стиха его роднит и специфика образного ряда: образ матери-земли,

¹ “К тебе пришёл я, край родимый. . .”. С. 320.

² “К тебе пришёл я, край родимый. . .”. С. 273.

страдающей за своих чад, образ “солнечного камня”, восходящий к часто упоминаемому в духовных стихах “Алатырь-камню” или “бел-горюч камню”, обладающему, согласно народной мифологии, чудесными свойствами. С духовным стихом стихотворение Ганина сближает и то, что в нём ощущается скорее не ортодоксально-православный, а апокрифический дух: Праматерь-земля, молящаяся “солнечному камню” и одновременно — Богу Саваофу, серафимы, ходящие “по заре” и укрывающие землю “Божьей ризой”. Для этого стихотворения характерно идущее опять же от фольклорной традиции предельное сближение Божьего и человеческого мира. Столь же, а может быть, ещё более явно это сближение чувствуется в другом стихотворении из того же цикла — “Отгони свои думы лукавые...”, — где Господь совсем рядом с людьми, и Его можно увидеть. Бог здесь — это не повелевающий Саваоф, как в предшествующем стихотворении, а “Учитель и ласковый Брат” (эпитет “ласковый”, встречаемый уже в третьем стихотворении, является одним из любимых у Ганина). Весь Мир же, вся Земля — это храм, где служится Божественная литургия: звёзды видятся поэту горящими свечами, небо представляется клиросом, с которого льётся ангельское пение, а покрытые утренней росой травы — причастниками.

Для христианского сознания необычайно значима категория чуда. В поэтическом мире Ганина она неизменно присутствует, как, например, в стихотворении “Предутрие”. Наступающий рассвет описывается здесь как чудесное явление, как дар Божий, в ожидании и предвкушении которого природа пребывает в молитве: “ласковый ручей, перебирая чётки, // поёт, молясь судьбе, // серебряный псалом”. Природа в этом стихотворении не просто оживает, а одушевляется, наполненная божественным присутствием.

Приход весны для поэта — тоже чудо, как и наступление рассвета. Стихотворение “Сегодня целый день я пил Твоё дыханье...”¹ своего рода гимн наступающей Весне, молитва к Ней. Стихотворение заставляет читателя вспомнить о блоковской поэтике: весна у Ганина — это одновременно и божество, и благо, и воплощение красоты Мира, и объект восхищенной любви и преклонения поэта. Это стихотворение может быть прочитано как своеобразное преломление темы Вечной Женственности, соловьёвской Души Мира. Речь идёт, конечно, не о заимствовании Ганиным образно-тематического ряда стихотворений Блока или Соловьёва, а, скорее, о некоем взаимодействии с символистской поэтикой, в орбиту которой были так или иначе вовлечены практически все поэты Серебряного века. Для Ганина подобное взаимодействие было тем более естественно, что его образный мир во многом связан с этим художественным направлением, хотя его вряд ли можно было бы однозначно охарактеризовать как поэта-символиста. Как отмечает Ст. Куняев, Ганин “создал в своей поэзии своеобразный сплав народного и глубоко интеллигентного, модного в те годы символического понимания мира”².

Ключевым для русского символистского искусства является, как известно, идущее от Вл. Соловьёва (а у него, в свою очередь, сформированное на основе идеалистических учений) представление о двоюмирии: существовании земного, брэнного мира и высшего, вечного. Поэт — посредник между двумя мирами, он способен увидеть в здешнем, тленном мире отзвуки того, совершенного, услышать отзвук его “торжествующих созвучий”. Русские поэты-символисты в значительной степени опирались на это учение, и в лирике Ганина также можно обнаружить связь с соловьёвскими представлениями. В частности, стихотворение “Я прихожу к тебе мечтать...” из цикла “Красный час” — это стихотворение о двух мирах: “отчизне” поэта — заоблачных высях, где поэт “в вихрях солнечных летал” и “песней ткал судьбу миров”, и брэнном мире, “земных селениях”, куда явился поэт, приняв “образ человекий”. Творчество — не что иное, как воспоминание поэта о “забытой отчизне”, мечта о ней и тоска по ней. Стихотворение насыщено символистской риторикой: “пожар мирских восходов”, “кончины и начала”, “взмахи огнепальных крылий”, “роща лунных чарных лилий” и т. д. Те неологизмы, которые встретились в

¹ Сегодня это стихотворение известно читателю в двух вариантах. Источник одного из них — конволют, изготовленный А. Ганиным, источник другого — прижизненная публикация этого стихотворения под названием “У косогора” в сборнике: Ганин А. Былинное поле. М., 1924.

² Куняев Ст. Жизнь и смерть поэта // Ганин А. Стихотворения. Поэмы. Роман. Архангельск, 1991. С. 13.

перечисленных словосочетаниях (“огнепальные”, “чарные”) заставляют вспомнить о символистском словотворчестве, например, о лексических экспериментах В. Брюсова или К. Бальмонта. Элементом символистской поэтики является и особое внимание поэта к цвету, к свето-цветовому строю стихотворения: здесь это цвета “нездешней” яркости – преобладает золотой с его вариантами (солнечный, огненный, “огнепальный”), а кроме него – ярко-алый, голубой и те диковинные цвета, которые каждый читатель представит себе по-своему (как выглядят, например, “лунные чарные лилии”?).

Вообще тема цвета в стихотворениях Ганина – это предмет специального изучения¹. Ганин – поэт многокрасочный, почти каждое его стихотворение имеет неповторимый колористический облик, который складывается из сочных цветовых сочетаний: золотой, алый, синий, белый. Цвета в лирике Ганина не только глубоко символичны, но и ориентированы во многом на православную иконописную традицию. Так, красный или алый – один из любимейших и наиболее частотных цветов у Ганина – в иконописи символизирует любовь, радость, благо и торжество вечной жизни (хотя может иметь и другое значение: красный – цвет крови, мученичества). В стихотворениях Ганина этот цвет означает ликование и свет, новую жизнь. Иногда красный и его оттенки характеризуют у Ганина абстрактные понятия – “алая радость”, “ярко-ал” поэтический полёт в стихотворении “Я прихожу к тебе мечтать...”. В этом случае цвет становится чистым символом.

Символическое значение часто обретает и белый цвет, который в иконописи является цветом чистоты и святости, символом Божественного света. В “белоснежной” одежде появляется в стихотворении “Отгони свои думы лукавые...” сам Христос.

Наконец, самый частотный, на наш взгляд, цвет в поэзии Ганина – золотой. На иконе этот цвет символизирует Бога Саваофа. В лирике Ганина, в согласии с православной традицией, золото – атрибут Божественного: “золотой крест”, “золотой херувим”, “золотые пальцы Саваофа”. Вместе с тем, пристрастие Ганина к образам золотого сияния, солнечного света, огня роднит его и с символистским искусством, особенно с К. Бальмонтом и композитором-символистом А. Скрябиным. Речь идёт не просто о случайном сходстве, об использовании аналогичных средств поэтической выразительности. Ганина и Бальмонта, Ганина и Скрябина связывает глубинное родство поэтики и художественного мышления. У всех троих огонь – всемогущая творческая стихия, а поэт (у Скрябина – музыкант, и он же поэт, вообще – Творец в широком смысле слова) – демиург, вершитель судеб мира, источник и средоточие вселенской энергии. У Ганина в стихотворении “Я прихожу к тебе мечтать...” поэт – это прорицатель, творец и судья, он “песней ткал судьбу миров, // вещал кончины и начала”. В художественном мире Ганина сам поэт и есть источник очистительного огня, который сжигает “всё, что сумрачно и тленно”.

Стихия огня – атрибута поэтического всемогущества – господствует и в стихотворениях сборника “Священный клич”, где поэт-демиург, искупитель мира, ведёт за собой всех “детей земли”. “Огненное слово” поэта воскрешает умерших, они восстают из “тесных гробов”, и вся Вселенная, преображаясь, пылает: “огненный взлёт ураганов”, “алые тучи”, “звёздные костры”.

В стихотворениях сборника “Священный клич”, написанных в 1916–1918 годах, философская тематика, осмысление сущности поэтического творчества соединяется с размышлениями на самые животрепещущие для того времени темы – о происходящих в стране революционных событиях. Судя по стихотворениям тех лет, Ганин воспринимал революцию неоднозначно. С одной стороны, поэт, по-видимому, осознавал историческую неизбежность происходящего: неслучайно в стихотворении 1918 года “Гонимый совестью незримой...” он говорит о чём-то “неотвратимо роковым”, что постигло родную страну. Поэт, как представляется, был готов признать не только неизбежность, но и справедливость того, что совершалось тогда в России. Известно, что в 1917 году Ганин вступил в ряды Красной Армии (служил фельдшером в госпиталях Северного фронта). Стихотворения, созданные в этот период, говорят о том, что революция воспринималась Ганиным как акт справедливого

¹ См., напр.: Судаков Г. В. Живописное слово поэта // “К тебе пришёл я, край родимый...”. Книга о судьбе и творческом наследии вологодского поэта Алексея Ганина. Вологда, 2005.

мщеня, “священный бой”, “священный гнев”. Подобное, романтизированное, восприятие было свойственно многим представителям творческой интеллигенции на начальном этапе революционных событий. Как отмечает проф. Е. Б. Скорospelова, «крестьянские поэты встретили Октябрь как весть о возрождении родины, как надежду на особую нравственно-эстетическую роль русского крестьянства – хранителя самобытных национальных начал», и лишь потом для них стало очевидно другое: “истребление крестьянской культуры, необратимая деформация традиционного деревенского уклада”¹. Ганин пишет в 1917 году стихотворения “Мужайся, брат...”, “Братья, плотнее смыкайте ряды!” (цикл “Священный клич”) – это и своеобразные воззвания к борьбе, и воодушевление битвой, и призыв выше взметнуть “факел красный, наш красный стяг”. Поэт, зовущий к бою, помнит о том, что за пролитую кровь придётся отвечать перед Богом, но считает, что сражающиеся за правое дело не будут осуждены: “да не смутится боем, кто верит в свет”. Молодой поэт первоначально видел революцию в романтических и, одновременно, былинно-сказочных тонах: он зовёт надеть “доспехи”, взять “меч” и ринуться в “сечу” – бить орду врагов, что “ползут” “из тёмных нор”. Подобный метафорический ряд напоминает и о Блоке², творческий диалог с которым, безусловно, присутствует в лирике Ганина. Может быть, взаимодействие с Блоком ощущается ещё более остро в тех стихотворениях, которые отражают другую грань восприятия Ганиным революционных событий: поэт не мог не видеть трагическую сторону происходящего, не осознавать, какой ценой совершаются исторически неизбежные, но от этого не менее страшные и кровавые революционные потрясения. Трагическая сторона восприятия революции отразилась в целом ряде стихотворений тех лет, и одно из самых характерных из них – “Гонимый совестью незримой...”, впервые опубликованное под названием “России” в 1922 году. То, что происходит с Родиной, поэт воспринимает как дьявольское наваждение, разгул бесовских сил:

*А по лесам, где пряжи ночи
сплетали звёздной пряжей сны,
сверкают пламенные очи
и бич глухого сатаны.*

В стихотворении отчётливо ощущается “блоковский” образный ряд:

*Опять над Русью тяготеет
Усобиц княжичий недуг,
Опять татарской былью веет
От расписных узорных дуг.*

*И мнится: где-то за горами
В глуби степей, как и тогда,
Под золочёными шатрами
Пирует ханская орда³.*

Строки, завершающие стихотворение, – “Но чует сердце огневое: // Ты станешь сказкой для веков” – имеют символический смысл и, как и любой символ, поддаются широкому спектру трактовок. Поэт, по-видимому, надеется, что на его родине после тяжёлых потрясений настанет покой и благоденствие, он верит, что “крестная мука”, которую претерпевает Россия, приведёт к очищению и благу. Вместе с тем, вера в грядущее обновление, безусловно, не снимает для поэта трагизма настоящего дня.

Сходный ряд идей лежит и в основе поэмы “Сарай”, написанной в том же 1918 году. Как полагает проф. Н. М. Солнцева, “написана она (поэма – Д. К.) была как бы ради одной фразы: “В кумире дьявол обнаружился”⁴. Как и рас-

¹ Скорospelова Е. Б. Русская проза XX века: от А. Белого (“Петербург”) до Б. Пастернака (“Доктор Живаго”). М., 2003. С. 66.

² Главным образом, о цикле “На поле Куликовом”.

³ “К тебе пришёл я, край родимый...”. С. 283.

⁴ Солнцева Н. М. Китежский павлин. Филологическая проза: Документы. Факты. Версии. М., 1992. С. 229.

смотренные выше стихотворения, поэма посвящена, как представляется, размышлениям о революции. Лирический герой оказался горько обманут в своих ожиданиях: он жаждал Добра, а встретил посланца тёмных сил, приведшего героя на страшное пиршество зла. Перед читателем разворачивается жуткая картина чёрной мессы: пляшущие трупы, кровавая каша, гниль и смрад. Кульминацией стихотворения становится эпизод поистине ужасающий: дьявол, который пожирает детей – безвинных жертв кровавого разгула. Сама собой напрашивается трактовка этой метафоры: дьявольская, разрушительная сила – это революция, в жерле которой гибнут тысячи людей. И всё-таки эту поэму нельзя назвать абсолютно пессимистической. Даже в самом разгаре чёрной мессы лирического героя не покидает проблеск надежды, символ которой – звезда, глядящая в щели сарая. Звезда – знак божественного присутствия, знак Христа и Его искупительного страдания. Торжество сил зла – лишь временно, и вскоре последует очищение и обновление, так же как и за распятием Христовым последовало Воскресение. Надеждой на избавление от зла звучит и финальная строфа стихотворения: герою всё-таки удаётся спастись, покинуть дьявольское пиршество. Наконец, последние строки – образ неба, “беременного красотой”, – также дают основание предположить скорое “рождение” красоты и приход вместе с ней гармонии и блага. Подобного рода глубинный оптимизм характерен для Ганина. Несмотря на революционные потрясения, свидетелем которых он стал, поэт глубоко верил в разумное и гармоничное устройство мира, в то, что всё происходящее есть, в конечном счете, реализация Божественного замысла.

Не только общий ход истории, но и жизнь каждого отдельного человека, как полагал Алексей Ганин, подчинена осуществлению Высшей Воли. Своё предназначение выполняет и поэт, суть труда которого состоит в том, чтобы брать (“красть”, как говорит Ганин в поэме “Мешок алмазов”) у Бога сокровища, щедро разбросанные им по всей Земле, и тут же возвращать ему – стихами. “И солнце, и луна мне платят дань всечасно, // земля в моей руке, хоть сам я сир и мал”, – говорит поэт о тех сокровищах Божьего мира, которые всегда открыты любому взору и которыми всё же владеет поэт, претворяя их в “звонкий звёздный дождь” слов и строк. Часть строк Ганина мы уже никогда не сможем прочесть – значительная доля его наследия безвозвратно утрачена, но и то, что дошло до сегодняшнего дня, является ценнейшей страницей в книге русской поэзии XX века.

НАРОДНАЯ ВЕРА И ХРИСТИАНСКАЯ СИМВОЛИКА В ПОЭЗИИ АЛЕКСЕЯ ГАНИНА

Алексей Ганин – один из интереснейших поэтов начала XX века. Расстрелянный в 1925 году, он был впоследствии как будто вычеркнут из литературного процесса той эпохи, а его творчество – практически отторгнуто от читателя и исследователя. Лишь в конце истекшего столетия интерес к этому яркому и самобытному поэту возродился, и сегодня, в начале XXI века, для ценителей и исследователей русской литературы совершенно очевиден масштаб фигуры А. Ганина. Знакомство с его творчеством значительно обогащает представление о художественном наследии Серебряного века и первого послереволюционного десятилетия.

Алексей Алексеевич Ганин родился в 1893 году в деревне Коншино Вологодской губернии в крестьянской семье. В 1911 году поступил в фельдшерско-акушерскую школу в Вологде, закончил обучение через три года и сразу же был призван в армию (служил фельдшером в госпиталях Петрограда). В период армейской службы Ганин познакомился с Есениным, который работал в госпитале Царского Села, и в 1917 году Ганин вместе с Есениным и будущей известной актрисой Зинаидой Райх предпринял поездку по Северу России: сначала – к себе на родину, в Коншино, а оттуда – на Соловки. Известно, что во время путешествия Есенин и Райх обвенчались. Ганин присутствовал при этом событии, он был поручителем со стороны невесты, в которую и сам был влюблён. Зинаиде Райх посвящено его стихотворение “Русалка, зелёные ко-сы...”, написанное вскоре после её венчания с Есениным.

После революции Ганин вступил в ряды Красной Армии, служил военным фельдшером. Доктор А. В. Фалин, сослуживец Ганина, писал о нём: “Военный фельдшер А. А. Ганин проявил себя хорошим помощником врачей, инициативным и энергичным работником. Ганин безукоризненно выполнял свои обязанности во время операций. Нередко самостоятельно решал много разных задач... Был требователен к себе и подчинённым. За нерадивость строго взыскивал. Сам работал, не считаясь со временем”¹.

В 1919 году Ганин женился и на протяжении четырёх последующих лет жил с семьей в Вологде. В этот период, в 1920–22 годах, поэт издал в Вологде несколько своих книг, отпечатанных литографским способом². Печать такой книги – необычайно трудоёмкий процесс: необходимо на каменной форме написать текст специальным литографским карандашом, потом обработать эту форму, и только после этого печатать с неё книгу. Ганин не только писал на камне тексты стихотворений, но и рисовал иллюстрации. Помогал в выпуске книг Ганину С. Клыпин, владелец частной типографии в Вологде, на своих же книгах поэт указывал название придуманного им самим издательства – “Гли-

¹ Цит. по: Кондакова М. А. Воспоминания о брате А. А. Ганине (1979). Опубликовано как приложение к ст.: Тихомиров С. А. Возвращение к читателю // “К тебе пришёл я, край родимый...”. Книга о судьбе и творческом наследии вологодского поэта Алексея Ганина. Вологда, 2005. С. 32.

² Подробно о способе печати Ганиным своих произведений в Вологде см.: Демидова Е. Л. Литографированные издания Алексея Ганина // Там же. С. 101–108.

на”. Всего Ганин выпустил таким способом 11 книг. Естественно, тираж их был крайне мал, и сейчас эти сборники, хранящиеся в Вологодской областной универсальной научной библиотеке, являются библиографической редкостью.

Конечно, Ганин хотел бы видеть свои книги напечатанными не только “самодельным” способом, но и изданными значительным тиражом в центральных издательствах. Может быть, в надежде реализовать это стремление поэт в 1923 году отправляется в Москву. Поездка в столицу была вызвана и необходимостью заработка, так как семье Ганина катастрофически не хватало средств к существованию. В Москве поэт “оказался в крайне отчаянном положении: без работы, без комнаты, без денег”¹. Он тщетно пытается устроиться на службу, найти хоть какой-нибудь источник дохода, ведь “дома осталась ни с чем жена и двухлетняя дочь, перенесшая летом тяжелую дизентерию. А жена всё ещё тосковала о маленьком сыне, умершем в то же время и тоже от дизентерии”².

Ганин вступает в столичный литературный мир, активно общается с Есениным и другими новокрестьянскими поэтами, а также со многими представителями тогдашней художественной интеллигенции. Ежевечерние собрания в общежитии писателей, потом, по словам Ганина³, “галдёж до двух часов ночи” в кафе “Стойло Пегаса”, потом – “если в состоянии мы были двигаться” – “кручение до шести часов утра” в ночных чайных. Ганину всё это было тяжело, его вовсе не привлекала такая жизнь с бесконечными кутежами и ночными весёлыми сборищами. Ему хотелось спокойно работать, он вынашивал планы нескольких крупных драматических произведений из римской истории и, кроме того, начал писать “большой роман, который бы охватывал жизнь России в целом за последние двадцать лет и действие в котором разыгрывается, в отличие от всех существующих романов, не на любовной интриге, а на социально-экономических условиях”⁴. Одним словом, “хотелось работать, но не было стола, чтобы присесть и записать пережитое”, поэтому длился “пьяный угар и смертельная тоска”.

Участники шумных богемных собраний порой вели себя крайне неосмотрительно, а иногда и нарочито независимо, даже вызываясь. Известно множество скандалов с участием представителей творческой среды того времени. Например, широкий резонанс в соответствующих кругах Москвы получил арест в ноябре 1923 года четырёх поэтов: С. Есенина, С. Клычкова, П. Орешина и А. Ганина. Якобы поэты, сидевшие в кафе за кружкой пива, позволили себе какие-то рискованные высказывания, а гражданин за соседним столиком подслушал их разговор и вызвал милицию, требуя ареста “преступников”. Над поэтами состоялся товарищеский суд, им тогда лишь пригрозили, но оставили на свободе. Ганину свободу и жизнь оставили ненадолго: уже в следующем, 1924 году поэт вновь был арестован, а 30 марта 1925 года расстрелян.

Алексей Ганин был осуждён как глава “Ордена русских фашистов” – вымышленной организации, которая, естественно, не существовала и не могла существовать в 1924 году. Поводом для ареста послужил якобы найденный у Ганина программный документ “Ордена” – тезисы, озаглавленные “Мир и свободный труд – народам”. Согласно “Протоколу допроса гражданина Ганина Алексея Алексеевича” (опубликованному в 1992 году журналом “Наш современник”), поэт утверждал, что тезисы представляют собой набросок к будущему роману и отражают взгляды отрицательного героя – противника советской власти. “Объединяя случайный материал, повторяя собранные мной из официальных изданий, из случайных фраз и белогвардейских листовок для моей работы “тезисы”, я полагал, что не делаю особых преступлений. В этих тезисах я не выразил никакой государственной тайны, потому что никакой тайны я не знаю”⁵. Как отмечает проф. М. М. Голубков, рассуждая о причинах ареста Алексея Ганина, “сейчас уже кажется очевидным, что истинной причиной были не сфабрикованные политические дела и ярлык фашиста, навешанный на поэта, но нетерпимость большевиков к тому мироощущению,

¹ Протокол допроса гражданина Ганина Алексея Алексеевича (Предисловие Ст. Куняева) // Наш современник. 1992. № 4. С. 160.

² Там же. С. 161.

³ Там же. С. 161.

⁴ Там же. С. 160.

⁵ Там же. С. 166.

которое смогли воплотить в своем творчестве писатели, выдвинутые русской деревней в ряды великой русской литературы”¹.

Алексей Ганин реабилитирован посмертно в 1966 году.

В литературоведении Алексея Ганина относят к числу поэтов новокрестьянского направления. Действительно, его художественный мир во многом близок поэтике Н. Клюева и С. Клычкова, С. Есенина и П. Орешина, А. Ширяевца и П. Карпова. Эти люди родились и выросли в деревне, прекрасно знали крестьянскую жизнь, которая и была плодотворной почвой, взрастившей их талант. Естественно, мир деревни органично вошёл в лирику этих поэтов. Так, у Ганина есть целый ряд стихотворений, связанных с темой земледельческого труда или поэтически отражающих крестьянский быт.

Жизнь русского села для Ганина – не просто предмет восхищения, ностальгических размышлений или лирической рефлексии. За поэтическими описаниями покоса или пахоты, примет сельского обихода, всего размеренного и мудрого уклада деревенской жизни стоит глубокий нравственный смысл: поэт убеждён в том, что именно крестьянство является хранителем русской духовности, подлинным нравственным оплотом нации. Эта идея становится определяющей для всего творчества Ганина, и практически любое его стихотворение становится подтверждением тому. Наиболее ярко эта система представлений выражена в поэме “Памяти деда” (1918). Поэма описывает жизнь человека как непрерывный труд, но этот труд – светлый, радостный и здоровый. Жизнь Деда – крестьянина, землепашца, – казалось бы, проста и незатейлива: “не завидней онучи”. Каждое утро, рано-рано, когда на небе ещё звёзды “ныряют в глубокое Сине”, Дед уже встаёт, “выедет, было, на пашню и пашет”. Не забавляясь пустыми рассуждениями, не задумываясь “о концах и началах”, человек возделывает землю и живёт плодами своих трудов. Дни Деда идут своим чередом, в заботе о хлебе, в согласии с миром и с собою, и так же, как естественно и гармонично шла его жизнь, приходит и смерть. Собственно, в поэме кончина Деда ни разу не названа смертью – он лишь “уснул”, “задремал” под божницей, и это будто даже не смерть обычного человека, а “успение” святого. Сквозь дремоту Дед “видит: из груди, что ветер, летит лебединое стадо – // Земные заботы, печали”², – и в избе усопшего Деда становится тихо и празднично, как в церкви. Дед в поэме Ганина – это ещё один образ в галерее праведников русской литературы, стоящий в одном ряду с соответствующими героями Н. Лескова и А. Чехова, А. Платонова и А. Солженицына.

Поэма написана свободным стихом, в метрическом складе которого, однако, явно ощущается ориентация на гекзаметр. Отдельные фрагменты поэмы написаны именно гекзаметром, со строгим соблюдением его метрической схемы:

*Хочется Деду внучонка позвать — и не родится слово.
А день широко разгулялся под небом глубоким и синим,
и Сивку впрягли уж другие распахивать вёшные нови.
Всё на селе, как и прежде, лишь по-новому гвозди,
чуется, кто-то вбивает, и пилят сосновые доски...³*

Обращение поэта к гекзаметру, естественно, вызывает в сознании читателя ассоциации с античным эпосом, но не с гомеровским, а, скорее, с гесиодовским – с поэмой “Труды и дни”. Значительная часть этой поэмы посвящена описанию труда земледельца – труда, который должен восприниматься человеком не как тягостная обязанность, а как исполнение божественных установлений. “Вечным законом бессмертных положено людям работать”, – утверждает Гесиод. “Всюду начертано: зверю таиться в лесах и следить за добычей... // А человеку в трудах украшаться под небом”, – рассуждает герой

¹ Голубков М. М. Мешок алмазов. Алексей Ганин и книга о нём // Историк и художник. 2008. № 3. С. 54.

² “К тебе пришёл я, край родимый...”. С. 331–335.

³ В ряде изданий поэмы графически строки выглядят несколько иначе: большая часть из них разбита на два-три кратких отрезка. Подобное дробление могло быть вызвано исключительно техническими причинами. Характера метрики это несколько не меняет.

поэмы Ганина. Гесиод рассказывает, как должен жить разумный земледелец: быть прилежным в работе, больше успевать сделать в тёплое время года, когда земля щедро дарит человеку свои плоды, загодя готовиться к зиме. Хороший хлебопашец знает и многочисленные приметы, понимает, как связаны между собой те или иные природные явления. Таков и Дед:

*Глянет на поле. И где-то далече-далече в поле кричат журавли...
И Дед уже знает по крику: будет ли ведро, будет ли непогодь ныне [...]
Всюду приметы, кто в тысячный раз просыпается в красной заботе о хлебе.
Старому Деду раскрыта зелёная книга земли.*

Вместе с тем, несмотря на явно ощущаемый идейный и “стилистический” параллелизм, у Ганина смысловой доминантой всё же является христианское сознание необходимости исполнять свой долг на земле, ощущение жизни как крестоношения, а не просто готовность трудиться, чтобы быть более богатым и счастливым.

Такое понимание цели и смысла труда и любой человеческой деятельности характерно для Ганина и вполне согласуется с идейным миром новокрестыанской поэзии в целом. Ганин никогда и не отрицал своего внутреннего родства с поэтами “крестьянской купницы”¹, но всё же ни с каким из современных ему художественных течений своё творчество не соотносил, называя себя “романтиком начала XX века”. Его мироощущение и вправду было романтическим: ожидание и жажда чуда, вера в поэта и всеисилие его слова, восприятие природы как средоточия красоты и мудрости бытия. В значительной степени отразилась в лирике Ганина темная сторона романтического мироощущения — демонизм, богоборческие порывы, надломленность и ирония. Безусловно, Ганин — поэт широчайшего спектра настроений: от ликования и восторга до высокого трагического пафоса, но доминирует в его творчестве всё же светлая нота. Лирика Ганина, при всём её разнообразии и богатстве настроений, по большей части яркая, праздничная, цветистая, она наполнена свежестью и душевным здоровьем. Жизнь Ганина не была лёгкой — он пережил революцию и гражданскую войну, на протяжении 20-х годов жил под постоянной угрозой ареста, — но, несмотря на это, поэту удалось сохранить в себе любовь и доверие к жизни. Это был ни в коем случае не тот примитивный оптимизм, который А. Блок назвал мирозерцанием “несложным и небогатым”. Это было мудрое приятие жизни, основанное на глубокой религиозности.

А. Ганин является одним из самых ярких и мощных православных художников своего времени. Религиозное чувство и религиозный идейный строй пронизывают его поэзию — от ранних стихотворений до произведений 1920-х годов. Ганин — поэт христианского сознания, воспринимающий мир как средоточие любви Божьей и чудес Божьих, и именно это определяет художественную и мировоззренческую систему его лирики.

Один из ведущих образов (и одновременно — одна из ведущих идей) его творчества — это Любовь. С идеей Божественной Любви, которая наполняет весь мир, в лирике Ганина неизменно соединено представление о безграничной Божьей милости и доброте. В личной, индивидуальной вере поэта, если судить по его стихотворениям, превалирует именно этот аспект, идея же предстоящего Суда, неминуемого воздаяния за грехи становится для него чем-то абстрактным, неким символом, но никак не тем грядущим, что действительно ожидает любого человека после смерти.

Яркое подтверждение сказанному — поэма “Воскресение” из сборника “В огне и славе”. Это поэма о Втором пришествии Христовом и конце Мира, своего рода поэтическое толкование Апокалипсиса. Поэма состоит из двух частей: первая описывает поэта, спящего “могильным сном”, заточенного “в холодный гроб”. Во второй части лирический герой слышит призыв: “От-

¹ Данный аспект поэтики Ганина рассмотрен в ряде исследований: Голубков М. Мешок алмазов. Алексей Ганин и книга о нём // Историк и художник. 2008. № 3; Дюжев Ю. “Нас выслала вечность, вскормила изба” // Север. Петрозаводск, 1998. № 10; Куняев Ст. Жизнь и смерть поэта // Ганин А. Стихотворения. Поэмы. Роман. Архангельск, 1991; Михайлов А. Пути развития новокрестыанской поэзии. Л., 1990; Парфёнов Н. Алексей Ганин и его литературная судьба // Север. Петрозаводск, 1973. № 9.

крой глаза и выйди вон из гроба”, – и, покорный зову, восстаёт и видит апокалиптическую картину:

*Бежала ночь на небесах червлёных,
Два солнца спрятались за красный лес,
Язык огня от жертвенников чёрных,
Шумя, как вихрь, летел в глубь небес.*

*Из всех гробов, проглоченных ночами,
Горя тоской, по огненной реке
Воскреснувшие тихо шли рядами,
И каждый нёс дела свои в руке¹.*

“Дела” людей, которые они несут на суд Божий, – это скорбь, “чёрное зло”, “томительный недуг”. Люди в страхе ожидают своей участи, но “час суда никто не вострубил”: Господь решил не судить “ослепнувшее стадо”, а простить весь Мир и даровать всем благо вечной жизни. Своим крестным страданием Христос уже искупил грехи всех людей, и теперь “язвой рук” Он благословляет человечество, дарует всем прощение.

Трактовка евангельского Слова именно в таком ключе чрезвычайно характерна для Ганина. Она, может быть, не обладает догматической точностью, но глубоко отражает одну из важных граней народных православных представлений о Христе: неисчерпаемость Божьего милосердия, всепрощение, Он – Господь, вззирающий на мир “с ласковой отрадой”. Именно такой круг религиозных представлений отражён и в другом стихотворении Ганина – “Гору скорби День взвалил на плечи...” из цикла “Вечер”. По смыслу это стихотворение явно разбивается на два раздела, сходных по образному наполнению с разделами “Воскресения”. В первых строфах стихотворения описывается День. Ганин во многих стихотворениях пишет это слово с заглавной буквы, вкладывая, по всей видимости, в него целый ряд значений: это и любой день любого человека на земле, это и ежедневно занимающие ум человека суета и заботы, печали и радости. В стихотворении, о котором идёт речь, День – это скорбь, тщета и пустой шум:

*Гору скорби День взвалил на плечи,
В суете душа весь день купалась,
И людские речи, будто мухи,
О тщете с полуденя жужжали².*

Но вот День уходит, суета и скорбь “ниспадают” с души. Теперь лирический герой новым, чистым взором смотрит на мир, “погружаясь в тайны мироздания”. Он слышит, как Прамать-земля обращает к Саваофу молитву о своих “чадах неразумных” – погрязших в заботах людях. И Господь повелевает “силам яснокрылым” ниспослать всем обитателям Земли утешение:

*Чтоб в земном во чреве-океане
Всяка тварь отныне веселилась
И вовек, как злак, произрастали
В человеках мир, благоволенье.*

“Любовь Пропятая” искупает все грехи Мира, поэтому люди прощены и утешены, а Земля – “ласкова” к своим обитателям. Не только в идейно-образном строе этого стихотворения, но и в его формальном устройстве выражается глубокая укоренённость автора в народной традиции: по внутренней организации и стилистике оно явно ориентировано на духовный стих – фольклорный жанр, представляющий собой лирическую песню-сказ, толкующую евангельские или библейские сюжеты. Стихотворение Ганина, как и духовные стихи, не имеет рифм (это верлибр) и лишено жёсткой метрики. С жанром духовного стиха его роднит и специфика образного ряда: образ матери-земли,

¹ “К тебе пришёл я, край родимый...”. С. 320.

² “К тебе пришёл я, край родимый...”. С. 273.

страдающей за своих чад, образ “солнечного камня”, восходящий к часто упоминаемому в духовных стихах “Алатырь-камню” или “бел-горюч камню”, обладающему, согласно народной мифологии, чудесными свойствами. С духовным стихом стихотворение Ганина сближает и то, что в нём ощущается скорее не ортодоксально-православный, а апокрифический дух: Праматерь-земля, молящаяся “солнечному камню” и одновременно – Богу Саваофу, серафимы, ходящие “по заре” и укрывающие землю “Божьей ризой”. Для этого стихотворения характерно идущее опять же от фольклорной традиции предельное сближение Божьего и человеческого мира. Столь же, а может быть, ещё более явно это сближение чувствуется в другом стихотворении из того же цикла – “Отгони свои думы лукавые...”, – где Господь совсем рядом с людьми, и Его можно увидеть. Бог здесь – это не повелевающий Саваоф, как в предшествующем стихотворении, а “Учитель и ласковый Брат” (эпитет “ласковый”, встречаемый уже в третьем стихотворении, является одним из любимых у Ганина). Весь Мир же, вся Земля – это храм, где служится Божественная литургия: звёзды видятся поэту горящими свечами, небо представляется клиросом, с которого льётся ангельское пение, а покрытые утренней росой травы – причастниками.

Для христианского сознания необычайно значима категория чуда. В поэтическом мире Ганина она неизменно присутствует, как, например, в стихотворении “Предутрие”. Наступающий рассвет описывается здесь как чудесное явление, как дар Божий, в ожидании и предвкушении которого природа пребывает в молитве: “ласковый ручей, перебирая чётки, // поёт, молясь судьбе, // серебряный псалом”. Природа в этом стихотворении не просто оживает, а одушевляется, наполненная божественным присутствием.

Приход весны для поэта – тоже чудо, как и наступление рассвета. Стихотворение “Сегодня целый день я пил Твоё дыханье...”¹ своего рода гимн наступающей Весне, молитва к Ней. Стихотворение заставляет читателя вспомнить о блоковской поэтике: весна у Ганина – это одновременно и божество, и благо, и воплощение красоты Мира, и объект восхищенной любви и преклонения поэта. Это стихотворение может быть прочитано как своеобразное преломление темы Вечной Женственности, соловьёвской Души Мира. Речь идёт, конечно, не о заимствовании Ганиным образно-тематического ряда стихотворений Блока или Соловьёва, а, скорее, о некоем взаимодействии с символистской поэтикой, в орбиту которой были так или иначе вовлечены практически все поэты Серебряного века. Для Ганина подобное взаимодействие было тем более естественно, что его образный мир во многом связан с этим художественным направлением, хотя его вряд ли можно было бы однозначно охарактеризовать как поэта-символиста. Как отмечает Ст. Куняев, Ганин “создал в своей поэзии своеобразный сплав народного и глубоко интеллигентного, модного в те годы символического понимания мира”².

Ключевым для русского символистского искусства является, как известно, идущее от Вл. Соловьёва (а у него, в свою очередь, сформированное на основе идеалистических учений) представление о двоемирии: существовании земного, бренного мира и высшего, вечного. Поэт – посредник между двумя мирами, он способен увидеть в здешнем, тленном мире отзвуки того, совершенного, услышать отзвук его “торжествующих созвучий”. Русские поэты-символисты в значительной степени опирались на это учение, и в лирике Ганина также можно обнаружить связь с соловьёвскими представлениями. В частности, стихотворение “Я прихожу к тебе мечтать...” из цикла “Красный час” – это стихотворение о двух мирах: “отчизне” поэта – заоблачных высях, где поэт “в вихрях солнечных летал” и “песней ткал судьбу миров”, и бренном мире, “земных селениях”, куда явился поэт, приняв “образ человекий”. Творчество – не что иное, как воспоминание поэта о “забытой отчизне”, мечта о ней и тоска по ней. Стихотворение насыщено символистской риторикой: “пожар мирских восходов”, “кончины и начала”, “взмахи огнепальных крылий”, “роща лунных чарных лилий” и т. д. Те неологизмы, которые встретились в

¹ Сегодня это стихотворение известно читателю в двух вариантах. Источник одного из них – конволют, изготовленный А. Ганиным, источник другого – прижизненная публикация этого стихотворения под названием “У косогора” в сборнике: Ганин А. Былинное поле. М., 1924.

² Куняев Ст. Жизнь и смерть поэта // Ганин А. Стихотворения. Поэмы. Роман. Архангельск, 1991. С. 13.

перечисленных словосочетаниях (“огнепальные”, “чарные”) заставляют вспомнить о символистском словотворчестве, например, о лексических экспериментах В. Брюсова или К. Бальмонта. Элементом символистской поэтики является и особое внимание поэта к цвету, к свето-цветовому строю стихотворения: здесь это цвета “нездешней” яркости – преобладает золотой с его вариантами (солнечный, огненный, “огнепальный”), а кроме него – ярко-алый, голубой и те диковинные цвета, которые каждый читатель представит себе по-своему (как выглядят, например, “лунные чарные лилии”?).

Вообще тема цвета в стихотворениях Ганина – это предмет специального изучения¹. Ганин – поэт многокрасочный, почти каждое его стихотворение имеет неповторимый колористический облик, который складывается из сочных цветовых сочетаний: золотой, алый, синий, белый. Цвета в лирике Ганина не только глубоко символичны, но и ориентированы во многом на православную иконописную традицию. Так, красный или алый – один из любимейших и наиболее частотных цветов у Ганина – в иконописи символизирует любовь, радость, благо и торжество вечной жизни (хотя может иметь и другое значение: красный – цвет крови, мученичества). В стихотворениях Ганина этот цвет означает ликование и свет, новую жизнь. Иногда красный и его оттенки характеризуют у Ганина абстрактные понятия – “алая радость”, “ярко-ал” поэтический полёт в стихотворении “Я прихожу к тебе мечтать...”. В этом случае цвет становится чистым символом.

Символическое значение часто обретает и белый цвет, который в иконописи является цветом чистоты и святости, символом Божественного света. В “белоснежной” одежде появляется в стихотворении “Отгони свои думы лужавые...” сам Христос.

Наконец, самый частотный, на наш взгляд, цвет в поэзии Ганина – золотой. На иконе этот цвет символизирует Бога Саваофа. В лирике Ганина, в согласии с православной традицией, золото – атрибут Божественного: “златой крест”, “золотой херувим”, “золотые пальцы Саваофа”. Вместе с тем, пристрастие Ганина к образам золотого сияния, солнечного света, огня роднит его и с символистским искусством, особенно с К. Бальмонтом и композитором-символистом А. Скрябиным. Речь идёт не просто о случайном сходстве, об использовании аналогичных средств поэтической выразительности. Ганина и Бальмонта, Ганина и Скрябина связывает глубинное родство поэтики и художественного мышления. У всех троих огонь – всемогущая творческая стихия, а поэт (у Скрябина – музыкант, и он же поэт, вообще – Творец в широком смысле слова) – демиург, вершитель судеб мира, источник и средоточие вселенской энергии. У Ганина в стихотворении “Я прихожу к тебе мечтать...” поэт – это прорицатель, творец и судья, он “песней ткал судьбу миров, // вещал кончины и начала”. В художественном мире Ганина сам поэт и есть источник очистительного огня, который сжигает “всё, что сумрачно и тленно”.

Стихия огня – атрибута поэтического всемогущества – господствует и в стихотворениях сборника “Священный клич”, где поэт-демиург, искупитель мира, ведёт за собой всех “детей земли”. “Огненное слово” поэта воскрешает умерших, они встают из “тесных гробов”, и вся Вселенная, преображаясь, пылает: “огненный взлёт ураганов”, “алые тучи”, “звёздные костры”.

В стихотворениях сборника “Священный клич”, написанных в 1916–1918 годах, философская тематика, осмысление сущности поэтического творчества соединяется с размышлениями на самые животрепещущие для того времени темы – о происходящих в стране революционных событиях. Судя по стихотворениям тех лет, Ганин воспринимал революцию неоднозначно. С одной стороны, поэт, по-видимому, осознавал историческую неизбежность происходящего: неслучайно в стихотворении 1918 года “Гонимый совестью незримой...” он говорит о чём-то “неотвратимо роковом”, что постигло родную страну. Поэт, как представляется, был готов признать не только неизбежность, но и справедливость того, что совершалось тогда в России. Известно, что в 1917 году Ганин вступил в ряды Красной Армии (служил фельдшером в госпиталях Северного фронта). Стихотворения, созданные в этот период, говорят о том, что революция воспринималась Ганиным как акт справедливого

¹ См., напр.: Судаков Г. В. Живописное слово поэта // “К тебе пришёл я, край родимый...”. Книга о судьбе и творческом наследии вологодского поэта Алексея Ганина. Вологда, 2005.

мщенья, “священный бой”, “священный гнев”. Подобное, романтизированное, восприятие было свойственно многим представителям творческой интеллигенции на начальном этапе революционных событий. Как отмечает проф. Е. Б. Скороспелова, «крестьянские поэты встретили Октябрь как весть о возрождении родины, как надежду на особую нравственно-эстетическую роль русского крестьянства – хранителя самобытных национальных начал”, и лишь потом для них стало очевидно другое: “истребление крестьянской культуры, необратимая деформация традиционного деревенского уклада”¹. Ганин пишет в 1917 году стихотворения “Мужайся, брат...”, “Братья, плотнее смыкайте ряды!” (цикл “Священный клич”) – это и своеобразные воззвания к борьбе, и воодушевление битвой, и призыв выше взметнуть “факел красный, наш красный стяг”. Поэт, зовущий к бою, помнит о том, что за пролитую кровь придётся отвечать перед Богом, но считает, что сражающиеся за правое дело не будут осуждены: “да не смутится боем, кто верит в свет”. Молодой поэт первоначально видел революцию в романтических и, одновременно, былинно-сказочных тонах: он зовёт надеть “доспехи”, взять “меч” и ринуться в “сечу” – бить орду врагов, что “ползут” “из тёмных нор”. Подобный метафорический ряд напоминает и о Блоке², творческий диалог с которым, безусловно, присутствует в лирике Ганина. Может быть, взаимодействие с Блоком ощущается ещё более остро в тех стихотворениях, которые отражают другую грань восприятия Ганиным революционных событий: поэт не мог не видеть трагическую сторону происходящего, не осознавать, какой ценой совершаются исторически неизбежные, но от этого не менее страшные и кровавые революционные потрясения. Трагическая сторона восприятия революции отразилась в целом ряде стихотворений тех лет, и одно из самых характерных из них – “Гонимый совестью незримой...”, впервые опубликованное под названием “России” в 1922 году. То, что происходит с Родиной, поэт воспринимает как дьявольское наваждение, разгул бесовских сил:

*А по лесам, где пряжи ночи
сплетали звёздной пряжей сны,
сверкают пламенные очи
и бич глухого сатаны.*

В стихотворении отчётливо ощущается “блоковский” образный ряд:

*Опять над Русью тяготееет
Усобиц княжичий недуг,
Опять татарской былью веет
От расписных узорных дуг.*

*И мнится: где-то за горами
В глуби степей, как и тогда,
Под золочёными шатрами
Пирует ханская орда³.*

Строки, завершающие стихотворение, – “Но чует сердце огневое: // Ты станешь сказкой для веков” – имеют символический смысл и, как и любой символ, поддаются широкому спектру трактовок. Поэт, по-видимому, надеется, что на его родине после тяжёлых потрясений настанет покой и благоденствие, он верит, что “крестная мука”, которую претерпевает Россия, приведёт к очищению и благу. Вместе с тем, вера в грядущее обновление, безусловно, не снимает для поэта трагизма настоящего дня.

Сходный ряд идей лежит и в основе поэмы “Сарай”, написанной в том же 1918 году. Как полагает проф. Н. М. Солнцева, “написана она (поэма – Д. К.) была как бы ради одной фразы: “В кумире дьявол обнаружился”⁴. Как и рас-

¹ Скороспелова Е. Б. Русская проза XX века: от А. Белого (“Петербург”) до Б. Пастернака (“Доктор Живаго”). М., 2003. С. 66.

² Главным образом, о цикле “На поле Куликовом”.

³ “К тебе пришёл я, край родимый...”. С. 283.

⁴ Солнцева Н. М. Китежский павлин. Филологическая проза: Документы. Факты. Версии. М., 1992. С. 229.

смотренные выше стихотворения, поэма посвящена, как представляется, размышлениям о революции. Лирический герой оказался горько обманут в своих ожиданиях: он жаждал Добра, а встретил посланца тёмных сил, приведшего героя на страшное пиршество зла. Перед читателем разворачивается жуткая картина чёрной мессы: пляшущие трупы, кровавая каша, гниль и смрад. Кульминацией стихотворения становится эпизод поистине ужасающий: дьявол, который пожирает детей – безвинных жертв кровавого разгула. Сама собой напрашивается трактовка этой метафоры: дьявольская, разрушительная сила – это революция, в жерле которой гибнут тысячи людей. И всё-таки эту поэму нельзя назвать абсолютно пессимистической. Даже в самом разгаре чёрной мессы лирического героя не покидает проблеск надежды, символ которой – звезда, глядящая в щели сарая. Звезда – знак божественного присутствия, знак Христа и Его искупительного страдания. Торжество сил зла – лишь временно, и вскоре последует очищение и обновление, так же как и за распятием Христовым последовало Воскресение. Надеждой на избавление от зла звучит и финальная строфа стихотворения: герою всё-таки удаётся спастись, покинуть дьявольское пиршество. Наконец, последние строки – образ неба, “беременного красотой”, – также дают основание предположить скорое “рождение” красоты и приход вместе с ней гармонии и блага. Подобного рода глубинный оптимизм характерен для Ганина. Несмотря на революционные потрясения, свидетелем которых он стал, поэт глубоко верил в разумное и гармоничное устройство мира, в то, что всё происходящее есть, в конечном счете, реализация Божественного замысла.

Не только общий ход истории, но и жизнь каждого отдельного человека, как полагал Алексей Ганин, подчинена осуществлению Высшей Воли. Своё предназначение выполняет и поэт, суть труда которого состоит в том, чтобы брать (“красть”, как говорит Ганин в поэме “Мешок алмазов”) у Бога сокровища, щедро разбросанные им по всей Земле, и тут же возвращать ему – стихами. “И солнце, и луна мне платят дань всечасно, // земля в моей руке, хоть сам я сир и мал”, – говорит поэт о тех сокровищах Божьего мира, которые всегда открыты любому взору и которыми всё же владеет поэт, претворяя их в “звонкий звёздный дождь” слов и строк. Часть строк Ганина мы уже никогда не сможем прочесть – значительная доля его наследия безвозвратно утрачена, но и то, что дошло до сегодняшнего дня, является ценнейшей страницей в книге русской поэзии XX века.

ТАТЬЯНА ШИШОВА

ВЕРА И ВЕРНОСТЬ

За постсоветские десятилетия почти не появилось новых праздников. Те же, что появились (к примеру, День России, который часто называют Днем независимости и ассоциируют с распадом СССР), народной любви, как правило, не снискали. Нет, конечно, народ не против лишнего выходного, но не больше того. А вот восстановление старых праздников происходит на удивление легко. Казалось бы, тоже всё необычно, тоже приходится привыкать. Но привыкание тут иного свойства. Так чувствует себя ребенок, надолго разлученный с родными, а потом снова увидевший забытые лица. Или старик, очутившийся в местах, где прошло его детство. Первая реакция – оторопь. А затем – щемящая радость от обретения пропажи... Даже если человек никогда раньше не праздновал Рождество или Пасху, для него всё равно это встреча с забытым прошлым. Не он – так его предки праздновали и передали ему память об этом на генетическом уровне. Такое чувство, что в последние годы душа народа особенно изголодалась по невымученной, неподдельной, истинной радости. По праздникам, которые не меняются в угоду политикам, а прославляют вечные ценности и потому остаются на века.

Вот и предложение объявить 8 июля, день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались покровителями семьи и брака, Всероссийским днём семьи, любви и верности сразу нашло отклик среди людей. Причём независимо от вероисповедания! С момента официального учреждения праздника прошло всего ничего, а впечатление такое, будто он существовал всегда. Люди поздравляют друг друга, ставят в вазы букеты ромашек (этот милый, нежный цветок было предложено сделать символом праздника), стараются, несмотря на рабочий день, побывать в храме, заказывают молебны покровителям супружества. В загсах возрастает число бракосочетаний: неверующим или невоцерковленным парам неважно, что День семьи приходится на Петров пост. Они ориентированы на название праздника и надеются, что брак, заключенный в такой знаменательный день, имеет больше шансов оказаться счастливым.

Но самое поразительное, на мой взгляд, заключается в том, что происходит всё это на фоне роста числа разводов! В среднем из 10 заключенных браков распадается 7. А бывает и больше. В Приамурье, например, за три месяца 2011 года образовалось около 1500 новых семей, а распалось около 1200. Соотношение 10:8.

Что за странная раздвоенность? С одной стороны, общество спокойно терпит разврат, реагируя (да и то очень вяло) на его крайние, вопиющие формы. И не просто терпит, но и соучаствует: потеря девственности до брака, частая смена «партнёров», внебрачное сожитительство, измены и т. п. воспринимаются в последние годы куда снисходительней, чем раньше. В достаточно

широких слоях населения всё это, можно сказать, стало новой нормой. И в то же время люди жаждут крепкой семьи, любви и верности... Вам не кажется это нелогичным?

Можно, конечно, предположить очередной раскол нашего общества: дескать, за половую свободу ратуют одни, за верность – другие. Отчасти, возможно, и так. Но лишь отчасти. Всего одна маленькая зарисовка. В кабинете психиатра девочка-подросток. Серьезной патологии нет, но ситуация аховая: в школу не ходит, связалась с дурной компанией, в свои 14 лет уже часто не ночует дома, пропадая невесть где по неделям... Пиво, водка, сигареты, взрослые парни, – в общем, полный набор “современной леди”. Знания (школьные, конечно, а не те, которые получают на улице) на нуле. Девочка не в состоянии решить арифметическую задачу на уровне второго, максимум третьего класса. Но при поступлении в первый класс интеллект был сохранен, никакой задержки развития не наблюдалось, так что нынешнее ее состояние – это плачевный результат педагогической запущенности.

Психиатр устало вздыхает. По его собственному признанию, к нему такие девочки и мальчики сейчас идут косяками. А потом спрашивает:

– Ты в будущем семью-то собираешься заводить?

– Конечно! – следует неожиданный ответ.

– И детей хочешь? – уточняет врач.

– Ну да, – девочка смотрит на докторшу, как будто та свалилась с Луны. Дескать, что за нелепый вопрос! Как можно взрослому человеку жить без семьи и детей?..

Вообще-то врачу было важно не выяснить репродуктивные установки подростка, а озадачить его следующим вопросом:

– И чему ты своих детей будешь учить, если сама ничему не научилась? Ты ведь не захочешь, чтобы они росли неучами, правда?

Но мне сейчас хочется заострить внимание именно на репродуктивных установках. На том, с какой поразительной готовностью юная искательница уличных приключений дала положительный ответ на вопрос о своей будущей семье. Ведь ещё недавно такая девочка отреагировала бы прямо противоположным образом. Какая семья?! Какие дети?! За ними она, что ли, бежит на улицу? Семья – это скучно, уныло, несовременно. В 90-е годы куда более благополучные, разумные люди – и те в ответ на подобный вопрос махали рукой: мол, кому это сейчас нужно? Взрослые были озабочены выживанием, а молодёжь, которую реклама и СМИ наперебой призывали “не тормозить”, “сникерснуть”, “оторваться” и “приколоться”, представляла себе будущую жизнь как одну сплошную дискотеку, на которую семье и детям входа, естественно, не было. Теперь же даже в среде “безбашенных” подростков можно встретить ориентацию на создание семьи. Конечно, пока лишь на уровне неких абстрактных, отсроченных целей. Единства слов и дела тут не наблюдается. Но изменение установок уже обнадеживает.

Об этом свидетельствуют и данные социологических исследований. Так, несмотря на высокий процент разводов, отношение к ним становится более отрицательным. В исследовании “Московская семья-2006” (Информационно-аналитические материалы по результатам социологических исследований, М., ГосНИИ семьи и воспитания, 2007) приведены интересные данные. Оказывается, с 2001 по 2006 годы доля респондентов, считающих развод нормальным явлением, сократилась с 19 до 13% среди мужчин и с 23 до 12% среди женщин. Снизилась и доля тех, по чьему мнению, “молодёжи следует пожить для себя, а потом уже рожать детей”.

Как разруха, так и созидание начинаются в головах. А потому действительно самое время поговорить о верности. Что такое “верность матери”? В чём именно она выражается? Произошли ли в данном вопросе какие-либо подвижки за последние десятилетия, и если да, то в какую сторону и что с этим делать?

БРАК ЧЕСТЕН И ЛОЖЕ НЕПОРОЧНО

В обществе с сохранной системой ценностей женщины прежде, чем стать матерями, становятся женами. Понятие законного брака существовало, что называется, от века, хотя верования и обычаи у разных народов сильно раз-

нились. Вступая в брак, жених и невеста всегда давали брачные обеты. Звучать они опять-таки могли по-разному, но сущность была одна: образовывался союз, и супруги (само слово говорящее: *вместе в одной упряжке*) обещали его беречь, хранить ему верность, быть вместе и в горе, и в радости. Реальность, конечно, не всегда соответствовала идеалу, но для нашего разговора принципиально не это. Важно, что считалось идеалом, к чему следовало стремиться. К женщинам требования в плане верности обычно предъявлялись повышенные, и лишь христианство, будучи религией Правды, а потому не терпящее ханжества и несправедливости, не делает в этом плане различий. “Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог” (Евр. 13:4).

Соединяясь в браке, муж с женой становятся единым целым. “И будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть”, — говорит Христос (Мф. 19:5-6). В таком понимании брака верность — непреемное условие, без соблюдения которого эта единая плоть умирает, как умирает рассечённое тело.

В своей полноте верность должна проявляться не только в плане физическом, как отсутствие “романов на стороне”, но и на душевном, а также на духовном уровнях. Семья — некий новый, таинственным образом возникающий организм. “Брак — это Божественный обряд. Он был частью замысла Божия, когда Тот создавал человека. Это самая тесная и самая святая связь на земле”, — читаем в записях св. Императрицы Александры Феодоровны.

Ещё вчера было две отдельных личности, два “я”, а сочетались эти личности браком — и возникла новая сущность: *мы*. Чтобы это “мы” сохранилось и упрочилось, чтобы два чужих по крови человека сроднились ближе кровных родственников, нужно немало потрудиться, многим пожертвовать, утесняя себя, ибо “любовь не ищет своего” (1 Кор. 13:5). Но если удастся преодолеть соблазны и искушения (которых особенно много в молодости, да и потом хватает), то наградой будет невыразимое и, увы, мало кому в наши дни ведомое счастье полного единения и безграничного доверия друг другу. А для детей это, быть может, окажется самым дорогим наследством, предметом особой гордости, потому что ещё чуть-чуть — и нерасщепленное, крепкое семейное древо пора будет заносить в Красную книгу.

КОГДА РЕБЁНОК ВАЖНЕЕ МУЖА?

Но вот новое семейное *мы* начинает разрастаться: на свет появляется ребёнок. По идее, должна разрастаться, умножаясь, и любовь. Любовь к мужу и к детям как к порождению семейного союза. Но нередко бывает наоборот. Муж вдруг оказывается не нужен. Нет, не то чтобы совсем. Наоборот, требования к нему возрастают, но любовь (вернее, то, что за неё принималось) тускнеет. Недостатки, которые есть у каждого человека, но к которым женщина ещё недавно относилась снисходительно, вдруг выступают на первый план, затмевая собой достоинства (которые опять-таки, хоть и в разной степени, есть у всех). И любовь начинает иссыхать. Вернее, перетекать к ребёнку. А женщина не только не мучается из-за этого угрызениями совести, как, вероятно, мучилась бы, заведя роман на стороне, но считает, что так и надо. Что любить детей больше мужа совершенно нормально. Это сейчас настолько распространено, что кажется чуть ли не законом природы. Ведь в природе действительно встречаются случаи, когда самки не только охладевают к своему избраннику, обзаведясь от него потомством, но и вовсе отгрызают ему голову.

Однако как бы ни хотелось современным социал-дарвинистам и прочим богоборцам низвести людей до животного состояния, люди не пауки и даже не “высокоразвитые приматы”. И если они хотят счастья (а, создавая семью, об этом мечтает каждая пара), нужно жить не по установлениям *века сего*, которые всё более и более губительны для семьи, а по тем законам, которые дал людям Бог. Бог же заповедал человеку оставить отца и мать и прилепиться к жене. Причём прилепиться навеки: “Что Бог сочетал, того человек да не разлучает” (Мф. 19:6). Если воспринять это всерьёз, а не как фигуру речи или красивую метафору, то при всей любви матери к детям муж не отойдёт на второй план. Даже если заботы о младенце будут поглощать почти всё мамино время! И выбор “муж или ребёнок” будет казаться таким же нелепым, как во-

прос, которым порой обескураживают детей ревнивые родственники или не очень умные знакомые: “Ты кого больше любишь: маму или папу, нас или других бабушку с дедушкой?”

Когда интересы детей становятся выше интересов мужа? Да тогда, когда целостность брака оказывается под угрозой (например, у мужа появляется другая женщина, а то и “параллельная семья” с внебрачными детьми) или когда брак распадается. Если брак перестает восприниматься как нечто незыблемое, нерасторжимое, тогда на первый план выходят узы кровного родства: “Муж сегодня есть – завтра нет, а ребёнок – твоя кровиночка, он с тобой навсегда”. (Хотя логика неверна, ибо ребёнок вырастет и отделится от матери, повинувшись всё тому же Божескому установлению, и женщина на склоне лет останется одна.)

ВЫЙТИ ИЛИ СХОДИТЬ ЗАМУЖ?

Что греха таить, эмансипация и феминизм настолько глубоко въелись в поры современного общества, что женщины, даже сами того не подозревая, невольно проникаются легкомысленным отношением к браку. Даже выражение появилось: “Сходить замуж”, – а потом вернуться. По статистике, большинство разводов происходит по инициативе женщин. Получается, они дорожат браком меньше, чем мужчины? Конечно, без причины разрыв не наступает, но как часто эти казавшиеся по молодости вескими причины на поверку, по зрелом размышлении оказываются обычными, заурядными житейскими трудностями, которых полным-полно в жизни каждого человека. А порой и вовсе пустяками, не стоящими выеденного яйца, но из-за которых был потребован развод. А поскольку женщины более эмоциональны и больше, чем мужчины, склонны действовать в порыве чувств, то и подавать на развод чаще спешат именно они.

А теперь задумаемся, что лежит в основе жизненного кредо “не понравилось – разбежались”, а чего там нет и в помине. Эгоизм? – Конечно, наличествует и даже с избытком. Своеволие? – Безусловно. Решительность? – Тоже имеется. Даже при самом либеральном отношении к браку на развод всё равно надо решиться. Может присутствовать и оскорбленное самолюбие. Кем-то движет романтизм (часто звучащий мотив разрыва – “нет любви”), кем-то – прагматический расчёт (подвернулся лучший вариант). Неважно обстоят дела в подобных случаях с умением прогнозировать последствия событий, особенно отдалённые (к примеру, мамы маленьких мальчиков, раздражённые конфликтами с мужем, не очень-то склонны задумываться над тем, смогут ли они справиться в одиночку с воспитанием современных подростков; их куда больше волнует “здесь и сейчас”). Ну, а такие категории, как вера и верность, оказываются и вовсе списанными в утиль.

“В 1991 году сексолог Шер Хайт обнаружил, что 70% замужних женщин изменяли своим мужьям, – сообщает газета “Вашингтон пост”, – а в 1993 году оказалось, что 72% женатых мужчин не брезгают флиртом на стороне. По данным исследования Чикагского университета, проведённого в 2004 году, около 25% женатых мужчин хотя бы раз имели внебрачный секс”. Американский психолог Эрик Андерсон опровергает “миф” о том, что любовь всегда предполагает верность. По его утверждению, “нередки случаи, когда близкие люди изменяли друг другу не потому, что огонь между ними угас, а лишь из-за стремления получить новые сексуальные ощущения с другим партнёром. Как правило, такой вид измены распространён среди молодых людей в возрасте до 30 лет”. Согласно проведённому психологом исследованию, около 78% мужчин изменяли своим девушкам, и лишь несколько из них сказали, что делали это потому, что разлюбили свою партнёршу. Несмотря на то, что в современном обществе наиболее приемлемыми считаются моногамные отношения, многие пары не хотят всю оставшуюся жизнь вступать в интимную связь лишь с одним человеком. Американский психолог предлагает в таких случаях честно признаваться своему любимому человеку, что такой “стандартный вариант” для их отношений не подойдёт. Многим удаётся сохранить брак, даже зная, что их муж или жена время от времени “ходит налево”. Так что измена далеко не всегда является приговором для отношений, считает Эрик Андерсон (<http://health.mail.ru/articles/106184/>).

Наши специалисты тоже не хотят ударить в грязь лицом.

— Представляете, что городят теперь по радио?! — моя собеседница, пожилая интеллигентная женщина, обогатившая нашу художественную литературу прекрасными переводами с испанского и других европейских языков, даже не подозревает, насколько она оторвана от современной реальности. — Я тут как-то включила радио и попала на передачу семейного психолога. Какой-то, говорят, известный. Очень его рекламировали. И вот представляете? Звонит ему женщина. Так, мол, и так, у нас с мужем проблемы, соримся часто. А он в ответ: “Разводитеесь! Раз проблемы — значит, брак себя исчерпал. Чего тянуть? Совместная жизнь должна приносить радость”. По-моему, это какая-то провокация. Разве может психолог так рассуждать? Его о помощи попросили, а он: “Расходитеесь”...

Пришлось объяснить, что никакая это не провокация, а достаточно распространённый подход к решению семейных проблем. И в подтверждение своих слов рассказать историю о том, как мать одной тринадцатилетней девочки с подозрением на шизофрению, положив дочку в больницу, решила и сама прибегнуть к помощи тамошних психологов, поскольку врач уверяла, что они помогут оздоровить семейный климат. Обстановка в семье действительно к тому времени была довольно напряжённой, ведь жить с душевно-больным человеком, даже маленьким, психологически трудно — и у здоровых нервы расшатываются. Однако методы оздоровления обстановки выглядели, мягко говоря, странно. Женщину попросили определиться, чего она хочет: сохранить семью или развестись (хотя ни ей, ни мужу мысль о разводе даже в голову не приходила!). И пояснили, видя её растерянность: “Нам надо знать, на что Вас настраивать. Если на развод — то пойдёте к Иванову, он у нас специализируется по этой тематике, а если на сохранение семьи — то к Сидорову”.

Женщина начала было что-то лепетать про венчанный брак, но по ответной реакции быстро поняла, насколько неадекватными выглядят её аргументы, и прикусила язык, побоявшись, что в карте дочери появится запись про отягощенную наследственность. А это, в свою очередь, может повлиять на постановку диагноза. Надо ли говорить, что от работы с больничными специалистами женщина и её супруг постарались уклониться?

ПРИ ЧЁМ ТУТ ВЕРА?

— Но при чём тут вера? — скажет кто-нибудь. — Можно подумать, венчанные браки не распадаются. Теперь даже многодетность не служит залогом прочности брака. Один известный священник так прямо и говорит: “Я раньше думал, что если в семье несколько детей, то муж семью уж точно не бросит. А теперь вижу, что бросают и с пятью, и с шестью детьми. И венчанный брак для них не преграда!”

Так и есть. Мне тоже доводилось сталкиваться с подобными случаями. Правда, в основном инициативу проявляли мужья, оставляя женщину с детьми (в том числе с грудными) и устремляясь на волю в поисках лучшей доли. Но встречались и загулявшие многодетные матери, которые до какого-то времени справлялись со своей семейной ролью, а потом — как с цепи сорвались... Что же касается венчанных браков без детей или с одним ребёнком, то женщины тут достаточно часто бывают инициаторами разрушения семьи.

Но в конечном итоге всё зависит не от полового признака, а как раз от веры. От её серьёзности, глубины, искренности. Причём сейчас, по моим наблюдениям, люди невоцерковленные порой относятся к венчанию с большим пиететом, чем те, кого с детства водили в храм, воскресную или даже общеобразовательную православную школу. Разумеется, не для всех, но для части таких молодых людей Православие стало некоей внешней оболочкой. Хорошо знакомой, с детства привычной. Быть может, даже по-своему любимой, в какие-то моменты приятной для души. Но душа гораздо больше жаждет мирского, она хочет быть “от мира сего”. И когда наступает момент решительного выбора, эта жажда нередко перевешивает. И тогда бывает легче сказать, что “у вас своё мнение, а у меня — своё”, назвать какие-то нормы ханжеством, заявить, что Апостолы тоже были людьми и могли ошибаться. И каноны были составлены для другого времени, а сейчас времена изменились. А можно во-

обще ничего не говорить: замкнуться и делать по-своему. А чтобы было не очень стыдно, перестать ходить в храм. Никто ведь тебя не осудит, особенно если общаться с теми, кто тоже туда не ходит. А поскольку таковых большинство, то компанию долго искать не придётся.

По большому счёту, всё упирается в веру. Ну, а верность – та вообще одного с ней корня. Как без веры в Бога объяснить необходимость верности? Кто сказал, что надо быть верным? Мама, которая сама развелась? Или не разводилась, но терпит такие выходки отца, которые лучше бы не терпеть, ведь дети тоже от них страдают? Ну, или даже так (хотя это сейчас нетипичный случай): родители всегда жили душа в душу, сыграли серебряную свадьбу, являют собой пример семейной верности и любви. Ну и что? Маме повезло, что у неё такой муж. А другим не везёт! Другие долго ищут своё счастье. И вообще, у мамы – своя жизнь, а у меня – своя. Нет двух одинаковых судеб. А кроме родителей, о верности вообще никто речи не заводит. Откройте любой журнал, почитайте про знаменитых. У всех были романы, захватывающие переживания. Было что вспомнить на старости лет! И вообще, что плохого, если люди расходятся по обоюдному согласию, без ссор и делёжки имущества? Лучше уже сейчас разбежаться, пока детей нет (или дети маленькие, ещё не успели привыкнуть жить с обоими родителями). Ведь потом хуже будет!

Как тут без апелляции к вере доказать обратное? И даже с апелляцией – как доказать, если нет веры, которая в данном случае выражается в доверии к тому, что Божественные установления – непреложная истина, а не чьё-то “субъективное мнение”? И вообще, зачем быть верным, если проще, легче, приятней быть неверным?

Но как и всё, что исходит от лукавого, выгоды оказываются призрачными, эфемерными. Простота превращается в запутанность, когда человек уже не знает, кого он на самом деле любит и любит ли вообще. А порой и сам себе оказывается не нужен настолько, что готов покончить счёты с жизнью, не дожидаясь естественного конца. Лёгкость в любой, самый неожиданный момент может обернуться тяжестью угрызений совести и запоздалого, но от этого не менее мучительного раскаяния. Приятность – та вообще проходит удивительно быстро, оставляя после себя довольно-таки тошнотворный привкус тоски и уныния, который люди пытаются заглушить разными способами: от бесконечной погони за новыми приятностями до приёма антидепрессантов и прочих взбадривателей, которые только ещё больше затягивают их в пучину тоски.

Так что вольному, конечно, воля, но всё же имеет смысл как можно раньше осознать непреложность Христова императива: “Будь верен даже до смерти” (Откр.: 2:10) и стараться строить свою жизнь в соответствии с ним.

– А я считаю, что главное – не изменять самому себе! – нередко восклицают люди, и по тону восклицаний понятно, что этот принцип кажется им высоким, достойным уважения.

Не будем спорить. Пусть так. Только вот надо разобраться, что значит “самому себе”? Какой своей части: падшей, греховной природе или образу Божию, который есть в каждом человеке? Грех отделяет человека от Бога и соединяет с дьяволом. Но дьявол лукав. Он лжец и отец лжи. Измена, предательство составляют основу его существования. Собственно, он и сатаной-то (противником) стал, когда изменил Богу, попытался устроить мятеж. Бесы, по свидетельству святых подвижников, которым они являлись, даже формы постоянной не имеют, беспрестанно меняя личины. Так какая же может быть верность в грехе? Это, наоборот, предательство. Предательство своей души, сотворённой по образу и подобию Божию, предательство всего того уникального, великого и непостижимо-прекрасного, что вложил в нас Господь. Легкомысленный отказ от тех возможностей, которые таит в себе раскрытие образа Божия в человеке. Неблагодарное, изменническое отвержение вечной жизни, спасения, путь к которому открыл нам Христос, принесся себя в жертву за грехи человечества.

Как и многие другие с виду глубокомысленные сентенции, заявление о верности самому себе на проверку оказывается чушью, которую только в помрачении ума можно принять за мудрость. Но поскольку грех помрачает ум, то, отходя от Бога, люди утрачивают здравомыслие.

ВЕРНОСТЬ МУЖЧИНЫ И ВЕРНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ

А всё-таки, есть отличия или это предрассудки, устаревшие стереотипы? Думается, разница есть, но не в том, в чём её видело (и отчасти до сих пор видит) общественное сознание, гораздо снисходительней относясь к мужским изменам, нежели к женским, и даже пытаюсь подвести под это некую научную базу: дескать, таковы особенности мужской физиологии, психологии и невесть чего ещё. В этом отношении христианство, как уже было сказано выше, не делает различий и предъявляет одинаково высокие требования (не только на уровне действий, но и на уровне помыслов) к обоим полам. А вот в более широком смысле верность мужчин и женщин понимается по-разному, поскольку различно их предназначение.

От мужчин всегда требовалась верность Богу, семье и Отечеству. При необходимости они должны были отстаивать это с оружием в руках. Когда мужчина шел воевать, оставляя дома жену и детей, его поступок не воспринимался как предательство семьи, хотя семья реально оказывалась без мужской защиты и вполне могла погибнуть (что порой и случалось). Но все понимали: защищая Отечество, отец семейства защищает тем самым и свою семью. Его поведение считалось достойным и ответственным.

Если же женщина бросала детей и шла сражаться, это была крайность — дальше некуда. Значит, мужчин почти не осталось. В иных случаях общество это не одобряло, считало странностью, сумасбродством, а то и безумием, поскольку основная задача женщины заключалась в хранении семейного очага, заботе о детях и стариках. То есть женская верность — это верность Богу и семье. Причём в первую очередь не своей кровной семье, а новой — семье мужа. Выходя замуж, девушка брала (и до сих пор берёт) фамилию мужа, даже на этом уровне показывая, что она присоединяется к его семейству, а не наоборот. И в подавляющем большинстве случаев молодая жена уходила после свадьбы из родного дома в дом мужа.

Поскольку женщины были менее свободны, чем мужчины, то и требования общества к ним были ниже. Скажем, женщин-полонянок не считали изменницами. Целый большой народ, креолы, возник от смешения белых завоевателей с индейскими женщинами из покоренных племен в Латинской Америке, которых испанцы и португальцы брали в жены или делали своими наложницами. Мнения женщин в те суровые времена обычно не спрашивали, они доставались победителю в качестве трофея. Впрочем, в современной Мексике до сих пор, спустя 500 лет после конкисты, имя Малинче, наложницы Эрнана Кортеса, вызывает недобрые ассоциации. Но тут дело не в факте сожителства с конкистадором: индейцы майя сами подарили её для этих целей испанцам вместе с другими девушками-рабынями. Вина доньи Марины (так её после крещения стали называть испанцы) в другом. Быстро освоив испанский язык, она стала оказывать конкистадорам неоценимые услуги в качестве переводчицы и дипломата. То есть активно влияла на политику, действуя в интересах завоевателей. И вот этого ей не простили ни современники, ни потомки. Даже новое слово появилось — «малинчизмо», обозначающее измену и предательство. Мексиканские националисты употребляют его по отношению к соотечественникам, предавшим свой народ и родину, осуждая тех, кто смешал свою кровь и культуру с европейской или какой-нибудь другой. Однако история Малинче — это исключение, а не правило.

Но значит ли это, что женщины полностью освобождались от ответственности за защиту Отечества? Я бы так не сказала. Да, сфера деятельности женщин традиционно ограничивалась семьей. Но влияние распространялось гораздо дальше. От того, в каком духе воспитывались в семье дети, какие нравственные ценности им прививались, в дальнейшем зависела и судьба Отечества. Всем известна участь древнего Рима, который, несмотря на кажущееся могущество, пал. А причиной его падения, как опять-таки все знают, явилось ослабление духа из-за упадка нравов, который наблюдался не только в обществе, но и, разумеется, в семье (поскольку общество состоит из семей, и от воспитания детей зависит дальнейшее качество общества). Измены, коварство, вероломство, разнузданный и изощрённый разврат стали нормой существования тогдашних людей во всех слоях населения. Женщины в этих безобразиях не только не отставали от мужчин, но подчас и превосходили их. По крайней мере, имя Мессалины дошло до нас сквозь толщу веков и до сих пор служит олицетворением похоти и распутства.

В то же время нравственные, целомудренные матери даже в очень нелёгих условиях умудрялись, сохраняя супружескую верность мужьям-язычникам, оставаться верными Христу и своему небесному Отечеству. И воспитывали соответствующим образом своих детей, о чём нередко повествуют Жития святых. Все трое детей благочестивой Нонны – Григорий Богослов, Кесарий Назианзин и Горгония – почитаются как святые. Притом что муж Нонны очень долго оставался язычником. “Жена, данная Богом моему родителю, – впоследствии вспоминал св. Григорий Богослов, – была для него не только сотрудницей, что ещё не удивительно, но ещё и руководительницей; она сама словом и делом направляла его ко всему прекрасному. Считая для себя обязанностью во всём прочем повиноваться мужу по закону супружества, в деле веры и благочестия она не устыдилась быть его наставницей... Часто молилась о его спасении с горячими слезами, часто обращала она к нему речь, исполненную самой сильной любви, а иногда христианских угроз, увещаний и т. п... Не могла она переносить этого спокойно, чтобы одной половиной быть в соединении с Богом, а другой частью самой себя – оставаться в отчуждении от Бога. Напротив того, она желала, чтобы к союзу плотскому присоединился и союз духовный”.

И вот однажды по молитвам св. Нонны её мужу было во сне видение. “Отцу моему представилось, – пишет святитель Григорий, – будто бы он (чего никогда прежде не делал, хотя и много раз просила и умоляла о том жена) поёт следующий стих Давида: “Возвеселихся о рекших мне: в дом Господень пойдём” (Пс. 71:1). И пение небывалое, и вместе с песнею является желание”. Сон произвёл на мужа Нонны, которого тоже звали Григорием, столь глубокое и благоприятное впечатление (а Нонна своими объяснениями его ещё больше усилила), что Григорий обратился в христианство. А потом даже стал епископом города Назианза и почитается в лике святителей. Дочь святых Нонны и Григория, святая Горгония, тоже привела к вере своего мужа-язычника.

В том же IV веке многое пришлось претерпеть и св. Монику, матери блаж. Августина. Его отец Патриций был грубым, вспыльчивым язычником и подавал сыну дурной пример. Но Моника изо всех сил старалась вложить в сына христианские понятия, и хотя в юности Августин отошёл от церкви, семя, посеянное в его душе благочестивой матерью и обильно политое её материнскими слезами, принесло впоследствии великие плоды: Августин стал одним из Отцов Церкви.

Что касается русской истории, то хотя св. княгине Ольге не удалось обратиться в христианство своего сына Святослава Храброго, её труды всё равно не пропали даром. Святослав до конца своих дней остался язычником, однако, защищая интересы отечества, сослужил Руси великую службу – разгромил Хазарию, которую известный историк Л. Н. Гумилев называл “злым гением Древней Руси”. И в духовном плане князь, сам о том не догадываясь, расчистил путь христианству. Хазары претендовали на абсолютную гегемонию в Кавказском регионе, разоряя набегами южные области Руси, истребляя славян и стремясь продвинуться как можно дальше на север. Если бы их экспансия удалась, то существованию Киевской Руси пришёл бы конец, и речь о её крещении, естественно, была бы неактуальной. Но после победы Святослава Хазария пришла в упадок, а Киевская Русь, наоборот, укрепилась. И потом, когда Господь неожиданно коснулся сердца Святославова сына и необузданный, свирепый язычник Владимир вдруг взыскал спасения, то, по словам церковного писателя второй половины XI века Иакова Мниха (монаха), он стал припоминать детство и благочестивые наставления своей бабушки, св. княгини Ольги. А вспоминая рассказы близких о том, как она уверовала и крестилась, и сам “разгорался Духом Святым в сердце, желая святого крещения”. Вот уж поистине – “нам не дано предугадать, как слово наше отзовется”!..

После принятия Русью крещения русские семьи дали стране и миру целый сонм святых. И матери этих семейств являли собой образцовый пример верности Богу, семье и Отечеству, поскольку сыновья, воспитанные ими, становились героическими воинами, мудрыми и честными государственными мужами, ревностными священниками и монахами, а дочери – либо невестами Христовыми, либо верными и добропорядочными матерями семейства. Чтобы в этом убедиться, достаточно почитать Жития русских святых или хотя бы прийти в Исторический музей и внимательно рассмотреть стенд, на кото-

ром изображено генеалогическое древо русских князей. Очень вдохновляющее и поучительное зрелище.

Если же отвлечься от “преданий старины глубокой” и перенестись в современность, то мы увидим, что, несмотря на достижения эмансипации, базовые представления о мужском и женском предназначении и семейных ролях в нашей стране всё равно пока ещё достаточно сохранены. Сколько при советской власти ни внушали, что женщина должна быть, прежде всего, работницей и борцом за светлое коммунистическое будущее, сколько ни тщатся заморозить голову в постсоветские времена феминизмом и необходимостью отказаться от “устаревших гендерных стереотипов”, народное сознание этого не приемлет. От женщины всё равно не ждут обязательного понимания политики, участия в политических партиях, общественных движениях и т. п. Да и они сами в большинстве своём к этому не стремятся. А если и участвуют, то, как правило, в областях, связанных с семьей и детьми: образовании, здравоохранении, защите материнства и детства. “Гендерные стереотипы” будут отчётливо видны, если мы, например, посмотрим, кто присутствует на чисто политических собраниях и там, где обсуждаются темы, связанные с детьми. Сколько ни зазывают мужчин на акции против ювенальной юстиции, реформы образования и здравоохранения, политики “планирования семьи” и т. п., а всё равно “тётенок” там заметно больше. В последние годы, правда, мужчин прибавилось, поскольку наконец-то приходит понимание, что всё это — не второстепенные вопросы или даже “бабьи дела”, а самая что ни на есть столбовая дорога политики, поскольку от количества и качества молодёжи зависит судьба страны. Но удельный вес мужской аудитории на таких акциях всё равно не сопоставим с тем, каков он бывает на мероприятиях, посвящённых вопросам политического управления и экономики, войны, геополитики, истории и т. п.

Больше того, допуская участие женщин в политической и общественной жизни, социум, тем не менее, требует от них, в первую очередь, заботы о муже и детях. Женщина, которая “горит” на работе, пренебрегая воспитанием детей, вызывает, в лучшем случае, непонимание. А чаще — осуждение, поскольку она не выполняет свой основной долг перед мужем и детьми. Снисхождение делается лишь в том случае, если работа не общественная, а “за деньги”, и поглощённость ею объясняется необходимостью обеспечивать семью в случае болезни мужа или его безответственности. А также при его отсутствии. Но и в этих случаях слишком интенсивное “горение” не приветствуется. Да и сама женщина чувствует себя виноватой перед детьми и старается, по возможности, совмещать работу и воспитание детей.

К рабочему энтузиазму у мужчин общество относится иначе: с пониманием и даже с восхищением. Сколько великих учёных было так увлечено наукой, что вообще не замечало ничего вокруг, а потомки до сих пор вспоминают о них с благодарностью! Если мужчина — начальник, политик или общественный деятель, то он, в силу своей загруженности, не может уделять много времени семье и детям. И общество не только от него этого не ждёт, но и, напротив, проявляет недовольство, если такой человек ставит семейные интересы выше общественных. “Раз ты решил стать общественным деятелем, будь любезен, служи обществу, а не извлекай личную или семейную выгоду из своего положения”, — гласит общественная мораль.

От мужчины в подобных случаях требуется, чтобы он семью не бросал, не пил, не “гулял” и обеспечивал близких материально. Впрочем, последнее — по возможности. Если общественное служение мужа важно, хотя и не прибыльно, верная жена не будет его этим попрекать, а постарается сэкономить, найти какой-нибудь дополнительный заработок и т. п. В общем, как-то “выкрутиться”, не требуя от мужа отказа от его важного общественного служения.

Может, кому-то мои слова покажутся наивными, оторванными от современной реальности? Но ведь именно так жили (а нередко и живут до сих пор) в последние десятилетия семьи многих учёных, врачей, священников из бедной провинции, военных, руководителей общественных организаций патриотического направления, не получающих грантов из-за рубежа, и т. п. И для жён этих людей такая жизнь стала серьёзным экзаменом на любовь и верность.

ВЕРНОСТЬ БЕЗУСЛОВНА

Легко быть добрым, заботливым и любящим, когда всё хорошо, когда к тебе в ответ тоже добры и предупредительны. Но Христос требует от нас большего. Истинно христианская любовь безусловна. Бог любит нас не в ответ, а просто так. Если мы от него отходим, изменяем Ему, Он всё равно не перестаёт о нас заботиться и пытается привести к спасению. Хотя забота эта может выражаться и в грозном вразумлении, и в ниспослании болезней и скорбей. Раз безусловна любовь, то безусловна и верность, поскольку она является составной частью, неотъемлемым признаком истинной любви: “Любовь никогда не перестаёт” (1 Кор. 13:4). Принцип “ты мне – я тебе... Ах, ты так? – Ну, и я тогда – так!” никакого отношения к истинной любви не имеет.

Когда люди воспринимают семью как нечто неотделимое от себя, как единый организм, если они понимают, что никуда им друг от друга не деться, то они смиряются и худо ли бедно, но притираются друг к другу. Можно, конечно, дать отрезать себе ногу, но человек в здравом уме и твёрдой памяти соглашается на это в самом крайнем случае, когда всему его организму грозит заражение крови. Пока в сознании людей (и, соответственно, в законодательстве) была укоренена мысль о нерушимости брака, люди, несмотря ни на какие сложности взаимоотношений, почти не прибегали к “хирургическому вмешательству”. Сейчас такое понимание жизни сохраняется разве что в отношении родителей (чаще у матерей, чем у отцов) к детям. Как бы ни было трудно с ребёнком, каким бы строптивым, капризным, неблагодарным он ни был, мать даже мысли не допускает о том, чтобы поменять его на другого – хорошего, покладистого. Хотя и в этом отношении в последние десятилетия наблюдаются негативные сдвиги: случаи материнского отказа от новорожденных в роддомах учащаются, и, как отмечают исследователи процесса, общественное мнение начинает относиться к ним мягче, с большим пониманием (см. О. Исупова “Материнский отказ от новорожденного: как и почему”, СПб, Центр независимых социологических исследований, 2003). “В современной феминистской литературе задача ребёнка на усыновление иногда рассматривается как право матери (Field & Marck, 1994), – пишет автор, – поскольку материнство – это очень сложное и неоднозначное явление для гендерной теории, утверждающей в своих ранних вариантах, что оно слишком много отнимает у женщины как личности и слишком мало ей даёт (см., например, Rich, 1976), а потому женщина имеет право решать, может ли она найти место для ребёнка в своей жизни, сохранив в ней определённое пространство и для своей личности. Развитие и сохранение женщины как личности – это направление, которое феминистская и гендерная теории признают приоритетным для всякой женщины, в то время как остальное, в том числе рождение и воспитание детей, должно носить подчинённый характер” (с. 6).

Встречный процесс – отказ детей от родителей. У нас это поощрялось в 30-е годы по идейным соображениям (родители – “враги народа”). Затем революционный пыл охладел. Но теперь начат новый виток, уже в мировом масштабе. Прикрываясь заботой о “правах ребёнка”, разрушители семьи пытаются утвердить в Комитете Министров Совета Европы “Проект рекомендаций по правам и юридическому статусу детей и родительских обязанностей”, где предусматривается право ребёнка отказаться от своих родителей (ст. 27 п. 2). Будем надеяться, в России это не пройдет. Там же, где такая идеология утвердится, нетрудно предугадать дальнейшее разрушение понятия семейной верности, ещё больший рост эгоцентризма и одиночества “свободных личностей”.

На таком фоне сохранение верности – особенно когда вторая сторона тебе изменяет! – выглядит уже чуть ли не юродством. А призывы к ней – особенно при вышеупомянутых “отягчающих обстоятельствах”! – могут вызывать возмущение и гнев как негуманные и даже издевательские. “С какой стати оставаться верной неверному мужу?! Церковь ведь разрешает разводы, если совершено прелюбодеяние!”

Да, разрешает. Больше того, в каких-то случаях (мне, например, такие известны) духовники не только не удерживают женщину от развода, но и настоятельно советуют сделать это побыстрее, предвидя серьёзные опасности для неё и детей в случае продолжения семейной жизни. Но, во-первых, это всё равно не предполагает ответной неверности. А во-вторых, идеалом по-

прежнему остается другое. Святая Моника терпела не только грубость, но и измену супруга. И наверняка в её окружении находились люди, которые не понимали, зачем ей это нужно. Но дальнейшее развитие событий показало, что Моника была права. Её кротость, великодушие и одновременно непоколебимая твёрдость в вопросах собственной морали постепенно преобразили Патриция. Под влиянием примера её святой жизни он пришёл ко Христу и покаялся в своих изменах и бесчинствах.

Вы возразите: “Это было невесте когда, в IV веке!” Тогда куда более свежий пример, из конца XX-го. Старец Паисий Святогорец в книге “Семейная жизнь” рассказал про мать троих детей, муж которой вдруг пустился во все тяжкие: “Он зарабатывал много денег, но почти все тратил на свою развратную жизнь. Бережливость несчастной супруги удерживала их домашнее хозяйство от краха, своими советами она помогала детям устоять на верном пути. Она не осуждала отца, чтобы дети не начали испытывать к нему неприязни и не получили душевную травму, а также для того, чтобы они не были увлечены тем образом жизни, который он вёл”.

Положение было хуже некуда! “Когда муж приходил домой поздно ночью, ей было сравнительно легко оправдать его перед детьми: она говорила, что у него много работы. Но что ей было говорить, когда середь бела дня он заявлялся в дом со своей любовницей?” Причём не просто заявлялся, а ещё и издевательски требовал потчевать их разными кушаньями!

Но женщина даже тогда думала не о себе, а о детях. И шла ради них на страшные жертвы. “Несчастливая мать, желая уберечь детей от дурных помыслов, принимала их (любовниц мужа. — Авт.) радушно. Она представляла дело таким образом, что любовница мужа якобы была её подругой, а муж заезжал к “подруге” домой, чтобы привезти её в гости на машине. Она отправляла детей в другие комнаты учить уроки, чтобы они не увидели какую-нибудь неприличную сцену, ведь её муж, не обращая внимания на детей, даже при них позволял себе непристойности. Это повторялось изо дня в день. То и дело он приезжал с новой любовницей. Дело дошло до того, что дети стали спрашивать её: “Мама, сколько же у тебя подруг?”

Этот кошмар продолжался несколько лет. Муж вёл себя, как сумасшедший, относился к жене по-свински, злобствовал, бесновался, обвинял всех и вся. Но через какое-то время Господь как следует вразумил бесноватого. Он сорвался на машине в пропасть и был страшно изувечен. Весёлая жизнь кончилась. “Подругам” жены он в таком состоянии стал не нужен, и лишь “добрая супруга и добрая мать заботливо ухаживала за ним, не напоминая ему ни о чём из его блудной жизни. Он был потрясён, и это изменило его духовно. Он искренне покаялся, попросил прислать к нему священника, поисповедовался, несколько лет прожил по-христиански, имея внутренний мир, и упокоился о Господе. После его кончины старший сын занял его место в бизнесе и содержал семью. Дети этого человека жили очень дружно, потому что они унаследовали от своей матери добрые принципы”. Эта глава в книге старца Паисия так и называется: “Верная жена” (“Блаженной памяти старец Паисий Святогорец, “Слова”, том IV, “Семейная жизнь”. Монастырь святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, Суроти, Салоники, Издательский дом “Святая гора”. М., 2004. С. 57–59). Но можно было бы добавить и “верная мать”, ведь из повествования старца понятно, что женщина терпела все эти муки главным образом из сострадания к детям, опасаясь, что развенчание образа отца и крах семьи потрясут их неокрепшие души и они отшатнутся от веры, пойдут по кривой дорожке. И Господь не посрамил её подвиг! Хотя, наверное, многим современным женщинам он вряд ли понятен. С мирской точки зрения, её семейная жизнь сложилась несчастливо: сначала она страдала от неверности и хамства мужа, потом ухаживала за калекой, а потом овдовела. Но ведь цель христианского брака не в достижении земного комфорта и благополучия, а в том, чтобы вместе идти к спасению. По вине мужа путь этот, увы, оказался весьма тернистым. Но Христос не обещал нам счастья на Земле, а наоборот, сказал: “В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир” (Ин. 17:33).

“Эта мать, — подытоживает рассказ старец Паисий, — мать-героиня. Для того чтобы спасти семью от распада, а своих детей — от горькой печали, она выпила их горькие чаши сама. Она удержала семью от распада, спасла своего мужа и сама заработала небесную мзду. Бог даст этой женщине лучшее место в Раю”.

ВЕРНАЯ МАТЬ ВЕРНА ВСЕМ СВОИМ ДЕТЯМ

В чём ещё выражается верность матери? В первую очередь, в том, чтобы не делать аборт. Многие неверующие или маловероующие люди не видят тут связи, а ведь на самом-то деле получается, что одним детям мать верна, а других предаёт. Для одних не жалует ни времени, ни денег, ни сил, а других лишает всего, даже их собственной жизни. В советское время, когда женщины, обманутые “передовой наукой”, верили, что зародыш – ещё не человек, наличие у него бессметной души, равно как и существование Бога, агрессивно отрицалось. Поэтому отношение к аборту было достаточно легкомысленным. Женщины пеклись лишь о том, чтобы не испытывать боли. Даже перспектива бесплодия их не особенно волновала. Это могло напугать только в случае первой беременности. А уже имея одного ребёнка, люди часто считали, что его достаточно.

После краха советской власти Церкви постепенно удалось донести до народа, что аборт – самое настоящее детоубийство. Для женщин старшего возраста это стало страшным открытием. Многие говорят, что никогда бы не совершили этого греха, если бы знали правду. В наши дни правду замолчать невозможно, и опыт преабортного консультирования показывает, что, узнав её, тысячи женщин решают оставить ребёнка даже в достаточно сложных жизненных ситуациях. Размышления на тему верности тоже, как мне кажется, могли бы помочь матерям принять единственно правильное решение – сохранить своему малышу жизнь.

ЧТО ЗНАЧИТ “БЫТЬ НА СТОРОНЕ РЕБЁНКА”?

Не скажу, что сплошь и рядом, но попадаются мамы, которые чересчур буквально восприняли призывы всегда быть на стороне ребёнка. Что бы ни вытворило их чадо, они стараются его оправдывать. Да ещё подводят под это теоретическую базу! Дескать, в этом и состоит верность матери! Кто его защитит, если не я?

И защищают: от папы, возмущённого буйством и непослушанием сына, от сверстников (хотя, вполне возможно, “сам” тоже хорош), от соседей по дому и прохожих на улице, от “злых училок” и прочих недоброжелателей, которые вечно к нему придираются, буквально липнут, как железки к магниту. Помнится, одна такая мама ходила “качать права” к директору школы даже после того, как её сын запустил камнем в учительницу. По его мнению, она занизила ему оценку. А раз так, то “получи, фашист, гранату!” Мама оправдывала сыночка во всех его действиях, поскольку оценка и впрямь была занижена. И грозилась пожаловаться в Управление образования на то, что к её ребёнку в этой школе (как, впрочем, и в двух предыдущих!) не нашли подхода.

Подобные случаи, безусловно, встречаются не каждый день, но назвать их полной экзотикой тоже нельзя. Поговорите со школьными учителями или найдите в интернете родительские форумы, и вы сами увидите, каков настрой немалого числа мам (и пап).

Ещё один пример: первоклассница Настя регулярно устраивает истерики из-за того, что учительница не уделяет ей столько внимания, сколько хочется Насте. А ей хочется царить всегда и во всём. Дай девочке волю, только её и слышно будет, никто слова вставить не сможет. Когда при Насте похвалили кого-то другого, она тут же принимается громко расхваливать свои достижения или бурно обижается, “показывает характер”. Уроки Настя регулярно срывает, требуя, чтобы её непременно спросили первой. В конце концов, измотанная истериками учительница решила применить меры и на неделю лишила Настю права отвечать у доски.

Казалось бы, мама, которая больше всех страдала от эгоизма и несдержанности Насти, должна была бы поддержать учительницу. Но нет! Она была возмущена наказанием дочери!

– Я же объясняла Анне Викторовне: Настенька – ребёнок нетерпеливый. Но если её спрашивать каждый раз первой, она успокоится и дальше не будет мешать. Хотя бы какое-то время. Неужели трудно пойти ребёнку навстречу?

Маме не приходила в голову простая мысль о том, что другие дети быстро зададутся вопросом: с какой стати Настя должна всегда быть первой? Чем она лучше их? Почему у неё привилегированное положение?

Маму переживания других детей нисколько не волновали. Главное, чтобы дочка была довольна и не шумела. То есть Настина мать, активно подпитывала дочкин эгоизм и фактически способствовала тому, чтобы одноклассники её возненавидели. Но при этом думала, что она действует в интересах девочки, принимая её сторону.

Не спорю, защищать детей надо. Порой совершенно необходимо! Но ещё необходимей учить их прощать, уступать, терпеть, преодолевать трудности. Быть на стороне ребёнка – значит помогать ему вырасти хорошим человеком: совестливым, благородным, добрым, самоотверженным, а не потворствовать его безобразиям, прикрываясь словами о родительской преданности. “Следовало бы [видя согрешающего сына] сокрушаться и плакать, – поучает св. Иоанн Златоуст, – или лучше не плакать только, но и удерживать, обуздывать, советовать, убеждать, устрашать, укорять, прогонять эту болезнь всеми способами врачевания и подражать той вдове, о которой говорил Павел: “Если она воспитала детей” (1 Тим. 5:10). Ибо не к ней только, но и ко всем он обращает эти слова и всех увещевает так: воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем (Еф. 6:4). Это первое и величайшее из благ”.

ДОРОЖЕ СЕРЕБРА И ЗЛАТА

Ничто так не вдохновляет, как хорошие примеры. Особенно в детстве и юности, когда человек ещё неустойчив и легко может подпасть под дурное влияние. Но и потом добрый пример подобен яркому лучу, рассеивающему мглу и мрак, или глотку свежего воздуха, который сразу даёт почувствовать разницу между тем, чем мы дышим, и тем, чем вообще-то положено дышать, если мы хотим сохранить здоровье.

Примеров женской верности в мировой истории и культуре не счесть, но в условиях информационной войны, как сейчас, делается всё, чтобы молодёжь знала об этом поменьше, и пропагандируется прямо противоположное. Однако замолчать всё невозможно. Особенно в русской культуре, где любимый многими поколениями, центральный образ в творчестве самого любимого русского поэта – это Татьяна Ларина. И любят её именно за то, о чём мы сейчас говорим: за нравственную чистоту, верность и благородство. Сколько бы ни пытались расшатать нравственные устои, но тихие, твёрдые слова “...я другому отдана и буду век ему верна” уже без малого двести лет западают в душу читателям и не дают позабыть, что женская честь и верность как идеал неотменимы. Что бы мы там себе ни внушали и ни выдумывали.

Сам Александр Сергеевич тоже любил иронизировать на эту тему. В романе “Евгений Онегин” он шуточно сравнивает с верной женой... хандру: “Хандра ждала его на страже. И бегала за ним она, как тень иль верная жена”. Сравнение, согласитесь, нелестное. Да и любовные похождения поэта, воспетые в талантливых стихах, отнюдь не способствовали умножению верности на Земле. Но выше он, защищая не что-нибудь, а именно честь жены и ту самую верность, над которой когда-то так беспечно посмеивался. Господь дал ему почувствовать, каково быть обманутым мужем – пусть даже только в людском воображении! А затем смилостивился и позволил русскому гению войти в историю не комедийным персонажем, каким тот рисовал обманутых мужей (“и рога носец величавый, всегда довольный сам собой, своим обедом и женой”), а герою трагедии. Имя Наталья Николаевна, несмотря на происки врагов, осталось в веках незапятнанным, честь семьи была сохранена. Правда, далось это очень дорогой ценой – ценой страшной, мучительной смерти поэта, кровавым искуплением греха былых измен.

Появление образа Татьяны Лариной в русской литературе, разумеется, не случайно. Верность была в России не только идеалом, но и нормой жизни. В Тверской губернии на протяжении семи веков существовал благочестивый обычай в праздник Вознесения Господня совершать крестный ход на святую гору, высокий холм близ села Единонова Корчевского, где, по преданию, святая благоверная Анна Кашинская прощалась со своим мужем, святым благоверным князем Михаилом Тверским перед его последней поездкой в Орду. Больше они в этой жизни не встретились, но трогательная сцена прощания супругов сохранилась в народной памяти вплоть до наших дней. Сохранилась и память о Ярославне, жене князя Игоря, увековеченной в “Слове о полку Иго-

реве” и ставшей, можно сказать, нарицательным образом верной русской жены. Её плач несётся над русской землёй, подхваченный миллионами женщин, и не смолкнет до скончания века, потому что, сколько существует наша страна, столько насаждают на неё враги.

Потрясающий подвиг верности явили жёны декабристов, что тоже не замедлило отразиться в нашей литературе и искусстве.

*“...Пять тысяч каторжников там,
Озлоблены судьбой,
Заводят драки по ночам,
Убийства и разбой;
Короток им и страшен суд,
Грознее нет суда! —*

пугает княгиню Трубецкую губернатор в поэме Некрасова “Русские женщины”:

*И вы, княгиня, вечно тут
Свидетельницей... Да!
Поверьте, вас не пощадят,
Не жжалится никто!
Пускай ваш муж — он виноват...
А вам терпеть... за что?”
“Ужасна будет, знаю я,
Жизнь мужа моего.
Пускай же будет и моя
Не радостней его!
Пусть смерть мне суждена —
Мне нечего жалеть!..
Я еду! еду! я должна
Близ мужа умереть”, —*

отвечает Екатерина Трубецкая.

А вот что она говорит уже не в стихах Некрасова, а в реальном письме, написанном иркутскому губернатору 14 января 1827 года:

“Но если б чувства мои к мужу не были таковы, есть причины ещё важнее, которые принудили бы меня решиться на сие. Церковь наша почитает брак таинством, и союз брачный ничто не сильно разорвать. Жена должна делить участь своего мужа всегда, и в счастии, и в несчастьи, и никакое обстоятельство не может служить ей поводом к неисполнению священной для неё обязанности. Страданье приучает думать о смерти: часто и живо представляется глазам моим тот час, когда, освободясь от здешней жизни, предстану пред великим Судьею мира и должна буду отвечать Ему в делах своих, когда увижу, каким венцом Спаситель воздаст за претерпленное на земле именно Его ради, и вместе весь ужас положения несчастных душ, променявших Царствие Небесное на проходящий блеск и суетные радости земного мира. Размышления сии приводят меня в ещё большее желание исполнить своё намерение, ибо, вспомнив, что лишение законами всего, чем свет дорожит, есть великое наказание, весьма трудное переносить, но в то же время мысль о вечных благах будущей жизни делает добровольное от всего того отрицанье жертвою сердцу приятною и легкою”.

Юную Марию Волконскую тоже не испугали ни утрата титула, состояния и с детства привычного образа жизни, ни холод и лишения, ни разлука с родными и даже с малюткой сыном.

*Да, ежели выбор решить я должна
Меж мужем и сыном — не боле,
Иду я туда, где я больше нужна,
Иду я к тому, кто в неволе!
Я сына оставлю в семействе родном,*

*Он скоро меня позабудет.
Пусть дедушка будет малютке отцом,
Сестра ему матерью будет.
Он так ещё мал! А когда подрастёт
И страшную тайну узнает,
Я верю: он матери чувство поймёт
И в сердце её оправдает!*

*Но если останусь я с ним... и потом
Он тайну узнает и спросит:
“Зачем не пошла ты за бедным отцом?” —
И слово укора мне бросит.
О, лучше в могилу мне заживо лечь,
Чем мужа лишит утешенья
И в будущем сына презренье навлечь...
Нет, нет! не хочу я презренья!..”*

“За что ты себя обрекаешь на муку?” — спрашивает Марию отец. И слышит в ответ:

*Не буду я мучиться там!
Здесь ждёт меня страшная мука.
Да, если останусь, послушная вам,
Меня истерзает разлука.
Не зная покоя ни ночью, ни днём,
Рыдая над бедным сироткой,
Всё буду я думать о муже моём
Да слышать упрёк его кроткий.
Куда ни пойду я — на лицах людей
Я свой приговор прочитаю:
В их шёпоте — повесть измены моей,
В улыбке — укор угадаю:
Что место моё не на пышном балу,
А в дальней пустыне угрюмой,
Где узник усталый в тюремном углу
Терзается лютою думой,
Один... без опоры... Скорее к нему!
Там только вздохну я свободно.
Делила с ним радость, делить и тюрьму
Должна я... Так небу угодно!..*

Княгиня Волконская сделала трагический выбор в пользу мужа, не разделяя его революционных взглядов и даже (по нынешним временам это может показаться особенно странным) не будучи в него влюблена. Просто она была слишком благородна, чтобы бросить мужа в беде. “Чем несчастней мой муж, тем более он может рассчитывать на мою привязанность и стойкость”, — написала она свекрови 12 февраля 1827 года.

“Это самая удивительная женщина, которую я когда-либо знал”, — промолвил под конец жизни её отец, хотя когда-то делал всё возможное, чтобы удержать дочь от отъезда в Сибирь, и даже грозил ей отцовским проклятием.

Кстати, не только Мария Волконская оставила ребёнка на попечение родных, последовав за мужем в Сибирь. “До отъезда в Сибирь детей не было лишь у Трубецкой и Нарышкиной (последняя ещё до осуждения мужа потеряла единственную дочь), — пишет Э. А. Павлюченко в книге “В добровольном изгнании”. — Дочь Ентальцевой от первого брака воспитывалась у отца. А. И. Давыдова рассовала по богатым родственникам шестерых. А. Г. Муравьёва поручила заботам бабушки двух маленьких дочек (старшей — три года) и совсем крохотного сына. Н. Д. Фонвизина, единственная дочь престарелых родителей, оставила их с двумя внуками двух и четырёх лет... А. В. Розен, по настоянию мужа, задержалась с отъездом, ожидая, пока подрастёт сын. М. К. Юншевской не разрешили взять с собой дочь от первого брака. У буду-

шей жены Анненкова — П. Гебль — также была дочь, оставшаяся с бабушкой. Расставались, имея очень мало надежд на то, что когда-нибудь свидятся. По постановлению Комитета министров, “невинная жена”, последовавшая за мужем в Сибирь, должна была оставаться там до его смерти, а может быть, и до собственной смерти, так как правительство не гарантировало обязательного возвращения женщин в случае смерти их мужей — “государственных преступников” (что, кстати, и подтвердилось)”.

Современным людям, склонным винить родителей чуть ли не во всех своих бедах, полезно узнать, как относились к родителям дети декабристов, хлебнувшие лиха и вообще-то имевшие основания предъявлять к ним претензии. Записки Ольги, дочери Ивана Анненкова, родившейся в Чите в 1830 году, начинаются со слов: “Первые мои воспоминания — тюрьма и оковы. Но несмотря на всю суровость этих воспоминаний, они лучшие и самые отрадные в моей жизни”.

После смерти Никиты Муравьёва его четырнадцатилетнюю дочь Софью определили в Екатерининский институт, но не под фамилией отца, а под другой, вымышленной — Никитина. Однако девочка не отреклась от родителей. Она не откликнулась на эту фамилию, и её звали по имени. Существует рассказ о посещении института императрицей, которая спросила: “Почему, Нонушка, ты мне говоришь “madame”, а не называешь “maman”, как все девочки?” “У меня есть одна только мать, и та похоронена в Сибири”, — ответила девочка.

По воспоминаниям А. Бибиковой, внучки Софьи Муравьёвой, “бабушка не только любила своего отца, она его просто боготворила и свято чтит его память и всё, что он успел передать ей из своих знаний”.

Спустя сто с лишним лет, в ещё более страшных условиях, подвиг верности повторила жена священника Григория Пономарёва. Оставив трехмесячную дочку на попечение родных, она поехала в Сибирь искать супруга, который был осужден по ст. 58 УК РСФСР как служитель культа. В НКВД матушке Нине выдали разрешение на свидание с мужем, и она пустилась в далёкий путь. Время было опасное, кругом воровство, бандитизм, люди нередко пропадали без вести. Путь на поезде до Улан-Удэ занял около двух недель. Когда же матушка, наконец, добралась до места назначения, её нагло обманули, заявив, что до места, где находится её муж, надо ехать ещё 20–30 км. А на самом деле зона, где содержался о. Григорий, была рядом, за забором! Но пока женщина дождалась разрешения от начальства на продолжение пути, мужа отправили по этапу дальше, и матушке Нине пришлось возвращаться домой, так и не повидавшись с ним. В поезде она страшно простудилась, и её как умирающую даже хотели снять с полдороги. Но молитвой и неимоверными усилиями матушка всё же продержалась до Свердловска, где её встречали брат с сестрой, которым она успела дать телеграмму. В больнице поставили диагноз “двухстороннее воспаление лёгких с абсцессом в нижней доле правого лёгкого и высшей степенью истощённости”. Надежды на выздоровление практически не было, но матушка всё-таки выжила, проведя в больнице два с половиной месяца. С мужем, осуждённым на десять лет и отправленным в Магадан, они увиделись не десять, а пятнадцать лет спустя, в 1953 году, когда его, наконец, отпустили на волю. Они прожили в браке 61 год и завершили свой земной путь, как Пётр и Феврония, в один день. Дочь о. Григория и матушки Нины, Ольга Пономарёва, благодарная родителям за подвиг любви и верности, написала об их жизни прекрасную книгу “Во Имя Твоё...”. Нам сейчас такие книги и такие истории нужны, как воздух. Сколько бы женщины ни кивали на мужчин, исправление общества зависит, в первую очередь, от верных жен. От их целомудрия и чистоты.

Но даже если мы не сможем повлиять на общественно-исторические процессы, то, какую страницу мы впишем в историю своей семьи, зависит от нас. Тем, кто осознал это чересчур запоздало, оставлен путь покаяния. Тем же, кто ещё не успел насажать на страницах семейной летописи клякс и ошибок, следует хранить верность “паче тысяч злата и сребра” (Пс. 118:72), ибо она драгоценнее самых дорогих сокровищ. Ну, а как это запечатлеется в памяти потомков: в виде книг или устных преданий — неважно. Главное — они будут вспоминать вас с благодарностью.

ОЛЬГА СВЕРДЛОВА

“ДАЙ МЯСО!”

Рассказываю для тех, кто не видел. Весёлая ведущая, легко взмахнув руками, открывает сайт, девочке задают вопрос: “Кто, по-твоему, хитрый человек?”. И она мучительно – всё это отражается на её лице – извлекает из своей головки ответ: “Это моя тётя”. – “А злой?” – “Мой папа. Он орёт: “Давай мясо!”

Раньше на подобный вопрос можно было получить совсем другой ответ, к примеру: “Волк”. Потому что ребёнок рос в окружении сказочных героев, а сегодня живёт в обстановке кухонных дразг, семейных разборок, выяснения отношений на повышенных тонах, приправленных матом, угрозами и оскорблениями всего и вся. Мы вообще разучились разговаривать спокойно. Такое ощущение, что мы все чуть-чуть сошли с ума. Большое общество, где постоянно выясняют отношения, и люди в споре готовы убить друг друга.

Вначале, когда увидела этот ролик, который просмотрели уже тысячи граждан нашей страны, умирая от хохота, я подумала, что у нас теперь всё напоказ, даже самые неприглядные стороны жизни семьи. Ведь снимал этот ролик, очевидно, не посторонний человек, хотя вроде бы съёмка происходит в детском саду, а кто-то близкий к семье или знакомый, а может быть, родственник.

Другой ролик, названный “Дочь Жириновского”, снимали уж точно родители, нисколько не пугаясь, что их ребёнок заходится в истерике. Причём ясно, что они провоцировали ребёнка, и уже не в первый раз, доводя до исступления только с одной целью: выложить эти фотки в интернет. Поистине, ныне всё – даже не на продажу! – на показ.

Увы, родителям, поймавшим своего ребёнка на мушку видеокамеры, в голову не приходит пристальнее взглядеться в детское личико, задуматься: а чем живёт малыш, о чём думает, чего боится? Мир ребёнка закрыт для них, а большинству и не интересен!

А между тем, представления детей о себе и своей семье удивительны и неповторимы, суждения о жизни порой более трагичны, чем наши, взрослые, а страхи – так как нет опыта их преодоления – разрастаются до вселенских размеров. Есть даже книжка такая – “Страхи здоровых детей”, правда, это перевод с немецкого.

А вот что ответили наши ученики 9-го класса на вопрос “Чего они больше всего боятся в жизни?”:

- Чтобы маму не сократили с работы...
- Чтобы папа не ушёл от нас...

Ученики 4-го класса на тот же вопрос ответили следующее:

- Чтобы меня не взяли в заложники...

– Чтобы меня не убил маньяк...

А ведь эти страхи появились не на пустом месте! Каждый день приносит трагические новости: где-то кого-то убили, пьяный водитель задавил пешеходов, маньяк или педофил совершил очередное преступление и т. д. По ТВ вообще показывают такие ужасы, что если всё это смотреть и на это эмоционально реагировать, станешь невротиком. Родители, оправдываясь, часто говорят, что их дети смотрят только мультики. Но вот оказалось, что иностранные мультфильмы подспудно, воздействуя на подсознание, вырабатывают у ребёнка определённый тип поведения, ценности, далёкие от нравственных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Например, у девочек – тип поведения, который сродни женщинам лёгкого поведения, у мальчиков теряется половая идентификация. Это первые шаги к изменению традиционной ориентации. И взрослые должны, чтобы как-то смягчать эту информацию, не бездумно усаживать ребёнка у телевизора, чтобы не мешал заниматься своими делами, а вырабатывать критическое отношение к подобным программам, отсеивать то, что они считают вредным, успокаивать, разъяснять, помогать преодолевать страхи. Но родители меньше всего озабочены тем, чтобы рассеять страхи ребёнка или фильтровать увиденное и услышанное. Они просто не думают об этом.

Сколько раз я наблюдала, как разговаривают с детьми папы в парке, на детской площадке или на улице. Они умирают от тоски, выполняя свои обязанности, им с детьми скучно, неинтересно. А это хорошие отцы – они хотя бы гуляют с детьми, и таких, по моим наблюдениям, не так уж и много.

Знакомая мама пожаловалась: у мужа отпуск, так он целый днями играет в интернете, а двухлетний сын умоляет поиграть с ним.

Воспитатели детских садов, психологи жалуются, что дети сегодня начинают поздно говорить и говорят плохо. Потому логопеды и всевозможные коррекционные группы в особой чести. У малышей наблюдается множество дефектов речи. И это, как ни странно, в наше-то время, когда детей усаживают к телевизору без преувеличения прямо с пелёнок. Но, очевидно, для развития речи необходима обратная связь, ребёнку нужен слушатель, терпеливый и внимательный. Пассивное усвоение информации не стимулирует развитие речевого аппарата, не обогащает речь.

Мы откупаемся от ребёнка огромным количеством игрушек, благо их сейчас полно в магазинах, и выбираем в основном те, что не требуют партнёра для игры. Мы готовы терпеть свекровь или тещу, нянюку или чужую бабушку, чтобы поскорее сбавить ребёнка с рук. Так с самого раннего детства закладываются непонимание между родителями и детьми – два мира, как две параллельные прямые, которые никогда не пересекаются: мир взрослых и мир детей.

... 90% наших сограждан не хотят вторжения ювенальной юстиции в нашу жизнь. Возмущает явная направленность этих норм против семей с низким достатком, но, помимо всего прочего, в людях говорит естественное возмущение против практики воспитания в своей семье предателя, который доносит на своих близких, ищет защиты у чужих. Нарушается извечный закон, на котором держится семья, – дети любят и жалеют своих мам и пап, какими бы они ни были, даже пьяницами, гулящими, уголовниками. В хорошем смысле этих слов, они не хотят *выносить сор из избы*. И в этом суть кровного родства, семейного общения, в конечном итоге, это и есть любовь.

Вспоминая многодетную семью Никитиных, о которой много писали в советское время. Их методику воспитания и развития физических и умственных способностей детей раннего возраста пытались перенять многие родители.

Помню, как семья Никитиных впервые появились в редакции журнала, который я выпускала. Был октябрь месяц, уже люди мёрзли на улице, а дети пришли в летней одежде. В этом проявлялась их традиционная форма закаливания, которая прошла испытание временем. Дети редко болели, были активны и энергичны. А когда я побывала у них в доме вместе с японскими педагогами, которые перенимали их уникальный опыт раннего развития способностей, то на столе не увидела никаких фруктов и разносолов. На столе были щи, каша, как говорится, еда наша. В доме даже не было водопровода: вода текла не из крана, а из резиновой трубочки – на кран не было денег. Но это была по-настоящему счастливая семья, хотя жили они бедно, а деньгами денег не хватало даже на элементарную еду. Мама, Лена Алексеевна, работала библиотекарем, а отец, Борис Павлович, не остепенённым сотрудником НИИ педа-

гогики. Раннее развитие способностей воспринималось некоторыми нашими учёными и общественностью как насилие над личностью. И если бы тогда у нас была ювенальная юстиция, детей у них уж точно бы отобрали.

Возвращаясь к нашему времени, расскажу один случай, как на практике внедряется в головы наших питомцев билль о правах ребёнка и что из этого выходит.

По телефону доверия позвонил мальчик и спросил, нельзя ли подать на родителей в суд. И рассказал, что у отца полный чемодан денег, а он не захотел ему купить айпад, и тогда он взял у него деньги тайком. Когда отец обнаружил пропажу, он выбросил телефон в окно, а его избил так, что он уже неделю в школу не ходит, сидеть не может. “Я видел, кто ему деньги принёс. Я на суде всё расскажу. Вы должны защитить мои права”. В его голосе было столько ненависти и желания отомстить, что даже умудрённый опытом общения с трудными детьми психолог испугалась не за жизнь подростка, а за жизнь его отца. Потом оказалось, что родители – честные люди, музыканты, подолгу гастролирующие по городам и весям, чтобы накопить денег на покупку дачи.

Вторжением в нашу жизнь ювенальной юстиции, этого последнего слова в области укрепления прав и свобод наших граждан, опрокидывается вся система воспитания: законное право родителей требовать от детей послушания и возможность наказывать ребёнка за проступок. К сожалению, бывают такие моменты, когда без ремня не обойтись. И не стоит притворяться, что Вы никогда не поднимали руку на ребёнка. Об этом ещё в XIX веке писал знаменитый хирург Н. И. Пирогов. Его статья “Надо ли сечь ребёнка” вызвала тогда много споров. Он, великий гуманист уже в силу своей профессии, спасший не одну тысячу жизней раненых на полях сражений, считал, что в исключительных случаях сечь надо – это право воспитателя.

Известный доктор Спок, который проповедовал воспитание без принуждения и на книгах которого было воспитано несколько поколений американцев, в конце жизни пересмотрел свои педагогические принципы и посчитал себя виновным в том, что воспитанные таким образом молодые люди не нашли себя в жизни, оказались потерянным поколением.

“Воспитание без наказания” – прекраснородушная мечта воспитателей, у которых детей никогда не было или они ими не занимались. Они готовы охранять права ребёнка настолько, что отбирают у матери детей, потому что девочка рассказала в школе, что мать шлёпнула её по попе.

Началось на Западе, теперь это происходит и у нас. В программе Михаила Зеленского показали мать, у которой отобрали четверых детей за то, что она наказала старшую девочку – ударила шнуром несколько раз так, что следы остались. Плохо, очень плохо поступила мать. Наказала жестоко, хотя и было за что. Дочка взяла у отчима, когда он спал, телефон, где были закачаны порнографические фото, и показала их ребятам в школе. За этим занятием её застала учительница, отобрала телефон и пожаловалась родителям. Разъярённая мать наказала так, как традиционно воспитывают в таких семьях. Рубцы случайно увидела “продвинутая” учительница, которая недавно стажировалась на Западе и где её накачали знаниями о правах ребёнка. Далее всё по накатанному сценарию: пришли социальные работники и забрали детей в детский дом. Следующий шаг – их лишат родительских прав, а потом найдутся усыновители, может быть, иностранцы. И уедут наши дети в поисках счастья к новым родителям. А что их там ждёт, никто не знает.

Ювенальная юстиция ставит детей и родителей в равные условия. Дети, совершая неблагоприятный поступок, боятся наказания, постоянно проверяя, где можно переступить границы дозволенного, что можно и чего нельзя и, таким образом, на своём опыте усваивают правила общежития. Но теперь родители, наказывая ребёнка, должны, в свою очередь, бояться детей, у которых есть право пожаловаться на них.

Кстати, 92% американцев высказались за то, что детей за проступки следует наказывать ремнём. Это законное право родителей. Мера – жёсткая, но не жестокая, если справедливая.

Обуздывать инстинкты ребёнка следует всевозможными средствами, в том числе и розгами, об этом ещё в древности писал Платон.

Выросло первое “непоротое” поколение. По идее оно должно было быть добрым, отзывчивым, любящим, гуманным, так как в детстве они не жесто-

чились, испытывая гнев и обиду на родителей за жестокие наказания, они росли в обстановке свободы, уважения прав личности, а что получилось? Выросло поколение злобное, агрессивное. Так что не всё так однозначно, как кажется на первый взгляд...

На воспитание действует множество факторов.

Да, есть родители, которые жестоко обращаются с детьми, есть просто деклассированные люди, наркоманы и алкоголики, которым нет места в нормальном обществе, так и судите их, и только после этого лишайте родительских прав.

А есть родители, для которых дети становятся просто удачным бизнес-проектом. И тут все средства хороши. У таких родителей ребёнок – заложник не только их нереализованных амбиций, который должен добиться успехов, о которых мечтали они сами, а возможность создать капитал путём выжимания из ребёнка всех его сил. Такая своеобразная капитализация собственного дитяти – вложение в детский капитал.

...Я шла по парку, который примыкает к детскому ледовому стадиону, где будущие спортивные звёзды на искусственном льду учатся играть в хоккей. Сейчас родители готовы отдать всё, чтобы их сын добился успехов в этом виде спорта. Их меньше всего волнуют проблемы здоровья, манят миллионы, которые зарабатывают спортсмены, конечно, те из них, кому удалось пробиться в большой спорт. Меня догнала парочка – отец и сын, возвращавшиеся домой после тренировки. Каждый пять шагов подросток отскакивал от отца, потому что тот хлестал его ремнём. Трудно в это поверить, но я – живой тому свидетель. Мальчишка с рёвом отбегал, а потом снова возвращался к отцу, а тот, взбешённый, видимо, неудачей сына в соревновании, орал, что он ничтожество, бездарь, трус, мямля и что на него он истратил столько денег, а толку никакого, и когда сын подходил ближе, он в очередной раз ударял его. Я догнала парня и сказала ему какие-то утешительные слова, но он отпрянул от меня, рыдая, прокричал, что он действительно ничтожество и бездарь, и ничего из него не получится и никакие миллионы ему не светят. Я поняла, что и парень заражён тем же вирусом. Миллионы сняты уже и детям.

Теперь о самой больной теме для сегодняшней России: о сиротах при живых родителях. Их у нас десятки тысяч.

В чём-то мы бываем слишком великодушны и просто непоследовательны, когда пытаемся, к примеру, уговорить женщину, бросившую новорождённого в роддоме, забрать ребёнка уже из приюта, предлагая самую разную помощь, убеждаем, доказываем, что это страшный грех, что она впоследствии страшно будет жалеть о сделанном, но обратного пути уже нет. Ну, какая она мать, если у неё даже с рождением ребёнка не проснулся материнский инстинкт? Вот у таких и забирайте детей, это будет справедливо и законно. Кстати, дети могут прощать, жалеть своих родителей, как я уже говорила, если они пьют, гуляют, даже если они не кормят их и бьют. Но если узнают, что их оставили в роддоме, не прощают. Ненавидят родителей всю жизнь и сами от этой ненависти и злобы становятся ущербными.

Жестокий мир породил и жестокие отношения между родителями и детьми. Мстительность, злобность, зависть, которыми наполнена наша жизнь сегодня, рождает в душе ребёнка совсем не детские чувства. Так что, возможно, пришла пора взрослым, родителям и учителям защищаться от вседозволенности детишек.

Я знаю учителя, которого оклеветали его ученики – 16–17-летние подростки – за то, что тот потребовал от них сказать правду. А правда заключалась в том, что они, напившись, избili своего товарища до полусмерти, и он стал инвалидом.

Оклеветали изощрённо, гадко, сказав, что учитель – “голубой” и склонял их к сожительству.

Это был довольно нашумевший процесс в одном из сибирских городов, но, слава Богу, “следствие вели знатоки”, и суд вынес справедливый приговор.

Учителю с огромным трудом удалось отмыться от страшной лжи, но его репутация была навсегда запятнана.

Мальчишки получили несколько лет условно, а судьба и жизнь учителя были сломаны навсегда. Он перешёл работать в другую школу, но и там, за 1000 километров от родного города, “досужие сплетни” настигли его. Как-то вошёл в учительскую и услышал от молодой учительницы, которая стояла

спиной к нему и не видела вошедшего, такие слова: “Дыма без огня не бывает”. Разговор шёл о нём. После этого уволился из школы – всё казалось, что все на него смотрят с подозрением. Теперь работает в какой-то конторе и страшно скучает по школе, ребятам и театру, который он им организовал.

Любопытна, хотя и откровенно провокационна, кинопритча Дмитрия Астрахана “Деточки”. Видя бездействие полиции, “деточки” принимают за дело самостоятельно: по ночам берут ножи и отправляются исправлять несовершенство нашего общества. Вырезают депутатов-педофилов и коррумпированных судей, садистов из военкомата, распространителей наркотиков в школах и алчных врачей. Этакий крестовый поход детей против несправедливости.

Пришла домой после просмотра фильма, включила телевизор и – прямо на глазах сказка становится былью. В прямом эфире показали 12-летнего парня, убившего своего дядю. Всё произошло внезапно. Взял в руки нож и вонзил в спину дяди, который терроризировал его семью: напивался и избивал бабушку и маленькую сестрёнку.

Так-то оно так, но парень убил человека! И – ни капли раскаяния, ужаса от содеянного, смятения чувств, а у зрителей – страха, что его примеру последуют дети по всей России, если кто-то обидит или ударит их или близких родственников.

Аудитория, где обсуждался поступок подростка, не осудила его, как не осудил его и закон. Наоборот, поддержали, даже звучали голоса, что он поступил как настоящий мужик – защитил женщин.

Что с нами стало? Мир перевернулся. Подросток-убийца становится героем.

А с другой стороны – какая огромная потребность у наших женщин в защите от распоясавшихся мужчин, от рабской зависимости от них, что мы даже готовы взвалить эту ношу на плечи наших детей!

И где же вы, настоящие мужики, любящие отцы и преданные мужья, готовые защитить нас от всех несправедливостей жизни, от всего того зла, которое торжествует в нашей жизни сегодня? Или желание заполучить порцию мяса стало смыслом вашей жизни, и ор “Давай мяса” заполнил уже всю Вселенную?

ТАТЬЯНА МИРОНОВА

РУССКАЯ ДУША – СПЛАВ ЯЗЫЧЕСТВА И ХРИСТИАНСТВА

Принято считать, что русское мировоззрение, русские устои жизни, наша национальная картина мира сложились лишь с принятием Русью христианства в 988 году, когда князь Владимир Святославич круто свернул с языческой тропы на торную дорожку мировой христианской цивилизации.

Что всегда удивляло историков и богословов в летописной легенде о Крещении Руси, – та лёгкость, с какой вчерашние славяне-язычники восприняли новое учение. О восстаниях против христианских миссионеров, о расправах над монахами и священством бунтующего языческого люда упоминания в источниках крайне редки.

В течение всего одного столетия, начиная с 988 года, на Руси учредили несколько епархий, построили множество храмов, основали ряд монастырей, создали книгописные школы и мастерские в Киеве, Новгороде и Ростове. В чём же кроется причина столь безоглядного отказа от отеческой традиции сильного, упорного в достижении своих целей народа? Рискну утверждать, что никто не навязывал нашим предкам тогда, в 988 году, коренного отрицания языческой традиции. Напротив, при выборе веры русичи восприняли именно ту религию, которая показалась им созвучной той картине мира, что была выработана в языческой древности их праотцами.

Основу всякой религии составляют миросозерцание, нравственные нормы, комплекс обрядов и священнодействий, называемый культом, и главное – объект поклонения: Бог и божественные силы или сонмище богов. При изучении русского христианства открывается, что многие его ключевые понятия во всех сферах религиозного познания ведут своё происхождение из славянского язычества, где они формировались на протяжении тысяч лет.

Религиозное миросозерцание включает в себя познание сверхъестественного, духовного мира и способов взаимодействия с ним человека. Ключевыми понятиями такого рода в русском христианстве являются **Бог, душа, святость, чудо, рай, воскресение, крест, молитва**. Но эти слова пришли в христианство из языческой древности, и реконструкция их исконных значений является, по сути, воскрешением мировоззрения славян-язычников. Религиозные представления славян в дохристианское время реконструировать сложно, поскольку достоверных письменных источников славянского язычества не сохранилось. Единственные исторически значимые факты можно извлечь лишь из истории русского языка и старинных сказок, примет, поверий, удерживающих дремучую древность. К ним мы и обратимся.

Истоки русской душевности

Душа человеческая – первое, что заставляло и заставляет всякого человека задуматься об инобытии, о мире сверхъестественном, не поддающемся осязанию и не доступном зрению. Древний славянин представлял душу в облике ветра, огня и птицы. Само слово **душа** происходит от глагола **дуть**, и это сближает её с образом ветра, особенно при расставании: человек мог *испустить дух, из-дох-нуть, за-дох-нуться*, его могли *за-душ-ить*. О возвращении к жизни говорили в старину: *от-дох-нул, от-дыш-ался*.

Душа в славянских воззрениях сближалась также с огнём, поскольку она, пребывая в человеке, давала телу внутреннюю теплоту и жизнь. Человек умирал, становился холоден и неподвижен – так гас внутренний огонь души. И древнее выражение **погасла жизнь** говорит нам, что душа в образе горящего в человеке огня – исконно русское представление. Во многих наших приметах течение жизни сравнивается с горением свечи. Даже в православных христианских храмах многие невольно следят за горением поставленной ими свечи, боясь, что она погаснет, не догорев, видя в том приметку скорого ухода из жизни. Слово **гасить** издревле употребляется в значении *убивать, истреблять*, слово **гаснуть** – в значении *истощаться, худеть, клониться к смерти*. Или вот ещё одна языковая цепочка смыслов: **потухнуть** – говорят обычно о свече, огне, а **протухнуть, затухнуть** – о падали, о мёртвом, бездушном теле.

И птицей **душа** представлялась славянам, что унаследовано в языке выражением “душа отлетела в иной мир”. Душа виделась человеку птицей не только потому, что казалась стремительно летящей, способной покинуть тело и вернуться в него, как птица в гнездо. Главное в древних представлениях о душе-птице то, что, оставив свою телесную оболочку, душа принимала новую форму и попадала в иной мир. Подобное преображение в живой природе происходит только с птицей, и это удивляло и восхищало древнего человека, заставляя его задуматься о преобразованиях души. Птица, рождаемая вначале в виде яйца, вылупливается из него птенцом, как бы рождаясь вторично. Русские загадки донесли до нас подобное сближение: “Дважды родится, а раз помирает”. В отгадках – и птица, и душа.

О душе-птице до сих пор свидетельствуют сохранившиеся в русском христианском быту языческие обряды, основанные на убеждении древних славян, что душа умершего после разлуки своей с телом до шести недель (сравните: в русском христианстве – до сорокового дня) остаётся в этом мире. Родственники и по сей день оставляют для души умершего на окне или на столе чашку со святой водой и вешают полотенце, чтобы исшедшая душа омылась, отёрлась полотенцем и предстала пред Богом чистой. В поминальные дни для души до сих пор ставят на стол рюмку с водкой, покрывая её хлебом, – этим заменили с течением времени поминальный блин и чашку воды, предназначенные умершей душе перед её “полётом” в дальний путь.

Именно представлением о душе-птице объясняется обрядовое значение яиц, известное не только христианству, но и всем языческим народам древности. Яйцо служило язычникам-славянам знаком возрождения к новой жизни, скрытой в его зародыше. И как у индийцев до сих пор празднование возрождения природы, именуемое Холи, сопровождается приготовлением крашенных красной краской яиц, так и в нашей христианской обрядности сохранилась славянская языческая традиция на Пасху и на Радоницу, в день поминовения усопших, ходить с крашеными яйцами на могилы умерших предков “христосоваться с покойными родителями”, а потом оставлять на могилах яйца или зарывать их в землю.

Так что славянин-язычник разделял свою природу на духовную и телесную, имел чёткое, укоренённое в языке и поверьях понятие о душе, которое христианство укрепило и развило. При этом русский язык свидетельствует, что душа для нас искони составляла **большую** и главную часть нашего естества. Это видно в выражениях, которыми мы описываем самих себя.

Русские называли **душой** всякого человека в казённом, государственном смысле: это и крепостной в царской России, где помещики владели “душами”, и любой человек, платящий подати государству, так называемый “подушный налог”, расчёт бюджетных средств до сих пор идёт в России “на душу населения”. Детей в семьях считали на души, так и говорили: “десять душ

детей”, едоков и работников на селе тоже числили по душам. Но не это самое главное в русской любви к слову **душа**. Вся человеческая жизнь по-русски — это жизнь души. Мы ведь этим словом можем описать всё, что способны пережить: *радостно* или *муторно* бывает именно *на душе*, *дело* может быть не *по душе* или *по душе*, *душа* частенько к чему-то не *лежит*. А ещё *душа* не *принимает*, *душа* *меру* знает, от страха *душа* в *пятки* уходит, делают что-либо от *всей души*, с *дорогой душой* и за *милую душу*, а бывает, что с *души* *воротит* или *прёт*. *Душа* у русского человека часто *нараспашку*, иногда *душа* *болит*, частенько *душа* *просит*, *душа* *надрывается*, порой *душа* не *на месте*, подчас человек *берёт на душу грех*, случается, что он *отводит душу*. И это ещё не всё. Мы, русские, общаясь друг с другом, с точки зрения нашего языка соприкасаемся именно душами: *русские живут душа в душу*, *говорят по душам*, *стоят над душой*, *влезает кому-нибудь в душу*, *тянут за душу*, *души не чают*, *беду душою чувт*. . . В русском должно быть очень много души, отчего, по его представлениям, *великодушный* человек — непременно хорош, а *малодушный* — безоговорочно плох. *Душа* — добрая или низкая, широкая или подлая, правда она тогда не *душа*, а *душонка*, — определяет в русском человеке всё его существо. И это представление, безусловно, имеет дохристианские, языческие истоки. Но христианство впервые заговорило с русским человеком о **спасении** его души. Оно пообещало ему сохранить, благодаря Вере в Бога, то, что русский любит в себе и в других больше всего на свете — бессмертную человеческую душу. Вот что навек покорило нас в христианстве, вот что делает русское православное христианство особенно тёплым и радостным, потому что оно отвечает глубинным народным представлениям о смысле жизни. И до сих пор для нас высшая похвала — *душевный человек*. А бездушие для нас равно бесчеловечности. Ведь именно душа является средоточием человеческой совести, она чувствует добро и зло, она проникает в хорошее и плохое.

Изъятие душевности из русского человека является ампутацией его совести, и, что прискорбно, эту хирургическую операцию пытаются проводить ныне с нашими душами. Насколько успешно можно удалить у русского народа совесть, да так, чтобы не осталось ни корешка, ни дольки, ни крохотного обрубка, который бы всё равно кровоточил и болел, радовался и тревожился?

Об этом мы можем судить по разросшемуся в нашем обществе спруту коррупции, воровства и подкупа. Это мы можем видеть в заимствуемом русскими у других народов прежде осуждаемом обычае рабства. Об этом свидетельствуют перенятые у инородцев обман в торговле, подделки в производстве товаров, продуктов, лекарств, такие, что влекут за собой смерть соплеменников. Русские люди, что творят подобное, вырезали из собственной души свою совесть, как удаляют больной орган, чтобы не тревожил человека постоянно ноющими или резкими приступами боли. Но ведь каждый орган для чего-то организму необходим. Вот и совесть в душе есть коренной признак нашей русскости. Ампутация совести ведёт к омертвлению русской души. Взгляните на наших правителей, что чередой голевских персонажей ежедневно заполняют телеэкраны в выпусках новостей. Живая душа, плещущаяся в глазах, — где она в этих физиономиях?

Потеряет ли душа окончательно способность болеть и радоваться, тревожиться и сострадать? На мой взгляд, это невозможно, пока жив наш язык, в котором **душа** — на первом месте. Наша русская картина мира заставляет нас быть душевными людьми, изъятие души у человека мы всегда будем рассматривать как тяжкую болезнь, пусть сегодня она и приобретает характер эпидемии. Но ведь все эпидемии когда-нибудь кончаются, забирая с собой самых слабых, самых негодных для народа особей. Все эпидемии на то и даны, чтобы очищать народы от плевел и сорняков, от выродков и извергов. Вот и сегодня народ разделяется на всё ещё огромную массу сохраняющих свою душу и совесть и на негодных называться русскими — по ничтожному духу, по подлому характеру, по сожжённой совести и омертвлению души. Зёрна от плевел отделены, разве это плохо?

Насколько успешно можно удалить у русского народа совесть? Это зависит от того, как дороги останутся русскому человеку слова и выражения, говорящие ему о душе. Они пробуждают в русском исконно заложенные языковые архетипы, напоминающие, что самое дорогое для человека — это спасение его души и душ его ближних, и заставляющие оживать иссохшее — древо совести.

Дохристианские корни русской святости

Слово **святой**, ставшее основой понятия христианской святости, имеет дохристианский языческий смысл. В эпоху славянского язычества оно прилагалось ко всякого рода сверхъестественным силам и явлениям, а также обозначало людей, обладавших незаурядными, сверхчеловеческими способностями. Святой, согласно реконструкции языческого значения этого слова, – некто сильный, крепкий, могучий, непоколебимый, сверхъестественное существо, стоящее на границе двух миров: мира действительного и мира магии. Из числа таких существ – былинный Святогор. Такому существу язычники поклонялись и совершали жертвоприношения из опасения перед его мощью. Обломки этих представлений мы встречаем в русских народных говорах, где святыми могут называть и русалок, и водяных, и домовых, и прочие силы, именуемые христианством *нечистии*. В этом же значении – *сильный, крепкий, могучий* – использовался корень **свят-** в славянских языческих именах: Святовид, Святополк, Святослав, Святомир, Святозар.

Эта научная гипотеза удостоверяется данными Словаря русских народных говоров: “**Святой** – отличающийся здоровьем, жизненной силой, придающий здоровье, силу” (СРНГ. Вып. 37. С. 6). Среди примеров **святой ключ** – естественный колодец, колодец нерукотворный, вышедший из земли, дарованный людям свыше и потому имеющий **святую** – живительную силу; **святой огонь** – огонь, добытый трением из дерева для ритуальных действий: окуривания, такой огонь представлялся людям чудом, даром богов и, по представлениям язычников, обладал чудодейственной силой очищения; **святой разум** – здоровый ум, благоразумие и проницательность, которыми наделены особо одаренные люди; **святой дождь** – дождь, посланный свыше по прошению земледельцев, необходимый для хорошего урожая; **в святой час** – в добрый час: пожелание счастливого пути, помощи высших сил; **вот и свято** – о благополучном завершении, окончании дела, которому дана помощь свыше; **дать святым кулаком** – ударить кулаком за правое дело; **святодух** – женщина, владеющая даром прорицания, доводящая до людей волю божества – отголосок древнего волхования. Во всех этих выражениях перед нами явно дохристианские значения слова **святой**, свидетельствующие об особой живящей, укрепляющей человека высшей силе, нисходящей на него через воду, огонь, людей и обстоятельства жизни. Важным здесь было и исконное родство корней **свят** и **свет**, так как богоданная сила представлялась людям излучающейся подобно свету.

Такое же значение было у латинского слова **sanctus**, когда оно употреблялось в римских языческих культах. Из-за большой употребительности этого слова у язычников римские христиане стали величать им святых лишь с IV века. А вот христианские миссионеры славян сразу же приняли слово **святой**, воспользовавшись его исконным языческим значением для убеждения славянской паствы в могуществе и силе христианской веры. Христианство внесло в смысл этого языческого слова новые черты. Святость стала пониматься как проявление Божественной силы Пресвятой Троицы. Святым именовалось всё, в чём христиане видели проявление Божьей силы и воли. Это легко разъяснялось славянам, обращаемым в истинную веру, поскольку они уже имели понятие о том, что **свят** – это обозначение сверхъестественных, нечеловеческих, высших сил. Переворот в понятиях, совершённый христианством, состоял в том, что теперь словом **свят** обозначалось лишь проявление силы Пресвятой Троицы, в чём бы она ни сказывалась: в людях – святых и священниках, в освящённых вещах и пище (их освящали на христианские праздники), в святой воде и святых источниках, в святых местах, куда совершались паломничества, в святом огне, сходящем на Гроб Господень в Пасху, и в святом огне кадиланиц, благоуханным дымом очищающем храмы от нечисти. Теперь всё это стали называть святынями и проявлять благоговение. Но в народных поверьях, устойчиво сохраняющих древнее языческое словоупотребление, **святыми** по-прежнему могли именовать домовых и водяных, и даже заговоры и заклинания, в том числе известный посыл “Поди ко святым!” И само понятие **святой** в народном восприятии было более приземлённым, утилитарным. “Святое дело”, – говорят у нас обо всяком добром деле. И вещи, и воду, и священников, да и собственно **святых** народное сознание воспринимает как помощников в мирских делах и в избавлении от невзгод

и болезней. И здесь произошло естественное замещение языческой магии благотворной и действенной помощью Божьей, которая выражается в том, что русский народ с языческих времен называет чудесами.

Само слово **чудо** — языческого происхождения. **Чудо** — сверхъестественное явление, которое невозможно объяснить действием законов природы или человеческим произволением. Именно чудо православное христианство полагает очевидным доказательством бытия Божия. Но вера в чудеса присуща не одному христианству — это устойчивый знак религиозности человека, понимающего, что над ним есть Некто Высший. В языке славян в дохристианскую эпоху слово **чудо** было языковым символом, выражающим действия высших, **святых** в языческом понимании сил. В данном слове лингвистами прочитывается древний корень **куд-**, исконно обозначавший сверхъестественные действия. **Куд** — это всемогущий дух, **кудесить** — значит волховать, колдовать, заниматься ворожбой, **кудесник** — волшебник, колдун. Корень **куд-** происходит из индоевропейского **GhwDh**, который имеет значение уничтожать, запрячь и, согласно исследованию Н. Д. Андреева, характеризует состояние бытия или небытия, сохранения или уничтожения в зависимости от того, к чему склоняется изволение Высших Сил. **Куд** — это знак действия сверхъестественных существ, способных продлить или прекратить бытие человека, могущих сохранить человеческую жизнь или уничтожить её. Отсюда возникло и слово **чудо** с его главным смыслом — знамения высших сил для блага или кары людей. Смысл этот, безусловно, был выработан в языческой древности. Христианство приняло слово **чудо** вместе с его значением, но отринуло другие слова данного корня, обозначавшие духов, творящих языческие чудеса.

Слово **куд**, согласно словарю В. И. Даля, в русских народных говорах стало обозначать злого духа, беса, сатану. Оно породило множество однокоренных речений зловещего смысла. **Кудесить** значило заниматься ворожбой и чернокнижием, уничтожать, наводить порчу. Тот же смысл и в слове **колдовать**. **Кудесами** назывались чудеса, производимые нечистой силой. Образовалось слово **прокудить** со значением “дурить, творить пакости, наносить кому-нибудь вред”. Сюда же прилепилось и ругательство **паскуда**, то бишь скверность, мерзость, человек, творящий пакости.

Поразительно, что именно этот древний индоевропейский корень **GhwDh**, который произвёл на свет столь зловещие русские слова, в английском и немецком языках породил слово, обозначающее Всеблагото Бога — **God** и **Got**. Бог, воспринимаемый как карающая грозная сила, во всевластии которой находится человек, — таков образ Вседержителя в картине мира германских народов. Славянские же народы имели собственное исконное наименование для божественных сил — слово **Бог**, произошедшее от индоевропейского **BhX**. Данный корень имел особый смысл, он значил изначально “блеск, сияние, красу”, и производные от него слова во множестве языков разумеют именно благо, добро, красоту, истину, что в славянских языках было осмыслено как Божество, Высший разум. Божественные силы в видении нашего народа предстали и источником добра, красоты и истины, и того, что у нас принято именовать Любовью. Светлое, любовное восприятие Бога, однокоренного понятию **благо**, тысячелетиями сохраняемое нашими языческими предками, в русском православном христианстве логично и просто соединилось с евангельскими словами Господа нашего Иисуса Христа: “Азь есмь путь, истина, и животь” (Иоанн, 14, 6), “Свет есмь миру” (Иоанн, 9, 5).

Разделяя слова по принципу *злое* и *доброе*, русский язык с языческих времен сохранил благой смысл слова **чудо**. Оно стало исключительно знаком божественных сил, Божьей воли, выраженной в сверхъестественных действиях. Вера в чудеса явилась отличительной особенностью русского православного христианства, в отличие от трезвенного католичества и рационалистического протестантизма. И это хорошо видно в почитании на Руси святителя Николая Мирликийского, которого у нас величают Чудотворцем, а в Италии, где почивают его мощи, он не в особой чести у католиков. Чудесами пронизана вся русская христианская культура. Иконы Пресвятой Богородицы почитают именно за великие творимые от них чудеса исцеления, помощи, умилоствления Бога. В сказаниях об иконах, а это любимейший жанр древнерусской литературы, свидетельства о чудесах составляли самую обширную часть текстов. Жития святых наполнены чудесами, и новопрославленные святые, такие как блаженная Матрона Московская, почитаемы именно за великие чудесные

дары, приносимые ими молящемуся народу. В этом всеобщем ожидании чудес, в этой постоянной готовности узреть чудо таится древняя языческая традиция — получать блага для тела и быта, а не для души и духа. Именно поэтому так разнится скептическое порой отношение к чудесам образованного духовенства, понимающего некоторую неловкость постоянного народного клянченья: “Дай, Боже, дай, дай!”, — и горячность безграничной веры простолюдина в любое чудо, если об этом очень сильно попросить в присутствии христианской святыни. Горячая русская вера в святыню, заложенная в нас языческими предками и укрепленная мистическим тысячелетним опытом христианства, никогда не бывала посрамленной. Вспомним военную историю России. Нам всегда было свойственно надеяться на чудо там, где другие народы складывали оружие и прекращали сопротивление. А мы верили в Божью помощь в самых безнадежных случаях, и надежда на чудо, на то, что, в конце концов, *будет Божья подмога*, заставляла русских держаться *до последнего* — до последнего живого, кто может сражаться. Вот и ныне, при всей безысходности жизни при оккупационной власти, во всех русских — язычниках, христианах, атеистах — жива надежда на чудо — на помощь высшую, как бы кто её ни называл. Но при этом мы твердо знаем, что чудесная помощь даётся лишь тем, кто не отступает, не сдаётся, не падает духом, кто *держится до последнего*.

Языческий прообраз христианского рая

Ныне лингвистами доказаны языческие истоки слова **рай**. Христианское понимание его — место загробного пребывания душ праведников — не было первоначальным значением этого слова. Академик О. Н. Трубачёв установил родство слова **рай** со славянскими корнями слов **рой** и **река**, имевшими общий корень **рой-/рей-/рай-**. Слово **рай** исконно связано с проточной водой, с рекой, образующей преграду, которой в языческих представлениях отделяется мир мёртвых от мира живых. **Рай** буквально означает “заречный”. Сама река у славян, как, впрочем, у многих других народов, представляется не только водной артерией земли, но и путём в иной мир или границей между двумя мирами, разделяющей мёртвых и живых.

Эти древние языческие представления довольно стойко сохранялись в поверьях русского народа. Во Владимирской губернии люди говорили, что умерший грудной ребёнок три дня тоскует по матери, а потом ангелы несут его на “забытную реку” и дают испить её воды, после чего младенец забывает о матери. В понимании русских на Вологодчине **этот** свет отделён от **того** Забыть-рекой, перейдя через которую на сороковой день после смерти, человек забывал всё, что с ним было на земле.

Слово **рай** известно в русском языке и в иных огласовках: **вырей**, **ирий**, **вырай**. Именно в сказочный **вырей**, согласно архаичным славянским представлениям, улетают зимовать птицы, путь же их пролегает через реку, омут или водоворот.

Связь загробного мира с образом реки и заречного пространства наблюдается у многих древних народов: река Стикс и перевозчик через неё душ умерших Харон в древнегреческой мифологии; египетский бог Озирис, путь умершего человека к которому пролегал по водной глади на погребальной лодке: индийский обычай кремации умершего и развеивания его праха над рекой — всё это “заречные” представления древних о царстве мёртвых. Такие далёкие друг от друга народы, как майори и кельты, одинаково мыслили царство мёртвых находящимся под водой. Древние славяне не были исключением. Русские летописи донесли до нас обычай хоронить покойника в лодке, которая стала прообразом гроба, самого же умершего в некоторых русских народных говорах до сих пор именуют **райником**. Кстати, слово **радуга**, часто встречающееся в русском языке в огласовке **райдуга**, указывает на её связь с *заречным раем*: загадочность игры радужных цветов и явление радуги именно над рекой навевали образ светлой заречной страны без страданий и болезней. Русское выражение “потусторонний мир” отчётливо указывает на представление о пребывании душ умерших не вверху или внизу по отношению к живущим, а *по ту сторону* — за речной границей.

Если реконструировать, как понятие **рай** превратилось в часть языческого мировоззрения славян, то сначала это было видение рая как места, нахо-

дящегося где-то за рекой. Именно там находился *потусторонний мир*, оттуда являлась людям загадочная *райдуга*. Со словом **рай** было соотнесено в сознании язычников местопребывание душ усопших предков, и возникли обряды погребения или трупосожжения в лодке, связанные с представлением о посмертном обитании умерших в *заречье*. В этом виде понятие о рае тысячелетиями укоренялось в сознании славян-язычников. Заметим, что в языческий рай переселялись **все** умершие: в мировоззрении славян не существовало посмертного разграничения. Все уходили на тот свет, все имели равную участь, на что указывало выражение **тот свет** – мир, куда попадают все умершие. Христианское мировоззрение – иное, в нём нераскаянные грешники и добрые христиане имеют разную посмертную судьбу. Христианским миссионерам требовалось доступно объяснить это новокрещёным славянам. Вот тогда-то и пригодилось привычное и понятное слово **рай**, которое обнимало собой у язычников весь **тот свет**, а у христиан стало обозначением места лишь для душ спасённых христиан. Грешным же уготован был **ад**, – заимствованное из греческого языка, это слово означает “пропасть”. Обратим же внимание: христианские просветители славян не оборвали преемственности между крещёными славянами и их язычниками-предками. Закрепив слово **рай** в славянском христианском богословии и удержав за ним значение места вечного блаженства для спасённых душ, миссионеры сохранили у славян убеждение, что души их языческих отцов и дедов спасены и обитают в раю.

Совсем иначе сложились христианские представления о загробном мире у большинства неславянских языческих народов Европы, что нашло отражение в их языках. Латинское *infernum* и его переогласовки во всех романских языках, а также немецкое *hölle*, английское *hell* – все эти наименования языческого **мира мёртвых** исконно обозначали “нижний, пещерный мир”, “пропасть” и были приспособлены миссионерами при крещении европейцев для именованья **ада**. На Западе народными и сугубо языческими были как раз названия **ада** – преисподней. Понятие и название **paradise** – “рай”, заимствованное из греческого языка, и укоренилось-то лишь вместе с христианством. То есть на Западе миссионерство загоняло предков языческих народов в преисподнюю, чётко разграничивая посмертную судьбу христиан и язычников. В этом коренится глубокое различие между светлостью и свободным оптимизмом Православной веры и сумрачным аскетизмом, дисциплинарной строгостью католичества. Русское Православие донесло до нас всеобщую надежду на спасение, основанную на мироощущении наших языческих предков, не боявшихся посмертного возмездия и смело смотревших смерти в лицо.

Христианский **рай** – продолжение славянского языческого **рая**, в представление о котором христианские миссионеры внесли мировоззренческие изменения. Но что очень важно подчеркнуть – эти изменения не разрывали преемственности новообращённых христиан-славян с их предками-язычниками, давали надежду на непременно встречу с ними в раю, а следовательно, один из важнейших древних народных устоев – культ предков – сохранялся нерушимо и даже принёс с собой в христианство такие языческие праздники, как Радоница – поминовение усопших на Светлой неделе (его название звучало в древности как *Райдоница*) и родительские дни, когда христианам полагается ходить на могилы предков, поминать их в храмах и за трапезой.

Мироощущение, в котором **рай** представлялся естественным завершением земной жизни человека, – непременно светлое, потому и характер русско-го народа, уповавшего на благой исход своего бытия, – неунывающий, терпеливо-стойкий, как бы ни были трудны перипетии русской истории. Нам свойственно верить, что, **не узнав горя, не узнаешь и радости, что всё перемелется – мука будет и что хорошего – понемножку**. Неслучайно формулой нашей стойкости стало упорное и одновременно насмешливое **ничего!** Этим словом, как колом или дубиной, мы отмахиваемся от всякой напасти: болезнь ли одолела – ничего! – перетерпим, враг ли подступил – ничего! – отобьёмся, друг ли предал – ничего! – переждем. Мы детей своих, когда упадут и расшибуются, успокаиваем всё тем же – ничего, пройдёт! Мы в ответ на всякое участливое отношение к нашему горю, чтобы не раскваситься, не расклеиться в жалости к себе, отвечаем: “Да ничего! Переживём!” Этим поражающим всякого нерусского человека, бессмысленным на первый взгляд **ничего!** – а ещё залихватскими **ништо! ништяк! ничо!** – мы смеёмся над горькой судьбиной, преодолеваем, стиснув зубы, беду, сами себя убеждаем

в пустячности боли, в преодолении горя, в неизбежности победы. Удалое русское **ничего!** во все времена делало нас самым терпеливым, самым стойким, а потому непобедимым народом, ведающим искони, что за нашу стойкость, упорство и терпение нас непременно ожидает **светлый рай**. Вот россыпь поговорок, приучающих русского человека не бояться смерти: **“Живи – не тужи, помрешь – не заплачешь”**; **“Жить надейся, а умирать готовься”**; **“Не на живот рождаемся, а на смерть. Умел пожить, умей и умереть”**.

Но если всех ожидал, по представлению язычников, **светлый рай**, а люди на земле совершали зло, то где и в чём, согласно языческому мировоззрению, осуществлялся высший суд их деяний? Ведь без идеи воздаяния за добро и зло не живёт ни одна религия! Для славянского язычества **Высшим Судом являлась человеческая судьба**. Вот почему издревле знают русские люди: **“От судьбы не уйдёшь. Чему быть, того не миновать”**. Судьба – достоверно установлено этимологами – это **суд Бога**, в земной жизни отмщающего грешнику несчастьями и бедами и вознаграждающего праведника благами и радостью. Такое восприятие судьбы – чисто языческое, но оно прочно утвердилось в русском христианском мировоззрении. И когда постигает нас болезнь или несчастье, мы язычески всматриваемся в прожитое, там ищем ответ: в чём наш грех, за который пришла расплата? Когда приходит беда, люди причитают: **“За что?!”** Когда наши враги и ненавистники терпят несчастья и нужду, мы язычески утверждаем: **“Бог наказал!”** Хотя вроде бы должны их христиански пожалеть. Русские христиане подспудно хранят эти древние языческие убеждения, и такое внимание к своей судьбине, как к Божьему суду здесь, на земле, заставляет нас вдумываться в свои слова и поступки, стараться избегать явного зла, чтобы не испытывать судьбу и не гневить Бога.

Языческая русская **светлость** представлений о загробной жизни унаследована христианским мировосприятием, не склонным пугаться пекла и адского ненасытного чрева. Не страх перед адом становился причиной русского христианского подвижничества, а врождённая склонность к добру и тяготение к свету. В идее же посмертного воздаяния грешникам за содеянное на земле зло христианство созерцало столь любимую нами мысль о справедливости, без которой русскому народу жизнь не мила.

О языческом значении слов **воскресение** и **крест**

Языческими по происхождению являются слова, обозначающие главные христианские символы – **крест** и **воскресение**. Слово **воскресение** происходит от древнего глагола в двух формах, несущих два смысла: **кресити** – “высекать, добывать огонь”, **кресати** – “воскрешать, оживлять”. Первичным является здесь значение оживления, воскрешения по отношению к огню, безусловно, бывшему для древнего человека объектом священного поклонения. Славяне-язычники словом **воскресение** могли именовать священнодействие – возжигание жертвенного огня, за что боги, по языческим поверьям, даровали им жизнь и благоденствие. Об этом свидетельствуют однокоренные **воскресению** слова **краса** и **крес**. **Краса** означала в древности расцвет жизни, её благополучие и довольство. Вот почему мы именуем красой, красоткой молодую девушку и привычно восклицаем в радости и благоденствии: **“Красота!”**. Старинное славянское слово **крес** донесло до нас языческие представления о жизнотворной силе природы. **Крес** – это древнерусский солнцеворот, а также высшая точка, расцвет жизненной силы, которую славяне связывали с летним солнцестоянием и огнём языческого жертвоприношения. В русских говорах это слово до сих пор сохранило значение “жизнь”: **быть на кресу** – быть живу, **не быть на кресу** – умереть, не оправиться от недуга, **кресу нет** – нет житья. Сохранилась поговорка: **“Смерть на носу, а всё будь на кресу”**, означающая примерно то же, что и наше извечное **“Помирать собирайся, а рожь сей”**. **Кресом** называли обряд умилоствления сил природы ради получение **красы** – благоденствия, расцвета и довольства в жизни. В таком случае и **воскресение** в славянском язычестве могло означать возжигание жертвенного огня для совершения языческого **креса**. Подтверждением этому являются упоминания о праздновании славянами еженедельных праздников света по **воскресеньям**. Этот день недели означал то же, что

у европейцев Sunday/Sontag – день солнца, день света. У нас **воскресенье** было днём **креса**.

С принятием славянами христианства оказалось, что слово **воскресение** весьма точно передаёт смысл события, совершившегося после смерти Господа Иисуса Христа. Выражение “воскреснуть из мёртвых” значило буквально “ожить в животворящем пламени”. Эта картина была язычникам абсолютно понятна, и выглядела она величественно, и потрясала душу божественной мощью. Греческое слово *anastasia* – “восстание” – гораздо менее подходило к наименованию евангельского события Христова Воскресения, потому что слово это бытовое, а не сакральное. **Воскресение** же являлось священным для славянина-язычника, и оно легко приняло на себя значение великого христианского события, стало символом и сутью русского православного христианства, неся на себе отпечаток древнейшего благоговения славян перед животворящим божественным светом и огнём.

Схожее преобразование пережило и древнее славянское слово **крест**, которое вовсе не было заимствовано, как это принято ныне полагать, из древне-немецкого неправильно истолкованного имени Иисуса Христа – *Kristos*. **Крест** и производные от него слова **окрест**, **окрестность** существовали и в дохристианские времена. Но что же тогда означало слово **крест** у славян-язычников?

Слово это так же, как и **воскресение**, происходит от глагола **кресити/кресати** со значением “оживать” и “воспламеняться”; образовалось оно присоединением к корню **крес-** другого значимого корня – **ст-** со значением “стоять, устанавливать”. Подобным образом сформированы многие русские слова: **перст**, **пест**, **шест**, **хвост** (пучок), **рост** (росток), **руст** (струя, фонтан). Все эти слова обозначают предметы вертикальной конфигурации, устойчивые в пространстве, все они образованы от глаголов: **перст** – от переть, **пест** – от пихать, **шест** – от ходить и шествовать, **хвост** – от хватать, **рост** – от орать (пахать), **руст** – от рыть и рвать. Славянский **крест** мы можем реконструировать по той же модели. Образованное от глаголов **кресить** и **кресать** со значением “оживать” и “воспламеняться”, данное слово имело сакральный смысл: **крест** – столб пламени, охвативший вертикально установленный языческий жертвенник. Такова исконная семантика слова **крест**, которому после принятия славянами христианства отдано равно священное значение. В христианстве **крест** стал обозначать распятие, на котором Господь Иисус Христос принёс искупительную жертву за погибающее в грехах человечество.

Языческие отголоски древнейших смыслов слова **крест** сохранились в понятиях **окрест** и **окрестный** – так, вероятнее всего, называли древние славяне священное место вокруг жертвенника. Но сколь продумана и логична была смена значения у слова **крест** с языческого на христианское! Крест – прежде языческий огненный жертвенник – стал крестом, на котором был распят Христос и обрёл смысл священного символа христиан, стал оружием духовной силы. В чём суть преобразования слова? Господь Иисус Христос принёс Себя в жертву за всех людей, и именно Его распятие явилось логическим замещением языческого жертвенника жертвенником христианским.

Христианские миссионеры IX века втолковывали на капищах славянам-идолопоклонникам, приготавливавшим свои огненные “алтари”, что Истинный Бог – Иисус Христос, а истинный крест – крест Христов, истинная же жертва – жертва крестного Христова страдания, смерти и воскресения. До сих пор у нас сохранилось это миссионерское выражение в форме клятвы “Вот тебе истинный крест!” Древнее языческое слово **крест** обрело новое христианское значение. Глубинное тождество прежнего и нового понятий – обозначение **жертвенника** – помогло миссионеру-христианину объяснить славянам, пребывавшим в язычестве, сущность Веры Христовой. Ведь в евангельских чтениях говорится о несении креста как о жертвенном служении человека Богу, в истории о Симеоне Богоприимце упоминается о грядущем явлении ему креста Господня, Жертвы Самого Бога ради спасения человечества.

Вот так представления о мире и человеке славян-язычников вращались и вживались в христианское мировоззрение, которое благодаря этому не вызывало враждебного отпора и необходимости насаждения Веры огнём и мечом.

Совесть как врождённое русское чувство

Можем ли мы считать, что одно лишь христианство принесло славянам и, прежде всего, русским те нравственные устои, на которых и поныне держимся? Наш язык во всей его истории свидетельствует о том, что в русском христианстве произошло уникальное соединение нравственных понятий язычества с нормами христианской морали. Мерилом добра и зла в русском понимании является **совесть**.

“Совесть, — определяет это слово В. И. Даль, — нравственное сознание, нравственное чутьё или чувство в человеке... внутреннее сознание добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка, способность распознавать качество поступка, чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее от лжи и зла, невольная любовь к добру и истине, прирождённая правда...”. Особенно важна в определении В. И. Даля формула “прирождённая правда”, ибо в ней хранится свидетельство того, что славянам было присуще совестное чувство ещё в дохристианскую эпоху.

В первых славянских переводах греческих христианских книг авторы называли *осознанием* или *пониманием* хорошего ли, плохого поступка, добро-го или злого поведения то, что славяне изначально именовали **совестью**, которая у нас в языке вовсе не означает интеллектуальной работы, производимой рассудком, как у греков. Славянская **совесть** — категория не ума, а чувства, именно поэтому В. И. Даль называет её “прирождённой правдой” и “невольной любовью” к правде, настолько невольной, что совесть имеет власть над человеком; она, по слову русского языка, отражающему архетипы нашего мышления, способна заставить страдать: совесть спать не даёт, мучает, снедает, томит, грызёт и даже может убить человека, ведь по русской поговорке, “злая совесть хуже палача”.

Само слово **съвесть** содержит два древних корня: корень **съ-** восходит к понятию **свой** и исконно означает “родной, врождённый, данный от Бога”, а слово **весть** — это глагол, выражающий высшее, божественное ведение в отличие от глагола **знать**, который обозначал познание внешнего, зримого мира. Так что древнерусское языческое слово **съ-весть** свидетельствовало о врождённом ведении добра и зла, данном человеку свыше, что так точно передано в христианской формуле “совесть — глаз Божий в душе человеческой”.

Совесть, с языческих времён данная славянину и закреплённая в его языке, и в христианстве оказалась идеальным русским мерилем добра и зла. Христианским проповедником не надо было ни переписывать, ни перетолковывать нравственные законы славянской языческой традиции: христианство легко соединилось с исконной славянской психологией.

В отличие от греческого *sineidesis* и латинского *conscientia*, которые буквально означали “внутреннее знание”, работу рассудка, русская **совесть** никогда не определялась умственной деятельностью. Совесть воспринималась русским человеком как нечто цельное, как самостоятельный и притом главный орган души, наделённый чувством *добраго* и *злого*. По-русски следует поступать и жить только по совести, сообразуясь с ней, как с индикатором добра и зла. По-русски делать дело *на совесть* значит — самым наилучшим образом. Преступление, грех, подлость ложатся на совесть русского человека тяжким грузом, давят, как камень истерзанную грудь. Русский человек всегда “знает совесть” — и донныне жив и действует упрёк “совесть надо иметь!”, а самым что ни на есть обидным укором звучит: “Совести у тебя нет!” Самым жёстким и позорным приговором впечатывается в человека брошенное ему в лицо обвинение: “Бессовестный!” По-русски допускается даже брать на свою совесть чужую вину, желая спасти человека, разделять его ответственность перед Богом. Каждому русскому наперёд известно, что ему **с совестью не разминуться**.

Совестливость подразумевает непременно *искренность*. Это слово происходит от понятия **искренний**, то есть *ближний*, *родной*, а потому прямой и честный. Именно совестливость и искренность положили начало нашему обычаю улыбаться только тому, что радует душу, в отличие от американцев, которые улыбаются всегда и напоказ, чтобы продемонстрировать, что у них всё блестяще, всё *о’кей*, что они процветают и преуспевают. Искренне улыбаться русские люди способны только по зову души, им **совесть не позволя-**

ет щериться напоказ. Всякому русскому, вздумавшему перенять фальшивую американскую привычку улыбаться, достаётся от своих: “Чего лыбишься, зубы жмут?”. Вот и получается, что от нашей редкой искренней улыбочивости мы кажемся тем же американцам мрачными, хмурыми, вечно недовольными, неудачниками, а они нам представляются жизнерадостными идиотами, лицемерными притворщиками.

Русскому человеку **совесть не позволяет** многое. Разумеется, помимо запрещённых заповедями Закона Божьего убийства, прелюбодеяния, лжесвидетельства, **совесть не позволяет** русскому человеку врать, то есть говорить неправду ради собственной выгоды, ещё совесть не позволяет обманывать, обещать несбыточное ради собственной выгоды, наконец, впрямую совесть запрещает воровать, присваивать чужое, а ещё – самовозноситься, непотребствовать, насмехаться. За это все мы неизменно чувствуем невольные, нам не подвластные **угрызения совести!** И ещё важно: **совесть не позволяет** русским выгадывать! И даже поговорка-предостережение существует на этот счёт: **“Не хочешь прогадать – не выгадывай”**. Получать выгоду, прибыль путём обкрадывания других нашей совестью запрещено!

Множество русских людей, что христиан, что язычников, поддались ныне соблазнам выгоды, оказались бессовестными, утратив долю русскости, когда сожгли, заглушили в себе совесть, заменив её жадной наживы. Легко ли им это далось? Попробуйте пожить без лёгких – задохнётесь: вам будет нечем дышать. Попытайтесь просуществовать без глаз – затоскуете: вам так захочется взглянуть на мир. А совесть – это наши русские лёгкие, это наше русское зрение, ибо мы по-русски благостно существуем и легко дышим лишь благодаря **чистой совести**, мы по-русски созерцаем мир именно **совестными** глазами.

Великое горе видеть, как слепнут без глаз совести наши соотечественники, как задыхаются без дыхания совести наши единокровные братья, но они сделали свой выбор, а мы – свой. Совесть и бессовестность разделили нас, развели по сторонам добра и зла, причём разделили независимо от веры, ибо бывает и так, что **совесть – христианская, а душа – цыганская**.

Напомню, что у греков и латинян издревле не было славянского понятия **совести**, у греков и римлян было **внутреннее знание**, которое по-славянски очень точно передавалось словом “сознание”, и это различие между западной картиной мира и русской продолжало развиваться и в Средневековье, и в новейшие времена. Русская **совесть** и по сей день не имеет параллелей в западноевропейских языках. Чрезвычайно трудно объяснить англичанам, французам, немцам, что такое “совесть”, ибо в этих языках вообще отсутствует подобное понятие. У западноевропейца ключевым для самооценки словом является honor, то есть “честь”. Честь и бесчестие – суть внешнее мерило человеческих деяний, они произрастают из рассудочного “сознания”, которое только и интересовало греко-римскую и западноевропейскую культуру. Для русского же человека честь была не слишком в чести. Русские дворяне XVIII и XIX веков, воспитанные на европейский манер, вскормленные французской и английской литературой, наученные французскому и английскому языкам, ещё могли заботиться более о чести, чем о совести, но коренной, природный русский человек жил, сверяясь с совестью, а не с честью. И живёт так донныне. Это глубинное различие между русским и западными народами породило множество других расхождений в нашей национальной психологии и наших нравственных законах. Многих русских удивляет врождённое корыстолюбие и стремление к наживе у современных немцев, англичан, французов, итальянцев, а их, в свою очередь, потрясает неразумная щедрость, порой даже безумное бескорыстие русских, и в нищете готовых снять с себя последнюю рубашку и поделиться последним куском. Очевидно, что дело в коренном расхождении взгляда на существо жизни у западных народов и у русского. Западноевропейцу престижность богатства и наживы необходима для возвеличивания его чести, ибо деньги обеспечивали внешние атрибуты чести – уважение окружающих и власть. Поэтому европейская знать охотно предавалась поклонению золотым кумирам роскоши и денег. А вот с русским понятием **совести** богатство часто входило в противоречие, ибо деньги далеко не всегда приходят праведным путём.

И даже наше русское слово **честный**, вроде бы происходящее от слова **честь**, теснейшим образом связано именно с совестью, ибо **честный**, с точ-

ки зрения русского человека, и это твердят нам все русские словари, есть добросовестный человек, поступающий по совести!

Для русского богатство никогда не было самоцелью, ибо честью он сильно не дорожил, а совесть богатство отягощало. Вот отчего русские поговорки не хвалят богатства, заменяя его понятием **достаток**, вписывая в законы русской жизни правила: “Богатым быть трудно, а сытым — не мудрено”; “Будь деньги за богачом, оставался бы хлеб за нами”; “Богатый совести не купит, а свою погубит”. Вот почему русские так легко расставались с богатством — ведь на этом жизнь не кончалась, а совести дышалось легче: “Есть деньги, так в свайку, нет денег, так в схиму”. Служение деньгам у нас, русских, всегда осуждалось: “Не деньги нас, а мы их нажили”; “Лишние деньги — лишняя забота”. Трата денег не считалась у нас зазорной, ведь “ста рублей нету, а рубль — не деньги”, горевать о финансовых потерях у русских вообще не принято: “Деньги не голова — наживное дело”.

Русской нескредедностью, щедростью, лёгкостью расставания с деньгами корыстно пользуются другие, живущие рядом с нами народы. Ограбление народного хозяйства России, мошенническая чубайсовская ваучерная приватизация, обесценивание рубля и акций, гайдаровское обнуление банковских счетов, дефолт 1998 года, сегодняшние нищенские пенсии и зарплаты, которые несоизмеримы затраченному труду, — все эти спецоперации по изъятию у населения денежных средств оказываются безнаказанными в том числе и благодаря врождённому бескорыстию русских, их неспособности отвоёвывать деньги, отсуживать украденное, бунтовать из-за похищенного у них богатства. Там, где немец или француз будет кропотливо и методично засыпать суды исками о возвращении нажитого, русский брезгливо отмахнётся от суеты: “Деньги не голова, дело наживное”.

Русский народ редко бунтовал ради своего живота и благополучия, и причиной этого является врождённая любовь к правде, именуемая **совестью**, с которой плохо сопрягаются понятия богатства и наживы. Этим множество раз пользовались наши властители, не понимая, что отложенный в дальний ящик народный гнев, оскорблённость ограбленного и поруганного народа накапливаются в русской душе подобно вулканической лаве, ищущей трещины или скважины, чтобы сжечь всех обидчиков разом, но уже не за копейку или краюшку хлеба, а за поруганную справедливость — величайшую святыню русского народа.

Русская совесть как чувство высшей правды, зародившаяся в нас с языческих времен, камертоном звеневшая в наших душах во времена христианского тысячелетия, упорно сохранявшаяся в сердцах в век богоборчества, жива в нас до сих пор. Её носители в России расцениваются как национальное достояние всеми, кто хоть в малости хранит в себе русское чувство. Мы жаждем видеть совесть в искренних писателях, в верующих священниках, в непродавшихся политиках. И свято верим, что рано или поздно в России будет совестливая власть. А во что мы верим свято, того обязательно добиваемся.

Своеобразие русского покаяния

Русское понятие о **грехе**, имеющее сегодня исключительно христианскую подоплёку, первоначально развивалось в языческой среде. Само слово **грех** происходит от глагола **греть**. Грехи — это деяния и поступки, которые жгли, испепеляли душу и совесть человека, вот отчего так трудно русскому человеку **взять грех на душу** — ведь её недолго тогда и вовсе сжечь! Представление о том, что вина, проступок жгут человеческую душу, свойственно не одному только русскому народу. В латинской языковой культуре **грех** — *peccatum* — выводят из глагола **реcco** с корнем, родственным нашему русскому глаголу **печь**, родившему понятие о **печали**, которая печёт, жжёт совесть.

Видимо, то, что мы понимаем под грехом в религиозном, христианском смысле как поступок, противный Закону Божию, как вину перед Господом — это вторичное значение данного слова. Первоначально, в язычестве, **грех** — это вина или преступление, приведшее к беде, напасти, несчастью: “Грех да беда на кого не живёт!” За вину следовало отвечать, платить: “Не бойся кнута, а бойся греха”, “Чья душа в грехе, та и в ответе”. Такая расплата с языческих времен у славян именовалась **покаянием**.

Славянский христианский термин **покаяние** имеет новозаветное греческое соответствие **metanoia**, что в греческом буквально означает *перемена мышления, духовный переворот*. В русском же языке идея слова **покаяние** совершенно иная. Индоевропейский корень *koj/kaj* отражал физические и нравственные перемены в человеческом существе, и это было не только состояние перехода от сна к бодрствованию, выраженное в словах **покой-почить**, но и все преобразования, переживания человеческой души также рассматривались в языке как переход — от горя к утешению, от тревоги к успокоению, от гибели к спасению, от беды к радости. Эти состояния переходов выражены в русских поговорках: “Не было бы счастья, да несчастье помогло”; “Нет худа без добра”.

В русском языке до принятия нами христианства подобные трансформации душевных состояний отражались в словах **покаяние, каяться, окаянный**. . . Славянский корень *kai-* в таких словах выражал понятия, под которыми славянское языческое племя, род, семья разумели очищение члена племени, рода или семьи от нравственного груза совершённого им преступления — от греха. Глаголы с корнем *kai-* описывали ритуальные действия, совершаемые над преступником. Грешника **окаивали** — обвиняли в совершённом преступлении, оглашали его прилюдно, затем его **прикаивали** — принуждали к ритуалу покаяния; сам ритуал покаяния, вероятно, включал исповедь о совершённом зле, прошение о прощении и наказание. Так преступник раскаивался, очищался от лежавшей на его совести вины. Сохранившиеся в русском языке слова отражали древний ритуал, или **каятины**: **каета** — это порядок ритуальных действий, **каят** или **кайка** — оглашение перед народом своей вины, **кайна** или **цена** — принесение провинившимся выкупа за совершенное зло, **каязнь** или **казнь** — кара за преступление. Существующие у нас в языке слова **окаянный** и **неприкаянный** как нельзя лучше свидетельствуют о дохристианских ритуалах, через которые проводили окаянных, то есть оглашённых преступниками, и неприкаянных, то есть преступников, избегших ритуала покаяния, но мучимых совестью. Вот откуда древнее выражение “ходить, как неприкаянный”, оно свидетельствует о том, что издревле не покаявшийся русский человек не находил себе места, мучимый угрызениями совести, ибо **совесть без зубов, а загрызёт**.

Подобные ритуалы очищения от преступления, вплоть до казни, в древности звучавшей по-славянски как **каязнь**, существовали у многих индоевропейских народов. Пропасть в Спарте, в которую низвергали государственных преступников, именовалась **кай-адас**. Интересна переключка реконструированных понятий славянского язычества с индуистской и буддистской традицией очищения от грехов, связанной с горой **Кайлас** в Тибете: “Как Земля совершает круг вокруг светила, дающего ей жизнь, так тибетские паломники совершают обход вокруг священной горы Кайлас. Паломники верят, что прошедший 108 кругов вокруг Кайласа гарантированно возродится в Чистых Землях на небесах. Эта гора считается священной многие тысячелетия у всех народностей, проживающих в близлежащих странах”. В названии горы в Тибете и в названии пропасти в Спарте присутствует один и тот же индоевропейский корень *kai-*, несущий идею покаяния и казни с целью очищения души, совести от грехов.

Ритуал очищения от грехов существовал в дохристианскую эпоху у многих народов, но само очищение понималось разными племенами и расами по-разному. Древние евреи, к примеру, ежегодно возлагали свои прегрешения на козла и отпускали его в пустыню, полагая, что теперь именно этот **козёл отпущения** является носителем всех их зол. Так сформировалась психология народа, который перекладывал свои вины и преступления на других, не испытывая ни мук совести, ни чувства раскаянья. У славян было иначе: здесь каждый человек сам давал ответ за свои преступления, испукал вину, внося выкуп — **цену**, или получал наказание — **казнь**. Этот древний ритуал определил психологический тип русского человека, который понимал необходимость покаяния и ответа за всё, что он совершил злого в жизни. На этом основывается наше русское убеждение, что “за всё в жизни нужно платить”.

Мы полагаем, что обряд покаяния совершался славянами-язычниками ежегодно, время его исполнения приходилось на начало весны и связано было с обновлением всего живого, пробуждением *от смерти к жизни*, очищением от всех накопленных за год грехов. Возможно, сроки проведения **каятин** зависели от лунного календаря. Эти наши предположения основаны на том,

что языческие представления о ритуале покаяния впитала в себя и сохранила в отдельных фрагментах бытовая обрядность последней, Страстной седмицы Великого поста. Дни Страстной недели, в особенности её четверг, именуются **чистыми**, и именно чистый четверг у русских считается днём обновления всего крестьянского хозяйства на предстоящий год. По поверьям, в этот день в полночь приходит на землю настоящая весна, тогда же годовалым детям первый раз в жизни подстригают волосы, а каждый, кто утром в чистый четверг легко и рано встал, будет вставать легко весь год. В чистый четверг сохраняется в русском народе множество водных и огненных ритуалов очищения, которые, как мы полагаем, восходят к обряду ежегодных языческих **каятин**.

Водные ритуалы проводились и ради жертвоприношения, и ради очищения. Рыболовные артели в России ещё в XIX веке именно в чистый четверг топили в реке старую лошадь, задабривая водяного. В тот же день, в четверг, в крестьянских семьях большуха обязана была опустить в колодец или в толь-ко что вынутое из него ведро воды серебряную монету – древний выкуп здоровья, чистоты и прибыли в доме. Водный ритуал совершался также с целью омовения, очищения от всего дурного, исцеления от болезней. В народе полагали, что каждый, кто искупался в этот день как можно раньше, “прежде ворона”, будет здоров. Это поверье в виде требования вымыться в чистый четверг перед празднованием Светлого Христова Воскресения и убрать дом живо по сей день в каждой христианской семье. Девки с бабами для красоты и долголетия ходили в чистый четверг окачиваться под куриной насестью, девушки спешили умыться в чистый четверг, *пока ворона не закаркала*, чтобы “любили добрые люди”.

Огненные ритуалы, сохранённые в обрядах чистого четверга, не в меньшей степени свидетельствуют о некогда существовавших у славян языческих каятинах. Здесь просматриваются осколки обряда жертвоприношения или принесения выкупа – цены за грехи людей. Именно с этим связана вера в языческие “четверговую соль” и “четверговую свечу”. Четверговой солью называют соль, которую калят с квасной гущей только в чистый четверг, она считается целебной и применяется при снятии призоров и колдовства. Соль и квасная гуща (хлебная закваска) – ритуальные **хлеб да соль**, приносимые когда-то язычниками своим божествам как жертвоприношение, как выкуп за совершённое в течение года зло. Остатки сожжённой жертвы – “четверговая соль” – сохранялись как благословение языческих божеств на весь грядущий год. Такова же роль “четверговой свечи”, в образе которой совместились языческие и христианские представления о жертвоприношении. Свеча, поставленная в православном храме как образ молитвы к Богу и символ покаяния, в народном представлении сохранила значение оберега от бед и болезней, которую присваивали, по всей видимости, остаткам жертвоприношений в языческом ритуале каятин, приуроченных после принятия христианства к чистому четвергу Великого поста. Свечу от четверговой всенощной давали в руки больным или мучающимся родильницам, четверговыми свечами выжигали кресты на потолках и притолоках для изгнания нечисти, а зажжённая четверговая свеча, согласно поверьям, предохраняла в грозу от грома и молнии, которые традиционно считались символами кары небесных сил.

В описанных здесь обрядах мы почти не находим того, что можно было бы обозначить древним термином **каязнь**, видимо, умерщвление преступников не было свойственно славянам-язычникам. В нашем языке сохранились свидетельства, что преступник обычно изгонялся, извергался из рода и семьи, но не подвергался уничтожению. Таковы слова **изгой**, **изверг** и **враг**, обозначающие людей извергнутых, изгнанных из общины и племени, лишённых помощи рода и средств к существованию. Следы обряда изгнания – казнь преступников в русской общине – сохранялись вплоть до XIX века.

Согласно поверьям, парни и девушки в чистый четверг с зажжёнными лучинами, с метлами и кнутами скакали на лошадях по улицам с шумом и гиканьем, чтобы отвадить от селения **нечисть**, потом в полях ставили две жерди и строили вокруг них тесную изгородь, чтобы нечисть сквозь изгородь не прошла. Мы полагаем, что слово **нечисть** в древности обозначало тех, кто не прошёл обряд покаяния, не очистился от грехов. Осуждённые на **каязнь** обществом и изгнанные из семьи, рода и племени – они-то и ходили **неприка-янными**. Их **охаивали** – так изменилось в огласовке слово **окаять** – ругали и проклинали.

Таковы, на наш взгляд, остатки древнего языческого обряда покаяния, имевшего, по-видимому, ритуальное название **каятины**. Обряд этот после принятия славянами христианства стал вытесняться христианским Таинством покаяния, которое состоит в том, что “христианин, искренно и сердечно раскаиваясь в своих грехах и намереваясь исправить свою жизнь, с верою во Христа и надеждою на его милости, излагает устно свои грехи перед священником, который также устно разрешает ему его грехи. При видимом изъявлении прощения священником, кающийся невидимо разрешается самим Христом и снова становится невинным и освящённым, как после крещения”.

Языческое покаяние у славян естественно сменилось христианским взглядом на очищение от зла и греха, в результате слова, связанные с покаянием, приняли на себя новые богословско-христианские смыслы. Но в архетипах нашего мышления стойко сохраняется представление о том, что покаяния на исповеди мало для очищения человека от тяжких грехов. Мысль о расплате за большое зло всегда присутствует в русской душе. Эта расплата или искупление вины в нашем представлении если не совершается добровольно исправлением совершенного зла, то приходит через судьбу, исконно понимаемую как суд Бога.

Психологический склад русского человека, обязанного искупать свои прегрешения, часто оборачивается надрывным самобичеванием: “Сам виноват!” Мы, в отличие от евреев, не склонны перекладывать свою вину на других. Но в противоположность западноевропейцам, доведшим языческую идею выкупа грехов до формальных индульгенций, соединяем древнюю традицию искупления вины с духовной исповедью, что породило русское **христианское понятие покаяния** – исправление совершенного зла волей и силами самого виновного.

Языческие обряды в русском христианстве

Принято считать, что языческие обряды на Руси были жестоко уничтожены христианской церковью. Это не так. Купальские и масленичные игрища, святочные и троицкие народные празднества, сохранившие языческую древность, сожжение соломенных чучел Масленицы, прыжки через огонь на Ивана Купала, хождение ряжеными на святочной неделе по домам и колядование сохранились на Руси почти в нетронутом виде. Причём христианские великие праздники соединились с языческими ритуальными игрищами, которые не имели ничего общего с богословием Православия, а были терпимы Церковью и сохранялись как милые русскому сердцу забавы и развлечения. В то же время многие языческие ритуалы вошли в официальную христианскую обрядность.

Сакральные обязанности волхвов взяли на себя христианские священники, обращавшиеся к Богу с молебнами об урожае, дожде и прекращении засухи, об исцелении болящих и помощи бедствующим. К ним же перешли и ритуалы освящения дома и хлеба, скотины и полученного урожая. О последнем свидетельствуют три августовских Спаса: медовый, яблочный и хлебный, когда в церковь приносится для освящения часть собранного мёда, яблок, мука и хлеб. По сути, это чисто языческое благодарение Бога. Три Спаса в церковном календаре отмечают разные события церковной истории: в Спас медовый – 14 августа – празднуют изнесение Животворящего Креста Господня, в Спас яблочный – 19 августа – величается Преображение Господа Иисуса Христа на горе Фавор, а 29 августа, в Спас хлебный и ореховый, поминается перенесение в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Но в народной памяти эти дни соединяются с жертвоприношением плодов земных Всемилостивому Богу за его помощь и покровительство в земледелии – истинно языческий ритуал. К языческой традиции восходит и украшение христианских храмов елями на Рождество и берёзами на Троицу. Отголоскам древних культов поклонения природе и древу жизни радуются равно сердца христиан и язычников. Причём мы с детских лет привыкаем смотреть на убранство деревьев в эти праздники как на священнодействие и, будучи взрослыми, ждём чуда и воспитываем в этой прекрасной традиции своих детей.

В христианские обряды вошли и языческие ритуалы погребения покойных. Языческое причитание заменилось отпеванием, но *плаканье* сохранилось в народной среде практически повсеместно. Христианская церковь уза-

конила и **тризну** — языческую обрядовую поминальную трапезу, на которой для покойного ставились чаша с водой и поминальный блин, заменённые в новое время рюмкой водки, накрытой краюшкой хлеба. Церковь сохранила обычай выноса тела вперёд ногами, чтобы, по поверьям язычников, покойный заметал свой след волосами и дух его не мог потом найти дорогу назад. Для этой же, языческой по сути, цели родные покойного должны бросать комья земли в могилу на гроб — как окончательное, без возврата, прощание с ним. Даже завешивание зеркал в доме, чтобы дух покойного не зацепился за своё отражение, — это сохранённый донныне языческий обычай, с которым никто из христианских миссионеров и не думал бороться.

В современном свадебном ритуале присутствуют языческие обычаи осыпания молодых хмелем и деньгами и хождение жениха и невесты по расстеленному полотенцу — символической дороге жизни. До сих пор на русском свадебном пиру молодые сажают на вывернутую мехом наружу медвежью шубу для богатой и обильной жизни, а это — остаток древней веры славян в покровительство языческого тотема — медведя. Вкушение молодыми ритуальных хлеба-соли, подносимых старшим в роду, — тоже наследие язычества. Христианское в свадебном обряде — только венчание. Языческая народная традиция беспрепятственно бытовала и по сию пору сохраняется в среде русских христиан и составляет красивейшую часть свадьбы.

В христианской обрядности обрели своё место языческие культы огня и воды, древняя вера в их очищающую силу. Культ огня вошёл в церковные ритуалы в виде обычая возжигания свечей и лампад, освящающих всякое действие христиан в храмах и предохраняющих от нечистой силы. Культ воды преобразился в христианские ритуалы водосвятия, паломничества к святым источникам, лечения святой водой.

Празднования святым соединились с днями особого поклонения языческим богам. Так, день Ивана Купала (Купало — это не языческое божество, как сегодня нас убеждают, а буквальный славянский перевод греческого наименования Иоанна Крестителя) совпал с ритуалом очищения огнём в честь солнечного божества Дажьбога. Празднования громовику Перуну преобразились в день Святого Ильи Пророка, по убеждению народному ездившему на колеснице по небу и пускавшему громы и молнии. Христианское почитание святых икон удивительным образом заместило собой обычай поклонения языческим божествам. Культ богинь-рожаниц заместился поклонением Богородице, молитвами которой обеспечивался благополучный исход родов, к Матери Божьей обращались также с просьбой о даровании урожая и приплода скота. Многочисленность чудотворных богородичных икон, которым поклоняются на Руси, архетипически заместила собой сонмище рожаниц, бывших, по представлениям русичей, покровительницами материнства и жизненного изобилия. Именно этим, на наш взгляд, объясняется необъяснимый с точки зрения рационализма факт разнообразного почитания различных типов икон Богородицы — Иверской, Державной, Владимирской, Фёдоровской, Толгской, Казанской, Троиручицы, Утоли моя печали, Всецарицы, Всех скорбящих радости и множества других, к каждой из которых христиане обращаются с особыми прошениями: исцелить от слепоты — к Казанской, помочь в родах — к Фёдоровской, спасти от рака — к Всецарице... Божия Мать представляла в различных спасительных образах и тем самым являла зримое всемогущество, укрепляемое священной полуязыческой верой русского народа в чудо и помощь Божию по молитвам Богородицы.

Языческое поклонение сезонным переменам природы было включено в христианский народный календарь, где уже христианские святые, а не языческие божества покровительствовали хозяйственным делам и урожаю, где они же становились наблюдателями за доброй и худой для урожая и скота погодой. *Именинами* лошадей считался день святых Фрола и Лавра, скот освящался в день Святого Власия, которого прозывали “скотий бог” — за ним таятся отголоски культа языческого божества Волоса. Домашняя птица освящалась на Благовещение, а пчёлы — в день святых Зосимы и Савватия. Освящение деревьев было приурочено к Великому посту — вербосвятие. За иными святыми закрепились погодные приметы: Василий-капельник — 13 марта, Авдотья-замочи подол — 14 марта, Федул-ветреник — 18 апреля, Спиридон-солнцеворот — 25 декабря. Со святыми связывали дни сельскохозяйственных работ: Семён-ранопашец — 10 мая, Фёдор-житник — 29 мая, Федот-овся-

ник – 31 мая, Фалалей-огуречник – 2 июня, Акулина-гречишница – 26 июня...

Великую мудрость проявили христианские вероучители, не отталкивая от церкви всё, что было близко-дорого и привычно народу, в жизнь которого входила новая религия. В русском народе остались жить такие факты язычества, как вера в приметы, стремление отчураться: “Чур меня!” – или ограться от глаза и нечистой силы: “Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить”, – и привычное нам “постучим по дереву”...

О том, как преобразились языческие обрядовые названия в христианской культуре, могут свидетельствовать слова **чаровать** и **молить**. Слово **чаровать** выдаёт свой исходный смысл корнем, восходящим к **чаре**. Древние скульптурные изваяния, находимые археологами в курганах и могильниках, в языческих городищах и на капищах, часто имеют облик женщины, сидящей над чарой – чашкой. Наговор на воду до сих пор является живой практикой колдовства. Ритуал языческого священнодействия с водой, по-видимому, именовался словом **чаровать** – священнодействовать над чарой. Этот смысл слова в осколках сохранился в языке, обозначая действие сверхъестественных сил, применяемых чародеем для воздействия на других людей.

Совсем иначе сложилась судьба слов **молить** и **молитва**. Согласно словарю русских народных говоров, **молить** значит “резать, убивать, приносить в жертву”, а слова **молина**, **моленник** обозначают ритуальные кушанья, пироги: они пеклись на святые праздники, и над ними читались молитвы. В свадебных обрядах **моленник** – это пшеничный хлеб с украшениями, которым благословляли новобрачных. **Молить** в русских народных говорах означало “устраивать совместную обрядовую трапезу”: молить кашу, молить пасху, молить корову. **Молитвой** именовалась поминальная пища: кутья, печёный ягнёнок на домашнем празднике в честь святого покровителя. По всей вероятности, у слов с корнем **мол-** – **молить** и **молоть** – изначально был общий смысл *разделять, измельчать* – это слова одного исконного корня. Значит, **молитва** – это нечто, **отделённое от целого** – урожая, приплода скота – ради жертвы божествам при совершении обрядовых действий в языческие времена. По-видимому, и существование у слова **молить** значения *убивать, резать жертвенное животное* является наследием язычества.

Так что у современных христианских слов **молить**, **молитва** прежде существовало древнее исходное значение – языческое жертвоприношение. Затем и слова, произносимые при жертвоприношении и обращённые к божествам, тоже стали именоваться глаголом **молить**. Именно в этом смысле слово перешло к христианам для именованья богообщения, для произнесения христианской молитвы, в которой отсутствовали всякие следы древних языческих жертвоприношений. Вот такая получается цепочка: сначала **молить** – это отделять нечто от своих богатств для жертвы языческому божеству, затем – ритуальные действия, связанные с подобным жертвоприношением, и, наконец, **молитва** – это слова, обращённые к божеству при совершении жертвы. Таков окончательный смысл слова **молитва**. Молитва вошла в христианский богослужебный чин как особое название богообщения.

Соединение славянской языческой картины мира с христианским мировоззрением породило удивительное явление, именуемое **Русским Православием**. Своеобразие русского православного взгляда на мир, в отличие от других христианских культур, составляют совестливость и душевность, вера в благой промысел судьбы и отсутствие страха смерти, истовое поклонение святыням и терпеливое ожидание чуда, спрос за прегрешения с самих себя и готовность покаянно искупить содеянное зло. И главное, чем восхищает иные народы Русское Православие, – радостная устремленность к Богу, созерцаемому русскими как Источник света, истины и любви, а не как грозного Судью и Отмстителя. Всё это дал нам сплав смыслов нашего родного наречия, хранящего языческую древность в своих корнях, и христианских догматов, что на протяжении тысячи минувших лет были усвоены русским народом из богослужений и Евангелия.

ИВАН ДРОНОВ

РУССКИЕ И КАПИТАЛИЗМ

КАПИТУЛЯЦИЯ КОНСЕРВАТОРОВ

*И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.*

С. А. Есенин

В современной России консервативная идеология приобрела довольно широкую, хотя и поверхностную общественную популярность. В больших количествах переиздаются тексты полузабытых и совсем забытых дореволюционных правых деятелей и публицистов. Пишутся диссертации о консерваторах прошлого, создаются и функционируют всевозможные клубы, институты и центры по изучению и пропаганде консервативных идей в настоящем. Существуют, впрочем, маловлиятельные политические партии, воспроизводящие правомонархические организации начала XX века а la “Чёрная сотня”. Правящий режим, в условиях острой аллергии российского общества на всё, что носит признаки с треском провалившегося либерального проекта, с одной стороны, и вполне естественной неприемлемости для этого буржуазного режима социалистической красной идеи – с другой, настойчиво заигрывает с консервативной традицией в видах заполнения своей зияющей идейной пустоты и убожества. В этом заигрывании, в обращении к лучшему в отечественном историческом наследии, может быть, и не было бы ничего дурного, если бы не возникал далеко не праздный вопрос: какую функцию, кроме декоративной, могла бы выполнять идеология консерватизма, воспринятая от дореволюционных правых, при нынешней российской власти и при том общественном строе, который она олицетворяет и на страже которого она стоит? И второй вопрос: кто в современной России, кроме на всё согласного чиновничества, реально способен выступить в роли социального субъекта консерватизма, понимаемого не как сохранение наличествующего status quo, а как воскрешение духовной традиции консерваторов-монархистов классического XIX века? Поломать голову над тем, как повенчать “розу белую с чёрною жабой”, как изящно сочетать “Православие, Самодержавие, Народность” и “Россию для русских” с диктатурой олигархического капитала, мы предоставим специально обученным “придворным” идеологам и политехнологам. Хотя ответ на эти вопрошания заранее представляется сколь очевидным, столь и неутешительным для всех энтузиастов консервативного возрождения... Намного полезнее и поучительнее обратиться к анализу причин краха дореволюционного правомонархического движения, когда консервативная идеология

Продолжение. Начало в № 1, 2, 6 за 2013 год.

была не гомункулом, выращиваемым в интеллектуальных лабораториях, а живой непрерывной традицией, веками и поколениями укоренённой в сознании десятков миллионов русских людей, имевшей за собой солидный материальный и организационный ресурс, выдвинувшей немало ярко одарённых мыслителей и пропагандистов... И так безоговорочно осрамившейся в 1917 году.

Момент кристаллизации российской консервативной идеологии можно отнести примерно к середине 70-х годов XIX века. В 1860-х годах, в эпоху “Великих реформ” Александра II, в русском обществе сохранялся определённый консенсус по некоторым базовым вопросам эпохи. Практически никем не подвергалось сомнению благо освобождения крестьян от крепостной зависимости с наделением их землёю (хотя имели место дискуссии относительно некоторых подробностей реформы). Все те, кто впоследствии зарекомендовал себя столпами консерватизма, искренне приветствовали освобождение крестьян отнюдь не только по мотивам верноподданной лояльности. Будущий обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев (1827–1907) в 1861 году ещё не превратился в “русского Торквемаду” и не простирал над Россией “совиных крыл”, а со слезой писал о Манифесте 19 февраля: “Мы до сих пор ещё недостаточно оцениваем всю важность этого перелома. Но, Господи Боже мой, какая великая перемена! Каково же — подумайте: в России нет крепостного права!.. Никто не будет слушать по принуждению”. Благоговейно называя день опубликования Манифеста “Александровым днём”, Победоносцев всячески превозносил либерального императора: “Что бы ни сделал он ещё, как бы ни ошибался, имя его будет великое имя в истории, и не только у нас — везде — друг человечества помянет это имя с благодарностью”¹. В конце 1850-х годов Победоносцев посылал А. И. Герцену в Лондон обличительные материалы с уничтожающей критикой русского судебного устройства и высокопоставленных коррупционеров из Министерства юстиции, а в начале 1860-х принимал самое активное участие в правительственных комиссиях по подготовке новых, едва ли не самых либеральных и прогрессивных в Европе Судебных уставов, вступивших в силу 20 ноября 1864 года.

Это много позднее консерваторы третируют Судебные уставы 1864 года как списанные с западной шпаргалки — французских и сардинских судебных учреждений, а суд присяжных оказывался “подходившим к русской жизни, как к корове седло”². Но в 1860-х годах даже такой великий изобличитель российского подражательства и дурной болезни “европейничанья”, как Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885), в своей знаменитой книге “Россия и Европа” (1869) похваливал судебную реформу и суды присяжных: “Суд присяжных по совести есть начало по преимуществу славянское, сродное со славянским духом и характером, так что на основании его Хомяков выражал мысль о славянском происхождении англосаксов... Следовательно, мы только возвратили своё”. “Великой освободительной реформой нынешнего царствования” называл Данилевский также “освобождение печатного слова от уз цензурных”. “Свобода слова, — писал он, — не есть право или привилегия политическая, а право естественное. Следовательно, в освобождении от цензуры по самой сущности дела не может уже быть никакого заимствования с Запада, никакого подражания; иначе и хождение на двух ногах, а не на четвереньках, могло бы считаться подражанием кому-нибудь”³.

Всеобщее одобрение и надежды вызвало и введение в 1864 году новых выборных всеобщих органов местного самоуправления — земств. Будущий *enfant terrible* русского консерватизма — князь Владимир Петрович Мещерский (1839–1914) — писал 16 октября 1868 года цесаревичу Александру Александровичу (будущему Александру III): “Земство, по-моему, выше всех реформ царствования, после крестьянской она не может сравниться ни с одною, с Петровского до нашего времени, по своему значению в настоящем и для будущего; ибо она имела счастье быть с самого начала реформой чисто русской, не смешанной ни с какими западными политическими примесями, а по тому самому сроднившейся с Россиею во всех её слоях и сферах. Крестьянин так же, как и высший по образованию гражданин, одинаково доступны земству, так же как и земство доступно столь же крестьянину, сколько боярину и священнику”⁴.

В реформах 1860-х годов будущие наши консерваторы хотели видеть осуществление славянофильской мечты о преодолении трагического национального раскола петербургского периода русской истории — раскола на озапад-

нившуюся элиту и попираемый ею православный крестьянский люд, отчуждённый верхами и от собственной культуры, и от благ западноевропейского просвещения. Им рисовалась картина межсословного единения и дружной общенародной работы во имя вернувшейся на свой исконный путь России. Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891), ещё один столп русского консерватизма, вполне разделял эти радужные настроения в 1860-х годах: “Я, подобно людям славянофильского оттенка, — писал он 20 лет спустя, — воображал почему-то, что наша эмансипация совсем не то, что западная; я не мечтал, а непоколебимо почему-то верил, что она сделает нас сейчас или вскоре более национальными, гораздо более русскими, чем мы были при Николае Павловиче. Я думал, что мужики и мещане наши, теперь более свободные, научат нас жить хорошо по-русски, укажут нам, какими господами нам быть следует, представят нам живые образцы русских идей, русских вкусов, русских мод даже, русского хорошего хозяйства, наконец!..”⁵.

Совершенно очевидно, что и тогда, в 1860-х годах, будущие консерваторы, благодушно относясь к преобразованиям, отнюдь не вкладывали в них никакого буржуазного содержания, отреклись от малейшего намёка на подражание западной модели модернизации, предполагающей резкое классовое расслоение, воцарение капитала и пролетаризацию народных масс. По их убеждению, совершающиеся реформы призваны были оздоровить отношения *верхов* и *низов*, открыть дорогу общенациональному развитию, снимающему межклассовые противоречия. Н. Я. Данилевский писал об имеющем место “нравственно-политическом единстве и цельности русского народа”. Условия же такого нравственно-политического единства, дающие “превосходство русскому общественному строю над европейским, доставляющие ему непоколебимую устойчивость, обращающие в самые консервативные те именно общественные классы, которые угрожают Европе переворотами, заключаются в крестьянском наделе и в общинном землевладении”⁶. Под сенью патриархального самодержавия этот общественный строй в “Дневнике писателя” Ф. М. Достоевского за 1881 год отливался в формулу “русского социализма”, противопоставляемого западным формулам материалистического и атеистического прогресса: “Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасётся лишь, в конце концов, *всесветным единением во имя Христова*”⁷.

Н. Я. Данилевский тоже подчёркивал несовместимость русского коммунального идеала, консервативного и охранительного по своей сути, который лишь оберегал искони существующую у славян общинную поземельную собственность, с западными социалистическими учениями, нацеленными на радикальные перевороты в отношении собственности, на экспроприацию и насильственный передел чужого имущества. Мессианское, всесветно-спасительное значение славянскому культурно-историческому типу, считал Данилевский, обеспечит “знамя, на котором будет написано: Православие, Славянство и крестьянский надел”⁸.

Как казалось в 1860-е годы, крестьянская и другие реформы, удовлетворив жизненные потребности всех сословий и открыв пути свободного развития лежавших под спудом народных сил, принципиально изменили и общественную роль дворянства. Совершив по доброй воле освобождение от крепостного права с пожертвованием на общее благо существенной части своих привилегий, оно из класса угнетателя получило прекрасную возможность превратиться в класс, объединяющий русское общество и ведущий его к процветанию, притом опираясь не на политическое или экономическое господство, а исключительно на моральный авторитет. “Главное политическое значение крестьянской реформы состоит в том, что она освободила поместное дворянство от того условия, которое отделяло его интересы от общих интересов народа. Отныне поместное дворянство становится тем единственным классом русского общества, которого интересы сливаются с интересами всех других сословий и который не может иметь своих отдельных интересов, более дорогих ему, чем общие государственные”⁹, — так писал в своей газете “Московские ведомости” в 1865 году даже не склонный к увлечениям Михаил Никифорович Катков (1818–1887). А славянофильский трибун Иван Сергеевич Аксаков в своей газете “День” предлагал институционально закрепить этот новый статус дворянства — соли земли, “осоляющей” общенародное земское целое, — и призывал его “торжественно, пред лицом всей России, совершить акт уничтоже-

ния себя как сословия”, “чтобы дворянские привилегии были видоизменены и распространены на все сословия России”¹⁰.

Увы, преувеличенные надежды на разрешение реформами 1860-х годов основных противоречий внутри русского общества, которое обеспечит единодушие и сплотит народ в некое бесклассовое целое, очень скоро обнаружили свою иллюзорность. Такое внепартийное всенародное единство может поддерживаться какое-то время только в том случае, если вершки и корешки, кнуты и пряники распределяются равномерно во всём обществе. Когда же кнуты в основном достаются одним, а пряники и бублики – другим, то процесс классового и партийного размежевания становится естественным и неотвратимым. Именно это и произошло в России вслед за коротким периодом эйфории от реформ 1860-х годов. На место противоречий и язв феодально-крепостнического строя тут же явились противоречия и язвы капитализма, ещё более острые и болезненные. Перефразируя Евангелие, можно сказать, что *по изгнанию одного нечистого духа (крепостного права) в чисто выметенном и прибранном российском доме водворились семь злейших.*

Конкретно для дворянства эти злые духи воплощались в неуклонно увеличивающейся ипотечной задолженности, образовавшейся вследствие лишения имений дарового труда крепостных и необходимости добывать отсутствующий оборотный капитал у банков; в стремительно расширяющейся сети железных дорог, которые своими тарифами поставили на колени сельскохозяйственных производителей; в протекционистской промышленной политике правительства, превращавшей аграриев в данников индустриального сектора. Наконец, в “монетаристской” финансовой политике, которой придерживалось российское правительство с 1860-х годов и которая увенчалась введением золотого стандарта рубля в 1897 году. Такая политика обуславливала “дороговизну” денег на русском рынке, грабительские проценты на кредит и проигрышные условия для экспортёров, каковыми преимущественно выступали сельские хозяева, то есть помещики. В совокупности эти “злые духи” пореформенной эпохи вели дело к разорению поместного дворянства и утрате им политической и культурной гегемонии в пользу финансовой и промышленной буржуазии.

Не замечать этих убийственных для дворянства последствий “Великих реформ” в середине 1870-х годов уже было нельзя. В 1876 году в С.-Петербурге издатель журнала “Гражданин” князь В. П. Мещерский опубликовал книгу-манифест под названием “Речи консерватора”. В этой книге Мещерский констатировал, несколько сгущая краски, что за последние “20 лет чуть ли не половина дворянских имений перешла в руки купцов”, а само благородное сословие, устыдившись своего крепостнического прошлого, сдало страну ошалевшим либералам, “присыпало себя персидским порошком и, подобно мухам зимою, замерло ногами кверху”. Идея торжественного дворянского самоупражнения в слиянии с раскрепощённым народом теперь трактовалась Мещерским как постыдный акт “самооплевания дворянства”, добровольно уступившего свою многовековую роль руководителя и воспитателя русского общества толстопузому купчине, кувшинорылому чиновнику, кулаку и кабатчику. И вот пока “помещик отрастил себе брюхо под вицмундиром чиновника, под фраком куртизана, под сюртуком концессионера или пиджаком банкового деятеля, помещицы дома стояли заколоченными, и пока во всех городах открывались банки и конторы железнодорожных обществ, пока рельсы клались и станции строились, пока школы возводились в сёлах, из глубины жизни рождалось понятие о сокращении церквей по ненадобности, и народ, только что освобождённый, выходил из кабака с понятием о новом виде крепостного права – под названием кабалы у кулака”.

Эта новая социальная реальность рисовалась в “Речах консерватора” как предельно дегенеративная и безнадежная: “Всё валится, всё рушится, всё извращено, всё изуродовано, всё проникнуто какою-то безумною любовью ко всему, *чего нет*, и ненавистью ко всему, *что есть*”. Виною тому – 20-летняя либеральная свистопляска, которая свихнула набекрень мозги русской интеллигенции, поставила под сомнение самые фундаментальные религиозные, семейные и гражданские ценности, хаотизировала все общественные институты. В результате в России сложился дикий, противояственный порядок вещей: “Духовные семинарии должны воспитывать священников, а поставляют нигилистов; учреждения, как банки и железные дороги, должны служить для поощрения промышленности и торговли, а между тем служат только для

обогащения своих акционеров и для притеснения тех, на пользу которых они урезаются, и так до бесконечности — везде и всё вверх дном”.

В таких-то гибельных, по его разумению, обстоятельствах Мещерский обратился к русскому обществу со словами о необходимости “консервативной реакции”, призвал здравомыслящих людей, не поддавшихся всеобщему либеральному умопомрачению, “кричать, кричать и кричать во имя консерваторских идей”, пока ещё не стало слишком поздно. Спасение от неминуемого краха России князь видел в возрождении лидерских позиций поместного дворянства. Стоит дворянину-помещику перестать “либеральничать и служить мамоне” и начать “дело делать, быть честным и никому не кланяться, кроме Бога, никому не служить, кроме Отечества и царя”, как “он сделает первый шаг к восстановлению своего влияния на Россию как дворянин”. Особенно большая ответственность перед народом лежит на поместном дворянстве в деревне, где ему противостоит “купец-землевладелец”, который “за немногими исключениями живёт только для себя и смотрит на крестьян как на источник беспредельной эксплуатации не только вне законов политической экономики, но вне законов человеколюбия”. Борьба между ними неизбежна, ибо “помещик-дворянин и купец-землевладелец — это два антипода, диаметрально друг другу противоположные и органически друг другу антипатические”¹¹. Защитить меньшую братию от капиталиста-кровососа — такая задача предстоит благородному российскому дворянству, которое веками привыкло смотреть и на свою службу России, и на свою хозяйственную деятельность на земле не с точки зрения бухгалтерского баланса, а с точки зрения патриотического сердечного чувства. “Другого консервативного начала, кроме помещиков, и притом крупных, с преданиями от предков о чести и любви к родной земле, право, быть не может”¹², — заключал свои размышления князь Мещерский.

Книга Мещерского “Речи консерватора” наделала немалый скандал. На неё обрушился град насмешек и критики со стороны либеральной печати. Само название книги было сочтено “вызывающим”. Однако опубликование “Речей консерватора” знаменовало собой выход на арену общественной борьбы в России консервативной партии, не боящейся либеральной обструкции и открыто называющей себя по имени, вполне осознающей свою классовую природу и готовой к борьбе с прямо указанным социальным антиподом — буржуазией.

Журнал князя Мещерского “Гражданин”, который издавался в 1872–1878 и в 1882–1914 годах, стал в 1870–1880-е годы центром притяжения для тех консерваторов-монархистов, которые не только тяготели к сакраментальной уваровской триаде “Православие, Самодержавие, Народность”, но и отдавали себе отчёт в том, что в современных условиях именно от развития капитализма исходит самая непосредственная и опасная угроза для традиционных устоев. Наиболее яркими и одарёнными мыслителями консервативного направления, чья деятельность оказалась тесно связана с “Гражданином”, были Фёдор Михайлович Достоевский, Константин Николаевич Леонтьев и Константин Петрович Победоносцев. Достоевский в 1873–1874 годах работал главным редактором журнала, именно на страницах “Гражданина” впервые появился его знаменитый “Дневник писателя”. После ухода из “Гражданина” автор “Дневника писателя” сохранил самые приятельские отношения с Мещерским. Вплоть до своей смерти Достоевский по-прежнему оставался желанным гостем на “литературных средах” у князя¹³ и, возможно, продолжал анонимно сотрудничать в “Гражданине”¹⁴.

В 1880-е годы “Гражданин” стал надёжным пристанищем для такого “литературного изгнанника”, как К. Н. Леонтьев. На страницах журнала публиковались лучшие произведения Леонтьева, сделавшие его имя широко известным в России. Мещерский весьма гордился сотрудничеством с Леонтьевым. В 1887 году он докладывал Александру III, что “около “Гражданина” успел устроиться кружок таких сильных дарованиями и прекрасного направления сил, что это одно уже есть глубоко отрадное явление”, и среди них — “Леонтьев, который из Оптиной пустыни пишет замечательные статьи и проснулся во всей силе своего оригинального и громадного таланта”¹⁵. На страницах “Гражданина” творчество Леонтьева была дана высочайшая оценка задолго до того, как общественное мнение признало в нём выдающегося мыслителя, и, что важно, ещё при жизни этого “неузнанного гения”. “Леонтьев если не по количеству, так по качеству своих произведений не только ни в чём не уступает самому

Тургеневу, но и во многом превосходит его”, – говорилось, например, в статье “К. Н. Леонтьев как беллетрист”¹⁶. Однако, по мнению Мещерского, “как публицист Леонтьев имеет ещё большее значение. Сборник его рассуждений, изданных под заглавием “Восток, Россия и Славянство”, а также “Византизм и Славянство”, должны быть настольною книгою всякого русского человека”¹⁷.

Самое близкое участие в деятельности журнала “Гражданин” принимал и Константин Петрович Победоносцев – фигура символическая для русского пореформенного консерватизма. Занимая пост обер-прокурора Святейшего Синода (1880–1905), Победоносцев являлся ментором двух последних российских императоров – Александра III и Николая II – и оказывал существенное влияние на внутривластный курс правительства, особенно в 1880-х годах. В эти же годы он фактически был неофициальным руководителем “Гражданина”, активно вмешиваясь в его редакционную политику. Именно в “Гражданине” Победоносцев печатал свои статьи, которые составили впоследствии его “Московский сборник” (1896), ставший своеобразной “суммой” консервативной идеологии. “Московский сборник” выдержал пять изданий ещё до революции и многократно был переиздан уже в наши дни. Знаменитый очерк Победоносцева “Великая ложь нашего времени”, разоблачавший продажность буржуазной парламентской системы и порочность самого принципа представительной демократии, был опубликован в “Гражданине” в № 24 от 10 июня 1884 года.

Сильные позиции Победоносцева в правительстве позволили Мещерскому с согласия императора Александра III получить казённую субсидию для “Гражданина”. Размер этой субсидии в 1882–1887 годах составлял 3 тысячи рублей, ежемесячно выдаваемых князю; из сумм Министерства внутренних дел в 1887–1895 годах Мещерский получал дополнительно ещё 30 тысяч рублей в год. Рептильное положение его журнала нисколько не смущало Мещерского. На все намёки и укоризны в продажности он отвечал вопросом: “Если хамы нашей печати находят светлыми деньги, идущие на жидовские издания из разных банков, то интересно было бы понять, почему деньги, идущие от правительства на помощь хорошим изданиям, должны быть признаны тёмными?”¹⁸. И эта отповедь Мещерского либеральной прессе, несомненно, имела некоторый резон.

В 1880–1890-х годах “Гражданин” возглавил поход консерваторов против “злых духов” российского капитализма, каковыми они представлялись с точки зрения помещичьего дворянства: железных дорог, фабрично-заводской промышленности, банков и бирж, золотого стандарта, иностранного капитала, буржуазной этики и эстетики.

Согласно известной песенке середины XIX века, при виде железной дороги “веселится и ликует весь народ”. Однако, как и всякое нововведение, железная дорога вызвала не только благонамеренный восторг. Нашлись и у неё недоброжелатели и хулители. В знаменитой драме А. Н. Островского “Гроза” (1859) Кабаниха и странница Феклуша с ужасом толкуют о том, как в столицах “огненного змия стали запрягать”, усматривая в этом явный признак наступления “последних времен”. Один из героев романа Достоевского “Идиот” (1868) тоже сравнивал сеть железных дорог в Европе с апокалиптической “Звездой Полярной”, знаменующей дьявольскую одержимость современной буржуазной цивилизации. Позднее консерваторы дали и более серьёзную критику железнодорожного “Вавилонского столпотворения”¹⁹.

Достоевский в своём последнем “Дневнике писателя” за январь 1881 года отмечал паразитический генезис железнодорожной отрасли в России, жирующей за счёт планомерно разоряемой деревни. “На разрушенное землевладение и создались железные дороги”, считал Достоевский, они “все капиталы перетянули к себе именно тогда, когда земля их жаждала наиболее”, что повлекло за собой и кардинальные социальные изменения и перераспределение власти. И ныне – “не железнодорожник ли и жид владеют экономическими силами нашими?”²⁰.

В 1886 году в сборнике своих произведений “Восток, Россия и Славянство” К. Н. Леонтьев опубликовал статью “Епископ Никанор о вреде железных дорог, пара и вообще об опасностях слишком быстрого движения жизни”. Полностью солидаризируясь с мнением епископа Никанора (Херсонского), Леонтьев целиком включил его речь, напечатанную первоначально в “Православном обозрении” (октябрь 1884), в свою статью. В речи преосвященного,

в частности, анализировалась экологическая катастрофа, радикально изменившая ландшафт и топографию русского пространства вследствие строительства железных дорог: “Еще живое поколение, – говорил Никанор, – видело неисходные, почти неизмеримые чащи лесов, а теперь что? На пространстве от Оренбурга до Одессы наблюдательный путник не видит ни одного даже молодого перелеска. Путник этот ещё видел целые пущи тысячелетних деревьев-громадин, годных на корабли и прочее. Всё пожрано, особенно же около железных дорог”.

Железные дороги и промышленность высасывают и земные недра, отравляют водные источники, оставляя вокруг себя *лунный пейзаж*. Вымирает животный мир, в лесах и рощах уже не услышишь пения птиц за отсутствием какой-либо растительности. Загаженная, истощённая хищнической эксплуатацией земля отказывается родить, и это грозит человечеству голодным мором. Кроме того, говорил епископ Никанор, “для человека истощение лесных чащ губительно и тем, что эти массы самой цветущей зелени производили массу живительного кислорода и озона, которые так необходимы нам для здорового дыхания, которые, оживляя и укрепляя силы человека, наоборот, губительно действуют на незримые массы вибрионов, подрывающих в самом зерне человеческую жизнь и порождающих повальные болезни”. Епископ высказывал серьёзное опасение, “как бы земля не стала скоро походить на всемирный паутинник, который опутывает весь земной шар, в котором плавают только отошальный всеядный человек, как голодный паук, не имей кого и что поглотити, так как сам же он пожрал, побил, истерзал всё живое на поверхности всей земли...”.

Вызывала сомнение у Никанора возможность достижения с помощью железных дорог даже тех утилитарных целей, ради которых они вроде бы и создавались: “Везде на Руси, где пока не было железных дорог, там жизнь была проще и дешевле. А как только появится железная дорога, сейчас же все ценности возвышаются, прежние способы истощаются, новые если и увеличиваются, то создают собой и новую потребность, напр<имер>, потребность виноградных вин, которой ещё деды, да даже и отцы наши, не ведали, равно как новые потребности и в других заморских вещах, без которых легко обходились. Таким образом, железная дорога, в существе дела, нигде и не возвысила благосостояния, чувства довольства, покоя и счастья, напротив, породила всюду тревогу, потребность в средствах жизни, погоню за наживою”²¹.

В свою очередь, известный философ В. С. Соловьев, до середины 1880-х годов близкий к славянофильским кругам, также разделял озабоченность консерваторов вторжением железных дорог в русскую жизнь. Его тревожили те же негативные последствия их распространения – социальные, моральные и экологические. В статье “Еврейство и христианский вопрос” (впервые напечатано в “Православном обозрении” в 1884 году) он оценивал железнодорожную сеть как важнейший элемент капиталистической модернизации России, и оценка его была предельно жёсткой: “Разрастание наших городов (особенно в последние тридцать лет) породило лишь особую буржуазную цивилизацию с её искусственными потребностями, более сложными, но отнюдь не более возвышенными, чем у простого сельского народа... Промышленность служит не земле, а городу, и это ещё было бы не беда, если бы сам город служил чему-нибудь хорошему. Но в действительности наши города вместо того, чтобы быть первыми узлами социального организма, скорее похожи на вредных паразитов, истощающих народное тело... Более вреда, чем пользы, приносят земле и важнейшие изобретения и открытия, которыми гордится наш век, например, железные дороги и пароходы. Кажущаяся выгода, доставляемая ими всей стране (облегчённый сбыт земледельческих продуктов), решительно перевешивается *вредом*, который они наносят самому земледелию; говоря “вредом”, я употребляю слишком слабое выражение, ибо скоро для всех станет ясно, что распространение этих столь удобных средств сообщения есть *гибель* нашего земледелия. Железные дороги беспощадно пожирают леса, и без лесов наша огромная континентальная равнина рано или поздно (скорей рано, чем поздно) обратится в бесплодную пустыню”²². С В. С. Соловьёвым был полностью согласен и К. Н. Леонтьев: “Построилось вдруг множество железных дорог, стали вырубаться знаменитые русские леса, стала портиться почва, начали мелеть и великие реки наши. *Эмансипированный русский*

человек восторжествовал над своей родной природой — он изуродовал её быстрее всякого европейца”²³.

В 1885 году с анализом духовно-нравственных последствий технического прогресса выступил ещё один философ из консервативного лагеря — П. Е. Астафьев. Он обратил внимание на то парадоксальное обстоятельство, что с развитием техники, ростом благосостояния и комфорта ощущение счастья и удовлетворенности жизнью лишь уменьшается, а тоска, подавленность и даже отчаяние современного человека увеличиваются, превращаясь в по-вальнойное душевное расстройство. Причиной этого расстройства Астафьев считал в том числе и изменение пространственно-временных условий жизни. Уплотнение времени и сжатие пространства посредством техносферы отражалось в психике человека невероятным ускорением смены образов, впечатлений и настроений, которых она была уже не в состоянии усвоить и переварить. “Какую степень утомления, тоски и скуки может вызвать в душе даже вполне здорового человека слишком быстрая смена столь же быстро возникающих, как и исчезающих впечатлений, — писал Астафьев, — об этом может судить каждый из нас, кому приходилось несколько дней подряд пролетать через Европу в вагоне из одного края в другой”. Философ сформулировал даже некий психологический закон, согласно которому “свойства всей нашей душевной жизни стоят в тесной зависимости от скорости в смене наших ощущений, мыслей, чувств и стремлений, которые, переходя за известный предел, меру, приводят неизбежно к ненормальным, болезненным результатам”.

В числе средств, ускоряющих перемены в пространственном и социальном положении лиц, предметов и информации, а следовательно, и увеличивающих общественную патологию, Астафьев называет “ежедневно разрастающиеся во всех направлениях железные дороги, телефоны и телеграфы”; “всё более и более ускоряющие, расширяющие и облегчающие денежные обороты банки и биржи”; “всё более и более открывающие чуть не всякому и облегчающие доступ ко всякой профессии, всякому обществу, всякому общественному и политическому положению разнообразные формы самоуправления и конституции”; “всё более и более упраздняющие личную волю, личный труд и личное творчество, всё с меньшей затратой душевной работы доставляющие нам всё большую массу почти дарового комфорта машины и технические изобретения”.

Возможно ли, вопрошал Астафьев, “избежать этой перспективы постоянного возрастания, параллельно росту наших технических богатств, всякого рода страдания человека нашего времени, его скуки, тоски и всё более выходящего душевного расстройства”? Заключается ли выход в том, чтобы “уничтожить зараз самую причину этого смешения, скуки, тоски, обессиления и безумия, — то есть, сметя сразу с лица земли все эти плоды работы нашего времени: железные дороги, телеграфы, газеты, банки, конституции, самоуправление и т. п., восстановив во всей целостности “блаженную старину”, когда всех этих сокровищ у человека ещё не было, а он сам был счастливее и спокойнее, и здоровее душевно, чем теперь?”²⁴.

В “Гражданине” на это вопрос отвечали утвердительно. Здесь также связывали возникшую социально-психологическую дисгармонию с ускорением движения человека в физическом и социальном пространстве и расстройством его внутреннего хронометра, не приспособленного к подобным скоростям. “Нормальный человек XVIII века, — писал сотрудник “Гражданина” И. И. Кольшко, — если он был обеспечен в своих физических потребностях, не метался как угорелый и не отступал от своего мирозерцания иначе, как под давлением великой идеи и сильной воли. Современный нормальный человек, даже сытый и жирный, — вечно в движении, вечно в погоне за чем-нибудь, а мировоззрение его с каждым поворотом фортуны меняется, как калейдоскоп”. Это явление закономерно, ведь человек традиционного общества, живший в условиях натурального аграрного хозяйства с замкнутым циклом производства и потребления, легко находил гармонию своих желаний и способов их осуществления. Натуральное хозяйство обуславливало возможность каждому самостоятельно “удовлетворять всем своим потребностям”, что, как убедительно показал писатель-народник Г. И. Успенский в очерке “Трудами рук своих” (1884), давало крестьянину ощущение свободы, полноты и цельности своего бытия, позволяло “жить свято”, никого не эксплуатируя и никому не кланяясь, кроме Бога и природы.

Капиталистическое хозяйство, напротив, исключает состояние равновесия. Необходимость получения прибыли вынуждает его к постоянной экспансии вовне, к захвату новых рынков и ресурсов. Человек капиталистической эпохи, чьи желания раздражены и раскалены докрасна промышленным изобилием и рекламой безграничного потребления, в большинстве своём не располагает достаточными средствами для удовлетворения своих похотей. Конкурентная гонка ещё усиливает этот дисбаланс. В результате выходит, что «всё, что делает счастливым современного человека, лежит вне его личности: специальные науки, которых он нахватался вчера, сегодня могут оказаться недостаточными; капитал может погибнуть от случайности; положение, сан, чин – от каприза начальства. То счастливое равновесие между мечтой и действительностью, которое носил в себе нормальный человек прошлого века, далеко отлетело от современников наших: их счастье меряется не покоем, а движением (вперёд) и равновесие ищется не между душой и телом, а между потребностями тела и бюджетом»²⁵.

Чем комфортнее и безопаснее становится жизнь человека, тем болезненнее терзает его душу невротический страх: «Человечество, создавшее пар, электричество, открывшее микроба и застраховавшее себя, казалось, от гнева Божеского и человеческого, в безумном страхе мечется от возможности умереть, обеднеть». Выход из этих социокультурных противоречий капиталистического общества виделся только один: «Для борьбы со страхом надо обрезать телеграфные проволоки, закрыть биржи, парламенты, газеты, остановить фабрики и заводы, взорвать железные пути, словом, отодвинуться на сто лет назад, глядеть почаще на небо и больше презирать землю»²⁶.

Буквально то же самое предлагал Г. И. Успенский для спасения русского крестьянского жизнеустройства, традиционного «русского земледельческого типа»: «Для этого необходимо уничтожить всё, что носит мало-мальски чуждый земледельческому порядку признак: керосиновые лампы, фабрики, выделяющие ситец, железные дороги, телеграфы, кабаки, извозчиков и кабатчиков, даже книги, табак, сигары, папиросы, пиджаки и т. д.»²⁷. «Утишить это воспалительное, горячее кровообращение дорог, телеграфов, пароходов» советовал и К. Н. Леонтьев²⁸. «Мирные изобретения (телефоны, железные дороги и т. д.) в 100 раз вреднее изобретений боевой техники, – утверждал он. – Последние убивают много отдельных людей, первые убивают шаг за шагом всю живую органическую жизнь на земле. Поэзию, религию, обособление государства и быта... «Древо познания» и «Древо жизни». Усиление движения само по себе не есть ещё признак усиления жизни. Машина идёт, а дерево стоит»²⁹. К тому же, «все эти изобретения выгодны только буржуазии; выгодны *средним* людям, фабрикантам, купцам, банкирам, *отчасти* и многим учёным, адвокатам, одним словом, *тому среднему классу*, который... является главным врагом царей, положительной религии, воинственности и дворянства»³⁰.

Расставание с этими мнимыми благами научно-технического прогресса, по мнению В. П. Мещерского, пойдёт только на пользу человечеству. «Народы, клонящиеся, посреди развалин своего прошлого, к западу своей жизни, возрождать усовершенствованными умывальниками и ватерклозетами нельзя, – писал князь, – их возрождать можно только здоровую духовную жизнь»³¹. Ведь «наука с прогрессом материальным не несёт улучшения нравов», а «для того чтобы проповедовать братство народов или права человека, ни апостолы, ни философы не нуждались в телеграфе; миллионы его проволок служат по преимуществу биржевой плутне и газетной болтовне о политической игре нравственных лилипутов»³².

Развитие железнодорожного транспорта вообще не являлось, с точки зрения Мещерского, насущной экономической задачей в России. Он даже сомневался в том, что железная дорога оказывает «благоприятное действие на страну, в которой она проходит». По его наблюдениям, «железная дорога убивает всё до неё бывшие народные ресурсы промысла и заработка там, где она проходит: село, деревня, местечко – всё беднеет и рушится»³³. В железных дорогах консерваторы видели «могучие губки, высасывающие из народа всё патриархально-стройное, поэтичное и даже физическое»³⁴.

«Первобытное состояние аграрной России», которое признавали в «Гражданине», обрекало её на роль внутренней колонии для современных секторов экономики. И произошло это именно вследствие «внезапной постройки же-

лезных дорог в России, которые, создав промышленность и торговлю и содействуя их развитию, проявили обратное и изнурительное влияние на земледелие, земледелие и сельское население России³⁵.

Весь курс на капиталистическую индустриализацию России признавался в журнале Мещерского глубоко ошибочным и даже антинародным. “Всякий раз, когда интересы сельского хозяйства сталкиваются с интересами промышленников, — всё оказывается на стороне этих последних, — возмущался “Гражданин”. — Между тем можно был бы ожидать совершенно обратного, ибо сельским хозяйством у нас живут более ста миллионов или более 85 проц^{ентов} населения³⁶. Успехи на пути покровительства промышленности, несмотря на гигантские жертвы, были, с точки зрения Мещерского, довольно сомнительны. Машиностроение, для развития которого ущемлялись интересы аграриев, составляло в начале XX века, как указывал “Гражданин”, лишь 1/40 часть всего промышленного производства в стране. Производимая отечественным машиностроением продукция дорогостояща и низкокачественна. “Мы не хотим, — категорически заявлял Мещерский, — чтобы под покровительством русской промышленности разумелось предоставление русским фабрикантам монополии своих изделий с правом делать какую угодно дрянь и обязывать русского человека её покупать волею-неволею³⁷”.

Именно к этому, по мнению князя, привела протекционистская политика министерства финансов под управлением И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте, воплотившаяся в запретительном тарифе 1891 года, в разработке которого деятельное участие принимал Д. И. Менделеев. “Первый и главный практический результат этого менделеевского тарифа, — писал князь, — есть недобросовестность наших фабрикантов, — я слишком учтив, чтобы сказать: мошенничество³⁸. Мещерский считал, что приобретения покровительственной таможенной политики ничтожны, а издержки — громадны. “Можно с уверенностью сказать, — утверждали в “Гражданине”, — что если б те же жертвы приносились государством на пользу сельского хозяйства, какие приносятся для насаждения у нас промышленности, то благосостояние народа от этого выиграло бы во много раз³⁹”.

Введение запретительных тарифов привело к таможенным “войнам” с Германией, крупнейшим экспортёром в Россию промышленной продукции, что привело к разрыву давнишних торгово-экономических связей между двумя странами. А следовало бы, как утверждали консерваторы, наоборот — пойти на значительные уступки Германии по тарифным вопросам, снизить пошлины на ввоз германских промышленных изделий в обмен на режим наибольшего благоприятствования для сбыта в Германию русских сельскохозяйственных продуктов⁴⁰. При этом развитие отечественной промышленности не пострадало бы, за исключением разве того, что “барыши нашего машиностроения должны будут при более свободном ввозе иностранных машин поубавиться, а само производство должно будет стать менее небрежным, но то и другое послужит лишь на благо”. Рост промышленности должен быть не самоцелью, а естественным последствием расширенного воспроизводства в аграрном секторе экономики, развитию которого следует уделять преимущественное внимание. “В связи с мерами к большему вывозу нашего хлеба и с уничтожением пошлины на сельскохозяйственные машины и орудия, — обещал “Гражданин”, — покупная способность нашего сельского населения увеличится хоть настолько, чтоб обзавестись необходимейшими железными орудиями, один ремонт и возобновление которых вызовет большее потребление русского железа, чем это было доселе⁴¹”.

С точки зрения Мещерского, неприемлемы форсированные, подстегиваемые властной рукой темпы индустриализации, искусственное насаждение самых передовых современных форм промышленного производства в патриархальной стране. Это порождает глубокие диспропорции в народнохозяйственном организме и влечёт за собой неизбежные социальные катаклизмы. Усиленная перекачка средств из сельскохозяйственной сферы в промышленную ценой разорения деревни приводит к подрыву воспроизводственной базы самой промышленности. Мещерский оплакивал “миллионы, ухлопанные на этот искусственный прогресс мануфактуры и отнятые от земли”. Такая экономическая политика представлялась ему неоправданной и губительной. “Будь эти миллионы добыты от избытка доходов с земли, — рассуждал он, — можно было бы мириться с этим прогрессом мануфактуры, но ужасно то, что

они отняты у нуждающейся земли... И что же выходит? Земледелие умирает, земледельцы разорены, и, вследствие этого, мануфактура, раздутая на счёт земледелия, начинает падать и разоряться за неимением заказчиков и покупателей". Вывод напрашивался сам собою: "Если бы деньги, ушедшие на мануфактуру, пошли бы на земледелие, оно бы теперь было бы цветуще... и, вследствие этого, явились бы естественные нужды в мануфактуре, рост которой стал бы прочен, так как он соразмерялся бы с потребностями народа и с состоянием земледелия. Ведь не ситцевая фабрика даёт возможность мужику купить себе ситцу для рубахи, а только земля"⁴².

Мещерский, впрочем, отдавал себе отчёт в том, что открытие внутреннего рынка для заграничной промышленной продукции привело бы к частичной или полной деиндустриализации страны: "А завтра отмените протекционизм, — писал он, — и три четверти наших фабрик закроются". Его, однако, подобная перспектива не особенно пугала, поскольку он считал, что крупные предприятия в этом случае будут успешно замещены кустарной промышленностью, которую угнетают фабрики и заводы⁴³. А от этого интересы большинства населения, состоящего из мелких производителей, только выиграют.

Приоритет сельскохозяйственной отрасли в народном хозяйстве являлся для князя аксиомой. "В хлебе наша сила, в хлебе богатство России", — звучало рефреном в журнале Мещерского. Именно в производстве хлеба русские "могли бы с наибольшим успехом состязаться на мировом рынке". Однако препятствует этому "слишком усердная погоня за промышленной самостоятельностью, требующей от нас громадных непосильных жертв"⁴⁴. Тягаться с развитыми индустриальными державами России не под силу, считали в "Гражданине". К тому же, "все промышленные товары имеют ограниченный район сбыта, но хлеб никогда не выйдет из моды. Вследствие естественных условий климата и почвы, мы ещё на многие столетия будем для Европы поставщиками хлеба"⁴⁵.

Агитация консерваторов за сохранение земледельческого характера экономики России объяснялась, в первую очередь, именно политическими мотивами, ведь "земледелие по природе своей строго консервативно, чуждо спекуляции, держится строгим строем и расчётом на долгие сроки, которых не терпит капиталистический оборот"⁴⁶. В условиях же "капиталистического оборота", свободных рыночных отношений земледелие неизбежно должно было оказаться в кабале у банка и сделаться придатком промышленности, утратив свой консервативный потенциал. "Город с его лихорадкой наживы и промышленных успехов высасывает из деревни её жизненные силы", — отмечалось в "Гражданине"⁴⁷. Мещерский был не одинок в своём алармизме, находя единомышленников в лагере социалистов-народников. "Хозяйственная деятельность всё более и более направляется в сторону хищнической эксплуатации сельского земледельческого населения торговым городом"⁴⁸, — писал, например, видный народнический экономист Н. Ф. Даниельсон.

Сетования Мещерского на подавление промышленностью "земледельческого дела", бесспорно, во многом отражали истинное положение вещей. Советский историк Г. П. Рындзюнский в своём исследовании "Крестьяне и город в капиталистической России второй половины XIX века" на богатом фактическом материале убедительно показал, что "селения и города с развитием капитализма не сближались друг с другом. Наоборот, нарастала противоположность города и деревни с подчинением последней городу"⁴⁹. Сельское хозяйство России служило донором финансовых и трудовых ресурсов для городской капиталистической промышленности, не получая адекватного возмещения.

Перспектива превращения России в страну хлебной монокультуры Мещерского нисколько не смущала. Именно в сельскохозяйственном производстве он видел основную роль России во всемирном разделении труда: "Россия сегодня, как и сто лет назад, — писал он, — призвана производить хлеб, чтобы кормить себя и Европу, а Европа призвана покупать хлеб на деньги, добываемые её фабричным, заводским и ремесленным трудом". Ему казалось возможным "держат всю хлебную торговлю в Европе в руках и ставить Европу в полную зависимость от нашего хлебного богатства"⁵⁰. В 1891 году, когда писались эти строки, Россия переживала голодный год, и она как никогда была далека от предназначенной ей Мещерским роли. Однако князь не считал свои замыслы маниловщиной. По его убеждению, истоки всероссийской голодовки надо искать только в том, что хлебное дело в стране отдано на про-

извол рыночной стихии. “В настоящее время, – писал он, – характер хлебной торговли до такой степени изменился, что на хлеб уже нет хозяина, то есть разума, знающего, когда нужно хлебу выжидать, когда нужно его продавать и как продавать, а есть только процедура скорейшего сбыта хлеба отовсюду через целую вереницу комиссионеров... Легко себе представить, что это превратившееся в хаос хлебное дело в России является одною из важных причин общего экономического упадка в государстве, где 9/10 рабочих рук доселе посвящены работе на земле”⁵¹.

Единственным настоящим хозяином хлеба в России, способным здраво и рачительно им распорядиться, могло быть только государство. Поэтому, считал князь, на любые операции с хлебом необходимо ввести такую же государственную монополию, какая введена Витте на водку⁵². Первоочередную задачу Мещерский видел в том, чтобы “сословие хлебных торговцев было совсем уничтожено, и посредником между помещиком и Европою и потребителем в России стало правительство посредством громадной, повсеместной агентуры элеваторов и складов”⁵³. Подобная мера, очевидно, послужила бы также к выгоде помещиков, которые получили бы гарантированный сбыт хлеба по монополюно высокой цене.

В развитие этой темы Мещерскому приходит в голову “мысль оригинальная и смелая, но в то же время верная”. Суть этой мысли “заключается в том, что хлеб должен быть в руках Русского правительства, – именно Русского, так как Россия одна из всех государств Европы представляет такое колоссальное из себя земледельческое царство, – таким же фондом и таким же регулятором его торговых и кредитных отношений к Европе, как и деньги. С этой точки зрения, так как Государственный банк является средоточием всех денежных отправлений Русского государства, – хлебные государственные склады должны быть постоянным средоточием другой активной русской экономической и даже политической силы – хлеба”.

Организация казённых зернохранилищ и создание государственного стратегического хлебного запаса позволит, по мнению Мещерского, решить ряд проблем, а именно: “1) государственное продовольствие всегда обеспечено от всяких случайностей неурожая и всех разнообразных его последствий; 2) государство раз навсегда полагает конец спекуляции на хлеб и всяким видам разоряющего народ хлебного кулачества; 3) государство всегда имеет на случай – чего не дай Бог – войны громадные резервы хлеба для дополнения того хлеба, который имеет в своих складах военное ведомство; 4) в случае нужды в хлебе за границею, Россия имеет всегда возможность не только регулировать доставку хлеба в нуждающиеся местности в Европе, но реализовать посредством государственного хлеба в данную минуту ту или другую для нас выгодную кредитную операцию, как, например, уплату процентов по долгам хлебом”⁵⁴.

Давая волю фантазии, Мещерский выдвигал смелую идею о введении своего рода “поземельной” или “хлебной” валюты в глобальном масштабе взамен золотого стандарта. Ведь, как полагали в “Гражданине”, золотое содержание денег не отражает никакой экономической реальности и служит лишь увековечению гегемонии промышленно развитых держав и международной финансовой олигархии. Господство финансового капитала, безличного и космополитического, спекулятивного и паразитического, закабляет и истощает, по мнению Мещерского, главные производительные силы – человека и землю. И он предлагал: “Для борьбы с капиталом, то есть с золотом, которое по мере того, что дорожает, всё сильнее угнетает землю, необходима конкуренция общего международного кредитного обменного денежного знака, обеспеченного землёю, который должен служить для земельной промышленности тем же двигателем или нервом, каким служит золото для заводской и фабричной промышленности”. “XIX век работал для капитала, и земля работала для него; XX век, – провозглашал князь, – призван работать для земли и против капитала”⁵⁵.

Понимая, что золотой стандарт является одним из мощнейших инструментов втягивания национальных экономик в мировой капиталистический рынок, Мещерский обрушился с резкой критикой на денежную реформу С. Ю. Витте 1897 года. “Это направление вашего ума на золото... это масонский замысел”, – писал он Витте, заклиная оставить “пока не поздно это дело”, которое осчастливит только “людей золота, банки, евреев и масонов”,

отдав “100 миллионов тёмного народа на бесконечную эксплуатацию будущих гешефтов на золото”. “С введением золотого обращения, — предостерегал Мещерский, — вы лишаетесь средств регулировать денежное обращение и от себя передаете регулирование самому золоту, то есть всем около золота и из-за золота бушующим страстям и спекулянтам... Жиды станут хозяевами денег в России вместо вас, и вы обратитесь из русского министра финансов в их приказчика...”

По мнению Мещерского, введение золотого стандарта рубля приведёт к закабалению России иностранным капиталом, так как Россия “слишком экономически слаба и всё ещё не вышла из неумелого и непрочного положения недоноса”⁵⁶. Поэтому, был уверен князь, “в день принятия мер к введению золотой валюты начнётся неравный бой между двумя воюющими сторонами: между министром финансов с его усилиями поддерживать золотое обращение и между всеми банкирами мира — это русское золото изъять из обращения в России и перевести за границу, и что вторая сторона в сто миллионов раз сильнее победить первую”. Исход этой борьбы заранее предreshён вследствие того, что “золото в стране с фиксированными курсами будет всегда предметом вождения для стран со свободным курсом, а потому всегда будет уходить из первой в последние”⁵⁷.

Вместо установления разорительного для государства золотого обеспечения князь Мещерский рекомендовал, “когда нужны деньги, поступать казне так: выпустить столько, сколько нужно, кредитных билетов”⁵⁸. Проблемы инфляции и поддержания курса рубля вследствие подобной финансовой политики, по его мнению, не могло возникнуть. “Выпуск кредитных билетов есть внутренний заём, основанный на историческом и несокрушимом доверии народа и государства к своему Государю! — уверял Мещерский Александр III. — Нужны деньги — должны быть деньги, как только эти деньги нужны для блага государства и интересов правительства. Бояться Европы вряд ли основательно. Жжём ли мы кредитные билеты или делаем мы их, где Европе это знать и проверять! Главное, чтобы в России не было застоя в нуждах и в промышленной жизни”⁵⁹.

Подобные идеи о финансировании экономического роста путём беспроцентных внутренних займов популяризировались в “Гражданине” ещё в начале 1870-х годов. Позднее, в преддверии денежной реформы 1897 года, доказательству преимуществ бумажного обращения посвятил немало сил и энергии Сергей Фёдорович Шарапов. Его известная книга на эту тему “Бумажный рубль. Его теория и практика” (СПб, 1895) первоначально печаталась отдельными главами именно в “Гражданине” в 1892–1893 годах⁶⁰.

В 1892 году на страницах “Гражданина” был напечатан любопытный трактат “В чём природа денег?”, автор которого, В. В. Ярмонкин, безапелляционно заявлял, что “политическая экономия ответа на этот вопрос не даёт или даёт совершенно ложный”. Все объяснения природы денег от Аристотеля и Ксенофонта до Адама Смита и В. П. Безобразова, по мнению Ярмонкина, “сущий вздор”. “Книжники и фарисеи”, начётчики и “талмудисты” от науки, а также журналистская “литературная тля” подкуплены плутократией и сознательно наводят тень на плетень в этом вопросе. Взвзвись раскрыть глаза “трудящемуся и эксплуатируемому человечеству” на тайну денег, Ярмонкин утверждал, что единственно справедливой формой обмена является натуральная, а “*денег не должно быть*”. Монетизация обмена, искусственная привязка денег к металлическому содержанию и наделение их собственной стоимостью произвели разрыв между производством и потреблением, и этот разрыв заполнили финансовые паразиты, наложившие лапу на сферу обмена: “В экономической жизни людей явление одно: “обмен продукта на продукт”, а людской самообман сделал из этого явления два. Теперь два человека: А и Б, из коих А имеет хлеб, но не имеет платя, а Б имеет платя, но не имеет хлеба, — не могут обменяться между собою, а *должны* ждать третьего человека, имеющего монету, и заплатить этому третьему комиссионный процент. В этом-то и заключается вся ложь, *насилие над природой* явления обмена”. Монетная система порочна не только тем, что даёт простор эксплуатации производителя посредником, но и тем, что сдерживает развитие производства, порождая бесконечные экономические кризисы. “Вы только подумайте, — восклицал Ярмонкин, — какие страшные миллиарды человеческого труда затрачиваются совершенно даром для того только, чтобы народить монету, а главное, что

прогресс человечества не может идти настолько, насколько он уже развился, а должен сообразовываться с количеством монет в жизни, иначе этот неодушевленный жид закричит *о перепроизводстве и о лишних людях!*.. Жид и монета регулируют развитие человеческого гения!..⁶¹.

В качестве средства против этого извращения естественного хозяйственного порядка Ярмонкин предлагал организацию “государственных торговых складов”. Суть идеи заключалась в том, чтобы частный производитель сдавал свою продукцию (прежде всего, разумеется, хлеб, но также и сахар, нефть, уголь, железо, медь и т. д.) в “закрома” государства, получая соответствующее количество “товарных” обменных знаков, чтобы затем приобретать за них на государственных же складах необходимые ему предметы⁶². Таким способом достигалась “смычка” производства и потребления, сбалансированность рынков и возможность устойчивого экономического роста. Одновременно уничтожались “те страшные пути в виде монетной системы, которые закабаляют человека, которые не позволяют жить человеку так, как он хочет, как велит ему его совесть, а заставляют его жить путём, указанным королями денежных бирж, процентщиками бесплодного металла”⁶³.

Разумеется, это могло быть задачей только на весьма отдалённую перспективу, а в качестве ближайшей практической меры консерваторы предлагали российскому правительству произвести национализацию кредитно-финансовой системы. Ещё в 1873 году в “Гражданине” была опубликована на эту тему работа М. Степанова “Плутократия”. “Кредит, – утверждал автор, – есть *мысленное* государственное богатство, общее и неделимое гражданское достояние, источник государственной власти и орудие государственного управления в хозяйственном отношении”. То есть кредитно-финансовая система является таким же государственным институтом, выполняющим общезначимые социальные функции, как, например, вооружённые силы или судебные учреждения. Поэтому “неделимость таких государственных богатств, каковы кредит, суд и войско, и необходимость общности владения ими всеми подданными составляют, очевидно, такое их свойство, которое ни под каким видом не допускает никого из подданных распоряжаться которыми-либо из них как своею собственностью”. Это, по Степанову, правильная система государственного управления. Если же происходит приватизация или узурпация какого-либо из трёх элементов власти частными лицами, государство утрачивает часть своего суверенитета. А “единовременное присутствие двух властей в государстве *никогда* ещё не обходилось без тайной или явной вражды их между собою”, ставящей общество на грань гражданской войны.

Именно так случилось в западных капиталистических странах. “Цивилизаторы Англии и Франции, – писал Степанов, – никогда не смотрели на кредит как на государственное богатство, которым никому, кроме правительства, *нельзя распоряжаться или управлять*, а, напротив того, всегда смотрели на него как на *товар*, которым можно предоставить каждому подданному право распоряжаться и управлять как своею собственностью, (по своему усмотрению)”. Вследствие чего “меньшинство среднего сословия (известное в прежнее время под именем ростовщиков, сборщиков податей, менял, ажиотёров и банкиров, а в настоящее время известное под общим и никому не понятным именем финансистов, и всегда состоявшее частью из туземцев и частью из евреев и других иностранцев) захватило в свои руки разными путями, с согласия и без согласия правительств, сначала торговлю кредитом, а потом и исключительное право распоряжаться и управлять этим общенародным достоянием как своею собственностью, по своему усмотрению”.

Опираясь на свое финансовое могущество и прикрываясь конституционными декорациями, крупная буржуазия подминает под себя государственную власть. Об этом красноречиво свидетельствует опыт тех же Англии и Франции, где “всегда было *два* управления: одно – которое, управляя судом и войском, называло себя *правительством*, другое – которое, управляя кредитом, называло себя представителем народа, но которое, в сущности, всегда было ничем иным, как хозяйственным правлением, состоявшим из *меньшинства* среднего сословия или финансистов, <o> е<сть> было *плутократиею* или правлением богатых людей; что же касается до *народного* представительства, то в действительности, как всем знающим историко хорошо известно, оно никогда не существовало ни в Англии, ни во Франции. Везде, где было учреждено народное представительство, везде разного рода системы подкупок

всегда господствовали над волею избирателей”. Засилье плутократии ведёт к резкой поляризации общества и росту социальной напряжённости. Поэтому будущее государств, попавших в кабалу “плутократов-финансистов, называющих себя либералами”, “не обещает ничего, кроме взрывов, восстаний и революций более грозных и более кровопролитных, чем те, какие они до сих пор испытали”.

В России процесс формирования плутократии ещё не зашёл так далеко, как на Западе. Однако реформы царствования Александра II уже создали благоприятные условия для стремительного возрастания могущества торговцев кредитом. В 1859 году под влиянием “умозрений западных финансистов” государство отказалось от монополии поземельного кредита, воспользовавшись чем, финансисты “путём учреждения *акционерных поземельных банков* начали делить русское землевладение по отношению к кредиту на части, начали отделять землеладельцев от их общей русской землевладельческой семьи, делать их единично своими *должниками* и, эксплуатируя их собственность, ставить их под своё кредиторское *владычество*”. То же самое происходит и в области промышленного кредита.

Торговля кредитом, частная собственность на деньги, по убеждению Степанова, разрушительна для национальной экономики и государства, а выгода лишь международной финансовой олигархии: “Страшный наплыв к нам евреев и других иностранных финансистов, банкиров, ажиотёров, спекулянтов, присоединение к ним всякого звания русских финансовых дельцов и купное их всех быстрое обогащение ясно доказывают, что *финансистам вполне дозволено почитать кредит в России не государственным богатством, а товаром, не общим и неделимым гражданским достоянием, а собственностью тех финансистов, которые его захватят в своё распоряжение, не источником государственной власти правительства, а источником власти финансистов, и, наконец, не орудием государственного управления, а орудием плутократии для безнаказанной эксплуатации благосостояния всех русских граждан, не занимающихся вредною для государства торговлею кредитом*”⁶⁴.

Верховной российской власти, полагал Степанов, необходимо опомниться и вернуть кредитные операции в исключительное ведение государства, иначе ему грозит вырождение в буржуазно-плутократический режим. Поэтому издатель “Гражданина” князь Мещерский категорически возражал против любых попыток акционирования Государственного банка (или, как он выражался, попыток “переустройства государственного банка в кулако-русско-еврейский”⁶⁵), видя в этом покушение на прерогативы самодержавной власти в финансовой сфере. Князь настойчиво требовал возвращения государству монополии кредитных операций: “Оставайся банковое дело, как это было до разрешения частным лицам открытия земельных и учётных банков, разных контор и ссуд, исключительно в крепких руках правительства, конечная задача которого — достижение и упрочение государственного благосостояния, а не ненасытные стремление к наживе посредством эксплуатации всех и всего, — отечественные землевладение, промышленность и торговля не были бы в настоящем жалком и безвыходном положении. Во всяком случае, масса народного капитала, переплаченного по всевозможным банковым операциям, будучи государственным доходом, увеличила бы собою народное достояние, а не ушла бы в бездонные карманы жидов, плутократов, разных аферистов и за границу...”⁶⁶.

От взгляда Мещерского не укрылось, что сфера обращения современного капитализма, привнесённая в Россию из развитых стран Запада, угнетает и разрушает традиционные отрасли российской экономики, сохранившие много докапиталистических черт, прежде всего сельское хозяйство: “Банки, биржи и вообще частная предприимчивость, — писал он, — живёт и богатеет на счёт полного бессилия внутренней производительности”⁶⁷. Как один из тягчайших пунктов обвинения на страницах “Гражданина” фигурировало то, что “банки являются палачами помещиков”. Оплакивая участь заёмщиков ипотечных кредитных учреждений, Мещерский писал: “Как русалки коварные, эти банки заманили в свои трясины несчастных землевладельцев, и они потонули в их объятиях”⁶⁸. Тем самым, тихо и незаметно, под личиной объективного экономического процесса размывалась социальная база и подтачивались устои самодержавия намного глубже, чем это могли бы сделать прокламации и бомбы революционеров.

“Биржа очень похожа на столицу сатаны, именуемую Монте-Карло с его рулеткой”⁶⁹, — считал Мещерский. “Биржевая эпоха теперь у нас ненормальна, — констатировал князь в период грюндерской лихорадки середины 1890-х годов, — её можно назвать, скорее всего, болезненной. Болезнь заключается в дутости всех почти цен на бумажные спекулятивные ценности... Эта дутость цен — опасный симптом положения вещей, и не минует день, когда все эти ни на чём не основанные высокие цены сразу падут страшно, и тогда биржа будет подобием Геркуланума и Помпеи — от прошлого останутся только развалины”⁷⁰.

Когда же предсказанный им финансовый коллапс произошёл и разразился экономический кризис 1900–1903 годов, князь выразил убеждение, что в “сто тысяч раз лучше быть спасаемым от банковских крахов опекою правительства над банками, чем быть панурговым стадом в руках безответственных вампиров-банков”⁷¹. Способы к этому предлагались князем в духе будочника Мымрецова: “Стоило бы правительству поставить по городовому в каждый банк с лозунгом *цыц*, чтобы нам прекратить эти спекулятивные шалости и стать на путь более благоразумного и более производительного для государственной экономической жизни обращения с деньгами”⁷². Меры государственного вмешательства предлагались и для “обуздания биржи”⁷³. По поводу исхода борьбы капитала и самодержавия в “Гражданине” выражали сдержанный оптимизм: “В борьбе, переживаемой ныне человечеством за власть или за деньги, последнее слово далеко ещё не сказано, и победа власти может оказаться столь же неожиданной и полной, какую нынче празднуют деньги”⁷⁴.

В целом, рассуждения консерваторов относительно борьбы со “злыми духами” капитализма могут показаться наивной “реакционной романтикой”. Отчасти так оно и есть. Действительно, трудно представить, как смогла бы Российская империя в конце XIX столетия существовать в качестве независимого государства в условиях натурального хозяйства, “обрывания” телеграфных проволок и разрушения железнодорожных путей. Давлению мировой капиталистической системы не смогла бы противостоять одна страна, даже такая большая, как Россия. Необходимы были могущественные союзники, целая коалиция государств, разделяющих традиционные ценности и способных совместно оказывать сопротивление торгашеской цивилизации. Между тем виттевская политика промышленного протекционизма, золотого стандарта и привлечения иностранного капитала неизбежно приводила Россию к столкновению с её традиционным партнёром и союзником — Германией — и бросала в объятия западных буржуазно-либеральных (“жидо-масонских”, в терминологии консерваторов) демократий — Франции и Англии. Уже в 1893 году был заключён русско-французский военный союз против Германии, а в 1904–1907 годах, с присоединением к нему Англии, сложилась Антанта, втянувшая Россию в ненужную ей и погубившую её Первую мировую войну. Консерваторы, особенно “Гражданин” князя Мещерского, уже в 1880-х годах резко выступали против противостественной ориентации традиционалистской самодержавной России на атлантический Запад в надежде получить от него капиталы, займы и инвестиции для насаждения отечественной капиталистической промышленности.

Гораздо органичнее, с точки зрения консерваторов, был бы союз с монархической Германией, где, как и в России, помещичий класс (юнкеры) ещё сохранял политическое господство, а в общественной жизни преобладал консервативный дух, который Освальд Шпенглер охарактеризовал как “прусский социализм” (1920). В этом “прусско-социалистическом” духе германского государства сочетались идеи военной дисциплины, иерархии и “борьбы за счастье не отдельных лиц, а целого”. Главного врага этих идей Шпенглер видел в “английской капиталистической этике”, отстаивающей “право быть счастливым за счёт всех остальных, если достаточно силён для этого”, и презирающей тех, кто “держится за жалкий предрассудок, что следует предпочитать добродетель богатству”. Роковой вопрос для судеб человечества ставился Шпенглером так: “Должна ли в будущем торговля управлять государством или государство — торговлей?”⁷⁵. Соединение “старо-прусского социализма” военного дворянства и служилой бюрократии с антикапиталистическим движением трудящихся масс могло бы дать перевес принципу “один за всех и все за одного” над принципом “каждый за себя”.

В таком же ключе рассуждал известный немецкий социолог Вернер Зомбарт в книжке “Торгаши и герои” (1915). По словам Зомбарта, “торгашеский

дух” превратил “человеческое общество в муравейник”, в котором мы видим только, “как люди окончательно погрязают в своём благополучии, как они спариваются, набивают себе живот и опорожняют кишечник, как они суетятся по жизни без всякого смысла”. “Мы скапливали горы богатства, но знали, что от него не проистечёт благодать, — сокрушался Зомбарт, — мы создали чудеса техники — и не знали, зачем... мы мечтали о прогрессе, по ступеням которого и дальше продолжалась бы бессмысленная жизнь: больше богатства, больше рекордов, больше рекламы, больше газет, больше книг, больше театральных пьес, больше знаний, больше техники, больше комфорта... Но осмотрительному человеку всё время приходилось спрашивать себя: зачем? зачем?.. Жизнь без идеалов — это действительно вечное умирание, загнивание; смрад, распространяемый разлагающимся человечеством, поскольку оно утратило идеализм, как тело, из которого вылетела душа”. Поэтому-то пришла пора возвысить исконно германские героические идеалы долга, авторитета, единства. Критерием любой деятельности, включая промышленную и предпринимательскую, должна стать не личная выгода, а “благо целого”, только тогда эта деятельность приобретёт смысл и перестанет быть пустопорожней суетой, тараканьими бегами в никуда. И тогда Германия осуществит всемирно-историческую миссию “последней преграды, сдерживающей напор того потока нечистот, который изливается от коммерциализма и который либо уже захлестнул, либо в будущем неизбежно захлестнёт все остальные народы”⁷⁶.

Немецкие правые интеллектуалы как будто переписывали почти дословно то, что за 30–40 лет до этого высказали о капитализме русские консерваторы, хотя, несомненно, вдохновлялись собственной национально-консервативной традицией. И действительно, крайне правая немецкая газета *Kreuzzeitung*, выразившая интересы консервативного дворянства, заявила в номере от 3 июня 1885 года: “От роялистских, консервативных воззрений позволительно наводить мосты даже к социалистическим убеждениям; к буржуазным — никогда”. Наведением этих мостов германские консерваторы занимались в течение всего XIX столетия в целях солидарной “борьбы против капиталистического либерализма” и “ликвидации привилегий крупного финансового капитала”. Немецкие помещики-аграрии, объединившись в 1893 году в “Союз сельских хозяев”, в своей программе провозгласили: “Сегодня нет никакой государственно-охранительной политики, которая не отождествлялась бы также с антикапиталистической экономической политикой”⁷⁷.

Несомненное духовное сродство, общие взгляды на узловые проблемы современности, одинаковое неприятие атлантической торгашеской цивилизации обуславливало прогерманскую ориентацию русских правых. Исходя из этого духовно-идеологического сродства, они и предлагали своему правительству вместо того, чтобы ввязываться в жестокие таможенные войны с Германией, открыть для её промышленных товаров российский рынок, получив взамен право беспопытного экспорта русского хлеба в Германию. Взаимодополняющие экономики двух политических и идеологически однородных государств обеспечили бы общее процветание и нерушимый военно-политический союз, делающий их неуязвимыми для капиталистического Запада. К русско-германскому альянсу должны были примкнуть Австро-Венгерская и Османская империи, образовав нечто наподобие Священного Союза времён Александра I и Николая I.

Между прочим, подобная комбинация рисовалась и В. И. Ленину, когда он в тяжёлой обстановке апреля 1919 года рассуждал о месте России в международном разделении труда в случае установления в европейских странах социалистического строя: “Экономическая роль России в жизни будущей коммунистической Европы будет основана на развитии сельского хозяйства. В русской земле кроются неизмеримые богатства, способные в немалой степени обеспечить благосостояние всего человечества. В других странах будет развиваться промышленность, обеспечивая нужды международного сообщества советских государств, но Россия будет снабжать рабочих хлебом насущным”⁷⁸. Как видим, Ленина ничуть не пугала перспектива сохранения за Россией преимущественно аграрного типа хозяйства при наличии вокруг неё пояса дружественных, с односторонним социальным и политическим строем стран, располагающих более мощной промышленной базой. В таком случае не понадобились бы те форсированные, мучительные для крестьянства способы индустриализации, к которым вынуждена была прибегнуть советская власть

в 1930-е годы, находясь в одиночестве в непримиримо враждебном и агрессивном окружении индустриально развитых капиталистических государств. Так же мыслили и консерваторы в конце XIX века, разумеется, в категориях иного, нежели ленинский, социализма.

Русским консерваторам, несмотря на близость некоторых из них к властным сферам, к самим государям, не удалось осуществить ни одного из пунктов своей антикапиталистической программы. Политика правительства и в период реформ Александра II, и во времена виттевской индустриализации 1890-х годов явно шла наперекор устремлениям консерваторов: нарезали ломтями русскую землю железные дороги, взмывали над церковными куполами чадящие фабричные трубы, вползал змеей на Святую Русь иностранный капитал, а в гнезде у двуглавого орла вместо орлят начали вылупляться жирные каплуны: банки, биржи, акционерные компании. Наконец, Россия православно-славного “Белого Царя” присягнула на верность “Великому Буржуинству” – Антанте. И верноподданные консерваторы всякий раз оказывались в неловой и противоестественной ситуации – в оппозиции к правительству государя императора, что не могло не действовать на них деморализующим образом, ослабляя волю и решимость сопротивляться гибельному, с их точки зрения, курсу. Однако у консерваторов оставался ещё один, последний несданный рубеж антикапиталистической обороны – вопрос о земле, точнее, о собственности на землю.

В конце концов, любая общественно-экономическая формация определяется характером собственности на важнейшие средства производства (в России той поры – это, безусловно, земля). Недаром победоносные буржуазные революции в Европе так спешили конституционно закрепить право “священной и неприкосновенной” частной собственности. Уже спустя месяц после штурма Бастилии французское Учредительное собрание утвердило “Декларацию прав человека и гражданина” (26 августа 1789 года), в статье 17 которой провозглашался “священный и неприкосновенный” статус собственности. В 1791 году “Декларация” была включена в текст первой Конституции Франции в качестве преамбулы, определяющей идеологической и аксиологической смысл документа. Положения о частной собственности, несмотря на все политические пертурбации, остались неизменными и в якобинском, и в наполеоновском законодательстве, став краеугольным камнем новой нации собственников, нации-буржуа во Франции XIX века. Именно этот буржуазный собственнический дух, обуявший французскую нацию снизу доверху, внушал брезгливость А. И. Герцену и заставил его в поисках социалистических перспектив обратиться от пошлого и мелочно расчётливого западного мешанина к русскому мужику. Такой же шок испытал и Ф. М. Достоевский, когда впервые посетил Западную Европу в 1862 году и обнаружил там вместо прежнего одновременно и христианского, и просветительского культа истины, братства и справедливости всеобщее поклонение миллиону. Вместо взыскующих *града нездешнего*, хотя бы наподобие блаженного мечтателя Ш. Фурье, – только одержимых манией стяжания и накопления буржуев и буржуйчиков. Во Франции, отмечал Достоевский, даже “работники тоже все в душе собственники: весь идеал их в том, чтоб быть собственниками и накопить как можно больше вещей”. А уж “французские земледельцы архисобственники, самые тупые собственники, то есть самый лучший и полный идеал собственника, какой только можно себе представить”. На такой-то почве *частной*, обособленной и с отдельной личностью соотнесённой собственности, лежащей в основании не только общественного строя, но самой культуры нации, не могло возникнуть никакой подлинной коммунальности, никакого живого “братства”, какие бы лозунги ни кричали на революционных площадях. А возникло и утвердилось “начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в своём собственном Я, сопоставления этого Я всей природе и всем остальным людям как самоправного отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме него”⁷⁹. Отсюда естественно выросло так называемое “гражданское общество” Запада, основанное на “общественном договоре”, точнее на системе бесчисленных договоров и контрактов всех со всеми, назначение которых – не столько скреплять индивидов в общность, сколько проводить между ними всё новые и новые границы, возводить всё новые юридические стены, чётко разделяющие Я и не-Я, моё и твоё. Единственной связью между ними остаётся

рыночный обмен, неограниченная свобода коего, наряду с частной собственностью, стала одной из важнейших предпосылок западного капитализма.

“Экономический индивидуализм (подвижный, вполне свободный капитализм...) — вот что пожирает Европу, по-видимому, *безвозвратно*, несмотря на её богатство”, — считал К. Н. Леонтьев. Механизм этого “пожирания” Леонтьев описывал на языке своей теории “вторичного смесительного упрощения”, которое настагает народы на нисходящей траектории их истории и является симптомом предсмертной агонии. Такова именно буржуазная эпоха, которая подвергает редукции все качества человеческой личности, кроме рыночной оборотистости, и наделяет ценностью только то, что можно продать и превратить в деньги. В прежние времена “цветущей сложности”, плодородного разнообразия культуры “Моисей входил на Синай, эллины строили свои изящные Акрополи, римляне вели Пунические войны, гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах”. И эти события человечество благоговейно отмечало в своих летописях как собственное высшее проявление. В буржуазный век за высшее стали почитать Ротшильда и его миллионы или, точнее, миллионы как таковые, поскольку отними у Ротшильда и любого другого капиталиста его капиталы, и он предстанет таким же серым ничтожеством, какова вся масса современных “*средних людей*, которые суть и главное орудие смешения, и представители его, и продукт”.

В победе торгашеских идеалов, в фетишизации капитала, становящегося универсальным мерилем, Леонтьев видел прискорбное доказательство дегенерации европейской культуры. “Торговля необходима, — рассуждал он, — торговля в государстве то же, что пищеварение в теле; и без пищеварения нельзя; но никто не считает пищеварение отправлением высшим, и нельзя идею торговли возводить на пьедестал, наравне с гражданской доблестью, с поэзией, с военными подвигами...”⁸⁰. Но как раз такой извращённый порядок вещей и возобладал на капиталистическом Западе. Как пищеварение превращает преизобильное разнообразие праздничного пира в качественно однородную и малопривлекательную массу, так и торгашеская цивилизация, всё оценивая на деньги, прилагая ко всему чисто количественную мерку капитала, выступает неумолимым усреднителем, приводящим к общему знаменателю несоизмеримые, казалось бы, вещи: панталоны и булки, стихи Пушкина и клистирные трубки, оперы Чайковского и зубные протезы. Денежный эквивалент обезличивает любую индивидуальность, стирает разницу между добром и злом, истиной и ложью, красотой и безобразием. Всё это становится только перечнем номенклатуры товаров, имеющих текущую курсовую стоимость на бирже. То же самое делает с живой природой и так называемая “точная” наука, своим математически бесстрастным и мертвенным взглядом превращая многокрасочность Божьего мира в страшенькую реальность атомных масс⁸¹.

И эта выморочная реальность, это унылое “царство количества”, предсказывал Леонтьев, будет невыносимо для человека, даже если взамен прежней подлинности и полноты бытия он получит сытость и материальное довольство. “Однородное буржуазное человечество, — писал он, — или задохнётся от рациональной тоски и начнёт принимать искусственные меры к вымиранию (например, стоит только приучить всех женщин перед совокуплением впрыскивать известные жидкости, и они все перестанут рожать; это очень легко, нужно только, чтобы к этой мысли люди привыкли); или начнутся последние междоусобия, предсказанные Евангелием; или от неосторожного и смелого обращения с химией и физикой люди, увлечённые оргией изобретений и открытий, сделают, наконец, такую исполинскую физическую ошибку, что и “воздух, как свиток, совьётся”, и “сами они начнут гибнуть тысячами”...”⁸². Сегодня мы можем добавить, что гибель человечества способен повлечь за собой и какой-нибудь безумный эксперимент геной инженерии, произведённый по заказу капиталистов, слепых и глухих ко всему, кроме иррациональной погони за сверхприбылями.

Консерваторы надеялись, что на пути этого фатально надвигающегося на Европу самоуничтожения встанет Россия, пока ещё только поверхностно затронутая торгашеской цивилизацией. Влияние частной собственности, буржуазной ментальности и индустриальной культуры было здесь ещё очень сильно ограничено гигантским континентом крестьянского мира и не проникло за

пределы немногочисленных крупных городов. “Мы видим современную Россию как бы раздвоившуюся, – писал В. П. Мещерский. – В России стало как бы две России: либеральная Россия столиц и городов, пределы которой кончаются станциями железных дорог, и Россия здравого смысла, начинающаяся за пределами этих линий и рассеянных по ним городских оазисов”. Городская буржуазная Россия с её искусственной средой обитания, образом жизни и даже категориями мышления целиком импортирована с Запада. “Другая Россия” – Россия аграрная, Россия крестьянская, сохраняющая традиционное, докапиталистическое жизнеустройство. Эта “другая Россия живёт собственным умом, желая устроения своей жизни по собственному разумению, на основах своей истории, в стремлении к своим идеалам”. Тогда как городская “либеральная Россия гонит Христа”, “крестьянская (она же христианская) Россия зовет Христа и молит об устроении своей жизни по его учению, по-божески, по справедливости, а не по измышленным новейшим теориям, из которых ни одна пока не привилась к жизни и не дала счастья человечеству”⁸³.

Устойчивость крестьянского земледельческого хозяйства в его противостоянии капитализму обеспечивала мирская собственность на землю. Эта форма собственности была юридически закреплена в таком фундаментальном государственно-правовом акте, как “Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости” от 19 февраля 1861 года, что давало всем антикапиталистическим силам в России как слева, так и справа твёрдую точку опоры для организации активной обороны против притязаний Капитала. Именно поэтому мирское землевладение и общинная организация русской деревни подвергались наиболее ожесточённым атакам буржуазно-либеральной идеологии. Ф. М. Достоевский ещё в 1865 году излагал соответствующую программу либералов от лица некоего “капиталиста при делах-с”: “Нам нужна, говорит, промышленность, промышленности у нас мало. Надо её родить. Надо капиталы родить, значит, среднее сословие, так называемую буржуазию надо родить. А так как нет у нас капиталов, значит, надо их из-за границы привлечь. Надо, во-первых, дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, как везде утверждено теперь за границей. “Общинная собственность – яд, говорит, гибель!” – И, знаете, с жаром так говорит... С общиной, говорит, ни промышленность, ни земледелие не возвысятся. Надо, говорит, чтоб иностранные компании скупили по возможности всю нашу землю по частям, а потом дробить, дробить, дробить как можно <более> в мелкие участки, и знаете – решительно так произносит: “Др-р-робить”, – говорит, а потом и продавать в личную собственность. Да и не продавать, а просто арендовать. Когда, говорит, вся земля будет у привлечённых иностранных компаний в руках, тогда, значит, можно какую угодно цену за аренду назначить. Стало быть, мужик будет работать уже втрое, из одного насущного хлеба, и его можно когда угодно согнать. Значит, он будет чувствовать, будет покорен, прилежен и втрое за ту же цену выработает. А теперь в общине что ему! Знает, что с голоду не помрёт, ну и ленится, и пьянствует. А меж тем к нам и деньги привлекутся, и капиталы заведутся, и буржуазия пойдёт...”⁸⁴.

Буржуазия пойдёт – и скovyрнёт помещика с вершины социальной пирамиды, что прекрасно понимали консерваторы. Поэтому защита общинного землевладения и укрепление мирской организации крестьянства со времён славянофилов всегда занимали центральное место в идеологических построениях правых традиционалистов. “Надежда на общину – есть надежда на Россию”, – писал К. Н. Леонтьев⁸⁵. Последовательным и авторитетным сторонником крестьянской общины – и как признанный в научном сообществе учёный-правовед, и как крупный государственный деятель – выступал К. П. Победоносцев. “Стремясь на основании общих отвлечённых начал к водворению экономической свободы, можно породить свободу нищенства, которая повсюду бывает самым худшим видом рабства, – писал он. – Напротив того, для обеспечения личности от бездомства и пролетариата община представляет единственно практическое средство”. По убеждению Победоносцева, “земля такой товар, который опасно бросить на вольный рынок, подобно всякому иному товару”⁸⁶, а значит, она нуждается в ограждении от приватизаторских вождедений либералов-рыночников. У Победоносцева нашлись единомышленники в правительстве; благодаря их усилиям был инициирован и 14 декабря 1893 года утверждён императором Александром III важный закон “О неотчуждаемости крестьянских надельных земель”, согласно которому за-

прещался залог общинной земли, а продажа наделов допускалась только членам той же общины, но не более двух в руки одного владельца. Таким образом, существовавшие законодательные лазейки для вовлечения в рыночный оборот крестьянской земли были устранены (такowymi являлись статьи 162, 165, 169, 170 “Положения о выкупе” 19 февраля 1861 года, предусматривавшие возможность продажи и залога тех наделных земель, по которым выкупная ссуда была полностью выплачена).

Консерваторы дружно приветствовали закон 14 декабря 1893 года. Один из авторов “Гражданина” удивлялся, почему “прекрасный закон 14 декабря 1893 года, по которому крестьянский надел земли, дом, инвентарь неприкосновенны, не распространён для землевладельцев всех сословий, в том числе и дворян”. “Закон этот, – по его мнению, – должен быть общим достоянием в земледельческой стране”⁸⁷. Идея распространения на дворянское землевладение принципа сословной неотчуждаемости была впервые высказана в печати К. Н. Леонтьевым ещё в 1880 году⁸⁸, её поддержал К. П. Победоносцев в 1889 году⁸⁹. За неотчуждаемость помещичьих имений в 1903 году эмоционально выступил С. А. Нилус, назвав допущение после реформы 1861 года свободного рыночного оборота дворянских земель “уголовно-историческим преступлением”. “По существу русской государственной идеи, – считал Нилус, – земля русская не есть собственность частная, а есть собственность государственная. Истинный её Хозяин – Православный Русский Царь. Она может быть жалована... , но под непременною условием службы поместной или поместно-государственной”⁹⁰. Как оно и было встарь, в допетровской Руси.

Тогда, как утверждал “Гражданин” князя Мещерского, “Цари Московские считались одни собственниками Земли Русской: раздавая имения своим служилым людям, они требовали от них отбытия той или другой службы-повинности”. Однако “при освобождении крестьян принцип этот был совершенно забыт; всё, что осталось от него, подверглось коренной ломке и уничтожению. Политическое знамя было – свобода полная, неограниченная, никаких стеснений, никаких ограничений и никакой поддержки”. Под впечатлением подобной экономической политики “одурелое, испуганное дворянство решило, что время смерти настало, пора очистить честь и место лицам других сословий: кулакам, ростовщикам, проходимцам”. Усилиями либералов в правительстве “всё было роковым образом направлено к тому, чтобы переход дворянских имений в их руки был облегчён до крайности. Частные банки, частные финансовые предприятия прямо к тому вели: принцип вольной торговли торжествовал, а земля и землевладение потеряли своё государственное значение, утратили свою устойчивость, и земля обратилась в товар, а земледелие – в промысел и торговлю”. Применение этих либеральных принципов в экономике имело и серьёзные политические последствия: “Государство бессознательно отказалось от своих верховных прав на Русскую Землю, передало права эти дельцам берлинской биржи, которые явились участниками правительства в его правах над Россиею. Но зато принцип торжествовал: *laisser faire, laisser passer...*”⁹¹.

Иными словами, курс на развитие капитализма, буржуазные методы управления экономикой не принесли обещанного процветания и оказались губительны не только для дворянского сословия, но и для государственного строя и даже суверенитета России.

Допущение капиталистических отношений в область землевладения, полагали в “Гражданине”, повлечёт катастрофические последствия для всего старого порядка. Пессимистический сценарий на эту тему был представлен в программной статье П. Н. Семёнова. “Мы можем, – рассуждал он, – дать полный простор капитализму и пойти по европейскому шаблону к развитию мелкой собственности, подобно Франции, к поголовному разорению землевладельческого населения и обращению его в колоссальный по своей численности пролетариат. Насытить этот пролетариат, конечно, не в силах будет наша фабричная промышленность, пока ещё раздутая искусственно по сравнению с американскою, английскою и германскою, развившихся вследствие избытка накопившихся капиталов. Нам не миновать в этом случае развития биржевой игры с землёю как с товаром и временного поэтому упадка земледельческой культуры. Верными шагами пойдём мы тогда к обезземеливанию важнейших в государстве сословий, крестьянского и дворянского, и, следовательно, к уничтожению вообще сословного строя в государстве и потом последова-

тельно — к ниспровержению, как во Франции в конце прошлого века, всего существующего порядка. Путь очень ясный и определённый, не требующий особой дальновидности...».

Этот путь достаточно выявился в течение нескольких пореформенных десятилетий: «Исконное дворянское землевладение, с освобождением крестьян отданное в порабощение нахлынувшему на Россию капиталу и достаточно уже расстроенное им в какие-нибудь 37 лет, тает ежегодно. На смену дворянскому сословию в поместном землевладении является случайная группа людей новой формации, не могущая заменить дворянство в его традиционном культурном поместном значении, не имеющая решительно никакой связи с землёю и народом, смотрящая на землю только как на средство наживы и обращающаяся с нею, при нынешнем экономическом положении России, как с товаром, с ценностью». Эти люди «новой формации» превращают землю в предмет биржевой спекуляции, манипуляции с ценными бумагами, что нисколько не способствует повышению продуктивности сельского хозяйства. Поэтому «земледельческий центр России с коренным великорусским населением оскудевает».

Сохранение русской земли неотчуждаемой составляет, по убеждению Семёнова, «наше историческое призвание». И «как оно должно быть ненавистно капитализму, — восклицал он, — если только представить себе, что сотни миллионов десятин крестьянской земли надолго ещё могут быть независимы от капитала и что под громадную ценность этой земли никак нельзя будет извлечь на биржу бумажных ценностей на целые миллиарды рублей, около которых могли бы греться тысячи жидков и спекулянтов, переводя эти бумаги из кармана в карман ближнего и наживаясь без труда из кармана чужого! Каких только ухищрений не будет пущено в ход представителями капитализма, чтобы свернуть Россию с её исторического пути в деле землевладения!» Но, к счастью, Россия, в отличие от других европейских государств, имеет то, что внушает надежду на её более счастливую судьбу, — «наше спасительное неограниченное единодержавие — власть, которая сильнее капитала и которая ещё может повести Россию по пути, независимому от законов его гнёта и порабощения». В противном случае, «если жизнь России пойдёт к капиталистическому строю, то есть по западноевропейскому шаблону, то наша культура не переживёт европейской и погибнет вместе с нею»⁹².

Наиболее смелый среди консерваторов проект антикапиталистического будущего для России сформулировал в своих произведениях К. Н. Леонтьев. «Главные исторические основы нашей русской жизни три: Православие, Самодержавие и поземельная община»⁹³, — считал он и именно на этих основах предлагал строить спасительный ковчег, который убержёт Россию от «всепожирющей буржуазности» и избавит от неизбежной кровавой развязки противоречий капиталистического общества на Западе. «Чувство моё пророчит мне, — писал Леонтьев, — что славянский православный царь возьмёт когда-нибудь в руки социалистическое движение (так, как Константин Византийский взял в руки движение религиозное) и с благословения Церкви учредит социалистическую форму жизни на место буржуазно-либеральной. И будет этот социализм новым и суровым трояким рабством: общинам, Церкви и Царю»⁹⁴.

По убеждению Леонтьева, согласного с А. И. Герценом и Ф. М. Достоевским, западноевропейское социалистическое движение вдохновляется *ressentiment*'ом, то есть завистью, злобностью и комплексом неполноценности со стороны черни к сытым и преуспевающим верхним классам. Ничего иного, кроме лютой и кровавой мести, насильственного поравнения, выкалывания глаз Копернику и вырезывания языка Шекспиру, победа этой одичавшей и осатаневшей черни произвести не сможет. Грядущий социализм будет восхождением человечества на новую ступень этического и эстетического совершенства только в том случае, если его движущей силой станут не низменные вождения и пошлые идеалы потребительства и уравниательства, ревнивого ко всему из ряда вон выдающемуся, а христианские чувства великодушия, с одной стороны, и смирения — с другой. В России наличествуют наиболее благоприятные условия для реализации такого «охранительного», «православного» социализма, так как здесь буржуазный дух не разъял ещё аристократические добродетели российского дворянства; оно не перестало ещё быть благородным, то есть способным к великодушной жертве своими личными выгодами ради общих и высших интересов, а Пожарских и Суворовых не вытеснили ещё окончательно с исторической сцены Разува-

евы и Колупаевы. Русский мужик, стеснённый общинной дисциплиной, ещё не запродав свою землю кулаку и спекулянту, ещё не выварился в фабричном котле и не вывалялся в рыночной грязи, не променял ещё идеал “мадоннский” на идеал “маммонский” и “содомский”. Ещё сияли посреди Святой Руси древние монастырские обители, в которых не перевелись ещё прозорливые и мудрые старцы, способные указать смятенным и потерянным людям путь Истины и Жизни. Ещё в силе была Власть Царская, Самодержавная, *недоступная звону злата и могущая*, как казалось Леонтьеву, исполнить миссию “удерживающего” Россию от “буржуазно-плутократического либерализма”.

“Социалистическая монархия” рисовалась Леонтьеву сложноподчинённой системой сословно-корпоративных групп, прикреплённых к земле. Каждая из этих сословно-корпоративных групп наделялась определённым перечнем обязанностей, прав и привилегий, как во времена средневекового феодализма. Ядром системы надлежало стать общежительным монастырям (киновиям) наподобие Оптиной пустыни или Афона (“Афон, как образец реального, но не реалистического социализма”, – так назывался один из черновых набросков Леонтьева⁹⁵). В киновиях должен был осуществляться самый строгий монастырско-коммунистический порядок, не предусматривавший ни равенства, ни свободы, ни личной собственности для своих членов. Это позволило бы культивировать у монахов-киновиатов совершенные христианские качества: смирение, терпение, послушание, нестяжательство, задавая образцы благой жизни всем остальным сословным группам и общинам. Их Леонтьев называл “мирскими монастырями”, и режим в них предполагался менее суровый, нежели в киновиях. В крестьянских общинах отсутствие частной собственности на землю и свободы самоопределения смягчалось бы привычным демократическим равенством во внутренних отношениях их членов. Наконец, в помещичьих вотчинах известная личная свобода сдерживалась бы неравенством и принципом неотчуждаемости земли. Леонтьев допускал, что в каких-то отдельных сегментах общественного организма, для некоторых групп, в интересах функционирования целого, могут быть дозволены и частная собственность, и личная свобода, и какие-то ещё вольности и послабления. Однако, дабы не послужили они дурным примером и соблазном для прочих, над ними, да и над всеми остальными подсистемами должна грозно нависать неограниченная самодержавная власть, всегда готовая обрушить свою карающую длань на любого потенциального растлителя монастырско-коммунистического образа жизни.

Начало принудительности, стеснения и обуздания вообще играло преобладающую роль в “охранительном социализме” Леонтьева, но это нимало его не смущало: “Рабство есть и теперь, при капиталистическом устройстве общества; то есть есть порабощение голодающего труда многовластному капиталу”. Но насколько достопочтеннее, душеполезнее и благообразнее было бы беспрекословно подчинить свою волю монастырскому отцу-настоятелю, или духовному старцу, или миропомазанному православному царю, нежели рабовствовать ротшильдовскому миллиону. Упования “розовых христиан”, как называл Леонтьев Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, на преодоление буржуазного отчуждения проповедями о любви, братстве, ненасилии и всепрощении представлялись ему, ввиду неисправимой испорченности и греховности человека, глупыми и вредными иллюзиями. Любая организация, любое сложное единство, считал Леонтьев, есть отрицание индивидуальной свободы его частей; любое развитие и созидание, мобилизующие высшие способности человека, невозможны без насильственного укрощения устремлений его животного “низа”. “Прогресс же, борющийся против всякого деспотизма – сословий, цехов, монастырей, даже богатства и т. п. – есть *не что иное, как процесс разложения*”. Леонтьеву представлялось, что “явления эгалитарно-либерального прогресса” очень “сходны с явлениями, например, холерного процесса, который постепенно обращает весьма различных людей сперва в более однообразные трупы (равенство), потом в совершенно почти схожие (равенство) остовы и, наконец, в свободные (относительно, конечно): азот, водород, кислород и т. д.”. Поэтому, рекомендовал он, “надо *подморозить* хоть немного Россию, чтобы она не “гнила”...”⁹⁶.

В начале XX века в России этот гнилостный, “холерный” процесс обострился до предела, выплеснулись наружу непримиримые социальные и классовые противоречия, со всей определённой и категоричностью поставив-

шие каждого перед выбором между “красными” и “белыми”, между капитализмом и социализмом. Журнальная полемика перешла в уличные бои, где история пишется не чернилами, а кровью. Первая русская революция 1905–1907 годов стала “моментом истины” для всех российских идеологических течений и общественно-политических движений, ребром поставила она вопрос о самоопределении и для консерваторов. Высочайший манифест 17 октября 1905 года, даровавший политические свободы и выборный законодательный орган в виде Государственной Думы, открыл перед правыми, как и перед другими политическими силами, широкие возможности для создания организационных структур и легальной борьбы за свои идеалы и интересы. Возникли многочисленные право-монархические партийные органы печати, развернувшие агрессивную националистическую и антисоциалистическую пропаганду. Среди них быстро затерялся “Гражданин” князя Мещерского, некогда авторитетный и влиятельный рупор консервативных идей. Теперь консервативный лагерь представляли массовые общеполитические движения, известные под общим именем “черносотенцев”, – Союз Русских Людей, Союз Русского Народа, Союз Михаила Архангела, Русское Собрание и др. В 1906 году появился Совет Объединённого Дворянства – общероссийская дворянская сословная организация, снискавшая себе репутацию наиболее реакционной политической силы в России. Многие активные деятели Объединённого Дворянства, такие как В. М. Пуришкевич и Н. Е. Марков, возглавляли одновременно крупнейшие черносотенные партии.

Крайне правые деятели начала XX века декларировали свою верность идейным традициям консерваторов прошлого, называя среди своих духовных предтеч славянофилов, Ф. М. Достоевского, Н. Я. Данилевского, реже – К. Н. Леонтьева. В программных документах черносотенных партий и в правомонархической публицистике звучали стандартные формулы о преданности православного русского народа самодержавной власти Батюшки-Царя, посылались дежурные проклятия по адресу лживых и продажных парламентских болтунов, гнилой либеральной интеллигенции и дёргающему их всех за ниточки международному “жидо-масонскому” капиталу. Однако в старые мехи вливалось новое вино, и привычные словесные формулы вмещали теперь совсем другое содержание. В яростных обличениях правыми капитализма и капиталистов акцент теперь делался не на самом капитализме как несправедливой социально-экономической системе, а на том, что он либо “иностранный” и пришёл закабалить Россию извне, либо “жидовский” и эксплуатирует русских, как и пристало “хриstopродавцу”. В одной из черносотенных листовок под наименованием “Воззвание к русскому народу” (1906) разъярялось, что “жиды всего мира, ненавидящие Россию” натравили на неё японцев, а потом и революционеров, и хотят “хитростью и обманом отобрать землю у русского мужика, а самого его обратить в раба жидовского, попов его расстричь, а православные церкви и монастыри превратить в жидовские хлевы и свинятники”. Для достижения своих гнусных замыслов изверги “решили разорить единственных защитников русского народа и его веры – православных русских помещиков, фабрикантов и купцов, чтобы потом без помехи жид всё на Руси забрал бы в свои руки и некому бы было за русский народ заступиться”. И вот когда эти “народные заступники”, купцы и фабриканты, будут устранены, “тогда жиды переведут сюда свои капиталы из Англии, Америки и Германии и за гроши скупят все наши русские фабрики, заводы и имения”, а беззащитный народ слопают живьём.

В более серьёзном документе – в “Избирательной программе” Союза Русского Народа, с которой он шёл на выборы во II Государственную думу (2 сентября 1906), – официально провозглашалась та же самая идея о противостоянии хорошего национального капитала плохому и злокозненному иностранному. Отсюда следовало, что “Союз должен всеми способами содействовать тому, чтобы призывать русских капиталистов к борьбе с еврейскими и иностранными капиталами и вызвать приток государственных капиталов на арену борьбы русских предпринимателей с еврейскими и иностранными”. Предвыборные обращения Русского Собрания призывали монархистов голосовать “за русских купцов, фабрикантов, заводчиков и промышленников, чтобы только им отдавать во всё преимущество перед иностранцами, помогать и поощрять в устройстве фабрик, заводов и промышленных предприятий”. Помещики в этом перечне вообще не упоминались. В программе “Союза рус-

ских рабочих людей” (6 апреля 1907) правые предлагали им “признать священными начала собственности”⁹⁷.

В предвыборной кампании в IV Государственную думу осенью 1912 года правые уверяли рабочих: “Лгут те, кто проповедует борьбу труда и капитала. Между ними вражды быть не может, ибо капитал и труд должны быть союзниками, членами одного организма, а не врагами. Без труда капитал не состоителен и мёртв, без капитала труд немыслим вовсе. В любовном союзе капитал и труд делают чудеса, во вражде гибнут оба”⁹⁸. Развитие капиталистической промышленности, индустриализация страны теперь расценивались консерваторами как большое благо: “Промышленность – великая сила, от неё кормятся десятки миллионов людей... Те страны, в которых промышленность процветает, благоденствуют, а там, где промышленность чахнет, там народу живётся плохо”. Поэтому категорически не правы те, которые “говорят, что не нужно ни фабрик, ни заводов, что все должны сидеть на земле”, напротив, “чем больше будет фабрик и заводов, тем дешевле будет товар вследствие конкуренции, а рабочая плата неминуемо повысится, потому что спрос на рабочие руки увеличится”⁹⁹.

В отношении финансово-кредитной политики правые как будто повторяли старые лозунги о “национализации кредита”, однако подразумевали они под этим уже не “огосударствление”, а только “обрусение” данной сферы, для чего требовали у правительства перестать “субсидировать жидов-талмудистов, их банки и их торгово-промышленные предприятия” и, наоборот, позволить “беспрепятственно учреждаться чисто русским кредитным обществам и банкам”, чтобы “противопоставлять русскую торгово-промышленную деятельность жидовской при содействии мелкого и крупного кредита со стороны русских банков и государственного казначейства”¹⁰⁰. Лидер одной из крупных монархических организаций Союза Русских Людей князь А. Г. Щербатов считал, что “государственный банк должен быть представителем русской торговли и промышленности, а потому акционерным”. В прежние времена это вызывало у консерваторов ужас. Однако Щербатов не видел ничего ужасного даже в том, что “деньги будут рассматриваться как товар и будет так же легко получить разрешение на торговлю ими, как на торговлю сахаром, чаем или мануфактурой”. Тогда “при условии дешёвого государственного кредита местные” кулаки и ростовщики “найдут для себя выгодным давать в долг деньги предприимчивым, добросовестным, лично известным им людям под заведомо выгодное предприятие”. Всё это даст могучий стимул для роста промышленных и коммерческих оборотов, возбудит предприимчивость и “освободит русский народ от ига иностранного и еврейского капитала”. Чтобы отдать его в распоряжение капитала отечественного, добавим мы от себя.

Были реабилитированы “новыми правыми” и железные дороги – теперь они рассматривались как очень полезное “средство широкого обмена товаров и вследствие того развития производства и потребления”. Экологические и социальные последствия “развития производства и потребления” их занимали уже мало.

Но наиболее принципиальный разрыв с предшествующей консервативной традицией произошёл у “новых правых” начала XX века в вопросе о допустимости частной собственности на землю. Князь А. Г. Щербатов, например, указывал на “государственное значение частной собственности” на землю, которое “вытекает из свойства её – вызывать усиленное напряжение народного труда как в применении, со стороны владельцев, по её использованию, так и в виде народных сбережений в надежде приобрести земельную собственность”¹⁰¹. В былые времена консерваторы вместо эвфемизмов “усиленное напряжение народного труда” и “народные сбережения” прямо бы написали про зверскую эксплуатацию и про алчный капитал, который прибирает “земельную собственность” из рук помещиков и крестьян, но времена сильно изменились. В условиях революционной турбулентности начала XX века общинная собственность на землю и неотчуждаемость крестьянских наделов перестали казаться консерваторам оплотом старого порядка. Теперь они и слышать не хотели ни о каком социализме, даже об “охранительном” или “афонском”.

Идеологи помещного дворянства, собравшиеся под знамёна Совета Объединённого Дворянства в 1906 году, рассуждали уже не о распространении принципа неотчуждаемости на дворянские земли, а наоборот – о ликвидации общины и укреплении в частную собственность крестьянских наделов.

На I съезде Объединённого Дворянства делегаты недвусмысленно указывали на социализм как на самого опасного врага: “Принцип уничтожения частной собственности есть орудие социализма, социализм же есть главный враг монархии, следовательно, вооружаясь гневом против социализма, мы этим самым защищаем принцип монархии”. Основным же “рассадником социалистических бацилл” в России признавалась крестьянская община. Следовательно, “уничтожение общины было бы благодетельным шагом для крестьянства”, и “государство должно идти именно по этому пути, если оно хочет положить предел социализму”. “В чём интересы дворянства России?” – задавал вопрос на IV съезде Объединённого Дворянства весной 1907 года один из ораторов и сам отвечал: “В том, чтоб на всё землевладение было распространено право частной собственности”.

На этом же съезде прозвучало предложение всероссийскому дворянству заключить политическую сделку с наиболее влиятельной в Думе буржуазной партией – Партией народной свободы (кадетов): в обмен на гарантии сохранения помещикам прав частной собственности на их землю дворяне-землевладельцы поддержат кадетов в их стремлении упразднить самодержавное правление и превратить Россию в парламентскую монархию. Дворянству следовало забыть прежние сословные предрассудки и “объединить в группы защитников частной собственности” всех, у кого она есть, – “составить Российский союз собственников”. “Мы тогда перестанем быть одиночками, на нашу сторону перейдут представители и других видов частной собственности, не исключая движимой в соответственном размере, – домовладельцы, фабриканты, купцы, промышленники и владельцы процентных бумаг”, – рассуждал потомок древнего аристократического рода князь П. Л. Ухтомский. Представители дворянства были убеждены: “Впредь мы можем найти союзников только в буржуазии”¹⁰². По поводу таких умозаключений в “Гражданине” князя Мещерского с горькой иронией советовали: “Господа дворяне... приписывайтесь скорее, пока время не ушло, к буржуям или интеллигентам, а то и туда не попадёте”¹⁰³.

После “аграрных беспорядков” 1905–1906 годов, сопровождавшихся пожарами и поджогами дворянских усадеб, крестьянство в глазах помещиков предстало “не приверженцем русской старины, а наоборот – заклятым врагом самодержавной власти, Церкви, собственности и всего исторического строя”. На съездах Объединённого Дворянства в речах уполномоченных от губернских дворянских обществ регулярно звучали поношения в адрес общины, восхвалялась аграрная реформа П. А. Столыпина, предусматривавшая разрушение общинного землевладения и вовлечение крестьянской земли в рыночный оборот. Делегаты с гордостью говорили о том, что именно на I съезде Объединённого Дворянства в мае 1906 года “впервые с полной ясностью были выражены те мысли, которые впоследствии были проведены в жизнь законом 9 ноября [1906 года]”, и это “навсегда останется одной из великих заслуг Объединённого Дворянства”¹⁰⁴. Конечно, и среди делегатов дворянских съездов подавали свой голос некоторые Стародумы, которые осторожно напоминали, что “если завтра будет объявлено, что всякая земля в России есть вещь продажная, то у нас очень скоро будет еврейское землевладение, а не русское дворянское или русское крестьянское землевладение”¹⁰⁵. Что столыпинский закон 9 ноября 1906 года, отменявший закон 12 декабря 1893 года о неотчуждаемости крестьянской надельной земли, “это совершенно невозможная вещь, потому что он противоречит тем основаниям, на которых прежде покоились законы”. А “прежде законы имели в виду защиту слабых, ограждения их”, теперь же сам премьер-министр заявляет о том, что “закон существует для того, чтобы охранять сильных, но не слабых”¹⁰⁶.

Но речи таких Стародумов уже не определяли господствующего настроения в правоконсервативных кругах. Столыпинскую политику горячо поддержали и некоторые вожди черносотенных партий. Руководитель Союза Русского Народа Н. Е. Марков безапелляционно заявлял: “Община является зверем, и с этим зверем надо бороться... Через это трижды проклятое общинное землевладение наш народ так ужасно, так поразительно обнищал”¹⁰⁷. Тех же, кто возражал против разрушения общины, подвергали травле и последовательно отщепляли от руководства правым движением, как это произошло, например, с основателем Союза Русского Народа А. И. Дубровиным¹⁰⁸. Странники Дубровина в СРН предупреждали: “Хуторская реформа есть огромная фабрика

пролетариата. Если до реформы пролетариата насчитывалось сотни тысяч – теперь его насчитываются миллионы, а в ближайшем будущем будут насчитываться десятки миллионов”. На что защитники политики Столыпина (в данном случае, один из самых ярких и талантливых правых публицистов М. О. Меньшиков) отвечали: “Пролетарии-профессионалы – обыкновенно вырожденцы. Мешать им вырождаться и вымирать – грех перед природой”¹⁰⁹.

Эволюция взглядов Меньшикова на капитализм вообще характерна для правоконсервативного дискурса в начале XX столетия. В 1900 году в статье “Кончина века” он обличал “железный” XIX век, выпустивший из преисподней демонические силы: пар, электричество, динамит. В погоне за приращением капитала он вызвал к жизни целый мир могучих, но бездушных машин-монстров, этот новый мир машин произвёл изобилие вещей, но, лишив миллионы людей работы, лишь увеличил количество нищеты и голода, “выгнал на улицу сотни тысяч женщин и девушек и создал пышный расцвет проституции”. Не только человек, но природа испытала “на себе поистине бич Божий, истребительный хуже землетрясений и потопа”: “Никогда природа не опустошалась с такой яростью, как в истекший век... Человек вошёл в родную природу, как палач, и гневная, умирая, она дохнула на него смертью. Деятнадцатый век создал множество искусственных, чаще всего излишних, средств жизни, но загубил целый ряд естественных и необходимых: с истреблением лесов исчезает влага, которую они регулировали, исчезает топливо, столь необходимое в нашей стране, исчезает мир животных, дававших меха и мясо, исчезает мир съедобных растений, ягод и грибов, исчезает царство рыбы, после хлеба бывшее главным кормильцем русского человека”.

Такой же погром произвёл капитализм в русском социальном пространстве: “Россия стала данницей Европы во множестве самых изнурительных отношений... Народ наш хронически недоедает и клонится к вырождению, и всё это для того только, чтобы поддержать блеск европеизма, дать возможность небольшому слою капиталистов идти нога в ногу с Европой... Из России текут реки золота на покупку западных фабрикатов, на содержание более чем сотни тысяч русских, живущих за границей, на погашение долгов и процентов по займам и пр.”, тогда как “для нас естественнее было бы натуральное хозяйство, нежели денежное, промыслы кустарные, нежели фабричные, вообще – земледельческий, деревенский уклад, нежели капиталистический”.

Однако спустя несколько лет, в 1909 году, Меньшиков существенно пересматривает свои взгляды на роль капитализма в истории: “Капитализм – самое страшное, что выдвинуло последнее полу столетие. Перестройка натурального хозяйства в капиталистическое – переворот бесконечно важнейший всех политических революций. На капитал мечут громы, и он действительно похож на колесницу Джагернаута. Под колесницей его, под миллионом фабричных колёс, выжимаются действительно соки народные. Но с другой стороны, минув естественные злоупотребления властью, естественный распад капитала в виде безумной роскоши и распутства, нельзя не видеть, что капитализм – пока единственное средство спасти человечество от анархии. Капитализм поработает – да, но может быть, это и нужно массам. Капитал организует вновь труд народный, парализованный освобождением. Освобождённый полудикарь не знает, что ему делать с собой и к чему себя пристроить. Первое, что ему приходит в голову, – променять свою скудную культуру, до зипуна и шапки, за бутылку спирта... Капитал жестокою рукою голода берёт бездельника за шиворот и ставит – будем говорить правду! – вновь в крепостные условия, за фабричный станок, за усовершенствованный плуг. И если бы не это новое крепостное рабство, не было бы ни современной Европы, ни Америки. Россия только тем и оплошала, что на смену одного крепостничества у нас не оказалось другого. Будь у нас промышленность и капитализм налажены в начале XIX века, как на Западе, – мы шли бы нога в ногу с Европой”¹¹⁰.

Накануне революции, в 1916 году, Меньшиков уверял русских читателей, что “европейско-американский капитал, путешествующий теперь по земному шару и ищущий для себя практическую работу”, далеко “не всегда хищник, что очень часто он – сила высокоблаготворительная и ничем не заменимая”. Поэтому привлечение его в Россию жизненно необходимо для создания в ней современной промышленной цивилизации: “Если прибыль его умеренная и если она получается из развития самого дела, то иностранный капиталист не только не разоряет, но явно обогащает страну, где он налаживает культуру”¹¹¹.

Не надеясь, что отечественный капитал и буржуазия смогут справиться с надвигающейся народной социалистической революцией, правые уже готовы были сдать страну капиталу иностранному. Нет ничего удивительного в том, что в 1918 году, незадолго до своего расстрела большевиками, Меньшиков по-смердяковски мечтал, что очередная “умная нация”, на этот раз немцы, завоюет “весьма глупую-с”.

“Придите бить нас кнутом по морде! Даже этой простой операции, как показал опыт, мы не умеем делать сами, — писал Меньшиков в своём дневнике. — Мы как нация не имеем права на независимость... Русский народ — запущенная, загаженная река... и возни с ним немцам придётся немало. В этом, мож[ет] б[ыть], провиденциальная роль германской расы... Возможно, что в спасении России примут участие — под предлогом “эксплуатации” — и англо-саксы, и даже японцы. Что же, останется только поблагодарить судьбу... Завоевание немцами России будет пронизыванием её мозговым веществом, системой нервов, ей недостающих... До нашей прачки включительно все ждут немцев, как спасителей...”.

Разумеется, теперь и капитал был не только реабилитирован Меньшиковым, но и возведён на пьедестал спасителя человечества: “Легко понять, что капитал работает преимущественно на демократию, на удешевление продуктов, на приобщение широких масс народных к потребностям культурного рынка. Разве это не благодетельная роль капитала? Разве, говоря по совести, он не является *мессией*, притом — единственным *мессией*, выводящим злосчастное человечество из трясины варварства, цинической нищеты, грязи, голода, заразных болезней и невежества?... Разве это не сама справедливость, когда человек оценивался именно его кошельком, то есть суммой труда, им или его предками вложенного в общество?” Нашлись у Меньшикова тёплые слова и для Ротшильда, который рисовался ему “какой-то мистической точкой”, “в центре завивающегося вихря богатства”, орошающего честных тружеников золотым дождём материального изобилия и счастья¹¹².

К 1917 году консервативная идеология, увы, представляла собой “гроб по-вапленный”. Снаружи она была ещё разукрашена в традиционные имперские цвета “Православия, Самодержавия, Народности”, а внутри её Христа, даже в леонтьевской интерпретации “Спаса Ярое Око”, уже вытеснил блудливый Плутос. Не оттого ли в момент крушения царской монархии в феврале-марте 1917 года у неё не нашлось буквально ни одного защитника? А ведь поначалу, в 1905–1907 годах, когда монархический строй в России оказался в критической ситуации, правым удалось мобилизовать массовую поддержку не только среди достаточных классов, но и среди рабочих и крестьян. Лидеры Союза Русского Народа хвалились тогда, что под их знамёна встали 6 миллионов человек¹¹³. В реальности, по подсчётам современных российских историков, численность право-монархических партий на пике их популярности в 1907–1908 годах составляла около 400 тысяч человек, однако к 1916 году сократилась примерно в 10 раз¹¹⁴. Такая убийственная динамика для партий, пользовавшихся всемерной административной и финансовой поддержкой властей, объясняется, не в последнюю очередь, их изменой в начале XX века тому антикапиталистическому содержанию консервативной идеологии, которая была заложена в её основание славянофилами, Ф. М. Достоевским, К. Н. Леонтьевым.

Черносотенцы внушали народу, что все его нужды и чаяния будут удовлетворены благодеянием “Отечески-Попечительной власти Неограниченного Самодержца, чуждого по своему положению каких-либо своекорыстных видов”. Они говорили, что царь, опираясь на “всех истинно русских”, не допустит “порабощения трудовых народных масс шайками интернациональных капиталистов”¹¹⁵. Они обещали, что “государь, поддерживаемый трудящимся народом, всегда станет защищать его интересы от засилия капиталистов, которые стремятся захватить его власть”. Они твердили, что “не надо допускать, чтобы в России все богатства очутились, как в Америке, в руках нескольких богачей”, а “надо, чтобы богатства возможно равномернее... распространились среди всего населения”¹¹⁶. И, внимая этим обещаниям, к правым поначалу примкнули значительные контингенты традиционалистски и антикапиталистически настроенных рабочих и крестьян.

Однако вожди черносотенных партий, в руководящих органах которых удельный вес дворян составлял 61,5%¹¹⁷, сознательно, если не сказать — под-

ло обманули рядовую рабоче-крестьянскую массу своих последователей. Вот наиболее красноречивый пример подобного обмана, имевшего место в апреле 1907 года на IV съезде Объединённого Русского Народа – представителем форума право-монархических сил страны. “Вся крестьянская и вообще народная часть съезда, – свидетельствует видный идеолог консерватизма и участник событий Лев Александрович Тихомиров (1852–1923), – требует отчуждения земель, а о переселениях говорят, что нужно переселить помещиков, давши им пособие, а их земли отдать здесь крестьянам”. Заправилами съезда – В. А. Грингмут и князь А. Г. Щербатов – испугались, что подобные требования, явно направленные против столыпинской аграрной политики, войдут в окончательную резолюцию съезда. Они обратились к Тихомирову с просьбой так переделать текст документов, чтобы максимально выхолостить их остросоциальное содержание. “Я взял с собой, – пишет Тихомиров, – перечитал дома и в ужас пришёл от невероятной глупости их... Требования чисто социалистические... Как тут быть? Единственное средство: отдельными переменами слов довести фразы до фактического изменения их смысла или до придания им полной неопределённости смысла, так, чтобы не было ни глупо, ни умно и чтобы, в сущности, не осталось никакого смысла. Так он (Грингмут. – И. Д.) и стал, с моей помощью, “редакционно” улучшать постановления, и, поняв, постепенно мы и достигли поставленной цели. Явный скандал был заглушён. Но что же осталось? Что же скажут составители? Заметят ли они, что смысла никакого нет? На первое время, вероятно, ничего не заметят, но постепенно не могут же не “расчихать”... и что тогда?...”¹¹⁸.

Рабочие и крестьяне действительно очень скоро расчихали, что к чему, и в результате к решающим дням 1917 года вожди правых оказались полководцами без армии и без всякого сопротивления капитулировали перед февральской буржуазной революцией.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цит. по: Эвенчик С. Л. Победоносцев и дворянско-крепостническая линия самодержавия в пореформенной России // Ученые записки МГПИ. № 309. М., 1969. С. 90. Спустя 20 лет Победоносцев писал об Александре II и о его исторической роли нечто прямо противоположное: “Как тянет это роковое царствование – тянет роковым падением в какую-то бездну. Прости Боже этому человеку – он не ведает, что творит, и теперь ещё менее ведает. Теперь ничего и не отличишь в нём, кроме Сарданапала. Судьбы Божии послали нам его на беду России. Даже все здравые инстинкты самосохранения иссякли в нём, остались инстинкты тупого властолюбия и чувственности. Мне больно и стыдно, мне претит смотреть на него...” (Письмо К. П. Победоносцева Е. Ф. Тютчевой от 2 января 1881 года. Цит. по: Река времён (Книга истории и культуры). Кн. 1. М., 1995. С. 181).

² Мещерский В. П. Воспоминания. М., 2001. С. 208, 280.

³ Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 279–280.

⁴ Мещерский В. П. Письма к великому князю Александру Александровичу, 1863–1868. М., 2011. С. 594.

⁵ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 554.

⁶ Данилевский Н. Я. Россия и Европа. С. 459, 492.

⁷ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 27. Л., 1984. С. 19.

⁸ Данилевский Н. Я. Россия и Европа. С. 468.

⁹ Катков М. Н. Русское дворянство и русский народ, их взаимные отношения (11 января 1865) // Он же. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2. СПб, 2011. С. 209.

¹⁰ Аксаков И. С. О самоуничтожении дворянства как сословия (“День”, 6-го января 1862) // Сочинения И. С. Аксакова. Т. 5. М., 1887. С. 218.

¹¹ Мещерский В. П. Речи консерватора. Вып. 1. СПб, 1876. С. 8–9, 11, 21, 30–31, 33, 35, 38.

¹² Мещерский В. П. Речи консерватора. Вып. 2. СПб, 1876. С. 268–269.

¹³ Динамику общения Мещерского и Достоевского с 1875 по 1881 год легко проследить по кн.: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 3. СПб, 1995 (указатель). О взаимоотношениях князя Мещерского и Достоевского см. также: Викторovich А. Г. Достоевский и князь В. П. Мещерский // Русская лите-

- ратура. 1988. № 1. С. 205–216; Сараскина Л. И. Достоевский в созвучиях и притяжениях (от Пушкина до Солженицына). М., 2006. С. 273–291.
- ¹⁴ См.: Достоевский и его время. Л., 1971. С. 28–29.
- ¹⁵ ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 105. Л. 40.
- ¹⁶ Гражданин. 1887. 5 февраля. № 11. С. 7.
- ¹⁷ Мещерский В. П. Дневник, 29 апреля // Гражданин. 1887. 3 мая. № 36. С. 14. Подробнее об истории взаимоотношений князя Мещерского и К. Н. Леонтьева см.: Фетисенко О. Л. “Гептастилисты”: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX – первой четверти XX века). СПб, 2012. С. 325–339.
- ¹⁸ Мещерский В. П. Дневник, 7 апреля // Гражданин. 1910. 11 апреля. № 13. С. 17.
- ¹⁹ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 413.
- ²⁰ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 27. С. 10.
- ²¹ Чит. по: Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 397–399.
- ²² Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. Т. 1. М., 1989. С. 247–248.
- ²³ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 519.
- ²⁴ Астафьев П. Е. Симптомы и причины современного настроения (наше техническое богатство и наша духовная бедность). М., 1885. С. 66, 83–84, 86–87.
- ²⁵ <Серенький>. Маленькие мысли. LXLV. О людях нормальных и ненормальных // Гражданин. 1899. 14 марта. № 20. С. 3.
- ²⁶ <Серенький>. Маленькие мысли. XVII. Страх // Гражданин. 1897. 6 февраля. № 11. С. 5.
- ²⁷ Успенский Г. И. Крестьянин и крестьянский труд (1880) // Собрание сочинений. Т. 5. М., 1956. С. 55.
- ²⁸ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 413.
- ²⁹ К. Н. Леонтьев – В. В. Розанову, 30 июля 1891. // Леонтьев К. Н. Избранные письма (1854–1891). СПб, 1993. С. 582.
- ³⁰ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 404.
- ³¹ Мещерский В. П. Дневник, 29 августа // Гражданин. 1897. 31 августа. № 68. С. 14.
- ³² <Петров>. Религия и наука // Гражданин. 1897. 30 января. № 8. С. 4.
- ³³ Мещерский В. П. Дневник, 25 сентября // Гражданин. 1894. 29 сентября. № 268. С. 3.
- ³⁴ <Серенький>. Маленькие мысли. CLXII. Откуда зло народное // Гражданин. 1901. 4 февраля. № 10. С. 4.
- ³⁵ Кандауров Д. Д. Казённое земледелие // Гражданин. 1893. 3 февраля. № 34. С. 1–2.
- ³⁶ <С-ъ>. Кому покровительствовать (По поводу возобновления торгового договора с Германией) // Гражданин. 1901. 21 января. № 6. С. 2.
- ³⁷ Мещерский В. П. Дневник, 18 августа // Гражданин. 1887. 20 августа. № 67. С. 15.
- ³⁸ Мещерский В. П. Дневник, 30 ноября // Гражданин. 1897. 4 декабря. № 95. С. 20.
- ³⁹ <С-ъ>. Кому покровительствовать (По поводу возобновления торгового договора с Германией) // Гражданин. 1901. 21 января. № 6. С. 2.
- ⁴⁰ Мещерский В. П. Дневник, 27 февраля // Гражданин. 1893. 28 февраля. № 58. С. 3. Ср.: <Смоленский помещик>. За и против // Гражданин. 1893. 16 марта. № 74. С. 1–2.
- ⁴¹ <С-ъ>. Кому покровительствовать (По поводу возобновления торгового договора с Германией) // Гражданин. 1901. 21 января. № 6. С. 2–3.
- ⁴² Мещерский В. П. Дневник, 11 июля // Гражданин. 1901. 15 июля. № 53. С. 16.
- ⁴³ Мещерский В. П. Дневник, 27 ноября // Гражданин. 1892. 28 ноября. № 329. С. 3; Мещерский В. П. Дневник, 16 сентября // Гражданин. 1912. 23 сентября. № 38. С. 13.
- ⁴⁴ <С-ъ>. Кому покровительствовать (По поводу возобновления торгового договора с Германией) // Гражданин. 1901. 21 января. № 6. С. 4.
- ⁴⁵ Иванюшенков И. Отношение пошлин к земледелию и экспорту // Гражданин. 1888. 18 июля. № 198. С. 1.

- ⁴⁶ <Казанский помещик>. Народное хозяйство // Гражданин. 1888. 3 января. № 3. С. 1.
- ⁴⁷ <Серенький>. Маленькие мысли. LXLVII. В деревне // Гражданин. 1899. 9 мая. № 34. С. 4.
- ⁴⁸ Даниельсон Н. Ф. Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства (1893) // Народническая экономическая литература. М., 1958. С. 494.
- ⁴⁹ Рындзюнский Г. П. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины XIX века. М., 1983. С. 263.
- ⁵⁰ Мещерский В. П. Дневник, 25 июня // Гражданин. 1891. 26 июня. № 175 С. 3.
- ⁵¹ Мещерский В. П. Дневник, 10 февраля // Гражданин. 1901. 15 февраля. № 12. С. 19.
- ⁵² Мещерский В. П. Дневник, 28 января // Гражданин. 1900. 30 января. № 8. С. 26–27.
- ⁵³ Мещерский В. П. Дневник, 19 января // Гражданин. 1892. 20 января. № 20. С. 3.
- ⁵⁴ Мещерский В. П. Дневник, 21 июня // Гражданин. 1891. 22 июня. № 171. С. 3. Ср.: <Тамбовский дворянин>. Хлебная монополия // Гражданин. 1892. 16 марта. № 76. С. 1; Шебакин Н. Центральные хлебные склады // Гражданин. 1903. 30 марта. № 26. С. 9–10.
- ⁵⁵ Мещерский В. П. Дневник, 4 января // Гражданин. 1901. 11 января. № 3. С. 18.
- ⁵⁶ Мещерский – С. Ю. Витте, [1895] // РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Ед. хр. 448. Л. 1 об 3 об.
- ⁵⁷ Мещерский В. П. Дневник, 6 июня // Гражданин. 1897. 8 июня. № 44. С. 21.
- ⁵⁸ Мещерский – Александру III, 12 июня 1884 // ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 108. Лл. 23 об. –24.
- ⁵⁹ Мещерский – Александру III, 3 ноября [1884] // ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Ед. хр. 108. Лл. 92 об. –93.
- ⁶⁰ См.: <Гвоздев Н.>. Несколько слов о финансовой науке // Гражданин. 1892. № 322, 324–326, 328, 331, 333, 335, 338, 341, 343, 345, 347, 349; <Гвоздев Н.>. Как исправить наше денежное хозяйство // Гражданин. 1893. № 9, 13, 20, 26, 29.
- ⁶¹ В чём природа денег? // Гражданин. 1892. 17 ноября. № 318. С. 1–2.
- ⁶² В чём природа денег? // Гражданин. 1892. 19 ноября. № 320. С. 1–2.
- ⁶³ В чём природа денег? // Гражданин. 1892. 17 ноября. № 318. С. 1.
- ⁶⁴ Степанов М. Плутократия // Гражданин. 1873. 5 марта. № 10. С. 308–318.
- ⁶⁵ Мещерский В. П. Дневник за 1882 год. СПб, 1883. С. 91.
- ⁶⁶ Мещерский В. П. Дневник, 20 сентября // Гражданин. 1885. 22 сентября. № 75. С. 15.
- ⁶⁷ Мещерский В. П. Дневник, 15 июля // Гражданин. 1883. 24 июля. № 30. С. 22.
- ⁶⁸ Мещерский В. П. Дневник, 14 марта // Гражданин. 1892. 15 марта. № 75. С. 3.
- ⁶⁹ Мещерский В. П. Дневник, 13 марта // Гражданин. 1914. 16 марта. № 11. С. 14.
- ⁷⁰ Мещерский В. П. Дневник, 8 октября // Гражданин. 1895. 9 октября. № 278. С 3.
- ⁷¹ Мещерский В. П. Дневник, 10 июля // Гражданин. 1901. 12 июля. № 52. С. 22.
- ⁷² Мещерский В. П. Дневник, 9 июля // Гражданин. 1901. 12 июля. № 52. С. 21.
- ⁷³ Меры к обузданию биржи // Гражданин. 1899. 3 октября. № 76. С. 2–3.
- ⁷⁴ <Серенький>. Деньги или власть? // Гражданин. 1898. 15 января. № 4. С. 5.
- ⁷⁵ Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М., 2002. С. 67–68, 74, 155.
- ⁷⁶ Зомбарт В. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 2. СПб, 2005. С. 81–82, 102.
- ⁷⁷ Цит. по: Мусихин Г. И. Россия в немецком зеркале (сравнительный анализ германского и российского консерватизма). СПб, 2002. С. 88, 200, 204–205.
- ⁷⁸ Интервью В. И. Ленина корреспонденту газеты *The New York Times* 23 апреля 1919 года. (См.: Разговор с главным большевиком // Своими именами. 2013. № 17. 23 апреля. С. 1).

- ⁷⁹ Достоевский Ф. М. Зимние заметки о летних впечатлениях (1863) // Он же. Полное собрание сочинений. Т. 5. Л., 1973. С. 78–79.
- ⁸⁰ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 284, 373, 403, 729.
- ⁸¹ “Рационализм точных и прикладных знаний, – писал Леонтьев, – естественно вступил в теснейший союз с рационализмом капитала”. См.: Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 652.
- ⁸² Леонтьев – К. А. Губастову, 15 марта 1889, Оптина Пустынь // Леонтьев К. Н. Избранные письма (1854–1891). С. 438.
- ⁸³ Мещерский В. П. Либерализм и здравый смысл // Гражданин. 1902. 4 апреля. № 26. С. 4.
- ⁸⁴ Достоевский Ф. М. Крокодил (1865) // Он же. Полное собрание сочинений. Т. 5. С. 189–190.
- ⁸⁵ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 728.
- ⁸⁶ Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М., 2004. С. 602, 605–606.
- ⁸⁷ <Дворянин Я. Б.>. Меры к решению дворянского и сельскохозяйственного кризиса // Гражданин. 1898. 20 сентября. № 74. С. 3.
- ⁸⁸ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 258.
- ⁸⁹ Победоносцев К. П. Сочинения. СПб, 1996. С. 150–152.
- ⁹⁰ Неизвестный Нилус. Т. 1. М., 1995. С. 93–94.
- ⁹¹ Родионов Ю. Поместное дворянство и землевладение // Гражданин. 1885. 7 июля. № 53. С. 10.
- ⁹² Семёнов П. Н. Крестьянское и дворянское землевладение в России // Гражданин. 1898. 10 декабря. № 97. С. 2–8.
- ⁹³ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 254.
- ⁹⁴ Леонтьев – К. А. Губастову, 17 августа 1889, Оптина Пустынь // Леонтьев К. Н. Избранные письма (1854–1891). С. 473.
- ⁹⁵ См.: Фетисенко О. Л. “Гептастилисты”. С. 128, 131–133.
- ⁹⁶ Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. С. 130, 246, 418.
- ⁹⁷ Правые партии. 1905–1917 г<оды>. Документы и материалы. Т. 1. М., 1998. С. 130, 196, 275, 305.
- ⁹⁸ Обращение Центрального предвыборного комитета правых к русским рабочим (сентябрь 1912) // Правые партии. 1905–1917 г<оды>. Документы и материалы. Т. 2. М., 1998. С. 264–265.
- ⁹⁹ Обращение Союза Русских Людей к заводским и фабричным рабочим по поводу предстоящих выборов в Государственную Думу (декабрь 1905) // Правые партии. Т. 1. С. 91.
- ¹⁰⁰ Совещание уполномоченных правых организаций и правых деятелей в Нижнем Новгороде 26–29 ноября 1915 года. // Правые партии. Т. 2. С. 509–510.
- ¹⁰¹ Щербатов А. Г. “Обновлённая Россия” и другие работы. М., 2002. С. 75, 139, 166–167, 321.
- ¹⁰² Объединённое дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. 1906–1916 г<оды>. Т. 1. 1906–1908 г<оды>. М., 2001. С. 67, 71–72, 80, 83, 472, 491, 578.
- ¹⁰³ Бабецкий А. Интеллигенция или буржуазия // Гражданин. 1905. № 68. 28 августа. С. 7.
- ¹⁰⁴ Объединённое дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. 1906–1916 г<оды>. Т. 2. Кн. 2. 1911–1912 г<оды>. М., 2001. С. 200.
- ¹⁰⁵ Объединённое дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. 1906–1916 г<оды>. Т. 3. 1913–1916 г<оды>. М., 2002. С. 262.
- ¹⁰⁶ Объединённое дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. 1906–1916 г<оды>. Т. 2. Кн. 1. 1909–1910 г<оды>. М., 2001. С. 126. В своей речи о земельном законопроекте и землеустройстве крестьян, произнесённой в Государственной думе 5 декабря 1908 года, П. А. Столыпин сказал ставшие знаменитыми слова: “Главное, что необходимо, – это, когда мы пишем закон для всей страны, иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых” (см.: Столыпин П. А. Нам нужна великая Россия... М., 1991. С. 178). Слова эти имели в российском общественном мнении в основном негативный резонанс.
- ¹⁰⁷ Цит. по: Степанов С. А. Чёрная сотня в России. 1905–1914 г<одов>. М., 1992. С. 246.

- ¹⁰⁸ См.: Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за великую Россию. М., 2012. С. 60–74.
- ¹⁰⁹ Степанов С. А. Указ. соч. С. 247, 253.
- ¹¹⁰ Меньшиков М. О. Выше свободы. М., 1998. С. 29–31, 233–234.
- ¹¹¹ Меньшиков М. О. Америка и Россия (6 сентября 1916) // Он же. Велико-русская идея. Т. 1. М., 2012. С. 243–244.
- ¹¹² Меньшиков М. О. Дневник 1918 года // Российский Архив. Вып. IV. М., 1993. С. 15–17, 75–78.
- ¹¹³ См.: Киреев А. А. Дневник. 1905–1910. М., 2010. С. 193, 206, 213.
- ¹¹⁴ См.: Степанов С. А. Численность и состав черносотенных союзов и организаций // Политические партии России в период революции 1905–1907 г<одов>. Количественный анализ. Сборник статей. М., 1987. С. 193; Кирьянов Ю. И. Правые партии в России. 1911–1917 г<оды>. М., 2001. С. 82.
- ¹¹⁵ Задачи русского монархизма (июнь–июль 1914 г<ода>) // Правые партии. Т. 2. С. 425.
- ¹¹⁶ Основные Положения народных монархических союзов (8 мая 1916) // Правые партии. Т. 2. С. 554.
- ¹¹⁷ Степанов С. А. Численность и состав черносотенных союзов и организаций. С. 237.
- ¹¹⁸ Из дневника Л. Тихомирова. 1907 г<од>. // Красный архив. 1933. Т. 6 (61). С. 102–104. Отредактированный Грингмутом и Тихомировым вариант документов IV съезда Объединённого Русского Народа см.: Правые партии. Т. 1. С. 317–333.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

РОСС НЕУТОМИМЫЙ

К 80-летию Валерия Ганичева

Я желал бы каждому из своих друзей в восемьдесят лет быть таким же неутомимым и деятельным, как Валерий Николаевич Ганичев. Сегодня он на островах в Средиземном море отмечает годовщину нашего святого – адмирала Фёдора Ушакова, завтра – на Алтае проводит писательский Пленум, а впереди встречи на Украине и в России, заседания Всемирного Русского Народного Собора, напряжённая борьба за русскую национальную школу. Впереди – писательский съезд. Даже возгласы несогласных и недовольных тоже идут в общую копилку, значит, ещё в схватке, ещё крепок дух.

К юбилею и книга подоспела: “Слово. Писатель. Отечество” – о наших великих соотечественниках, от Пушкина до Рубцова, о боевых братьях и соратниках. Читая эту книгу, уходишь от всей мелкой суеты, от надоедлых споров и полемики. И впрямь, книга-то о русскости, о вечной борьбе за Россию и русскую культуру. О чём спорить? С врагами России и спорить не о чем, а самые недовольные соратники вряд ли будут возражать. По книге виден весь восьмидесятилетний путь неутомимого Росса, стойкого патриота России.

Я помню, когда Ганичева с шумом снимали за его русский патриотизм с поста главного редактора “Комсомольской правды”, по важности третьей газеты огромного Советского Союза, на планёрке в журнале “Октябрь”, где я тогда работал в отделе критики, явный русофоб и бездарный писака Анатолий Ананьев радостно потирал руки: “Наконец-то скинули этого националиста, а не утихнет, мы и с “Роман-газеты” его турнём”.

В писательской среде разнёсся слух: скинули за то, что с лёгкой руки первого космонавта, доброго знакомого Ганичева, Юрия Гагарина о нём заговорили как о ведущем идеологе страны, о возможном преемнике генсека. Вот и убрали от греха подальше. Не думаю, что слух был достоверный – враги и распускали.

Дело было не в каких-то личных амбициях Валерия Николаевича. Дело было, прежде всего, в последовательном державном духе проводимой им в главной молодёжной газете страны политики. В его непривычной для коридоров Старой площади русскости.

Воистину, Валерий Николаевич Ганичев, как и многие его сверстники, начинавшие в шестидесятые годы XX века возрождать русское национальное самосознание, пробуждать русский дух в нашем чересчур уж доверчивом, а иной раз и чересчур общечеловеческом народе, по характеру своему, по подвижничеству своему является тем самым *Россом непобедимым*, о каких он

сам любит писать в книжках своих. Меняются эпохи, меняются идеологии, меняются властители, а Валерий Ганичев всё так же нацелен на русское дело.

Иные, имея такую биографию, как у Валерия Ганичева, сто раз бы проплакали всё телевидение своими воплями о незаслуженных репрессиях, о громких увольнениях с работы, о том, что ему недодали, обнесли наградой или званием. Ганичев не любит изображать жертву, да и не считает себя неким мучеником за русскую идею. Он всегда нацелен на дело, реальное дело. В “Комсомольской правде” он умудрился за короткое время правления этой популярной газетой создать крепкий центр русской патриотической мысли. Так что выкорчёвывать после него новым интернационалистам ганичевские корни из газеты пришлось ещё долгие годы. Издательство “Молодая гвардия” так с ганичевского руководства и по сию пору сохранило устойчивую патриотичность, может быть, потому и уцелело, и набирает силу уже в нынешнее время, радуя читателей то дневниками Георгия Свиридова, то новыми книгами из серии ЖЗЛ, то сборниками стихов Татьяны Глушковой и Юрия Кузнецова. А всему этому патриотическому направлению положено было начало всё тем же Валерием Ганичевым, с 1968 года десять лет возглавлявшим работу издательства.

Казалось бы, сбросили Ганичева за его русскость с высоких постов, приземлили в “Роман-газете”, но он и там вместо необходимого космополитического покаяния сконцентрировал вокруг журнала всю корневую русскую словесность.

Да и Союз писателей России не только уцелел в кризисное развальное ельцинское время, но благодаря руководству Валерия Ганичева и его соратников все девяностые годы оставался, может быть, единственным всероссийским центром русского патриотического сопротивления, собирая вокруг себя всех талантливых русских мастеров слова — от Леонида Леонова и Михаила Алексева до Валентина Распутина и Владимира Личутина. В 1994 году Ганичев возглавил Союз писателей России, как раз в ту пору, когда разваливалось всё... Могло развалиться и писательское сообщество, но во многом благодаря деятельности Валерия Николаевича Союз писателей не только сохранился как наиболее крупная действующая творческая организация в стране, а приобрел ещё большее уважение в глазах российской общественности, повернулся лицом к народу и к вере... Так же, как по инициативе Ганичева возник Всемирный Русский Народный Собор, без которого ныне немислима отечественная общественная жизнь.

Вот уж верно — *Росс неутомимый*. Прикасается к любому делу — и сразу же идут ростки, появляются реальные результаты. Верил ли кто-нибудь, когда впервые Валерий Ганичев заговорил о канонизации нашего знаменитого флотоводца, адмирала Фёдора Ушакова? Сегодня святого Фёдора Ушакова поминают в молитвах. Иконы с изображением этого русского святого подвижника можно увидеть в монастырях и храмах. А читатель с увлечением погружается в историческую прозу Валерия Ганичева “Росс непобедимый”, “Флотовождь”, “Русские вёрсты”.

3 августа замечательному русскому писателю-державнику — заместителю главы Всемирного Русского Народного Собора, одному из создателей Всероссийского общества охраны памятников и культуры, Фонда “Русская национальная школа”, Фонда милосердия и согласия, председателю Союза писателей России, доктору исторических наук, профессору Валерию Николаевичу Ганичеву исполнится 80 лет.

Родился Валерий Ганичев на станции Пестово в Новгородской области, но вскоре родители переехали на Украину, потому азы и русской, и украинской культуры он постигал на Полтавщине. Позже вспоминал: “Я заканчивал украинскую школу на Полтавщине, Киевский университет и могу, не стесняясь окрика завязятых “патриотов”, причислять себя к представителям русской и украинской культуры. Ясно моё преклонение перед великой русской классикой, которую, к сведению галицийцев, признаёт весь мир, но я с радостью постигал мир украинской культуры, слово, музыку, живопись, быт украинского народа. Кстати, сегодня я перевожу книги украинских писателей на русский. Родители мои с Вологодской земли, вместе с ними я пожил на Новгородчине, в Сибири...”

После войны отца направили в Полтавскую область — в миргородские голевские места. Я овладел украинской мовой. Окончил там среднюю школу.

Для нас естественным был переход с русского на украинский и с украинского на русский. Когда я учился, никакого разделения на украинцев и русских (а также евреев, молдаван, поляков) у нас не было. Одни учителя были русские, другие – украинцы, мы их любили одинаково. В школе были две замечательные учительницы: преподаватель русского языка Надежда Васильевна и преподаватель украинского Ганна Никифоровна. Великая русская литература и выдающаяся, замечательная украинская литература входили в наши сердца без всяких директив и указов. Они не противоречили друг другу. И всё в наше сердце вмещалось: Пушкин и Шевченко, Котляревский и Лермонтов, Леся Украинка и Гоголь... Всех читали, всех ценили. Когда хотел, отвечал по-русски, когда хотел – по-украински.

И сколько же было общего у тех, с кем мы общались и работали и на Украине, и в России. Сомнений в единстве, братстве, общности ни у кого не было.

Когда несколько лет назад мы с моим одноклассником академиком Цыбом (крупнейшим радиологом мира, возглавляющим крупнейший Обнинский центр медицинской радиологии) приехали на Сорочинскую ярмарку, то побывали у своих старых, мудрых учителей в школе. Учителя нам обрадовались, долго вспоминали прошлое, в школе же было как-то тускло и скучно. Из нынешних учителей и учеников искры не высекали. Сказали об этом нашим учителям.

Надежда Васильевна всплеснула руками: “Валерий, не горят глаза-то у них, они ведь не читали письмо Татьяны Евгению, не слышали про Лермонтова, птицу-тройку гоголевскую не ощущают. Ведь Гоголь-то объявляется им “зрадныком” (предателем), ибо писал по-русски”. Каждый привёл пример отторжения ценностей культуры и литературы от нынешнего школьника. Александр Семёнович, её муж, блестящий историк, подтвердил: “Они ведь и Есенина не читали вслух, о Тютчеве не слышали, да и украинцев-то только со стороны русофобии изучают. Парни и девушки великих образцов восточнославянской, всей человеческой культуры не знают”. В какую же пропасть невежества и бескультурья толкают в последние годы украинские “образованцы”, галицийские культургеры всё население Украины, выжигая единокровную русскую культуру, литературу из памяти, из сознания, из истории, разрывая исторические, духовные, душевные связи между составными частями великой восточнославянской цивилизации”.

... Ганичев учился в Киевском государственном университете на истфаке. В годы учёбы он и познал истину: “Киевская Русь – колыбель трёх братских народов: у нас общая история, общий язык, общая судьба. Киевская Русь – не Россия, но и не Украина, и каждый народ этого гнезда имеет право отсчитывать от неё свою родословную”.

После окончания университета работал в Николаеве, где и увлёкся славной историей русского флота, заинтересовался победами великого русского флотоводца Фёдора Ушакова. “Благодарю Бога, – вспоминает он, – эта счастливая возможность – начало работы над книгами о православном адмирале – явилась ко мне впервые в Николаеве, куда я попал в 1956 году после Киевского университета по распределению. Именно здесь заинтересовался Феодором Ушаковым, одним из преобразователей края, одним из создателей русского флота. Мне стало интересно, как за каких-то сто с лишним лет дикий пустынный край превратился в оплот русской державы. Там была дикая степь, поле, где бродили табуны лошадей, орды ногайских татар. И вдруг всё превратилось в цветущий край...”

Вся Новороссия застраивалась выходцами из России, ими были созданы такие города, как Одесса, Николаев, Херсон, Екатеринослав, Мариуполь, Мелитополь, Симферополь, Севастополь... Тогда же был создан Черноморский флот. И его командующим стал адмирал Ушаков. Вот его судьбой я и заинтересовался в Николаеве, погрузился в историю Новороссии, Черноморского флота, Ушакова... Изучение его деяний, его подвигов, его преобразований юга России заняло у меня 30 лет. Я побывал и на Корфу, и в Болгарии, посетил все места его боевой славы. Думаю, что каждый новый факт, новое свидетельство из жизни адмирала, обнаруженные мною в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Саранска, Николаева, Херсона, греческого острова Корфу, сопоставление их, включение в общую историческую панораму всё больше раскрывало истинное значение деяний Ушакова, возвышало его. Может быть, осознание величия адмирала Ушакова и оказалось главным де-

лом моей жизни. У меня к 1995 году вышли и роман “Росс непобедимый”, и в серии ЖЗЛ “Ушаков”, но, изучая уже последние годы его жизни, когда он постоянно бывал в монастыре, раздавал простым людям все свои земли и богатства, я понял, что он ушёл из жизни праведником, нашим православным Святым. И обратился к святейшему Патриарху всея Руси Алексию: “Ушаков – это же Святой?” “Да, Святой. Мы все это чувствуем. Если наш флот получит такого небесного покровителя, это будет великое благо для нас”, – сказал мне Патриарх. Тогда я написал официальное письмо Святейшему Патриарху, произошло широкое обсуждение темы канонизации и в церковных, и в светских, и в армейских кругах, были и молитвы монахов, и разбор материалов канонической комиссией. После чего в 2001 году Феодор Ушаков был прославлен как Святой. Я радуюсь, что это произошло в моей жизни”.

Иеромонах Венедикт писал: “Некоторые говорят, что прославление Ушакова – политическое явление. Мол, поговорили и решили. Но так не бывает. Господь избирает именно тот момент прославления своих угодников, который как бы взывает к конкретному святому через конкретного человека. В данном случае это – Валерий Николаевич Ганичев. Когда он писал, он проникался познанием праведности своего героя, потом отправил письмо Святейшему Патриарху. И, наконец, народное почитание, молитвы братии Санаксарского монастыря сделали своё дело. Этот пример очень значим. Но надо понять его не формально, не поверхностно, а вникнуть в самое существо образа Феодора Феодоровича. Существо же его святого образа в том, что, прежде всего, человек – носитель благодати Божией и послушник перед Богом.

Господь каждому из нас определяет послушание, кем бы мы ни были. Для Валерия Николаевича Ганичева – это, прежде всего, служение слову, творчество, обращённое ко всем нам, русским людям, и к нашим ближним и дальним потомкам”.

Вот и будет история судить Валерия Ганичева по всем делам его.

Читая его избранную публицистику “Слово. Писатель. Отечество”, я погружаюсь в историю русской патриотики. Это не просто собранные вместе речи, выступления, интервью, доклады – это живая история борьбы за Россию, за русскость.

Первая часть книги – о наших великих соотечественниках, о Пушкине, Гоголе, Тургеневе, Достоевском, Шолохове, Волошине, Рубцове. Но это не анализ литературоведа, а привлечение патриотом и публицистом своих национальных русских гениев в союзники в сегодняшней борьбе за Россию. Пушкин и Толстой собирали в трагические годы нашу нацию воедино. Не случайно в наши дни стало модно сбрасывать великих соотечественников с борта современности, дабы не мешали добывать саму Россию. Михайловское, Бежин Луг, Ясная Поляна, Тарханы, Вёшенская, – по мнению Ганичева, эти святые для русского человека места были и останутся центрами нашего национального сопротивления. Такие стихи, как “Клеветникам России” Пушкина, “К ненашим” Языкова, “Опять народные витии” Лермонтова, становились боевым оружием русских патриотов. Ганичев вспоминает, как за публикацию языковского стихотворения “К ненашим” в известном молодогвардейском сборнике “О, русская земля” на него одновременно обрушилась и партийная, и либеральная пресса. Даже академик Лихачёв обвинил русского поэта Языкова в шовинизме, ссылаясь на Герцена. Значит, не устаревают языковские строки:

*Вполне чужда тебе Россия,
Твоя родимая страна!
Её предания святы
Ты ненавидишь все сполна.*

И по-прежнему, как во времена Хомякова и Самарина, ищут наши прогрессисты привозные ценности, забывая о своих. По-прежнему приходится в России бороться за сохранение Бородинского поля, поля Куликова, музеев в Абрамцеве, Спасском-Лутовинове... Русскому историку постоянно приходится быть публицистом и полемистом, борцом за русскую культуру, подвижником.

Далее следуют части книги, посвящённые русской истории, нашим современникам, ведущим писателям России. И опять это не столько критический анализ творчества, сколько история самого русского национального дви-

жения, история создания знаменитого клуба “Родина”, история первого патристического журнала “Молодая гвардия” и издательства “Молодая гвардия”. Вот уж верно, как *закалялась русская сталь*, как сражались за исторические книги Пикуля и Балашова, за стержневую русскую прозу Шукшина и Распутина, Белова и Личутина. Это была осознанная борьба за русское дело в России. Конечно, он постоянно рисковал, но не отступал от своих принципов, никогда не сдавался. Валерий Ганичев и его соратники жадно тянулись друг к другу, чувствовали опору в Михаиле Шолохове, Леониде Леонове. Валерий Ганичев вспоминает: “Нам надо было как-то сорганизоваться, как нынче говорят, найти “крышу”. Я предложил создать советско-болгарский клуб творческой молодёжи. Был в Болгарии, там идею поддержали. От меня такую записку могли не принять, и я её запустил из Болгарии. Такой клуб был создан даже по решению ЦК партии. Все ключевые позиции в клубе заняли мы. Привлекли всех молодых филологов и историков, писателей и художников, критиков. Там бывали Ланщиков, Олег Михайлов, Василий Белов, Валентин Распутин. Это был как бы клуб русской национальной интеллигенции под болгарским прикрытием. Кстати говоря, со временем левые силы в Болгарии написали записку в ЦК КПСС, что клуб стал рассадником шовинистических взглядов. И Геннадия Михайловича Гусева обязали разобраться с этим вопросом. Мы оправдывались уже тем, что заседания клуба проводили в самых разных республиках, в частности, в Грузии. Как-то оправдались. А из той поездки в Грузию помню, как Вадим Кожин и Сергей Семанов в самолёте, когда мы летели уже из Тбилиси домой, встали где-то над Краснодаром со своих кресел и заявили: “Мы пролетаем над землей, где героически погиб Лавр Корнилов, просим всех встать!” И все встали, даже секретарь ЦК ВЛКСМ Камшалов стоял. А это всё-таки 1972 год был. . .”

Вот так и формируется в новой книге Валерия Ганичева “Слово. Писатель. Отечество” история русского движения, от знаменитых и нашумевших книг из серии ЖЗЛ до журналов “Молодая гвардия” и “Наш современник”. Им нанесли удары, но и русская ватага умела держаться. Илья Глазунов и Василий Белов, Сергей Семанов и Олег Михайлов, Станислав Куняев и Вадим Кожин — тогда все они ещё умели держаться вместе. В беседе со мной Валерий Ганичев откровенно говорил о русской линии в руководстве страны: “Нам казалось, что в верхах крепнет определённое направление, определённое крыло, которое поддерживало русскую линию. Когда в 1971 году Степаков стал заведующим отделом пропаганды и поддерживал все наши усилия, его быстро убрали. По слухам, Яковлеву было сказано: ты станешь заведующим, если разгоришь русское движение. А мы в это время печатаем знаменитое “Письмо одиннадцати”. Начинать его писать у меня в кабинете, потом перешли в кабинет к Софронову. Мне сказали: “Ты не подписывай, ты занимаешь важное место. Его нужно сохранить”.

Вот после этого *письма одиннадцати* Яковлев повёл ответное наступление. Подключил и Лихачёва, и сам выступил со своей нашумевшей статьёй “Против антиисторизма”. Мы тоже решили сопротивляться. Он выступил перед секретарями обкомов и ЦК комсомола в Академии общественных наук, я там тоже сидел. И за пять дней до публикации в “Литературной газете” он её всю зачитал руководителям комсомольских организаций. А потом там же, в зале, поворачивается ко мне и говорит: “Вот умный человек Валерий, но как же такая патриархальщина, внеклассовый подход. Крестами всё заставили. . .” Я понимал, что, очевидно, вопрос со мной решён наверху. Мы вышли, всё бюро ЦК комсомола: Тяжельников, Пастухов, Янаев, — я стою где-то поодаль. Кстати, не забуду, как Янаев отошёл от Тяжельникова и стал рядом со мной как бы в знак солидарности. Я об этом написал позже ему в Лефортовскую тюрьму, благодарил. . . Позже выступаю вместе с Тяжельниковым перед ленинградским активом интеллигенции. В первых рядах сидели Товстоногов, Гранин. . . Тяжельников выступил о делах комсомола, а я говорил о неправильных тенденциях в нашей литературе, об излишнем пацифизме, о преклонении перед Западом. Все они были несколько ошарашены, но когда на виду у всех из-за стола президиума вышел Романов, подошёл ко мне и пожал руку: “Спасибо вам за это выступление, за вашу позицию”, — всем стало ясно, кто в Ленинграде враг западничества и русофобии. После статьи Яковлева мы решили сопротивляться, обратились ко многим, в том числе к Шолохову. Как известно, Михаил Шолохов написал своё “русское письмо” к Брежневу,

ныне опубликованное в “Завтра”. Были тысячи писем в ЦК КПСС от самых видных людей с возмущением по поводу яковлевской статьи... Это русское патриотическое направление проявлялось на самом высшем уровне в Политбюро ЦК и было связано с такими громкими фамилиями, как Шелепин, Мазуров, Машеров, Полянский. Поговаривают, что близок был к русскому крылу Кириленко. Ну, и Романов ленинградский тоже. Они противостояли космополитическому крылу в Политбюро и одновременно закоренелым догматам марксизма, отрицающим любое национальное начало в жизни общества. Андропов, Шеварднадзе ненавидели русскую партию и боялись её. Помню, мы выпустили несколько книг против сионизма: Евсеева “Фашизм под голубой звездой”, Бегуна “Вторжение без оружия”. За книгу Бегуна нам досталось по высшей мере – и от цензуры, и от начальства. Меня вызывал Севрук, кричал на меня: как вы можете выпускать такие книги? Но у нас были свои козыри, своя поддержка. Мы тоже умели обороняться. Даже стали готовить второе издание. Севрук выступил категорически *против*, но в это время поступил звонок от Машерова: “Почему у вас задерживается выход книги Бегуна?” – Мы отвечаем: “Есть возражения отдела пропаганды”. Нам было сказано Машеровым: “Я считаю, что задержка неправильная, книгу надо выпускать”. Спрашиваю: “Я могу сослаться на ваш разговор?” – “Да, пожалуйста”. На второй день с тихим торжеством пришёл в отдел пропаганды. Начинаю разговор о книге. Слышу: “Хватит говорить об этом, её выпускать не будем”. – “А вот Машеров, кандидат в члены Политбюро, говорит, что книгу эту надо выпускать...” Севрук побелел: “Ну, я не говорил, что не надо выпускать совсем, но надо подработать... Давайте работать”. Мы работали, ещё был звонок Машерова: “Поторопитесь, эта книга нам очень нужна в борьбе с буржуазной идеологией”. Книга вышла 200-тысячным тиражом. Вот такую прямую поддержку нам не один раз оказывал Пётр Миронович Машеров...”

Конечно, были споры и среди патриотов, белых и красных, монархистов и анархистов, православных и язычников. В этой новой книге Ганичева я нашёл и полемику с собой. Без споров в таком деле не обойтись. За эти десятилетия я как критик и публицист тоже неоднократно спорил и с Ганичевым, и с Куняевым, и с Поляковым, но в самых иногда яростных спорах со своими соратниками важно не перегибать палку, помнить о главном. Думаю, в этом мы с Ганичевым близки. Он всегда понимает единую стратегию русского дела, которое для него всегда было выше чиновничества, выше партийности, выше клановости.

Он был и есть наш русский державный патриот. Почаще бы на наших государственных горизонтах появлялись такие надёжные защитники русской национальной культуры! От всей души поздравляю Валерия Николаевича с юбилеем! Многая лета!

21 августа исполняется 100 лет со дня рождения Виктора Розова — одного из крупнейших драматургов XX века. Но Виктор Сергеевич был не только выдающимся русским советским писателем, он был и настоящим гражданином своего Отечества, истинным патриотом. Особенно ярко это проявилось в последние годы его жизни — самое трагическое время для нашей страны.

Тогда с ним много общался известный журналист газеты “Правда” Виктор Кожемяко. И этому периоду посвятил свою книгу о нём под авторским названием “А Розов сказал: “Холуяж!””, которая должна выйти в издательстве “Алгоритм”.

Публикуем беседу Виктора Кожемяко с Виктором Розовым, которая состоялась в 1998 году, когда отмечалось 85-летие писателя. Она помещена в этой книге.

НА КРЮЧКЕ ПОЗОЛОЧЕННОМ

Он признан как один из крупнейших драматургов XX века. Событием советской театральной жизни стала постановка уже самой первой пьесы Виктора Розова “Её друзья” на сцене Центрального детского театра в 1949 году. Спектаклем “Вечно живые” по его пьесе открылся в 1957-м театр “Современник”. А фильм “Летят журавли”, снятый по его сценарию, был удостоен в 1958 году высшего приза Каннского кинофестиваля “Золотая пальмовая ветвь” и теперь значится среди лучших фильмов мирового кинематографа.

Но Виктор Сергеевич был не только выдающимся русским советским писателем. Он был и настоящим гражданином своего Отечества, великим патриотом. Особенно ярко это проявилось в последние годы его жизни — самое трагическое время для нашей страны. Когда в конце 80-х годов прошлого века он, доброволец Великой Отечественной, понял, какая опасность вновь нависла над Советским Союзом, честный писатель и отважный солдат мужественно встал на его защиту. А потом начинается борьба за Россию — за справедливую власть в стране, за её независимость, за самобытную и великую русскую культуру. Несмотря на преклонный возраст, Виктор Розов остаётся в первых рядах бойцов.

Его страстный публицистический голос, обращённый к соотечественникам, больше всего звучал в эти годы со страниц “Правды”, которая стала для него самой главной газетой. Розов и “Правда” — большая тема. Ей и посвятил свою новую книгу Виктор Кожемяко, много общавшийся тогда с Виктором Сергеевичем и опубликовавший целый ряд бесед с ним.

Книга под авторским названием “А Розов сказал: “Холуяж!”” недавно сдана в издательство “Алгоритм”. В нынешнем году 21 августа исполнится 100 лет со дня рождения В. С. Розова, и мы надеемся, что к этой знаменательной дате она выйдет. А пока публикуем фрагменты из книги, чтобы читатели по до-

стоинству оценили подвиг писателя-патриота, совершённый им в конце жизни. Сегодня Виктор Розов необходим нам так же, как тогда.

Эта наша беседа с Виктором Сергеевичем, наиболее пространная и многоплановая, состоялась в августе 1998 года, накануне его 85-летия. Близился к завершению и XX век, значительную часть которого он своей жизнью “захватил”. Мы находились у порога нового, третьего тысячелетия. Всё это требовало осмысления и подведения каких-то итогов, настраивало на философский лад.

Я к нему всегда шёл с вопросами “самыми-самыми”. О том, что в жизни острее всего тревожит и более всего заставляет думать. А теперь вот сошлись, совпали такой почтенный его юбилей и завершение века, свидетелем которого он стал.

Поражают люди, плюющие в своё прошлое

Виктор КОЖЕМЯКО: Действительно, Виктор Сергеевич, вас вполне можно назвать свидетелем века. Давайте с этого и начнём сегодня наш разговор. Какие воспоминания и мысли приходят “под занавес” XX столетия?

Виктор РОЗОВ: Да, этот век почти целиком я прожил. Изобиловал он разными разностями. Были и хорошие времена, и невыносимо тяжёлые. . .

Дело ещё в том, что человек о каком-либо времени судит по собственной судьбе. Моя судьба была очень суровой до 36 лет. Крайне суровой. Но. . . счастливой. Вот что поразительно! Скажем, сейчас я более обеспечен, чем тогда, гораздо более обеспечен, но я, как это ни странно может показаться, — более несчастен. Да что там, я просто несчастен по сравнению с теми временами, когда было мне и холодно, и голодно, и припев в доме был: “Мама, нет ли чего укусить? Дай какой-нибудь кусочек хлебца!”

Ну, когда маленький был, можно сказать, многое воспринималось бессознательно. Голод тех лет, беспризорщина после гражданской войны. . . И многое потом стало понятно, во всяком случае, объяснимо. Произошёл ведь великий слом — революция. Но почему же тогда, в те времена и позднее, я чувствовал себя счастливым, а теперь — нет?

Вот сейчас мы сидим с вами в тёплой комнате, чистой и уютной, и не видно вроде бы вокруг той разрухи, но боли в сердце неизмеримо больше, чем тогда! И это не только потому, что тогда я был очень молод, и молодость сама по себе кипела и радовала. Нет, суть в другом. Не может же меня оставить, допустим, сознание того, что если в гражданскую войну было два миллиона беспризорных детей, то сейчас — тоже два миллиона. Или даже ещё больше! Казалось бы, без войны. . .

Вот это для меня совершенно необъяснимо. Вернее, я могу объяснить это лишь как следствие неслыханного и невиданного ограбления народа частью общества. Ну, как назвать эту часть? Их называют иногда почему-то “новыми русскими”, называют нуворишами. А надо говорить прямо: воры! Называть вещи своими именами. Впрочем, и воры — это для них, пожалуй, слабовато. Вор — он на чём-то себя останавливает. А эти. . . хищники! Хищнику надо всё больше, больше, больше. Он ненасытен! И чем это кончится, какая будет развязка, предугадать не могу. Но тревожусь, скажу вам, очень. Потому что может произойти какой-то ужасный взрыв в обществе. Такой взрыв, что только щепки полетят от всего этого! . .

Но, с другой стороны, как же теперь может измениться жизнь, чтобы снова пойти по нашему православному, русскому руслу, — я даже не знаю как. Слишком далеко зашло, слишком всё серьёзно! И, наверное, должны те политические фигуры, которые действительно болеют за судьбу государства и каждого человека в нём, как-то объединиться. Все лучшие силы должны объединиться и сплотиться! Во имя спасения Отечества.

Сейчас разделение общества на супербогатых и сверхбедных настолько велико, пропасть между ними так глубока и широка, что да — не знаешь, как разрешится этот вопрос. Тут нужна какая-то величайшая мудрость, чтобы обошлось без миллионных человеческих жертв.

Вот это — первое, пожалуй, что больше всего сегодня меня волнует. Второе, о чём хочу сказать: государство наше приобрело уголовный облик. Поразительно это происшедшее буквально на глазах перерождение значитель-

ной части нашего общества – неслыханная, массовая уголовщина! И тоже не видишь тут ни конца, ни края. Порой возникает чувство, что уголовные элементы захватили уже буквально всю страну, начиная, конечно, с самого верха. И не знаешь, что же против этого делать...

В. К.: Однако вы, Виктор Сергеевич, всё же поднялись на борьбу против этого. Несмотря на свой возраст, нездоровье. Вы поднялись и делаете, по моему, всё, что только в ваших силах.

В. Р.: Может быть, это потому, что я никогда не был в шорах. Что я понимаю под шорами? Они могут быть надеты добровольно, могут – хозяином: “По сторонам ты не смотри, а смотри лишь прямо”.

Так вот, на мне этих шор никогда не было, и всегда я видел жизнь такой, какая она есть, без всяких прикрас. Видел плохое, что было раньше, и видел хорошее, что тоже тогда было. Меня поражают люди (я уже не раз об этом говорил), которые зачёркивают своё собственное прошлое, клянут его. Несмотря на то, что именно тогда эти люди сделались известными, знаменитыми, прославленными. Это всё равно, что плевать на родного отца и родную мать!

В. К.: Увы, среди так называемой творческой интеллигенции подобных немало.

В. Р.: Мне это непонятно. Учились бесплатно, начиная с детского садика и до вуза. Выдвинуты на сцену, если о нашем театральном деле говорить. Стали народными артистами СССР или РСФСР, лауреатами Государственных и Ленинских премий, Героями Социалистического Труда. Всё это в то время! Стали знамениты на весь мир и теперь плюют в своё прошлое...

Считаю это аморальным, безнравственным и очень некрасивым. На этой почве у меня с достаточно значительной частью нашей интеллигенции негласное, но явственное расхождение. Они сердятся на меня, что я придерживаюсь каких-то старомодных взглядов, приписывают мне, что я оправдываю все беды, которые были в прошлом, винят в том, что не принимаю происходящего сейчас.

Да, не принимаю! И не понимаю, как это можно принимать. Как может у них не болеть душа, если они знают, сколько миллионов людей оказались у нас сегодня за чертой бедности, что больше двух миллионов детей в невоенное время – беспризорники...

Невольно всё это обращаешь в адрес власти, которая неправильно правит государством. Наверное, мои понятия и представления во многом, что называется, доморощенные, возможно, в чём-то даже наивные. Но я считаю, что нам надо было идти сейчас по пути ленинского нэпа. И тогда всё-таки страна вышла бы на социалистический путь развития. Без иллюзий общества коммунистического, ибо в моём представлении это больше литература, а социалистический путь – реально наиболее справедливый. И если бы мы пошли в нынешнее время по пути нэпа, мы бы, как мне кажется, вернули все наши социалистические завоевания.

Сегодня я всё чаще думаю об этом, возвращаюсь мысленно к периоду нэпа, вспоминая, сопоставляя. Даже статью об этом хочу написать. Конечно, мои личные впечатления того времени – полудетские. Мне хочется кое-что почитать, поглубже разобраться, как разрабатывал Ленин свой экономический план. Ведь за короткий срок тогда удалось при экономической многоукладности, но сохраняя Советскую власть, достигнуть очень многого. Не знаю, может быть, в Китае за последние годы сделано нечто подобное...

В. К.: Словом, насколько я понимаю, Виктор Сергеевич, вы не за капитализм, а за социализм.

В. Р.: Одни люди живут более богато, другие – менее, но бедных нет! Вот это, по моему, справедливо. Всех абсолютно уравнивать, наверное, нельзя, да и не нужно. Я всегда с пониманием относился, например, к тому, что академик получал более высокую, чем другие, зарплату. Имел дачу, особенно хорошую квартиру. На то он и академик – у него голова какая! Мозговые клетки стоят всего дороже. Или гениальный актёр, талантливый писатель...

В. К.: А теперь академики объявляют голодовку, стреляются или выходят с протестом, чтобы отстоять институты, которые душат и уничтожают.

В. Р.: Я всегда понимал разделение по степени таланта и по той пользе, которую люди приносят обществу.

В. К.: Но не по талантливости прохиндейства, верно я понимаю?

В. Р.: Да, да, конечно... А сейчас в “новой культуре” просто глаз по-хорошему не на ком остановить. Посмотрите, ведь уже целая эпоха, больше де-

сяти лет прошло, как всё это у нас началось. Но это десятилетие в нашей сфере – в сфере искусства – ничего не дало! Или почти ничего.

После Октябрьской революции хлынули (буквально хлынули!) таланты во всех видах литературы и искусства. вспомните первое десятилетие Советской власти: Маяковский, Есенин, Шолохов, Вахтангов, Мейерхольд, Эйзенштейн, Довженко, Пудовкин, Шостакович... Всех не перечислишь. И в живописи, и в архитектуре – да везде! Очень ярко рождались тогда и новые формы, и новое содержание. А сейчас – ничего. Просто поразительно! Вот открыли на телевидении канал “Культура” – и он кормится только прошлым. Ибо нынешнее состояние культуры, я уж не знаю, как точнее сказать... Убого.

В. К.: И если на том же канале “Культура” показывают что-либо из нынешнего, особенно очевидно, как в сравнении проигрывает...

В. Р.: Я давно уже понял, что вступили мы, вернее – поставили нас не на тот путь, который нам нужен. Я поначалу был сторонником горбачёвской реформы. Когда объявили плюрализм мнений. Но... эта свобода была подавлена односторонней распущенностью! И чем обернулось? Словоблудием.

Чувство Родины хотят истребить

В. К.: Когда вы говорите о резком упадке нашей культуры, я думаю, что немалую роль в этом сыграло и обезьянничанье многих деятелей, носителей культуры, перед Западом.

В. Р.: У меня тут своё мнение. Когда Хрущёв впервые посетил Америку, он пришёл от неё в восторг. Потом отправился туда Ельцин. Он облетел два раза вокруг статуи Свободы и почувствовал себя свободным...

А я вот частенько вспоминаю, как вскоре после окончания Карибского кризиса послали туда, в Америку, нашу маленькую писательскую делегацию. Для налаживания отношений. И нас принимал не кто-нибудь, а госдепартамент. Совалось нам в нос самое великолепное, что только можно было найти в США! Начиная от самых шикарных гостиниц, где нас поселяли, до встреч с богачами, вплоть до сенатора, который вскоре стал вице-президентом. И везде – самый роскошный приём.

Когда полетели обратно, Катаев лукаво смотрит на меня и спрашивает: “Виктор Сергеевич, ну, как?” Я говорю: “Потрясающе!” А он в ответ: “Нас пытали роскошью”.

Да, действительно, нас пытали роскошью, но ничего из этого не вышло! Мы вернулись такими же советскими людьми. А Хрущёв испытания роскошью не выдержал. Сразу: “Догоним и перегоним Америку!” Какие-то пустые и нелепые слова.

Ельцин дважды облетел стацию Свободы и переродился. Ну, лазили мы на эту стацию. На плечах у неё – смотровая площадка, виден океан, видны Манхэттен и все эти небоскрёбы. Всё это действительно очень красиво и очень хорошо. Но ничего не изменилось у нас внутри по отношению к нашей родной стране!

А у этих... Произошла какая-то аберрация: “Давайте и мы сделаем вот так!” Слушайте, ничего более глупого не придумаешь. Как будто игрушку какую-то сделать давайте и мы выточим.

В. К.: Нелепо. Страна скроена на свой манер. Люди иные, культура совершенно иная...

В. Р.: Россия – особая цивилизация. Да к тому же многонациональная страна. Причём я не беру то, что сегодня Россией называют. Я беру Советский Союз. Великий, единый и неделимый многонациональный Советский Союз! Это было устройство очень хорошее.

В. К.: И жилось в нём, прямо скажем, хорошо...

В. Р.: В целом – очень хорошо. Я бывал во всех республиках. Хотя бы на свои премьеры ездил. Везде приветливо, везде дружно, везде весело. Были, конечно, свои проблемы, без этого в жизни не бывает – у каждого и дома свои проблемы.

Но сейчас наряду со всеми этими казино (в Москве, по крайней мере), сверкающими вывесками, всякими ресторанами, гостиницами роскошными – какая-то серость. Как ни странно – серость и унылость!

В. К.: Вы её ощущаете?

В. Р.: Я её ощущаю. Очень. И тут понятно: у государства нет идеи. Оно не знает, что оно делает, к чему стремится.

В. К.: Неизвестно, куда мы идём. То есть куда ведут. Хотя догадаться можно — отнюдь не к хорошему, не к лучшему...

В. Р.: Получается для многих, даже для большинства, бессмысленность жизни. Очень остро ощущаю эту бессмысленность!

Я бы ещё и поэтому предложил обратиться сейчас к периоду нэпа, изучить как следует все документы того времени. Была частная собственность, была государственная. Но у общества была также идея, большая советская, социалистическая идея, которая его объединяла и вела. Вообще, на протяжении всей нашей советской истории благороднейшие идеи человечества — идеи добра, справедливости, равенства и братства — играли очень большую роль. В том числе во время самой Великой войны — Отечественной. Идея Родины, которую нельзя не защищать, даже ценой собственной жизни. Потому что она, Родина, — выше и дороже.

В. К.: Я хотел о вашей малой родине спросить. О Костроме. Вот вам исполняется 85 лет, и многое ведь за эти годы с Костромой связано. Что она для вас? Тянет ли туда? Что при встрече в душе возникает?

В. Р.: Ну, это возникает, наверное, у каждого человека. Там, где ты рос, где духовно родился, а Кострома — именно моя духовная родина, потому что физически я родился в Ярославле, но жил там совсем немного.

В Костроме я впитал всё лучшее, что мне внушалось, начиная с матери и отца. Друзья мои дворовые, школа, книги, которые читал, Волга, Молочная гора... Этот охватывающий душу простор!

В. К.: Вы давно были там последний раз?

В. Р.: Да нет, совсем недавно, с Надей, с женой, были. Не упускаем ни малейшей возможности побывать. Знаете, это душу питает. Это — родное, особенно родное и близкое. Без этого, наверное, русскому человеку нельзя. Трудно.

В. К.: Чувство Родины в большом и даже великом смысле начинается, видимо, всё же с так называемой малой родины?

В. Р.: У меня — да. А за всех говорить не берусь. Очевидно, для других наций их родина — это тоже Родина. И тоже есть любовь к Родине, какое бы государство ни было. Я-то считаю: у англичан, французов, японцев, китайцев, вьетнамцев, испанцев, да кого ни возьми — у всех свои корни. Единственная страна, которая не имеет своих корней, — это Соединённые Штаты Америки. Вот она, по-моему, не может быть в полном смысле Родины. Там родиться, конечно, можно и всю жизнь можно находиться там, но...

Я много раз бывал в Америке. И встречали меня там хорошо. Но я всегда чувствовал, что для людей это — просто место жительства. Именно так: место жительства, а не Родина. Потому что Родина это — для индейцев, но их уже нет фактически, я видел их только, так сказать, штучно — они в своих резервациях.

Да, у американцев, в моём понимании, нет Родины. И американская психология — очевидная государственная психология, она игнорирует чувство Родины. Думаю, что и наши разногласия больше всего на этой почве. Мы цепляемся за свою Родину, и мы не хотим быть Америкой, то есть страной без Родины. Это, на мой взгляд, вопрос очень важный! Ведь испанцы не отдадут свою Испанию, и англичане не отдадут свою Англию, французы — свою Францию, и даже какая-нибудь маленькая Голландия, или Дания, или Бельгия... Во всех этих странах я бывал, и везде чувствуется дух Родины.

В. К.: А у нас? Что же происходит у нас? Раствориться хотим?..

В. Р.: Идёт атака, чтобы истребить в нас чувство Родины. Уже территорию разбили, военный приоритет Америки безусловен — им только сейчас не хватает убить этот наш русский дух. Вот и идёт разложение русского духа всеми способами. С одной стороны — жвачкой, рекламами всякими, пропагандой всего заграничного, а с другой — искусством западным, то есть, в основном, американским кино. Всегда с погонями, всегда с убийствами и часто с безнравственностью. Это — самое главное!

В. К.: Да, убийство русского духа...

В. Р.: Покушение на русский дух. Его растлевают всяко. В том числе материально. Смотри, дескать, вон тут человек получает сколько! И ты можешь, если будешь делать то-то и то-то. Пусть и грязное, подлое, мерзкое. Я даже

говорить об этом не хочу... Выброшен же лозунг: каждый отвечает за себя сам и живёт в одиночку, а государство вроде вообще ни за что не отвечает.

Наше общество в этом отношении было гораздо справедливее. Хотя мы жили всегда скромно, но, во всяком случае, обеспеченно. Мы знали, что 14-го зарплата, и она была 14-го, а не 5-го.

В. К.: Не искушали нас "золотым тельцом". А теперь он вздвигнут в полный рост.

В. Р.: Брошен "позолоченный крючок", на который клюют люди. И всё делается, чтобы они поглубже его заглотили.

В. К.: Погубят нас этим вконец, как вы думаете?

В. Р.: Испытание нам выпало суровое. Очень суровое! Испытание на сытость.

В. К.: Пожалуй, в чём-то оно ещё страшнее, нежели испытание голодом.

В. Р.: Бесспорно, бесспорно.

В. К.: Дух или заплывает салом, или разлагается, растлевается.

Вот оно, лицо поколения

В. Р.: Я до 36 лет жил бедной жизнью, иногда очень бедной, голодал и одеться не во что было. Но, как уже говорил, я был счастливым. Это парадокс, однако это — реальность.

В. К.: Вы мне рассказывали о счастье, испытанном тогда после МХАТовских спектаклей...

В. Р.: Великое было счастье и радость — любимые театры. Книги, конечно. Музыка, выставки, да и всё окружение... Своё представление о ценностях было. Идёт нарядно одетый человек — ты смотришь: ах, как красиво! Но, кроме этого ощущения, что идёт красиво одетый человек, ничего и нет. Не то что: вот мне бы так!..

В. К.: То есть зависти не возникало?

В. Р.: Никогда.

В. К.: Вот это — свойство души.

В. Р.: Конечно, душа так должна быть устроена. Но это ещё и следствие воспитания. Потому все мои друзья-костромичи, они были такие. Сейчас осталось нас только двое — Катя Шелина и я.

В. К.: А она кто?

В. Р.: Она окончила пищевой институт и стала крупным специалистом по этой части. Другая девочка, её подруга, — тоже...

В. К.: Это ваши одноклассники?

В. Р.: Да.

В. К.: И вы с одноклассниками всё время поддерживали отношения?

В. Р.: Постоянно. Собирались у нас дома, накрывали стол, говорили, пели...

В. К.: И кто были эти люди?

В. Р.: Порядочные все люди. Во-первых, трудящиеся. И потом, надо сказать, многие вышли в крупные государственные фигуры. Вон Игорь Волнухин заведовал какими-то очень ответственными приборами на военных кораблях. Изобретал. Его хоронили с воинским салютом. Федя Никитин в подмосковном Калининграде работал главным инженером, занимался металлом, который делали для спутников и космических кораблей. Тоже не шутка! Кирилл Воскресенский окончил военную академию и стал преподавателем высшего артиллерийского училища. Наталья Воскресенская, его сестра, — текстильщица, работала на фабрике в Костроме, потом её перевели в Иваново, а потом — в Смоленск, где она заведовала огромным комбинатом текстильным. И затем — в Министерство текстильной промышленности, на какую-то очень высокую должность.

Причём, я подчеркну, никто никогда не добивался этих высоких должностей, а просто своим трудом, своими способностями выделялись — и их выдвигали. Ну, многие погибли во время войны.

В. К.: Да, это — поколение. Лицо поколения. Вы в каком году окончили школу?

В. Р.: В 31-м.

В. К.: Какая это была школа?

В. Р.: 4-я девятилетка имени Энгельса.

В. К.: И что бы вы отметили как наиболее характерное для этого поколения, для своего поколения?

В. Р.: Дружбу. Отсутствие пьянки — мы водку попробовали, я уж и не помню когда, взрослыми... Верность слову. Трудолюбие. Честность. Полное отсутствие карьеризма! Полное... И — никакой погони за деньгами.

В. К.: То есть деньги нужны просто для жизни, но никакой специальной погони за ними, поглощающей душу?

В. Р.: Именно.

В. К.: Отсюда, наверное, и такое настроение ваших пьес — светлое.

В. Р.: Я оказался в Костроме в самой обычной школьной и дворовой среде, но — идеальной.

В. К.: А чувство Родины тогда уже было?

В. Р.: Вы знаете, слов-то этих высоких не было.

В. К.: Это я понимаю. Но дело не в словах. А ощущение... Ведь вот началась война — и вы же пошли воевать. Добровольно. И сколько пошло...

В. Р.: Я в книжке об этом написал. Когда решался вопрос, идти мне на войну или не идти, я мог не идти, я был белобилетник, меня и из военкомата отправили: “Чего ты пришёл? У тебя белый билет!” А я пошёл. Понимаете, как-то нехорошо иначе... В пьесе “Вечно живые” я вставил фразу — Борис отвечает: “Я должен быть там, где всего труднее”. А всего труднее было на фронте.

В. К.: Как вы думаете, сейчас совсем это утрачено?

В. Р.: Нет, и сейчас есть увлечённые люди. Не хищники. Я уж не говорю о старшем поколении, которое держится в целом очень достойно. Однако и молодое поколение в чём-то меня радует, хотя оно разное. Многие, к сожалению, сворачивают с пути истинного. И тут общая обстановка, которая у нас создана, конечно, сказывается.

В государстве сейчас ведь по всем статьям плохо. Бюджет... Дома разваливаются. То и дело стреляют. А что такое с самолётами, которые постоянно падают?

В. К.: Вы знаете кого-нибудь близко из молодого поколения?

В. Р.: В основном это дети и товарищи детей.

В. К.: Но какие-то отрадные впечатления, наверное, бывают, раз вы так небезнадёжно говорите о молодых?

В. Р.: Конечно! Я иногда и в школах выступаю. Вижу молодых зрителей на спектаклях по моей пьесе в театре Татьяны Дорониной. У меня такое впечатление: несмотря ни на что, хорошей молодёжи сейчас много.

В. К.: Действительно, ведь на вашем спектакле всегда молодёжь. Что-то же их тянет сюда!

В. Р.: Меня подчас это даже удивляет. Однажды был 35-градусный мороз, когда мой спектакль шёл. И представьте себе: было в зрительном зале 900 человек!

В. К.: Видимо, на этих людей — наша надежда...

В. Р.: И потом: иногда встречаешься, говоришь, смотришь в глаза молодых людей, как они реагируют, — хорошо глядят! Думаю, испоганить русского человека всё-таки трудно.

В. К.: До конца...

В. Р.: Да, да.

Снова должен быть наш Сталинград!

В. К.: Ваша общественная деятельность последних лет, которая уже не только как литератора выдвинула вас пред очи народные, но и как радетеля за Родину, за Россию, она требует большой самоотдачи. Всё время надо что-то отстаивать, за что-то бороться, куда-то спешить. Это даёт вам удовлетворение?

В. Р.: Это даёт мне жизнь. Значит, я кому-то нужен. И надо, очень надо что-то говорить и повторять. Повторенье — мать ученья. А не так: сказал — и ладно, и не важно, что будет...

Где-то мои слова отклик находят. Я в этом не раз убедился. Люди благодарят. Меня не очень популяризуют, но где удаётся сказать своё слово, я стараюсь сказать.

В. К.: И конкретно удаётся кому-то помочь? Помню, вы рассказывали о хождении по разным просьбам...

В. Р.: Вот и сейчас на столе два таких дела лежат. Жду, когда встречу с мэром нашим или его заместителем Шанцевым.

В. К.: А что за дела?

В. Р.: Один из племянников моих, по линии жены, занимается полезным для государства делом. Такая фирма у них – по сбору металлолома, которая очищает Москву от ржавых автомобилей, стоящих по дворам, и прочих таких предметов. Но у них мал круг, где они могут действовать, – просят расширить территорию. Доброе дело, я считаю, они работают хорошо.

А другой вопрос вроде бы частный, но для человека, который обратился ко мне, – весьма серьёзный. Жизненный. Простой работника... Тоже надо помочь.

В. К.: Я недавно читал в газете вашу статью о новом спектакле в Театре имени Ермоловой. Значит, находите время, чтобы смотреть?

В. Р.: Стараюсь. Сейчас на очереди спектакль в “Современнике”. Борис Галин – для меня интересный драматург...

В. К.: А кого-нибудь из молодых драматургов выделяете?

В. Р.: Сейчас, к сожалению, не очень. Читаю пьес много, но... не хватает в них чего-то главного. А не хватает потому (вернусь к уже сказанному), что у государства нет идеи.

В. К.: Вы счастливы в семье? Жена, с которой прожили в любви и согласии более полувека, сын и дочь – по-моему, замечательные, внучка и внук – достойные своего дедушки. В этом ведь тоже счастье?

В. Р.: Ещё бы! Семья – это дом. Я часто думаю, что нашему обществу нужно вернуть семью. Сейчас всё больше замечаешь: семьи-то нет!

В. К.: Колоссальная проблема. И это, по-моему, тоже влияние Запада, что семья разрушается. Прививают молодёжи отношение к семье пренебрежительное. Принесли оттуда: не жених, а бойфренд, то есть временный какой-то сожитель. Всё переводится на контрактную основу: в семье не любовь, а контракт, брачный контракт...

В. Р.: Да, но я старомоден.

В. К.: Как бы вот эту хорошую старомодность по возможности восстановить и укоренить! Русская семья, наверное, тоже поддерживала всегда русский дух, о котором вы говорили. Что для вас это понятие – “русский дух”?

В. Р.: Очень большое. Очень глубинное. Многие столетия ведь складывался он, этот дух, который мне так мил. Люди бездуховные часто говорят: вот вы превозносите свой национальный дух, русский дух, вы националисты, шовинисты... Но я не считаю, что, если, скажем, татарин исповедует свою религию и следует своим татарским обычаям, он обязательно националист или шовинист. А почему же обвиняют нас?

Мне иногда кажется, что во многом от тех же американцев такое идёт. Потому что вот там этого нет. Ведь не скажешь: “американская духовность”.

В. К.: В самом деле, не звучит.

В. Р.: “Американский дух” – так можно сказать, но – полуиронически. Потому что американский дух – это как раз бездуховность. А у нас... В каком веке духовность наша возникла, в каком тысячелетии и как – на это я ответить не берусь, тут учёные пусть отвечают. Но это не только уклад жизни.

Русский дух для меня – это Чехов, это Достоевский; понятно, всех, даже очень ярких выразителей русского духа в великой русской литературе не перечислишь. Вот говорят о загадочности русской души, и она действительно в чём-то загадочная, и для меня загадочная, удивительная, эта русская душа...

В. К.: А в чём, Виктор Сергеевич?

В. Р.: А в том, что не до конца она мне понятна. Вот хотя бы один случай недавний. Сидит возле Ермоловского театра инвалид – без ноги или без обеих ног, перед ним кепка, в которую денежки бросают. Я иду и тоже наклоняюсь, чтобы бумажку какую-то положить. А мне трудно наклониться, у меня нога, как вы знаете, на фронте подбита. И вдруг он посмотрел на меня так удивлённо и воскликнул: “Да ты же сам инвалид!”

В. К.: Характерный случай, ничего не скажешь...

В. Р.: Целая поэма! Или пьеса, новелла. Я, знаете, по привычке сразу начал домысливать и досочинять...

Чтобы глубже понять русскую душу, надо читать и изучать Достоевского. Я с огромным увлечением это делал всю жизнь, а особенно – когда работал над своей инсценировкой по “Братьям Карамазовым”.

В. К.: “Брат Алёша”?

В. Р.: Да. Достоевский в этом романе берёт все аспекты русской души. Он берёт святость Алёши (и ведь не случайно намерен был именно его сделать дальше главным своим героем!); берёт разум Ивана – разум, мучающий человека, доводящий его буквально до сумасшествия; страсть Дмитрия, безудержную русскую страсть. Тут, в этих трёх братьях, – многое о русской душе!

В. К.: Есть и ещё один брат, сводный: Смердяков. Не находите, Виктор Сергеевич, что сегодня он вышел чуть ли не на самый первый план?

В. Р.: Ну, если и не на первый, то достаточно наглядно себя проявил. . .

Так вот, читая Достоевского, Чехова, других наших великих писателей, можно понять, что такое русский дух. Примитивизирую: это всё нравственные и духовные ценности человека. Русский дух не продаётся! А если продаётся, он перестаёт быть русским духом. Он становится тогда духом инородным.

Вот сегодня говорят: “новые русские”. Да простят они мне, но эти, “новые”, потеряли русский дух. Они взяли американскую бездуховность за образец. А русский дух не продаётся – ни за какие деньги. . .

В. К.: Когда вы говорите о предпринимаемой попытке убийства русского духа, вы имеете в виду и попытку его купить?

В. Р.: Так, так, совершенно верно. Слишком сильна власть денег. Деньги – изобретение дьявола!

В. К.: И как вы всё же думаете, Виктор Сергеевич, выдюжим? Удастся ли врагам убить последнее, чем ещё держимся, – русский дух? Недавно Татьяна Васильевна Дорониная очень точно, по-моему, сказала: “Утратить дух – значит, утратить силу. . .”

В. Р.: Я уже говорил: мы действительно сдали очень многое. Как в первый период Великой Отечественной. Мы сдали тогда Брест, сдали Минск, сдали Киев, Одессу, Смоленск – до Сталинграда. Но что было потом? Был Сталинград.

Вот и сейчас. Страна разбита на куски. Фабрики и заводы стоят. Поля не убираются. Мы сдаём, можно сказать, город за городом. Приезжают с Запада какие-то дряхлые “роллинговые стоунзы” – и вокруг них устраивается странный ажиотаж. . .

Да, мы отступаем пока на всех направлениях. Но я верю: наступит наш Сталинград!

В. К.: Всё-таки верите?

В. Р.: Верю. Очень трудно, конечно, будет поправлять всё, что с нами сделали. Но всё вернётся на круги своя. И русская культура, и наука, и экономика наша с мощнейшим её потенциалом. И Союз наш вернётся – Союз, разрушенный этим ужасным событием – Беловежской пущей. Потому что мы были и есть интернационалисты.

Вот это слово сейчас почти не употребляется. Между тем я считаю себя интернационалистом. Я – русский патриот и интернационалист. И это ведь одна из особенностей русского духа: умение понимать другие народы и жить с другими народами.

В. К.: Белоруссия внушает вам какие-то надежды? Её стремление быть с нами. . .

В. Р.: Безусловно. Я невероятно обрадовался, когда стало известно, что Белоруссия снова хочет создать с нами Союз, воссоединиться с Россией. И был страшно огорчён, когда начались яростные попытки всячески помешать этому, не допустить, сорвать, когда принялись лить грязь на Лукашенко, – очевидно, очень хорошего человека.

Это всё они, наши враги! Враги русского духа! Ну и, конечно, окрик из-за океана: что это, вздумали опять соединяться?! Они-то столько денег потратили, чтобы нас разъединить, небось уже посчитали, сколько истратили на это.

Однако история показывает: многим народам вместе лучше, чем порознь. Многие ведь по доброй воле соединились в своё время с Россией, хотя нынче стараются это позабыть. Та же Грузия. Она же добровольно вошла в состав России ещё в самом начале прошлого века. Это и у Лермонтова поэтически запечатлено. Помните первые строки “Мцыри”? В грузинском монастыре:

*...Старик седой
...Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой — и о том,
Как, удручён своим венцом,
Такой-то царь в такой-то год
Вручал России свой народ.
И Божья благодать сошла
На Грузию! — она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасая врагов
За гранью дружеских штыков.*

В. К.: Да, удивительно злободневно звучит это сегодня!

В. Р.: Не говорите. Поразительные бывают воспоминания, поучительные переключки времён. Не правда ли, стоит оглядываться в прошлое, думая о будущем?

АНДРЕЙ ВОРОНЦОВ

МАЯКОВСКИЙ И ЕГО ЖЕЛЕЗНЫЕ КНИГИ

ЭССЕ

ЧАСТЬ II

Подлинная история двухмесячной ссылки

Часто имеет значение не сам факт измены женщины, а то, кому она изменяет. Забавы Лили с чекистами, конечно, раздражали Маяковского, но едва ли только они были причиной “декабрьского кризиса” в его отношениях с Лилей. Да и какой с чекистов спрос, если они были коллегами и О. Брика (что, в общем, не скрывалось), и Л. Брик (что, напротив, выяснилось сравнительно недавно)? А у коллег, да ещё по такому специфическому учреждению, свои отношения — “доверительные”, “товарищеские”, так сказать.

Другое дело, что у Маяковского появился *соперник*, причём соперник серьёзный и, что немаловажно, куда более подходящий на роль “спонсора” Бриков. Может быть, и два месяца-то потребовались Лиле для того, чтобы отчётливей уяснить перспективы и, так сказать, размеры “спонсорства”.

Речь идёт о тогдашней связи Лили с Александром Михайловичем Краснощёковым (он же Абрам Моисеевич Краснощёк, он же Александр Тобинсон, уроженец ныне печально известного Чернобыля). Это был первый “красный банкир”, в прошлом — подпольщик-“искровец”, соратник Ленина и Троцкого и популярный американский адвокат в области трудовых споров и конфликтов (Краснощёк прожил в США 14 лет под фамилией Тобинсон).

На заре НЭПа частные и государственные предприятия нуждались в финансовой поддержке, а государственные кредитные учреждения с этой работой не справлялись. Тогда Краснощёков выдвинул идею о создании акционерного государственно-частного банка для финансирования промышленности. Осенью 1922 года Российский торгово-промышленный банк, или “Промбанк”, начал свою работу. Краснощёков стал председателем его правления, добившись для банка права самостоятельно осуществлять валютные операции. В числе новшеств, предложенных Краснощёковым клиентам “Промбанка”, оказались переводы средств от родственников из-за границы. Подобная услуга существовала в Советской России и до него, но получение денег, точнее, помощи от состоятельных родственников было связано с изрядными мытарствами и трудностями. А Краснощёков договорился с приятелями из американских профсоюзов о создании совместной компании по осуществлению пе-

Окончание. Начало в №7 за 2013 год.

реводов и инвестиций в советскую экономику – “Российско-американской индустриальной корпорации” (РАИК).

Очевидно, именно в эту пору Краснощёков и познакомился с Маяковским и Бриками. В автобиографии Маяковского “Я сам” читаем под 1922-м годом: “Приехали с Дальнего Востока Асеев, Третьяков и другие товарищи по дракам”. Не исключено, что именно дальневосточные “товарищи по дракам”, которым покровительствовал Краснощёков, долго работавший на Дальнем Востоке, и привели его в тогдашнюю квартиру Маяковского в Водопьяном переулке, чем очень польстили тщеславной Лиле: гостей такого ранга там ещё не видели. Да и сам по себе Краснощёков, рослый 42-летний мужчина в самом соку (в окружении Бриков его звали “Второй Большой”), был вовсе не урод. Живые глаза Лили, натурально, заблестели. Советский банкир Краснощёков, сменивший полувоенный френч на гражданский костюм, активно менял и спартанский партийный образ жизни на тот, образцы которого он наблюдал в Америке – не знаю уж, с завистью или социалистической ненавистью. Призывные взгляды Лили не остались незамеченными. Наслышанный о нравах в странной “семье” Бриков и Маяковского, Краснощёков стал в открытую ухаживать за Лилей, заваливая квартиру в Водопьяном переулке цветами, деликатесами и шампанским. За ними последовала дорогая меховая шуба для Лили. Чекисты, надо сказать, шуб ей не дарили. Да и шампанское частенько пивали “на халяву”, за счёт хозяев.

“Черная Лили”, без всяких сомнений, отдалась Краснощёкову так быстро, как только смогла, и ублажала его, как умела, а умела она больше иной “жрицы любви”, занимаясь энергичным сексом с молодых ногтей. Краснощёков “поплыл”, как некогда “поплыл” Маяковский, бросив лишённую им невинности юную Эльзу Каган (впоследствии Триоле) ради её уже довольно потрепанной старшей сестрички Лили. Но Эльза, познав, по её собственным словам, физические радости любви именно с Маяковским, не могла по неопытности отплатить ему тем же. А вот Лили, лично не получая от близости с Маяковским большого удовольствия, могла, да ещё как могла!

Маяковский, увидев краснощёковскую шубу, ответил “симметрично” и пошловато, тоже купив Лиле шубу. Но вообще он был Краснощёкову не конкурент. С точки зрения Лилиных перспектив он уступал ему во всех отношениях, если не считать поэзии, занимавшей отнюдь не первое место в системе воззрений “Чёрной Лили” на мир. Да и с поэзией не так всё очевидно. Первым поэтом России считал себя, прежде всего, сам Маяковский да его немногочисленное окружение, а кумиром большинства любителей поэзии являлся в ту пору, без сомнения, Есенин. Что же касается тогдашней большевистской верхушки, то она, не имея ничего против содержания стихов Маяковского, как поэта его не любила. Даже Троцкий невысоко ценил послереволюционные стихи Маяковского, в отличие от послереволюционных стихов Есенина. Ленин же вообще терпеть Маяковского не мог, как не может матёрый экстремист в политике терпеть матёрого экстремиста в другой сфере деятельности. В 1921 году Маяковский послал Ленину книжку “150 000 000” с коллективной надписью от футуристов, в которой фигурирует лишь один русский – сам Маяковский: “Товарищу Владимиру Ильичу с комфутским приветом Владимир Маяковский, Л. Брик, О. М. Брик, Борис Кушнер, Б. Миркин, Д. Штеренберг, Нат. Альтман”. Ну, нерусские “комфутовцы” едва ли Ильича смутили, а вот Л. Брик на втором месте могла привести его в бешенство, если он, конечно, знал, кто это такая. О поэме “150 000 000” Ленин написал: “Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность”. Такого же мнения, по словам Горького, был вождь и о других его стихах, если не считать “Прозаседавшихся”: “Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и всё у него не то, по-моему, – не то и малопонятно. Рассыпано всё, трудно читать”. Так что до смерти Ленина и отстранения Троцкого Маяковскому трудно было стать Первым не только в глазах читателей, но и в глазах властей. Это сейчас нам даже смешно сравнивать знаменитого Маяковского с малоизвестным теперь Краснощёковым. Отнюдь не так было в 1922 году. Представьте, что означал для женщины типа Лили умный, видный соплеменник, соратник Ленина и Троцкого, а ныне руководитель крупнейшего банка, ведущего валютные операции! Какой там Маяковский!?

И вот он, уже не юноша, очутился примерно в том же положении, что и в 1914 году в Одессе:

*Помните? Вы говорили: “Джек Лондон,
деньги, любовь, страсть”, —
а я одно видел: вы — Джиоконда,
которую надо украсть!
И украли...*

Маяковский, конечно, по советским представлениям, был вовсе не бедным человеком, но, по меркам дореволюционных литературных классиков, вовсе и не богатым. Писателей в пору НЭПа душил налог, взимаемый с них, как с “частных предпринимателей без мотора IV разряда”. К их числу, кстати, относились также священники и диаконы, а деятельность их — что писателей, что священнослужителей, что мелких нэпманов, — называлась “личным промысловым занятием”. Объективности ради надо сказать, что прокоммунистическая направленность “промыслового занятия” таких писателей, как Маяковский, фининспекторами в расчёт не бралась. “Промышляешь” — плати! А как ты промышляешь — твоё личное дело. Маяковский, конечно, будучи типичным поэтом-“многостаночником”, печатался, где только можно, но чем больше получал гонорара, тем больше платил и налога. Именно это стало причиной создания известного стихотворения “Разговор с фининспектором о поэзии”: “В ряду / имеющих / лабазы и уголья / и я обложен, / и должен караться. / Вы требуйте / с меня / пятьсот в полугодие / и двадцать пять / за неподачу деклараций...” и т. п. Но “пятьсот в полугодие” — это было в 1926 году, а в предсмертной записке Маяковского 12 апреля 1930 года фигурирует куда бульшая сумма: “В столе у меня 2000 руб. — внесите налог. Остальные получите с ГИЗа”. В общем, государство брало с писателей, может, и не сумасшедшие, но вполне приличные по тем временам деньги. Платить же Маяковский мечтал в сто раз меньше, то есть не по нэпманской “прогрессивной шкале”, а как рабочие и крестьяне: “Гражданин фининспектор, / я выплачу пять, / все / нули / у цифры скрестя! / Я / по праву / требую пядь / в ряду / беднейших / рабочих и крестьян”. “Беднейших”, заметьте! Это означает, что Маяковский отнюдь не демонстративно был раздражён размером налога. Ему, с Лилиными-то аппетитами, явно не хватало его заработка.

Краснощёков же не знал подобных проблем. Когда нужно, он считал свой банк государственным учреждением, а когда нужно — частным. Встречаясь с сотрудниками филиалов и отделений банка, Краснощёков говорил, что “Промбанк” — часть системы Наркомфина, и что они должны вести себя, как государственные служащие. Когда же речь заходила о его собственной зарплате, он “забывал” о том, что для руководителей-коммунистов существует “партмаксимум” зарплаты, выше которого никто из них зарабатывать не может. Краснощёков полагал, что подобное ограничение к нему не относится, ведь он возглавлял акционерный банк, где государство участвовало в капитале на равных правах с другими собственниками.

Одно мешало “Чёрной Лиле” полностью заменить Маяковского Краснощёковым. Как ни крепко держала она Краснощёкова за срамной уд, а в Москве мастериц этого жанра и без неё хватало, причём куда более юных и эффектных. А Краснощёков был вовсе не однолюб и имел, помимо Лили, в столице целый гарем. Терять из-за неё голову, как Маяковский, Краснощёков точно бы не стал и уж тем более не вошёл бы в “семью” в качестве “третьего элемента”. На это был способен только Володя. Потому-то и состоялось 28 февраля 1923 года его возвращение. А на каких условиях, один Бог знает. Во всяком случае, роман Лили с Краснощёковым продолжался.

Но и этот роман, и другие, и вообще образ жизни Краснощёкова требовал гораздо больше денег, чем получал Краснощёков в своём банке в качестве жалованья. Ему приходилось запускать руки в банковские закрома. Вот как это выглядело по данным уголовного дела, возбуждённого в сентябре 1923 года:

“Родной брат А. Краснощёкова Яков явился одним из первых клиентов банка. Операции его сводились к систематическому использованию при помощи брата-директора банковского кредита в разных формах и под разными наименованиями, притом на условиях, наиболее для него благоприятных по сравнению с прочими частными клиентами банка. В то время как с частных клиентов банка за пользование срочными ссудами взималось 4-5 проц., Яков Краснощёков платил всего лишь 1,5-2 процента... Задолженность его банку превышает обеспечение более чем в 80 раз, а банк этим не смущается... По-

лучаемые таким путём из банка деньги Краснощёков пускает в оборот на чёрной бирже и спекулирует вовсю, извлекая огромную выгоду”.

Самого Александра Краснощёкова обвиняли в том, что по его вине задолженность компании (пресловутая РАИК) по переводу денег из Соединённых Штатов в СССР менее чем за год достигла 150 тыс. долларов США – тогда огромная сумма! То есть деньги получателям выплачивались, но из-за океана на счета банка никакой компенсации не поступало. При этом, как уверяли следователи, Краснощёков нарушил порядок, выступая в качестве представителя РАИК, будучи одновременно руководителем банка, с которым РАИК заключила договор (какая знакомая картина!). Кроме того, нашлись следы выплат РАИК Краснощёкову. Правда, не ему самому, а его бывшей жене, жившей с его сыном в Америке. РАИК, как говорили обвинители, производила выплаты и жене Якова Краснощёкова, жившей в Берлине.

Отдельным пунктом обвинения стал подбор кадров “Промбанка”: “Весь основной круг сотрудников банка, начиная с Александра Краснощёкова и кончая низшими служащими, был связан между собой отношениями родства, свойства и дружбы. А. Краснощёков был окружён в банке племянниками, племянницами и “близкими друзьями”.

Речь шла и о содержании в штате “Промбанка” любовниц председателя правления: “Исключительно привилегированное положение занимала в банке фаворитка директора, некая Д. Я. Груз, занимавшая должность заместителя заведующего общим подотделом банка. Гр-ка Груз пользовалась в банке целым рядом привилегий... Являясь совершенно невежественной в банковском деле, гр-ка Груз согласно протокольного постановления “Промбанка” получила право второй подписи от имени банка... В августе 1923 года ей был предоставлен двухмесячный отпуск, причём ей был выдан аванс в размере 450 руб. зол. Когда она уезжала (в Крым), ей были устроены бр. Краснощёковыми торжественные проводы на автомобилях с цветами. За счёт банка ей было куплено отдельное купе в международном вагоне до Севастополя”.

Расписывались следователями и собственные траты Краснощёкова из средств банка: “Заведующий хозяйственным подотделом банка Беркович систематически выдавал А. Краснощёкову заимообразно денежные суммы, отмечал такие выдачи лишь на бумажках или на календаре... За счёт банка покупались для Краснощёкова всевозможные хозяйственные вещи, причём расходы выводились “под каким-нибудь другим предлогом”. Между прочим, хозяйственным отделом был оплачен и ремонт дачи бр. Краснощёковых в Кунцево, а также в августе 1923 года был подыскан секретарём “Промбанка” для А. Краснощёкова соответствующий особняк в Москве, за который была внесена арендная плата в 835 руб. золотом. Занять этот особняк Краснощёкову, однако, уже не пришлось. За счёт авансовых сумм хозяйственного отдела уплачивались также и членские партийные взносы А. Краснощёкова, приобреталось для него платье, бельё, духи, шляпы, оплачивался совнаркомовский паёк и т. д. и т. д. Из хозяйственных же сумм отправлялись деньги дочери Краснощёкова, находившейся с гувернанткой в Крыму. Всё нужное для дачи закупалось в городе за счёт хозяйственного отдела банка”.

В список злоупотреблений входили также кутежи за счёт “Промбанка”, перевод в полное пользование братьев Краснощёковых принадлежащих банку трёх лошадей с колясками и упряжью, а также двух верховых лошадей и много чего ещё. А вот что говорилось о нравах “новых советских”: “В течение короткого времени они вместе с братом получили в магазине Швейсндиката 17 костюмов и 6 пальто, за которые до сих пор не заплачено”.

Роман Краснощёкова с “Чёрной Лилей” активно развивался именно во время “ссылки” Маяковского и продолжался вплоть до сентября 1923 года. История умалчивает, приложил ли руку к разоблачению Краснощёкова имевший на него огромный зуб Маяковский. Во всяком случае, его связи с чекистами позволяли ему это. Зато известно точно, какую роль в падении Краснощёкова сыграл его бывший соратник по работе на Дальнем Востоке латыш Генрих Христофорович Эйхе. Он, видимо, после увольнения из армии в 1923 году остался без работы, и Краснощёков на свою голову “пригрел” его. Но “пригрел” довольно обидно для самолюбия Г. Эйхе: бывший главком Народно-революционной армии Дальневосточной республики, потом командующий войсками в Белоруссии и в Ферганской области оказался в “Промбанке”... начальником подотдела снабжения хозяйственного отдела (должность какая-то “шариков-

ская»). Поэтому, очевидно, Г. Эйхе “сдал” Краснощёковых без особых переживаний. В частности, он сообщил, что значительное количество продуктов и вин, отправляемых на дачу в Кунцево, списывалось на столовую банка. Покупка цветов для Лили и других любовниц Краснощёкова проводилась по графе “Вывоз мусора”, особую заграничную клизму, купленную для председателя правления, оформили как инструмент для конюшни, постельные принадлежности в огромном количестве купили для Краснощёковых и списали на общежитие банка.

Особенно убийственно звучало упоминание об этой “особой заграничной клизме” для бывшего партийного вождя Дальнего Востока... Воистину, “так проходит земная слава”... Эйхе рассказал также о найме жилья для любовниц Краснощёкова и многом другом. О тратах на “Чёрную Лилию”, наверное, тоже, но эта информация гласности не предавались, что косвенно может свидетельствовать о кое-какой причастности Маяковского к разоблачению Краснощёкова. Вся Москва шумела о романе председателя правления “Промбанка” с Лилей Брик, а о ней в материалах суда — ни слова. Отчего имя гражданки Д. Я. Груз было обнародовано, а более известной гражданки Л. Ю. Брик — нет? Либо оттого, что Маяковский, дав необходимые сведения о Краснощёкове, поставил условием неразглашение её имени, либо Лилию “прикрыли” коллеги-чекисты.

Но всё же главную роль в тотальной проверке “Промбанка” сыграли старые дальневосточные недруги Краснощёкова — братья Губельманы, Моисей и Миней. Миней, больше известный под псевдонимом Емельян Ярославский, в 1923 году вошёл в состав президиума высшего контрольного органа партии — Центральной контрольной комиссии (ЦКК) — и высшего партийного суда — Партколлегии. “И, как утверждали знатоки, именно по его инициативе в Промбанк пришла проверка из ЦКК”, — пишет в журнале “Коммерсантъ-Деньги” (2012, 20.02, № 7) Е. Жирнов.

ЦКК передала данные ревизии в ГПУ, и 19 сентября 1923 года А. Краснощёкова арестовали. Это была одна из самых громких сенсаций того времени. Симпатизировавший Абраму Моисеевичу Ленин к тому времени перенёс второй, ещё более страшный удар, и защитить Краснощёкова уже не мог. 28 октября 1923 года прошло чрезвычайное собрание акционеров “Промбанка”. Они условились, что увеличат его капитал с 15 млн до 25 млн золотых рублей. Это означало, что акционерам пришлось экстренно внести 10 млн золотых рублей в уставный капитал “Промбанка”, чтобы спасти его от краха после ареста председателя правления. В последующем именно эта цифра — 10 000 000 рублей золотом — называлась в качестве ущерба от злоупотреблений Краснощёковых, хотя напрямую они такой суммы не похищали.

Особый резонанс делу “Промбанка” придавало неназываемое, но очевидное обстоятельство, что все обвиняемые были евреями. 9 марта 1924 года суд приговорил А. Краснощёкова к 6 годам одиночного заключения, Я. Краснощёкова — к 3 годам, Берковича — к 2 годам, Виленского — к 1,5 годам, Соловейчика — к 1 году.

Краснощёков и Маяковский

Итак, сама судьба разрешила спор между Маяковским и Краснощёковым за обладание “Чёрной Лилей” в пользу Маяковского (правда, отнюдь не сразу, о чём ниже). Но наш рассказ об этом, вольно или невольно окрашенный в иронические тона, будет необъективным, если мы не добавим, что за тюремной решёткой оказался не просто проворовавшийся “красный банкир”, а человек в своём роде не менее талантливый, чем Маяковский, подававший большие надежды как советский государственный деятель. Не исключено, что именно он явился прототипом Левинсона из фадеевского “Разгрома”, поскольку был одним из главных организаторов и председателем Правительства т. н. Дальневосточной республики (ДВР). Это государственное образование, история которого малоизвестна (и документы по которому до сих пор не рассекречены), возникло после разгрома Колчака в апреле 1920 года как следствие закулисных переговоров большевиков с Японией, США, Англией и Францией. Дело в том, что на русском Дальнем Востоке, помимо семёновцев и остатков разбитой колчаковской армии, находились оккупационные

японские, американские, французские, английские, китайские, итальянские войска, а также чехословацкие легионеры под эгидой Антанты, пышно именовавшие себя то “Чехословацкой Сибирской армией”, то “Чехословацким войском на Руси”. Большевикам, надвигавшимся на Читу, предстояло либо вступить с ними в боевое соприкосновение, либо как-то договариваться. Посредниками выступили местные эсеры и меньшевики, участвовавшие в борьбе против Колчака на стороне большевиков. Они выдвинули идею создания между Прибайкальем и Тихим океаном буферного с Японией демократического государства, в выборных органах которого были бы представлены все антиколчаковские партии.

Большевики подумали и согласились, с тем условием, однако, что “управлять процессом” будут они. Среди тех, на кого Москва возложила эту задачу, был, в частности, участник переговоров с эсерами и меньшевиками, член Дальневосточного бюро ЦК РКП(б) Александр Краснощёков, прибывший в 1917 году на Дальний Восток из США.

Мы не знаем всех подробностей развернувшейся тогда с подачи Краснощёкова в краевых дальневосточных правительствах дискуссии о ДВР, но о её направлении мы можем судить по тому, как изменялся герб Дальневосточной (или Дальне-Восточной, как тогда писали) республики. На почтовой марке ДВР, выпущенной в 1920 году во Владивостоке, мы видим герб Временного правительства России – двуглавого орла без корон, скипетра и державы. Точно такой же сейчас на российских металлических рублях (наследие Бурбулиса!). Единогласия у ДВР в 1920 году не было: в Верхнеудинске и Благовещенске вывешивали красный, а в Чите и Владивостоке – традиционный российский триколор. Официально утверждённый в ноябре 1921 года флаг республики стал красным, но, в отличие от флага РСФСР, где в левом верхнем углу красовались серп и молот, на этом месте на флаге ДВР был синий прямоугольник с буквами “Д. В. Р.”. Тогда же поменялся и герб республики: теперь он представлял собой комбинацию из снопа пшеницы, морского якоря и шахтёрского кайла в венке из сосновых ветвей. Очевидно, в 1920 году коммунисты были готовы сквозь пальцы смотреть на “общипанную птицу Керенского” с целью привлечения в ДВР Забайкалья и Приморья. Ну, а после взятия 25 октября 1920 года очищенной японцами Читы и особенно после белого переворота во Владивостоке в мае 1921 года необходимость в этом отпала.

Негласная договорённость о “демократическом характере” ДВР предполагала и “демократические выборы”, и вот здесь Краснощёкову удалось то, чего не удалось большевикам в ноябре 1917 года на выборах во Всероссийское Учредительное собрание. Хотя выборы в Учредительное собрание ДВР в январе 1921 года коммунисты тоже проиграли (причём с абсолютно с тем же результатом, что и в 1917 году во всероссийском масштабе – 24,1% голосов), получив по своему партийному списку 92 мандата, но теперь у них, в отличие от “Учредилки” образца 1917–1918 годов, были многочисленные союзники. Краснощёков смело можно считать автором идеи “блока коммунистов и беспартийных”. Большевики переманили на свою сторону т. н. “крестьянскую фракцию большинства” (47,9% голосов, 183 мандата), состоявшую в основном из партизан – участников антиколчаковского движения. Эта фракция, по словам одного из руководителей ДВР Н. М. Матвеева, “поддерживала целиком фракцию коммунистов”*. Крестьянская же фракция меньшинства, состоявшая, согласно тому же Матвееву, “на подбор из кулаков”**, получила всего 11,5% голосов и 44 мандата. Эсеры, соответственно, имели 4,6% и 18, меньшевики – 3,6% и 14, бурято-монгольская фракция – 3,4% и 13, кадеты – 2,1% и 8 (стало быть, и “колчаковскую” партию допустили на выборы!), сибирские эсеры – 1,5% и 6, народные социалисты – 0,8% и 3, внепартийные – 0,2% и 1. В голосовании, прошедшем на всей территории ДВР, включая Приморье и Северный Сахалин, участвовало 50% всех избирателей, что в условиях гражданской войны являлось довольно внушительной цифрой. Отметим, что в Европейской России на подобные масштабные и рискованные выборы не отважились не только коммунисты, но и белые краевые правительства – даже самые “демократические” из них. Недаром белый генерал В. Г. Болдырев назвал результаты, достигнутые Краснощёковым, “блестящими”. Фальсификации на выборах, конечно, были – да и какие

* БСЭ, 1-е изд., 1930. Т. 20-й. С. 219.

** Там же.

выборы без них? Например, по одному из дошедших свидетельств, бойцам Народно-революционной армии ДВР и партизанам некоторые избиркомы вручали для голосования лишь один бюллетень — № 4, т. е. большевистский (в ту пору для каждого избирательного списка существовал отдельный бюллетень). Однако судя по тому, что коммунисты, как и по всей России в 1917 году, набрали те же 24%, нарушения едва ли были масштабными.

Большевики во главе с Краснощёковым победили не с помощью фальсификаций, а чисто политическими методами: не рассчитывая (и весьма осмотрительно) на свою победу, создали независимый от эсеров крестьянский избирательный список и с помощью демагогии подчинили его своему влиянию. Полагаю, что если бы большевики и в 1917 году сделали то же самое, что и Краснощёков, — т. е. не отдали бы крестьянские голоса на откуп эсерам, они бы и во Всероссийском Учредительном собрании получили коалиционное большинство. А это, между прочим, означало бы, что гражданской войны можно было избежать.

Таким образом, в Учредительном собрании ДВР блок коммунистов и крестьянского большинства абсолютно доминировал, имея почти три четверти всех голосов. Тем не менее, заседания Собрания, проходившие в Чите с 12 февраля по 26 апреля 1921 года, были очень бурными и нередко переходили в драку. Видимо, всё же полностью контролировать вольную “партизанскую фракцию” коммунистам было не так просто, ибо ни одного решения в ленинском духе, которое хоть как-то бы ущемляло дальневосточных крестьян, Учредительное собрание ДВР не приняло. Более того, оно не приняло подобных решений и в отношении мелкой, средней и даже крупной русской буржуазии, за исключением тех её представителей, что активно сотрудничали с Колчаком и атаманом Семёновым. Впрочем, самый богатый человек Приморья — Борис Бринер, отец знаменитого голливудского актера Юла Бриннера, — прекрасно уживавшийся с колчаковцами, не только не потерял свой бизнес после большевистского переворота во Владивостоке 31 января 1920 года, но ещё и стал в ДВР министром торговли и промышленности краевого Приморского правительства! Ну, а условия для иностранного бизнеса в ДВР были примерно такими же, какие мы видим в известном фильме “Начальник Чукотки”. То есть — пожалуйста, торгуйте, берите концессии, только исправно вносите в казну “доллары” в виде пошлины и налогов.

Правда, в первое Правительство ДВР из 7 человек вошёл лишь один представитель крестьянского большинства — Ф. Иванов, а все остальные были коммунистами. Видимо, хитроумный Краснощёков объяснил партизанам, что в Правительстве должны заседать образованные люди, а поскольку крестьяне высшего образования не имеют, а многие не имеют и среднего, и даже начального, то право представлять интересы землепашцев во власти лучше передать большевикам. Председателем Правительства был избран сам Краснощёков (позже он стал ещё и министром иностранных дел). Уточним, что Правительство в ДВР являлось не исполнительной, а законодательной властью (т. е. выполняло роль постоянно действующего президиума Народного собрания), а правительством в привычном нам понимании был Совет министров, прямо подчинявшийся Правительству ДВР. В отличие от Правительства, где почти полностью доминировали коммунисты, Совмин ДВР формировался на коалиционных началах: в него входило 9 большевиков, 3 меньшевика, 3 эсера и 1 народный социалист. Главой Совета министров стал коммунист П. М. Никифоров.

ДВР задумывалась в Москве как государство переходного периода, но даже такое государство должно было иметь внутреннюю идеологию, и она принципиально отличалась от идеологии РСФСР. Там, в сущности, речь шла о насильственном подчинении одной группе населения всех других, а здесь, по свидетельству премьера ДВР П. Никифорова, главным лозунгом было создание единого *национального фронта* с целью окончательного освобождения от интервентов. Но история показывает, что национальное единство нужно государству не только для решения какой-то одной проблемы — оно необходимо вообще. Сегодня мы ещё только нащупываем тот путь, которым ДВР изначально двинулась в 1920 году. Если зашатается Путин, где будет наш “национальный фронт”? А вот в апреле 1920 года, когда японцы попытались свергнуть власть буржуазно-демократического Временного правительства Приморья, подконтрольного Дальбюро ЦК РКП(б), они не нашли во Владивостоке *никого*, кто бы мог войти в новое маррионеточное правительство, включая авторитетных бывших белогвардейцев.

Правильность лозунга национального фронта, а также политики большевиков-краснощёвцев в отношении русских крестьян и мелкой буржуазии на Дальнем Востоке подтвердили следующие выборы, состоявшиеся в июле 1922 года. Коммунисты на них твёрдо взяли 50% голосов. (Между прочим, это самый высокий показатель, достигнутый у нас компартией на свободных парламентских выборах с 1917 года и по наши дни). Правда, в захваченном белыми Приморье выборы на этот раз не проводились, а там за несоциалистические партии голосовало до 25% избирателей. В итоге большевики вместе с «сочувствующими» получили в Народном собрании 85 мандатов из 124, т. е. 70%. Эсеры имели 18 голосов, крестьянская фракция меньшинства – 12, меньшевики – 3, прочие – 6.

Но самого Краснощёкова к тому времени в ДВР уже несколько месяцев не было. Дело в том, что политика его не нравилась московскому и дальневосточному партийному руководству, особенно, как мы упоминали выше, двум соплеменникам Краснощёкова – братьям Губельманам. В чём причина этого недовольства, на первый взгляд, понять сложно. В Советской России уже вовсю разворачивался НЭП, очень похожий на то, что изначально происходило в ДВР. Поэтому отзывать «рыночника» Краснощёкова, казалось бы, не имело никакого смысла. Но это только так казалось. НЭП был близок краснощёковской политике экономически, но отнюдь не политически. В ДВР формально не было монополии большевиков на власть, в Народное собрание и Совмин входили оппозиционеры, действовали на законном основании политические партии, запрещённые в РСФСР, выходили их газеты, существовала практически неограниченная свобода торговли, частная собственность (исключая землю и недра, но они сдавались в аренду) и частные банки. В краевом приморском Временном правительстве, контролируемом большевиками, 6 ключевых портфельей имели министры-капиталисты, а бывшие колчаковские офицеры, начиная с генерала Болдырева, служили в местном военном ведомстве, по-прежнему не снимая погон. Смертная казнь в ДВР была отменена. Советов как формы власти не существовало, причём здесь без них прекрасно обходились, что раздражало очень многих в коммунистическом руководстве. К тому же, видимо, Краснощёкову понравилось быть «президентом» даже условно независимой страны, и он не торопился «постепенно сворачивать буфер», как того требовали из Москвы. А ещё Краснощёков считал, что буржуазно-демократический строй ДВР не должен носить временного или тактического характера. Весьма вероятно, что в этом смысле он видел ДВР примером для преобразований в РСФСР.

А по большому счёту, политика Краснощёкова в ДВР (хотя он сам ни о чём подобном и не помышлял) явилась зримым доказательством, что антикрестьянская политика Ленина и Троцкого на остальной территории России носила сознательный экстремистский характер, без учёта имевших реальных альтернатив. Такого же мнения придерживается историк К. Ю. Чепикова, автор работы «Дальневосточная республика»: «ДВР можно рассматривать как демократическую альтернативу развитию всей страны».

Русское крестьянство трудно однозначно назвать врагом Октябрьской революции, как это делают многие современные историки. В гражданскую войну крестьяне чаще выступали всё-таки против белых, несмотря на суровую большевистскую продразвёрстку. Но надо помнить, что продразвёрстка не лишала крестьян ни земельного надела, как во время коллективизации, ни крупного скота, ни «воли» – возможности участия десятков миллионов русских крестьян в революции отмечал в своих последних исторических работах В. В. Кожинов. И, казалось бы, большевикам весьма выгодно было использовать эту особенность для своей политической легитимации, как успешно это проделал Краснощёков в ДВР, создав парламентский «союз пролетариата и крестьянства», позволивший коммунистам на вполне демократических основаниях надёжно контролировать власть. Однако нерусская ленинская и троцкистская «гвардия», видимо, принципиально не нуждалась в политическом «мандате доверия» от русского крестьянского большинства, находя его «черносотенным». Учредительное собрание ДВР выбирали в основном голосами русских крестьян путём свободных, прямых, тайных и равных выборов, причём право голоса имели даже бывшие белогвардейцы и буржуазия. А в Советской России тогда не существовало ни свободных, ни прямых, ни тайных, ни равных выборов, – напротив, абсолютное большинство населения, то есть крестьянство, было по-

ставлено в дискриминационные условия, когда, согласно Конституции РСФСР 1918 года, голос пяти крестьян приравнивался к голосу одного рабочего (эта норма перекочевала и в Конституцию СССР 1924 года).

А “военный коммунизм”, которого на Дальнем Востоке не существовало ни до, ни после апреля 1920 года? Гражданская война продлилась там на два года дольше, чем в европейской части страны, власть менялась, как в калейдоскопе, однако ничего похожего на голод и товарный дефицит, существовавший в РСФСР, там не было. Это, подтверждает, в частности, и роман А. Фадеева “Последний из удэге”.

Крестьянская кооперация, разрушенная “военным коммунизмом” в европейской России (например, из романа Шолохова “Тихий Дон” мы узнаём, что в начале 1921 года в кооперативных лавках ЕПО* на Верхнем Дону было хоть шаром покати), действовала на Дальнем Востоке безотказно с 1917-го по 1922 год! А то, может быть, кому-то покажется, что Краснощёкову какой-то глупой таёжный угол на “княжение” достался! Нет, ему достался один из самых лакомых кусков тогдашней России плюс Китайская Восточная железная дорога (КВЖД) с “полосой отчуждения”, идущая из Читы во Владивосток через Маньчжурию.

Но если бы Краснощёков в апреле 1920 года ввёл в ДВР продразверстку, сельхозкоммуны, запрет на свободную торговлю и прочие прелести антикрестьянской, русофобской политики под названием “военный коммунизм”, то можно не сомневаться, что на Дальнем Востоке быстро бы начался такой же жестокий голод, как и в РСФСР. И массовые восстания бывших красных партизан тоже, как в соседней с ДВР Западной Сибири (февраль-апрель 1921 года), где была установлена советская власть с продразвёрткой и реквизициями. О гиперинфляции, острейшем товарном дефиците, крайнем обнищании людей я уже не говорю. А так – в ДВР уже летом 1921 года был введён рубль на основе *золотого стандарта*. “В августе 1921 г<ода> всем, в том числе и министрам, была выдана зарплата по 5 рублей золотом” (К. Ю. Чепикова). Может быть, это и немного, но в пересчёте на обесцененные советские дензнаки золотые рубли исчислялись бы миллиардами. По данным бывшего премьера ДВР Никифорова, к осени средняя зарплата в республике увеличилась до 8 золотых рублей, а к весне 1922 года – до 12. И это происходило в то время, когда на востоке ДВР снова запыхала гражданская война в связи с наступлением меркуловцев на Хабаровск!

Правда, мало кто – и в России, и в мире – сомневался, что ДВР прекратит своё существование после того, как красными будет “с боем взято Приморье, // Белой армии оплот”. Но никто, кроме, естественно, большевиков, не ожидал, что это случится так быстро, без всякого переходного периода. Ведь никогда прежде независимость ДВР не ставилась в прямую зависимость (во всяком случае, официально) от того факта, что на части её территории – в Приморье – хозяйничали белые и японцы. И вот стоило 25 октября 1922 года пасть белому Владивостоку, как уже 13 ноября в Чите открылась сессия Народного собрания ДВР. Две трети всех мандатов, имевшихся у “блока коммунистов и беспартийных”, предопределили результат голосования о судьбе ДВР. На следующий день Народное собрание приняло решение о ликвидации Дальневосточной республики. Причём она не сохранялась не только как независимое государство, но и как автономная республика в составе РСФСР. Видимо, ДВР ни в коем случае не должна была больше являться политическим примером для остальной России. Один из пунктов последнего постановления Народного собрания звучал особенно мрачно: “демократическую конституцию ДВР и её законы объявить отменёнными”...

Возвращаясь к Краснощёкову, уверенно можно сказать, что в дальневосточный период своей деятельности он был самым незаурядным и наименее кровавым политиком среди “еврейского сегмента” РКП(б). И если он являлся прототипом фадеевского Левинсона, то был им по праву.

Однако когда бывшие руководители ДВР остались не у дел, их ждали в Советской России несоразмерно маленькие назначения. Краснощёков стал вторым заместителем наркома финансов РСФСР, П. М. Никифоров – послом в Монголии, Г. Х. Эйхе, первый руководитель НРА, – сотрудником “Промбанка”, талантливый забайкальский казак Н. М. Матвеев, преемник Краснощёко-

* ЕПО – Единое потребительское общество.

ва, — простым хозяйственником. С ними обошлись так, словно они были обыкновенными выдвигенцами из губерний или даже уездов. А они, между тем, два с половиной года успешно управляли формально независимым государством с огромной территорией 2 987 600 кв. км (это шесть нынешних Испаний или пять Франций!) и населением около 2 190 000 человек (то есть в громадной ДВР на километр и по человеку не приходилось!). Причём управляли в условиях гражданской войны и интервенции. НЭП в Советской России во многом делался по лекалам ДВР, где он начался на год раньше. Например, после введения в ДВР золотого рубля там два месяца гостила высокопоставленная делегация Наркомфина РСФСР, внимательно “изучая передовой опыт”. Система “торгсинов”, когда в специальных магазинах стали принимать золото вместо обесцененных дензнаков, тоже впервые была применена в ДВР. Именно Краснощёкову и его сотрудникам пришла в голову мысль, что небедное сибирское население, категорически не доверявшее дензнакам времён гражданской войны, должно было копиться золото, которое, если получить его в обмен на дефицитные товары, поможет создать золотой рубль ДВР. А когда в Советской России переименовывали ВЧК в Государственное политическое управление (ГПУ), то за образец взяли название существовавшей уже полтора года спецслужбы ДВР Государственная политическая охрана (ГПО).

Ленин, впрочем, помня Краснощёкова ещё по “Искре” и высоко оценивая результаты его работы в ДВР (“показал себя умным председателем правительства в ДВР, где едва ли не он же всё и организовывал”), готовил его для более высокого поста, чем второй заместитель наркома финансов. Из нескольких писем Ленина в январе 1922 года следует, что он хотел бы передать Краснощёкову дело восстановления рубля и “свободного обращения золота”, памятуя, вероятно, об успехе денежной реформы в ДВР. Существовала даже директива Политбюро о создании в Наркомфине специальной “тройки” (Сокольников, Преображенский, Краснощёков) для “восстановления рубля на базе торговли”. (Тут надо учитывать, что Краснощёков, по словам Ленина, “стоял за большую “свободу торговли””. “Двигайте Краснощёкова: он, кажись, практик”, — писал Ленин членам Политбюро 22 января 1922 года. Поскольку леваки-троцкисты Сокольников и Преображенский в золото-валютных делах мало что смыслили, то главную роль в “тройке” стал бы, конечно, играть практик Краснощёков. А в случае успеха реформы он, без сомнения, пошёл бы на повышение, отодвинув, возможно, и Сокольников, и Преображенского. Именно поэтому произошёл, по словам Ленина, “скандал”: “Сейчас узнал — к ужасу своему — от Сокольников, что он отрицает (!) директиву Политбюро о тройке (он + Преображенский + Краснощёков)... Значит, аппарат Цека не действует!” (25. I. 1922). А ещё раньше, 4 января, Ленин писал членам Политбюро: “Т. Преображенский говорил мне по телефону, что он уйдёт, если Краснощёков будет назначен вторым заместителем, таково же мнение всей коллегии, кроме, кажется, Сокольникова”. “Старая гвардия” всеми силами сопротивлялась появлению и возвышению Краснощёкова, даром, что тот был еврей, как и многие из них. Например, нет сведений, что американский приятель Краснощёкова Троцкий поддерживал его — наверное, тоже видел в нём способного конкурента. Когда же Краснощёков имел несчастье подцепить тиф и слёг, соплеменники быстренько уволили его из Наркомфина. Даже негуманист Ленин удивлялся такой негуманности в письме членам Политбюро от 30 марта 1922 года: “Всё возможное и невозможное сделано нами, чтобы оттолкнуть очень энергичного, умного и ценного работника”. Однако даже Ленин отстоять Краснощёкова на прежней должности второго зама наркома финансов не мог. Не мог он и устроить его на какую-нибудь должность в наркомат иностранных дел, как просил Краснощёков. Воспротивился Чичерин, помнивший о его независимой позиции относительно внешней политики ДВР. Ленин смог сделать Краснощёкова лишь членом президиума Высшего совета народного хозяйства. Однако и в ВСНХ у него карьера не заладилась, что, очевидно, в немалой степени было связано с тем, что 22 мая 1922 года Ленина, его единственного защитника, хватил первый удар, и он надолго выбыл из строя.

И тогда, очевидно, в голову Краснощёкова пришла облегчающая еврейская мысль: “А мне оно надо? Разве я не могу найти себе полезное во всех отношениях занятие?” Остап Бендер, не сумев стать ни советским, ни бразильским миллионером, решил переквалифицироваться в управдомы, а Краснощёков, напротив, не сумев стать советским управленцем, решил переквалифициро-

ваться в советские миллионеры. Высокопоставленные недруги бывшего президента ДВР решили дать ему “Промбанк” в качестве отступного за уход из власти и политики.

До нас не дошли сведения, использовал ли Краснощёков служебное положение в личных целях, будучи председателем Правительства ДВР. Весьма может быть, что нет, поскольку в Народном собрании, Совмине и контрольных органах республики сидела придирчивая оппозиция и внимательно наблюдала за представителями правящего большинства. В “Промбанке” же Краснощёков правил безраздельно и бесконтрольно (точнее, он так ошибочно полагал).

Принято жалеть Маяковского, когда заходит разговор о многочисленных любовниках Лили Брик, но вот по поводу Краснощёкова я бы не стал за него особенно переживать. Пусть именно Лиля была одной из тех дам, что довели Краснощёкова “до цугундера”, но всё-таки он и Лиля больше подходили друг другу, чем Лиля и Маяковский. Те сведения о Л. Брик, которые мы имеем, позволяют сделать вывод, что если она и мечтала в юности о пресловутом принце, то это был не “чудак печальный и опасный” вроде Маяковского, а достигший больших высот соплеменник вроде Краснощёкова. Лучшей пары для “ослепительной царицы Сиона евреева”, чем импозантный и нестарый ещё президент-еврей (пусть и отставной), было не найти. Надо думать, что после своих Америк Краснощёков и кавалером был более приличным, чем Маяковский (о финансовых возможностях обоих мы уже говорили). Абрам Моисеевич был рядом с Лили́ Уриевой *на своём месте*, а вот Владимир Владимирович – не на своём. Что же касается прочих качеств Краснощёкова...

Двух знаменитых любовников “Чёрной Лили” и её официального мужа объединяло только то, что все трое были политиками, хотя и совершенно разных масштабов. Я имею в виду не только участие Маяковского и Брика в деятельности ЛЕФа. Краснощёков, скажем, был уже президентом, а вот Маяковский (о чем мало кто знает) мечтал им стать. Об этом они говорили с Асеевым после Февральской революции, и об этом Маяковский писал в неопубликованных строках поэмы “V Интернационал”, созданной в духе полемики с обидным отзывом Ленина о “150 000 000”. Там герой, которым является сам Маяковский, приходит занимать место “окаменевшего” Ильича в Кремле и утверждает, что теперь он – “пред. Совнаркома”. Вот тебе и “двое в комнате – я и Ленин”!

Какой видел свою миссию в России президент ДВР Краснощёков? В письме жене Гертруде с Дальнего Востока в США он писал: “Я продолжаю своё дело, стараясь решить мирным путём, но твёрдой рукой наши трудные проблемы освобождения и перестройки Дальнего Востока на новых основах, построить мир, где благоразумие, практичность, свойственные американскому строителю и исполнителю, должны объединиться и подчиниться идейности, человечности, эмоциональности, но непрактичности русских, и создать новую жизнь, новый мир”. Таким образом, еврей Краснощёков полагал, что привезённые им из Америки благоразумие и практичность не просто должны объединиться с русской идейностью, человечностью, эмоциональностью и даже непрактичностью, но и *подчиниться* им. Увы, в устах русского Маяковского такие слова непредставимы – после революции он писал о русских и русском одну брань, а похвалы от него доставались только новой формации людей – советской. Сора́тниками Краснощёкова в ДВР были в основном русские люди, а Маяковского в ЛЕФе – в основном евреи. Да, и так бывает...

Даже в свете того, что мы узнали о Краснощёкове как руководителе “Промбанка”, я, признаться, симпатизирую ему как политику и личности больше, чем Маяковскому, а тем более – Брику. Краснощёков был последовательным и по-своему честным человеком: нравилась ему буржуазная демократия под контролем коммунистов – и он её проводил как своё “ноу-хау” в жизнь в ДВР и агитировал за госкапитализм в Москве. Нравилась (за неимением лучшего) жизнь “красного банкира” – и он открыто вёл её. А двуличные Брики эти, с доносительским азартом выискивавшие малейшие “буржуазные уклоны” у русских писателей-“попутчиков”, сами, когда выезжали за границу, распускали слюни восторга по поводу тамошних капиталистических порядков. Например, в дневнике “Чёрной Лили” читаем в начале 1930 года, что Советская Россия отстала от Запада не на 13, а на 300 лет. Ну, конечно: в Польше лакеи и носильщики кланяются, на станциях свободно продаются ослепительно белые булочки и т. п.! Отчего же вы, пользуясь всеми благами такой жизни в царской России, боролись против неё, начиная с 1905 года, как об этом пи-

шет в воспоминаниях та же Л. Брик? Только потому, что это была *не ваша, а русская жизнь?*

Если же говорить о “горлане-главаре” Маяковском, то мне не доводилось читать, чтобы он, выезжая за границу, выступал там перед любимым своим пролетариатом, на сходках коммунистов, на митинге “Рот Фронта”, на традиционном празднике газеты “Юманите” и тому подобное. Нет, он выступал за деньги, причём в основном перед русской эмигрантской публикой, соскучившейся по гостям с родины, и американскими евреями, выходцами из России. Оно и понятно: на советские рубли автомобиль для Лили за границей не купишь! А ГПУ, агентами которой состояли О. и Л. Брик, делало вид, что этого не знает. Случись в СССР капиталистическая реставрация, Маяковский и не подумал бы уйти в подполье и писать стихотворные прокламации против буржуев: полагаю, он поступил бы так же, как в 1910 году – то есть снова бы “прервал партийную работу” и принялся сочинять свои “антиевангелия” (если, конечно, белые не шлёпнули бы его сразу за поэтизацию расстрелов). А Брики преспокойно вернулись бы к буржуазной жизни, потребовав возвращения конфискованных у их родителей средств и недвижимости. Увы, увы – не только Брики, но и Маяковский со своим безусловным талантом принадлежали не к лучшей породе людей, представителей которой мы в жизни сторонимся и стараемся не подавать им руки. В сущности, Маяковский был Шариковым советской литературы, а Брики – коллективным Швондером. Те, кто возмутится моими словами о Маяковском, плохо его читали. Он не только в 1915 году “притворился чертёжником”, чтобы не идти на германскую войну, он и в 1918 году вёл себя точно так же: “Отчего не в партии? Коммунисты работали на фронтах. В искусстве и просвещении пока соглашатели. Меня послали б ловить рыбу в Астрахань” (“Я сам”). То есть Маяковский к пребыванию на любых фронтах и даже в тылу фронтов относился примерно так же, как Шариков: “На учёт возьмусь, а воевать – шиш с маслом”.

Видимо, отсидев в юности 8 месяцев в тюрьме (хотя в автобиографии он почему-то утверждал, что 11), Маяковский пришёл к выводу, что нет такой идеи, за которую можно было бы сидеть в тюрьме или воевать. Писать – пожалуйста. А вот Абрам Моисеевич Краснощёк всё-таки был другим. Оставив налаженную жизнь в Америке, он на Дальнем Востоке не только кабинетной политикой занимался, а работал в реальном подполье, ходил партизанскими тропами, срывал голос на митингах. Маяковский в своей жизни не видел ни одного настоящего белогвардейца, а Краснощёков не просто видел – белые его чуть не расстреляли в Благовещенске, однако он почему-то не злобствовал на них так, как Маяковский в “Окнах РОСТА”. Напротив, пытался, причём безуспешно, найти “третий”, мирный путь из той кровавой мясорубки, в которой Россия оказалась. Да и в “Промбанке” Краснощёков не только прожигал казённые средства. Будучи среди отцов-основателей “Общества друзей воздушного флота” и председателем правления первой отечественной авиакомпании “Добролёт”, Краснощёков в 1923 году добился того, что один из “юнкерсов” “Добролёта” получил название “Промбанк” и выполнил первый в истории страны регулярный пассажирский рейс. Газеты тогда писали: “В 11 час. аэроплан “Добролёта” “Промбанк”, рассекая тучи могучими крыльями, спустился в Нижнем, покрыв расстояние из Москвы в 450 километров в 2 ч. 45 мин. и открыв этим рейсом 1-ю советскую воздушную линию”. Сам же Краснощёков, участвовавший в этом полёте, рад был не только удачной рекламе “Промбанка”, но и движению “Добролёта” на Восток: “И в прошлом году были попытки установить воздушные сообщения между Москвой и Нижним. Они носили спорадический характер, причём делали их немцы. Мы можем и должны поздравить с определённой победой и на этом фронте. Регулярные рейсы организует теперь общество “Добролёт” – силами, энергией и самопожертвованием рабочих и крестьян. И этот факт, что наша машина пришла в Нижний в самый день открытия ярмарки, – это символ, воплощающий в жизнь наше движение на Восток. Из Нижнего мы должны развить движение по Волге, на Каспий, в Среднюю Азию, на Дальний Восток, установить воздушную магистраль на Владивосток”.

Краснощёков отбывал срок в Лефортовской тюрьме. В ноябре 1924 года он заболел, и его перевели в тюремную больницу. По окончании лечения, в январе 1925 года, он был выпущен на свободу по амнистии. Сталин его простил и в 1926 году дал экзотическую должность с русским народным названием – начальник Главного управления новых лубяных культур наркомата земледелия

СССР. Оно, кто не знает, осуществляло заготовку волокнистых льновых трав для текстильной и канатно-верёвочной промышленности. Кстати, “сермяжное” название главка не должно вводить в заблуждение, что он ведал традиционным нашим промыслом. Это верно лишь применительно к верёвкам и канатам, а вот лубяное сырьё (джут) для текстильной промышленности до Краснощёкова, как ни странно, ввозили из-за границы. Так что он сидел в своём главке не для “галочки” – старался оправдать сталинское доверие.

Полагаю, что для Маяковского было бы великим счастьем, если бы Краснощёкова не посадили, и он бы увёл всё-таки “Чёрную Лилию” из жизни поэта. Не исключаю, что это было бы великим несчастьем для Краснощёкова. Но этого не произошло и получилось хуже только для Маяковского (если не считать краха карьеры у соперника). Арест Краснощёкова вовсе не означал автоматического исчезновения его из жизни Лили. Здесь Маяковского ждал самый, пожалуй, неприятный сюрприз: оказалось, Лили не просто была любовницей “красного банкира”, она его ещё и любила. По-своему, конечно, по-бриковски, что не исключало других влюблённостей или даже простых соитий с первым понравившимся партнёром, но любила. 19 ноября 1924 года, то есть уже после вынесения приговора Краснощёкову, она писала Маяковскому за границу: “Что делать? Не могу бросить А. М., пока он в тюрьме. Стыдно! Так стыдно, как никогда в жизни. Поставь себя на моё место. Не могу. Умереть – легче”. Поскольку именно в ноябре Краснощёкова перевели в тюремную больницу, есть все основания предполагать, что сделано это было не без хлопот Лили у чекистов. Дочь Краснощёкова Луэлла в 1924–1925 годах жила у Бриков и Маяковского, Лили называла её “доченькой”. После амнистирования Краснощёкова его связь с Лилей возобновилась и продолжалась с перерывами аж до 1927 года, пока Абрам Моисеевич, видимо, не понял, что из-за этой Лили он может не удержаться и на должности начальника главка. Он порвал с Лилей и женился на гражданке Д. Я. Груз.

Краснощёков пережил Маяковского, но 16 июля 1937 года был снова арестован – уже как враг народа. Из своего “лубяного управления” перекочевал он на Лубянку. “Была у зайца избушка лубяная, а у лисы ледяная...” Маяковский обязательно бы скаламбурил по этому поводу. 25 ноября 1937 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Краснощёкова к расстрелу. Он был некогда соперником Маяковского за право обладать Лилей Брик, но ни ему, ни Маяковскому близость с “Чёрной Лилей” счастья не принесла.

Пожалейте его!

Остроумцы 20-х годов вдоволь натешились над поэмой “Про это” и её автором. В романе Ильфа и Петрова “Двенадцать стульев” изображён поэт Ляпис-Трубецкой, который знал “кратчайший путь к оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов”. Ляпис-Трубецкой написал поэму с длинным и грустным названием “О хлебе, качестве продукции и о любимой”. “Поэма посвящалась загадочной Хине Члек”. В. Шаламов писал в воспоминаниях “Двадцатые годы”: “В герое “Гаврилиады” легко узнавался Маяковский, автор профсоюзной халтуры и поэмы, “посвящённой некой Хине Члек, то есть Лиле Брик”. Намека на “Чёрную Лилию” Ильфу и Петрову показалось мало, и они продолжили “изгаляться”. В Доме народов Ляпис-Трубецкой сообщает: “– Вчера я вернулся ночью домой... – От Хины Члек? – закричали присутствующие в один голос. – Хина!.. С Хиной я сколько времени уже не живу. Возвращался я с диспута *Маяковского* (курсив мой. – А. В.).”

Маяковского и раньше высмеивали, но так, что ему это скорее льстило, нежели обижало (“Так, например, меня просто называли сукиным сыном”), ибо он и его соратники одними из первых в литературе поняли, что отрицательная реклама – тоже реклама. А здесь – уничижительный по своей снисходительности сарказм. Хина Члек... “Волны падали вниз стремительным дождем”... А он душу дьяволу продал, чтобы быть первым в литературе!

Хотя, если говорить о душе, то перелом, произошедший в его творчестве после 1918 года, нельзя объяснить только финансовыми и конъюнктурными соображениями. Он словно увидел бездну – и отошёл от края. Пусть “Кем быть?” – лёгкий объект для пародий, но это более талантливое и нужное про-

изведение, нежели чёрные “Война и мир” и “Человек”. После гибели Есенина князь тьмы помог ему стать Первым, и тьма перестала интересовать Маяковского. Его стихи советского периода безыскусны и пустоваты, но читаешь их без того тяжёлого чувства, что было от дореволюционных. Появились даже элегические нотки:

*Годы — чайки. Вылетят в ряд
— и в воду — брюшко рыбёшкой пичкать.
Скрылись чайки. В сущности говоря,
где птички?
Я родился, рос, кормили соскою, —
жил, работал, стал староват...
Вот и жизнь пройдёт, как прошли
Азорские острова.*

Юмор Маяковского утратил прежний злобный характер:

*...несётся танец, стонет мотив:
“Маркита, Маркита, Маркита моя,
зачем ты, Маркита, не любишь меня...”
А зачем любить меня Марките?!
У меня и франков даже нет.*

С лёгкой руки Пастернака считается, что ничего стоящего, кроме вступления в ненаписанную поэму “Во весь голос”, Маяковским за советский период не создано. А как же:

*Всё меньше любитя, всё меньше дерзается,
и лоб мой время с размаху крушит.
Приходит страшнейшая из амортизаций —
амортизаций тела и души”?..*

А в январе 1928 года, посетив в Свердловске место убийства и предполагаемое место захоронения царской семьи, Маяковский написал даже такое:

*Спросите руку твою протяни
казнить или нет человечьи дни
не встать мне на повороте
я сразу вскину две пятерни
я голосую против
живые так можно в зверинец их
промежду гиеной и волком
и как ни крошечен толк от живых
от мёртвого меньше толку
мы повернули истории бег
старьё навсегда провожайте
коммунист и человек
не может быть кровожаден*

Правда, “вскину две пятерни” — не более чем обычный для Маяковского способ мыслить далёкими от реалий гиперболами. Стихи эти так и остались в черновике (о чем говорит отсутствие запятаток и “лесенки”). Вместо них в опубликованном тогда же стихотворении “Император” появился плакатный бессердечный финал в духе “Окон РОСТА”: “Прельщают / многих / короны лучи. / Пожалте, / дворяне и шляхта, / корону / можно / у нас получить, / но только / вместе с шахтой”.

Да и в черновом варианте постановка вопроса “по-маяковски” инфантильна: “казнить или нет человечьи дни”? Понятно, что, если речь идет о казни, то имеется в виду казнь по приговору суда. Но ведь Николая II и его семью никто не судил. Тут злодейское убийство, а Маяковский всё сводит к проблеме применения высшей меры наказания. Но всё же, скажу я вам, это уже прогресс, если вспомнить садистское “Ветер сдирает списки расстрелянных...” или “Пусть из наследников, / из наследниц варево / варится в коронах-котлах!”

Маяковский в статье 1914 года “Два Чехова” не скрывал своего отвращения к “руководящим идеям”: “Не идея рождает слово, а слово рождает идею. И у Чехова вы не найдёте ни одного легкомысленного рассказа, появление которого оправдывается только “нужной” идеей”. И далее: “. . . задача писателя – найти формально тому или иному циклу идей наиболее яркое словесное выражение. . . для писателя нет цели вне определённых законов слова”.

Парадоксально, но в 1926 году, когда Маяковский был официально признанным советским поэтом, печатался в “Комсомольской правде” и “Известиях”, его подлинные взгляды на искусство мало изменились с 1914 года. Знаменитая статья “Как делать стихи?”, в сущности, блестяще развивает мысли, заложенные в “Двух Чеховых”.

“Человек, впервые сформулировавший, что “два и два – четыре” – великий математик, даже если он получил эту истину от складывания двух окурков с двумя окурками. Все дальнейшие люди, хотя бы они складывали неизмеримо большие вещи, например, паровоз с паровозом, – не математики”.

Статья эта имеет какую-то пленительную двойственность. Пафос её прямо противоположен названию. “В поэтической работе есть только несколько правил для начала поэтической работы. И то эти правила – чистая условность. Как в шахматах. Первые ходы почти однообразны. Но уже со следующего хода вы начинаете придумывать атаку. Самый гениальный ход не может быть повторён при данной ситуации в следующей партии – сбивает противника только неожиданность хода.

Совсем как неожиданные рифмы в стихе”.

Тот, кто пишет стихи или когда-нибудь писал, многое может простить Маяковскому за “Как делать стихи?”, ибо мало кто из знаменитых поэтов так не принуждённо рассказывал о муках творчества: “Улавливаемая, но ещё не уловленная за хвост рифма отравляет существование: разговариваешь, не понимая, ешь, не разбирая, и не будешь спать, почти видя летающую перед глазами рифму”.

“Летающая перед глазами рифма!” Набоков не сказал бы лучше!

В сущности, “Как делать стихи?” – это полемически заострённое название, то есть антиназвание. Статья вовсе не о том, что можно *делать* стихи, а не писать. Выводы Маяковского совершенно противоположны тем, что ему порой приписывают: “С лёгкой руки Шенгели у нас стали относиться к поэтической работе как к лёгкому пустяку. . . Я думаю, что даже мои небольшие примеры ставят поэзию в ряд труднейших дел, каковым она и является в действительности”.

Маяковский относится к поэтическому творчеству не как к некоему “деланию”, а как к жизненному процессу. А “социальный заказ”. . . что ж социальный заказ? “Работа начинается задолго до получения, до осознания социального заказа”.

Я считаю, что нет особых оснований сомневаться в искренности Маяковского, когда он писал: “Я себя советским чувствую заводом, вырабатывающим счастье”, – ибо к этому прибавлено откровенное: “Я хочу, чтоб сверхставка спеца получало любовью сердце”. Маяковский не просто стал служить Государству – он ощутил себя частью этого Государства. Для него это было всё равно, что обрести веру. Он перестал корчить из себя антихриста, и образовался идейный вакуум, пустота, которую следовало заполнить. Для него, обождённого адским огнём, путь к истинно духовным ценностям был закрыт. Тогда является надежда, что: “. . .стих трудом громаду лет прорвёт // и явится весомо, грубо, зримо, // как в наши дни вошёл водопровод, // сработанный ещё рабами Рима”.

Советское государство было не какой-нибудь “мистерией-буфф” – оно было реальностью, оно вовлекало в свою орбиту миллионы индифферентных людей, а там, где что-то делают сообща миллионы, там история, там для атеиста – бессмертие. Но странное дело: чем больше он олицетворял себя в стихах с государством, тем пустее становилось вокруг него. Те люди, с которыми он шёл рука об руку по литературному пути, вовсе не любили советское государство, хотя и не говорили ему об этом. Они пришли в революцию не для того, чтобы любить государство, хотя бы в отдалённой форме напоминающее прежнее. Они чаяли быть господами, которых окружают во множестве русские рабы. Их кумирами были Троцкий и Зиновьев, а не Сталин и Киров. Им не могли прийти по сердцу строчки Маяковского:

*Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо.
С чугуном чтоб и с выделкой стали,
о работе стихов, от Политбюро,
делал доклады Сталин.*

Тут следует разъяснить, что же такое представлял собой РЕФ (“Революционный фронт искусств”), он же бывший ЛЕФ (“Левый фронт искусств”). Неподготовленному человеку ныне трудно найти существенную разницу в программных установках РЕФа и РАППа. В смысле неприятия “буржуазной культуры” левовцы были даже непримиримее рапповцев. Поскольку РАПП возник в своё время из “Кузницы”, объединения пролетарских поэтов, близких по мировоззрению и формам его выражения к левым футуристам, творческие разногласия (вопросы метода и т. д.) между РАППом и РЕФом не играли особой роли. Так почему же рефовцы не вступали в РАПП, “разбивая” тем самым “единый коммунистический фронт” против “попутчиков”? Есть одно объяснение, на первый взгляд, довольно примитивное, но более убедительного я не знаю. Бенгт Янгфельдт пишет, ссылаясь на воспоминания рефовцев, что они боялись подавать заявления в РАПП из-за неподходящего социального происхождения. Ну, это понятно: Маяковский – сын дворянина, Осик – сын “буржуина” и т. п. Но это лишь часть правды. Л. Авербах и Г. Лелевич, вожди РАППа, тоже имели не-пролетарское происхождение. Дело в том, что ЛЕФ, в отличие от РАППа, был сформирован скорее по этническому, чем по социальному и идеологическому признакам. В руководстве РАППа, как и в руководстве ЛЕФа, преобладали евреи, но вот большинство рядовых рапповцев были всё же русскими, украинцами и белорусами из числа рабочих и крестьян. В РЕФе же мы видим иную картину: там везде, и в руководстве, и в “низах” доминировали евреи непролетарского происхождения. И они, очевидно, не хотели “растворяться” в трёхтысячном РАППе, понимая, что в руководство никого, кроме Маяковского, не возьмут (которого, кстати говоря, туда тоже не взяли).

Надо сказать, что и самому Маяковскому к середине 20-х годов его “ближний круг”, где русских людей практически не было, порядком надоел. Он позволяет себе вольности, которых раньше у него и представить было нельзя. В “Моём открытии Америки” есть сцена, прямо противоположная тому, что написано в “Стихах о советском паспорте” (1929). В ней Маяковский отнюдь не хвастается своей “краснокожей паспортиной” и не предлагает американскому “погранцу” читать и завидовать тому, что он “гражданин Советского Союза”, напротив, из его уст звучит упразднённое в СССР слово “великоросс”.

“Ларедо – граница С.А.С.Ш. Я долго объясняю на ломанейшем (просто осколки) полуфранцузском, полунглиском языке цели и права своего въезда. Американец слушает, молчит, не понимает и, наконец, обращается по-русски:

– Ты жид?

Я опешил. В дальнейший разговор американец не вступил за неимением других слов. Помучился и через десять минут выпалил:

– Великорось?

– Великоросс, великоросс, – обрадовался я, установив в американце отсутствие погромных настроений”.

Вообще-то в этой ситуации Маяковский как полпред государства, борющегося с антисемитизмом, и как член “семьи”, на две трети состоящей из евреев, должен был выпятить грудь и произнести длинную гневную тираду о недопустимости погромных настроений. Что-то типа:

*Я стремился
попасть в Ларедо,
а приехал
в царский Белосток.*

А он, понимаете ли, опешил и обрадовался, что не жид. Да ещё и написал об этом.

А ведь бывало иначе. Бывало, писал Маяковский в “Биржевые ведомости”, что ошибся, печатаясь в одном сборнике с “распоясавшимся В. Розановым”. Это письмо по сравнению с другими печатными выступлениями Маяковского поражает своим витиевато-вежливым тоном. “М. Г. г. Редактор!” –

обращение для молодого хамоватого Маяковского невыносимое, он вообще предпочитал обходиться без подобных реверансов, когда речь шла о редакции буржуазной газеты. А уж “не откажите в любезности”, “примите уверения в совершеннейшем почтении” — вообще за пределами понимания. Но самое интересное: откуда вдруг такая щепетильность по поводу “охотнорядской гримасы” Розанова? Почему его, призывавшего *окровавленные туши лабазников*, то бишь этих самых охотнорядцев, выше вздымать на фонарных столбах, могли покоробить какие-то ни к чему не обязывающие “гримасы”? “Поэзия будущего — космополитична”, — писал Маяковский за два года до этого (1914) в письме в газету “Новь”, но сам, оказывается, подходит к литературному процессу вовсе не как космополит, ежели предпочитает одни редакторские фамилии другим: “фамилия редактора (Беленсон. — **А. В.**) казалась мне достаточной гарантией”. С каких это пор футуристы, презирающие любые условия “прогннвшего мира”, заговорили о каких-то “гарантиях”? Да полно, Маяковский ли написал это? В указанном выпуске альманаха “Стрелец”, кроме него и Розанова, напечатали свои произведения Кузмин, Сологуб, Хлебников, но никто из них и не подумал написать ничего подобного!

Несколько проясняет ситуацию комментарий Лили Брик: “Взял он (А. Беленсон) у Володи стихи для второго номера. Через некоторое время получаю книжку и читаю антисемитскую статью Розанова рядом с Володиными стихами (это была приснопамятная “Анафема”, посвящённая Лиле. — **А. В.**). Володя пишет письмо в редакцию какой-то газеты, что просит не считать его в числе сотрудников этого альманаха, так как в антисемитском журнальчике работать не желает”.

Вот как оно было в 1916 году! “Антисемитская статья”, “антисемитский журнальчик”, причём возглавляемый евреем! Показались уши Осика! Да не он ли автор письма? Тогда понятен и адресат (“Биржевка”), и “не откажите в любезности”, и “примите уверения”...

О том, что подпись Маяковского под данным письмом продиктована лишь соображениями голого расчёта (книги-то его печатает и оплачивает Брик), говорит его циничное поведение при встрече на улице с А. Э. Беленсоном. Тот, как известно, вызвал его на дуэль, а Маяковский, не стесняясь идущей с ним под руку еврейки (Лили), нашёл “отмазку”: “Дворянин не может драться на дуэли с евреем”. Это, кажется, первое и последнее упоминание Маяковским о своем дворянстве.

А в 1925 году он обрадовался, “установив в американце отсутствие погромных настроений”, чего из текста, кстати, вовсе не следует, ибо “погранец” успокоился лишь тогда, когда Маяковский сказал, что он великоросс.

Полагаю, что помимо юдофобии, в семье Бриков также считались “охотнорядскими” разговоры о “жидомасонском” или даже просто масонском заговоре. Маяковский же в “Моём открытии Америки” пишет: “Сто тысяч усаион в пёстрых восточных костюмах в свой предпраздничный день бродят по улицам Филадельфии. Эта армия ещё сохранила логи и иерархию, по-прежнему объясняется таинственными жестами, манипулированием каким-то пальцем у какой-то жилетной пуговицы рисует при встречах таинственные значки, но на деле в большей части давно стала своеобразным учраспредом крупных торговцев и фабрикантов, назначающим министров и важнейших чиновников страны”. Собственно говоря, это и есть “теория масонского заговора”, когда утверждается, что масонские логи занимаются не только филантропией и таинственными обрядами, а назначают “министров и важнейших чиновников страны”.

Я ни на секунду не сомневаюсь, что, переживи Маяковский тяжёлый для него 1930 год, то он бы активно обратился к державной и даже русской патриотической тематике (минус Православие, разумеется). Ну, во-первых, кое-что значит голос крови: предки поэта, происходившие из запорожских и кубанских казаков, были государевой служилой костью. Во-вторых, вопреки уверениям Маяковского в автобиографии “Я сам”, что он с гимназических времён “возненавидел сразу — всё древнее, всё церковное и всё славянское”, до знакомства с Бриками он не был ни славянофобом, ни русофобом. Так, в статье “Как бы Москве не остаться без художников” (1914) Маяковский писал: “...теперь, когда заинтересовались идеями национального искусства, ведь видят, что Шишкин, например, добросовестнейший немец, рабски подражавший Мюнхену. Далеко ли то время, когда у остальных спросят: “Простите, вы русский?” Тогда придёт переломать в училище гипсы, снести в подвал копии с иностранцев (как это сделали в Мюнхене с Шишкиным) и вернуться к изучению

народного творчества”. И далее: “Хоть теперь, когда граница закрыта, надо откопать живописную душу России, надо вместо лириков, пейзажистов с настроением – оружейных мастеров знания. Молодые! Боритесь за создание новой свободной академии, из которой могли бы диктовать одряхлевшему Западу русскую волю, дерзкую волю Востока!” Это, конечно, написано не членом “семьи” Бриков, а потомком запорожцев. Кстати, после знакомства с О. Бриком Маяковский вплоть до 1926 года теоретические статьи по искусству не писал. Не буду спорить насчёт ненависти Маяковского ко “всему церковному” (о природе её достаточно сказано выше), а вот относительно его ненависти ко “всему славянскому” поспорю. Мы уже установили, что нелюбимое церковнославянское слово “око” он, тем не менее, употреблял наравне со словом “глаз” и вообще в “антиевангельский” период предпочитал современным словам церковнославянизмы. А в “добриковской” статье-манифесте “Война и язык” (1914) Маяковский требовал “сделать язык русским”, причём по общеславянским правилам словообразования. Иностранные слова “авиатор”, “авиационный день” решительно ему не нравились, и он предлагал: “Возьмите глагол “крестить”, от него производное день крещения – “крестины”; в сходном глаголе “летать” день летания, авиационный день, должен называться – “летины”.

В-третьих, даже с точки зрения чистой конъюнктуры сообразительный Маяковский после опубликования в 1934 году тезисов Сталина, Жданова и Кирова для нового учебника истории быстро понял бы, куда в верхах *подул ветер*, и, несомненно, с “западничеством” бы бесповоротно порвал (что и так уже намечается в “Моём открытии Америки”). Несомненно – потому что это сделал даже Савонарола футуризма О. Брик, написавший в 1942 году апологетическую “народную драму” “Иван Грозный” (!). Но Маяковский, в отличие от Брика, развернулся бы к русской державной тематике вполне искренне. Он вообще, несмотря на увлечение авангардизмом, с юности был абсолютным государственным в ницшеанско-прохановском духе, о чём говорит важная фраза в его статье 1914 года “Штатская шрапнель”: “Каждое насилие в истории – шаг к совершенству, шаг к идеальному государству”.

В начале 1930 года Маяковский открыто дал понять кормящимся вокруг него литературным швондерам, что тяготится ими. Он затеял выставку, но не коллективную рефовскую, как это бывало прежде, а персональную, для которой придумал 20-летний юбилей своей литературной деятельности, приходящийся вообще-то на 1932 год. Тем не менее, члены РЕФа по решению Маяковского должны были активно заниматься подготовкой выставки. Он выстраивал новую систему отношений в РЕФе, согласно которой польза каждого члена оценивалась по результатам работы на вождя. Но его *свита* пришла в ЛЕФ, а потом в РЕФ вовсе не для того, чтобы *делать короля*, а для того, чтобы *король делал*, точнее, продвигал *свиту*. Инициатива Маяковского “товарищам по дракам” не понравилась, и они почти открыто саботировали её. Согласно дневнику Лили Брик, оргкомитет выставки, в который, в частности, входил А. Родченко, не собрался ни разу. Маяковскому помогали единицы, остальные отстранились, включая белоручек Бриков. Он был вынужден, как во времена “Окон РОСТА”, сам сколачивать рамы и клеить экспонаты. В итоге к открытию выставка так и осталась недоделанной. Маяковский был вне себя и перестал здороваться с большинством руководителей РЕФа. В день открытия его ждал ещё один удар: Маяковский подозревал, что многие из соратников-саботажников не придут на выставку, но никак не ожидал, что не придут руководители партии и правительства, которых он лично пригласил. Не совсем ясно, почему так случилось, но, думаю, что Сталину и его окружению не без помощи рефовцев-сексотов были известны мечты Маяковского о “воцарении в Кремле”. А такое не прошло.

К тому же, обладая почти безошибочным политическим чутьём (умудрился не влезть ни в один “уклон”, изо дня в день печатая в газетах стихи на политические темы), Маяковский, однако, явно поторопился с выводом, что идеологическое влияние тогдашнего литературного бомонда пошло на убыль. Сталин, победивший Троцкого, Зиновьева и Каменева и одолевающий “правых” – Бухарина, Рыкова и Томского, ещё не создал своей пропагандистской литературной команды. Мне попадались советские издания 1929 года, в которых ещё были ссылки на Троцкого как на марксистский литературный авторитет (а 29-й – год высылки Троцкого!). Особенно убедительно показали Маяковскому, кто командует на литературном фронте, в Ленинграде: на отпечатанных афишах были указаны совершенно другие часы посещения выставки, чем на самом деле, а поправок не последовало. В результате на ленинградской вы-

ставке не было не только высокопоставленных особ, но и рядовых посетитель, которых всё же хватало в Москве. Премьера “Бани” с треском провалилась в ленинградском Народном доме.

Маяковский наносит ответный удар – уходит в РАПП, тем самым фактически упраздняя РЕФ, обречённый без него на безвестность и прозябание. Но этот успех был локальным и временным. Авербах со товарищи не могли не принять Маяковского в РАПП, но это не значит, что с этих пор он стал для них своим. В руководстве РАППа, если не считать крепкого литературного середняка Фадеева, одарённых людей не было (Шолохов в руководство не входил), а тут появляется, хотя и в качестве рядового члена, звезда! Да какая! Парень хваткий, мигом перетянет одеяло на себя! Подозрения стали быстро оправдываться: на конференции Московской ассоциации РАППа Маяковский то и дело лезет на трибуну, выступает с установками... Не иначе, как напрашивается в списки для голосования... И рапповцы, как ещё недавно рефовцы, образовали вокруг Маяковского пустоту. Получилось, как в поговорке: от своих ушёл, а к чужим не прибился.

Парадоксально, но Маяковский, никогда не знавший гонений со стороны советской власти, при первых признаках не то что гонений, а недоброжелательства сильных мира сего, основательно скис.

Обратите внимание: ситуация с травлей пьес Маяковского и отказом в выезде за границу происходит в то же самое время, когда подобные неприятности переживает и всегдашний антагонист Маяковского Булгаков, человек нервный и легко впадающий в меланхолию. Но почитайте, что пишет Булгаков в тогдашнем письме правительству СССР, и стенограмму заседаний МАППа, где выступает Маяковский! Загнанный в угол Булгаков с достоинством заявляет, что писатель, доказывающий, что ему не нужна свобода слова, подобен рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода, а Маяковский, потрясая кулаками, с героическим видом хрипит (обнаружились ещё проблемы с голосом): “Не нужна! Не нужна!”

На первых представлениях “Дней Турбинных” Маяковский дирижировал клакерами-комсомольцами, и, казалось бы, его самого клакеры смутить не должны. Ан нет! Подобные эпизоды на представлениях собственных пьес или на выступлениях он воспринимает как личную трагедию, тогда как Булгаков почти не обращает на это внимания. Чтó ему клакеры, если он знал, что очередь за билетами на “Турбинных” выстраивается ещё с ночи? А на “Клопа” и “Баню” очередей не было...

Маяковский утратил человеческое и писательское мужество в ситуации, которую, как хорошо видно из нынешнего далека, следовало просто пережить. Но в том-то и парадокс, что её мог пережить кто угодно, только не он.

Литературную карьеру сделал он не ловкостью пера – он изодрал в клочья свою душу, пытая себя на дыбе сатанинской гордыни. Он алкал любви столь же неистовой, как и ненависть его к Богу, отнимающему, как он полагал, у него эту любовь, орал о ней до хрипоты на всех перекрёстках. Вместо любви получил срамную, как он говаривал, “любовишку”, вместо венка первого поэта России – членский билет РАППа...

Ближе к четвёртому десятку он захотел настоящей, человеческой любви, а первенствовать в литературе желал уже не как *потрясатель основ*, а как класик новейшей эпохи. Но “банда поэтических рвачей и выжиг” захохотала и радостно плюнула в лицо ему, “бесценных слов транжиру и моту”. “Нате!” – он утёрся и – застрелился. Силёнок у него, чтобы снова выходить с ножом на Бога, больше не осталось, а утвердиться по-другому не получилось. А что же козломордый владыка тьмы, самое имя которого звучало в те годы как писательская фамилия? (Предоставим себе такой список президиума: Авербах, Блюм, Брик, Гольденберг, Левит, Машбиц-Веров, Момус, Уриэл и впишем в него Люцифера – он окажется очень на месте!). Разве сатане не хотелось ещё раз потешиться, глядя как высокорослый дурак Владимир устраивает “карусель на дереве изучения добра и зла”? А, видимо, карусели закончились – подошло время платить.

Отвернувшись от смрадной бездны, Маяковский, как некий идеалист-сенсуалист, посчитал, видимо, что её не существует, коли он её не видит. А его, хихикая, просто отпустили на поводке длиною в чёртову дюжину лет. Он бежал от крупных бесов и оказался среди мелких, гадких, скользких, вонючих. С брезгливой гримасой он рванул было и от них, но – поводок натянулся. Тпру!

Помните его карточные зарюки? Называл он два срока самоубийства: в тридцать пять и сорок лет. Скептикам, коим мои выводы могут показаться ре-

лигиозными бреднями, предлагаю обратить внимание вот на что: Маяковский миновал рубеж в тридцать пять лет и не дожил до сорока. “Точка пули” была поставлена посередине. Воистину дьявольская точность! По справедливости всё сосчитал тов. Люцифер...

“Литературная газета”, рассказывая о похоронах Маяковского, привела такую деталь: “Рядом с гробом на стального цвета платформе – венок из молотков, маховиков и винтов; надпись: “Железному поэту – железный венок”. Вот как аукнулись стихи: “Читайте железные книги!”

В поэме “Человек” Маяковский напророчил себе: “Он здесь застрелился у двери любимой”. Что ж, и это сбылось, только дверь была его собственная, а не Полонской – ну, да какая разница? Дверь в свою жизнь она ему не открыла, вот что главное, а остальное – каверзы лукавого, типичные для нашёптанных им предсказаний.

Спустя много лет покончила с собой и та, чрез кого пришёл соблазн – “Чёрная Лиля”.

В бумагах Маяковского сохранился отрывок из белого автографа поэмы “Человек”, не вошедший в печатный текст. Там есть строки, обращённые к Лиле:

*С тобой пойду
в трущобы мук
скитаться вечным жидом.*

По святоотеческим писаниям, души грешников пребывают на том свете в одном месте, но не видят друг друга, как если бы стояли связанными спина к спине. Самоубийцы стоят так вечно, ибо, в отличие от других грешников, не знают прощения. Вот он – семейный портрет за гробом Маяковского и Лили Брик... А вокруг со сведённым судорогой лицом летает Осик с полтинниками на глазах вместо очков.

Если бы Маяковский умер своей смертью, то за него хотя бы можно было молиться. А теперь...

Но как же быть с его стихами? Стоит ли их читать, если написаны они погибшей душой? Ведь зёрна от плевел умеет отделить не каждый... Если бы я мог ответить на этот вопрос... Если бы Маяковский был единственным писателем-самоубийцей... Ключевое слово о самом себе он произнёс, написав в стихотворении “Сергею Есенину”: “Пустота... Летите, в звёзды врезываясь...”

Пустота – вот пароль искусства XX века, бросавшего вызов Богу. Мир, погружённый во зло, является неким духовным вакуумом. До него словно бы дотронулся ледяной палочкой андерсеновский тролль. Внешне вроде бы ничего не изменилось, но мир стал другим. Это уже антимир. То, что вчера в нём было талантом, сегодня – антиталант. Меланхолически шелестящие бумажные книги превращаются в лязгающие, железные. Они необязательно плохо написаны, эти железные книги! Не для того талант покупается, чтобы сразу же превращать его в ледяную пыль. Слишком дорогое удовольствие для покупателя! Пустота не способна из себя произвести ничего, кроме пустоты: следовательно, владыка антимира нуждается в материале, которым можно было бы декорировать пустоту.

Талант не может враз обратиться в свою противоположность. Замерзающая жизнь бьётся в нём, всеми силами сопротивляясь окоченению. Если настоящий, гармоничный талант обычно искушаем злом, то антиталант... – добром. Вот в чём мучительная загадка так называемой светской литературы. Иначе, действительно, девять десятых светских книг стоило бы разом “взять и сжечь”.

Маяковский угадал: его стихи не превратятся в пыль, если он, как Сизиф, будет катить в гору камень своих грехов: “Мой стих трудом громаду лет прорвёт...” Этот камень срывается с вершины горы, с адским грохотом катится вниз, но новый читатель открывает железную книгу, и всё повторяется: под палящими лучами нездешнего солнца не отбрасывающий тени Маяковский начинает толкать в гору свой камень...

Но что-то мне подсказывает, что камень Маяковского становится ещё тяжелее, когда кто-то из живущих испытывает восторг, читая и перечитывая его железные книги.

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ

“ЧТО ВСПОМНЮ Я?..”

1

О книге Марины и Андрея Кошелевых “Что вспомню я? Фотосюиты на стихи Николая Рубцова” (Москва-Вологда, 2011), кажется, всё уже сказали. В предисловии к ней Андрей Сальников отметил, что эту “книгу с поэзией Рубцова роднит их умение услышать и воспроизвести в своём произведении голос русской земли и её истории”. Он сравнил книгу с “мозаикой, калейдоскопом, деревенским половиком”. Но её “пёстрые нити или разноцветные стёклышки, кому что ближе, – сходятся в одну картину, потому что они, эти стеклышки и ниточки, скрепляются любовью – к Рубцову, к Вологодчине, к поэзии...”

В послесловии к книге Лидия Беляева, руководитель литературно-краеведческого центра имени Николая Рубцова (Череповец), выделила другие её достоинства: “Здесь и малоизвестные факты биографии поэта, и новый, свежий взгляд на события его жизни, и диалог Николая Рубцова с классиками русской литературы, и опорные точки для исследователей – в виде фотографий и выверенной последовательности дат, приведённых в “хронике жизни” Рубцова”.

Марина Зуева, член литературно-краеведческого клуба “Госпожа Провинция”, генеральный директор ООО РПК “Кластер”, открывает для себя на каждой странице книги “эмоциональную живопись” и, глядя на фотографии, слышит музыку во всём – “в плеске воды, в шуршании осенних листьев, в крике журавлей...” Для неё книга “наполнена светом, силой созидания, духовными исканиями, поиском ответов на вечные вопросы...”

А для Людмилы Петровой, главы управы района Старое Крюково города Москвы, эта книга, достойная граждан древнего города, “внесёт вклад в решение задач просветительства, изучения и сохранения отечественного культурного наследия и расширения культурных связей Зеленограда с российскими регионами...”, в данном случае – с землёй вологодской.

2

Всё верно. Каждый, кто однажды прочитает эту книгу, тот непременно в сокровенном общении с ней сотворит и свой мир.

Для меня же сама эта книга есть поэтическое откровение души русского человека. Это как раз тот случай, когда слово поэта, благодатно отзываясь в родственной душе, подвигает её на раздумья, пробуждает в ней вдохновение и вызывает на радостное и счастливое сотворчество.

Это тот случай, когда в душе, как чистый родник, пробивается разлитая в мире поэзия земной жизни, которая требует себе достойного оформления. На этот раз поэзия облеклась в негромкое, но доверительное слово литературного краеведа и в живые картины мастера художественной фотографии.

Это именно тот случай, когда стихи Николая Рубцова стали для авторов книги поэтической реальностью, а это значит, “творческая воля” поэта, воплощённая в них, стала и их личной волей как читателей. Истинная поэзия, по Ивану Киреевскому, — это не “тело, в которое вдохнули душу, но душа, которая приняла очевидность тела”. Стихи не просто живут в них самостоятельно, облачённые духом и плотью, но и побуждают их к сопереживанию, к ответному действию, к постижению житейских истин и скрытых смыслов — в мире и природе.

Что вспомню я? — спрашивают авторы. И вспоминают то, что им стало в жизни дорого и свято: поэзия Рубцова, земля, на которой он вырос и жил, — деревни, села, города, люди.

Я листаю книгу, читаю текст Марины Николаевны, смотрю пейзажи Андрея Васильевича и чувствую, как между мной, поэтом и авторами книги набирает силу негромкое, но такое теплое, исцеляющее душу общение. То высокое общение, которое по нынешним временам так редко у нас в жизни случается и по которому неизменно тоскуют наши взыскующие света души.

Я открываю книгу и сразу слышу голоса, звуки и запахи ушедшей эпохи, вижу на старых фотографиях почти иконные лики наших предшественников. Не без радости узнаю, что у Марины Николаевны бабушка Анна Григорьевна жила в Вологде “на кирпичном заводе рядом с Прилуками”, что после смерти мужа она подняла четверых детей, среди которых был и её отец — Уров Николай Анисимович. Марина Николаевна приезжала на похороны бабушки. Такого не забывается...

Вот почему для меня и внутренняя драматургия книги завязана, прежде всего, на этой родовой причастности авторов к Вологодчине. Именно она обостряет их чувства, углубляет думы, делает зорче взгляд и проникновеннее слово. Именно “пересечения” судеб, порой неожиданные и даже в чём-то мистические, побуждают их “к исследованию жизни и творчества Рубцова” и выводят Кошелевых через людей разных званий и сословий (от художника Константина Воробьёва до священника Владимира Сибирцева) на вологодские и российские перекрёстки рубцовой жизни.

Что вспомню я? — спрашиваю я себя, принимая предложение авторов “подумать о своей собственной жизни” (вместе с Николаем Рубцовым и с ними).

Читаю книгу, и для меня каждая из восьми глав наполнена поэзией слова и цвета, русской деревни и северной природы, моря и воды, странствий и путешествий, седой старины и человеческого общения...

Читаю книгу, а память постоянно возвращает меня к истокам и к раздумьям о них.

3

Почему Кошелевы обратились к поэзии Рубцова? Разве мало на Руси, в Вологде и Москве хороших поэтов? Вопрос не праздный. Так уж случилось, что в 1930 году после раскулачивания судьба привела семью отца Марины Кошелевой из приволжского села Удельная Маянга в Вологду. В 1974 году Мария Анисимовна, сестра отца, жившая в одном дворе с Николаем Рубцовым, подарила племяннице, приехавшей на похороны бабушки, сборник его стихов — “Зелёные цветы”. “Открываю книжку, — вспоминает Марина Николаевна, — и словно мороз пробегает по коже: “Взбегу на холм и упаду в траву...” Стихи легли на душу.

А легли, наверное, потому, что поэт, как никто другой, смог выразить в стихах не только свою душу, но и душу самого народа: “На то и призвание поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам...” (Гоголь). Он уловил и сумел передать в стихах то, что ещё только вызревало в ней, но уже мучило предродовым томлением, искало форму воплощения и просилось наружу. Рубцов был из тех поэтов, которые, по словам Вадима Кожинова, в своих стихах “запечатлевают не внешнюю сумятицу волн, не рябь, возникающую на его поверхности от глубинных течений, а схватывают существенные, корневые черты эпохи”.

Такого поэта народ ждал. Не случайно на него сразу, жадно и с радостью отозвалась каждая истомившаяся по правде и по чистоте душа, услышав интонации и мотивы, уже давно звучащие в ней, обретая через поэта свой неповторимый голос.

Кошелевы как раз из тех людей, кто не только почувствовал в Рубцове родственную душу, но и взял на себя труд поведать современникам о своём опыте постижения его поэтического мира, в котором много сокрыто важных для нас откровений, признаний и прозрений.

Свою книгу они готовили не один год. Объездили все города и веси, связанные с жизнью Рубцова. И понятно, не только для того, чтобы уточнить дату проведения в Вологде семинара молодых писателей или опубликовать малоизвестные факты биографии поэта, хотя для краеведов и это, безусловно, важно. Не только для того, чтобы лучше узнать Россию и пополнить фотогалерею её литературных мест. И наконец, не только для того, чтобы мы, открыв книгу-альбом, полюбовались красотой родных пейзажей и поставили её на полку. Авторы взяли за свой труд, прежде всего, для того, чтобы и мы вместе с ними “задумались над своей собственной жизнью”.

4

Что вспомню я? — это и есть стержневой вопрос книги, вопрос, проходящий сквозь все её восемь глав. Задавая его, авторы и нас приглашают в собеседники, чтобы мы, читая их книгу о Рубцове, путешествуя с ними по России и опираясь на опыт своей жизни, расширяли границы повествования и наполняли книгу личностным содержанием.

Гляжу на Ферапонтов монастырь, снятый Андреем Кошелевым в предзакатных сумерках со стороны Паского озера, и читаю строки Рубцова:

*И небесно-земной Дионисий,
Из соседних явившись земель,
Это дивное диво возвысил
До черты, небывалой досель...*

И соглашаюсь с Мариной Николаевной в том, что “время в селе Ферапонтове особенное — земное и неземное одновременно”. Только о двух селениях Рубцов сказал “Мне легко здесь дышится”: о сёлах Никольское и Ферапонтово. Автор права: “В каждом из них чувствуется, что всё ещё впереди — и грядущий уход, и возвращение...” Судьба вела Рубцова “по следам миновавших времён”. Она ведёт по ним и каждого из нас.

Вспоминаю свои встречи с Дионисием. Здесь, под сводами храма Рождества Богородицы, расписанными иконописцем пять веков назад, случилось однажды и моё прозрение. Тогда я понял, что “начало художнику” Дионисию тоже было нелегко перевести на язык живописный мысли и чувства людей, жаждущих преодолеть материю и выйти в мир нематериальных понятий и смыслов.

Что же сегодня заставляет нас приходить к нему? Не его ли художественное завещание, оставленное нам? А ведь, наверное, оно, это завещание, зашифрованное в его иконах и фресках, и есть то главное, что заставляет нас обращаться к нему и спустя столетия.

Я смотрю на фотографии, люблюсь рекой Сухоной — как величаво несёт она на Север свои воды! Представляю, как Коля Рубцов, студент техникума, мечтавший о море, “забирается на крышу Воскресенского собора, чтобы оттуда “увидеть всё” — неоглядные присухонские дали, “холмы с полями и деревнями, древние храмы, построенные тотемскими купцами-мореходами на “избытки капитала”, вереницы барж и призывно гудящих пароходов”. “Увидеть всё”, заглянуть за край неба и почувствовать дыхание воли. Читаю стихи Рубцова:

*Школа моя деревянная!..
Время придёт уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.*

*С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.*

И вспоминаю родной ключ со звонким именем Гремячка, что с незапамятных времен бьёт из-под земли недалеко от моей деревни Попово. Речка, у которой я вырос, невелика – воробью по колено, но и она, перебирая на дне серые камешки, бежит к далёким морям и в жаркий полдень утоляет жажду русских странников и скитальцев.

Она – не Сухона и не исток Волги, который в сознании русского человека сразу наполняется смыслом державным, поскольку он даёт начало великой реке, понятие о которой, по словам Вадима Кожина, отражает вполне объективный плод многообразной тысячелетней деятельности людей в их взаимодействии с природой.

Но для меня и Гремячка имеет непреходящую ценность, как и для Рубцова – река Толшма, и до сих пор она освящает мою жизнь на земле. И ныне я нахожу время, чтобы испытать её живой, целительной воды и очистить свою душу до высокой пробы.

Я смотрю на горы Алтая, на высокое небо и облака, как паутинки, висящие вдоль горных склонов, смотрю на Чуйский тракт по берегу реки Катунь. Слышу проникновенный голос Марины Николаевны: “Николай Рубцов прибыл на Алтай в самый разгар весны, и та захватила его своим солнечным половодьем. Поэт взволнован и вдохновлён картиной весеннего обновления жизни” Здесь он “вспоминает родные места, и детство, и всё лучшее в своей жизни”. Вдали от Сухоны он не чувствует себя чужим, ведь по Сухоне “ещё до освоения Сибири были проложены водные пути в Европу – через Вологду, Тотму, Великий Устюг...”

Я читаю стихи Рубцова:

*Катунь, Катунь — свирепая река!
Поёт она таинственные мифы
О том, как шли воинственные скифы, —
Они топтали эти берега!*

*И Чингисхана сумрачная тень
Над целым миром солнце затмевала,
И чёрный дым летел за перевалы
К стоянкам светлых русских деревень...*

И уже вспоминаю, как мы с алтайским поэтом Иваном Белековым ездили на Телецкое озеро. Тогда-то, может, я впервые и замер перед немереной шириной русской земли. Тогда у меня, как и у Рубцова, тоже “проступили” в стихах “библейские сюжеты”, и я подумал о Боге. Мы сидели с Иваном у костра, и каждый думал о своём.

Я – человек равнин, родился в глухом костромском краю – у болота Ивана Сусанина. В полукилометре от нашей деревни, стоявшей на пологом холме, поднимался стеной сказочный лес, тёмный, дремучий, полный неведомых птиц и зверей. И я знал, что за ним уже деревень нет, за ним – край отеческой земли. В округе нашей в пору моего детства на каждом холме гнездились деревушка или село с полуразрушенным храмом. Между холмами покоились заливные луга с омутовыми речками. Не скажу, что холмистая местность была взгляду просторна, нет, казалось, что от крыльца дедовой избы до горизонта за дальним холмом и всего ничего – рукой подать. Я думал, что весь мир Божий – это и есть моя округа, очерченная линией горизонта, и только над ней опрокинут купол неба, и только над ней восходит и заходит священное солнце.

Но и здесь, в благословенном русском уголке, я чувствовал в душе своей сжатое пространство всей России и слышал, как оно внутри меня напряжено, как теснится во мне, гудит, звенит и просится на волю. Я ощущал его особенно остро тогда, когда замороженно смотрел на манящий вдаль горизонт, освещённый светом солнца, будто бы не с нашей, а с той, обратной стороны небесной сферы.

Мы ведь и рождаемся, наверно, с ощущением этого пространства. И мне оно передалось с молоком матери и её колыбельными песнями. Оно выросло в душе, когда я слушал бабушкины сказки о тридевятом царстве и стихи Пушкина о море-океане. Пространство напоминало о себе и небесным громом огненной колесницы Ильи-пророка, и клином журавлей, улетающих на юг, и просёлочной дорогой, что обрывалась у горизонта, и путниками, приходившими в деревню неизвестно откуда и неизвестно куда уходившими. Даже чувство невыразимой тоски, исподволь зародившееся в душе, и оно, думаю, было по нему – скрытому до поры до времени русскому пространству. И оно вселялось в нас от неспешного постижения русских просторов, потому что только в них и мог по-настоящему развернуться наш характер, только в необозримом российском пространстве и могли мы почувствовать свою земную судьбу и своё истинное на земле предназначение.

Листаю страницы книги...

Смотрю на дали, открывающиеся с крутого берега реки Оки у села Константинова (сердце заходится), читаю текст Марины Николаевны и понимаю, что её слово становится зримым, потому что его сопровождают и усиливают удивительной красоты фотографии Андрея Васильевича. Привязанность к месту и к человеку (дом, деревня, часовенка, фреска на своде храма, монастырь, пойма реки) придаёт им документальность, снимает с фотографий налёт “видовой открытки” и делает их для читателя объёмнее, “приземлённее”, а главное – роднее и душевнее.

Вот зеркало в доме-музее Сергея Есенина, а в нём – отраженный стол, покрытый белой скатертью. На столе – ваза с цветами. Смотрю и ловлю себя на мысли, что я раньше никогда не думал, есть ли в стихах Рубцова переключки с Есениным, есть ли что-то общее в их поэтических судьбах? Оказывается, есть. Приведу отрывок из книги “Что вспомню я?”, чтобы вы смогли почувствовать простоту и ясность авторского стиля:

“Приезжая в село Константиново, чувствуешь, что рождение гения предопределено здесь природой:

*Разбуди меня завтра рано.
Засвети в нашей комнате свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.*

Сам воздух в окрестностях Константинова, кажется, густо заполнен пронзительной есенинской лирикой. И вдруг – прислушайтесь! – откуда-то с севера – дуновением ветра – доносится протяжное:

*В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесёт воды.*

В переключку с поэтом севера – новый ритм и новый мотив, может быть, самый сокровенный мотив поэта Сергея Есенина:

*Там, где вечно дремлет тайна,
Есть нездешние поля.
Только гость я, гость случайный,
На горах твоих, земля...
Не тобой я поцелован...*

И снова, как бы в ответ, как бы в продолжение желанного разговора – родственное, созвучное – Николая Рубцова:

*Случайный гость,
Я здесь ищу жилище...”*

Читаю текст, смотрю на огненный закат над Окой и вспоминаю свою поездку на родину Сергея Есенина. Давно это было, а помнится, как у своих на-

рядных изб на обочине деревенской улицы старушки продавали яблоки – по рублю ведро (год тогда на яблоки был урожайным). И тут “в продолжение желанного разговора” я с разрешения авторов привлек к нему ещё одного собеседника-единомышленника – поэта Станислава Куняева, одного из авторов книги “Сергей Есенин”. В одном из интервью он сказал:

“Мы понимали, что работа над книгой о Есенине, в сущности, есть работа по осмыслению истории России двадцатого века, русской идеи, русского будущего. Мы понимали, что работаем в страшное для России время и что именно сейчас разгадка судьбы и творчества Есенина для России словно бы последняя роковая ставка, которая поможет выиграть борьбу за историческое будущее. В процессе работы нам становилось очевиднее, что разгадать тайну Есенина – значит разгадать тайну и причины русской трагедии двадцатого века. Без этой разгадки будущее России неясно...”

А ведь такая же загадка для России и Николай Рубцов, которого и впрямь, по словам Георгия Свиридова, “многое роднит с Есениным”: “Его стихами говорит послевоенная, разорённая Россия, Россия детдомов, общежитий, казармы или кубрика и кабака, но не старого кабака, общего (как у Некрасова или Есенина), а кабака уже “домашнего” (в каждой квартире, в каждом жилом углу).

Рубцов и Есенин, Рубцов и Батюшков...

У авторов книги есть специальное исследование “Рубцов и Бунин. Пересечение судеб лирических героев”. Поэт не расставался с томиком стихов Фёдора Тютчева, который часто становился его ночным “собеседником”.

Спрашивается – для чего всё это? Только ли для того, чтобы “поразить читателей новизной находок” (А. Сальников) или вовлечь его в “диалоги Николая Рубцова с классиками русской литературы”? (Л. Беляева). Думаю, нет, хотя работу они провели огромную. Авторы книги подняли немало литературных и других источников для того, чтобы показать нам, как сильна связь между поэтами разных эпох, как плодотворна классическая традиция и как животворящи и знаковы для русской поэзии их взаимовлияния. А самое главное, авторы являют нам пример творческого единения поэтов, их духовного родства, верности своему призванию и судьбе.

Их мысль проста и понятна: какие бы на дворе ни стояли времена, велик только тот поэт, который укоренён в своём народе: “Быть русским поэтом – значит быть эхом русской земли, своего народа...” (Ю. Селезнёв). Надо ли говорить, насколько это злободневно для наших дней, когда из жизни и поэзии вымывается национальный дух, а слово русское выхолащивается и опопляется, когда в жизнь входят молодые люди, *не помнящие родства*.

На вопрос авторов книги – что вспомню я после встречи с поэзией Николая Рубцова? – адресованный себе и нам, я в завершении своих размышлений отвечаю так: вспомню, наконец, и о том, что я русский человек, у которого своя картина мира и своя философия жизни. Уж очень, замечу, русская получилась у авторов книга, да и сами они, близкие мне по духу, являют собой настоящих русских людей – сильных, надёжных и бескорыстных. На её страницах и образ северной Руси предстаёт достойно его многовековой истории – нежный и суровый, светлый и трагичный...

Что вспомню я? – опять спрашиваю себя и отвечаю: ещё раз о тихой моей родине вспомню, её неброской красоте, о родных и близких мне людях, живых и ушедших. Вспомню и о том, что родился и живу на благословенной земле, имя которой – Россия...

5

Закрываю книгу, но расставаться с ней не спешу. В душе ещё звучит её светлая мелодия. Нет, чувствую, не удержусь и снова открою. И вот опять с её страниц слышу знакомые запахи деревенского детства.

Село Никола. Старая конюшня, а в ней – сани, колёса от телеги и белая лошадь с подстриженной чёлкой и добрым взглядом. Евангелист Лука на парусах Никольского храма, одна из двух сохранившихся росписей. Нина Ильинична Клыкова на завалинке. О ней писал Рубцов в очерке “Огонёк в окне”. Река и небо, отражённое в ней.

“Всё дышит поэзией, – пишет Марина Николаевна, – шум ветра, крики коростелей, потрескивание костров, лошадиное ржание и – детское хоровое

пение”. Поэзия таится и в “загадочном” названии “Круглица”. Это местность за рекой Толшмой, где когда-то стояла часовенка, памятная жителям окрестных деревень. Здесь самый воздух насыщен поэзией. Она и в “горьковатом запахе дымка” над картофельным полем, и в гнёздах ласточек на отвесных речных берегах, и в землянике на полянках, и в растопленной печке, и в саях, летящих под угор “навстречу обжигающему лицо ветру”.

И вот эта поэзия, растворённая в природе и жизни, облекается в слово Николая Рубцова:

*Вот говорят,
Что скуден был паёк,
Что были ночи
С холодом, с тоскою, —
Я лучше помню
Ивы над рекою
И запоздалый
В поле огонёк...*

Что вспомню я?..

Диалог с книгой продолжается...

Здравствуйте, Станислав Юрьевич!

Изучила Вашу книгу “Любовь, исполненная зла...” Узнаю Ваш стиль и неповторимый образ мысли. Что сказать, как восприняла неизвестную мне подвалину жизни поэтов? Сказать: шокирована? Нет. Просто глубоко задумалась. У меня были святыми представления о поэтах. Я ведь советский человек и печатному слову склонна верить. Так вот, я судила о личностях поэтов по их стихам. И не знала их личной, а тем более интимной жизни. Честно говоря, ни интима, ни эротики, ни секса не признаю достойными занимать моё внимание. Это святая святых двух человек, и афиширование этого не признаю и презираю. Обхожу, короче, стороной.

То, что Серебряный век обладал “голубизной” – знала ещё по истории Гришки Распутина, и когда изучала жизнь Марины Цветаевой, да и когда писала поэму “Поэты XX века”. Но деталей, корректно затронутых Вами, не знала, вернее – не хотела знать. Хочу Вас заверить: Татьяны Ларины ещё есть. Пока. На них держатся семьи нашего времени. Среди “простолюдинов” не принято “жить втроём”. Это – “прерогатива” элиты.

Начало XX века (бесцензурное) вообще выплеснуло всю патологию в массы. Вы, думаю, правы. Этот шабаш “голубых” и сейчас имеет место. Думаю, что это отголоски реформ и потрясений, вернее, их результаты. Да и демократия постаралась. Человек при стабильности общественной жизни занимается делом, а не усладами, “как в последний день”. Но не стану развивать этой мысли (неподъёмная). Удивляюсь, как Вы рискнули прикоснуться к этой теме. Это нужен был героизм и отвага. Да и веские основания.

О книге. Надеюсь, Вас интересует, какие выводы делает читатель. Книга полезная.

О Дербиной. Думаю, даже если Н. Рубцов умер и от инфаркта – она виновата: во-первых – в доведении его до инфаркта, если это так. А во-вторых: не коснись она “пальцами” его шеи – у неё не было бы оснований “оговаривать” себя. И не надо её жалеть. Конечно, “фурий” и “Клеопатр” у нас хватает, и мне их жаль. Хотя ЭТИ женщины достигают быстрее всех жизненных благ, чем Татьяны Ларины. Эта идеология паразитизма сейчас, в годы нищеты, может и “Татьян” сбить с толку. Это проблема не женщин, а мужчин, и она глобальна, и опасна не меньше, чем ядерная война. Русский мужик спился от безысходности, парни – “скололись”, мальчишки – “обнюхались”. А что остаётся женщине??! Это такая беда!.. (Пишу, слёзы выдавливают...) Так что вопрос этот – МНОГОГРАННЫЙ.

Об Анне Ахматовой: Я её идеализировала, как М. Цветаева Блока. Но, оказывается, моё мнение о ней сложилось по стихотворениям 40-х годов. Выходит, сладострастная, высокомерная “фурия”, а не образец патриотизма!

О Марине Цветаевой: Польстило то, что Вы назвали её “несравненным талантом”. Я пишу роман о ней, хочу РАЗОБРАТЬСЯ В ТОМ ВЕКЕ, в котором ей выпала участь жить, девочке с брошенным “в колыбель” талантом. Всякая она, но ЛЖИ В ЕЁ ПОЭЗИИ НЕТ. Вот какая была, так и писала, не вознося себя, разве что заикалась о брэнной ответственности за ниспосланный талант. Жизнь её: человеческая, женская, творческая – ужаснее не представить. Да, “не мать, не жена”... Вы так уместно процитировали В. Розанова: “Талант – рок, какой-то отяжеляющий рок” (с. 30). Жизнь Цветаевой – иллюстрация этому. Она – дитя этого “голубого” века. Я очень много проштудировала (и законспектировала) литературы о ней. Чувства были! – и негодование, и слёзы, и злость на неё, и жалость, и восторг, и уныние – всё! Я хочу понять, почему этот “голубой” век называли Серебряным? И кто? Может, “пристало” это название к веку безобразному потому, что он, как ляпис, выжигал бородавки на живом теле общества? Приходит на память высказы-

вание одного Нобелевского лауреата, что писал о мерзостях затем, чтобы вызвать к ним отвращение. Ибо если умалчивать о человеческой грязи — мир никогда не станет чище. (Что-то наподобие, не дословно.) Кажется, У. Фолкнер.

О Б. Ахмадулиной — её стихи, за исключением некоторых, не нравятся.

О мужчинах-поэтах. Тоже не отличались целомудрием. Не буду отзываться. Да и мужчины ли многие в настоящем смысле слова? “Жоржики”...

У них у всех в головах был невообразимый хаос! Самое правильное слова, что Вы применили к ним — ОБЕЗБОЖЕННОСТЬ, — очень красноречивое. Не было Бога в душе, а коль так — и целомудрия тоже — достойного человеческого. А коль этого нет — то и не жизнь, а прозябание в плену похотей.

Я ещё виню в этом “столичную групповщину”. Они не выражали НАРОД, хоть и были наделены талантом, разумом, образованием. Поплатились: сталинизм (может, стоит иначе посмотреть на историю террора, как Божью кару?), голод, война... Жаль, что теперь тоже всё повторяется: гомосексуализм, педофилия и прочее. Думаю, что теперь человечеству грозит не Вторая мировая, а Апокалипсис. Без “чистки” планеты не выживет. Хорошо бы понять это каждому и вернуться к Богу, пока не поздно.

А “групповщина” сексуальных “меньшинств” доказывает, как далеки они были и от Земли, и от Народа, и от Бога. “Мировая душа народа” у них осталась “за кадром”.

Книга очень понравилась. Необыкновенная книга, уникальные упорядоченные мысли. Читала — “кипела”.

*С уважением
Екатерина Липатникова*

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

В последние десятилетия в обороте европейских и мировых СМИ, а также во всемирной пропаганде появилось понятие “холокост”. Говорят, он случился с евреями во Вторую мировую войну. При этом требования к признанию холокоста настолько суровы, что некоторые страны самой развитой демократии уголовно преследуют несогласных. Как бы не попасть впросак!

Общие жертвы Второй мировой войны оцениваются в 55 миллионов человек, а жертвы нашего народа оцениваются в 27 миллионов. Холокост ли это? По всей видимости, это не холокост!

В Белоруссии немцы сожгла 638 деревень вместе с жителями, стариками, женщинами и детьми. Холокост ли это? Ответ очевиден: “Это не холокост, это фашисты по своему учению сжигали недочеловеков!”

Фашисты поголовно уничтожали всех цыган и коммунистов, но это тоже не холокост. В Ленинграде было задушено голодом около миллиона человек. Но это тем более не холокост. Это победы озверевшего фашизма.

Тогда что же такое холокост?

Чтобы понять, что такое холокост, надо мысленно выделить из воображаемой кучи пепла сожжённых фашистами людей отдельно кучку пепла сожжённых людей “народа избранного”. А также мысленно выделить из воображаемой кучи истлевших костей расстрелянных людей отдельно кучку костей расстрелянного “народа избранного” и дать этим двум кучкам толкование, отличное от всех остальных расстрелянных и сожжённых народов. Это и будет холокост.

Очевидно, что холокост в таком толкование — это учение, близкое к фашистскому. Оно не могло появиться после войны, потому что во всём мире жили сотни миллионов участников и свидетелей тех событий и, прежде всего, в нашей стране. Они вместе насмерть бились с фашистами, вместе гибли и вместе победили. Они его не допустили бы. Всё это время холокост зрел в недрах сионизма. Оставшиеся в живых ветераны уже не влияют на общественное мнение, уже не они рождают общественное сознание, они лишь принимают последние почести, награды и льготы.

Когда уйдут из жизни следующие поколения, может оказаться, что в борьбе с фашизмом холокост был одной из основных сил или даже основной силой, это уже утверждается в некоторых американских фильмах. Внимательно присмотревшись, видно, как холокост теснит силы победителей Второй мировой войны и отвоёвывает влияние в умах всего мира. В прошлом году по требованию Израиля на весь мир глубоким молчанием почтили жертвы холокоста.

— А как же остальные из 55 миллионов погибших? А как же наш народ, потерявший больше всех и освободивший мир от фашизма?

— Мы “народ не избранный”!

И просвещённая Европа вместе с рыночной Россией восприняли эту пощёчину как уважение к “народу избранному”, пострадавшему в “борьбе” с фашизмом в отличие от страданий всех остальных народов, в том числе и своих.

Уж если из 55 миллионов погибших и выделить кого-то, то прежде всего надо выделить наш народ. Он отдал больше всех сил для разгрома фашизма, заплатил самую большую цену и разгромил фашизм. Наш народ спас “народ избранный” и другие народы от уничтожения.

В девяностых годах при Березовском Первый канал телевидения много раз крутил киноленту на тему холокоста. В этой ленте “народ избранный” противостоит фашизму, привлекает на свою сторону американского президента и побеждает фашизм. Как видим, дело поставлено основательно.

Однако наша власть приняла сторону холокоста. Что заставило ее в преддверии 65-летия Победы внедрять холокост в сознание своего народа и объясняться в холокосте по телевизору? Было ли это ее убеждением, было ли это ее выбором, или она просто была вынуждена? Ответ, видимо, мы не узнаем никогда. В 1945 году Победа была одержана под сиянием яркой пятиконечной звезды, мы не удивимся, если в недалёком будущем, например, 70-летие Победы будет освещаться не только красной пятиконечной звездой, но и бело-голубой шестиконечной.

Президент Ирана Ахмадинежад — убеждённый противник холокоста — считает, что холокоста нет. Холокоста действительно не было. Холокоста и сейчас не должно быть. Были жертвы фашизма в 55 миллионов человек и жертвы каждого народа, входящие в это число. В том числе расстрелянные и сожжённые евреи нашей страны считались жертвами нашего народа. Им отдавали дань памяти вместе со всеми, в этом Ахмадинежад прав.

Но теперь жертвы “народа избранного” вычленены из общих жертв человечества. Теперь жертвам “народа избранного” поклоняются отдельно от жертв всего мира. В том числе расстрелянные и сожжённые евреи нашей страны, Польшу и Германии теперь учитывают отдельно, как жертвы “народа избранного”. Это холокост! Теперь он есть!

Однако давайте заглянем в прошлое народов Земли, во вторую половину второго тысячелетия до нашей эры. Быть может, оно немного вразумит нас? Тогда по приказу фараонов египтяне топили еврейских младенцев в Ниле, избивали евреев и жестоко преследовали их. Это было причиной бегства евреев из Египта под предводительством Моисея. Был ли это древний египетский холокост? Или это был “полухолокост”, потому что топили младенцев лишь мужского пола? Теоретики сионизма молчат. Быть может, надо также минутой молчания ежегодно почитать жертвы евреев во время египетского холокоста?

Быть может, надо в понятии “холокост” объединить жертвы евреев до нашей эры и жертвы евреев XX века и почитать их вместе у воображаемой всемирной стены плача? Но это уже не наше дело. Это решат раввины в синагогах.

Мы не называем свою схватку с немецким фашизмом и потери в ней каким-то особым словом, подобным холокосту. Это была открытая схватка двух великанов, схватка насмерть добра и зла. Потери в этой схватке — это потери сопротивления и борьбы. Холокост же — это какое-то безнадёжное, молчаливое и безвольное подчинение неизбежному уничтожению. В первобытные времена люди делали человеческие жертвоприношения своим богам, чтобы задобрить их. Немецкий фашизм возродил и увеличил во много раз эти людоедские обычаи. У Гитлеров и Гиммлеров были боги, обладающие невиданной мощью, немецкий фашизм принёс в жертву этим богам целые народы.

Холокост можно было бы по-иному понять именно как всемирное оплакивание евреями своей судьбы возле воображаемой всемирной стены плача, начиная с утопления еврейских младенцев в Ниле, включая погромы евреев, “живущих в порах чужого общества”, и кончая немецким фашизмом. Такое понимание холокоста – внутреннее дело самих евреев. Не надо никого принуждать к признанию холокоста под угрозой уголовного преследования. Но такому пониманию холокоста мешают действия самих же евреев, которые осели на землях другого народа и теснят его.

Мы же скорбим о всех потерях Великой Войны. Потери всех народов – это наши потери. Мы гордимся своей Победой, выводим войска на Красную площадь и “радуемся со слезами на глазах”.

*Олег Гусаревич,
с. Троицкое, Орловская обл.*

* * *

Здравствуйте, Станислав Юрьевич!

Огромное спасибо за мужество, за историческую правду и титанический труд Вашей книги “Жрецы и жертвы холокоста”. Она бесценна, как и “Спор о Сионе” Дугласа Рида – одного из ведущих корреспондентов мировой печати перед Второй мировой войной и после неё. Более 20 лет его книга не издавалась, поскольку Дуглас стал жертвой полного забвения, и только лишь в 1986 году она появилась в печати в Йоганнесбурге в Южной Африке. В ней осмысленный анализ истории человечества за последние 2500 лет, вскрывающий для широких масс многое в современной политической жизни, покрытой мраком жестокой системы невидимой цензуры. Сегодня другие времена. Система невидимой цензуры дает сбои. Ваше исследование – это горькая правда об одной из крупнейших трагедий в истории человечества. И неспроста Ваша книга после её издания привела в патологическую ярость “идеологов индустрии холокоста”. “Жрецы и жертвы холокоста” – это книга, которая так необходима в наше подлое и жестокое время, особенно молодому поколению, воспитанному перестройкой на лжи СМИ, политике духовного геноцида, разрушения отечественного образования (усечения русской литературы и истории).

Спасибо Вам за журнал “Наш современник”, который заставляет думать, анализировать происходящее в мире и своём Отечестве. С огромным интересом читаю и перечитывают документалистику, публицистику и поэзию.

Низкий поклон Вам, желаю здоровья, долгих лет и удачи.

*С уважением и благодарностью,
Ю. Журавлев,
г. Норильск*

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

К Вам обращается гражданин России, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Павлович Бутасов.

Являясь подписчиком журнала “Наш современник” семнадцать лет, каждый номер жду как явление Христа народу.

Читая его страницу за страницей, чувствую всеобъемлющую правду, отражающую тревожное состояние государствообразующей нации России, т.е. русских.

По моему твёрдому убеждению, в настоящее время Россией правят русофобы.

Прочитав несколько раз журнальное изложение Вашей книги “Жрецы и жертвы холокоста”, не могу найти слов и оценить Ваш творческий труд.

Спасибо Вам за правду-матушку.

Очень хотелось бы иметь Вашу книгу “Жрецы и жертвы холокоста” в полном изложении.

Заранее благодарен.

Крепкого Вам здоровья и больших творческих успехов на литературном поприще.

*г. Вильнюс, Литовская республика,
А. П. Бутасов*

Смысл жизни близких мне людей – моего дедушки

Мой дед со стороны папы, близкий мне человек.

Сейчас переписывается история России, забываются её многие доблестные события. Но историческая память важна для её народа и, особенно, для молодёжи.

Подвиги и значимые свершения являются примером для подражания. Анализ ошибок прошлого не позволяет сделать их в будущем.

ВОВ – это наше недавнее прошлое. Колоссальным усилием целого народа была добыта Победа.

Моему дедушке 71 год. Он многое знает и помнит не с чужих слов. Он живой свидетель целой эпохи СССР. Он снял документальный фильм “Союзники” о ВОВ. Он показал этот фильм не только в России, но и во Франции и Англии. Предстоит показ в США.

Все, кто участвовал в ВОВ на стороне СССР, признают нашу силу духа и мощь. “Мы до сих пор не сказали “спасибо” русским за то, что они сделали в борьбе с фашизмом”.

Союзники не преувеличивают свою скромную роль. В фильме выступают реальные военные, а не политики, старые ветераны, искренние и честные люди.

Мой дед “болеет” за Россию, тяжело переживает её нынешний упадок. Снимая и показывая патриотичные фильмы, он хочет воскресить веру молодёжи в себя, в своё светлое будущее. Мы все сегодня должны сделать такое же усилие, как и наши прадеды, чтобы не потерять Родину!

*Смолко Петя, 5 класс, школа №1298,
г. Москва, 22 апреля 2013 года.*